

ЗОНА РИСКА

А Х Т О Л Е В И

**В О Р О В С К О Й
З А К О Н**

БЕЧЕ



Вечерами, когда бараки еще не заперты
(хотя замки для воров до фени),
воры чифирят, травят баланду,
кто-то на гитаре шпарит,
кто-то бацает, как говорится, самодеятельность.

Бывают и пельмени
(с воли доставляют, и водочку тоже),
и песни Петьки Лещенко, Изабеллы Юрьевой,
или сами воров музицируют,
декламируют Есенина,
романсы травят — настоящие
или собственного сочинения.

А Х Т О Л Е В И

ВОРОВСКОЙ ЗАКОН

Москва Издательство ВЕЧЕ АСТ 1995

БК 84 Р7
Л 34

Вниманию оптовых покупателей!
Книги серии «Зона риска» и других жанров
можно приобрести по адресу: 129348, Москва,
ул. Красной сосны, 7.
Акционерное общество «Вече»,
телефон: 188-16-50, 188-04-59

**THIS BOOK CAN BE ORDERED
FROM THE "RUSSIAN HOUSE LTD."
253 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NY 10016
TEL: (212) 685-1010**

ISBN 5-7141-0119-7 («Вече»)
ISBN 5-88421-049-3 («Персей»)

© А. Леви, 1995 г.

**ЗАПИСКИ
СЕРОГО ВОЛКА**

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Год 1943

Абрука — это пиратский остров. Пираты не живут там, а привозят на остров награбленные драгоценности, золото и прячут. Остров весь покрыт диким лесом, в котором обитают страшные, выше человеческого роста, птицы с длинными, как у журавлей, клювами. Птицы эти хищные, питаются мелкими лесными зверюшками, но больше всего они любят человеческое мясо, которым их балуют пираты. Пираты убивают на острове пленных и отдают птицам трупы. Зато стоит какому-нибудь чужому кораблю бросить якорь в маленькой бухте у острова, как на берегу собираются таинственные птицы — встречать пришельцев. Когда лодки пристают к берегу, птицы своими страшными клювами убивают всех, кто не успеет спастись бегством. Абрука — страшный остров. Редко кто оттуда живым возвращается. И остров этот очень далеко, в стороне от больших морских путей. Ближе всего к нему лежит путь тех кораблей, что ходят на дальний архипелаг Рухну. Говорят, однажды на один из таких кораблей напали пираты, захватили дочь губернатора Рухну, и больше о ней никто не слышал. Она наверняка в плену у пиратов, потому что очень красива, и, конечно, ее они не убили.

Я уже давно слышал об этом острове — рассказывали моряки. А я о нем рассказал Черной Пантере, то есть Свену, и мы решили отрядить туда экспедицию. Капитаном экспедиции буду я, моим помощником — Свен. Только нужно раздобыть оружие и никому не открывать эту тайну.

Отец отлупил меня сегодня узким ремнем. Он все чаще стал за него браться. А что я делаю?.. Раньше он в таких случаях обходился широким. Подумаешь, не был в школе... Свен и вовсе не ходит, и никто его за это не бьет. Я его спросил, чего это он не ходит. Свен говорит: «Надоело гимны разучивать. Не успел один как следует выучить — учи «Интернационал», выучил этот — теперь «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес». Ерунда, просто у него отца нет, а мама его не бьет.

Я бы пошел сегодня в школу, но вчера еле выклянчил у Красной Лисы — Вальдура книгу «Виннету» на один день, ну и читал в логове. Мое логово в трюме старой-старой яхты, которая больше никогда не выйдет в море. Она стоит в камышах, недалеко от нашего дома. Вся заросла мхом и водорослями. Здесь мои книги и тетради, оружие и пожелтевший череп кошки с маленькими клыками. На нашей улице у всех ребят есть клички, и если назовешь кого-нибудь по имени — получишь в морду. Все нахватали клычек пострашнее и всех хипных зверей разобрали. Мне только Серый Волк достался. Я сперва был Красным Волком (такие в прериях водятся), но у нас уже есть Красная Лиса, поэтому я решил быть не Красным, а обыкновенным Серым Волком.

Сегодня домой не пойду, буду спать в логове. У меня здесь старый мамин половик и кусок одеяла. Это моя постель. Можно набрать мха и изготовить мягкую постель, но надо привыкать на твердом: Виннету — вождь индейский — спал на голой земле и никогда не болел. Потому что был закаленный с детства. А домой пойду тогда, когда отец уйдет в казарму. Хлеб у меня есть, вода — тоже.

Где взять оружие? Настоящее оружие: пистолеты, мечи, шпаги. Мы с Черной Пантерой думали-думали и решили посоветоваться с Красной Лисой. Вальдур, то есть Красная Лиса, явился на сходку к большому камню около старой пристани с солидной шишкой на лбу. Он долго отнекивался, потом признался, что шишка — от Пумы. Пума — это Эрик. Он сосед Красной Лисы, и они очень дружны, поэтому оба постоянно ходят в синяках. Пуму вообще-то следует когда-нибудь проучить, он не наш и якшается с другой компанией. Взяли клятву с Красной Лисы и рассказали ему про остров. Он сразу придумал, где взять оружие: в музее.

Музей находится в старой крепости. Это настоящая крепость

древних рыцарей-крестоносцев. Мы знаем тайные ходы в крепость, так что можем туда войти в любое время, когда захотим. Обычно крепость открыта только по воскресеньям, когда распахиваются большие железные двери и специальные люди ходят с посетителями, все им показывают, объясняют. Это вовсе не интересно. Когда сам — это да. Крепость большущая, страшная. Много темных помещений, тайных ходов. В ней есть тюрьма и церковь, есть камеры пыток и глубокие колодцы, куда бросали живых людей. Есть львиные пещеры, они начинаются из-под самых пашен и уходят глубоко в землю. На дне этих пещер жили когда-то медведи или львы, и к ним сверху бросали осужденных. В пещере и сейчас видны истлевшие кости, может, человеческие. Конечно, человеческие.

Музей — три большие комнаты на третьем этаже. Чего там только нет: фигурки разные из гипса, и картины, и тряпье... И рыцарский железный мундир там есть. А оружия — вдоволь! Пистолеты, сабли, кривые турецкие мечи — все, что хочешь. Да, Красная Лиса прав. Там есть чем поживиться.

В музей ведут две двери. Одна большая, через нее входят посетители и вообще все. Другая дверь маленькая, заложена картинами и гипсовыми фигурками. Ею никогда не пользуются, через нее-то мы и проникнем в музей. Нужно подобрать ключи или изготовить отмычки, которыми «работал» парень из романа «Банда Желтого Дьявола». Это я взял на себя. Черной Пантере и Красной Лисе поручил захватить корабль. Это проще всего, можно стащить любую плоскодонку со старой пристани Тори. Ну, еще нужны весла...

Приехал отец и увез маму в больницу. Он теперь будет жить дома, пока не вернется мама. С одной стороны, это хорошо: он повесил на стене пистолет, и интересно, когда он его чистит. С другой стороны — совсем плохо: надо все время сидеть дома и от школы теперь не отвертеться. С мамой просто: утром вместо школы иду в логово. А когда все идут из школы — я домой; был, говорю, в школе. Мама всему верит. Отец же все проверит, пойдет узнает у учителя и тогда...

К нам теперь каждый день приходят офицеры — эстонские, немецкие тоже. Сидят в зале и пьют коньяк. Отец им играет на аккордеоне, и все поют. Мне они иногда приносят конфеты или шоколад, но самое интересное, когда они рассказывают про

войну. У них у всех, кроме отца, много крестов еще за Польшу. Скоро все они пойдут на Восточный фронт.

На острове Абука, должно быть, есть клад. Приезжал с Рухну капитан Андрес, и я у него кое-что вынюхал.

Был когда-то давно известный пират Себастьян дель Корридос, испанец. У него фрегат с двенадцатью пушками и двумя мачтами. Это самый быстроходный корабль тех времен. Называли его «Черный Альбатрос». Всюду попевал дель Корридос на своем летучем корабле, и восемнадцать лет дрожали перед бесстрашным разбойником все честные мореходы. Восемнадцать лет он успешно грабил, а потом решил обосноваться на острове Абука и давно запрятал там все свои сокровища. Однажды в океане его настиг штиль. Ветры стихли, паруса бессильно повисли на мачте, и «Черный Альбатрос» стал среди океана. Пришла ночь. А наутро, когда при восходе солнца подул ветер, пираты с ужасом увидели, что к ним приближается большой британский корабль с тридцатью пушками на борту.

Себастьяна дель Корридоса не испугал неожиданный враг. Суровая жизнь научила храброго пирата мгновенно принимать решение. На мачте «Альбатроса» взвился флаг — сигнал бедствия. Когда с военного корабля спросили, что случилось на «Альбатросе», ему ответили, что на палубе чума. К сожалению, командир британца оказался подозрительным и решил это проверить. Едва шлюпка с британца подошла к «Альбатросу», парусник дель Корридоса внезапно рванулся вперед и, опрокинув шлюпку с несчастными английскими моряками, помчался прочь.

Военный корабль дал залп. О спасении не могло быть и речи. Пираты отстреливались из единственной уцелевшей пушки, хотя знали, что гибель неминуема. Но дешево продавать свою жизнь они не собирались. Молодцы!

В плен попали всего тринадцать отважных пиратов вместе со своим капитаном. Раненых побросали за борт, жалости здесь не знали. Всех пленных повесили на мачте. Себастьяна дель Корридоса увезли в Англию, от него требовали, чтобы он указал, куда спрятал свои сокровища. Но старый пират не открыл своей тайны, и его повесили. Так погиб отважный корсар Себастьян дель Корридос, а его сокровища находятся на острове Абука, и нам необходимо их добыть.

Настала зима. Выпал снег. Пришлось перебраться в зимнее логово. Оно у меня на чердаке. Так и не успели разыскать клад. Велло меня не понимает, смеется, говорит, что это все бред, мол, никакие пираты не стали бы жить на Абруке, на этом маленьком пятачке земли, недалеко от большого, прекрасного, покрытого лесами острова Сааремаа. Будто я этого сам не понимаю, но так неинтересно. Вот я хочу, чтобы были на Абруке непроходимые леса, и странные птицы, и пираты — так интересно, и все это действительно есть, все равно есть. Велло говорит, что это игра, он говорит, что если уж сбежать из дома, то на фронт, воевать, все равно с кем, можно на стороне руеских — против немцев, — вот это настоящее приключение. Я согласен, это, конечно, здорово, но меня могут на фронт не принять — ни на чью сторону. Велло что, ему уже пятнадцать лет. А мне еще когда тринадцать будет, аж летом. Про музей я ему не сказал, опять станет смеяться. Мы уже с Красной Лисой побывали в крепости, разыскали ту маленькую дверь, только все наши ключи не подошли. И отмычки тоже не подошли. Работали долго, Красная Лиса светил, а я работал. Попробовали выломать эту проклятую дверь, но она очень толстая. Так и ушли ни с чем. Но мы это дело не оставим, до весны времени много. Я обязательно сделаю подходящие отмычки. И тогда мы найдем клад капитана дель Корридоса. Он есть, его спрятали там, в лесах острова Абрука пираты. Они тоже есть.

Вернулась из больницы мама. Отец и мама что-то стали ругаться, и отец почти не бывает дома. Он говорит, что его не отпускают из казармы. Но однажды вечером я пошел его искать, а в казарме сказали, что он каждый вечер уходит домой. А дома его нет. Неизвестно, где это он.

И все-таки мы сбежали с Велло насовсем. Пошли по льду через пролив Муху и пришли в порт Виртсу. Здесь нас сцапала полиция и привезла обратно домой. Велло отлупил старший брат, а меня — отец. Когда я уходил из дому, его не было, но теперь он откуда-то взялся и, как только ушел полицейский, избил меня так, как давно не бил. Потом ему словно жалко стало, он сказал, что больше так бить не будет, что вообще не будет бить и чтобы я его простил. Но он сказал еще, что уходит от нас совсем, а почему — этого я сейчас не пойму, когда стану взрослым, тогда пойму. Он действительно взял чемодан, попрощался и, ничего не сказав маме, ушел.

Мама все это время плакала, а когда отец ушел, сказала:

— Ну вот, одного приводят, другой — уходит. Что же это такое? — И снова заплакала.

Почему все-таки он ушел?

Когда услышал свист, я понял, что это Красная Лиса меня ждет у сарая.

Чтобы попасть в замок, надо пройти через большой парк, подняться на высокие крепостные валы, откуда хорошо смотреть на море, спуститься во внутренние дворы, где расположены стадион и спортплощадки разные, затем подойти вплотную к замку и разыскать совсем маленькое, еле заметное, закрытое железным люком окно. Отодвигаем люк и лезем. Мы очутились на нижнем этаже замка. Серые сводчатые потолки, толстые каменные колонны. Но страшно-то как... Тихо, как в могиле. И запах словно могильный — удушливо воняет. Мы уже знаем, куда идти. Это в прошлый раз долго искали. Крадемся тихо, как настоящие индейцы, только слышу: тук-тук, тук-тук. Это сердце так колотится.

У нас большая связка ключей и отмычек. Работаем осторожно, к каждому шороху прислушиваемся. Уж не знаю, сколько прошло времени, пока наконец какая-то отмычка не открыла с треском замок. Настала решительная минута. Осторожно толкаю дверь, и вдруг — что это? В груди стало холодно. Что-то за дверью загрохотало, а потом еще грохот, и еще. Потом все стихло. Это мы гипсовые фигуры опрокинули и картины. Вопли в музей, кинулись туда, где под стеклом лежали пистолеты. Я схватил один, но Красная Лиса сказал, что это кремневый, допотопный, — я его бросил. Взял другой, похожий на наган. Потом выбрал еще один, очень красивый. И Свен тоже вооружился до зубов. Пошли к мечам, и я взял саблю. Только положил обратно: тяжелая очень и длинная тоже — неудобно. Вот маленький кинжал — в самый раз. Взял еще кривой турецкий ятаган. И Свен взял тоже ятаган. Потом — ходу. Уже стемнело, и никто не видел, как мы с кривыми турецкими мечами добирались до дома. Я все спрятал на чердаке, в зимнем логове. Скоро лето и тогда... поход на Аbruку.

Встретил отца. Я был в кино, смотрел «Эшнабургского тигра» и вдруг увидел отца. Он стоял с какой-то женщиной. Мама как-

то говорила соседке, я подслушал, что отца соблазнила «эта дрянь» или еще — «копка драная». Я сразу понял, что это и есть та «копка» и хотел дать от них деру, но отец меня увидел и позвал. Пришлось пойти с ними. Когда пришли к ним, нас встретила девочка с красивыми синими глазами, и волосы у нее были красивые, и ушки тоже — маленькие такие, просвечивались. Ее зовут Лести. А маму ее — Лиль Кеца. Лиль — имя, Кеца — фамилия. Она, по-моему, некрасивая, моя мама лучше. Отец собирался, а меня с собой не позвал, сказал:

— А ты сиди, поиграй с Лести.

Когда уходил, еще сказал:

— Приходи снова, в другой раз.

Лиль Кеца меня тут же начала спрашивать, какие я люблю кушанья. А я все люблю, так и сказал ей. Она мне дала лепешку с медом и спросила, я маму очень люблю или не очень. Я сказал, что очень. Она сказала, что правильно, маму надо, мол, очень любить, мама хорошая. Потом она спросила, как у меня в школе дела. И я опять сказал: ничего. Не мог же я рассказать, что я в школе почти не бываю, а если и бываю — все списываю у Альберта и наверняка останусь на второй год в третьем классе. Лести уже в четвертом учится, она в другой школе.

Когда я уходил, Лиль спросила — люблю ли я книжки и какие. Я сказал, что люблю приключенческие. И она дала мне «Дон-Кихота». Я эту книгу так и не прочитал — скучища. Рыцарь там какой-то дурак, на мельницу нападает, вечно в смешных положениях... Разве это рыцарь?! Шут гороховый. Нет, такие книги я не люблю. То ли дело: «Горбатый ковбой», или «Таинственный зов», или «Виннету», или «Голубое привидение». Еще интересные есть книги про Шерлока Холмса. И о пиратах. Это я понимаю — приключения.

Когда я сказал маме, что был у отца, она стала грустной. Потом решила:

— Ну что ж, если он тебе нужен — ходи к нему. Ведь он твой отец. — О Лиль она ничего не спросила, и я ничего не стал говорить. Как-то все нехорошо: у Лести не было отца — тоже ушел от них — теперь у нее чужой отец, а у меня — никакого. Может, тоже потом будет чужой... Ну, тогда я сразу сбегу.

Уже весна, лед на море совсем растаял, меня оставили на второй год в третьем классе. Нехорошо, конечно. Достал «Тарзана», всего шесть книг. Уже прочитал первую, вторую, третью. Здорово! Но все-таки «Черный капитан» интереснее. Тарзан что, просто он очень сильный. Другое дело, когда ты пират — смелый, находчивый, ловкий. А так просто жить в джунглях и убивать всякое зверье... Но мальчишки с ума сходят из-за этого «Тарзана». Все деревья обломали, висят на ветках целыми стаями, как вороны.

Скоро отправимся на Абуруку, за сокровищами капитана Себастьяна дель Корридоса.

...Назначаю отплытие из порта Тори. Команда — Красная Лиса и Черная Пантера, капитан — Серый Волк. Находимся в море двенадцать недель. Поднимается шторм. Корабль терпит крушение, команда бросается к шлюпкам и уходит в море. На погибающем корабле остается один капитан, то есть я. Капитан, как полагается, последним покидает корабль, на последней шлюпке, которую два дня безжалостно треплет ураган. Капитан едва жив. Когда ветер утихает, наступает штиль, и несколько дней неумолимо жжет капитана ослепительное южное солнце. Он целыми днями лежит на дне шлюпки, уставясь в синее, без единого облачка небо, ночами восхищаясь бесчисленными мириадами ярких звезд. Иногда над ним пролетают птицы, но он не знает, что это за птицы и куда летят. У него есть маленький бочонок с пресной водой и сухари. На пятый день показывается земля. Волны медленно, но уверенно несут к ней шлюпку с усталым капитаном. Уже отчетливо видны высокие прибрежные скалы, и стаи птиц шумным гомоном приветствуют капитана. Но где же пристать? Кругом скалы, острые камни, смерть грозит капитану, а как хочется жить... Тут он видит в ровной стене отвесных скал темное отверстие, словно вход в туннель. Работая изо всех сил веслами, капитан направляет туда шлюпку и въезжает в окруженную со всех сторон высокими крутыми скалами маленькую бухту. Вода в этой бухте черная, спокойная, будто в колодце. Это даже не бухта, а скорее пещера, каменные стены которой обросли столетним мхом. Здесь капитан замечает еще одно отверстие, а рядом с ним большое железное кольцо, вделанное в стену. С удивлением видит он еще много таких колец, и ему становится

ясно... Это и есть гавань пиратов. Значит, он на острове Абука... Опять кто-то зовет. Это мама...

Как хорошо в старой яхте в камышах. Здесь еще порядком воды, но яхта стоит на небольшом бугорке уже совсем сухая. Я снова переселился сюда, перенес свои книги, и тетради, и кошкин череп, и оружие. Дома, на чердаке, никогда ничем настоящему не займешься, потому что это мое логово всем известно. Только начнешь читать — мама зовет, а там еще Велло залезет. А я не люблю, когда в мое логово ходят посторонние, особенно Велло. Он все высмеивает: и револьверы ненастоящие — чепуха, и кошкин череп — ерунда, а ятаган, по его мнению, вовсе бесполезный предмет, которым даже капуста не нарубишь. Он говорит, что надо захватить какую-нибудь моторку, перейти в ней Рижский залив и высадиться где-нибудь в Курляндии. Потом перебраться в Литву, а оттуда — в Польшу, и дальше — в Германию. Можно, наконец, и до самой Африки добраться. Он говорит, что, если я не хочу, он один пойдет. Потом мне завидно станет, но будет поздно. Тебе, говорит он, кошкин череп жалко бросить и все такое. Но кошкин череп тут ни при чем, мне маму жалко. Отца теперь нет, а от Лейно никакого толку. Маме тяжело — и в очередях надо стоять, и вязать, и за Кадри смотреть. А тут еще дрова заготавливать на зиму. Мало еще что. И все же было бы здорово смотреться в Африку. Там всегда тепло, зверье всякое, можно жить и в джунглях, как Тарзан. Если бы не Кадри... И для чего она родилась!

Ну вот... Опять я дома. Еще хорошо, что не на две морском. Подвел мотор. Это была лодка Жоржа Вагнера, всегда стоявшая на самом конце старой пристани. Мы с Велло забрались в нее, перерубили трос, и ветер тут же погнал нас в море. Нам это и надо было. Из дому я захватил хлеба, стащил у мамы кусок сала и еще печеной картошки. У Велло тоже был мешок с едой. Прихватил я и будильник: нам нужно было знать время, потому что к утру мы должны были быть где-то у берегов Латвии. Велло начал возиться с мотором, но он, сколько мы ни бились, не заводился. Бензин был, и вроде все было в порядке, но мотор лишь иногда слабо чихал. Наверно, старый Жорж какую-нибудь деталь на ночь отвинчивал. Ветер нас все гнал да гнал,

и не известно, чем бы это все кончилось, если бы мы не наткнулись на островок Лаямадала. С одной стороны, он совсем близко был от берега. И глубина там небольшая. Оставили лодку, наши мешки и вплавь пустились к берегу.

Решили переночевать здесь, хотя было холодно и хотелось есть. Пошли в мое логово в камышах, где хранилась половина одеяла и, завернувшись в это тряпье, заснули. Утром мы рассчитывали добраться до полуострова Сырве и там похитить другую лодку. Но это было далеко, к тому же мы очень устали. Однако утром мы проспали. Днем никуда носа не показывали, боялись, что нас разыскивают, а к вечеру приуныли — умирали от голода. Велло решил пойти к одному другу, который живет где-то недалеко от парка. Он строго приказал мне сидеть в логове и ждать его возвращения. Прошло много времени, и я не вытерпел. Когда совсем стемнело, я пошел навстречу ему. Едва я успел войти в парк, как наткнулся на маму. Я бросился наутек, мама бежала за мной следом и кричала:

— Вернись! Остановись!

Она плакала, а я изо всех сил продолжал бежать. Потом она как-то страшно крикнула, и я остановился. А у нее ведь больные ноги... Я подошел к ней и тоже заплакал. Домой шли вместе. Она дрожала и все время молча гладила мою голову. Три дня она не разрешала выходить мне из дому, теперь разрешила. А старому Вагнеру рыбаки на буксире пригнали его лодку. Никто так и не узнал, как она очутилась на Лаямадале. С Велло мы еще не повидались, но Лейно сказал, что он тоже пришел домой.

«Маленькое отверстие оказалось дверью в узкую пещеру. Капитан ощупью двигается вперед. Он вооружен до зубов и не боится никого. В пещере сыро и холодно, узкий ход сначала все поднимается, затем спускается вниз, он все тянется и тянется, капитану кажется порой, что конца ему нет. Но вот впереди показывается слабый свет, и тут же стена из-под рук его исчезает. Он оказывается в другой пещере, освещенной светом, поступающим через квадратную дыру где-то высоко под сводом пещеры. Эта пещера не пустая, в ней тысячи гадок, которые, извиваясь, шипя, расползаются по всем углам, исчезая в темноте. Сжимая сильнее рукоятку пистолета, капитан стремительно идет вперед, но скоро опять становится темно, и пещера снова тянется узким, темным коридором, в котором можно

продвигаться лишь ощупью. Шагов не слышно — под ногами толстый слой вековой пыли. Долго он так идет или недолго — неизвестно. Наконец снова показывается слабый свет, он с каждым его шагом возрастает. Постепенно пещера становится шире. Вдруг капитан ударяется обо что-то ногой, и что-то мягко катится перед ним. Он нагибается и видит в слабом свете настоящий человеческий череп. Сделав еще несколько шагов, он чувствует, как что-то хватает его за ноги, цепляется за руки, за голову. Придя в себя от испуга, видит, что это корни деревьев и лианы, свисавшие со стен. Узкий тоннель, по которому шел капитан, закончился здесь большой круглой пещерой. Снаружи в нее через громадное, словно раскрытый рот лягушки, отверстие, вползла всякая растительность — кусты и, словно гадюки, извивающиеся по полу корни больших деревьев, растущих тут же у входа. Капитан смотрит по углам и вдруг видит большой сундук, покрытый пылью, сухими ветками. Очистив сундук от веток, он пытается подвинуть его поближе к свету, но не может — сундук из железа. И открыть его не удастся, замок прочный. Возможно, это и есть сокровища пиратов?»

Нет на Абруже пиратов — просто там живут рыбаки. И обезьян нет и пальм. Никаких хищных птиц тоже нет. Я знал, что это просто маленький остров, где живут обыкновенные рыбаки, но было так интересно думать, что это прибежище пиратов, и я так к этому привык, что мне казалось, будто это так и есть. А вот доктор говорит, что это фантазия. Он говорит, что хорошо, когда у человека есть фантазия, но плохо, если ее чересчур много. Он сказал, что у меня — чересчур. Но это ладно. Вот Свен и Вальдур... Предатели. Трусы ничтожные. Всегда так: храбрые индейцы до тех пор, пока не дойдет до дела.

Это была плоскодонка Андреса Мальгарда, отца Вииве. А Вииве — это само собой понятно — девчонка. Когда я еще совсем ничего не соображал, мы иногда с ней играли. Потом больше дрались. Паршивая девчонка. Ее отец — старый капитан Мальгард — не рыбак, но корчит из себя морского волка, ни с кем из рыбаков и знаться не хочет. Живут эти Мальгарды в большом красивом доме. У них есть две большие яхты и еще моторки. Мы-то стащили захудалую лодчонку, да к тому же она оказалась дырявой. Стащить лодку я

поручил им — Свену и Вальдур, команде. Они пригнали плоскодонку в камьши у Каменной Дороги. Стянули и весла. Я забрал все оружие — ятаган и два пистолета, на всякий случай веревку и большую банку из-под килек. Вальдур принес компас, Свен — бинокль. Это мы приготовили еще с вечера, договорились отплыть утром.

Пришел я утром на место — их нет. Ждал, пока не посинел от холода. Как назло, такой поднялся ветер — жуть. Волны вздыбились и шипели. Небо затянуло большими черными тучами. Наконец гаврики появились. Но Вальдур, опасливо косясь на меня, ту же заявил, что у него мама заболела и ему велено идти в аптеку, так что... Извини, мол. А Свен сказал, что если Вальдур не пойдет, то и он тоже не пойдет.

— Не хотите, я один пойду, — сказал я им. Они тут же поспешили смгьтсья, унося с собой и бинокль и компас. Компас был мне не нужен, да и бинокль тоже, потому что остров Абурка и так хорошо виден. Забрался я в лодку, сел на весла. Лодку сразу начало кидать, как скорлупку, и ветер погнал ее в открытое море.

Поначалу я кое-как справлялся, но через пару часов устал, пыгался обратно грести, но ветер дул так сильно, что я вертелся на одном месте.

Тогда, чтобы не унесло совсем в открытое море, я начал лавировать: против волны и ветра вверх — и снова по течению вниз, ближе к острову. Вдруг в лодке появилась вода. Она быстро-быстро прибавлялась. Забрав в лодку весла, я банкой из-под килек стал вычерпывать воду. И тогда заметил в дне большущие щели. Эти собачьи души и дыр не заделали! Затыкать их было нечем и некогда, потому что, пока я вычерпывал воду, ветер понес меня черт знает куда. Схватил весла и изо всех сил стал тянуть лодку опять вверх. А руки так устали... Большие волдыри на ладонях начали лопаться, было больно, а грести надо, не то утонешь. Страшно стало. Чем заткнуть щели! Разорвал рубашку — одну дыру заделал, а их еще три. Разорвал и брюки, и трусы, и майку. Вода перестала прибывать. Взялся за весла и давай тянуть обратно. Так устал, так устал, а остров вроде и не приближался.

Ветер подул сильнее, и тут я уже ничего не соображал. Только и понимал, вот идет волна, и мне нужно держать лодку

к ней носом, иначе опрокинет. И надо что есть силы тянуть ее против ветра, чтобы не унесло в море. Уже стало совсем темно, сколько прошло времени — я не знал. Однако я заметил, что остров стал виден отчетливее, и от этого силы вроде прибавилось. Я уже совсем не чувствовал рук, греб механически. Прошло еще много-много часов, и вдруг мне показалось, что волны стали меньше, а остров Абука уже совсем близко. Из последних сил я налег на весла, и вот лодку выбросило на песчаный берег.

Я вылез из лодки. Ноги дрожали, и сам я дрожал. Голова кружилась, перед глазами маячили какие-то тени, какие-то нити. Недалеко темнел лес, обыкновенный, ореховый. Конечно, никаких пальм и обезьян на острове не оказалось. Но это мне и так было известно. Только сейчас мне не до пальм было. Я побрел, еле передвигая ноги, в лес. Было страшно жарко. Я все шел, шел, ветки меня царапали, голого, кольнуло чем-то в ногу. Потом я вроде споткнулся и упал. А потом появились эти страшные птицы и начали бить меня клювами. Я закричал. Кричал долго и очень сильно, но птицы не испугались, все били меня по голове. Я заплакал. И тогда пришли они, пираты. С бородами, в шкурах — страшные. Но они мне ничего не сделали плохого. Один большой пират поднял меня и понес куда-то. Затем все куда-то пропали, и я не помню, что было дальше.

Когда я проснулся, было светло. Светило солнце. Я лежал на старой деревянной кровати, укрытый овчиной. Но мне было теперь очень холодно. Я дрожал. Так болели ладони, словно я держал в руках горящие угли. Ко мне подошли пираты, но они были вовсе не пираты, а обыкновенные рыбаки. Мне дали пить.

Я лежал много дней в этом доме, и одна старенькая, совсем седая старушка все время сидела около меня. Потом за мной пришли незнакомые люди с носилками, понесли меня на большой мотобот и привезли домой. Теперь у меня температура очень высокая. Каждый день приходит доктор, тот самый, который говорил, что, когда у человека есть фантазия, — это хорошо. Мама меня простила, она хорошая.

Я, конечно, помогаю маме, все делаю, что она велит, но все-таки из-за меня ей много приходится плакать. А ведь я не назло это делаю. Как-то само собой получается. Недавно с Морским Козлом подрались. Он здоровее меня намного, и мне крепко

досталось, но он толстый и не очень ловкий — ему тоже перепало. Я пришел домой в порванных брюках и в синяках. Мама плакала. Ходили с Оленьим Рогом за яблоками к Иосифу Канарику. Сад у него большой, яблок — какие хочешь. Попались. Канарик пригласил мать и выпорол нас при ней, и она опять плакала. Вчера собрали в роще за Тори-рекой сходку вождей, а тут нас атаковали ребята из банды «Зеленый Змей». У нас с ними постоянная война. Они атаковали, начали бросать камни, и мы тоже. Мне в голову угодил камень. По шее потекло что-то теплое, и я прибежал домой. Мама, конечно, опять плакала. Она не ругается, только сразу в слезы, а это еще хуже. Лучше бы уж ругалась.

Скоро осень. Опять в школу. Опять в третий класс... Ах, как не хочется в школу. Велло говорит: «Неужели не надоели тебе все эти склонения, спряжения, деления, умножения, без которых умному человеку прожить намного проще? Надоело. Еще как! Только немецкий, говорит Велло, заслуживает внимания — может пригодиться. Но и немецкий мне тоже надоел. Терпеть не могу. Как войдет наша «немка» в класс, в очках, толстая, вся черная, голос у нее низкий, и хрипит она к тому же; как проквакает своим низким, лягушачьим голосом: «гутен тааг, киндер», — так весь класс фыркнет и, стараясь подражать ей, растягивает слова: «Гутен та-а-г». А некоторые нарочно при этом говорят не «тааг», как положено, а «кваак», и все трясутся в беззвучном смехе. Надоело все это. Единственное, что мне нравится, — это сочинения. За них у меня всегда пятерки. Учителя читают их вслух всему классу. Остальное же — арифметические задачки и все прочее — мура, не то чтобы уж очень трудно, но скучно. Самая скучная писанина на свете. Велло говорит, что у него есть великолепный план. Он, разумеется, предлагает удрать в Германию.

— Не вечно же тебе торчать, — говорит он, — у маминой юбки.

И он вроде прав. К тому же есть у него на примете еще один подходящий парень — будет нас трое. Удерем, наверное.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Год 1944

В день отъезда

Мы пришли в порт за три часа до отхода баржи и, дожидаясь ее, разгуливали по пристани, глаза на суда, стоявшие на рейде. Нас трое: Велло, Эндл и я. Из нас самый сильный Велло, самый образованный Эндл и самый ловкий я.

Через год мне исполнится четырнадцать лет. Но нам ждать некогда, и мы изменили немного одну цифру в моей метрике. Сделал это Эндл. Он, оказывается, мастак на такие дела. И теперь меня отпускают в Германию. Собственно, отпускает лишь комендатура, а мама ничего не знает. Когда я подал ей чистый лист бумаги и попросил показать, как она расписывается — просто так, любопытства ради, — она не подозревала, что мы потом на этом листе напишем заявление от ее имени. В заявлении она мне, своему сыну, разрешает уехать в Германию, к «проживающим там родственникам»... Такие же заявления сделали себе Эндл и Велло. Вместе с метриками мы понесли эти заявления в комендатуру и получили там необходимые для выезда документы. Потом с рюкзаками собрались у старого пруда в парке и оттуда зашагали в порт Роомассааре.

На этот раз нас не поймают, не вернут. Скоро придет баржа и доставит нас на один из стоявших на рейде огромных кораблей. До этого еще по несколько слов о моих друзьях.

Велло шестнадцать лет. Он очень сильный, здорово бегает и плавает, как дельфин. Он, конечно, не такой образованный, как Эндл, но хороший товарищ, смелый, репительный. У него остаются дома мама, брат, бабушка и целая орава теток. Он мой давний друг мечтает о приключениях и тоже обожает книги про Шерлока Холмса и Пинкертона.

Эндл. Этого длинного, худого типа привел Велло и сказал, что он нам необходим. Он совсем не умеет плавать и боится воды как черт ладана, и бегать тоже не умеет. Но он говорит по-немецки и имеет кое-какие понятия о географии, а нам это

очень нужно. Особого интереса к приключениям я у него не заметил и, что его гонит на чужбину, не понимаю. К тому же он труслив, даже яблоки боится красть. И, видно, маменькин сынок: вечно говорит о своей маме.

В Германию мы едем для того, чтобы оттуда двинуться в Австрию. Там перейдем Альпы и — в Швейцарию. Из Швейцарии — в Африку, а оттуда в Америку.

Куда дальше, еще не знаю, там видно будет. А пока прощай, Сааремаа — остров мой родной. И ты, мама, прощай, еще увидимся.

Садоводством я интересуюсь только осенью, когда созревают яблоки и другие фрукты. Все остальное, что связано с этим не очень меня занимает. И все-таки мне и Велло сейчас приходится заниматься именно «остальным», то есть рыться в земле и возиться с тачками. Глупая история! Ведь не для того же я тонул в море, чтобы сделаться паршивым навозным жуком. Что-то мне наши дорогие союзники не нравятся: где это видано — я, сын эстонского легионера, который сражается за новую Европу и свободу Эстонии на Восточном фронте, должен рыться в земле, как последний раб, у какого-то противного желтоглазого немца?! Где же справедливость?! Но он еще не знает, с кем имеет дело, этот желтоглазый индюк, возомнивший себя великим плантатором. Мы еще зададим ему!

Вместе с моими ногами на территорию Германии ступили еще ноги Велло. Длинные же ноги Эндла остались на родине вместе с ним.

Еще на рейде, на палубе огромного океанского парохода с нашим образованным другом стало твориться что-то непонятное: он вдруг стал кружить по палубе, словно одержимый. Мы с Велло, любуясь морем, посматривая на родной город, сначала не обращали на это внимания, думали — он просто гуляет. Но прогулка эта не прекращалась и стала казаться подозрительной. Стемнело. В городе, в порту и на корабле зажглись огни. А он все бегал. Мы подумали — не сошел ли он с ума? Но нет, он просто струсил. Попав на палубу парохода, сообразил, что это вовсе не шутка, что пароход уплывает и увезет его черт знает куда. Бьют может, влетят самолеты и пароход потопят, а он не умеет плавать и тогда, бедняга, никогда больше не увидит маму. Он был в отчаянии, а мы не знали, что с ним делать.

Всех нас выручила его мама, каким-то образом узнавшая о намерении любимого сыночка и вовремя прибывшая в порт разыскивать его. К пароходу прислали катер, и Эндла сняли. Он ушел, не попрощавшись с нами; и, видимо, здорово был рад, что так легко отделался. И мы тоже, хотя потеряли единственного знатока немецкого языка, остались довольны. Спуститься на катер он должен был по штормтрапу, то есть по веревочной лестнице. Это было нелегко — пароход сильно качало в темноте. Он вылез за борт, немного спустился и, судорожно вцепившись в лестницу, остановился. Никакие уговоры не помогли. Тогда к нему с катера поднялся матрос и потащил его, скулящего, вниз. Я не уважаю трусливых людей, как бы образованны они ни были.

Становилось холодно. Немного потолкавшись среди пассажиров, мы спустились в общую каюту, или попросту в трюм, и завалились спать. Я долго не мог уснуть, вспоминались мать, и... отец тоже. Утром рано снялись с якоря, а затем взорвались.

Это была какая-то бродячая мина. По-видимому, наша, то есть немецкая. Пароход попал на нее и взорвался. Я и Велю в это время весьма уютно устроились на металлических сетках, словно на качелях, наблюдали за всем вокруг и мечтали о том, как примерно через двадцать лет вернемся на родину, конечно, на своей яхте, богатые, изъездив весь мир, пережив уйму замечательных приключений. По палубе сновали пассажиры — военные, гражданские, взрослые и дети; около грузовых машин, что рядами стояли на палубе, копошились шоферы; матрос-немец наигрывал на аккордеоне какую-то чувствительную мелодию. Спереди и сзади нашего парохода ровной линией шли корабли — все было совершенно нормально. Но вдруг автомобили поднялись на дыбы, и я увидел в воздухе людей вверх ногами... Тут же заметил, что и сам нахожусь в воздухе, и тогда раздался страшный грохот.

Через мгновение я очутился под водой. Вынырнув, сообразил, что от тонущего корабля надо держаться подальше (так учил еще капитан Андрес с Рухну), и изо всех сил поплыл в сторону от него. А когда обернулся, чтобы взглянуть на пароход, его уже не было. В море были видны барахтающиеся люди и много всякого хлама — ящиков, досок, даже какая-то собака скулила где-то в волнах. Вдали стояли корабли. Увидев шлюпки, подбирающие утопающих, я стал кричать. Меня заметили и

подобрали. На корабле, куда доставляли спасенных, я встретил Велло. Мы были мокрые, дрожали от холода, но нам вовсе не было страшно. В большой каюте на горячих трубах высушили одежду и записные книжки, получившие вместе с нами морское крещение.

В Данциг прибыли рано утром. Все пассажиры, помилованные Богом, собрались на палубе и приветствовали Германию. Они пели: «Deutschland, Deutschland uber alles!» — «Германия, Германия превыше всего!». Мы тоже пели, как умели. В порту, в длинном сером здании, всем приезжим выдали продовольственные карточки и произвели обмен оккупационных марок на рейхсмарки.

В Аугсбург мы приехали с пустыми карманами и желудками. На двоих знали по-немецки три слова: их вайс нихт (я не знаю). И совершенно не представляли, куда податься. Поэтому околачивались на вокзале. Вечерами промышляли в садах, а спали в зале ожидания. Но в Аугсбург мы приехали не отсыпаться: отсюда мы должны начать штурм Альп, перелезть через них и очутиться в Швейцарии. Перейти Альпы, питаюсь лишь яблоками, разумеется, невозможно. Мы решили что-то где-то раздобыть.

Однажды, когда, толкаясь среди пассажиров, я высматривал, нельзя ли что-нибудь приобрести, ко мне подошли два человека в серо-зеленых шинелях и что-то у меня спросили по-немецки. Я, разумеется, сказал: «Их вайс нихт». Это, по-видимому, не удовлетворило их, они взяли меня за руки и повели. В пути нам встретился Велло, он пошел за мной. Нас привели в полицию, проверили документы, задавая бесчисленные вопросы, на которые мы однообразно отвечали «их вайс нихт». Кое-как выяснили, кто мы такие. Затем повели в другое заведение и там продали в рабство этому желтоглазому «плантатору».

Заведение, где нас продали, называется «Арбайтсамт». Нас привели в зал, где за маленькими столиками выстукивали на машинках раскрашенные девицы, посадили на скамью и при помощи мимики, как глухонемым, объяснили, чтобы мы сидели и ждали. Просидели мы на этой дурацкой скамье битых два часа, потом в зал стали заходить разные господа. Они рассматривали нас, выясняли возраст и совещались о чем-то с толстым человеком, который подводил их к нам. Потом они ушли, а

толстый человек позвонил куда-то по телефону и, поглядывая на нас, долго о чем-то говорил. А потом пришли другие господа и опять нам задавали разные вопросы, и опять мы говорили: «Их вайс нихт».

Одним за большой рост и явную силу нравился Велло; другим, неизвестно за что, — я. Мы же решили не расставаться и соглашались продаваться лишь оптом.

Пришел военный, офицер, пожелавший приобрести меня; господин с брюшком захотел Велло, худосенькая черная дама пожелала меня, другая захотела Велло; и потом был ряд покупателей, но все хотели приобрести Велло, а я никому не был нужен. Наконец к вечеру, когда мы всем надоели бесконечными «их вайс нихт», основательно проголодались и устали сами, пришел господин с рыжей бородой и желтыми глазами. Он, не торгуясь, забрал нас обоих. Нам было все равно, хоть к черту в зубы. Господин живет на окраине города, он садовник. Мы не единственные рабы этого «плантатора». Остальные ребята — семеро поляков, трое не то русских, не то украинцев и двое азиатов — работают здесь уже давно. Как они сюда попали, не знаю.

С утра до вечера работаем в садах. Распорядок дня таков: утром, в шесть часов, встаем, умываемся, завтракаем — хлеб, кусочек сыра, черный кофе. Потом получаем инструменты и работу; потом труд до вечера; потом полоскаем наши морды, поедим «гемюзе» (овощи) и ложимся спать. Так было до нас и, вероятно, будет после нас.

Ах, как хочется что-нибудь погрызть, хоть черненьких сухариков... Сидим в зале ожидания на вокзале. Вокруг на столах лежит еда, от звона ложек, от чавканья жующих вокруг людей моему желудку делается больно. Напротив меня сидит Велло. Мы два дня ничего не ели. Яблок в садах уже нет, милостыню просить мы не хотим, да и вряд ли кто даст. От садовника мы сбежали. Иначе и быть не могло. Вместе с нами ушли и остальные ребята, только они пошли куда-то на север. Перед уходом всей оравой нагрянули в кладовую «плантатора» и опустошили ее. Утром я и Велло бодро шагали по тропинке, рядом с весело плещущимся о берег Дунаем, к Альпам. В наших мешках было много вкусных вещей, животы набиты до отказа, и настроение, следовательно, хорошее. Впереди синели горы, и

мы прикидывали, за сколько времени доберемся до них. Ночевали в кустах, завернувшись в одно одеяло. Прошагав так два дня, заблудились, стали искать проход через буреломы и трясины. Блуждали неделю, но никакого прохода не нашли. Ободранные, усталые и злые вернулись кое-как в Аугсбург, так и не побывав в горах...

Мы, конечно, не вернулись к садовнику и продаваться в «Арбайтсамт» тоже не пошли. Ночью на товарняке выехали в Берлин, оттуда под вагонами — грязные, голодные — добрались до Данцига. Честно говоря, мы приехали сюда, чтобы любыми путями уехать домой. Только уехать мы не можем. Порт окружен колючей проволокой и охраняется так, что не проскользнет даже мышь. Бродили мы вокруг порта, словно голодные собаки, и, убедившись, что уехать обратно невозможно, засели на вокзале, чтобы подумать о том, как жить дальше.

Находимся в лагере беженцев. Но завтра отсюда куда-то уедем. Куда — не знаем. Встретил здесь знакомую семью из Тори, семью капитана Мальгарда, с дочерью которого, Вииве, не раз дрались. Только сейчас мне почему-то кажется, что она вообще-то ничего. Стоим с ней в очередях за супом, за хлебом, и она говорит, что они, Мальгарды, приехали сюда на всякий случай, русских на острове еще нет.

Мы с Велло вступили добровольцами в армию — в люфтваффе. Завербовались. Это вспомогательные части авиации. Отсюда нас куда-то повезут, там получим красивые серые мундиры, оружие, научат воевать, возможно, будем летать. Всех нас отсюда поедет тридцать человек. Остальные ребята почти такая же мелюзга, как мы, но есть и старики — за двадцать лет. Кто знает, может, это и есть маленькое начало большого дела? Мне немного грустно, что скоро придется расстаться с Вииве.

Прошел месяц с тех пор, как я приехал в лагерь люфтваффе. Не стану описывать, как нас, группу голодранцев, вывели из готенхафенского лагеря беженцев, привели на вокзал и посадили в вагон. Перед тем нам выдали по буханке хлеба и мясные консервы. Мы их сразу же съели, так что в Эгерь прибыли голодными как волки. Эгерь — городишко в Чехословакии. Приехали ночью. Построившись в колонну, шли по пустым темным улицам города. Потом вышли за город, еще километра четыре по шоссе. Из полосатой будки у ворот вышел вооружен-

ный солдат, пересчитал нас и пропел на территорию спящего лагеря. Нас привели в пустой барак и сказали, что это блок и что в нем мы должны дожидаться утра. Мы завопили, что голодные, на это никто не обратил внимания. Но, когда стали ложиться спать, два маленьких солдата принесли большой деревянный ушат вареной картошки в мундире и сказали, что это «абендэссен». Мы дружно, словно поросята, зачавкали. Затем разместились на полу и уснули крепким солдатским сном. Утром нас повели в баню, потом в столовую, где выдали ложки и котелки. Столовая — большой блок с вывеской: «Столовая № 6». За столовой — склад, где после завтрака нам начали выдавать мундиры. Полетели наши гражданские тряпки, и нате вам брюки, френчи, фуражки, сапоги... Здесь обнаружилось, что для моей персоны мундира нет. Мундиры вообще были, но в каждый из них можно было вместить двух таких, как я. Пришлось смириться — меньшего не нашли. Сапоги тоже достались огромные, зато такие крепкие, что, думаю, они дождутся того времени, когда будут впору. Засучив штаны, я обулся, затем стал размышлять, что делать с рукавами, и в это время завывла сирена.

Вой сирены — явление обычное, было бы удивительно, если бы хоть один день прошел без него. Нас погнали к воротам, через них совершенно спокойно выходил, колонна за колонной, весь лагерь. Зрелище мы представляли, вероятно, комичное — ремней получить не успели, и встретили нас взрывом безудержного смеха. Дальше нас погнали в поле, причем неизвестно зачем то и дело заставляли ложиться где попало, вскакивать, бежать и снова ложиться. И так без конца. Самолеты гудели в невидимой высоте, и до нас им не было никакого дела. А нас все гоняли и гоняли... Очевидно, это делалось для того, чтобы запачкать наши новенькие мундиры. Не понимая команды на немецком языке, я вел себя востоящим ослом: когда приказывали ложиться — бежал, и, наоборот, когда нужно было бежать — падал. За это на мою голову посыпались проклятия, но я их, к счастью, не понимал тоже. И еще пинки в казенную часть, которые я, к сожалению, ощущал. Но еще большие мучения ждали нас в лагере, когда после тревоги и чистки мундиров мы построились на проверку. Мы очень спешили и, конечно, плохо почистили мундиры. И снова нас гоняли, теперь вокруг блоков, заставляя бегать и падать. А потом опять чистили мундиры, а

потом опять бегали и падали, и так бесконечно. Когда наконец вечером я добрался до постели, моей последней мыслью было: чертовски нелегко быть военным.

Тяжелая служба. Ну а как же иначе! Разве может солдатская служба быть легкой? С этим надо мириться. Только вот с харчами плоховато, и мы крадем потихоньку, где что можем. Занятия пока несложные: маршируем, бегаем, падаем. С Велло меня разлучили. Его, как старшего, определили в другую группу, а я попал к маленьким. Тоже мне определили... В моей группе сорок человек — все эстонцы. Вообще здесь всех рас определяют по национальностям, а сколько их тут — не берусь сказать. Есть киргизы и монголы, узбеки и татары, латыши, литовцы и еще много ребят, о которых я не знал, кто они.

Но что интересно — есть русские. Говорят, их угнали из России, а потом, чтобы не умереть с голоду, они согласились поступить в люфтваффе. Неужели они будут воевать против своих?! Есть еще бельгийцы и голландцы и, наконец, финны и эстонцы. Все мы живем недружной семьей: деремся. Драки знатные! Когда дерутся латыши с литовцами или там кто еще, эстонцы не вмешиваются. Но если кто дерется с финнами — эстонцы идут на помощь финнам. И наоборот. Там примажутся другие национальности, и драка превращается в кровавую бойню. Начальство в эти драки вмешивается лишь потом, наказывая наиболее пострадавших. Рождаются драки обычно в кантине (пивной) и кончаются в ревире (больнице), но бывает, что и в морге.

Ходим и в город, в кино или просто гулять. В город идем всей группой, построившись, с песнями. Перед тем нам выдают билеты на киносеанс и какие-то непонятные беленькие резино-вые кружочки. Зачем они, мы не знаем, но если их надуть, получаются шарики, а когда их раздавишь, раздается выстрел, как из настоящей винтовки. Некоторые, принимая это за жевательную резинку, пытались жевать, но они оказались безвкусной дрянью. Обычно нас ведут сразу в какой-нибудь кинотеатр, а после сеанса каждый может идти куда хочет — до двенадцати ночи.

Около кинотеатра всегда стоят размалеванные женщины всех возрастов, они, как акулы на мелких рыбешек, набрасываются на наш строй, бесцеремонно выбирая себе кавалеров среди маленьких мужчин. Фильмы показывают любов-

ные или военные, про Восточный фронт, военнопленных.

Веселье весельем, но что нас не вооружают, это свинство. Иногда показывают винтовку, говорят, что это винтовка, и объясняют, как с ней обращаться. К черту! И без того всем известно, что винтовка — не ложка, что из нее стреляют. Однажды я, как сумел, поставил вопрос ребром, то есть спросил у унтера, почему нам не дают винтовок. Он заржал, как мерин.

— Пуф, пуф — унд русиш капут... — сказал и что-то там еще лопотал. Один парень перевел, что он советует мне сначала перерасти эту винтовку. Осел! Я уверен, что сумею воевать не хуже его. Еще неизвестно, кто из нас на что способен. Я как-никак сын эстонского легионера!

Эгерь

Настало время, когда нас вооружили и повели воевать. Противник наш — судетская глина, оружие — лопаты. Веселье кончилось.

Целый день роем окопы, делаем повороты — линкс, рехтс, бегаем как ошалелые, ползаем как змеи, а в результате выглядим как свиньи. Чистыми бываем только во время проверок. И голодные к тому же как волки. Это днем. А ночью по нескольку раз бегаем от налетов за пять километров в поле, причем таскаем на себе весь хлам, именуемый «солдатской амуницией», и, между прочим, лопаты...

По каким-то соображениям меня перевели в санитарную группу лагеря. Это очень хорошо. Члены этой группы пользуются кое-какими привилегиями, живут чисто, и, что главное, их не мучают маршировкой, не говоря уже о том, что они не роют окопы и траншеи. Зато их мучают другим: они должны безупречно вскидывать руку и орать: «Хайль Гитлер!» Это репетируется повседневно, потому что члены санитарной группы патрулируют в городе, где разгуливает всякое пузатое начальство.

Наши обязанности: дежурство в лагере, в городе и забота о том, чтобы не умереть с голоду. Санитарный патруль состоит из двух человек с металлическими складными носилками, на рукавах мы носим белые повязки с красным крестом. Дежурная смена работает по восемь часов.

Иногда бывают уроки, учимся делать повязки, укладывать раненого на носилки и так далее. Когда выпадают городские дежурства, идем к бауэрам, проживающим вблизи города, и работаем за харчи. Пока нам нечего было бояться, Эгерь не бомбили, хотя вражеские самолеты, поднимая панику в лагере и городе, с утра до ночи летали высоко в небе. Эгерь не бомбили, потому что в нем не было ничего привлекательного для врагов, ведь аэродромы находятся за городом. Мы знали, что ни иваны, ни томми, ни янки нам ничего плохого не сделают.

Но однажды, когда я и мой напарник Риз шли в город на дежурство, завьли сирены. Самолеты, почти невидимые, ползли по небосклону. Было ясно, что они, как всегда, летят дальше на север — на Берлин. Вот уже их не видно, еще чуть-чуть слышны, вот и отбой. Люди вышли из убежищ и разошлись по домам. Мы тоже, волоча надоевшие носилки, поплелись на поиски развлечений.

Вдруг, непонятно как и откуда, снова появились самолеты. Даже не могу сказать, что появилось раньше: бомбы или самолеты. Не было тревоги. Внезапно взрывы, грохот, шум, крики обезумевших от страха, бегущих в панике людей. Одна старенькая женщина с целой оравой малышей бежала, таща их, орущих, за собой. Они спотыкались, не успевали за ней, и она была в отчаянии. Риз, мгновенно разобрав носилки, стал укладывать на них двух самых маленьких. Мы помогли семейству добраться до убежища, но войти в него было невозможно. У входа, давя друг друга, беспорядочно толкались сотни людей. Вокруг гремело и визжало; с опозданием завьли сирены, нагоняя жуть; горели дома, деревья и даже асфальт. Город был в дыму. Самолеты не были видны, бомбы сыпались словно дождь с неба. Когда наконец удалось войти в убежище, мы занесли детей, а сами поднялись обратно: ведь такое не увидишь каждый день! У входа стояли пожарники и полицейские, не выпуская никого, принимая опоздавших. Запыхавшись, пробежал сухопарый немец, офицер. Он был очень бледен и, мне показалось, дрожал. Заметив нас, он стремительно подскочил и, схватив меня за рукав, что-то объясняя, потащил за собой. Мы пустились бежать за ним по горящим улицам города. Иногда, когда слышался зловеющий визг, бросались на землю и снова бежали. Повсюду валялись люди, и нельзя было понять, живые или мертвые.

Наконец забежали во двор полуразвалившегося дома. Прямо во дворе, на подстеленной шинели, увидели белокурую женщину. Лицо ее было в крови и измазано сажей, она тихо стонала. Положили ее осторожно на носилки и пошли обратно.

Страшен был этот путь. Кругом грохот, жарко от горящих домов. Мы, пригибаясь, двигались к убежищу. Осталась лишь одна улица и один поворот, когда на нас с грохотом повалилась стена. Я упал и тотчас услышал страшный крик. Поднявшись, увидел: Риз лежит на ногах у женщины. Оба были неподвижны — он мертв, она в обмороке. Возле, остолбенев, стоял немец. Здесь же валялась большая цементная глыба, убившая Риза, сломавшая ноги женщине. Освободив носилки от тела Риза, мы с немцем донесли его даму до убежища, где ее приняли врачи. Я остался в убежище до конца налета.

На другой день нас снова направили в город, на сей раз подбирать мертвых. Это была исключительно мерзкая работа. Трупы были страшные, порой на носилках несли лишь кучу рук и ног. Мертвых было, пожалуй, больше, чем раненых. Они были везде: в развалинах, в огородах, плавали в реке Эгере. Работали до вечера. Устаю очень, спать стал мертвым сном, тяжело. Да, теперь не до проказ — идет война.

Кормят нас лучше, но я этого почти не замечаю. Как-то, когда я обедал в столовой, ко мне подошел пожилой офицер и спросил, сколько мне лет. Он показался мне добрым, и я сказал правду. И угадал. Он покачал головой, вынул из кармана офицерские талоны на питание, протянул мне и, не оглянувшись, ушел.

Дней десять работали на развалинах, извлекая полустгнившие трупы и всякую всячину. Мне кажется, что я насквозь провонял мертвечиной.

Около полуразвалившегося блока, где хранят солому для матрацев, толпа. Подхожу ближе, слышу смех. Оказывается, какой-то новичок залез в этот блок и спрятался в солому. Три дня пролежал там без еды и воды. Непонятно, зачем? Вот его выгнали — смешной, напуганный, тарасит глаза, грязный, на одежде солома. Все смеются. Говорят, он спрятался потому, что над ним в блоке издевались из-за того, что он каждую ночь мочился в постель. Сколько бы он там прятался, если бы не нашли? Умер бы с голоду... А он плачет, говорит, что болен.

Жалко что-то его, но нельзя быть таким плаксою, если ты солдат.

Лагерь в Эгере растащили по всем частям света. Уехал куда-то Велло. Санитарная группа вместе с другими частями авиации прибыла в порт, носивший в честь маршала Роммеля его имя. Поездка сюда, в телячьих вагонах, была нудной и голодной. Воровали, что могли. Я подружился с бельгийцем, с которым в Эгере таскал умирающих и мертвых. Он там, оказывается, не дремал и успешно снимал часы и кольца с мертвых, а теперь все это обменивал на съедобное. Конечно, брать у мертвых не совсем хорошо, но если разобраться — мертвому часы ни к чему, а живому есть надо. Его зовут Ральф, ему пятнадцать лет. В люфтваффе он вступил тоже добровольно: искал приключений.

Опять живем в лагере, окруженном колючей проволокой, только не в блоках, а в палатках. Вокруг песок и песок, жаркий ветер днем и холода ночью, а еще голод и жажда. Воду для мытья привозят с моря, пресную дают по норме, она здесь очень дорогая. На обед дают две картофелины, суп из ботвы и воды, хлеба — четыреста граммов на день. Как и в Эгере, роет окопы. Только теперь противник наш не глина, а камень или твердая как камень земля. Санитарная группа тоже роет — будь она проклята! Были отсюда побеги, но беглецов привели обратно, избили и загнали в штрафную группу.

Жить становится все труднее, просто невозможно терпеть. Неизвестно откуда нагрянула на нас какал-то эпидемия. Сначала по одному, по двое заболели ребята, а теперь умирают, как мухи зимой. Как уберечься, никто не знает. Что можно есть, чего нельзя — тоже не знаем. Понос. Люди чернеют, потом лежат, лежат и умирают. Несмотря на заразу, всех, кто стоит на ногах, выгоняют рыть окопы. Санитарная группа теперь роет могилы. Недавно я закопал своего партнера, Ральфа. С каждым днем работы для нас становится все больше, а нас — все меньше. Может, скоро и меня заркоют. Живем, будто на чужой планете. Писем никто не получает, книг никаких нет, и читать их, собственно, некогда. Над нами опять летают самолеты, бомбят порт, рейд и укрепления, которые мы строим. Мне очень хочется бежать, но я понимаю безнадежность этой затеи.

Когда ходим рыть ямы, берем с собой котелки и кипятим в них морскую воду, кладем в нее неизвестную мне очень душистую траву. Получается солоновато-кислая жидкость.

Из начальства в лагерь заходят лишь унтеры, выгонять нас на работу. Но скоро им некого будет выгонять: больше половины или умерли, или умирают, да и симулянтов наберется немало. В палатках грязь, вши, вонь, многие больные делают под себя. За ними ухаживаем мы. Изредка бывают фельдшера, дают бесполезную микстуру, сыплют хлорку в отхожие места. Питание стало лучше: консервы, сыр, даже молоко консервированное. Не помогает. Наверное, Бог нас за грехи карает... Вот Ральф обкрадывал мертвых — и я его зарыл.

Ну это, конечно, несерьезно. Тогда и меня настигла бы кара: еще в Курессааре в церкви я сбросил с хоров бутерброд на лысину попу, а он как-никак первый чиновник Бога.

Ем я теперь досьга, потому что помогаю больным умереть: пеленаю их, пою водой, отгоняю мух, и мне достаются их порции.

Вот и все приключения пока что...

Лежу в госпитале в городе Мариенбурге. Не знаю точно, где это, но, кажется, где-то в Польше, хотя ничего польского теперь здесь не видно. Чтобы выехать из Роммельгафена, пришлось немного схитрить. Чтобы скорее закончить строительство укреплений, привели партию свеженьких кандидатов на тот свет, так как из старых уже добрая половина сдохла, а остальные собирались подыхать и работать было уже почти некому. Прежде чем выпустить свеженьких в нашу цитадель поноса, приехала врачебная комиссия и начала выявлять больных и симулянтов. Больных сразу же вынесли из лагеря, погрузили на машины и вывезли из порта.

Мне пришла мысль лечь на носилки самому. По внешнему виду больные и здоровые мало отличались друг от друга, и поэтому врач, руководивший погрузкой больных, взглянув на мою искривленную физиономию, приказал поднять меня на машину.

Я лежал ни жив ни мертв и впервые пожалел, что непочтительно относился к попу в церкви — бутербродом кидался. Но бутерброд не камень, и Бог не злопамятен... Я счастливо доехал

с больными до Мариенбурга. Следуя моему примеру, приехали сюда еще два парня.

Что такое Куксен? Куксен — это небольшая деревня где-то недалеко от Мариенбурга. Здесь в старом двухэтажном каменном доме организовали что-то наподобие школы-интерната, в которой живем и занимаемся мы — гитлерюгенд.

На нас надели черные мундиры, выдали кортики и белые повязки с черной свастикой. У нас два руководителя, одного из них мы обязаны величать «господин директор». Фамилия его — Кройц¹, и для нас он истинный крест: маленький, черный, худой, язва!

Два раза в неделю бывают особые занятия, их проводит человек, приезжающий из Мариенбурга. На этих занятиях надо уметь подставлять противнику ногу, крутить его так, чтобы он взвыл; надо уметь неожиданно сбивать противника с ног, схватить его за горло мертвой хваткой, не поворачивая головы, видеть, что творится за твоей спиной; ходить неслышно, как кошка, и еще много всякого другого.

Нам показывают картины, на них изображены толпы людей. Мы должны на них мельком посмотреть и быстро объяснить увиденное: какие люди выделяются и т.д. Иногда нас водят в Мариенбург, там много магазинов, витрины заклеены бумажными крестами. На витринах выставлены товары, но мы видим не их.

«Когда идешь по улице, посмотри в витрины, в них, как в зеркалах, отражается все, что происходит вокруг...»

Мы обязаны видеть не то, что выставлено в витринах, а то, что отражается в стеклах. Из любого района города мы должны находить самый короткий путь до центра, не имея ни плана, ни карты. И должны определить наугад, сколько в каком доме приблизительно жителей. Чего мы только не должны знать и уметь...

Нам вся эта германизация надоела. Часто появляются нарисованные кем-то карикатуры на наших учителей и листовки с призывом: «Да здравствует Англия и Америка! Смерть немецким оккупантам!»

А вообще скучно.

¹ Крест (нем.).

Встретили Новый год, а затем задали, как мне кажется, стрекача от приближающегося Восточного фронта. Правда, нам часто говорят про наступление наших на Восточном фронте, но я не могу понять, для чего, наступая, отступать. Нас эвакуировали в маленькое курортное местечко — Остзее бад Даме. Ехали мы как гангстеры: порой я на ком-то сидел, порой стоял на одной ноге и, когда она уставала, повисал на ком попало, порой кто-то сидел на мне, а если у пассажиров из гражданских было что-нибудь съедобное — мы это съедали. И так всю дорогу. Поезда часто остававливались из-за самолетов, конечно, не немецких. Но в Остзее бад Даме мы все же прибыли и поселились в Вилла-Биркенхейм, в совершенно приличном заведении (до нашего вторжения). Имеются в нем и пуховые перины, так что по этой части все хорошо. Но насчет «уголовных» методов здесь плохо: директория нас хорошо знает, а местное население быстро сообразило, что к чему... Приходится подтягивать ремни, благо в них дырок хватает.

Однако роль гитлерюгенда нам уже порядком надоела. Особенно мне и двум моим товарищам. Мы решили от нее избавиться. Наш план таков: ночью удрать из Биркенхейма и идти на Фленсбург. Это большой портовый город километрах в шести от датской границы, которую мы намереемся перейти, ибо в Дании, по нашим соображениям, текут молочные реки, а хлеб растет булками на деревьях.

Если мир не без добрых людей, то и подлецов в нем немало. Нашелся человек, который, узнав о нашем замысле, сообщил об этому господину Кройцу. Директор нас всех троих арестовал, раздел догола и запер в карцер. У двери поставили вооруженного пожарной трубой часового.

Как мы, три голых мушкетера, провели ночь — говорить не стану. Что нам было холодно, ясно и без объяснений. Бегая взад-вперед, мы усиленно придумывали, как спастись. И ведь недаром говорят, что одна голова хорошо, а две — лучше. В нашем же распоряжении были три мудрых головы.

В камеру заглянула какая-то любознательная крыса, мы все трое ее заметили. Крыса, удовлетворив свою крысиную любознательность, убежала. Но в одной из мудрых голов зародилась воистину «крысиная» идея... В этой голове возникло соображение, что мы могли бы прогрызть... да хотя бы потолок. Идея

была провозглашена и разработана. Был найден гвоздь, затем один из нас, встав на плечи другого, начал им откусывать щепку за щепкой от досок потолка, вгрызаясь все глубже и глубже. Работали меняясь, нельзя сказать, что быстро, но не сомневался в успехе. Только как мы ни спешили, настало утро, а дыра все не была готова. Перед завтраком мы прибрали в камере и собрались у двери, чтобы не дать возможности обозреть потолок. Товарищи, принесшие завтрак, сообщили, что вся группа собирается к морю (чем-то заниматься) и остается лишь наша охрана, а она не имеет ничего против нашего ухода, если мы сможем уйти не через дверь. Мы продолжали лихорадочно работать, и скоро посыпались опилки, песок и всякая дрянь, а когда осела пыль, мы увидели в потолке дыру, через которую могла бы пролезть корова.

Скоро мы были на чердаке, откуда высунув языки на цыпочках спустились в помещение дирекции, где в поисках одежды взломали (сверх потребности) все шкафы и перевернули вверх ногами сундуки. А к ночи мы были уже далеко от Биркенхейма.

Опасаясь жандармерии и бродящих по всем дорогам патрулей, мы двигались ночью, отдыхая днем. Питаемся кроликами, которых промышляем ночами, мимоходом, и пицци этой, слава богу, хватает, благо немцы кроликов развели много. Иногда у более крупных бауэров останавливаемся на несколько дней, чтобы накопить жиру. Поселившись где-нибудь на чердаке, по ночам доим хозяйских коров, угощаемся в кладовых и не забываем заводить приятельские отношения с курами.

У одного такого бауэра нас случайно обнаружили польские военнопленные. Они предупредили, что вокруг идут повальные обыски — ищут дезертиров, и советовали нам смыться. Еще показали они листовку, сброшенную русским самолетом, прочитать ее мы не смогли, но поляки объяснили, что она разъясняет истинное положение Германии и призывает население восстать против обреченного гитлеровского режима, спасти культурные ценности и т.д. Ну, в этом мы мало разбирались, а намотали себе на ус лишь то, что нам полезно убираться пока не поздно.

Мы пришли на небольшую железнодорожную станцию, где стоял воинский эшелон. В одном из пустых вагонов я увидел

мешок с подозрительными выпуклостями. Я всем своим нутром почувствовал, что это хлеб. А мы — о боже! — сколько уже времени мы не ели хлеба! Я решил добыть хлеб. Ничего не сказав товарищам, отдал им свой рюкзак, попросил подождать и вернулся к вагону. Вокруг на перроне прохаживались солдаты, но все как будто были заняты самими собой. Убедившись, что за мной никто не следит, я осторожно просунул голову в вагон. В нем, растянувшись на нарах, спали несколько солдат. Я скользнул внутрь, тихонько подошел к мешку и развязал его. Он был полон симпатичных сереньких булок. Я уже протянул к ним руку, когда один из спящих вскочил и прыгнул на меня. Не успел я опомниться, как на мне сидели три дюжих немца. Беда возросла еще оттого, что в этот момент паровоз дал гудок и в вагон стали залезать другие немцы. Паровоз еще прогудел, дернул, и поезд пошел.

Чувствовал я себя очень скверно и думал: можно было, пожалуй, обойтись и без хлеба... Но, увы, немцы моих чувств не разгадали. Они затараторили о чем-то все сразу и так быстро, что мои познания в немецком языке оказались ничтожными. Потом они меня завертели, закрутили, и наконец я догадался, что мне приказывают раздеваться. Это было крайне нежелательно, однако внушительные тумаки не позволили долго раздумывать. Я разделся. Оставили на мне лишь кальсоны. Дальше последовала кара. Тумаками меня загнали под нары. Я был этим почти доволен и подумал было там устроиться, но тут меня схватили за ноги и вытащили. Затем в таком же порядке я должен был вскочить на верхние нары, с них соскочить и снова залезть под нары, и пошло, и пошло...

Я словно белка вскакивал на нары, с нар — под нары, из-под нар — на нары и опять под нары, и все быстрее («Шнеллер, шнеллер!»), быстрее, быстрее и все под градом свирепых тумачков. С меня ручьями тек пот, я задыхался. Тогда окончательно загнали меня под нары и оставили в покое. Скоро солдаты занялись своими делами и обо мне, казалось, забыли. А поезд все шел и шел, увозя меня черт знает куда.

Трудно сказать, сколько я уже провалился под нарами, когда поезд, загрохотав, остановился. Солдаты вскочили и высунулись сперва в дверь по правой стороне, а потом по левой, и там что-то привлекло их внимание. На дверь по правой стороне никто не смотрел, и я тихонько выскользнул из вагона. Поезд

стоял в поле. Вдали был виден лес, но добежать до него я не успел бы. В вагоне зашумели. Решив, что хватились меня, я нырнул под поезд и стал пробираться к паровозу. Забравшись на тендер паровоза, мигом зарылся в уголь и лежал тихо, как мышь. Кто-то поднялся на тендер, спустился, и наконец, загремев буферами, поезд пошел дальше.

Я вылез из угля. Что делать дальше? Куда деваться в таком наряде? Грязный, как дьявол... Пошел дождь, стало холодно. Вдруг послышался чей-то смех и насмешливый голос произнес: «Э-е! Ду, нигер, вас махст ду хиер?»¹ Я увидел у открытой двери кочегарки две черные рожи, с удивлением и смехом глядевшие на меня. «Ну, клайнес тойфель, марш р-райн!»² — скомандовал один из них, и я поспешно забрался в кочегарку. Греясь у топки, грызя хлеб с рыбой, я рассказал им свою историю, а ночью они укрыли мои ребра старой брезентовой курткой и, замедлив ход поезда, помогли сойти. Промелькнул последний вагон, и я зашагал к поселку.

Войти в село я побоялся. Утром, подкараулив, как из одного дома ушли хозяева, заглянул к ним в гости и навел там порядок по своему усмотрению. Подобрал себе одежду по вкусу, поел творага со сметаной и пошел во Фленсбург.

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Год 1945

Встретил своих друзей из Остзее бад. Они тоже наконец добрались до Фленсбурга.

Начинаем потихоньку привыкать к мирному времени, но это нелегко: грохот танков и тягачей все еще продолжается. Танки все прибывают и прибывают, уже весь город зашружен ими.

¹ Эй, негр, что ты тут делаешь?

² А ну, чертевок, входи!

Говорят, что их готовят против русских. Немцы на эти танки озираются так, словно они и не воевали с русскими, словно сочувствуют им. И не дай бог сказать какому-нибудь фрицу, что скоро будет «нойес криг», — он тебя убьет.

Живу теперь у Психа и его компании.

Из тюрьмы освобожденный человек, которого в городе хорошо знает и боится определенная категория людей. Величают его Псих, хотя он, конечно, совершенно здоров. Его друзья — Обезьяна, Человек во мраке и Хвост — готовы днем и ночью исполнить любое из его повелений. Псих — король ночных дельцов, не самых крупных, в порыве злости он способен чего доброго убить. Меня они прозвали «Лисенок». Я с ними очень подружился. Это уже почти то, о чем я читал в книжках. Только Психу не нравится, что я записываю свою жизнь. Он мне категорически запретил писать о некоторых подробностях. Но он зря беспокоится — я и сам не дурак.

Еще познакомился я с человеком, который тоже пользуется в ночном мире большим авторитетом, хотя имеет вполне приличное положение и в дневном. Это Чужкади, по прозвищу Жирный. Он, безусловно, жирный, но и мудрый. Чужкади — босс. Босс даже для таких, как Псих. Чужкади спекулирует, но сказать так при нем по меньшей мере неблагоразумно: он «предприниматель». У него в городе свой дом, и, если верить слухам, не один. Разъезжает он в новеньком «опель-капитане» и всегда в обществе высокооплачиваемых женщин. Ко мне он относится хорошо и зовет своим другом (майн юнге фройнд). Псих и все его подданные состоят у него на службе, и он очень заботится о благополучии полезных ему людей. Ведь это он раздобыл для Психа и его компании домик в портовом районе. Дом этот теперь — наша штаб-квартира. Пустует она лишь тогда, когда мы уходим по делам. Дела у нас самые разнообразные и чаще всего в районе Шлезвига.

Я стал певцом в портовом кабаре.

Как-то, когда у нас был Чужкади, я шел в нашем логове для себя и своей братии. Схватив меня за ухо, Чужкади сказал: «Уши у тебя что-то больше, но, должно быть, музыкальные», — и повел меня в «Гонолулу», хозяин которой пользовался иногда его услугами. Меня заставили продемонстрировать свое искус-

ство, и с тех пор я хожу (когда нет более важных дел) в кабаре и выступаю в сопровождении гитар. Посетители — матросы, солдаты, грузчики и проститутки из портовых борделей — относятся ко мне приветливо, даже сердечно.

Мои песни им, видимо, нравятся и, наверное, я тоже. За это я могу каждый вечер заказать себе столик и угощаться в свое удовольствие. И пока я угощаюсь, ко мне подходят поклонники моего таланта и мешают есть. Одним обязательно надо похлопать меня по плечу, другие во что бы то ни стало хотят выпить со мной, а третьи лезут целоваться. В кабаре меня зовут Буби, и, как бы там ни было, должен признаться — мне это очень лестно. Однако песни — это между прочим:

С Чухкади разъезжаем по многим городам в западной зоне, а иногда проникаем даже в Бранденбург. Цель таких поездок — познакомить меня с нужными людьми.

Торговлю Чухкади ведет широкою: табак, мыло, сельди, спирт, наркотики, кофе, и я не знаю «предпринимателей», равных ему. Что же касается спекуляции и спекулянтов, то Фленсбург кишит ими. Везде что-нибудь продают, покупают: в городе, порту, лагерях перемещенных лиц — всюду. Основные рынки, конечно, в лагерях.

С приходом англичан из беженцев — жителей Прибалтики, Украины, Польши и других образовались такие лагеря. Во Фленсбурге они разбросаны по различным районам города, каждая национальность отдельно. Управляет жизнью этих лагерей международная организация.

Эстонский лагерь находится вблизи железнодорожной станции и называется «Банхофлагер». Я часто бываю в лагере, иногда по поручению Психа или Чухкади, а когда просто прихожу повеселиться — поиграть в шахматы или на концерты.

В лагере есть школа и организация бойскаутов. Школа, разумеется, чепуха, но скауты носят форму, которая мне очень нравится. С ними занимаются офицеры бывшей эстонской армии, их здесь множество. Даже генерал доктор Лоссман навещает их. Откровенно говоря — хотел бы быть скаутом.

Год 1946

Пришли праздники — рождество и Новый год. Рождество — елка, Дед Мороз, постановка, танцы — ничего интересного. Еще кукольный театр: «Ганс Каспар у разбойников». Новый год...

Однако прежде надо написать кое о чем, что было в старом году.

В старом году погиб Псих — застрелили полицейские, конечно, «при деле». Закрылась наша штаб-квартира, и Лисенок, то есть я, поселился в Банхофлагере в бараке для семейных — ведь я еще «ребенок»... Вскоре после этого меня приняли в организацию бойскаутов, порядки которой сначала показались мне весьма строгими (скаут не должен воровать, пить, курить и еще черт знает что), но позже я убедился, что все эти требования можно и не выполнять... Однажды в клубе ко мне подошел элегантно одетый молодой человек и исключительно вежливо попросил уделить ему несколько минут.

Назвался он Джимми.

Джимми объяснил мне, что ему нужен партнер, что он давно меня знает как смышленого человека, которому пора уже приобретать более определенную квалификацию. Джимми — специалист по гостиницам и всяким ночлежным заведениям. Человек он тонкий и ремеслу обучает меня с терпением няньки. Только мне у него вроде и учиться нечему, все это мне намного более эффективно преподавали в Куксене, в школе гитлерюгенда. Когда я объяснил однажды Психу и всем другим, как пользоваться витринами, и показал, как нужно крутить ногу и все прочее, они здорово удивились и признали мой авторитет. Что касается Джимми, мне нравится, что он зовет меня по имени. Я с ним основательно подружился.

Ну, кажется, про старый год больше писать нечего.

Встречать Новый год во Фленсбурге собралось лучшее общество бывшей Эстонии. Приезжали гости из других городов нашей зоны и даже из других зон. Приезжали журналисты, артисты, военные, писатели и прочие деятели: наехали, конечно, и аферисты всех категорий, да и мелких плутов собралось немало. Готовиться к новогоднему балу начали сразу после рождественских праздников и для этого заняли театр. Начались

репетиции художественной самодеятельности, а мы, скауты, учились стоять в почетном карауле у национального флага и проходили краткие курсы обслуживания гостей в гардеробной, в буфете и так далее... Мы должны были заменять и кельнеров. Встретить Новый год в «Колоссеуме» могли, конечно, лишь самые достойные, избранные граждане бывшей Эстонии.

К моему неудовольствию, мне пришлось находиться в гардеробной, принимать пальто у господ и шубки у дам. Принимая сей товар, я размышлял о том, сколько стоило каждое пальто или каждая шубка в отдельности, и прикидывал, что удалось бы получить за всю эту гардеробную, если продать оптом...

Было весело воображать, как все эти расфуфыренные фрауэн будут отправляться отсюда без своих роскошных шубок.

Когда все гости приехали, я все же улизнул из гардеробной и приступил к роли кельнера. Разносил горячие и холодные блюда, напитки, торты и пирожные и наконец почувствовал себя совершенно свободно.

Убедившись, что это дело у меня здорово получается, я вздумал работать виртуозно. Еще в гардеробной я заметил одну привлекательную женскую физиономию, и теперь в зале мое внимание целиком принадлежало ей, было сосредоточено на ней, на той, сидевшей за столиком в центре зала между своими папа и мама. Наверное, наши симпатии были взаимны. Возможно, ее присутствие послужило причиной того, что я блестяще справлялся с обязанностями кельнера, — она меня вдохновляла.

Вот, набрав сразу четыре заказа пылят в соусе, я построил из них на подносе пирамиду и поплыл между столами. Тут я взглянул на милую рожницу, а она, черт ее побери, показала мне язык... Я до того был удивлен, что не заметил, как зацепился ногой за чей-то стул, и в следующий миг пылята полетели на одну кудрявую голову и разлетелись по всему столу, обливая соусом сидящих. Дамы закричали, запрыгали, господа тоже... зарычали. Я остолбенел, не зная, бежать или оставаться.

Тут я увидел смеющуюся виновницу катастрофы. Когда я обернулся к ней, она, не переставая смеяться, показала мне пальчиками на ладони бегущего человека... Мол, удирай. И я моментально, разумеется, совершенно спокойно, последовал этому совету. Не будет мне в этом году счастья.

С девушкой, показавшей мне язык на новогоднем балу, я познакомился. Ее звали Марви. Мы встречались, ходили в кино, в «Гонолулу», гуляли в парках, ездили в Мюрвика, а вечером, когда я ее провожал домой, целовались. Хорошо было...

Но любовь переполняла меня, и я рассказал о ней Джимми. Выслушав мою исповедь серьезно, он так же серьезно заявил: «Тебя, брат, попросту нужно сводить в одно местечко...» Я обиделся, и больше мы об этом не говорили. Только Джимми ничего не забывает. Прошло немного времени, была попойка, и я, совершенно не любящий спиртного, ухитрился, однако, напиться. И здесь мой друг состряпал дельце: он потащил меня на известную в порту улицу Счастья, в заведение, куда был вхож сам, где и меня приняли.

Я стал частым гостем в этом доме. Ко мне все относятся с исключительной заботой, особенно Магда, самая из них старшая, ее все зовут «Ди муттер дес Буби» (мать Буби — меня в этом доме тоже зовут Буби)... С Марви больше не встречаюсь, мне стало с нею как-то неловко, а то, что было с Магдой, кажется чудовищно невозможным с нею.

В моей жизни произошли маленькие изменения. Сначала я приобрел одну мамашу, а потом променял ее на одиннадцать других. Получилось так потому, что лагерным администраторам пришла в голову нелепая идея: собрать всех беспризорных и отправить их куда-то в неизвестность. Моей свободе угрожала опасность, и я не знал, как избежать ее. Зато это знал другой человек — бывший колонель (полковник) бывшей Эстонии герр Мези. Этот господин, наверное, давно за мной наблюдавший, однажды подошел ко мне и заявил, что его очень интересует моя судьба («бедного одинокого мальчишки»), что он не против усыновить меня, если, конечно, я соглашусь считать его за папу, его супругу — за маму, а его сыночка — за брата.

Что касается герра Мези, я с ним был знаком. Мы с ним встречались в шахматном клубе. Вроде ничего малый. Но его супруга не очень мне нравилась.

Мне, конечно, не хотелось терять волю и признать кого-то своим папой, но это была единственная возможность не попасть в лапы администрации; я согласился.

Живет семейство Мези в лагере, но в их распоряжении

большая светлая комната, в то время как в других таких же комнатах обитают по двадцать человек.

— Ну вот, — сказал герр Мези, когда я перебрался к ним, — моя жена будет тебя ласкать (что было весьма сомнительно), а я буду карать за провинности...

Он будет карать?.. Этого только не хватало! Но я покорно согласился, хотя понял, что променял кукушку на ястреба. Однако на мою свободу в семье Мези никто не посягал. Вскоре я понял, что колонель не возражает, если я привесу хороших папирос, сигар или вин. Фрау Мези также ничего не имела против, если, помогая семье прокормиться, я приносил что-нибудь вкусненькое... А скоро фрау потребовалось вино к вечеринке, дамские перчатки, туфли, белье... Что ж, они, конечно, знали, кого усыновили. Но я их тоже понял и, убедившись, что на них не наворуешься, решил сыграть с ними шутку.

Собираясь выполнить очередное пожелание фрау, я прихватил с собой ее сыночка, благо он давно на это просился, и сделал так, что желаемое она получила из его рук, потом еще раз и еще, а затем госпожа без излишних церемоний прогнала меня из своего гнезда. Кончилась моя семейная жизнь.

Что было делать дальше? Администрация, как коршун, высматривала добычу... Я решил поселиться на улице Счастья у Магды и ее подружек. Теперь у меня одиннадцать веселых мам, и носить для них ничего не надо (это делают другие), а заботятся они обо мне более искренне, чем колонельша. Они меня очень любят, мне кажется, в этом проявляется их жажда чего-то доброго, чего у них почти никогда не бывает. Приходили из полиции какие-то чиновники и стали ругать патронэссу фрау Ангелину за мое пребывание в этом доме. Старая леди увела их в свою комнату, и о чем они там говорили, никто не знает. Только меня оставили в покое.

Конечно, живу у Магды. Когда к ней приходят «гости», я ухожу. Но вообще я очень мало бываю дома, все некогда.

Дела мои плачевны. Я вынужден сидеть дома и не показывать носа на улицу. Все из-за жадности.

Некий авантюрист предложил мне заняться продажей «золотых» колец, которые весьма искусно изготовлял из белой меди. Отмеченные пробой «96%», они по виду ничем не отличались от

настоящих. Хотя дел хватало, я согласился.

Попался на ярмарке, в палатке ярмарочных артистов. Моими покупателями были три дамы, три прежирные особы, и худосенький старик в роговых очках, с тростью. Старик был исключительно худ, но насколько худ, настолько и хитер. Кто бы мог подумать, что эта старая обезьяна станет испытывать мое золото кислотой...

Они повалили меня на пол и основательно поколотили, причем старик оказался весьма свирепым: он все норовил попасть тростью мне в глаза. Глаз остался цел, но все лицо распухло.

Когда пришел домой, подвialsь паника. Начались хлопоты: Магда уложила меня в постель и принялась обследовать мои синяки. Лонни с Фридой принесли какие-то мази (к сожалению, не чудотворные), наконец, положили холодные компрессы на все лицо и прописали полный покой. Будь они прокляты, кольца эти! И фальшивые и настоящие...

Я ушел от них, с улицы Счастья. Поселился в порту, в старом дырявом катере, стоявшем среди десятка таких же развалин, оставшихся здесь с войны. Оборудовал себе наиболее уцелевшую каюту, притащил одеял и прочего тряпья, стащил с улицы Счастья еще ведро и щетку и сделал в каюте капитальную уборку. А из «Гонолулу» приволок необходимую посуду. Получилось жилье что надо — чисто, уютно. Первую ночь проспал, как в раю. Проснувшись утром, даже не поверил, что я наконец один. Но я попал в затруднительное положение, потому что в «Гонолулу» меня кормили только один раз, и то не каждый день, а лишь в те дни, когда я там выступал. Есть же у порядочных людей принято по нескольку раз в день. Иные по три раза в день едят, а иные только и делают в этом мире, что с утра до вечера набивают свое брюшко разной снедью, обрастая складками жира. Я подошел к хозяину «Гонолулу» — герру Казимиру и спросил, не может ли он меня слегка подкормить и в те дни, когда я у него не выступаю. И рассказал о своем положении. Он немного задумался и спросил: а почему бы мне, собственно, не устроиться куда-нибудь работать? Пожалуйста, я готов, но куда? Он спросил, что я умею делать. А что я умею — драться, красть, открывать замки, подниматься по водосточным трубам, по жерди, продавать краденые вещи и позолоченные кольца.

Что еще умею? К сожалению, ничего. Но я был официантом на новогоднем балу эстонской знати, да еще гардеробщиком — там же. Тут герр Казимир радостно ударил меня по плечу и сказал, что ему что-то пришло в голову. И точно пришло. Он устроил меня в ресторан «Барселона» гардеробщиком.

Ресторан этот самый шикарный в порту. Директора зовут герр Бруно. Вместе со мной работают две девушки — Илона и Эвелин. Они красивые, особенно Эвелин: стройная, светловолосая, изящная и какая-то ласковая. Илона тоже красива, но проще. Она говорит, что работает в «Барселоне» уже давно. Эвелин недавно сюда устроилась, до этого она работала продавщицей, но не угодила какому-то привередливому покупателю, и хозяин магазина ее прогнал. Тут не нуждаются в продавцах с характером. Захотел клиент — стелись ковриком у его ног, не можешь — убирайся. От капризов продавца страдает выручка. Эвелин живет где-то далеко, на окраине, и всегда немного опаздывает, за что ее безбожно ругает оберкельнер Кнут — мужчина с тремя волосинками на макушке и маленьким крутленьким барабаном под жилеткой. Кнут вообще постоянно ворчит, но это у него, кажется, больше профессиональное, не от души. Эвелин рассказывает о своем доме и семье с такой любовью, что завидно становится. У нее, оказывается, есть очень милая мама, паршивый, всем недовольный брат и сестра меньшая. Все они «пока» не работают. Моему появлению обе девушки очень обрадовались, и скоро я убедился, что было отчего.

Ресторан открывается в семь вечера, но мы должны быть на месте уже к пяти. Сразу после открытия начинается горячка: дамы в вечерних платьях, цветы, кружева — сюда ходит публика рангом выше посетителей «Гонолулу», — элегантные мужчины, дорогие украшения, запах духов... Ах, какие запахи! Принимаешь шляпы, пальто, шубки. Бегаешь как белка от барьера к вешалкам, смотри не зевай, не перепутай номерок, не то быть беде. Чаевые, иногда щедрые, опускаем в металлические замкнутые коробки, которые после работы забирает обер-кельнер Кнут. Нам ничего не перепадает, мы получаем зарплату, пятьдесят марок в неделю — не жирно. Но после работы нас кормят на кухне, и мы суем в сумки все, что удастся стащить со стола.

Закрывается ресторан в четыре утра. Всю ночь танцы,

музыка. В гардероб выходят разные прилизанные личности и ухаживают за девушками. Обо мне они все как один осведомляются: что за обезьяна у вас появилась?

После полуночи гости начинают расходиться, и тогда мы опять бегаем целый час, еле поспеваем. К тому же нередко приходится кому-нибудь доказывать, убеждать, что это именно свое пальто он надел и свою шляпу держит в руках. Дамы теперь уже не пахнут духами. И вообще не пахнут, а воняют табаком, вином, они бессмысленно на тебя смотрят, щиплют за нос. Все это чертовщина, конечно, но дело в том, что порядочному человеку жрать надо по меньшей мере два-три раза в день. Но я все-таки живу в собственной квартире и сам себе хозяин.

Шляпы, шляпы и еще раз шляпы. Господа, дамы, пубки и пальто. Номерки, целый час номерки. От барьера к вешалкам, туда-сюда, «Здравствуй, рыбка», «Привет, сладость», «очарование», «радость», «мётта» — все это сыплется в адрес девушек, а меня это больно задевает по сердцу, особенно когда касается Эве. Она мне страшно нравится, если бы она только знала... А за ней как раз больше всего и стреляют все эти прощельги, кому некуда девать свои вошочие деньги. Бесконечный утомительный час беготни. Наконец наступает долгожданное затишье — теперь до часу, до двух.

Эве устало села на стульчик, вытянула ноги. Какой-то дородный господин сунул голову в окошко.

— Илона! — позвал он.

— Как всегда? — она заговорщицки улыбнулась и достала из-под стола маленький продолговатый пакетик. Озираясь по сторонам, она быстро подала его господину, получив от него взамен несколько кредиток.

— Остаток тебе, — сказал господин и исчез.

— Вот видишь, — сказала Илона Эве и показала кредитки, — сто пятьдесят марок, из них тридцать мне, двадцать — Кнуту. — Она приподняла юбку и быстро сунула деньги в чулок.

— Я тебе давно говорила, начинай... чего бояться? — при этих словах она взглянула на меня. Наши с нею отношения не назовешь приятельскими, она меня терпит, ведь пользу-то я приношу, бегаю все-таки живо. Но мне кажется, она бы не прочь приучить и меня к своей торговле. И я бы, наверное, давно продавал коньяк, если бы не Эве. Она сказала, что сама

продавать не будет и мне не советует. А раз Эве это неприятно, пусть это принесет хоть чистое золото — я продавать не буду.

— Тебе бы сидеть где-нибудь в канцелярии, — продолжала Илона убеждать Эве. — Недотрога ты и скромница. Но я тебе скажу — красивой девушке не вредно, если ее немного полапают. Тут уж ничего не поделаешь, на то ты красива.

Появился Кнут. Оказывается, если придет госпожа Краузе со своим мальчиком, нужно ее предупредить о том, что в зале находится ее муж. Он еще постоял немного, ни к кому конкретно не обращаясь, прохрюкал: «Ну-ну, работайте», — и пропал. Но тут же вернулся и сказал Эве, что звонил герр Клаусен. У него сегодня вечер, и герр Клаусен хочет, чтобы пришла Эве. Он добавил, что за ней придут, и снова пропал.

— Зачем тебя приглашают на эти вечера? — спросил я после работы Эве, когда она, уже одетая, ждала того, кто должен был за ней приехать.

— Приглашают не только меня, малыш, других тоже. А зачем... Веселиться, — она говорила об этом вовсе не весело, уставшим, тихим голосом. — Они нам за участие в этих вечерах платят. О, щедро платят. Разумеется, там не всегда приятно, чаще даже неприятно: пристают, сальности и все такое. А не идти — тоже нельзя. Потом герр Бруно тебя вызовет и скажет: вы вели себя вчера нетактично, мне не нужны нетактичные служащие. А это значит, что надо искать другую работу.

Посетителей было мало. Тянулись один за другим, было еще рано. И к тому же дождь. Я слонялся между вешалками, прислушиваясь к разговору девушек. Говорила Эве.

— Уго его спрашивает: «Куда это вы едете?» А он отвечает: «Я же здесь, на Централштрассе, не могу развернуться, сделаю круг по соседней улице». — «Болтовня», — проворчал Уго, но не стал спорить. Такси повернуло на какую-то узкую улочку и вдруг заскользило по мокрому асфальту, с визгом закрипели тормоза, прямо на вас летела большая машина. Потом ударились, и все смешалось. Такси перевернулось. Посьшались стекла, кто-то где-то что-то кричал — и все. Вроде все остановилось — жизнь, свет, все. Потом я почувствовала, что меня поднимают, — это был Уго. С ним ничего не случилось. Собрался народ, и полиция, разумеется. Таксист, весь в крови, проклинал водителя той машины, а его и след простыл. Было

бы хлопот — не оберешься, но Уго показал удостоверение репортера, и полиция, записав адреса, нас отпустила. Таксиста увезла «Скорая помощь». Кому-то надо свести с Уго счеты, он думает, что этот наезд неспроста, и говорит, что это излюбленный метод «платных убийц».

Что такое мог сделать Уго, за что его собираются убить? Я его знаю, он ухаживает за Эве, и, наверное, серьезно. Он не называет Эве никогда ни кошечкой, ни другими такими словами. Он всегда веселый, всегда шутит. И Эве относится к нему тоже не так, как к остальным. Он знает, что я люблю Эве, что мы с нею друзья, и ко мне относится тоже не так, как остальные. Уго не считает меня обезьяной, беседует со мной по-мужски, серьезно. Когда я его первый раз увидел, я сразу понял, что это настоящий мужчина. Вошел — длинный, веселый, простой. С ходу напялил на мою голову шляпу и сказал, точно как Эве: «Спрячь ее куда-нибудь, малыш». Вообще я не малыш, но им я это прощаю. Когда он ушел, я сказал Эве: «Во!» И поднял большой палец. Эве радостно улыбнулась. Но почему его хотят убить?

Я спросил Уго, за что его хотят убить. Он недовольно поморщился: «Это тебе Эве наболтала?» Потом заулыбался, лязгнул большими белыми зубами, словно волк, и добавил:

— Есть такие темные личности, для них всего важнее, чтобы никто не узнал, чем они занимаются, а люди моей профессии, малыши, как раз и разыскивают всякие темные истории и не стесняются называть имена. Ну вот, это им иногда не нравится. Понял, малыш? А вообще это все ерунда, рассказы лучше, как там твоя квартира?

Это он имел в виду мою каюту. Он один о ней знал: не хотелось ему врать, но я взял с него слово, что он никому не расскажет, а ему можно верить. Однажды он сказал, что хочет прийти ко мне в гости, и мы попли в порт. Каюту ему понравилась, он только нашел, что нужно оклеить бумагой стены. Тут он стал меня спрашивать о моей жизни вообще.

— А домой не хочешь? — спросил он. — Там, наверное, мама тоскует?.. И здесь, конечно, жить можно, но что тебя ждет? — Он надолго замолчал, и мне стало неудобно от этого. Что тут меня ждет, об этом я еще толком не думал. Да и зачем? Все равно ведь жить надо — думай не думай. А мама... Что там дома? Вообще он прав, домой хочется, но и боязно. Там теперь

русские, и неизвестно, что и как. Что с отцом — он ведь против русских воевал.

— А здесь ты пропадешь, малыш, — сказал, помолчав, Уго. — Ты здесь всегда будешь одинок. Можешь стать первоклассным жуликом, а человеком — нет. Но тебе этого сейчас не понять. Тебе не понять, что любить тебя здесь могут — вот я, например, или Эве, я, может, еще кто-нибудь, но мы боремся за жизнь и не можем тебя поднять, дай бог самим удержаться. Домой тебе надо. Ну, что касается этой каюты — она даже лучше, честнее, чем многие фешенебельные квартиры. Это точно.

Затем он, попросившись, неуклюже вылез через маленькую дверцу каюты. Через пару дней после того я оклеил каюту старыми газетами, а однажды Уго принес мне в «Барселону» картину. Молодая, красивая, с длинными волосами женщина, сидевшая на скале. Уго сказал, что это Лорелея. Я ее повесил на стену, и каюта стала сразу какой-то уютной, нарядной. Хороший парень Уго, Эве тоже хорошая. Наверное, они поженятся.

Сегодня, прибежал лишь я в «Барселону», пришел Кнут и повел меня к директору — герру Бруно, на второй этаж. До этого я у него никогда в кабинете не был. Там же находятся комнатки для игры в карты и другие, которые посещают иногда важные господа и дамы.

— Хочешь преуспеть? — спросил герр Бруно. Я не знал, в чем именно, и выжидающе промолчал.

— Посматривай за фрейлейн Эве унд Илона и, если увидишь что-нибудь подозрительное, скажешь мне или Кнуту. Понятно?

Что он имел в виду под словом «подозрительное», я не знаю. Он сказал, что я смэшленый и, если буду стараться, он добавит десять марок в неделю. А «подозрительное» — это когда присваивают деньги — чаевые. Я понимал, если скажу «нет», он меня тут же выгонит из «Барселонь», и сказал: «Ладно». Но уже наперед решил, что ничего-то я не замечу.

— Скажи Кнуту, чтоб привел ко мне фрейлейн Ламриц «это Эве»! — крикнул он мне вслед.

— Что ему надо, что он тебе сказал? — спросили девушки, когда я к ним явился. Я сообщил им, что герр Бруно предложил мне за ними пошпионить, и они злорадно захохотали. Я тут же передал Эве, что и ее вызывают и что мне велено передать это

Кнугу. Эве сказала: «Не надо», — и пошла сама. Когда она вернулась, рассказала, что Бруно предложил ей продавать алкоголь и обещал за это повысить зарплату. Эве не согласилась.

— Будь осторожна, — предупредила Илова, — как бы он что-нибудь не придумал.

Вчера я еще не знал, что означает слово «диверсия». Сегодня знаю. Даже если бы не захотел узнать, узнал бы непременно. Еще бы! Когда весь город в один миг словно взбесился, когда летят в воздух склады корабли, когда погибают сотни людей, когда везде валяются и стонут раненые, когда люди, уже начавшие жить мирной жизнью, бегут, как опалелые, в поисках убежища, когда со звоном вылетают из оконных рам стекла и проваливаются потолки, хороня под собой людей, — узнаешь тогда, что означает слово «диверсия». Все только об этом и говорят. началось это вдруг, неожиданно. Наверное, саботаж всегда начинается неожиданно. Я был в городе, к моему счастью, шагал по Централштрассе вверх к Норд-Тору, когда вдруг страшный взрыв потряс весь город. Это было так неожиданно и так страшно, что в первый миг люди словно оцепенели. Из витрин магазинов посыпались стекла, по мостовой катились круглые буханки хлеба, но хотя хлеб был так дорог и его вечно не хватало, никто на это не обращал внимания. В глазах людей был ужас. Город потрясли сразу несколько гигантских взрывов. Порт не был виден из-за черного, густого дыма. Люди, будто опомнившись, побежали — кто куда. Война давно закончилась. Люди привыкли к покою. И вдруг...

Это и была диверсия. Сделали это бывшие гитлерюгенд, не желавшие, видимо, смириться с поражением фашистской Германии.

В тот день, когда произошла катастрофа, был какой-то важный праздник в Англии — день рождения то ли короля, то ли королевы, — и как раз в честь этого был парад, английские войска гордо маршировали по центральной площади города, а тут... салют!

В порту стояло несколько военных кораблей, принадлежавших бывшей Германии. Стояли эти корабли, и никто на них не обращал внимания. И никто не мог подумать, что они еще принесут несчастье. Они стояли, нагруженные боеприпасами,

неподалеку от воинских складов, где тоже хранились боеприпасы. Сперва взорвались один за другим корабли, а вслед за ними склады: В порту начался пожар, загорелись торговые суда и промтоварные склады, загорелись и жилые дома. Огонь бушевал по всей территории порта. Во всех концах города завывали сирены, как в былые времена, когда американская авиация совершала налеты на город, и люди, не зная, что это могло означать — не началась ли снова война! — удирали со всех ног в убежища.

Порт и близкие к нему районы оцепили полиция и войска. Оттуда выносили окровавленных людей. Проскользнуть на оцепленную территорию мне не составляло труда, я знал в порту и в прилегающих к нему улицах бесчисленные лазейки. Но двигаться в районе катастрофы было опасно, кругом сновали полицейские и военные, вылавливая мародеров и грабителей, пользующихся суматохой. Я прошел к «Барселоне», но в тот день и еще на три дня мы получили совсем нежелательный отпуск.

Предсказание Илоны сбылось. Вчера пришел Кнут и сказал Илоне, чтобы она отправилась на Кенигштрассе — в какую-то компанию. Мы остались вдвоем с Эве, и я этому очень обрадовался. Но зря радовался. Не успела уйти Илона, как появился долговязый молодой человек, облокотился на барьер и спросил Эве: «Много сегодня успели продать?» Эве, разумеется, сразу догадалась, в чем дело, но сказала, что не понимает, о чем речь. Тогда незнакомец показал удостоверение полицейского и вошел в гардеробную.

— Я имею в виду коньяк, — пояснил он.

— Эве сказала, что не продает алкоголь.

— Посмотрим, — промолвил шпик и начал рыться в гардеробной.

Эве, побледнев, следила за ним испуганными глазами. Вскоре он нашел спрятанные под столом бутылки — Илона их еще не успела, видимо, продать — и удовлетворенно хмыкнул. Он открыл одну и осторожно пригубил. Вытер рот, еще раз хмыкнул: «нормально». Потом закинул в карманы все бутылки и сказал Эве, чтоб оделась и шла за ним. Эве божилась, что этот коньяк продает не она, что она ничего не знает, но тип-то ведь был полицейский, и, по-моему, легче разжалобить крокодила,

чем его. Увел бы он Эве, если бы не вошел герр Бруно. Он казался очень удивленным и спросил, что это значит. Полицейский начал объяснять, что нашел у этой «крошки» коньяк и тому подобное. Тут герр Бруно, изображая на лице медовую улыбку, стал уговаривать полицейского подождать, позволить переговорить с Эве наедине. Герр Бруно был известный человек в порту, уважаемый, и, конечно, полицейский не отказал ему. Он остался ждать в вестибюле, а герр Бруно и Эве вошли в гардеробную. Герр Бруно выглядел озабоченным и говорил, что Эве влипла в глупейшую историю, потому что продавала коньяк на свой страх и риск; что, если бы она продавала по его предложению, он бы всегда ее отстоял, ей нечего было бы опасаться, а теперь... это его, в сущности, не касается. Но, с другой стороны, ему вроде жаль ее, у нее мама больная, и брат безработный, и отец недавно умер, и все такое. Вот если Эве согласится на его предложение... А тут ее тюрьма ждет и репутация тоже пострадает, попробуй потом найти работу. Он все говорил, говорил, а Эве все плакала. Потом она тихо сказала: «Я согласна, герр Бруно, помогите только». Герр Бруно похлопал ее ласково по спине и вышел в вестибюль. Вскоре полицейский ушел.

Кричит где-то громкоговоритель, звонят какие-то колокола, гремят цепи, о пристань лениво плещут волны, греясь под лучами теплого солнца. Тепло. Хорошо тут сидеть, на пгабелях древесины, и мечтать о далеких странах, откуда пришли в этот порт и куда уходят корабли, стоящие у пристани. Сидеть, мечтать... А спать? И спать, наверное, надо здесь же. Где же еще? Ночи сейчас уже холодные. Но ведь спят же тут люди, стало быть, и я могу. Хорошо бы в той каюте, но ее у меня отняли какие-то оборванцы. Пришел я в каюту, а там развалились эти двое — оборванные, обросшие, грязные. «Что тебе тут надо? — спросили. — Катись отсюда». В моей чистой каюте воняло, как в хлеву, табаком и потом. Лорелее, подаренной Уго, прилепили к губам папиросу. Я сказал им, что это мое жилье и что заявлю в полицию, если они не уберутся. На это оба засмеялись, и один накрыл мое лицо своей сто лет не мытой, вонючей пятерней. Я, разумеется, убрался. Не идти же в самом деле в полицию, смешно. Какое дело полиция до всего этого. Оставил им одеяло и подушку без наволочки. Еще хорошо, что

моя единственная одежда — рабочая и выходная — всегда при мне. Других таких кают поблизости нет. Остался я без жилья.

Бродя по территории порта, набрел на большие штабеля досок и прочей древесины. Тут ютились какие-то люди, мало отличавшиеся от двоих в моей каюте. По их примеру я и забился в наиболее уютную щель в штабелях. Собственно говоря, в порту всегда найдется, где переночевать. Здесь множество спрятанных от нескромного глаза и прежде всего от сторожей и полицейских укромных уголков, где можно поспать, но где тебя могут и раздеть, если покрывающие твои ребра тряпки заслуживают этого.

Утром я пошел в «Гонолулу», и тамошняя повариха меня накормила. Вечером надеялся в «Барселоне» увидеть Уго и рассказать ему об этих наглецах. Может, Уго придумает, как от них избавиться, но Уго я не встретил, потому что мертвые не посещают «Барселону» и вообще они не ходят.

— С ним свели счеты, — сказала Илона и добавила: — не проболтай Эве, она ничего не знает. Чего доброго, закатит истерику, она такая.

Да, Эве нежная... Но все равно же она когда-нибудь узнает. А я еще думал, что они поженятся... Я спросил, как это сделали, то есть как «свели счеты», но Илона отмахнулась — незачем тебе это.

А Эве ничего не знала, пришла на работу веселая. Ее шутки и смех звучали до тех пор, пока не случилась история с этим противным кошельком, которого не брали ни я, ни Эве, разумеется, а также ни Илона. Никто его не брал, больно нам это надо. Его, наверное, не было совсем, а эта гадина приставала к Эве, кричала, что был кошелек, что его украли. И опять Эве...

Сперва пришел Кнут с номерком и сказал, что в кармане пальто должен быть кошелек. Эве перевернула все карманы — никакого кошелька нет. Она протянула пальто Кнуту, чтобы тот убедился — нет кошелька. В это время появились из зала почтенный лысый господин и еще более почтенная дама. Господин был просто почтенный, но дама... отвратительная, не женщина, а просто ведьма, она держалась так, что, глядя на нее, можно было подумать, будто на свете существуют лишь считанные люди: во-первых, она и ее лысый супруг, ну и еще там пара министров, несколько миллионеров...

— Как, в кармане нет кошелька?! — прорычал господин глухо. — Что за шутки?! — ревел он, набирая силу. А дама тут же заключила, что если в кармане кошелька нет, значит, его украла эта «девка». Она показала на Эве. Эве уже давно начала дрожать, даже Илона, обычно не теряющая равновесия, казалась напуганной. Еще бы! Обвинение в краже — что может быть хуже. Но — удивительное дело: Эве такая красивая, у нее, да и у Илоны тоже, такие честные глаза, что если на кого из присутствующих могло пасть подозрение, так это на меня. Мне кажется, один я соответствовал представлению о жулике, способном залезть в чужой карман. Но дама кричала на Эве, называла ее разными мерзкими прозвищами и требовала, чтобы сейчас же вызвали полицию.

Никакого кошелька не было, господин его, видимо, забыл дома или потерял где-нибудь, никто его не брал — это было ясно. Но мне было ясно и то, что Эве ничего не сумеет доказать, и я сказал им всем, что кошелек взял я. Обер-кельнер Кнут вытаращил глаза. Я еще раз крикнул им, что это я взял кошелек и что они все гады и сволочи. Кнут собирался что-то сказать, но его опередила дама, она схватила меня обеими руками за волосы и трясла изо всех сил.

— Ублюдок! Паршивец! Воришка! — кричала она, вырывая мои волосы. Илона и Эве стояли словно парализованные, господин же предоставил всю инициативу своей супруге. Кнут побежал, очевидно, звать герра Бруно. Мне было больно, я был зол, о, я очень разозлился. К тому же я знал, что ничего хорошего меня не ждет, и еще я так возненавидел эту тварь, вырывающую мои волосы, что плюнул ей прямо в лицо. И когда она меня, не преставая кричать, отпустила, одним махом перепрыгнул через барьер. Тут прибежали Кнут и герр Бруно. Кнут пытался меня задержать, но я ударил его ногой в живот, он упал, а я выбежал в дверь. Так закончилась моя служба в «Барселоне».

Скоро вечер. В «Гонюллу» сегодня не пойду. Во-первых, потому, что совсем обтрепался за эти дни и петть в таком виде нельзя. Во-вторых, просто неохота никуда идти. Разве все же пойти в Банхофлагер... Тоже не хочется. Можно вернуться на улицу Счастья... Или вернуться домой? Совсем домой... А тепло сегодня, солнце хорошо так греет, воробьи ему радуются, волны

плещут, и медуза всплыла, качается на волнах и греется. Всем вокруг хорошо, только мне нехорошо, и Илоне нехорошо, и Эве нехорошо. А может, еще кому-нибудь нехорошо? Кто его знает... Наверно, в мире всегда так: одним хорошо, другим плохо. Герру Бруно — хорошо, а чтобы ему было хорошо, Эве должно быть плохо. Этой «твари» тоже хорошо, и тому почтенному господину: у них свои дома, машины, много денег. Все дело в деньгах. Было бы у меня столько денег, чтобы помочь Эве и всем хорошим людям... Но где их взять?

Живу теперь в здоровенном ящике, около железной дороги, проходящей через территорию порта. Их тут целая гора, этих ящиков. Ящик, в котором я живу, такой большой, что мне с трудом удалось перевернуть его вверх дном. Я выбил несколько досок в одном его конце, и получилось надежное убежище от дождя и ветра. По соседству, через пару домов, то есть ящиков, проживает старая желтая собака, которая то появляется, то пропадает. Ночью она где-то промышляет, а днем спит, забившись в тень. Сперва я ее старался прогнать, и она убежала, поджав хвост, жалобно и обиженно озираясь. Но через некоторое время возвращалась на свое место. Оставил ее в покое, ей тоже нехорошо. Вот в «Барселону» ходит один господин с розовым откормленным мопсом. И мопс этот — тоже собака, но разве сравнишь одну собачью долю с другой... А ведь моя рыжая приятельница ничуть не хуже этого мопса — спокойная, скромная, никого не обижает; о чем она думает, я, конечно, не знаю, но она мирная: не трогай ее — и она никого не тронет. Этот же мопс на всех окружающих твякает, вертится, вырывается, скулит, визжит — никакого достоинства собачьего. И хвостун первоклассный: подражая хозяину, ходит на задних лапах, курит сигару и показывает еще какие-то там пустяковые номера, таскает в зубах перчатки хозяина.

Эх, жизнь... собачья... Уго был прав — мне тут нечего делать, никому я тут не нужен. Я ведь совсем один остался, если не считать рыжего пса. Недавно, напившись до чертиков, упав с четвертого этажа, разбился в лепешку Чухкади; а Джимми подцепил где-то сифилис и попал в больницу, а затем, выйдя оттуда, — за решетку. Но ведь есть же у меня мама, зачем мне чужие мамы и все эти?.. Только там ведь коммунисты, а про них

я ничего хорошего не слышал. Что, если они возьмут и отправят меня в Сибирь? Там, наверное, очень холодно... В Банхофлагере я много об этом слышал.

Легко сказать «поеду», а как? Я знаю многих, кто уехал на родину, но не знаю, когда и как они это сделали. Они исчезли, и все. Лишь после кто-то что-то кому-то говорил, и люди потихоньку узнавали, что такой-то уехал на родину, в Советский Союз.

Есть в Фленсбурге на Бисмаркштрассе дом с красным флагом. Когда-то, проходя с Чухкади мимо этого дома, я услышал от него, что это дом советских представителей. Наверное, следует пойти туда. Я тогда поделился своим планом с Чухкади. Он сказал: «Я, брат, сам поехал бы, да нельзя — вздернут...» Чухкади, возможно, вздернули бы, но меня, думаю, не вздернут. Не должны. Чухкади — он же спекулянт, капиталист, а я что? Мези тоже вздернули бы, наверное, и господина с мопсом, и эту тварь, которая меня за волосы рвала. Все они богачи или были ими. А я что? Нет, меня не вздернут. А так хочется видеть маму...

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Год 1947

В Курессааре

Целый день сижу в этой противной дыре совсем один, если не считать крыс. Эти гнусные твари совсем обнаглели, того и гляди укусят за ногу. Предлагал я Орасу обзавестись кошкой — не хочет. Что же, дождется, что эти твари его съедят. Куда это он сегодня пропал? С утра ушел, скоро вечер, а его все нет. Наверное, ищет для меня место. Очевидно, придется идти в лес, к «апостолам». Так думает и Орас. Что ж, я с удовольствием.

В лесу интересно, а главное, там меня уж не поймают. Но каков гусь этот Эндл... Зачем ему надо было предать меня, ведь он же знал, что я не диверсант, не шпион, просто вернулся домой, к родным, к маме... Я же не виноват, что их нет, что они уехали куда-то. И в том, что отец воевал против коммунистов, я тоже не виноват. Эндл все это знал, как и то, что я не на парашюте спустился на родной остров, а репатриировался, как сотни, как тысячи других людей. Скажите, какой бдительный! Ну ладно, бог даст — сочтемся. Орас говорит: «Надо мстить!» Я согласен.

Уже четыре месяца я на родине. 17 марта меня отпустили из фильтрационного пункта, и в тот же день я по льду перешел пролив Муху, чуть не утонул. Лед был совсем тонкий, на полпути я потерял палку, а без палки вообще страшно. Часто встречались расщелины, в них угрожающе булькала черная бездонная вода. Вдобавок ко всему был туман и дул холодный, пронизывающий ветер. Когда из тумана вдруг выступили контуры домов, стал виден берег и пограничный пункт, я так обрадовался, что заплакал: живой остался, и дома!

Тремя часами позже я уже радостно шагал по улицам родного города. Навстречу шли люди — эстонцы, русские, добрыми казались все. Прошел через парк, мимо старой крепости к своей улице. Вот и дом голубой, наш дом. Но он показался мне каким-то унылым, странным. Ах вот что — занавески на окнах не мамины, вязаные, а марлевые. Обеднели, видно. Я постучал в дверь и услышал незнакомый голос. В доме жили чужие, по виду бедные люди. Где же мама? Они не знали, кто жил в доме до них и куда девались. У соседей узнал, что мамы, вероятно, нет на родине, а может быть, и в живых.

Перед уходом немцев приехал отец, увез маму на полуостров Сырве, откуда на моторках шли беженцы в Швецию. Затем он вернулся, чтобы увезти и ту семью, к которой ушел от нас. Но на Сырве они опоздали, и о дальнейшей судьбе его, как и мамы, никому не известно. Зачем же я вернулся на родину?

«Куда теперь деваться? — подумал я. — Разве пойти к дяде?» Дядя богат, но он с нашим семейством не очень znalся. Живет он в своем похожем на дворец доме на окраине города. Дядя сказал, что не может меня принять из-за отца:

— Обратись к Богу, молись, он тебя не оставит.

Чихать мне на них — и на дядю и на его бога.

Несколько дней прожил в семье школьного товарища.

Встретил на улице старого знакомого нашей семьи, бывшего фельдфебеля эстонского легвова Иоганнеса Роосла.

Это здоровенный мужчина лет сорока. Он сообщил мне по секрету, что теперь он не Роосла, а Орас. Этот человек приходил в наш дом, еще когда отец был с нами, и я его хорошо знаю. Только почему он Орас? Он рассмеялся:

— Дорогой, не обо всем говорят на улице.

Я пошел с ним на улицу Кывер, дорогой рассказывая о себе. Маленький невзрачный домик. Здесь самое большое раздолье, конечно, крысам. Чувствую себя как кусок сала, оставленный на съедение этим тварям. Кроме Ораса, в этом доме никто не живет. Здесь я узнал, что отец, отправив из Эстонии маму, скрывался в лесах, был где-то схвачен коммунистами и убит; Орас тоже скрывается, потому он и Орас, и вокруг, в лесах, еще немало напих.

Отец убит... Я боялся отца и любил его. Мне от него здорово доставалось, но он был хорошим отцом. Он любил песни и пел, играл на всех существующих на земле инструментах, мог любой из них сделать сам. Отец и мать часто вдвоем пели, а я, когда был маленький, раскрыв рот их слушал; когда я подросток, мы пели втроем. Отец умел делать не только музыкальные инструменты, он все умел делать: мебель, обувь, шить костюм, ловить рыбу, рубить лодку, класть печку — все, все он умел делать. И шутить умел. Когда он был весел, в доме все были веселы. Как бы мы хорошо жили, если бы отец не разлюбил маму и не ушел к Лиль Кеца...

Почему это случилось? Почему они с мамой поругались, непонятно до сих пор. Непонятно также, почему он всегда ругал немцев, а сам им служил. Неужели он был «и нашим и вашим»? Впрочем, я помню жаркие разговоры о том, что немцы несут Эстонии самостоятельность, а не оккупацию. А русские не признают частной собственности... Но почему он все-таки ушел к Лиль Кеца? Лиль, конечно, хорошая, но мама — это мама. Лиль не ругала маму и говорила что мама хорошая. Вот почему я и думал, что Лиль тоже хорошая. Отец был по отношению к маме нехорош, но все равно я его люблю. Любил...

Совсем уже стемнело, придется зажигать свет — разбегайтесь, проклятые крысы!

Кажется странным, что нет больше отца, нет и не будет. Убили коммунисты... Их надо опасаться. Они убили отца — значит, он враг, а ведь я его сын. Орас спросил меня, как думаю жить. А как жить?

— И зря ты сюда приехал, — говорил Орас, — здесь тебе делать нечего. Но пока... пока ты здесь — надо мстить за отца. Золотой он был человек.

Да, мстить, а потом уехать из Советского Союза. Орас или Роосла — мне все равно. Он велел звать его Орас, и я зову его Орас; он велел все замечать, ничего не забывать и обо всем молчать. И я все замечаю, не забуду ничего и молчу обо всем. Я перешел жить к Орасу. Живем вдвоем. Он работает на мельнице, я нигде. До сих пор околачивался по городу. Но и это стало опасным. Придется идти в лес. Это из-за Эндла.

Встретил я его у старинной крепости. Я сидел на скамье под сенью старых капитанов и любовался морем. Подошел длинный парень и сел на скамью по соседству. Это был Эндл, образованный член нашего трио покорителей мира. Это он четыре года назад удрал от нас с парохода. Он меня тоже узнал. Мы разговорились, стали вспоминать прошлое, с прошлого перешли на настоящее, и я, между прочим, рассказал про участь отца. Он же о себе ничего определенного не рассказывал, живет с мамой, не то работает, не то учится, собирается жениться.

Спустя несколько дней я опять его встретил в обществе неопрятного молодого человека. Они куда-то спешили и предложили мне пойти с ними, обещая познакомить с кой-какими интересными людьми.

Вспомнив одну из многочисленных заповедей Ораса — всякое знакомство может пригодиться, не упускай ничего, — я согласился. Мы пришли на Новую улицу, поднялись на второй этаж серого трехэтажного дома. Я подумал, что это отделение милиции, но это был штаб истребительного батальона. Мои спутники попросили меня немного подождать и прошли в соседнее помещение. По-видимому, они здесь были как дома. Я сел на скамью и приготовился ждать. Но тут открылась дверь, вошли два вооруженных человека и очень вежливо попросили меня встать и следовать за ними. Я пытался объясниться, но меня повели в другое учреждение, которое называется НКВД. Об этом учреждении я был наслышан. Самочувствие сразу упало.

НКВД помещается в доме бывшего рыбного короля. Камера для арестантов строителями не была предусмотрена. Поэтому меня посадили в чулан, переоборудованный для арестантов. В тот же день вечером допросили. Обо всем спросили: как уехал в Германию, как вернулся, зачем вернулся, кто был отец и многое другое... Я уверен, что укатали бы меня в Сибирь, только ночью я «открыл» дверь чулана и через маленькое оконце уборной сбежал. И вот уже несколько дней провожу время в обществе этих противных тварей, крыс, которым здесь прямо благодать: кошки нет, и крысоловок никто не расставляет — никакой борьбы с крысами, если не считать, что Орас давит их сапогами. Скука смертная. Что делать дальше, куда деваться, не знаю. Орас говорит: жди. Но чего, сколько, зачем?

Один шаг — это немного больше полуметра. Как много приходится сделать таких шагов, пока пройдешь километр. А километров мне приходится проходить много: я — связь. Скучно ходить по шоссе. Километр за километром тянется шоссе, и конца ему нет; а села у дороги какие-то однообразные, скучные. Вот вдаль показывается лесочек, и я знаю: дойду до этого лесочка, а там маленький красный домик, дойду до домика — увижу вдаль ветряную мельницу и знаю, через километр после мельницы будет мост. Все так, как вчера, позавчера. Все шагаешь и шагаешь до темноты.

Гораздо веселее идти лесом. В лесу некогда скучать, надо замечать приметы, иначе заблудишься. То лиса встретится, то заяц длинноухий, то бельчонок бросается шишкой... А сколько запахов лесных... Не то что на дороге — лишь вонь от бензина да пыль.

Но в лесу, когда стемнеет, делается страшновато, все кажется, что кто-то за тобой идет. И все-таки мне нравится больше ходить по лесу, чем по дороге.

Когда светит солнце, приятно шагать по еле заметной тропинке, не опасаясь ни милиции, ни истребителей, и мечтать. В шелесте листьев и шуме ветра слышится таинственная музыка, и я мечтаю о том, что вот из-за кустов выйдет Прекрасная, увлечет меня за собой, я попаду к таинственному лесному народу, никогда не знавшему цивилизации, который повелевает зверьям и птицами; Прекрасная любит меня, и я остаюсь навсегда у этого народа.

Хорошо мечтать в лесу, хорошо жить в мечте. Здесь все так, как тебе хочется, и никто не может тебе помешать любить Прекрасную, быть богатым и счастливым, сильным, всемогущим. Но вот кончается лес, и кончается сказка. Надо выходить на дорогу, и сразу чувствуешь, как долог путь, и опять надо быть настороже: показывается машина... кто в ней? А вдруг милиция, а вдруг истребители? Дорога опасна. Иду, бреду, дрожу... Километры меняются один за другим, а дорога все тянется и тянется ровной лентой, и конца ей нет. Ах, хоть бы шаг был пошире или ноги длиннее...

На лесном хуторе.

Сегодня второй день рождественских праздников. Лесные братья спят, они устали. Целый день и ночь гуляли, а когда проснутся, опять будут гулять: жрать, пить, проклинать судьбу и Советскую власть. Я тоже гуляю: жру в три горла, выпиваю немножко, проклинаю Советскую власть и судьбу.

Мы празднуем рождество и свадьбу одного комитетчика. Благодаря ему на нашем столе появились все эти чудесные кушанья и напитки. Конечно, его самого здесь нет (поскольку его убили), и нас на свою свадьбу он не приглашал, но лесные братья в приглашениях не нуждаются, они нанесли ему визит, расправились с ним, а также с невестой, и удалились в свой дом, чтобы здесь мирно и спокойно отпраздновать день рождества Христова.

Жить лесным братьям становится трудно: истребители и пограничники активизировались, и все из-за этого идиота Ильпа.

Ильп — человек, репивший прославиться безграничной, бессмысленной жестокостью. Он убивает людей, порой совершенно безвинных, причем так: сперва вешает, затем расстреливает или наоборот и, наконец, четвертует. Скрывается он давно, им даже в деревьях детей пугают. Его всюду ищут, а это плохо не только для него.

Скоро отсюда уедем. В одном укромном уголке нашего острова, у старого рыбака, из тех, кого теперь именуют кулаками, есть припрятанная рыбацкая моторка. Эта посудина должна спасти нас. Весной мы уйдем из этой проклятой страны.

«12 апостолов» — так называет Орас группу лесных братьев, для которых он и есть Христос; это остатки эстонского легиона и омакэйтесе¹, не успевшие унести ноги до прихода красных. Есть среди них несколько младших офицеров, остальные лишь кандидаты. Кочует эта группа с места на место, добывая все необходимое грабежом.

Я не всегда с «апостолами» и живу очень подвижно. Я — связь, я — разведчик, я — Волчонок. Командует нами Орас. Он по-прежнему живет в городе, где удачно замаскировался и имеет кое-какие связи; там, конечно, менее опасно, чем в лесу; здесь того и гляди наскочат истребители или пограничники. Свои инструкции он передает через меня.

«Апостолы» ушли «навещать» какого-то красного. Я упрямил Рудиса — он в лесу заменяет Ораса — оставить меня дома. Рудис обозвал меня кисейной барышней, но не настаивал. Калым тоже остался. Он просто сказал, что не пойдет, и все. Он и на свадьбу комитетчика не ходил, вообще он никуда не ходит, говорит, что ему ничего не нужно. Теперь он лежит в другом конце чердака в сене и читает какую-то книгу. Он любит читать, и я даже обокрал одну сельскую библиотеку, чтобы доставить ему, ну и, конечно, себе удовольствие.

Погода препаршивая, дождик поливает. Достанется сегодня «апостолам». И охота им этим заниматься, ведь у нас сейчас всего вдоволь, ни в чем не нуждаемся. Они говорят, что «он», мол, заслужил это. И вот сегодня ночью человек, который сейчас еще жив и ничего не подозревает, умрет. Его повесят, как повесили комитетчика, а его жену, если она есть, или дочь изнасилуют. Это так жутко, когда так убивают человека. Он ничего не сможет сделать, чтобы спастись, он совсем беспомощен против стольких вооруженных людей. Я понимаю — надо мстить, но зачем издеваться над невинными? Как страшно кричали женщины, когда вешали комитетчика, когда их насиловали.

Прежде чем повесить комитетчика, Ян Коротыш изнасилу-вал его жену. Комитетчик был связан, в рот ему сунули кожаную рукавичку, и он мог только мычать, но все видел. Остальных, кого застали в его доме, видимо его гостей, загнали

¹ Самооборона.

в амбар и заперли, кроме женщин, разумеется... А потом его повесили. Это было такое зрелище... Отвратительное, страшное. Не хочу больше такое видеть. Я буду мстить, конечно, рыскать по лесу без усталости, что угодно могу делать, но на это я с ними больше не иду. Это ужасно!

«Апостолы» переменили место жительства и послали меня сообщить об этом Орасу. К моему несчастью, новый лагерь еще удалялся от города, и мои ноги это почувствовали прежде всего. Пройти нужно было километров сорок пять, погода была хмурая, небо заволокло тучами, предвиделся снегопад. В прошедшую ночь, с вечера до утра, я был на лыжах, ходил к нашему рыбаку по поводу лодки, вернее, мотора — ему не хватает некоторых частей. Вернувшись, я только заснул, как меня разбудили и послали в дорогу.

К полудню, пройдя половину пути, я дошел до зимней дороги, по которой крестьяне из лесу вывозят сено и дрова, по ней мой путь сократился бы на одну треть. Я не совсем хорошо знаю ее, но зимний день короток, и мне хотелось поскорее добраться к печке. Я свернул в лес. После получаса ходьбы вдруг поднялся ветер. И скоро в лесу закружила, завертела выюга. Быстро стемнело, и я заметил, что иду не по дороге. Ее не было ни впереди, ни сзади. Я продолжал двигаться наугад. Сколько я так прошел, не знаю. Темнота делалась густой, я сломал лыжи, бросил их и шел спотыкаясь, проваливаясь в рыхлом снегу. Вдруг в темноте на что-то наткнулся. Пощупал руками, понял, что это деревянный забор. «Есть забор, должен быть и дом», — подумал я, перелез через забор и нашел дом.

О боже, к печке! Я постучал в дверь, умоляя пустить к теплу, но дом молчал. Я, как лис, ходил вокруг дома, мурлыкал на всякие лады, щелкал соловьем, но дом молчал. Теперь, когда всюду полно ильпов, вряд ли кто ночью выпустит. Тогда, рискуя головой, открыл одно окно и сунулся внутрь. Внутри было тихо и очень тепло. Я залез наполовину и чуть не уснул прямо на подоконнике. В доме не было ни души. Часы на стене показывали двенадцать. Я подумал, если в такое время никого нет, значит, до утра нечего бояться. В кухне над плитой висели симпатичные окорока, в котле обнаружил картошку. Я поужинал, разделся и лег в одну из кроватей в спальне, чтобы культурно выспаться.

Разбудил меня сон. Я видел во сне, что меня схватили какие-то люди и собираются резать. Проснувшись, услышал голоса людей, доносившиеся из кухни, где на столе — остатки моего пиршества. Одеваться было некогда, но что же предпринять? Что сказать хозяевам? Кто-то вошел в спальню. Натянув на голову одеяло, я притворно захрапел. Вошедший зажег спичку и подошел, по-видимому, к столику, стоящему у окна, через которое я проник в дом. По шагам я понял, что это мужчина. Он зажег еще одну спичку, зазвенело стекло. Я сообразил, что он зажигает лампу-керосинку. Ее я, влезая в дом, тоже заметил на столе. Тут еще кто-то вошел в спальню.

— Ужасная погода, — проговорил удивительно знакомый женский голос и, зашнувшись, перешел на шепот: — Рейн, кто это... у нас спит?

Слово «спит» она сказала уже совсем тихо. Последовала пауза. Я слышал лишь их дыхание. Видимо, мужчина, войдя в спальню, не сразу меня заметил. «Где я слышал этот голос?» — пытался я сообразить, сжимая рукоятку своего финского ножа.

— Не знаю, — прозвучал неуверенный ответ женщины и вопрос: — Как он вошел в дом? — Он тоже говорил очень тихо.

— Что же теперь делать? — спросила женщина шепотом.

Опять последовала пауза. Затем мужчина еле слышно что-то сказал, и я слышал, как он тихо-тихо ушел в кухню. Я мигом откинул одеяло и поднял нож. Женщина закричала и попятилась в угол. Из кухни с двустволкой в руках ворвался широкоплечий мужчина.

— Брось это! — закричал он, направив на меня двустволку.

В это время вскрикнула женщина:

— Ахти! Да это же Ахти, о господи!

Я узнал в женщине Лиль Кеца.

Мужчина молча разглядывал меня.

— Как ты сюда попал? — спросила Лиль.

Я рассказал, одеваясь, как заблудился, как нашел этот дом и как вошел. Мужчина все молчал.

— Где ты был эти годы? — снова заговорила Лиль. — Где твоя мать, знаешь ли ты что-нибудь об отце?

Я сказал, что отца нет, что его убили коммунисты, а мама...

— Отца твоего убили не коммунисты, — сказала Лиль, — он умер в больнице и похоронен на кладбище Тырватласкма.

Я смотрел на Лиль, она была совершенно серьезна, да и чего

бы ради ей спутить? Но я не мог в это поверить. Ведь Орас точно знает, что отца расстреляли. Он рассказывал, будто отца задержали раненого, увезли в Таллинн, в тюрьму, а затем расстреляли.

— Кто тебе сказал? — спросил мужчина, глядя на меня испытующе. — Кто тебе говорил про коммунистов?

Я рассказал про Ораса. Мужчина закурил, а когда я кончил, бросил недокуренную папиросу и заговорил: оказывается, он дезертировал из легиона, пробрался на остров и прятался в лесах. В этот период и познакомился с Лиль, которая жила в деревне Похла, в том самом доме, где мы сейчас разговариваем. Он поселился у Лиль и жил здесь до конца войны. Когда кончилась война, явился в милицию и рассказал о себе. Ничего плохого он никому не сделал: был мобилизован, был на фронте, ушел с фронта, прятался от немцев. Ну и простили его. С тех пор они с Лиль живут в этом доме. А Лести теперь у бабушки.

Осенью 1944 года в их доме появился отец. Он скрывался в лесах. Было объяснение по поводу Лиль (об этом мужчина не стал распространяться). После этого отец ушел от них. Он вернулся к ним еще лишь один раз, последний раз, глубокой осенью, тяжело раненный и попросил отвезти его в больницу.

Мужчина сам на телеге отвез отца в город. По дороге отец рассказал ему, что находился в лесу с компанией Роосла, что это бандиты, грабящие население, предающие Эстонию. Оказывается, группа эта из-за каких-то разногласий распалась на две враждующие части, которые в один прекрасный день перестреляли друг друга. В отца стрелял Роосла. Лиль и этот мужчина запомнили имя Роосла по рассказам отца.

— А мать твою отец увез на полуостров Сырве. Он хотел и Лиль увезти, вернулся за ней, не нашел (она жила в деревне), а когда нашел, было поздно, да и Лиль... уже не поехала бы. Вот он и остался в лесах, — закончил мужчина свой рассказ.

Я вспомнил слова Ораса: «За отца мстить надо!..»

Утром, перед рассветом, я пришел в город. Город еще спал. На улице Кывер была тишина. Орас, как всегда, был один. Он не удивился моему неожиданному приходу, стал расспрашивать о делах. Не ответив, я спросил, откуда ему известно, что отца убили чекисты. Этому неожиданному вопросу он уже удивился и сказал, что тут и знать-то нечего, отца, мол, забрали, а у чекиста один ковец и что в общем сейчас не время об этом

говорить. Я не стал слушать дальше и ударил его ножом. Он упал, но лежа ударил меня ногой в живот, теперь я упал, получил чем-то тяжелым удар по голове и потерял сознание.

Сколько пролежал — не знаю. Когда пришел в себя, было уже совсем светло. Я лежал в крови, голову ломило. Ораса не было. Он, вероятно, подумал, что убил меня, и ушел, чтобы не возвращаться. Я нашел бутылку водки, выпил себе на голову, а голову обмотал простыней. Затем лег и вскоре, несмотря на боль, уснул. Проснулся я вечером, когда было уже темно. Вернувшись к «апостолам», я рассказал им все, хотя не сомневался, что они присутствовали, когда Орас стрелял в отца. Я им не прощаю, но считаю, что они передо мной не так виноваты, как Орас. К тому же они мне нужны: ведь они собираются уходить из Советского Союза, и я не хочу здесь оставаться. А главное, мне некуда деваться — в Сибири ведь холодно.

«Апостолы» за последнее время со мной очень подружились, и я знаю, кое-кто из них «Христа» не очень почитает. Притом я тоже им нужен, может быть, даже больше, чем Орас. Ведь это я весной, когда они вынуждены были отсиживаться в лесах Тырватласкмы, по колени в холодной воде, по разливам и болотам десятки километров отмеривал каждый день, доставая им продукты, ходил в разведку, поддерживал связь с нужными людьми. Я знаю, «апостолы» меня в обиду не дадут, я им нужен.

С тех пор уже прошло много времени, а Орас не явился, о нем ничего не слышно. Скоро, наверное, отправимся в плавание. Однако я понял, почему отец назвал их бандитами, предающими Эстонию. Они жадные, им действительно нет дела до Эстонии, до эстонцев. Им безразлично, кого ограбить или убить: коммунисты — не коммунисты, эстонцы или русские — все равно, были бы драгоценности — кольца, браслеты, часы...

Вчера, например, Ян Коротыш притащил какую-то картину, говорит — дорогая, знаменитого, мол, художника. Можно подумать, большой ценитель искусства... Интересно только, откуда он ее притащил и кого из-за нее убил. Он свернул полотно трубочкой, в трубочку насыпал горсть золотых царских пятирублевых, закинул туда маленькие дамские часики и еще что-то, я только не разобрал что. Я и не стремлюсь подглядывать, просто так получается, что я все вижу, хотя все они

стараятся прятать свои ценности друг от друга. Я знаю, что у Ораса в чемоданах тоже целые богатства. По-моему, он из-за них и в лес не пришел, боится, что его свои же ограбят. А Рудис, который до сих пор не хочет расстаться с лейтенантской формой и Железным крестом, говорит, что непременно обзаведется в Швеции магазином, ему, мол, наплевать, что у отца хутор отняли.

Все мечтают разбогатеть, сделать бизнес. Один только Кальм ходит в миллионы раз залатанных штанах. И никаких — это я точно знаю — ценностей у него нет. И всегда молчит, мрачный, лишь дымит трубкой. Остальные над ним насмеваются, говорят, что во всем ямя виновато (Кальм по-эстонски — могила). Но он мне нравится. У него никого нет, ни жены, ни детей — погибли от бомбы. Я спросил, что он будет делать в Швеции. Кальм сказал: «Работать». Он был мобилизован в легион, а когда война кончилась, вернулся на остров и начал работать на хуторе. Но из-за одной девушки Кальм убил своего соседа. И пошел после этого в лес. Мне кажется, если бы не это — он бы никуда из Эстонии не уехал.

Все они спрашивают меня про Германию, как я там жил, особенно их интересуют бизнесмены, такие, как Чухкади. Послал бы я их всех к черту, только вот некуда деваться, не хочу снова попасть в НКВД, но главное — надо разыскать маму. Вот удивится она, когда я их догоню. Интересно, чем они там занимаются; Лейно, наверное, ходит в школу...

В лесу Тьрватласкма, среди древних высоких стен, в чьих вершинах морские ветры поют колыбельную тем, кто похоронен здесь, на Святом кладбище, — одинокая могила отца. Я нашел ее, запущенную, заросшую польной и крапивой. Очистив ее, долго стоял у изголовья. Одни чувства сменяли другие, и я не мог ни понять, ни остановить их. Были жалость, грусть, горечь безвозвратной утраты, упреки... Но ему ведь все равно, его нет...

Нужно достать другую записную книжку, эта исписана до последней страницы. Приобрел я эту книжечку здесь, на родине, пропутешествовала она со мной по чужим странам и опять вернулась на родину. Стала она мне дорога, хотя жизнь, описанная в ней, не очень хороша. Но это моя жизнь, и если сейчас приходится описывать плохую, быть может, когда-нибудь я напишу о хорошей.

Тетрадь пятая

Год 1948

Батарей

О том, что такое Батарей и как я сюда попал, надо писать издалека, а писать приходится на лоскутках всяких бумажонок. Не беда. Когда-нибудь, возможно, раздобуду свои тетради, а если нет — заведу новые и все с этих бумажонок перепишу.

Итак, «12 апостолов» и один Серый Волк, то есть я, должны были отправиться в морское путешествие в лодке, заранее доставленной на полуостров Сырве. Отправление было назначено на 12 июня.

12-го вечером, вернее уже ночью, в камышах на Сырве, окружив нашу посудину, мы занимались последними приготовлениями. Выглядела наша по Библии названная группа весьма грозно, у каждого было какое-то оружие — немецкие винтовки, русские автоматы, парабеллумы, гранаты и даже легкий пулемет.

Наконец все приготовления, которые делались в совершенной тишине, были кончены, и мы уже сдвигали лодку в море, когда раздался окрик:

— Руки вверх! Бросай оружие!

Его сопровождала очередь из автомата.

Все залегли. Мы открыли стрельбу. Застрочил пулемет, кто-то швырнул гранату. Пограничники молчали, и мы стреляли неизвестно в кого... Потом мы поняли, что этим не спастись, что нужно уходить в море; несколько человек продолжали отстреливаться, остальные снова попытались сдвинуть лодку. Но тут пограничники сразу открыли бешеный огонь, и трое из нас повалились на песок. Мы снова стреляли по пограничникам, они опять умолкли, и в темноте их совсем не было видно. Повторилась команда сдаваться.

Я, признаться, не прочь был сдать. Сказать это вслух, конечно, не решился, но подыхать мне тоже не хотелось.

Я решил уплыть. Только куда девать мою тетрадку? Мои

записи... Жаль было их бросать даже в такую минуту. Я зарыл их глубоко в песок, разделся и тихонько заполз в воду.

Плыл, держась параллельно берегу, сзади все еще слышались выстрелы. Очевидно, «апостолы» не собирались сдаваться.

Проплыв километра два или три, я вышел на берег. Вдали выстрелов уже не было слышно, на берегу было тихо, лишь шумел камыш и какая-то ночная птица кружилась вокруг меня. Осторожно, с камня на камень, чтобы не оставлять следов на песке, я зашел в лес и, чтобы согреться, побежал, но, споткнувшись, тут же упал. Не очень-то разбежись в темном лесу. Углубляться в лес не было смысла — можно заблудиться, я пошел параллельно берегу. Скоро набрел на тропинку и двинулся по ней, пока не заметил в лесу небольшой домишко. Убедившись, что собак нет, я подошел к домику и стал высматривать, где бы укрыться. Заметил лестницу на чердак, вскарабкался по ней. На чердаке было сено, я зарылся в него и уснул.

Прожил я в этой «квартире» целую неделю, спал в сене, столовался у свиньи. Эту особу недурно кормили вареной в мундире, чуть толченой картошкой. Когда хозяйка, вылив в корыто госпожи свиньи ее еду, удалялась, я с чердака спускался, набирал картофелины поцелее и ел в свое удовольствие; но если хозяйка приносила ей кушанье в более жидком виде, мы обедали вместе из одного корыта, причем я убедился, что свинья хоть и нечистоплотная, но весьма добродушная и совсем не скупая скотина.

Раздобыв в доме кое-какую одежду, я вернулся на то место, где была наша лодка, где нас окружили пограничники. Вокруг было пусто и чисто, ничто не напоминало о недавнем бое. Я с трудом разыскал свои тетради и отправился в город, к старому школьному товарищу — Арно. Он был один дома, и скоро я сидел за столом, улетая все, что он только подносил, рассказывая ему о своих последних похождениях.

Школьным товарищем я называю Арно потому, что все же когда-то я ходил в школу, пусть это было давно, пусть очень мало, но это было, и тогда мы сидели за одной партой и я списывал у него задачки, которые самому решать было некогда.

Теперь я решил оставить у него свою книжку. Самому черту неизвестно, в каких еще морях мне предстоит купаться.

Есть в Курессааре учреждение, в которое я частенько, когда были деньги, заглядывал, чтобы полакомиться. Это кофейная, где я проматывал все свои прибыли, наслаждаясь изобретательностью мастеров кондитерских изделий. Я в них понимаю толк. Здесь-то со мной и приключилась беда.

Войдя в первый зал кофейной, я увидел за ближайшим столом трех мужчин в милицмейской форме, лица их были мне знакомы, и, что хуже, им знакомо было мое. Тут я сделал то, чему меня тщательно учили в Эгере, — поворот через левое плечо, вышел вон и быстрым маршем удалился: оглянувшись, убедился, что они, тоже быстрым маршем, пагают за мной. Я пустился рысью — они тоже, я перешел в галоп — они тоже; тогда я помчался бешеным скоком и, будто обретя крылья, полетел — на базар, по базару, по улицам города. А за мной летели три длинных милиционера, махая револьверами, и орали: «Гей! Держите! Остановите вора!..» Вот уже какой-то тип попытался подставить ногу. Я его опрокинул и полетел дальше. Но что не удалось одному, удалось другому (типов ведь так много) — я упал. На меня повалилась куча запыхавшихся людей. Хватали за одежду, волосы, уши и кто-то за нос. Я его укусил. И что им всем надо было?.. Что я им сделал?..

После этого марафонского бега началась весьма скучная канитель: следствие. Нет ничего противнее и скучнее разного рода вопросов: где был, как жил, где взял, что ел — без конца.

Следователь, пожилой, с седьми бакенбардами капитан, казался добрым, не кричал на меня, говорил тихо, сочувственно.

— Не хочешь говорить — не надо... — Или: — Тебе не нравится этот вопрос? Ну и оставим его... — Потом он вздыхал и говорил: — Эх ты, лев, левушка-головушка, и что из тебя будет?

Откуда мне было знать, что из меня будет? И разве это можно знать?

— Жалко мне тебя, — говорил он, — пропадешь ведь ни за грош. Вот посадят в тюрьму, отправят в Сибирь, а оттуда, дружочек, возврата нет.

Об этой самой Сибири я слышался вдоволь, было похоже, что говорил он правду. Потом он говорил о солнце, которого я больше не увижу, о том, что мне следовало бы учиться, еще что-то о романтике, и мы оба чуть не плакали — так он душевно

говорил. А когда он сказал, что, если я умный, я еще могу спастись, — я несколько в этом не сомневался, как не сомневался и в том, что я умный.

— Нам не так уж трудно найти твои следы, доказать, что ты ворюшка. Но это, конечно, канительно. Тебя придется держать взаперти, а это и тебе и мне неприятно. Значит, чтобы тебе было понятно, — ты малолетний преступник, у тебя нет родителей, ясно? (Мне было ясно.) У нас есть тут кое-какие небольшие кражи — куда их девать. Чтобы мы могли, так сказать, поставить на них крест, ты возьмешь их себе, подпишешь, какая тебе разница? Мы от них, таким образом, избавимся, а тебя поскольку ты преступник малолетний и у тебя никого нет, ненадолго направят в детскую колонию, а оттуда на волю. У тебя все еще впереди.

Все это было непонятно, но я согласился. А потом я очутился на скамье подсудимых. Скамейка эта самая обыкновенная, деревянная, но сидеть на ней отвратительно. Ощущаешь себя как на сковородке. И оглянуться даже нет ни малейшего желания, хотя слышишь, что сидящим сзади весело: хихикают, жужжат.

Я не помню точно, как прошла эта процедура (все было в каком-то тумане), только помню, что какая-то молоденькая женщина, представитель отдела народного образования, что-то теплое обо мне говорила и, во всяком случае, плохого мне не желала (за что ей спасибо! Если бы знала она, как я ей благодарен). Потом мне разрешили говорить. Но мне меньше всего хотелось раскрывать рот, да я и не знал, о чем в подобных случаях говорят. Подумал было рассказать, что капитан обманул, но не рассказал: наверное, не поверили бы, и все бы только посмеялись, вот, мол, какой наивный дурак. Им и так всем было весело. Тогда один из трех, сидящих за судейским столом, начал что-то читать и читал очень долго, из всего я понял только то, что меня присудили к шести годам заключения в каких-то ИТЛ. Что это такое, не знаю, но узнаю наверняка.

После суда, когда меня привели в КПЗ (камера предварительного заключения), я сделал последнюю попытку обрести свободу — заболел. То есть я лишь делал вид, что заболел.

Тюрьмы на острове Сааремаа нет, а КПЗ своей больницы не имеет. Значит, если я заболею, меня положат в городскую больницу.

Вернувшись из зала суда, я упал на нары и ни с кем не говорил. Мне задавали вопросы, что и как, сколько дали и так далее, — я молчал. Лежал как палка, смотрел в потолок. Прележал целый день, не ел, не говорил, мочился под себя. Арестанты вызвали дежурного, сообщили, человек заболел. дежурный даже не вошел в камеру, сказал:

— Не помрет, видали мы их.

«Больной» пролежал второй день, не пил, не ел, не разговаривал, не шевелился. Арестанты вызвали старшину. Он вошел в камеру, посмотрел на «больного», сказал:

— Не помрет, а помрет — похороним, — и ушел.

«Больной» пролежал третий день, не ел, не пил, не шевелился, не разговаривал и страшно вонял. Товарищи укрыли его шубами, чтобы не вонял, а он все равно вонял. Тогда сокамерники вышли из терпения и забили по двери, требуя принять меры. Меры были приняты. Пришел доктор, залез на нары, послушал у больного сердце; случайно он задел ногу, и тут больной закричал. Доктор еще раз потрогал ногу, и опять больной закричал. Доктор уколол ногу иголкой — больной молчал, он поднял ногу — больной кричал. Доктор сделал понимающее лицо, сказал: «Ясно». И ушел.

Затем пришла «Скорая помощь», открылась дверь, и в камеру в сопровождении старшины вошли сестры, молоденькие, в белоснежных халатах. Они, как ангелы небесные, окружили больного, подняли его своими нежными руками, уложили на носилки, вынесли в машину. И вот он в больнице. Его понесли в ванную, осторожно раздели, вымыли, переодели и понесли в палату.

Целых три недели пролежал я в больнице. Доктора не могли никак определить, чем это я, собственно, болею. Созывались консилиумы, признавали разные болезни и наконец остановились на детском параличе. И правильно, почему бы мне не заболеть детским параличом?.. Потом жилось мне хорошо, поместили в палату на четвертом этаже, кормили как на убой. Книжки, радио, посещали молоденькие сестры, красивые, хиханьки, хаханьки, но... Мне-то нужна была свобода. А тут меня караулили сотрудники милиции. Один отдежурит восемь часов, другой приходит, и так беспрерывно. К тому же, раз у меня паралич, пусть даже детский, я не имел права шевелить парализованными ногами и должен был лежать на спине.

Пролежал веделю — надоело, сказал доктору, что одна нога что-то начала чесаться, появилось опухание. Тут уж медицина взялась за эту ногу: уколы, массажи, компрессы... и, о чудо! Нога начала шевелиться. Другая еще нет, но одна — да. Скоро я мог сидеть. Потом мне дали костыли и разрешили вставать. Так я приобрел право шевелиться, не вызывая подозрений. Но куда девать милиционеров? Им было весело дежурить: они читали мои книги, слушали радио, заигрывали с сестрами... Нет, решил я, так дело не пойдет, надо, чтобы вы спали. Только милиционеру нельзя ведь спать на посту. Но это было не мое дело. Я сказал доктору, что у меня усилились боли в голове, и в спине, и в ногах, что утомляет свет и шум. Доктор живо выбросил книги, закрыл одеялом окно, убрал радио и запретил приходить сестрам — нечего тревожить «больного». И скоро мои охранники начали позевывать. Вот это мне и надо было. Я торжествовал: зевайте, пошире зевайте.

Особенно усердно позевывал один молоденький сержантик, он, наверное, был венамного старше меня. Я заметил его слабость и начал тренировать его. Как только поужинаю — натяну на нос одеяло и начинаю тихонько посапывать, а потом храпеть, мелодично, вкусно... В один прекрасный день он не выдержал моего храпа, замкнул дверь изнутри, сунул ключ в карман и повалился на свободную кровать. Скоро храп в палате удвоился. Вот тут-то больной ожил. Он выбрался из постели, подошел к охраннику — спит. Но как взять у него ключ? Это было невозможно — проснется. Я снова забрался в постель, под одеяло, разорвал простыню, пододеяльник, соорудил что-то наподобие веревочной лестницы с узлами. Потом открыл окно, привязал один конец лестницы к батарее центрального отопления, другой выбросил за окно. Затем вылез, спустился до конца лестницы и остался висеть где-то около второго этажа. Посмотрел вниз — какая-то крыша. Оказывается, я висел над подъездом. Отпустил конец и упал на крышу. Крыша была железная, страшно гремела. С крыши прыгнул на землю, побежал. Куда? Ну, куда должен бежать человек, которому нужно скорее уйти из города? Разумеется, в лес. Все правильно. Но, к сожалению, это же самое сообразили милицейские патрули, поднятые по тревоге. Мое бегство было уже открыто. Когда я приближался к лесу, меня вдруг окружили парни в синих мундирах...

Вот и все.

Ну, а Батарей... — это центральная тюрьма Эстонии в Таллинне, и называется она так потому, что еще при Екатерине Второй это была крепость, из окон которой тогда выглядывали екатерининские солдаты и пушки, из окон которой теперь выглядывают всякого рода арестантские морды и, между прочим, Серый Волк; он жалобно глазеет на море и, если бы был он натуральным волком, взвыл бы... А о том, что такое тюрьма, писать нечего. Кому это не известно?.. Ну а если кому неизвестно, тем лучше, пусть он никогда этого не узнает

Тетрадь шестая

Год 1951

Вдох — выдох, вдох — выдох, вдох... Надо дышать глубже — отлично! Чудесный воздух. Движение и воздух — гарантия здоровья. Впрочем, смотря какие движения... Скажем, те, что нужно делать целый день в лесу, на повале, — они вряд ли гарантируют здоровье, хотя многие чудачки ими увлекаются, несмотря на то, что граждане судьи отломили им срока по 25 лет. Вкальвают как черти, думают, наверное, что их так на весь четвертак хватит. Нет, такие движения мне вроде ни к чему. Здесь, конечно, тоже не очень приятно. Правда, клопов нет, откуда им тут взяться — собачий холод и ветер сквозит из всех щелей. И не заниматься же целый день гимнастикой; от 400 граммов черняшки и жидкой похлебки не очень-то разгонишься. Есть карцеры и потеплее — мне в них приходилось бывать, но в них зато такая вонь от параш и прочей грязи, да и от населения тоже, что не продышишься. Да, карцер место не из приятных, и все же, невзирая на это, желающие провести тут время находятся. А если бы наоборот? Ну, если чистота, как в больнице, тепло, цветы, мягкие перины, унитаза вместо параш... Еще музыка и хорошая харчовка, и сажали бы сюда в наказание за разные проделки: мол, вот, наслаждайся всей этой

благодаря за то, что ты негодай, и пусть тебя мучает совесть, пусть тебя грызет стыд перед остальными товарищами, которые честно отбывают срок, не нарушают и, следовательно, не могут пользоваться таким комфортом. Наверное, никто бы здесь не сидел, ну, разве что такие единицы, как я. Это не значит, что у меня совсем нет совести, она у меня есть, но мне очень не хочется работать в лесу тяжело. И это не значит, что я слабенький, малосильный. Нет, я даже сильнее многих, но если я буду вкалывать, как эти все чудаки, что из этого получится? Мне дали шесть лет. За шесть лет таких движений загнешься совсем. Нет уж, я извиняюсь. Да и вообще я не хочу сидеть в заключении. Можно подумать, что я сюда пришел добровольно, что с умилением обниму топор и не выпущу его даже тогда, когда кончится мой срок... Нет. Я пришел сюда не добровольно и считаю, что уйти отсюда должен добровольно. Мне здесь не нравится. Почему? Потому что... Но это длинная история началась она еще в таллиннской тюрьме в Батарее.

Это была большущая камера, с чудным сводчатым потолком, как в вашем Курессаарском замке, и двумя выше человеческого роста окнами с видом на море. Если встать у окна, можно увидеть таллиннский рейд, а через залив — развалины Пиритского монастыря. Я все время, с утра до вечера, торчал у окна — и воздух хороший, морской, и чувствуешь себя как будто на воле. Если так стоять, спиной к камере, можно забыть, что ты в тюрьме, и только надзиратель то и дело напоминает об этом — все стучит ключом по двери и кричит: «Отойдите от окна!» Противный какой... Ну, что ему от этого станет, если стоит человек, смотрит с четвертого тюремного этажа и на море, на чаек, на корабли и Пирита — больше ведь ничего не видно.

Сказать, что народ, населяющий камеру, жил очень дружно, нельзя. Оно и понятно: так сказать, разное воспитание, разные вкусы, разные взгляды на существующие проблемы. А они, эти проблемы, заключались главным образом в еде, есть хотели все, и хотели есть повкуснее, посытнее, ну, а проблемы возникали оттого, что у одних еды было больше, чем у других, а поделиться особенного желания «имущий класс» не имел. Вот тебе и все основания к антипатиям и всему прочему. Например, заключенные из русских были в большинстве все бродяги, бездомные; а эстонцы — местные, стало быть, «домные». Такому легче: попался он, сидит, а ему жена мешки с харчами в тюрьму

таскает. Русским же мало с воли несли. В камере постоянно возникали разные конфликты, которые разрешались обычно кулаками. «Имущие», например, сами пол не мыли, а занимали за пайку хлеба кого-нибудь из «неимущих», параша тоже не носили, все за них делали «неимущие». Мне тоже один хуторянин, стянувший на воле колхозное сало, предложил за него подежурить, когда настанет его очередь убирать камеру, обещал дать сала. Я его послал в нехорошее место. Нет чтобы так поделиться. А когда драка, спрашивают: «Чего ты нас не поддерживаешь, ты же эстонец?» Значит, когда надо драться — эстонец, а сало жрать — не эстонец. Об этом я тоже сказал.

Здесь я впервые встретил воров в «законе». Одного из них звали Олег и почему-то Румяный, хотя был он очень бледен; другого — Сашка Ташкентский. Ташкентский — кличка, как и Румяный. Они тоже ни пол не мыли, ни парашу не носили. Мне объяснили, что если в «законе», то работать не полагается. Меня это злило: ведь и я вор, почему же мне положено таскать парашу, а им нет? Впрочем, я тут же и объявил всем, что таскать парашу больше не буду, чем заслужил откровенную ненависть «имущих». Что же касается этих «законников», они сперва относились ко мне свысока и насмешливо, но скоро признали меня. Еще бы! Как-никак международный класс, человек с заграничным специальным образованием. Румяный и Ташкентский начали меня усиленно обучать русскому языку, и я тут же узнал, что «мелодия» — это милиция, «лопатник» — кошелек, а «фрайер» — личность мужского рода, недоразвитая. И еще многое другое.

«Законники», даже если ругались из-за чего-нибудь между собой, все равно честно делились едой, а это, по-моему, очень важно. Наши же «имущие» достойны презрения: жмутся со своими мешками по углам, ни с кем не делятся, даже хлеб тюремный экономят и берегут, пока он у них не заплесневеет. Есть стараются так, чтобы никто не видел, тайком, другие, наоборот, демонстративно разложат свои богатства, словно подчеркивая этим, что они, мол, честные и не стесняются кушать свое добро. Терпеть не могу... Судя по разговорам, попали ни за что: подумаешь, взял со склада в карман гвоздей, а другой — четыре катушки ниток, третий — килограмм муки, все только помалу брали, а сроки им отломали по десять лет и выше. Но я думаю: сегодня кילו, завтра кילו, каждый день по

кило — тонна наберется. Значит, ничем не лучше других. И нечего ломаться. Любил кататься, будь любезен, тащя и сани.

Из тюрьмы нас привезли сюда, так сказать, за тридевять земель, в страну вечного леса и долгих, холодных зим. О том, как провели две недели в дороге, в товарных вагонах, писать неохота, это, сказать прямо, невеселая история.

На конечной станции нас приняли жгучий мороз и местный конвой. Построившись в колонны, пошли к лагерному пункту.

Этот пункт появился как-то внезапно, поредели деревья, и мы очутились у высокого, обвешанного лампочками, или, как выразился кто-то из нас, «облампочканого» забора. Ближний угол забора украшала вышка, на которой плясал от холода солдатик в длинной дохе, с автоматом на шее. Начался «шмон» — обыск. После «шмона» открыли ворота и впустили в «зону», то есть на территорию лагерного пункта.

У ворот нас встретила вооруженная палками толпа, которая при нашем появлении сразу загалдела, заревела. Послышались вопросы: «Кто такие? Мать? Воры есть?» Кое-кто из прибывших вышел вперед и тоже спросил: «Какая командировка (лагерь, стало быть)? Воровская или?..» Ответили, что воровская. Теперь начались приветствия, объятия, причем, по моему, обнимались совершенно чужие друг другу люди. Было непонятно, с чего эти телячьи восторги... Но, видимо, не все население собралось у ворот, эту встречу наблюдали и издали какие-то люди, стоявшие тут и там отдельными кучками.

Олега и Сашку тоже обнимали и тащили в барак. Уже уходя, Олег обернулся и позвал меня. Я пошел с ними. Мне указали свободное место на двухъярусных деревянных нарах, а окружающим, дикого вида, оборванным людям Олег объяснил что-то вроде того, что, мол, я — пацан-воришка, стало быть, молодой «законный» ворик.

На следующий день этап распределили по бригадам: в основном все эстонцы оказались в бригадах, работающих на лесозаводе, а я попал в лесоповальную, вместе с Олегом и Сашкой. Это они так устроили, ходили к нарядчику, уговорили, чтобы вместе. И началось, так сказать, трудовое исправление моих преступлений. Всего в бригаде было 29 морд; взрослых воров, кроме Олега и Сашки, не было. Мы трое, конечно, не работали, хотя деньги получали наравне с другими. Да и какие

это, к чертям, деньги! Только Сапка и Олег получали больше: бригадир в каждую получку забирал с бригадников почти половину зарплаты и отдавал воров, они же передавали эти деньги дяде Мигте. Дядя Мигтя — самый авторитетный вор, старший, с бородой: у него хранится воровской «общак», или «котел», — касса, в которую каждый вор отдавал деньги, собранные с бригад. Этими деньгами во всех воровских лагерях, а иногда и на воле, там, где воры еще живут организованно, распоряжается воровская сходка, она решает, кому из воров и сколько дать, куда послать и т.д. Из этих денег посылаются помощь воров, находящимся в тюрьмах, карцерах, особорежимных лагерях; из этих денег часть выделяют воров, освобождающимся или собирающимся в побег. Воровской «общак», или «котел», — это сердцевина воровской жизни, организованности, вокруг этого «котла» и концентрируется деятельность уголовного мира. Администрация о существовании этого «котла», разумеется, знает, но изъять и ликвидировать его не так-то просто.

Я уже начал было привыкать к новым условиям — к ежедневным проверкам, раннему подъему, к враждебности «работяг», когда случилось непонятное.

«Мужики», конечно, находятся в заключении за разные «дела»: кто жену убил, кто что-то украл (у соседа или у государства), кто за хулиганства, кто за спекуляцию — за разное, но многие сидят по пятьдесят восьмой статье — идет пятьдесят первый год. Эти политические не то что не симпатизируют воров — просто терпеть их не могут, держатся всегда особняком и смотрят на нашего брата уголовника волками. Но они вынуждены мириться с диктатурой воров. Однако работают они как проклятые, из этих не встретишь отказчиков, на развод к воротам собираются, словно работа в лесу не наказание для них, а праздник. Воры же держатся хотя и дипломатично, но внушительно, всячески поддерживая свою организованность и силу. И работягам-заключенным, жившим до лагеря обычной трудовой жизнью, людям, чуждым всякого насилия, тем более кровопролития, приходится считаться с этой силой, этой организованностью матерых разбойников. Единственные, кто не хочет признавать власть воров, — политические. К одному такому — звали его Павел Дмитриевич — я как-то залез в барак.

Павел Дмитриевич к воров относился дерзко, совсем не

боялся их, да и воры старались не очень задевать его. Он здоровый, высокий, широкий в плечах, но опасались его воры из-за его авторитета среди «мужиков», боялись, как бы он не взбунтовал «мужиков» против воров. В бараке, где живет Павел Дмитриевич, расположен какой-то лесотехнический кабинет, которым он заведует. Там постель Павла Дмитриевича и книги; много книг, целые полки. Я наугад взял одну со стола и стал листать (читать по-русски не умею), были в ней картинки интересные, и я их вырвал. Тут вдруг пришел он и поймал меня. Я подумал, будет бить — не стал, выхватил у меня книжку и закричал, показывая на первый лист: «Варвар! Дикарь! Что ты наделал! Эту книгу написал я! Понимаешь?!» И он тыкал мне ею в нос.

В эту ночь я проснулся от крика и увидел Сашку, стоявшего в полный рост на нарах. Он отбивался ногами от каких-то людей с ножами. Среди нападавших я увидел Олега Румяного и ничего не мог понять: Олег и Сашка были друзьями — и вдруг... Сашка спрыгнул с нар и помчался к двери, она оказалась запертой. словно обезумев, Сашка побежал по бараку, выкрикивая: «За что? За что, братцы?! За что-о-о?!» Он уже не разбирал, куда бежит, налетел на стол и упал. Сразу несколько человек бросились на него. Он больше не встал. Вокруг, на всех нарах, закутанные в одеяла, сидели «мужики» и, словно загипнотизированные, широко раскрытыми глазами смотрели на происходящее. Я потихоньку спустился на пол и забрался под нары, подумав, что и меня могут убить, мы с Сашкой были друзьями. Но меня никто не стал искать.

Только это случилось, в дверь стали бить чем-то тяжелым. Дверь рухнула, и в секцию с палками, железными прутьями ворвались работяги. Они с ходу напали на тех, кто только что убил Сашку. Началось что-то совершенно непонятное: кто, кого, за что? Меня заметили под нарами и крикнули: «Вот спрятался один змееныш, этот тоже с ними», выгнали и начали избивать. Отступив к стенке, недалеко от окна, я увидел, как Олег Румяный головой вперед выпрыгнул в окно, унося с собой раму, я нырнул вслед за ним и влетел головой в сугроб за окном. Вылез из него и побежал к воротам, успев заметить, что в этом направлении, вслед за Олегом, бежали многие. По всей зоне слышались крики — жуткие и яростные, впереди пробе-

жала кучка работяг, вооруженная кто чем, среди них я узнал и Павла Дмитриевича. С вышек зону просвечивали прожекторами, ворота были открыты настежь, за ними стояли солдаты, принимая выбегающих из зоны.

Мне не удалось добежать до них, какие-то люди, догнав меня, повалили и принялись дубасить ногами, потом, взявшись, раскачали и бросили через проволочную ограду в предзонник. Я упал на острый, торчавший из земли кол, стало нестерпимо больно. Боясь, что в меня выстрелит часовой на вышке, я закричал. Он не выстрелил, велел подняться и идти к воротам. Там меня приняли солдаты и втолкнули в толпу полураздетых, прыгающих, топчущихся, стонущих, проклинающих всех и вся людей. Потом нас всех одели и увезли на другой лагерный пункт — воровской штрафняк. За что я сюда угодил? Никому ничего плохого не сделал — и на тебе.

Когда я спросил об этом начальника колонии, он удивился: «А вы не догадываетесь?» Разумеется, я не догадывался. «Вы считаете, вас сюда привезли несправедливо?» — спросил он снова. Еще бы! Меня же избили, из зоны прогнали, на строгий режим привезли, а я же ничего не сделал, никого не тронул. «То, что вас побили работяги, понятно, — сказал капитан, — вы сидели на их шее, им надоело терпеть ваше паразитское отношение, вот они и выгнали вас. И правильно. Вот вы почему не работали? От вас ведь больше ничего не требуют: повинновения и работы. Но вам у костра понравилось сидеть. Почему вы связались с этими отбросами общества, с которыми нам мороки и без вас хватает? Потому что ищете легкой жизни. Но заключенные, работающие в лесу, не хотят, чтобы вы бездельничали. Теперь, когда вас нет, в зоне будет замечательный порядок. А вас сюда, здесь будете работать. Не захотите и здесь работать — на особый режим пошлем. Сколько бы вы ни вертелись, а работать все равно придется. И если вы не совсем дурак, дойдете до этого самостоятельно».

Он еще многое говорил и о молодости моей, о том, как им нелегко справляться с нами, мешающими нормально работать и жить другим заключенным; о том, что все это скоро искоренится, не будет со временем воров, и все такое. А Олег мне потом объяснил, что Сашка Ташкентский был, мол, «ершом» — предателем, значит. «Ерш» — человек, когда-то изгнанный из воровского сословия, так сказать, лишенный

звания, но продолжающий выдавать себя за вора «в законе» там, где его не знают. Такое у воров карается смертью. А Олег все-таки сволочь. Он все насмехается надо мной:

— Говоришь, волком тебя прозвали? Да какой же ты волк! Смешно — барашек ты. Волком надо еще стать, милый... А это не так просто. Ты хоть кого-нибудь убил за всю свою жизнь? Нет? Ну, видишь, какой же ты волк?... Ты еще и понятия не имеешь, что такое волчья жизнь...

Но мне казалось, что я имею о ней полное представление. Эта «волчья» жизнь мне страшно опротивела. И когда уже совсем потеплело, растаяли снега, я бежал.

Бежал из-под конвоя, когда шли колонной с работы, и не один, нас было четверо. Произошло это совсем неожиданно, хотя я давно к этому готовился. Но каждый раз, когда я доходил до «окна» в лес — до места, где надо было рвануть, какая-то необъяснимая сила сковывала мои ноги, и я как миленький приходил в зону вместе со всеми.

Однажды мы шли с работы, я, как всегда, в первых рядах колонны. Шли по три человека в ряду. Еще за километр от «окна» в лес начинаю себя подбадривать. В горле делается сухо. И тут неожиданно впереди идущие стрелглаз бегут в лес. Бегу за ними. Кого-то догоняю, обошел. Сзади уже застрочили автоматы, слышны крики: «Ложись! Ложись!» — это колонне, «Стой! Стой!» — это нам. Вокруг свистят пули, щелкают о землю, режут ветки низеньких зарослей, кто-то из впереди бежавших, перекувырнувшись, упал; но уже кусты — лес. Лечу, как на крыльях, а сзади все стреляют. Теперь не опасно, нужно только отойти подальше. Вот и нужная поляночка, быстро достаю из карманов два пузырька с бензином, смазываю ботинки, ноги, чтобы сбить со следа собак, бегу дальше.

Я убежал, да. Но до реки не дошел, к утру догнала меня собака. Она, разумеется, не одна, компанию ей составили два длинноногих солдата-проводника. Конечно, встреча была радостная... Первой обнаружила меня, как я уже говорил, собака: она вырвалась от проводника, еще издали посылая мне свой «радостный» собачий привет. Проводник, видя, что я еле перебираю ногами, спустил ее с поводка. Это дало мне повод прибавить шагу, и, мобилизовав последние силы, я помчался со скоростью этой же собаки, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветки, на пни, об которые в кровь избил почти босые

пальцы (ботинки за ночь превратились в отрепья). Но собака все-таки бежала немного быстрее меня, и скоро я вынужден был признать себя побежденным, остановился, повернулся к ней.

Конечно же, после того, как меня привели в колонию, пришлось некоторое время разделять общество мыльных клопиков в карцере. Обошелся мне этот побег по вольному воздуху наперегонки со страхом в один год добавочного срока с обязательным переводом в колонию особого режима, где и записываю эти строчки.

Участь тех, кто бежал со мной, такова: двоих сразу же настигли пули, третий заблудился в тайге и к утру вернулся сам.

А карцер... воючая все-таки штука, неприятная.

Впереди болото, сзади лес и еще «они». У меня нет выбора, надо идти через болото, потому что за ним река. А река — спасенье. Лес кончился как-то вдруг, на краю прекрасного зеленого луга. Это он только с виду прекрасный и только кажется лугом — под сочной высокой травой, я знаю, бездонная трясина, и как через нее пробраться, одному дьяволу известно. Страшно делать первый шаг, и страшно его не делать, «они» ведь все приближаются. Измотался я за эти три дня совсем, думал уже, что не доберусь до реки, а тут еще болото. Три дня непрерывного бега по дикой тайге, если это можно назвать бегом, — через овраги и горы, через буреломы и трясины, иногда на четвереньках, иногда юзом на изодранном заде. «Их» я слышал рано утром, перед восходом солнца, когда в тайге еще совсем тихо и всякий звук несется далеко, словно эхо. Я слышал собачий лай и сразу понял, что это «они». А я уже совсем было успокоился, думал, что оторвался.

Следующие день и ночь бежал без отдыха, чтобы поскорее добраться до реки, где надеялся снова замести след. И вот — болото.

Долго выбирать было некогда. Правая нога сразу провалилась по колено. Перенес быстро тяжесть тела на левую, но поздно — она тоже провалилась. Недалеко, почти рядом, спасительная твердьня — куст ольшаника. Но не достать. Стараясь ухватиться за ветки, протянул руку и от движения провалился в трясину до пояса. Но рука все же успела схватить ветку. Выдержит или нет? Все попытки выбраться из трясины кончаются неудачно. Чем сильнее барахтаюсь, тем глубже

засасывает. А силы все убывают. И страх... Нельзя дать ему волю — иначе потону в этой липкой вонючей грязи, как гадина болотная. Что теперь стоит моя свобода? Говорят, когда человек тонет, вся минувшая жизнь проходит перед его мысленным взором. Но я вижу только солнце, которое поднимается все выше; вижу листья, деревья, траву, птиц и слышу стук собственного сердца. А оно бьется все спокойнее, отдохнуло и от напряжения, и от страха. Нет. Это еще не конец. Осторожно передвигаю ногу и вдруг ощущаю что-то твердое — камень. Потребовалось невероятное усилие, чтобы выбраться из трясины. Весь в липкой грязи, жадно, прерывисто дыша, ползу обратно в лес. Надо бежать вдоль болота, может, удастся где-то пробраться к реке. О, добраться бы к ней, к реке! Кажется, вся надежда в ней. Она — спасение. Пролаяла собака, звонко, отрывисто, далеко, еле слышно. Может, снова показалось? Бегу изо всех сил, дыхание тяжелое, хриплое. А вот камыши и почва — слава богу, не болотистая. К реке! Быстрее! Сзади слышен визг — собака. Дошли, значит. Догнали. По спине бежит пот от страха, от усталости. Мерзкое ощущение.

Да, действительно, ощущение мерзкое, хуже и придумать невозможно; а когда по тебе стреляют — тоже не самое приятное ощущение, а когда при этом в тебя попадают... Но это еще тоже ничего, но вот когда ты лежишь, не в силах подняться, потому что нога твоя, та самая, в которую попали, онемела от страшной обжигающей боли, а реку уже переплывают люди, те, кто в тебя стрелял, и с ними еще собака... и ты лежишь и думаешь о том, как они будут себя вести, особенно как будет вести себя собака, когда они все переплывут реку, — неприятное ожидание, надо сказать. Собака, крупный серый красавец, добежала до меня первая и, тихо рыча, встала надо мной. Я лежал смирно, без малейшего движения, и смотрел ей в пасть, которую она, словно для того, чтобы я смог пересчитать все ее зубы, держала открытой. Она не делала ни малейшей попытки кусить меня, она будто понимала, что мне и без того больно, и только угрожающе рычала: не шевелись, мол, со мной шутки плохи. Прибежали «они», мокрые, усталые, злые, как всегда в таких случаях.

— Ранен? — переводя дух, спросил один, высокий, худой, или, как это называется, сухопарый, с веснушками на лице. Его

серые глаза не выражали ничего, кроме профессионального любопытства и усталости. — Куда ранен? — и, узнав куда: Так тебе и надо. Черт тебя подери... Ну, что глазешь? рывкнул он невысокому курносому парню, который действительно рассматривал меня с таким вниманием, словно перед ним лежал не человек (пусть даже жалкий, обросший, скривленный от боли), а по меньшей мере гиппопотам. — Разведи костер, обсушиться надо.

Сидя у костра, веснушчатый все читал мне проповедь насчет бессмысленности моей жизни и побега тоже. Они мне рассказали, что одного из тех, кто был со мной, убили Джека. Джек — вор, он до этого бежал три раза, в последнем побеге изнасиловал малолетнюю девочку, и ему дали на всю катушку — 25 лет. Джек ненавидел все на свете, особенно труд. Он всегда говорил: «Труд подневольный, братишки, не любит даже лошадь, а почему я в этом смысле должен быть глупее этой скотины?» Джек требовал свободы, а получил пулю. — Ну вот, мы тебе попали в ногу (ногу они, кстати, перевязали), а если бы в голову — все, шабаш. — веснушчатый все продолжал агитировать. Твое счастье, что ты такой длинный и голова все же значительно выше ног... И вообще, завязать бы тебе парень, пойти в бригаду, к работягам. Ты молод...

И пошла мораль. Он все поучал, поучал, а я виновато, словно обдумывая его слова, смотрел в костер и молчал. А что тут обдумывать, каждый знает, на что идет. Знал и я, что, если побегу, будут по мне стрелять. Уговорами ни одного беглеца не вернешь.

И то, что свобода Джека чье-то несчастье, тоже верно. Но ведь я-то лично не хочу никого убивать, насиловать, я просто не хочу быть здесь. Работать? Джек, конечно, негодяй, но относительно подневольного труда он вообще-то прав: тяжело же в лесу. А в зоне... Да ведь в зоне мне не бывать, раз я не хочу работать в карцерах мне обитать, и только. А там сволочь разная. Еще недавно сидел 10 суток с одним... даже не знаю, как его называть. Грязный, опустившийся, противный, вонючий; звероподобный. Тебе от него деваться некуда, ты вынужден спать рядом с ним, а он не просто неприятен, он гадок, омерзителен. Но ты не можешь ему это сказать, не можешь избежать его общества, даже спать ты должен рядом с ним.

слушать его сонное звериное мычание, смотреть, как изо рта его текут слюны, все должен терпеть, потому лишь, что работать ты не хочешь, так же, как он. И если ты ему что-нибудь скажешь, он ответит: «Чево тебе надо?! Ты такая же сволочь, как и я. Не нравится — отвернись». Конечно, ты можешь набить ему морду — это уж он ложно не истолкует. Но если он сильнее тебя? Значит будешь ты еще и побит. А человеческое достоинство?

И куда бежать-то? — говорил веснушчатый. — Дальше Советского Союза не убежишь, а здесь все равно поймают. Лучше бы набраться терпения и силенок да по-честному отработать положенное, а тогда будь здоров, иди на все четыре стороны, и мне за тобой бежать уже не придется. А так вот... лежишь теперь. Больно? Я сказал, что больно. Тогда веснушчатый приказал курносому отправиться в деревню.

— Ну, выдох малость, иди приведи людей. Надо же его доставить в село. Куда ж он сам... И таскать тебя еще теперь... — последнее он адресовал уже мне. Я промолчал.

— Еще побежишь? — спросил курносый, вставая от костра. Я опять промолчал. А что отвечать? Сказать «да» — еще неизвестно, как они на такой ответ отреагируют. А зачем портить отношения? Сказать «нет» — вряд ли они поверят. Сам я уж, во всяком случае, в это не верю.

— Беги, — разрешил курносый великодушно, — твое дело бежать, наше ловить. Поймаем.

Он ушел в деревню, мы остались с веснушчатым вдвоем.

— Почему бежал? — уже в который раз спрашивал он. Что тебя заставило?

— Да так, плохо все, — отмахнулся я от ответа.

Да разве объяснишь? И сам не поймешь толком. Что происходит?.. Вспоминается иногда детство, когда в первый класс ходил, когда кличку себе взял — Серый Волк, просто так взял я ее, для игры в индейцев, а теперь всерьез волком становлюсь. Вот меня уже и собаками травят. Странно даже думать, что где-то невообразимо далеко есть свобода и живут там мирные люди, ложатся спать, уверенные в собственной безопасности, ножи применяют лишь для того, чтобы резать ими хлеб.

А здесь недавно проснулся от жуткого крика, соскочил с нар, перепуганный, еще сонный, а кругом смеющиеся над моим

страхом рожки. Оказывается, просто боролись двое, дурачились. А я до утра глаз не сомкнул, дрожал противной дрожью. Когда будет этому конец? К дьяволу всю эту жизнь и воров! Но нельзя мне сейчас от них отделаться иначе, как бежать из этого проклятого места!

Последняя прогулка (160 километров) обошлась мне в два года добавочного срока с переводом на тюремный режим да в пятнадцать суток карцера.

Большинство из зеков считают, что на тюремный режим заключенных определяют в общем-то отдыхать и режимная тюрьма вроде «санатория». Заслужить путевку в этот «санаторий», однако, нелегко. Мне, чтобы получить путевку сюда, пришлось, как известно, совершить два побега, а это связано с некоторым риском: можно получить путевку не только в «санаторий», но и на тот свет.

Нас везли в город Кировоград. Погрузили в вагон, снабдили на дорогу мешком хлеба. По мере приближения к Кировограду мешок все пустел и пустел, пока, наконец, ко дню прибытия в нем остались лишь три буханки хлеба. Ехали мы отдельно от прочих заключенных, так что пополнить запасы было невозможно, а на отсутствие аппетита никто из нас никогда не жаловался.

По прибытии нас стали выгружать из «столышина» и погружать в «черный воров». Случилось так, что нас разместили в машине, где находилось человек двадцать крестьян с большими мешками. Я влез в машину последним и стоял прижатый к самой двери. В пути от станции до тюрьмы я заметил, что в куче ног и рук, человеческих тел, пыхтевших, крихтевших, потерявших равновесие, в трясущейся на дорожных ухабах машине что-то происходит, а затем один из нашей пятерки просунул мне какой-то сверток:

— Левка, держи!

Я сначала держал, а потом сунул в мешок. На ощупь определил: масло. Последовали другие свертки: хлопцы оперативно шуровали по мешкам — аж шерсть летела.

Мешок в моих руках с тремя буханками быстро тяжелел, и, когда приехали, я его выволок из машины.

В тюремном дворе нас построили по два и пересчитали. Мы

должны были сначала попасть в баню, пройти «шмон» и, наконец, в камеры. Но откуда-то появился здоровенный детина с погонами старшего лейтенанта и почему-то направился прямо ко мне, не спуская глаз с мешка. Он велел мне выйти из строя, конечно, вместе с злополучным мешком.

А ну, мужики, посмотрите, что в нем вашего.

Мужики, опасливо поглядывая на меня, подходили к мешку и, покопавшись в нем, молвили: «Це мий хліб», «Це мое масло», «А це мое сало»... — и тянули все из мешка. Скоро остались лишь наши три казенные буханки хлеба. Но вот какой-то обормот, ободранный, грязный, подошел, нагло уставился на меня и сказал: «На чужой каравай рот не разевай» — и забрал их.

А меня водворили в карцер.

Тетрадь седьмая

Год 1954

Тарту. «Астория»

Не хочу сказать, что мне сейчас очень хорошо, но и не плохо: имеются деньги, одет прилично, занимаю уютный номер («Астория» гостиница) и, разумеется, сыт.

Как известно, за предпоследний побег мне прибавили (за последний еще не успели) два года и на такой же срок определили в тюрьму. В то время, когда на воле происходили такие события, как смерть Сталина, арест Берия и амнистия, которая мне, к сожалению, ничего не дала, я с утра до вечера, словно бешеный волк, бегал по своей клетке, радуясь каждому прожитому дню.

После отбытия тюремного срока меня повезли обратно в лагерь. По дороге в одной пересыльной тюрьме раздобыл из женской камеры кое-какие принадлежности дамского туалета. Эти вещи удалось пронести в зону, и они пригодились.

Работали в карьере на погрузке песка. Я вынес и спрятал там

свой реквизит, а однажды, когда за составом подъехал паровоз, погрузил себя в вагон с песком и удачно выехал в Канск. Затем, забравшись в пустой вагон, превратился в крестьянку. Убедившись, что все на мне более или менее правильно, стараясь держаться как можно более по-женски, я пошел на вокзал, пробрался в нужный поезд, Новосибирск — Ленинград, и поехал (зайцем, разумеется). Сначала все казалось, что люди меня рассматривают, будто я по меньшей мере нильский крокодил, и чувствовал себя скверно, однако скоро научился держаться подобающим моему положению образом. В поезде познакомился с девушкой, отсидевшей три года в заключении за растрату, она ехала домой — в Нарву. Мы с ней подружались.

В вагоне ехали солдаты-пограничники, молодые, веселые ребята, они нас, «девчат», всю дорогу не переставали угощать то тем, то другим и, конечно, водкой, чего я — упаси боже! — не «пила»... Я всегда мечтал обзавестись настоящей мужской бородой, но здесь радовался, что ее у меня нет.

В Ленинграде мне надо было разыскать семью одного паренька, передать от него письмо. С подружкой расстался. Семья моего знакомого жила на Лесном проспекте, состояла из мамы и дочери. Не стану описывать их безмерного удивления, когда на их глазах произошло мое превращение из женщины в мужчину, а также радость, когда я передал им письмо.

Прожив два дня в Ленинграде, поехал в Таллинн. Но тут не знал чем заняться. Оказывается, бежать легче, чем устроиться на воле. Околачивался несколько дней по вокзалам, затем, снова зайцем, поехал в Пярну. И вот здесь не было бы счастья, да несчастье помогло.

Вагоны Таллинн-Пярнуской узкоколейной железной дороги имеют ту исключительно неудобную для зайцев особенность, что во время езды из них никуда не денешься без риска сломать шею; ни пойти в другой вагон, ни выйти в тамбур нельзя, потому что тамбура нет. Из-за этого обстоятельства я попался ревизору. Он потребовал у меня билет. Билет я, несмотря на все усилия, найти не мог и высказал предположение, что, наверное, потерял его. Ревизор, однако, не успокоился и посоветовал мне поискать заодно и паспорт, который я тоже, конечно, несмотря на то, что вывернул все карманы, не обнаружил. Тогда этот бездушный чинуша позвал милиционера. Конечно, милиционер оказался

тут как тут. Серого Волка с поезда сняли и потащили в отделение железнодорожной милиции.

В отделении, прямо у вокзала, сидел и сладко дремал дежурный. Нашему появлению он, судя по его застанным глазам, не очень обрадовался. Еще по пути в отделение я усиленно придумывал себе происхождение, ведь положение мое было не из приятных. И придумал. Я выдал себя за одного эстонца, освободившегося всего лишь за несколько дней до моего побега, и сообщил его фамилию. Итак, я освободился, ну и, видимо, потерял документы.

Дежурный, зевая, все это выслушал и повел речь:

— Вот что, миляга, жить без документов худо (в этом я уже убедился). — Он стукнул ладонью по столу, открыл рот в широком зевке и продолжал: — Долго не проживешь, а скрываться тоже нет смысла, ты еще ничего плохого не сделал. Значит, езжай куда хотел, объявись в милиции и расскажи обо всем. Смотришь, документик дадут.

Мой поезд еще не ушел. Дежурный посадил меня в вагон, и я поехал. Видимо, здорово он хотел спать.

Конечно, я мог сойти на любой станции, но подумал: а что, если поступить так, как советовал мне этот соня?.. Вероятно, он сообщил в Пярну о моем приезде, а если так — ну и пусть, разве кто подумает, что хоть один нормальный беглец сам явится в милицию? Милиция полагает, что беглец норовит жить в лесу, во всяком случае, старается быть подальше от милиции.

Поезд прибыл в Пярну утром. На перроне я заметил четырех милиционеров. Они кого-то высматривали среди пассажиров, возле крутился ревизор. Я не ошибся, полагая, что они стараются обнаружить именно меня, и сам направился прямо к ним. Подойдя, превежливо осведомился, как пройти в отделение милиции. Они поинтересовались, зачем мне это надо. Я удовлетворил их любопытство, затем они привели меня в отделение.

Итак, я сдался на малость милиции, просидел в отделении целый день и врал, как заведенный, устно и письменно. Допросов произвели безбожно много, в перерывах играл в шахматы с дежурным и съел его обед, которым он меня угостил. Вечером ввели меня в кабинет, где сидел солидный майор. Он сказал:

— Мы знаем из ваших слов, что вы такой-то, но чтобы это проверить, понадобится немалое времени. Положено нас задерживать, чего мы, однако, делать не будем. Вы ведь уже nascиделись? (Я согласился). Мы, — продолжал он, — выдадим вам справку о том, что вы заявили нам о потере документов, и больше для вас ничего сделать не сможем.

Этого было достаточно. Получив эту справку, я поехал обратно в Таллинн и начал наглеть. Наглет так: пришел в управление городской милиции и потребовал выдать мне паспорт. Но с меня потребовали ворох справок: с места жительства, с места работы, метрическое свидетельство и т.д. Тогда я пошел в Министерство внутренних дел, где повторилось в точности то же: выгнали. Что делал бы на моем месте действительно освободившийся человек? Наверно, пошел бы к прокурору. Ну, нет... К прокурору я не пошел (бродяге можно быть наглым, но умеренно). Я поехал в один колхоз, уговорил председателя, и он меня принял лесорубом - работа в общем знакомая. Таким образом из сельского Совета получил все необходимые справки и свидетельства, и через неделю мне выдали в районном отделении милиции паспорт на шесть месяцев. Затем я из колхоза смылся, ибо нельзя знать, сколько могут жить в Советском Союзе два одинаковых по паспортам гражданина.

Теперь езжу по гостиницам. В каждой живу по три дня. Пригодилась и квалификация, которой меня выучил Джимми. Оснащен я первосортной техникой: есть полное собрание отмычек, есть гримировочные приспособления, позволяющие на ходу изменить свой внешний облик: могу превращаться из патена в блондина или наоборот; могу среди зимы, как цыган, загореть или среди лета приобрести бледность чахоточного; могу стать чересчур ушитанным, курносым, хромым, говорить любыми голосами, какие потребуются; и все эти изменения личности проделать всего за минуту. Все хорошо, только иногда одолевают мысли: милый друг, ведь ты на скользкой дороге, ведь это же она и есть, та самая скользкая дорога, о которой говорила мама... Ворованная воля. И еще у меня глупая привычка, давно с нею борюсь, но побороть не могу — внимать народным поговоркам и пословицам, из которых одна гласит: сколько веревочке ни виться... Вот дьявол! Глупая же привычка.

Худшее, что со мной могло произойти, была встреча с Орасом (или кто он теперь?). Встретились в Таллинне, в зале ожидания Балтийского вокзала. Ему, по-видимому, живется неплохо: жирная морда сняет таким барским самодовольством. Он, конечно, знал, что я выслан в дальние края. Очевидно, живет он, не опасаясь ничего, и вполне акклиматизировался; ясно и то, что он всеми силами будет стараться ликвидировать опасность, появившуюся в моем лице. Узнав, что недавно освобожден, он пожелал помочь мне устроиться, от чего я поспешил отказаться. Между нами произошел почти откровенный разговор, и я узнал, что он «сила», что не мне с ним бороться; услышал изречение: «Кто не с нами — тот против нас», и логический вывод из этого: «Кто против нас — подлежит уничтожению»... Не забыл он обрисовать и распрекрасную жизнь тех, кто с «нами»...

Я категорически отказался от всех благ и заверил его, что и в мыслях не имею бороться с ним. На том мы и расстались. Очевидно, теперь надо опасаться не только милиции.

Приобрел кое-каких приятелей. Один из них, Рест, состоит на «службе» у крупного спекулянта, руководящего работника торговли Пузанова. Фамилия очень подходит этому человеку. Пузанов — крупнейший мошенник и спекулянт, несмотря на почтенный возраст (ему пятьдесят пять лет) и семейное положение (жена, две дочери и сын), он еще и величайший развратник, понимающий толк в молодых женщинах, как я в кондитерских изделиях. Только при его положении в обществе любовные шуры-муры нужно делать очень осмотрительно. Поэтому он содержит пять квартир в разных городах республики: в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Выру.

Роль Реста такова: когда Пузанову надоест очередная любовница, во избежание неприятных осложнений появляется молодой, красивый друг старого, некрасивого Пузанова, конечно, тоже с деньгами (деньги Пузанова же), и начинает успешно ухаживать за дамой. Скоро он ее увозит, а Пузанов тем временем заводит новые шашни, и все повторяется. Живет Пузанов в Тарту. На его столах всегда имеются вкусенькие напитки, и нам, мелким рыбешкам, от него кое-что перепадает.

Рест знает неплохо и слесарное дело, и мы порой вдвоем путешествуем по гостиницам. Он, оказывается, звезда для

многих «слесарей» в Таллинне и в Копли, пользуется немалым авторитетом. Через него я познакомился со всеми представителями того класса, для которого я теперь, конечно, «ерш», и, если это станет известно, могут возникнуть неприятности. Но моя жизнь только из них и состоит.

Однажды коммерческие дела привели меня в Пярну. Там ко мне подошел некий Лонг, наружность и манеры которого истинно британские. Представившись с церемонностью лорда, он заявил, что уполномочен предупредить меня от имени Ораса я должен примкнуть к ним. Три дня он считал достаточным для размышлений. Если я приму разумное решение, то через три дня меня будут ждать в доме N 193 по Рижскому шоссе. Я уехал из Пярну в тот же день.

Если человек хочет пить, он может напиться из колодца; если он хочет есть — он должен купить себе еду. Уж если у него нет денег и он не хочет умереть с голоду, он должен идти и зарабатывать.

Зарабатывать я не могу по простой причине — не умею. Ведь я не могу стать директором хотя бы цементного завода, а грузчиком там же — не хочу, потому что работа эта тяжелая, а зарплата маленькая. Но я умею рисковать, а риск — дело благородное. Разве не так? Подумаешь — директор! Профессор! Инженер!.. Оно, конечно, звучит, но нет романтики, живой жизни. Ну, учились они, университеты кончали, учеными стали, а потом все одно и то же и до самой смерти — научная или другая какая работа. Нет, это не жизнь. Мне тоже нелегко, можно и голову потерять, не говоря о свободе. Но зато какая это прелесть — сознавать, что ты волен урезать зарплату этих вот адвокатов, директоров в то самое время, когда они находятся в царстве сновидений... И думаю, это даже справедливо: они там привыкли получать регулярно зарплату, так привыкли к постоянным доходам! Бедные... Мне их жаль. Им тяжело с их деньгами. К тому же деньги развращают человека, если их много, делают его рабом своих настроений: не замечает он природы, не наслаждается музыкой, встает поздно, он теряет интеллект и здоровье. Конченный человек. Поэтому я считаю, что совершаю по отношению к нему акт благородства, облегчая его кошелек, заставляя его немного поволноваться, к тому же он не обеднеет — еще заработает.

Существуют люди, которые информируют воров, сообщая им, где что есть и как это «что» взять. Это хорошо для тех, кто живет более или менее постоянно, то есть в определенном районе, в определенном городе. Если же ты должен постоянно менять место проживания — не так-то легко найти этих самых накольщиков. Поэтому мне пришлось разработать несколько систем.

Первая — гостиницы, система простая; вторая — квартиры, несколько труднее; а третья система — дорога, и это уже самое трудное, хотя прибыльное. По третьей системе я попросту останавливал такси на междугородных трассах, а когда случалось, и частные машины. Определяя на взгляд «стоимость» пассажиров, я сопровождал их иногда по несколько километров, затем, после недлительного знакомства, отпускал восвояси.

Третья система трудна, во-первых, потому, что можно нарваться на опасных, возможно даже вооруженных, пассажиров, а во-вторых, конечно, из-за милиции. Из-за ее существования третью систему нужно проводить таким образом: сделай операцию на одной магистрали (желательно недалеко от перекрестных дорог, чтобы было удобнее удирать, или неподалеку от леса, где тоже можно скрыться) и исчезнешь. Пока тебя ищут в одном районе, ты уже в другом. Эстония — страна маленькая, но дорог в ней много и они достаточно длинные.

Как-то, например, утром рано я поджидал очередную жертву на трассе Выру — Тарту. Расстояние от Выру до Тарту приличное — 70 километров. Подъезжает такси. Останавливаю, спрашиваю, куда едет. Пока мне отвечают, вижу — пассажиры бедные. Такие в год раз, с большим ущербом для семейного бюджета, ездят на такси.

— Не по пути, — отпускаю.

Подъезжает другая — такая же. Потом через полчаса показывается третья. Останавливаю — есть. В машине три дамы — толстая, худая и рядом с шофером средненькая. Толстая и худая обвешаны всякими дорогими безделушками, словно новогодние елки, третья, рядом с шофером, — личность серенькая. Говорю: «по пути» — и, влезая в машину, усаживаюсь рядом с толстой.

Едем. Игрушки этих двух — крик последней моды, реклама благополучия. Завожу разговор... про погоду сначала. Потом

спрашиваю, издалека ли едут дамы. Оказывается, они едут из Пскова... на такси, конечно. Это значит 80 плюс 70. А из Тарту они собираются в Выльянди — тоже 80 и тоже на такси. Ищут, где провести лето. Толстая — жена директора какой-то псковской фабрики, худая — жена профессора, который изучает каких-то болотных жуков. А такси, между прочим, транспорт не самый дешевый... Что ж — можно действовать.

Доехав до удобного места, прошу шофера остановить, затем достаю «удостоверенные личности» — пистолет и говорю, что я молодой, подающий надежды студент, которому не хватает денег на покупку собственной машины, что без нее я жить не могу, отсутствие машины очень влияет на мою учебную способность и может помешать мне стать ученым, отчего в конечном счете могут пострадать жуки, которых я, возможно, тоже буду изучать в будущем. Дамы слушают в изумлении, шофер парализован «удостоверением». Наконец дамы, моргая глазами, спрашивают, что мне нужно. Какая несообразительность! Я уже полчаса об этом толкую.

— Деньги! — рявкаю я и делаю такую страшную рожу, что и самому делается жутко. Вот тут-то и начинается...

Я подумал, будут мольбы, просьбы, уговоры, плач, — ничего подобного. Ругаются. Похабнейшая ругань, кроют матом, настоящие извозчики. Только деньги все равно дают. Они их швыряют на шоссе. Серенькая личность тоже что-то там ищет, но я ей приказываю не искать — надо же и совесть иметь. Отпускаю их. Это и есть третья система.

И вот на этой самой третьей системе я страшно погорел.

Денег совсем не было, а было воскресенье, и машины не ездили, и воровать было негде, и голоден я был, как истинный волк. Решил я поймать овечку и скушать. Вышел из города, ждал час, другой — машин нет. То есть машины-то были, но грузовые. Наконец через час показывается такси. Останавливаю. Пассажир — женщина. Еще молодая, милостивая, но, видно, состоятельная. Признаться, не люблю сдирать шерсть с таких хорошеньких, но сейчас выбирать не из чего, а я умираю с голоду, да и борода... растет, проклятая, и в бане не был давно. Нет уж, придется тебе расстаться со шкурой, милая овечка. Сажусь с ней рядом. Едем...

Она неразговорчивая. Ну и ладно, черт с ней, к чему мне твоя автобиография — все равно шкуру сниму. Едем. Молчим.

Подъезжаем к удобному месту: перекресток четырех дорог. Прошу шофера остановиться и говорю, что я человек, привыкший роскошно жить, на что нужны большие средства, и так далее. Она меня тоже не понимает. Овечки никогда не понимают, когда с них хотят содрать шкуру, а когда им растолкуешь это, не понимают — почему. Непонятливый народ. Объясняю точнее. Ну вот, поняла. Не испугалась, просто глаза удивленные. Достает деньги, культурно подает, не ругается, снимает часы, но я говорю — не надо, часы ни к чему, их еще надо продать, а это мне ни к чему. Потом она говорит:

— Прошу вас, садитесь, пожалуйста, в машину. Мне хочется с вами поговорить. Вы не бойтесь, я ничего вам сделать не могу. Вы же вооружены.

Шофер молчит. «Чудачка, — думаю, — что тебе еще надо? Отдала шерсть, и ладно, поезжай». Но лобоньгну.

Говорю шоферу:

— Не больше пятнадцати километров в час. — И сажусь в машину.

Едем, молчим. Потом она заговорила...

...Того, что она говорила, записать не могу. Не потому, что не помню. Все помню, даже очень. Она просила рассказать о себе — я врал; она умоляла оставить это занятие — я смеялся; она просила явиться с повинной — я еще пуще смеялся; она рассказывала очень неприятные вещи о моей жизни (откуда она ей известна?), про совесть, про любовь, про честь — я смеялся; и тогда она открыла сумочку, достала еще денег, подала мне и сказала: «Я вам отдала не все деньги, вот остальные. Мне не денег, мне вас жалко», — и попросила шофера остановить машину.

Я не смеялся. Машина остановилась. И я, как дурак, вылез из нее. Здесь я заметил, что она плачет. Машина сорвалась и уехала, а я...

Мне было очень плохо. Я швырнул в болото пистолет и проклял третью систему. Мне сейчас тоже плохо, хотя достал другой пистолет: не могу же я умереть с голоду, а явиться в милицию боюсь. Но мне плохо. Мне очень плохо.

Третью систему вычеркнул.

Судьбе было угодно, чтобы я разбил свое сердце... Заодно я разбил еще вазу. Итак, разбилась ваза и сердце. Может, это

смешно. Мне — нет. Это было в Таллинне, куда меня привели кое-какие неотложные дела, ведь у бродяг всегда есть делишки. Справившись с ними, я слонялся по городу, что для бродяги, когда у него нет забот, когда его кошелек наполнен хрустящими бумажками и он уверен, что правосудие не ходит по его пятам, самое увлекательное занятие. Толкаясь среди людей, я размышлял о них, стараясь отгадать, кто из них что из себя представляет, что у кого на душе, что за душой; разглядывал красивые вещи в витринах, красивых женщин, на которых бродяге смотреть никто запретить не может. Вещи, хоть и красивые, бродяге ни к чему, а женщины... О них бродяге все же лучше думать поменьше.

Я все рассматривал, на все глядел, но не углядел, как из одного магазина выпорхнула девушка со свертком в руках. И получилось, что я налетел на нее, а она на меня. При этом она уронила сверток, в котором была ваза, а ваза, как положено всякой стеклянной посуде, раскололась. Мы были смущены, и оба, попросив друг у друга прощения, стали поспешно собирать с тротуара цветные, искрящиеся на солнце осколки. При этом я заметил, что она красивая, а глаза у нее большие, спокойные, очень доверчивые. Собрав осколки, я аккуратно завернул их в бумагу, в которую была упакована ваза, и протянул ей.

— Хотя ваза и разбита, но... осколки приносят счастье, — сказал я. И посоветовал ей сохранить осколки. Затем попросил разрешения купить ей новую вазу. Она запротестовала, считая себя виновной тоже. Тогда мы решили купить вазу сообща — замечательная примета! Когда ваза была приобретена, она, смеясь, высыпала в нее осколки разбитой вазы — нужно, мол, проверить, насколько верны народные приметы, и, подарив мне улыбку, удалилась.

Тут я понял, что я — осел, хоть и считаю себя в какой-то мере сообразительным. Разиня! едь надо было удержать ее, остановить, познакомиться. Возможно, это моя судьба... А она ушла. И не бежать же вслед... Или надо было бежать?

Когда слушаешь музыку, в жизни все прекрасно, когда слышишь хорошую песню — и сам запоешь. Музыка может заглушить любую боль, дать силу и энергию, и, по-моему, человеку не прожить без музыки. Только я люблю музыку темпераментную, жизнерадостную и мечтательную, когда звуки

радуют, ласкают, лечат, музыку, что вдохновляет. Музыка — это частица природы, ее вздохи, песни, плач и смех; в ней отражаются краски природы и настроения людей; музыка — это жизнь. И все же не всякую музыку я понимаю. Но и жизнь не вся мне ясна. Тем не менее жизнь — это жизнь. Значит, так и в музыке: хотя и непонятно, но музыка — это музыка.

Я увидел ее на улице и шел за ней до ее дома. Очень хотелось подойти к девушке, но я не мог; не хватало решимости. Никогда ничего подобного не испытывал, а тут даже во рту стало сухо и сердце билось так, словно меня застучали на «мокром деле». Когда она вошла в подъезд, я подождал несколько секунд, чтобы дать ей подняться по лестнице, и тоже вошел. Она живет на третьем этаже. Квартирка у нее маленькая, из двух комнат. Живет одна. Откуда я знаю? Очень просто: я выследил, когда она уходит и когда приходит, и, установив, что, кроме нее, никого в этой квартире нет, посетил ее. В комнатах чисто, пыли нет и много цветов — на столе, на серванте, на книжном шкафу, на подоконнике, на трюмо — всюду цветы, и в горшочках и в вазах. Не жилье — оранжерея. Интересно, цветы ей преподносят или сама покупает... Видно, она и рукодельница: стоят корзины, в них разноцветные шарик перстяных ниток и что-то начатое. А вот и ваза на книжном шкафчике. Та самая. Рядом — ее маленький портрет. Она смотрит на меня ласковыми, спокойными глазами. Они немного грустные, эти глаза. Почему? Кто она? Кого любит? А вот ее книги: Шекспир, Мериме, Куприн, Толстой, Горький — одни классики, сроду их не читал. Еще Малая Советская Энциклопедия от А до Я. И еще какая-то пузатая книга — Кулинария. И книги по высшей математике.

Я представляю, как она приходит с работы, переодевается, идет на кухню, готовит себе ужин. А потом, наверное, идет в город — на свидание. «Он» ее где-нибудь ждет, они идут в кино или так гуляют, а потом «он» ее провожает до дома. А может, «он» поднимается в ее квартиру, вместе с ней. Ну да. Ведь она такая красивая, и вообще... А я? Не имеешь права, брат, ты — вор. Ты все достаешь себе по первой, второй или третьей системе, ты все воруеть — хлеб, воду, одежду. Ну вот и укради себе любовь... Дурак. Разве можно украсть любовь? Разве можно украсть счастье? Все что угодно можно украсть, но вот

живет в этой маленькой квартире женщина, способная осчастливить одним взглядом, но не тебя, а кого-то другого, у кого тоже есть квартира, кто тоже каждое утро спешит на работу, а вечером возвращается, переодевается и идет на свидание с ней. Она будет смотреть на него своими ласковыми глазами, и он окунется в эти глаза, будет пить их жадно, восторженно. Любовь — это не для меня. Но я буду приходить сюда все равно, назло всему. Я хочу ее видеть, хоть изредка. Она — мечта, а мечтать-то я уж имею право.

Нос у него длинный, даже чересчур, глаза на самую малость плутоватые, лицо в веснушках, а прическа — чубчик. Сам пушленький, сморчок какой-то. Кличка его, между прочим, Проньра, а зовут Мишей. Он «майданник» — в поездках промышляет. Это не значит, что он держится лишь за эту узкую «специальность», но это главная работенка. В основном он «вертит углы», в переводе на человеческий язык — ворует чемоданы, и, когда я с ним познакомился, он как раз возился с одним из них, забравшись в придорожные кусты, неподалеку от вокзала. Я набрел на него совершенно случайно, и этим его немного смутил, но не скажу, чтобы очень.

— Что уставился, видишь — одно женское барахло... Стоило ли стараться, — сказал он ворчливо.

— А ты, брат, не боишься, что я тебя в милицию отведу?

— Чудак, — сказал он, — я ж тебя знаю. Ты с Рашилем ходишь.

Рашиль — это Рест.

— Что ж, верно, — согласился я и спросил: — Так чего же ты за этим ящиком гнался, раз он марьяне (женщине) принадлежит?

— А я знал?.. Его фрайер нес, — ответил он и спросил: — Ты откуда приканал? (Пришел, стало быть.)

Это знать ему было не обязательно, сказал только, что в беге.

В чемодане действительно ничего стоящего не обнаружили, одни лифчики, трусики да прочая женская мелочь. Мы оставили этот бесполезный материал, пошли в буфет и тяпнули за знакомство.

— Ты знаешь, брат, нос твой немного не того... Длинноват. Опасно тебе с таким румпелем, приметно, — высказал я изображение.

— И то, — согласился Мишка, — понимаешь, за этот вот носик я как-то отсидел трое суток в карцере...

— Да ну... — не поверил я. — Вот и «ну». Понимаешь, было это на поверке. Построили нас, ну и надзиратель один стал чихать. Раз, два, три, дошел до меня, уставился на мой нос и говорит: «Ну и шнобель! Ай да шнобель...» Тут он сбился и пошел снова считать. Дошел до меня второй раз, и на тебе, опять сбился. Так три раза сбивался, затем велел мне повернуться к нему задом и пошел считать еще раз, и опять сбился. Тогда поддал мне ногой в зад и послал на «кичман». Вот какой маленький носик у меня, — закончил он, вздыхая.

— А мне, брат, уши мешают, — сказал я, — все равно что лопухи. А сколько горя они мне принесли: отец их тянул, мама тянула, учителя тянули, кому не лень — все тянули...

Проньра понимающе качал головой, и плутоватые его глаза выражали явное сочувствие. Потом, будто я его этим фактом кровно обидел, он спросил:

— А ты что же, и в школу ходил?

— Был грех, — сознался я, понимая, что приличному, уважающему себя уркачу такую оплошность допускать не следовало бы. — Что поделаешь, — пытался оправдываться, — не добровольно же ходил... Да и давно это было.

Тянули за мои уши. Он о чем-то задумался, затем спросил, знаю ли я Кольку Окуня. Я сказал, что не знаю.

— Тоже был в беге, но вторился в одну марьяну. Она думала, что он женится, а как он мог, он же в беге. Она все ждала, что-то там гадала, потом вышла за другого, а Колька вены себе порезал, дурак, и подох... Ну, ты расскажи, как вообще...

Что ж, я рассказал Проньре о жизни беглеца. О том, как по квартирам — «сонникам» — хожу и о многом другом, только не рассказал, что на макушке у меня появились седые волосы, что по ночам дурные сны вижу, а уж о том, что тоже вторился, разумеется, не рассказал. Тягнули мы с Проньрой за пропавшую Колькину душу, за свои души и пропавшую жизнь тоже и разошлись как в море корабли.

Есть ли плохие люди?

Есть.

А хорошие?

Есть.

А кого больше — хороших или плохих? Разумеется, никто

этого точно сказать не может. Конечно, плохих людей много, но и хорошие все же есть. А кто я сам? Хороший я человек или плохой?

...Я думал почти час и ничего не придумал. неужели я ничего за свою жизнь не сделал хорошего?

Я ударил женщину, — заявил Рест.

Я не понял, во-первых, почему он мне об этом сказал, во-вторых, почему он это сделал, но вопросов задавать не стал. Сам расскажет.

Помнишь вечер, когда ты висел под балконом? — спросил он.

Разумеется, я помнил. Тогда я посетил по «наколке» одну квартиру. По сведениям, в этой квартире в тот вечер никого не должно было быть. И когда я туда вошел — а вошел через дверь, — там действительно никого не было. Занялся осмотром. И тут пришли люди. Услышав голоса, я скрылся на балконе. Было темно, я надеялся спуститься по водосточной трубе, на худой конец подождать на балконе, пока в доме уснут.

На мое несчастье, водосточной трубы вблизи балкона не оказалось. Тут голоса приблизились к балкону, куда деваться?.. Я перелез через барьер балкона и, держась за железные прутья, повис под ним. Сверху слышались голоса — женский и мужской. Говорили о любви. Что могло быть хуже... Приготовился к длительному висению. Висеть было очень неудобно, но не мешать же людям!

Наверху стало тихо, но они не ушли. Я услышал вздох — долгий, глубокий. Такой бывает, кажется, после поцелуя. «Ну, уж если дошло до этого, — подумал я, — мне висеть да висеть». Но я ошибся — они ушли. С большим трудом залез обратно на балкон, руки совсем онемели. Уйти из этой квартиры удалось лишь под утро — влюбленные засыпают не скоро.

На блатквартире Пузанова меня тогда ждал Рест. Он тоже где-то «поработал», и к тому же с большим успехом. Сидел в кресле, задрал ноги на стол, на лице идиотская ухмылочка. Я рассказал о моих злоключениях. Он, по-прежнему продолжая чему-то многозначительно ухмыляться, произнес торжествующе:

Ты знаешь, я благородное дело состряпал. — От него разило водкой.

— И в честь этого напился? — спросил я.

— Нет, напился раньше, — ответил он.

— Значит, с пьяных глаз... Ну, это еще можно понять, съехидничал я.

Рест шел после «работы» из кафе, был малость под «мухой». Идет по Кадриоргу, наслаждается чистым воздухом, настроение на «самом высоком уровне». Вдруг видит одиноко сидящую на скамье девушку. Свинство, когда красивая девушка скучает одна. Садится рядом. Но что это? Девушка плачет.

— Что с тобою, крошка? — говорит Рест и участливо гладит ее по голове.

Оказывается, она — студентка (на последнем курсе, медичка, между прочим), у нее похитили деньги — стипендия ее и ее подружек. У нее никого нет, кто бы мог ей помочь. И жить не на что. И тут Рест доказал, что существуют на свете истинные джентльмены.

— Вот тебе кусок, киса, — говорит он ей и подает деньги. Купи лотерейку, глядишь, повезет и сразу миллионершей станешь.

Он тут же встал и ушел, даже не познакомившись с этой красоткой. Правильно, какое же это было бы благородство, если потом знакомство и тому подобное.

— Ты бы видел ее глаза... — закончил свой рассказ.

Деньги нам достаются нелегко, но все-таки Рест молодец. После этого через несколько дней он прибежал с такой же дурацкой ухмылочкой.

— Опять благородство какое-нибудь совершил? — поинтересовался я.

— Я ее видел. Понимаешь? Стоит автобус, и я стою на остановке. Вижу, какая-то красотка через окно меня рассматривает. Так и прилипла к стеклу. Я ее сразу узнал, и она меня тоже, выйти хотела, но автобус уехал.

Рассказывая это, Рест был похож на ненормального, видно, загорелся парень. Только сегодня его погасили. Стучилось это на Пирита, где он отдыхал после трудов праведных, купался, загорал.

Слышит вдруг Рест — кто-то кричит. Видит — в воде барахтается мальчик. Миг — и он под водой. Рест ныряет, хватается его, вытаскивает. Мальчик — как тряпка. Рест перевернул его, надавил на живот, уложил на песок и давай

делать искусственное дыхание, как полагается, по всем правилам. Собрались люди, пришла медсестра. Рест работает, воображает себя героем. Сестра подходит, шупает пульс, слушает сердце и говорит:

— Он мертв.

— Как?! Не может быть! — кричит Рест и давай опять делать искусственное дыхание.

Никакого толку. А сестра кричит:

— Он мертв! Не старайтесь!

Рест наклонился к губам мальчика и дует, того и гляди лопнет сам. Никакого результата. И опять Рест работает, а сестра ему мешает: шипит, ругает.

— Несите теплую воду! — заревел тогда Рест.

Кто-то куда-то побежал, принесли ведро теплой воды. Рест вылил воду на утопленника и опять начал делать искусственное дыхание. Люди вокруг наблюдают, что-то подсказывают, сестра молчит. Мальчик открыл глаза.

— С чем тебя и поздравляю, — сказал Рест, поднялся, подошел к сестре и дал ей пощечину. — Дрянь!

— Вот видишь, я ей дал по морде, — Рест удрученно смотрел на меня.

Я ничего не сказал.

— А сестра была... она, — сказал Рест, опустив голову.

Тетрадь восьмая

Год 1954

Какое сегодня число? Думал, думал, и рука наконец вывела цифру 22. Только она это вывела, подошли два парня и уселись рядом. Они, оказывается, блатные — слышу жаргон. Везет мне на них, куда бы я ни шел, везде на них натываюсь. Я тоже заговорил на том же наречии. Парни — им было лет по тридцать пять — с интересом и с некоторым подозрением посмотрели на меня, почему-то вдруг встали и быстро ушли. Я понял: они хоть

на жаргоне, но говорили, кажется, о работе, о делах на производстве, а я с ними заговорил как вор, как бродяга. Я с ними заговорил как с блатными, а они-то уже, оказывается, «завязали». Они уже люди, и, хотя говорят на жаргоне в силу привычки, меня, блатного, они знать не хотят. Что же, дело ваше...

А почему моя рука так непослушно вывела цифру 22? Ладно, кривить не стану: потому что я пьян в стельку. А почему я пьян? А потому что меня пробрал жесточайший понос, а с поносом шутки плохи, его сопровождают жуткие боли. Вертелся я, вертелся, мучился, потом купил пол-литра водки и залпом выпил. Боли сразу исчезли, относительно поноса еще не знаю. Только и зрение стало что-то плохое: писать могу, только если зажмурю один глаз, а обоими ничего не вижу — бумага расплывается на целый квадратный километр, буквы кажутся с четырехэтажный дом.

Сейчас, задрав нос к солнцу, я призадумался и тут же ощутил, что кто-то уселся рядом. Посмотрел, сидят какие-то двое, видимо научные сотрудники; они что-то говорят, кажется по-научному, слова непонятные. Завидно мне: живут люди, знают свое дело, свою науку, а я около них сижу, на них, зажмурив один глаз, смотрю, слушаю их жаргон и ничего не понимаю. Хотелось бы с ними поговорить, но вряд ли меня будут слушать, такого пьяного, не стоит. И все же спросил: какую науку они изучают? Они запрыгали носами, видно, запах водки учуяли, и, не ответив, спросили меня, кто я такой.

Я простой бродяга, сказал я. — и у меня понос.

Они ушли. Тут же присел человек в черном костюме, с черным галстуком, в черном берете, худой. Кто такой? Черт его знает. А по левой стороне, оказывается, сидела девушка, красавица, вот она встала и ушла. А я ее и не заметил, вот до чего залил глаза. Холодно стало, надо уйти. Но, ей-богу, не знаю, где я сейчас нахожусь...

Ведь бывает же такое... Ни о чем не подозревая, стоишь себе с приятелями, глубокомысленно созерцаешь янтарное пиво, убывающее в твоей кружке, улыбки на небритых физиономиях приятелей и собак, ведущих какие-то свои переговоры за пивным ларьком, который не переставая по очереди подпирают лапами (говорят, у собак это вошло в моду после того, как где-

то на какую-то из них упал забор); твой приятель, с кем ты пять минут тому назад познакомился, заканчивает анекдот, и ты открываешь рот, чтобы как следует посмеяться, хотя анекдот и не понял, а вместо того закричишь от испуга и боли тоже, потому что тебя вдруг бабахнули чем-то по голове. Вот здорово!.. И бывает же такое...

Когда этот жест совершился — засмеялись приятели, потому что этим приятелишкам всегда смешно, когда кто-нибудь плепнется в лужу или стукнется лбом о столб, или брюки порвет на себе нечаянно. «Только пошли мы, — смакуют они, — и он тут ка-ак стукнется...» Или: «Только мы это... э... пропустили, закусил и пошли... а он ка-ак плепнется... Го-го-го, го-го-го...» Им всегда смешно. А тут целая сенсация. Стукнули по голове. Ого-го-го! Причем чем стукнули? Старым дырявым ведром. Им так весело, они так заразительно ржут, что вместо того, чтобы как следует дать по зубам тому, кто к тебе так неуважительно отнесся, тоже засмеешься и, словно это и в самом деле занятно, как будто между прочим, не переставая снисходительно смеяться, поинтересуешься, за что тебе такая милость. А вот теперь уже не до смеха.

Перед тобой стоит разъяренный дьявол в образе базарного дворника — здоровенный двухметровый верзила лет пятидесяти.

— Не-е знаешь! — ревет он изумительно нежным голосом, которому позавидовал бы северный медведь, и... ба-бах — ведро второй раз, еще с большего размаха, опускается на мою голову. Да, да — на мою! Это именно меня на таллинском базаре стукнули по голове этим недостойным предметом. Пока я соображал, смеяться ли мне дальше или как, старик готовился третий раз проделать этот номер для потехи собравшихся зевак, и мне с трудом удалось укротить это свирепое явление в старом залатанном фартуке, отняв у него порядком помятое о мою голову ведро.

— Где мое ведерко? — проревел он.

— Какое ведро? Что это он несет?

— Новое! — кричит он. — Куда ты, собачий сын, его девал?!

Я уже не обращаю внимания на неуважительный тон и пропускаю мимо ушей оскорбление, изобразив одну из самых ласковых улыбок, молю его объяснить, в чем дело. Тут наконец и приятели, насмеявшись досыта, поспешили на помощь —

старикуну подали кружку с пивом. Он смягчился и, прежде чем пригубить подвошение, произнес:

— Сказал мне тут один, что это ты ведро забрал, а я горяч малость... Но какая же стерва стащила ведро?! Кто ему сказал это?

Опустошив несколькими здоровенными глотками кружку, он, все еще подозрительно на меня глядя, сказал:

— Да вот был он тут, — старик обернулся, поискал кого-то взглядом в толпе, — такой маленький, пузатенький, с носом этаким... — он изобразил рукой, какой нос у того. — Ведь вот стерва, дали мне утром совсем новое ведро, тут я его на минутку поставил, отвернулся, а потом гляжу — стоит это... — показал на старое. — И потом тот, с носом, подошел и на тебя показал. «Это, — говорит, — он стянул». А я ведь горяч... Но ты, если не брал, извини...

Это, конечно, Проньра... Отомстил за вчерашнее.

Вчера вечером мы съездили с ним в деревню к одной нашей знакомой. По дороге не могли никак решить проблему треугольника: нас ведь двое, а знакомая одна. Зато, не дойдя до дома знакомой, я решил проблему «дерева и собаки».

Во дворе знакомой (живет она одна) обитает громадная свирепая дворняга, которую постоянно держат на цепи и которую Проньра каждый раз не забывает пинать ногой, приговаривая: «У-у, злока противная, р-р-р». За это бедная дворняжка так полюбила Мишкин нос, что и во сне видит, как бы оторвать его, и, когда ей удастся сорваться с цепи, Проньре приходится сидеть на низеньком каштане, растущем тут же во дворе. Что касается моих отношений с этой дворняжкой, я ее всегда жалею и кормлю хлебом, колбасой. И пользуюсь за это особым ее расположением.

Когда вошли во двор, я быстро подбежал к дворняжке и, прежде чем Проньра что-нибудь успел сообразить, спустил ее с цепи. Проньра просидел на каштане до тех пор, пока я не ушел.

...Ее зовут Сирье. Она каждое утро в половине восьмого выходит из квартиры, а возвращается поздно — в шесть-семь часов вечера. Рабочий день, что ли, у нее такой длинный — не знаю. Я прихожу в ее квартиру и наблюдаю, как она живет. Разные мелочи рассказывают о ее жизни. Во-первых, альбом.

Вот она заснята с каким-то мужчиной, противный тип, лысый. Она и он встречаются на многих снимках, они сняты и вдвоем и в компании. Не понимаю, как может такая красивая женщина якшаться с таким уродом. На некоторых снимках она изображена и с другими мужчинами. Особенно выделяется один из них, с красивым лицом, с маленькими усиками. Не нравятся мне его глаза — наглощие какие-то. А вот она заснята еще с кем-то, видно, военный, положительно симпатичная личность, и глаза тоже симпатичные.

Она вяжет какое-то платье. В прошлый раз, когда я был здесь, я не мог еще определить, что это она такое вяжет. Но теперь могу поклясться, что это или платье. или юбка. Гляжу на ее портрет и думаю, почему у нее такие грустные глаза, не родилась же она с такими. Может, ей в жизни не повезло? Мне все в ней нравится, одно плохо: курит. Всегда у нее в пепельнице окурки папирос с напوماженными кончиками.

Пытаюсь иногда представить себя рядом с ней — плохо получается. Мне кажется, что я смешон, неловок и уж, разумеется, некрасив, возможно, даже неприятен. И вообще, что я из себя представляю как мужчина? Раньше мне было все равно, каким я кажусь женщинам — умным, дураком, красивым, уродливым, лишь бы они меня принимали. А вот теперь я даже не представляю, что я с ней могу познакомиться, поговорить, сжать ее руку. Что это со мной такое происходит? Неужели это и есть любовь? Но ведь любовь не для меня, разве это возможно? Ну, допустим, любить-то я право имею — товарища, собаку, удовольствия разные, жизнь вообще. А ее? Мой товарищ — такой же, как я, вор. Я имею право любить своего товарища, потому что он такой же, как я, и разделяет мою участь; а ее, эту женщину, я любить не должен, потому что она не сможет разделить мою жизнь. Об этом даже думать нельзя. Если бы она была воровкой — имел бы я право любить ее тогда? Наверное да. Но хотел бы я любить такую женщину? Наверное, если уж она мне нравится, я любил бы ее все равно. Кто его знает почему... Не знаю. Неведома мне эта сила. Но сила эта есть, и никто не может устоять перед ней. Стало быть, тогда и я ее могу любить... Да, я имею право, это мое личное дело, но заставить ее разделить мою проклятую жизнь — этого делать нельзя. Люби себе на здоровье, сколько хочешь, и пусть об этом, кроме тебя, никто не знает. Но я не

хочу так, я хочу быть с ней. Что делать? Открыться ей и сказать все прямо: мол, так и так — сволочь я и все такое. Тогда я ее больше не увижу. Нет, я не скажу ей ничего, она ничего не узнает, она единственное, что у меня есть, я не хочу ее терять. Как бы мне хотелось быть обаятельным, сильным, чтобы покорить ее. Да, сильным. Женщины, кажется, ценят в мужчинах это качество. А я разве сильный? Я, конечно, могу блеснуть ловкостью, напасть на кого-нибудь, применить один-два из многочисленных подлых приемов. Но разве этим покоришь такую женщину? Нет, этим восхищаются девицы из «малины», но не она.

Да, счастье не украдешь. До сих пор я все мог забрать и увести из тех квартир, где побывал, а вот здесь есть нечто, чего не унесешь. И это мутит мне душу. Наверное, у каждого человека есть что-то для него недостижимое, ему неподвластное, что он не может удержать, чем никогда не овладеет. А все-таки мне здесь так хорошо, и пускай она меня никогда не узнает, пусть она улыбается другим. Я довольствуюсь своей долей. Хотелось бы принести ей цветы...

Чудовище — громадная уродливая собака и похожий на черепаху зверь с красными лапами и пастью, как у крокодила, напали друг на друга и, страшно рыча, грызутся. Откуда-то появилась громадная кошка, намного больше тигра, ее зеленые глаза горят, как фонари, она стоит поодаль и, помахивая самым кончиком длинного хвоста, наблюдает, как чудовища рвут друг друга. Собака-чудовище придавила черепаху передними, толстыми, как у слона, лапами к земле и страшными клякками старается сорвать ее панцирь. Черепаха крутится на месте, словно гигантская чаша, поднимая облако пыли. Она шипит, шипит, а кошка все стоит, и ее зеленые глаза делаются то желтыми, то красными, хвост шевелится...

Я не могу понять, где я нахожусь. Вроде происходит прямо рядом, но я не вижу самого себя, а их вот вижу. Над вами черное небо, на котором нет ни облачка, ни звезд. Небо будто бы освещено откуда-то снизу, и кажется, что натянута над землей огромное черное полотно. Вокруг ярко-желтый песок, деревья с красными стволами и невысокий кустарник с большущими белыми цветами.

— Вы что здесь делаете? — это спрашивает откуда-то

появившийся гигантских размеров жук. Он стоит, тарачит черные, блестящие, словно стеклянные, глаза и шевелит длинными, как кнуты, усами. У него три пары ног, они синие. Собака-чудовище отошла от черепахи, улеглась в песок неподалеку и выжидающе глядит на жука.

— Что вы здесь делаете? Как вы здесь очутились? Кто вы такой?

Чудовище исчезает, я чувствую, кто-то трясет меня за плечо. Открываю глаза и, словно в тумане, вижу женщину. Она опять что-то спрашивает, но я не могу ответить, я смертельно устал. Хочу спать. Спать! Спать! Пусть весь мир провалится в тартарары, пусть сгорит дом, пусть будет потоп, но пусть меня оставят в покое — я хочу спать. А она опять меня трясет, еще и еще раз. Откуда-то появляются муравьи, черные, с большими блестящими брюшками. Они идут колоннами, построившись стройными рядами; их много, бесконечно много, все идут, идут, идут...

Проснулся от мучительной боли в темени и не сразу понял, где нахожусь. Я лежал на диване в маленькой комнатке с голубыми обоями на стенах, с белоснежными занавесками на окне. Был день, светло, откуда-то в комнату проникал запах кофе. Очень хотелось есть. Лежал одетый, укрытый одеялом, и под головой у меня оказалась подушка. Но помню, когда я сел на этот диван, ничего не было. Мой взгляд остановился на портрете, с которого на меня смотрела светловолосая женщина, и сразу все стало ясно: это ведь квартира Сирье.

Это было уже утром, когда я, усталый, зашел к Сирье. Предварительно позвонив, я убедился, что ее, как всегда в это время, нет дома. Затем открыл дверь и вошел. Я присел на диван, задрал на спинку стула ноги и стал смотреть на портрет Сирье. Я не спал очень долго и очень устал, но это бы еще ничего, если бы не сходка... Меня повел туда Рест, он ведь вор «в авторитете». Сходка собралась в Копли, где есть что-то наподобие «малины». Собрались из-за Рябого. Рябой был где-то на деле, а когда их всех сцапали, его почему-то отпустили. Потом стало известно, что он «сука» и дело уже заранее «заложил».

Рест меня представил как вора. Всего собралось девять морд. Сперва базарили так, кто про что умел, говорили о бабах, потом, как бы между прочим, перешли к главному вопросу. Всю ночь выступали воры, попались, как назло, все языкастые и грамот-

ные. Да и Рябой тоже чуть ли не дипломат. К тому же он имел право защищаться и пытался доказать всеми возможными правдами и неправдами свою невиновность.

В окно ударили камнем: со звоном разбилось стекло. Через маленький люк в коридоре все вмиг взобрались на чердак, а оттуда — на крышу, перейдя которую мы очутились в соседнем дворе, откуда по одному вышли на другую улицу.

В «хату» ворвалась милиция, но было уже пусто. Однако еще бы чуть-чуть — и хана всем. Но как это им удалось вынюхать сходку?..

Уже рассвело. Я бесцельно бродил по городу, о чем-то думал: о беспощадной жизни, о смерти, о Рябом. Перед глазами все еще стояло побледневшее лицо Рябого, его последние судороги. И жизнь эта... тоже. Как мог Рябой уйти из жизни так покорно... «Я вором был, вором и умру». Какая нелепость! Фанатик! Уверен, что каждый из тех, кто судил Рябого, уже не раз нарушил закон, но только об этом до поры до времени неизвестно. Но это не помешало им во имя этого нелепого закона уничтожить товарища.

На Нарва-Манге эти размышления прервал неожиданный толчок в спину, и я полетел навстречу мчавшемуся на меня грузовику. Водитель не успел затормозить, так это быстро произошло. Я машинально подпрыгнул, чтобы уцепиться за радиатор, и это меня спасло. Получив удар, отлетел в сторону и отделался лишь синяками и ссадинами. Подозреваю, что это не последний «несчастный случай», который со мной может приключиться. Потом я очутился на знакомой улице в доме Сирье.

— С добрым утром! Как поспали? — Передо мной стояла она, закутанная в халат, в мягких комнатных туфлях на босу ногу.

— Здравствуйте, — сказал я, — извините меня... Вы меня, конечно, не знаете...

Она отодвинула стул от стоящего посредине комнаты стола и, скрестив ноги, села. Так всегда сидела моя мама, когда вязала или шила.

— Нет, почему же, я вас знаю, — сказала она. — Мы ведь с вами, кажется, вазу вместе разбили. У меня даже осколки от нее сохранились. Они будто бы приносят счастье? — В ее голосе послышалась ирония, но продолжала она безо всякой иронии, и в ее голосе почудились теперь уже нотки страха. — Только как

вы ко мне попали — я действительно не понимаю... Но вы, между прочим, проспали у меня ночь, ведь уже утро.

«Значит, я проспал целые сутки», — подумал я и молчал. И она молчала. Я не знал, как быть. Сказать разве, что я в этой квартире не в первый раз? У нее очень хорошие глаза, ласковые, человечные. Мне так хотелось, чтобы вот такая женщина была моим другом.

— Хотите, я вам расскажу всю правду? — спросил я наконец, не сознавая еще сам, что именно расскажу.

— Хочу, — сказала она коротко.

Я рассказал ей все. Я спешил, торопился, боясь, что она мне помешает, но она слушала очень внимательно. Меня прорвало, я вывернул перед ней всю душу и говорил, говорил, говорил. Никогда, никому я еще не говорил столько правды. Страшной правды... А то, что она действительно страшная, я понял отчетливо лишь теперь, рассказывая ей. Мне хотелось очиститься, как на исповеди. Когда я, наконец, замолчал, она спросила, как меня зовут.

— Меня зовут... — чуть не назвал кличку. — Ахто, — ответил я, и это звучало как-то странно, так давно меня не называли по имени.

— И у вас никого нет? — спросила она тихим голосом. — Ни родственников, ни... — она не закончила вопроса, лишь вопросительно смотрела на меня.

— Нет, никого нет, — ответил я Сирье, как и она, тихо.

— Хотите есть? — спросила Сирье. — Пойдемте, будем пить кофе. Мы пошли в маленькую кухню, Сирье разлила кофе и мы молча принялись за еду. Было очень уютно. Так хорошо мне уже давно, давно не было. На короткое время я забыл и сходку, и Рябого, и всю свою собачью жизнь. Когда я собрался уходить, она сказала:

— Если вам негде будет спать — приходите. Я ничем больше не могу вам помочь.

Глаза у нее были опять грустные.

Явился я к Сирье пьяный. И она меня не выгнала. Ей-богу, не понимаю... Она не выгнала меня, а уложила спать на тот же знакомый мне диван. Даже помогла раздеться. Из нее бы получилась идеальная жена. Ночью я проснулся, и жизнь представилась мне настолько в розовом свете, что я выбрался

из своей постели и хотел пойти в комнату, где спит Сирье. Но истинное положение вещей мне разъяснила дверь — она была заперта. Утром Сирье мне ничего не сказала, но в ее глазах я прочитал что-то наподобие снисходительного сочувствия. Я чувствовал себя виноватым перед ней, обещал в таком виде больше не являться. Она сказала лишь коротко:

— Хорошо.

И больше об этом речи не было. Позавтракав, мы разошлись, она ушла на работу (Сирье работает в каком-то институте), а я... тоже ушел «на работу». Когда вышли на улицу, она спросила, чем я открываю ее квартиру. Я замаялся. Тогда она подала мне ключ и сказала, впервые обращаясь на «ты».

— Бери, пусть он будет у тебя, у меня есть другой.

Я запомнил эти слова на всю жизнь.

Сегодня утром пораньше попутал меня бес. Он попутал меня, как раз когда я проходил по улице Сальме, что идет вдоль парка, где в это время дня было совершенно пустынно. В одном доме на втором этаже я заметил открытую балконную дверь. Соблазнительно близко от балкона была водосточная труба, по которой я карабкаюсь так же ловко, как другие ходят по лестницам. Я снял плащ, шляпу, прибавил к ним портфель с моим арсеналом и, убедившись, что никого поблизости нет, запрятал все в кустах. Затем поднялся на балкон и заглянул в квартиру, где нашел одно почтенное семейство, с аппетитом ушлетающее блины и кофе. Понаблюдав его немного и вспомнив, что и мне пора завтракать, ушел отсюда. Только своего имущества в кустах не обнаружил...

Итак, пока я из чисто спортивных побуждений посетил это семейство, какая-то подлая личность меня обворовала. Поздравляю! Этот негодяй приобрел бельгийский пистолет марки «Депозе», чудесную коллекцию отмычек, тонких перчаток и превосходные гримы, да еще кое-какую полезную литературу — всем этим мне теперь придется обзаводиться снова. И что за отвратительное явление — воровство!

— Преступление еще нигде, никому и никогда не приносило счастья, только опустошало душу, ломало жизнь и губило будущее, — это говорит мне Сирье.

Она приютила меня в своей квартире и сказала, что хочет

сделать из меня человека. Смешная. Разве я не человек? Она ведет со мной борьбу, доказывая, что я живу неправильно. А когда я ее спрашиваю, что мне конкретно делать, чтобы получилось правильно, — молчит. А что же мне действительно делать? Вернуться в лагерь? Ведь я как-никак поработал немало и по первой, и по второй, и по третьей системе. Дадут наверняка на полную катушку — десятку.

Сирье спит. Пришла из института, посидела на диване, поболтали, затем она сняла туфли и легла.

Я укрыл ее пиджаком. Скоро она заснула. Перед ее приходом я прибрал квартиру, помыл посуду и постирал полотенца. Осталось приготовить ужин, но я не умею. Она поспит немного, а проснется — сама что-нибудь сделает.

Все-таки смешная она. Я выразил возмущение по поводу чего-то, прочитанного в газете, это ее чрезвычайно обрадовало:

— Так ты, стало быть, начал читать газеты...

Вокруг много людей — хороших и плохих, кое-кто из них иногда относится ко мне хорошо, но они не ко мне относятся хорошо, а к тому человеку, за кого я себя выдаю, меня же они не знают. Сирье знает меня.

Росла она без родителей, отца не помнит, а мать умерла, когда она была еще маленькой. Вырастила ее тетушка и дядя, они живут где-то в деревне. У Сирье есть муж. Нет, не тот лысый, с которым она сфотографирована, — это, оказывается, и есть ее дядя (в общем-то симпатичный) — и не красавец с наглощими глазами, хотя он, к сожалению, не дядя... Ее муж тот положительный военный с симпатичным лицом.

Девять лет назад она вышла замуж... за красавца с наглощими глазами. Он пьянствовал, мучил ее, изменял... Она прожила с ним три года и развелась. Через год после этого она вышла замуж за военного и прожила с ним четыре года. Это очень хороший человек, любит ее, у них родилась дочь. На этот раз изменила она. Почему так получилось — она не знает, так получилось. Человек, с которым она изменила, прошел мимо-летней тенью в их жизни, она его даже не вспоминает. Муж простил ее и хотел, чтобы она вернулась. А она не вернется.

— Ему даже легче, — говорит она, — он не один, у него наша дочка...

Она тоскует по девочке, но к нему не вернется. Почему? Кто может это объяснить? Разве сама Сирье...

И как это получается? Почему любовь непостоянна? Есть пары, которые, прожив в согласии многие годы, расходятся. Возможно, за долгие годы они надоели друг другу? Есть же пары, которые, прожив лишь несколько месяцев, расходятся. Возможно, они недостаточно любили? Возможно многое. Можно даже полюбить бродягу, с которым в один несчастный день расправится правосудие...

Сирье бросила курить, она сказала:

— Даю слово! — Я знаю, она не бросает слов на ветер. Она просила меня дать слово, что я больше никогда не буду пить — «ни капельки», и я тоже не бросаю слов на ветер. Потому и не мог дать ей этого слова.

Нет, не годится приличному волку подходить к людям слишком близко: если не убьют — приручат, заставят ходить на задних лапках, и станешь какой-то помесью дворняжки с кошкой: хвостиком ложись сюда, морду поверни туда, лапки держи не так, а на овечек уж и не поглядывай... Нет, мы не поссорились. Но нет мне от нее покоя. Все учит, наставляет, а чуть что не так — в слезы. Беда с ней. С одной стороны, понимаю — любит она меня и хочет, чтобы я был таким, как все, или таким, каким она меня хочет видеть. С другой стороны — никто еще мною не командовал, непривычно мне это. О каждом шаге нужно перед ней отчитываться, и непременно чтобы правду говорил. Только не могу же я ей все говорить. Что же тогда получится: скажу ей, так и так, ограбил такого-то, там-то и в такое-то время... Ерунда получается. Значит, надо лгать. Но ведь я ее люблю, и мне совсем не хочется говорить ей неправду.

Странно все. Как-то невероятно даже, что я люблю женщину, которая принадлежит только мне и поэтому имеет право потребовать от меня повиновения. А разве это так просто? Казалось, всегда видеть ее, быть с ней и днем и ночью — мечта. Но мечта сбылась, и откуда-то появились тысячи мелочей, к которым ты не привык, они тяготят. Она каждый день со мной советуется, что готовить на обед, на ужин... «Что ты будешь есть?» — спрашивает. А мне-то все равно. Я ведь ем все подряд, подавай хоть гвозди. Да и неудобно: денег от меня, по известным причинам, она не берет, и, следовательно, когда я с ней, она меня кормит. А она не понимает, что неудобно, обижается. Ко всему прочему она очень образованная, много знает, и мне иногда трудно с ней разговаривать. Она говорит о своей работе,

но я в этом ничего не смыслю, разные непонятные слова о непонятных ученых делах, о незнакомых людях. Мне нечем с ней поделиться, кроме общих впечатлений о повседневных событиях. И получается, что у нас вроде разные интересы.

Брак по-эстонски звучит так: абизлу. Это слово состоит из двух слов: аби — помощь и алу — жизнь, в сочетании — жизнь во взаимопомощи. Это прекрасно, это, по-моему, самое точное определение супружеской жизни. Любовь соединяет людей для того, чтобы они жили и помогали друг другу во всем: физически, морально, материально. Находясь рядом с любимым человеком, ты должен следить, чтобы не обременять его своим существованием. Когда же один становится в тягость другому, значит, он в чем-то другому не помогает, и если он этого не поймет, неминуемо следует разрыв или же люди существуют нудно и надрывно. И все-таки нелегко приличному волку цивилизоваться, надо вертеться сюда, туда и соображать, много соображать, чтобы знать, куда и как повернуться хвостиком, как держать лашки.

Хотел привести ей цветы и полез в какой-то сад, где увидел изумительные ярко-красные розы. Попался садовнику или хозяину. Оказался здоровенный верзила, дал мне по морде. Я стерпел, чтобы не поднимать шума, даже извинился, но он не извинил, наоборот, еще дал по морде и розы отнял.

Есть у Сирье подружка, ее зовут Астрид Сипельгас («сипельгас» по-эстонски муравей). Астрид замужем, муж ее агроном. Живут супруги Сипельгас в деревне, недалеко от Таллинна, близко к морю. Вот сюда мы с Сирье и приехали, чтобы, так сказать, культурно отдохнуть. В нашем распоряжении три недели — отпуск Сирье. Живем на хуторе, пьем молоко, загораем, бегаем, плаваем. Вернее, плаваю я один, потому что Сирье умеет плавать только по-собачьи и то больше пяти метров на воде не продержится. Она ужасно боится утонуть. Как-то я ее взял и понес на глубину. Она страшно закричала, а когда я ее вынес обратно на берег, жалобно заплакала. Еще она боится коров... Вчера я целый день бродил по лесу, а вечером, когда вернулся домой, увидел: Сирье бегаёт по вору, а за ней гоняется хозяйская корова. Вообще-то корова явно полагала, что не она гонится за Сирье, а эта со стеклянными глазами женщина (Сирье была в очках) гонится за ней, искала места, куда бы

скрыться. Сирье же не сомневалась, что корова гонится за нею, и так они металась по двору из угла в угол.

— Ну, чего стоишь! Помоги же мне загнать эту скотину! — закричала Сирье, увидев меня, совершая при этом отчаянный прыжок от коровьего хвоста. Из них обеих Сирье приходилось хуже, потому что она боялась коровы и спереди и сзади: впереди у коровы рога, а задними ногами она лягается.

Корова между тем открыла рогами калитку и пустилась, задрвав хвост, по грядкам всякой культурной растительности, за нею я и Сирье. Наконец нашими усилиями бедное благородное животное было водворено в сарай, откуда я, привязав корову, вышел гордым шагом победившего тореадора... Запыхавшаяся Сирье рассказала мне, что наша хозяйка ушла к своим родственникам и попросила ее загнать корову. Ну вот, а получилось-то что?!

Мы с Сирье шли мимо православного собора и увидели толпу, которая, толкаясь, вписывалась внутрь. Решили зайти в храм божий. Взявшись за руки, изображая на лицах смирение, влезли в гущу бородатых стариков и морщинистых, повязанных платками старух. Еле протолкались. Неподдалеку шла какая-то дискуссия на неизвестную мне религиозную тему. Лысый старик с хищным носом что-то толковал о происхождении сатаны и его взаимоотношениях с Господом Богом. Одна старушенция и другой старик возражали ему. Спор был горячий, в ход пускались весьма мирские термины.

Должен сказать, люблю изредка в ночное время заглядывать к представителям господа. Народ они не бедный и хлеб насущный зарабатывают не очень уж в поте лица. Я бы сказал: живут хорошо на этом свете, а на том... они-то уж попадут прямо в рай. Мне же, грешному рабу желудка моего, презренному члену братства нарушителей всех видов порядка, мне на том свете гореть в огне адском, поэтому пользуюсь на этом чем могу. Все равно нехорошо.

Случайно обернувшись, я увидел, что Сирье быстро-быстро крестится. Она искоса взглянула на меня, но я сделал вид, что ничего не заметил. Бедненькая... И черного кота боится, и пустых ведер, и если я ненароком ключи от квартиры брошу на стол — будет мне за это: она убеждена, что это плохой признак, предвещающий ссору, и чуть не плачет. И осколки от той самой

вазы, с которой началось наше знакомство, она бережно хранит в большой хрустальной чаше. Она верит, что они принесут ей счастье. Дай-то бог, чтобы это было так!

Насытившись святой атмосферой собора, мы выбрались вон.

Чрезвычайное сообщение: в деревне, километрах в пятидесяти от Таллинна, живет молдаванин — как он здесь очутился, никому не известно, — у этого молдаванина имеется дом, и в одной из комнат этого дома, в подоконнике, запрятано три килограмма анаши. Интересное сообщение! Анаша — это такая гадость, которую курят. Она, как морфий и кокаин, имеет поклонников и ценится очень дорого. Спрятал там эту анашу человек, когда-то снимавший у молдаванина комнату. Этот человек угодил за что-то в тюрьму. В тюрьме он рассказал об этом парню, который, в свою очередь, рассказал Проньре. Вопрос теперь заключался в том, как эту анашу оттуда достать. А достать надо было непременно — это же бешеные деньги.

Я вспомнил, что у меня есть старая малинового цвета обложка от футбольного абонеента. Билет этот без фотографии, но зато обложка замечательная. А фотографию можно вставить. Я сказал Проньре, что возьму это дело на себя, и, условившись о времени встречи, мы разошлись.

В тот же день я сделал все необходимые приготовления и поехал в село. Быстро нашел улицу и дом. Его хозяином оказался черномазый детина, ростом в два метра, с внушительными кулачищами. Показав на миг удостоверение «с красной обложкой», я отрекомендовался сотрудником милиции и с ходу приступил к делу.

Были ли у вас квартиранты в течение последних трех лет? — задал я вопрос номер один.

Были, — сказал детина.

- Кто именно? — вопрос номер два.

Да всякие были. — Он стал перечислять, кто и когда именно был. Но меня интересовало совсем другое.

- В каких комнатах вы держите квартирантов? — вопрос номер три.

- Да мы всегда большую отдаем, желаете посмотреть? Чтонибудь случилось, или так интересуетесь?..

Я не ответил. Он повел меня в большую, светлую, с тремя окнами комнату.

Значит, в других комнатах квартирантов у вас не было? переспросил я на всякий случай. Оказывается, не было.

В таком случае, — сказал я, — должен вам сообщить, что в одном из подоконников этой комнаты запрятана взрывчатка, она имеет ту особенность что, пролежав в закупоренном виде более двух лет, автоматически взрывается. Итак, скоро ваш дом, если мы не найдем взрывчатку, полетит к чертям собачьим.

Детину не пришлось долго уговаривать. Он вышел и тут же вернулся с топором. Раз-два и подоконника как не бывало. Но увы, «взрывчатки» тут не оказалось.

Значит, в другом, — сказал я.

Детина сорвал и другой подоконник. пыль столбом, штука турка валится, но... взрывчатки нет. Детина направился к третьему окну, а я — потихоньку к двери. Раз-два подоконника нет, и взрывчатки тоже...

Детина выразительно посмотрел на меня и сказал:

Ну?

Извините... начал я.

Какого черта? Чего вы меня дурачите?! Покраснев от натуги и набрав воздуха, детина проревел: Какого черта я свой дом ломаю?!!

Неправильно, значит, информировали. пролепетал я и поспешил вон. Я был счастлив унести ноги.

В назначенное время встретился с Проньрой, сказал, что кое-какие неотложные дела помешали мне заняться анашой, передал ему «удостоверение» и проинструктировал, как оперировать им. Условившись о времени встречи, мы разошлись.

При встрече я с интересом разглядывал ослепительный фонарь у него под левым глазом.

В расчете... За ведро. — сказал я.

Драгоценности, деньги люди хранят одни в банках, другие в сберкассах, третьи в сейфах, различных тайниках. Сирье хранит свои ценности в зеленой пластмассовой коробочке. и стоит эта коробочка на гардеробе... В коробочке все ее деньги от зарплаты до зарплаты, квитанций всякие, диплом и почетные грамоты и еще — надежда. Оказывается, она надеется выиграть по облигации немного денег. Денег ведь никогда не хватает, а ей многое бы хотелось. Она часто стоит у витрин магазинов и любит красивые материалы, платьями. А ей

не везет, она еще никогда не выигрывала. И все равно покупает облигации, и всегда с наивно-блаженной надеждой, что на этот раз ей улыбнется счастье. Она покупает их понемногу и бережно кладет к другим своим ценностям, в зеленую коробочку, а любимую коробочку ставит на гардероб.

Сирье и в голову не приходит, что у нее могут похитить эту коробочку — ее сейф. Да, ей не приходит это в голову, несмотря на знакомство со мной. А мне вот пришло. Может же кто-то войти, так же как я вхожу в другие квартиры, и забрать эту коробочку...

Гуляли с Сирье по городу и встретили франтовато одетого человека, он, галантно поклонившись Сирье, быстро прошел. Был он, что называется, красавец: черноволосый, белозубый, синеглазый.

- Ты его знаешь? — спросила Сирье.

- Нет, но зато ты его, кажется, знаешь, — сказал я.

Сирье рассказала, что на вечере, который недавно состоялся по поводу какого-то юбилея в ее институте, этот тип танцевал с нею и вообще всячески ухаживал, причем пытался наговорить ей про меня всяких чудес. Она собиралась рассказать про него раньше, но меня не было в Таллинне, а потом она забыла. Его зовут Виктор, а фамилия его якобы Каллис. Каллис означает «милый». Я уверил Сирье, что не знаю этого типа, и спросил, работает ли он в институте. Сирье ответила, что никогда его там не видела, правда, она не всех сотрудников института знает. Я посоветовал ни в коем случае не иметь с ним никаких дел и вообще быть осторожней. А вечером, на сей раз при исключительных обстоятельствах, я снова встретился с ним.

Я шел из бани, предаваясь мечтам, которые должны были воплотиться, потому что не выходили за пределы реальности. Вдруг чутье подсказало мне опасность. Осторожно озираясь, я увидел Лонга (одного из подручных Ораса) и двух других, безусловно, из той же банды, но один из них был в форме милиции, а в другом я узнал этого типа. Мне стало ясно, что предстоит очередное приключение, притом неприятное.

Мы шли по многолюдной улице, но вот впереди показалась стоянка такси. С безразличным видом я перешел улицу и живо нырнул в такси. Дав шоферу «бумажку», попросил «жать», будто его черти гонят. Шофер оказался понятливым, и мы помчались, нарушая все правила уличного движения. За нами,

как я и предвидел, мчалась вторая такая же сумасшедшая машина. Тут мне пришла счастливая мысль: я попросил подъехать к управлению милиции. Когда остановились у здания управления такси, гнавшееся за нами, промчалось мимо и скрылось за углом. Вечером мои мечты все же сбылись, однако Орас здорово действует на нервы. Как только они умудрились меня обнаружить?

Уезжаю на время из Таллинна. Вчера приходили к Сирье домой какие-то люди, спросили меня. Представились моими друзьями. Но из моих друзей никто не знает о существовании Сирье и моих с ней отношениях. Это, очевидно, опять Орас. Еду в Тарту.

Тетрадь девятая

Год 1954

Чуть не поймала меня милиция. Я спокойно гулял, вдруг глядя за моей спиной гуляют они. Не люблю, когда они за моей спиной. Ушел. Они за мной. Я прибавил шагу, они тоже. Я побежал они тоже. А потом я очутился на улице, которая не вела никуда. Тупик. И оказался в ловушке. Мне некуда было деваться. Что делать? Преследователи уже близко, того и гляди поймают. Через минуту я был голый и сдал шкаф, пошел мыться. Попробуй найти меня среди голых. Намылился, сидел, ждал, гадал, как из бани смыться. Но увы, в окно голый не полезешь, а выход один. Вышел в раздевалку и через дверь осторожно посмотрел в вестибюль, среди прочих увидел их сидят ждут. Они знали, что из бани мне деваться некуда. Вернулся в мочную и продолжал мыться.

Мылся час, два часа, совсем чистый стал. Но сколько можно мыться?

Товарищ, тазик не занят? - около меня стоит голый человек.

— Нет, не занят, - отвечаю.

Товарищ взял тазик и стал мыться. Когда товарищ намылился, я подменил жетончик и вышел в раздевалку. Подошел к его шкафчику, мне открыли, и я оделся в форму железнодорожника, оказавшуюся в шкафчике. Проходя через вестибюль, усердно вытирал платком лицо. Разумеется, меня никто не остановил.

В Тьрва, в маленьком, сереньком, ничем не примечательном городишке, я с моей столичной внешностью и музыкальными ушами резко отличался от всего местного, благодаря чему на меня обратила внимание милиция. Она изъявила желание познакомиться. Я не был расположен к излишним знакомствам, пришлось покинуть это симпатичное местечко. Тут я обнаружил, что милиция пустилась за мною в погоню. Я петлял по селам, по колхозам и остановился, наконец, у одной колхозницы — решил отсидеться у нее до благоприятных времен. Я был уверен, что мои преследователи сбились со следа. Ан нет...

На четвертый день моего пребывания в сельском хозяйстве, когда я занимался во дворе полезным делом, то есть поил домашнюю скотину — кошку, во двор зашли несколько человек в синих фуражках. Они меня сразу не заметили и спросили Роози, которая вышла им навстречу, не у нее ли находится молодой человек «с большими ушами...». Смываться было поздно, и я выставил мои музыкальные уши на обозрение.

Затем меня посетили в Тьрваском отделении милиции в маленькой каморке. Заботливая Роози снабдила меня продуктами, но все равно было тошно. На третий день моего пребывания в гостях у милиции со мной беседовал представитель уголовного розыска из Таллинна. Было видно, я им очень понравился, вплоть до того, что они были не прочь оставить меня навсегда у себя. Выяснилось, что милицию интересует некий Сула и ей известно, что я с Сула знаком.

Это действительно так. Я эту личность как-то мимоходом узнал, но мне она показалась противной: начав с бегов от алиментов, Сула со временем совершил другие преступления: избил и изнасиловал какую-то женщину, украл свинью и наделал много еще всяких гадостей; теперь он скрывается — уже третий год. Человек этот по натуре грязный, трусливый, и где он или что с ним — я совершенно не знаю. Знал же я его вообще четыре дня, но, по-видимому, о них-то и было известно милиции. В милиции откуда-то имелись сведения, по которым

Сула выглядел крупным преступником, организатором с большим влиянием в уголовном мире, этакой акулой... На самом деле он своей тени боится, а уж влиянием не пользуется даже у сельских собак. Но я об этом (предвидя продолжение) промолчал. И не ошибся — оно последовало.

Имею задание: найти Сула. Через три недели должен буду находиться в Вильянди на условленном месте — для отчета о своих действиях.

Буду ли я искать Сула? Не собираюсь. Но от милиции я и на этот раз ушел.

Год 1955

Был на родине и разыскал Арно. Я не видел его с того памятного дня, когда пять лет назад оставил у него свою записную книжку. Он женат на хорошенькой (по моему разумению) женщине, имеет потомков — двух сопливых мальчишек. Но жить ему скучно... Никакого, мол, удовольствия от жизни: целый день работает, придет домой усталый, измученный, а тут визг, шум, заботы одна за другой; не жизнь — каторга.

Мне, конечно, трудно судить, в чем там дело, но, наверное, он поспешил жениться. Ну что мог он знать в восемнадцать лет?! Забрал я свою книжку и уехал.

Новый, 1955 год встретил истинно по-волчьи. Попался в Выруском районе истребителям и еле унес ноги. Они гнались за мной на лошадях, а я, упав, вывихнул ногу. Но все-таки ушел в лес и здесь провалился в старый песчаный карьер. К счастью, в лес меня искать не пошли, и ночью я из этого карьера вылез. Но вылез уже в 1955 году. Остаток ночи провел в коридоре одного человеческого жилья, среди юрких и лобознательных мышей. Сегодня поеду в Кохтла.

Совершая ночью обход в одной из гостиниц Кохтла, я наткнулся на личность, которая очень нуждалась в деньгах, потому что кто-то из моих коллег опередил меня. Когда я зашел в его спальню, мне казалось, что он, как все нормальные люди в это время (было два часа ночи), спит, но не успел я

осмотреться, как он заговорил. Он, конечно, безошибочно угадал, зачем я его в такой час навестил и что я за птица, и сообщил мне следующее: в Кохтла он впервые, деньги потерял или их украли (разумеется, украли, кошельки в Кохтла не теряются, их крадут. Это понятно всякому, кто знает, сколько в Кохтла золотых карманщиков), и он теперь не знает, как ему ехать домой, а также как им с беременной женой дожить до следующей зарплаты. Раздобыть денег иначе, как заработать, он не умеет.

Итак, кроме старых часов и штанов нет ничего... закончил он.

Я присел на пол у его кровати. Мы познакомились. Он и его жена гитаристы, работают в каком-то театре. Он держался спокойно и весьма миролюбиво, но было видно, что он, хотя и не очень обеспечен, относится к тем людям, которые вряд ли знают с представителями моего ремесла. В его разговоре были ирония, любопытство и отчаяние. Я понял, что с деньгами у него в самом деле худо. Он шутил, пытаясь казаться бодрым, но ему было не до шуток. Он рассказал о своей жене, о работе. Я о своей работе, о том, что тоже очень люблю музыку. Скажи, у тебя никогда не бывает утрызений совести? спросил он.

Я признался, что бывает, и рассказал о своих двух системах и о третьей, которую бросил.

Ну, это робингудовщина. протянул он. А почему ты должен так жить? спросил он опять. Разве тебе нравится такая жизнь?

Чудак человек! Кому же нравится такая жизнь? А впрочем, когда-то эта жизнь мне действительно нравилась, ведь я же ушел из дома искать приключений... Только какие же это, к черту, приключения? Это даже не приключения, просто живет человек, прячется от всех и всего. А во имя чего? Надоели мне они. И получается, что когда-то я их искал, а теперь вроде они меня ищут...

Странно, никогда об этом не думал, но вот зашел в этот номер, нашел этого человека, и вот здесь, на полу, ночью, появились такие мысли, какие раньше никогда не приходили в голову. Я думал: чего, собственно, я здесь сижу? Я, конечно, давно знаю, что мне следовало бы бежать из дому. И из лагеря я должен был бежать. Но если бы я не бежал из лагеря, значит, пришлось бы отсидеть девять лет. За это время и горбатым можно сделаться.

Только если бы я не совершал побегов раньше, наверное, сидеть бы мне пришлось меньше. Опять «если бы»!..

Если бы не было Пинкертонa — я не убежал бы из дому. Если бы не было войны — я не убежал бы в Германию, если бы я не убежал — я не расстался бы с мамой и не попал бы к «лесным братьям», не сидел бы ни в тюрьме, ни здесь на полу... Так нравится ли мне эта жизнь?

Нет. Но что же мне делать, раз уже нельзя вычеркнуть все эти «если бы»? Если я сейчас появлюсь в милиции, мне придется сидеть в лагере не девять лет, а, наверно, больше. А как же тогда Сирье? Она, правда, говорит, что будет ждать всегда, что бы не случилось. Но разве она понимает, что значит ждать десять лет? И разве она представляет себе, кого она дожждется через десять лет? А потом, если она не дожждется... значит, я ее больше никогда не увижу? Все так сложно.

Незаметно мы просидели почти до утра, пока я не спохватился, что мне, наверное, полезно будет исчезнуть, ведь я уже успел побывать и в других спальнях. Предложил ему свою помощь, которую он принял. На том расстались.

Но вот меня занимает вопрос: должен был он принять от меня деньги или нет?!

С одной стороны, он честный человек, не укравший за всю жизнь ни копейки. С другой — жена у него беременна, у него не осталось ни гроша и он в чужом городе.

Как бы поступил я на его месте? Я пытался представить себя инженером, артистом — все равно, не укравшим за свою жизнь ни копейки... И... не получилось. Я чувствовал себя странно и на вопрос, что бы сделал, оказавшись сам в подобном положении, будучи при этом честным человеком, — не ответил. Просто решил: «Что-нибудь сообразил бы».

Воровство — дело, конечно, рискованное и трудное. Но и работа тоже... всякая бывает. Не все люди профессора, директора и не все рабы денег своих. Этот гитарист несчастный наверняка кое-как концы с концами сводит, и хоть работа его — не мешки таскать, он тоже ничего больше не умеет, и отними у него деньги, что он за дело свое получает, — задохнется, как рыба, вынутая из воды.

Но постой! Я же просил его, чтобы он мне что-нибудь посоветовал. Он ничего не посоветовал. Может, он принял от меня деньги как от человека?..

Очень все сложно, черт побери!

В этой квартире я был по наколке. Мне сказали, что там есть деньги. По пожарной лестнице поднялся на четвертый этаж и взобрался на балкон. Была ночь, накрапывал дождь. Я снял стекло, открыл дверь и вышел. В квартире было тихо, тепло, темно. Осмотрел все углы - денег нет. Прошел в спальню - спящие женщины, не разобрал какие. Две кровати, две женщины. Полез под кровать, пощупал матрацы снизу ничего не оказалось. Вылезая из-под кровати, увидел обувь женские туфли, старые, стоптанные, и детские, тоже старые. У состоятельных людей перед кроватью лежат комнатные тапочки, а здесь - старые башмаки... В маленькой тумбочке нашел восемь рублей и мелочь... Разве это деньги? Положил на место. Пошел на кухню, увидел на столе шисьмо.

«Дорогая Карин! Не могу тебе прислать денег до первого. Поэтому постарайся протянуть, а там пришло. Насчет Лейды не волнуйся, ее там не так уж плохо кормят. Ей скоро сделают операцию, тогда она и сама не захочет кушать. Ей ничего носить не надо. И постарайся ее как можно дольше там продержать. Ты не беспокойся, их там кормят хорошо. Она даже поправится, вот увидишь. Насчет меня не сомневайся, я свой отцовский долг помню...» Брошенная жена.

Подвел меня накольщик, в этом доме не оказалось даже хлеба. Как мне это надоело! Жил бы я этак пару столетий тому назад, тогда были разные графы, князья, купцы...

С сердцем моим стало плохо, кто-то тянется к нему своей рукой, скребет ногтями по нему - совесть, одно из тех понятий, которых в нашей среде не признают. И правильно делают. Плохо, когда по сердцу скребет совесть.

Кто это кричал? Я вскочил как ужаленный. Тотчас кто-то сильно постучал в дверь. Я быстро оделся, открыл. В коридоре люди.

Товарищ, спрашивают, - что у вас случилось, почему вы кричите?

Это разве я кричал? Это не я.

Закрываю дверь. Но кричал я. Мне или мерещилось что-то, или видел что-нибудь во сне... Не знаю. Но это, конечно, кричал я. Потом я лег и скоро уснул. А потом опять проснулся.

«Мой час настал, и вот я умираю...»

Что это? Музыка где-то - ария Каварадосси. Больше заснуть

не удастся. Лежу с открытыми глазами, и, сколько их ни гоню, перед глазами проходят разные картины. Вот убийство Саши Ташкентского, его зарезали в лагере, в закрытом бараке, воры. Я вижу, как он мчится по бараку, а за ним гонятся воры, его настигли, добивают... Потом вспомнил Олега Румяного. Появился страх, безотчетный, животный страх. Вскочил, опять оделся, начал бегать из угла в угол, как привык в тюрьме. Чего я, собственно, боюсь? Полиции? Нет. Смерти? Наверное, да. Хочется в Таллинн. Когда я с Сирье, вроде не страшно.

Нахожусь в одном совершенно чужом, но гостеприимном доме. Пришел сюда вчера бог весть откуда и завтра опять куда-то уйду... Но если бы кто знал, как мне не хочется отсюда уходить!.. И не потому, что это место самое лучшее в мире, а потому, что очень надоело бродить, надоело бояться, потому что хочется жить среди людей, в тепле и покое.

В печи весело потрескивают дрова, из кухни слышатся звон посуды, хлопоты хозяйки, готовящей ужин, и детские голоса у моих ног, о чем-то мурлыча на своем копящем языке, трется белый пушистый котенок. Все такое домашнее, только... я здесь чужой. Я просто попросился на ночлег, но, переутомленный, проспал сутки, и хозяйка, видя, что я очень устал, предложили мне остаться еще на ночь. Они меня ни о чем не спрашивают, и я им за это очень благодарен. Не часто мне приходится встречать скромных, бескорыстных людей.

Я помню, как однажды был вынужден бежать из одного дома, где также остался ночевать, потому что случайно подслушал разговор хозяев, собиравшихся заявить обо мне в милицию, — я им показался подозрительным. Да и что за отдых в чужих домах, где никогда не перестаешь опасаться хозяев?! Недавно в другом доме, где я остался ночевать, со мной случилась совершенно смешная история.

Этот дом, как и его обитатели, был какой-то особенный. Большой, с просторными, очень чистыми светлыми помещениями, которые были просто и красиво обставлены старинной мебелью. В доме жили четыре хорошенькие копки с белыми бантиками на шее и четыре опрятные седовласые старухи.

Я очень устал и ни за что не хотел уходить из этого дома, я сутки не спал, буквально не стоял на ногах. Старушки согласились дать мне ночлег и повели в небольшую, тоже очень аккуратненькую комнатушку, где все стены были увешаны

ликами святых. На столе я заметил громадную Библию.

Мне предложили садиться, откусать, что бог послал. Тоже неплохо, я был голоден. Накрывая на стол, они спросили меня, не божий ли я человек. Я? Божий человек?! Правда, ориентируясь по обстановке, я держался чрезвычайно скромно. Видимо, из этого они заключили, что я, возможно, божий человек. Я сказал, что да, божий, и добавил, что даже окончил духовную семинарию в Тарту. (Бог его знает, есть ли она там.) Незаметно одна из них вышла, остальные меня угощали и занимали благочестивой беседой. Тут тихо открылась дверь, и вошли две старушки; обращаясь ко мне, они сказали что-то связанное с Христом, что именно, я не расслышал. Они сели рядышком на стулья и почтительно на меня поглядывали. Немного погодя пришел старик и еще одна старушка, потом вошел молодой парень с тупыми бегемотовыми глазами. Все они меня приветствовали и, перекрестясь, рассаживались. Пока я лопал, их все прибывало, и я начал себя чувствовать не очень уверенно.

Они сидели, молчали, смотрели на меня и, видимо, выжидали, когда я кончу трапезу. «Что тогда?» — спрашивал я себя и старался отдалить эту минуту, пересасывая по три раза каждую обглоданную косточку. Ел, ел, но сколько можно — человек не бочка. Кончил. И тут мне говорят, что это собрались братья и сестры по редкому счастливому случаю, послушать слово божье. Затем мне придвинули тяжелую Библию.

До этого мне проповедывать не приходилось, но я взял Библию и начал читать, как умел, тихим голосом. Ну, а потом своими словами объяснил прочитанное. Слава богу, Библия, по моему, настолько запутанная книга, что ее можно толковать по-разному. Потом мне это надоело. Я сказал, что, в сущности, Библия — это букварь для начинающих, и начал шпарить из головы о премудрости всевышнего. И влип.

Я настолько увлекся, что начал пророчествовать о таких великих временах, когда господь отдаст людям, верующим в него, другие небесные планеты, потому что на земле станет так тесно, что люди будут ходить впритык, как в таллинских трамваях в часы «пик». Тут меня прервала удивленная паства: они не сказали мне ничего, просто по одному вставали и, шепча себе что-то под нос, тихо уходили. Ко мне подошла одна беленькая старушка, взяла Библию и унесла; а другая сказала: «Идем отдыхать, сынок. Ты устал».

Я поднялся и ушел в свою комнату.

Откровенно говоря, мне было немного неловко, я, кажется, злоупотребил чьим-то гостеприимством; какое мне, собственно, дело до того, кто кому поклоняется, а эти меня все-таки накормили. Вскоре все живое в доме уснуло.

«Чем я не святой по сравнению с попами? — в озлоблении думал я. — Милосердия к бедным у меня куда больше, у бедных, как они, не клячущу, а имущества у меня, как у святого, — никакого, одной святостью, если разобраться, сыг».

Я, хоть и очень устал, лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к еле слышному сопению и храпению кошек, которые, все четверо, устроились на большом сундуке, неподалеку от меня, совершенно пренебрегая своими прямыми обязанностями в ночное время. Не могу сказать, сколько я так пролежал, как вдруг услышал странные звуки, будто кто-то тихонько ко мне подкрадывается.

Звуки приближались к моему изголовью, потом их не стало слышно, но вдруг что-то холодное, отвратительно липкое всунулось мне в ухо и засопело... Я изо всех сил ударил этот ночной кошмар кулаком. Послышался отчаянный визг поросенка и затем возмущенное хрюканье обиженного животного, проникшего каким-то образом в мою комнату.

Поросяткам я вообще-то симпатизирую, но что за жизнь, если приходится пугаться даже поросенка!.. Хочу в Таллинн, страшно тоскую по Сирье.

Что такое побег?

Физическое ощущение свободы — и только.

Здравствуй, Сирье!

Сижу на вокзале и пишу тебе письмо, которое ты не получишь, потому что я запишу его в свой дневник. Мне так нужно сейчас с кем-то поговорить, а не с кем — вокзал есть вокзал, людей кругом сколько угодно, но какое им дело до меня?

Сир, мне надоело лишь играть роль человека, я хочу им быть. Я всегда смеялся над тобой, над твоими нравоучениями, но сейчас, вот сегодня, здесь, на вокзале, я понимаю, что ты не стала бы со мной ни о чем говорить, если бы не была уверена, что я стану человеком!

Я сегодня наблюдал, как работали строители. Они рыли котлован, были увлечены делом. Я подошел к ним, и они все на

меня с любопытством уставились: мол, что за личность, в шляпе — штюмп какой-то... Какая-то пустрая девчонка спросила:

— Вы новый каменщик?

Не знаю почему, но я сказал — да. Они мне все представились, жали руку. Спросили, когда выйду на работу. Я что-то соврал. Когда они закончили работу и пошли мыться, я пошел с ними. На миг почувствовал себя, как они. Никакой опасности, определенности. А потом они пошли домой, а я — на вокзал. Сейчас они все, наверное, разбежались, кто в кино, кто в школу, кто на свиданье. А я размышляю, куда направить свои стопы отсюда, и завтрашний день для меня так же в тумане, как и послезавтрашний.

Для меня существует лишь одна-единственная категория людей, такие, как Рест, Пузо, Проныра и прочие. С ними мне не надо притворяться, потому что они такие же, как и я. Нас вечно окружает атмосфера жестокости, опасности, подлости: нам доступны только физические удовольствия от вкусной еды, если удастся вкусно поесть, от женщин, которых нам любить некогда и невозможно, от вина. А когда мы встречаем что-нибудь хорошее, чистое, благородное — оно нам кажется недоступным, мы чувствуем себя разбитыми, пустыми, стараемся высмеять все хорошее, оправдываясь своей философией, которая, конечно же, нас оправдывает. Мы ищем общества только таких, как мы. Иные пути, чем те, которыми идем, для нас вроде неприемлемы, хотя они, может, не менее трудны, чем те, которыми мы идем. А пути другие существуют, и люди другие существуют, и жизнь другая тоже. Но мои пути не могут переплестись с путями-дорогами хороших людей, потому что от них я должен скрываться, перед ними я должен притворяться. Перед ними я только играю роль человека, и то не всегда удачно, потому что нельзя подражать тому, кого ты сам хорошо не знаешь.

И все же я умею подражать, отчего меня подчас и принимают за человека. А то, что меня действительно принимают за человека, меня страшно задевает, ведь я-то знаю, кто я. Мне верят, со мной советуются, и мне обидно, что я не тот, за кого выдаю себя. А почему мне верят — сам не знаю. Наверное, потому, что когда я кому-нибудь подражаю, то страшно хочу быть похожим на него, хочу быть похожим на настоящего человека. Вот мне и верят.

Однажды в бане, одеваясь, разговорились с одним пожилым товарищем. Он оказался инженером-мостостроителем, а я представился журналистом. Говорили о разном, и я выглядел таким умным, что самому противно стало. Тогда я сказал тому товарищу, что это все брехня, никакой я не журналист, а, наоборот, аферист. Он засмеялся, принимая это за шутку, а потом назвал меня сумасшедшим и здорово обиделся. Получается, Сирье, что когда я говорю о себе правду, то обижаю этим людей.

Сирье, никогда не буду больше насмеяться над тобой, буду тебя слушаться во всем. Скажешь, что мне надо пойти с повинной, — пойду. Я готов за право любить тебя трудиться, как трудятся ради еды, отказаться от своих привычек, бороться и страдать, продавать душу дьяволу, быть покорным и послушным. И будь уверена, я стану человеком непременно, вот дай только выбраться из этого тупика.

Сир, мы не можем быть мужем и женой, но мы можем быть больше, чем муж и жена, — мы можем быть друзьями. Я тебя люблю как сестру, как мать, как женщину, и если можно это чувство выразить в одном слове, то слово это — друг. Именно так я понимаю наши отношения. Ты для меня — жизнь, кроме тебя, мне никто не нужен.

А теперь, Сир, до свидания, скоро увидимся. Завтра увидимся.

Все мужчины озабочены, бегают по магазинам, а покупать-то нечего, все уже распродано. Цветов не достать, надо было раньше, дня за два, за три.

8 Марта.

Женщины задирают носы и, пожалуй, имеют на это право. Я не бегаю, ничего не покупаю. И не потому, что некому, ведь есть у меня любимая женщина. Но моя любимая женщина не примет от меня никакого подарка, потому что знает — денег я не зарабатываю. Все, что я могу для нее сделать, — обнять и вручить ей подарок, раздобытый самым честным образом, — пишки. Я за ними лазил на две высокие ели, расцарапал лицо и руки, но букет из этих лесных красавиц получился изумительный.

— Сегодня наш день, — говорят женщины.

Да, сегодня их день. Сегодня день Сирье, день мамы. Где бы

вы ни были, я в мыслях своих поздравляю вас и дарю вам цветы, самые красивые.

Я не стал звонить, тихонько вставил ключ, но он не поворачивался. Дверь внезапно открылась, на пороге стояла незнакомая пожилая женщина. Она внимательно меня рассматривала.

— Вы кто? Сирье нет.

Я спросил, где она. Женщина ответила не сразу, потом чуть слышно сказала:

— Умерла.

Мне казалось, женщина эта сошла с ума. Я ворвался в комнату, уверенный, что это лишь шутка, что Сирье сейчас встретит меня. Но ее не было. На прежнем месте стоял ее портрет, все было, как всегда, тепло, уютно, чисто, но ее не было. Это была не шутка...

— Когда она умирала, — говорила женщина, — она сказала, чтобы вы сюда, в ее квартиру, никогда не приходили и вообще уехали куда-нибудь. Она, видно, очень вас любила...

Я спросил, что она сказала еще. Женщина ответила:

— Ничего. Она была без сознания, а когда пришла в себя, сказала это, а потом она уже не могла говорить, только плакала. Ну, а потом... умерла.

— Почему... умерла? — спросил я машинально.

Ответ был неожиданным:

— Ее убили!

Сирье убили дома, ей нанесли два ножевых удара в грудь. Произошло это ночью, и все же утром она была еще жива. Нашла ее тетюшка, приехавшая к ней в тот день из деревни. Это та самая женщина, которая открыла мне. Сирье доставили в больницу, и там она к вечеру умерла.

Кто ее убил? Этого никто не знает.

Похоронили ее муж и товарищи из института. Женщина проводила меня на кладбище. Я отвес Сирье шишки.

Смерть Озе...

Ставлю эту пластинку уже сотый раз, слушаю, слушаю ее. И мне кажется, что в самую страшную минуту я здесь, около нее, вижу ее полные слез печальные глаза, целую ее в последний раз, облегчаю ей последнюю боль. И вот она умирает... умерла. Ее нет.

Она подставила мне свое маленькое, слабое плечо, хотела поддержать, надеялась на счастье и поплатилась за это жизнью. Я знаю, ее убили люди Ораса. Я в этом уверен. Они боялись ее как свидетеля, ведь они пытались через нее поймать меня. А я, спасая свою жизнь, оставил ее, сбежал из Таллина...

Осколки разбитой вазы не принесли счастья Сирье.

Можно слезами выплакать горе, но нельзя никакими словами описать его...

Сирье — моя жертва. Она умерла из-за меня. Я приношу людям лишь горе, а иначе и быть не может. Люди — это общество, а я один. Тот, кто хочет быть полезным своим близким, кто хочет жить с ними, любить их и быть любимым, тот должен быть человеком, жить в обществе. Сирье погибла. А я остался, чтобы дальше причинять людям горе. К черту все мои «системы», к черту Пузанова, Реста и прочих! Нечего дрожать за свою паршивую шкуру. Отныне я не боюсь ни Ораса, ни милиции. Поймают? Ну и ладно, все равно этого не минует. Но прежде я должен найти Ораса и рассчитаться с ним. Иначе я не мужчина, иначе я не человек.

Тетрадь десятая

Год 1955

Бегают мальчишки, маленькие:

— А ну, не догонишь!

И бежит один карапуз за другим. Им по пять-шесть лет. Бегают они взад-вперед, соскакивая с тротуара, того и гляди попадут под машину — и машины мчатся мимо непрерывным потоком. Прохожий гражданин хватает одного из них за ухо и загоняет во двор соседнего дома.

— Во дворе играйте, нельзя на улице.

Он уходит. Мальчишки во дворе.

Они не его дети. Все проходили и ничего малышам не говорили. И он мог пройти. Но подумал, что, если один из них

попадет под машину, в какой-то семье будет горе. Это был хороший человек.

Южная самба. Я в нее влюблен. Меня привлекает темперамент и какой-то особый характер ее — настойчивый, живой, определенный. Я ничего об этой музыке не знаю, но люблю ее. Интересная штука — жизнь: кто-то написал музыку, не подозревая, что какой-то совсем серый человечик будет слушать ее много раз в день... Эта музыка как будто говорит о том, что, хотя на свете есть смерть, есть также и жизнь, и ей, южной самбе, наплевать на смерть, она создана для жизни, она — жизнь. Слушая ее, я как будто вижу всю жизнь, которая, покачивая бедрами, танцуя, надвигается на меня. Она голая, натуральная, без прикрас — жизнь, такая, какая есть. Немного страшная, но удивительно хорошая; та самая жизнь, в которой, страдая, живу и которую за все плохое и хорошее все же люблю.

Сегодня хоронили девушку, которая умерла от сифилиса и еще от какой-то другой болезни. Девушка их скрывала, вот они совместными усилиями и уложили ее в гроб. Я знал эту девушку. Встретил я ее как-то на окраине города. Она сидела на бревнах, уложенных рядом с тротуаром, и курила. На вид ей можно было дать лет пятнадцать. Она была бледная, в лице ни кровинки.

Я спросил:

— Куришь?

— Курю, — ответила она.

— И водку пьешь?

— Пью, а что? — сказала она.

— Зачем? — спросил я.

— Хочу, — ответила она.

— Отец знает?

— Перебьется, — ответила девушка.

Она была светловолосая, в голубых глазах враждебность ко всему окружающему, и, если бы не платье, бедное, но с претензиями на какой-то стиль, ее можно было бы принять за сектантку, такая она была угрюмая и бледная.

— А мама, — продолжал я, — знает?

— Она сама курит, — ответила девушка. — В нашей компании все курят.

Я поинтересовался, большая ли у них компания и сколько лет

самому старшему. Оказалось, что компания небольшая, что самому старшему двадцать два, а самой младшей пятнадцать, ей же — семнадцать.

Я начал убеждать ее бросить эту вредную компанию, она слушала меня явно насмешливо и наконец сказала:

— Попался бы ты нашим парням, они бы тебе показали «вредную компанию». Эх ты, а я думала, ты меня в ресторан приглашаешь...

На том мы расстались. Но вскоре после этого я шел вечером через тот же парк и набрел на шайку молоденьких девчат и парней, сидящих на скамейках в аллее. Чей-то голос произнес:

— Это тот самый тип...

И передо мной с угрожающим видом стали два молодых парня.

— Так, по-твоему, наша компания паршивая? — спросил один из них, а все остальные вызывающе засмеялись.

Они думали, что мне будет не по себе... Но они не знали, что бить таких щенков для меня одно удовольствие. Не успели они ахнуть, как я их расшвырял. Потом мы нашли общий язык. Кто-то сообразил, что я «свой», они стали бормотать извинения, мол, ошиблись, приняли меня за кого-то другого.

Потом я часто встречал Натку (так звали эту девчонку), однажды она сказала, что бросила курить. Так ли это? Но она так сказала и при мне никогда не курила. К сожалению, она была уже давно не девочка, следовательно, лишь о дружбе между нами не могло быть и речи: я был для нее мужчиной, но она для меня не была женщиной, потому что я любил Сирье.

Постепенно я узнал кое-каких ребят из этой компании, они при встрече со мной стали приветливо здороваться, и вот вчера на улице ко мне подошел паренек и сказал:

— А Натка-то умерла, завтра хоронить будут. Отец плачет, а мать пьянствует.

Жалко мне ее, она не успела еще пожить, глупышка, о чем-то мечтала, что-то воображала и вот умерла, а ее мама пьянствует. Она хотела, чтобы я любил ее, а я любил Сирье. Так бывает, мы часто любим тех, кто не любит нас.

А южная самба звучит все равно — любят люди или ненавидят, живут или умирают. Южная самба — это жизнь, бесстыжая, милая жизнь, с которой расстаться никому не хочется.

Шел по улице и увидел бежавшего мне навстречу человека в приличном темном костюме. Опасливо стреляя взглядом по сторонам, он бежал изо всех сил, стремясь оторваться от пожилого полного лысого человека, бежавшего тоже изо всех сил за ним. На лице полного человека злоба, глаза устремлены вперед, в них лишь одно желание: догнать, поймать, уничтожить! Он бежит тяжело, дышит часто и хрипло кричит:

— Держите! Держите его!

Расстояние между ними не сокращается и не увеличивается. Молодой человек в темном костюме перебегает мостовую. Он тоже дышит часто, в его глазах, беспомощно шарящих вокруг в поисках спасительной лазейки, страх, безумный страх, в них только одно желание: скрыться, спастись. Он исчезает за углом, вслед за ним, по-прежнему хрипло выкрикивая: «Держите! Остановите!», исчезает также полный гражданин.

Что мог совершить парень в темном костюме? Конечно, какую-то гадость, иначе зачем ему было спастись бегством среди бела дня. Как он бежал... Какие глаза... бог ты мой, какое унижение — так бежать, с такими сволочными глазами.

Темно здесь и одиноко, безлюдно и грустно. Одиночество всегда грустно. Вот там внизу, где светят миллионы маленьких огоньков, — жизнь, миллионы жизней, миллионы судеб, похожих и непохожих на твою; там, внизу, город, собирающийся засыпать после трудового дня; там мир необъятный и сложный. Чтобы понять его, нужно много знать, а у тебя еще только-только появляются в голове кое-какие мыслишки, совсем еще робкие, неуверенные. Ты здесь высоко, точно стоишь во вселенной, будто отделившись от земли в космическом пространстве.

Сегодня я подслушал в вестибюле кинотеатра разговор четырех салаг. Им по восемнадцать-двадцать лет. Обсуждали между собой, как встретить вора, прибывающего якобы с севера. Решили устроить сбор и преподнести вору деньги и как-то достать «ширево», то есть морфий. Этот вор, видимо, наркоман.

Господи, какие наивные! Обсуждают эту проблему — где? — в вестибюле кинотеатра... То, что это глупо, само собой, но как посмотрел я на эти глупые рожи — жаль их стало. Ведь они не знают, что воров уже нет и «закон» давно затоптан и забыт. Они

еще верят в какие-то традиции — в какую-то воровскую честность... Смешно!

Да, жизнь состоит из миллионов огоньков, у каждого огонька своя судьба, трагедия; огоньки гаснут, зажигаются, как и люди умирают, рождаются. А здесь, где стою я, темно, как в космосе. Но ведь солнце-то есть! Солнце светит днем, и, чтобы его видеть, нужно уйти из ночи.

Гостиница — дом казенный. Нет здесь домашнего уюта, хотя и чисто, и тепло, и радио есть. Нет, уют есть, но он не тот, не домашний. Чего-то здесь не хватает, чтобы почувствовать себя по-домашнему. Но чего? Наконец придумал.

В любом доме, где живут люди, семья... имеется будильник. Как можно жить людям без будильника? И это — тик-так, тик-так — звучит так мирно, покойно, обыденно, напоминая о том, что каждому нужно вставать вовремя, чтобы где-то быть вовремя. Да, когда тикает будильник, кажется, что ты дома. Я побежал в магазин и купил дешевенький маленький будильничек. Он страшно отстает, но неважно, главное — тикает. Он тикает и действительно... приятно. Неприятно лишь то, что он напоминает не только о покое, но и о том, что время идет... Я не выбросил будильника, а таскаю его с собой в портфеле, где он не переставая тикает. Однако смешно: бродяга и... будильник. Куда это годится?

Нахожусь у супругов Сипельгас. Они не знают правды обо мне, как и все люди, встречающие меня ежедневно. Они знают, что я друг Сирье, и разделяют мое горе. Сейчас они куда-то ушли, маленьких муравьишек у них еще нет, и я один. Приведу в порядок свои записи, запишу вот это последнее, а уходя, оставлю их здесь — думаю, здесь они будут в сохранности, куда бы меня ни загнала жизнь.

Семь дней тому назад в Каркси-Нуяя, в берлоге скупщика краденого товара по прозвищу Вещичка, я встретил долговязого парня по кличке Лис. Лис этот тоже скрывался от правосудия. Вещичка, знавший мою кличку, щегольнул остроотой: «Волк и Лис — подходящая пара». Лис обещал ввести меня в хорошую компанию и позвал с собой. Мне не очень нравилась его кличка, но победила моя проклятая любознательность. От Вещички, вооружившись лыжами, мы ушли вместе. Шли лесами, пол-

ями, болотами, и привел он меня в совершенную глушь, в болото, на хутор под названием Трясина. Во дворе нас встретила большая косматая дворняжка, весьма ленивая, но, по-видимому, добродушная; она, дружелюбно помахивая хвостиком, последовала за нами в дом.

Большое помещение, куда мы попали прямо с улицы, оказалось кухней. Посредине стоял длинный стол, заставленный всяческой снедью, за столом восседала веселая компания. Вот здесь меня и ожидал страшный сюрприз. Я похолодел, заметив среди пирующих Ораса, узнавая также и других. Здесь были Лонг, Ребус (с которым как-то в Вильянди у меня состоялась «любительская» встреча на ножах), и даже Каллис, которого в душе не перестаю считать исполнителем приговора над Сирье. Остальные пятеро были мне незнакомы. Но и этих знакомых было более чем достаточно.

Не меньше была удивлена и сама компания. Лис завел меня сюда, совершенно не подозревая, какую оказал услугу своим друзьям.

Стараясь сохранить спокойствие, изображая некое подобие улыбки, я подошел к Орасу, подал руку. Он ее принял: это уже показалось добрым знаком. Я потряс его противную лапу и в то же время, когда Лис и остальная компания, удивленно разинув рты, глазели на меня, заговорил. Говорил, что давно иду эту чудесную компанию и мечтаю войти в нее, что чрезмерно рад осуществлению своей мечты; рассказал, что живу, как сирота, без друзей и пристанища; что гоним милицией; что надоело вертеться между двух огней и так далее. Они слушали раскрыв рты и, когда я кончил, загалдели все сразу. Тогда заговорил Орас, и остальные братья разбойники прикусили на время языки.

Он не мог отказать себе в удовольствии вылить на меня ушат грязи, покрыть насмешками, но в конечном счете я понял, что шкуру с меня спускать он не собирается. Покосившись на Лиса, я заметил, что тот уже сует свою морду в кружку с брагой, и убедился, что от него опасность не угрожает (он мог сообщить, что я не очень-то мечтал найти эту компанию). Преподнес Орас брагу и мне, говоря при этом, что мы как-никак соратники давние, бывалые и тому подобное. Он объяснил, что здесь собрались его близкие друзья отпраздновать годовщину су-

ществования их «союза», что завтра, мол, все разъедутся. «Союз»... Все поддельваются под идейных, зная, что эстонцы бандитов не поддерживают. А тут... «борцы за свободную Эстонию». А потом...

— То, что к вам пришел, хорошо. Мы тебя принимаем. Зла на тебя не имею, хотя, сам знаешь, есть за что... Но как сказано: кто старое помянет, тому глаз вон. Только вот что... В общем нужна гарантия твоей верности. — Глаза Ораса недобро заблестели.

Я не знал, что могло быть такой гарантией, но мне объяснили. Предложили пойти на лыжах в колхоз по соседству и убить женщину — Эллу Реги, ярую коммунистку, которая якобы немало навредила «союзу». Реги жила в маленьком доме, на отшибе. Я не мог отказаться и сразу собрался в дорогу. Со мной отправились трое самых трезвых из компании. Хотя у меня было оружие, мне еще дали парабеллум.

За то время, пока я находился среди них, один лишь Каллис не заговорил со мной и держался крайне враждебно; остальные, даже Ребус, выпили мировую.

Выпив по последней чарочке, я и мои конвоиры отправились в путь. Шли гуськом. Один из людей Ораса впереди меня, двое сзади. Когда отошли от хутора километра на три и втянулись в густую еловую чащу, где наблюдать за мной из-за густой заросли ельника почти невозможно, я, улучив минуту, упал в снег и открыл огонь по моим провожатым. С первых же выстрелов уложил двоих, третий, не пытаясь отстреливаться, побежал обратно к хутору. Этого нельзя было допустить. Я пошел вслед и скоро стал его догонять. Он, видя это, завернул в лес, туда его преследовать я не пошел. Вернулся к убитым, забрал еще два парабеллума и пошел назад к хутору.

Никогда не думал, что можно так хладнокровно убивать людей, я никогда не был более спокоен, чем тогда, шагая к хутору. Я даже предвкушал удовольствие от предстоящего. На хуторе остались, включая хозяйку, восемь человек и собака. Из них мне нужны были двое. Тогда я тихонько открыл дверь в кухню, за столом увидел лишь двоих — Лиса и Ребуса, оба были пьяны в дым; они почти не обратили на меня внимания. Эти были мне не нужны, и, убедившись, что они безвредны, я прошел через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату. Там спали на полу два незнакомых мне члена компании, хозяйка

(костлявая старуха) и собака у ее кровати. Я подошел к спящим «членам» и конфисковал их оружие.

Еще одна дверь вела из кухни в боковую комнатушку. Осторожно приоткрыв ее, я увидел Ораса. Он, сидя за круглым столиком, рассматривал какую-то фотографию. Двое других (Лонг и Каллис) лежали, один на полу, другой на кровати, и, по-видимому, спали. Наставив на Ораса парабеллум, я тихо окликнул его и, когда он обернулся, выстрелил. На выстрелы двое других вскочили и, ничего не соображая, устались на меня. Лонг мне был не нужен, но Каллиса я превратил в решето. Поклонившись Лонгу, я закрыл дверь и повернулся к тем двоим, что сидели за моей спиной. Но увидел лишь Ребуса, который беспомощно пытался выбраться на улицу и никак не мог попасть в дверь. Единственный, кто трезво реагировал на все это, была собака. Она в спальне заскулила, залаяла. Уйти мне никто не помешал.

Что же, с Орасом покончено, но что-то устал я физически и душевно. Старею, наверно. Надоело уже быть волком. Приключения давно потеряли всякую прелесть, а счастье... счастье нужно создавать, а не искать. Счастье для меня сейчас — немного покоя. Совсем мало, а достичь невозможно.

Недавно узнал о разгроме Пузанова. Об этом рассказал Рест, который, чувствуя за спиной дыхание правосудия, собрался в неведомые края. Конечно, если уж Пузо сорвался, что же остается делать Ресту...

Ну, а мне что делать?

Дороги жуликов, мошенников, воров, спекулянтов, всех правонарушителей, где бы они ни ходили, ведут в Батарейю, и мне не миновать ее. Отвратительное это заведение! Но и скрываться надоело, лгать надоело изо дня в день, без конца. Как хорошо было бы говорить о простых вещах, не опасаясь проговориться. Вот проходят мимо окон люди — парни, девушки, им весело, они дружат, любят, создают свое счастье. А для меня это — словно сказка. И рассказать теперь некому. Каждый день давит меня своей тяжестью, я ощущаю вес каждой минуты, каждой секунды, а сколько на свете людей, которые даже и не подозревают, что время имеет вес...

Подбивая баланс, я установил, что, прожив двадцать пять лет, из них тринадцать в поисках острых ощущений (от

которых весьма заметно отупел), я не знаю, человек ли я.

Ах, если бы это было возможно, если бы можно было вот так сразу, незаметно перейти из одной жизни в другую, одним махом вычеркнуть прошлое, начать новую жизнь. Но нет, это невозможно: чтобы перейти в другую жизнь, нужно идти туда — в чистилище, к аллигаторам, ягуарам, волкам, среди которых ты быть не хочешь, где тоже ждет тебя одиночество. Нет! Но тебе плохо. Тебя тяготит одиночество, мучает страх, ты опасешься недоуменных взглядов прохожих, вызванных твоим жалким, измученным видом; ты сторонись смеха, улыбок; у тебя боли — в желудке, в душе, в раненых ногах — полная деформация человеческого облика. Ты заставляешь себя смеяться над тем, что тебе нужна была диета... Но что же еще остается? Только смех. Чтобы выздороветь, нужно быть сильным, штататься по-человечески, вообще жить по-человечески. И это было бы возможно, если бы около тебя была хоть одна любящая душа. А если ты один, совсем один? Можно, конечно, не обращать ни на что внимания и... смеяться. Но не смейся над теми, кто разделяет твою судьбу и твои чувства, — они несчастны, им плохо. Да и тебе плохо. Ты — вор. Твой удел — тюрьма, небытие. Сейчас у тебя есть свобода, но что она стоит, твоя свобода, в вечном страхе за жизнь, за шкуру, перед разоблачением и стыдом?.. Вот именно — стыдом. Ты боишься того момента, когда тебе придется смотреть людям в глаза и рассказывать им о себе. А кажется, тебе не избежать этого дня. Он неминуемо наступит. Что тогда ты скажешь? Ты не знаешь. Так надо думать. Если ты что-то хочешь понять — пошевели мозгами. Постепенно шарики твои начнут крутиться в голове, и глядишь — что-то поймешь. Вопросов у тебя хватает, и нужно найти ответы. Помню, как однажды в лагере видел пожилого вора, который меня страшно обругал за то, что я его видел плачущим, но после разыскал и извинился.

Я его не понял тогда. Я понимаю его теперь.

В поезде Таллинн — Кохтла я так увлекся «Восходом солнца» Гайдна, что не заметил, как был арестован. То есть заметил это с опозданием. Именно в тот момент, когда у меня потребовали документы. Их было двое. Не скажу, что очень испугался (я внутренне к этому был готов), хотя и не обрадовался. Я сунул им свои липовые шпаргалки. Они их, не читая, спрятали в

карман, а меня — в Батарею. Итак, все дороги ведут в Рим...

В общем очутился я в знакомой 60-й камере, и начали меня «раскалывать». Что касается меня, я и не старался ничего скрывать, раскалывался вполне добровольно, можно сказать, добросовестно, и даже чересчур. Дело в том, что следователи после кропотливого, терпеливого труда, ухлопав на твое недостойное существо уйму нервов, здоровья, накопив потихоньку горы разоблачающего тебя материала, радуются, что могут тебя наконец положить, так сказать, на обе лопатки. Они предвкушают сладость заслуженной победы. А тут... что же это получается? Этот недостойный вдруг заявляет, что следователю известно еще не все, что, например, обворовано не две, а пять квартир. Где? Когда? Что? — возникает уйма вопросов, нужно разыскивать потерпевших, наводить справки, устанавливать новые факты... Выяснять, устанавливать. И писать, писать, писать. Бесконечно. Закончив, наконец, со всем этим, мой следователь поглядывал на меня уже со страхом: не заявит ли этот сумасшедший еще что-нибудь. Он мне так и сказал: «Странный вы человек, зачем вам было во всем признаваться, ведь теперь получите на полную катушку». Но, должно быть, он и сам понимал, в чем дело, потому что спросил: «Что? Легче стало?» Катушка мне полная так и этак обеспечена — две я квартиры обобрал или пять, а легче действительно стало. Всему они поверили, всем моим признаниям, единственно никак не могли поверить, что я будильник купил, а не украл.

Судили меня в маленьком городке Тырва, в этом районе были мои самые значительные приключения. Ну и, конечно, дали «потолок» — десять лет. Сказать, чтобы все обошлось гладко, нельзя — взрыв все-таки получился. Мое презренное сознание взбунтовалось еще раз, напоследок. Это было в КПЗ. Вдруг я подумал: «Ты сошел с ума! Десять лет тюрьмы — это же бесконечно. Зависеть постоянно от чужой воли, всегда под конвоем, работать, работать, как мул, терпеть общество всяких там отбросов, пускай даже таких, как ты сам. Нет! Не надо! Завтра тебя увезут в тюрьму, и тогда будет поздно. Это надо сделать сегодня».

И я стащил во время судебного заседания печную заслонку и удачно пронес в камеру. Взломал деревянный пол, разворотил землю под полом и наткнулся на толстый слой цемента. Разбил на маленькие кусочки заслонку об этот цемент и в бессильной

злобе заплакал, облизывая разбитые, израненные пальцы. Затем постучал в дверь и вызвал надзирателя.

Это на меня нашло умопомрачение, на миг словно забылась и Сирье и все продуманное, на миг запротестовал Серый Волк, не желающий умереть. Нет, он не собирался умирать. Наверное, еще не так-то скоро удастся мне свести с ним счеты. Что готовит он мне в дальнейшем?

Тетрадь одиннадцатая

Год 1960

Родился человек. И сразу начинает получать: сперва от матери — питание, ласку, уход; от отца — любовь, защиту, ну, и конечно, нередко ремень; от общества — знания различные. Он родился, он уже есть. Но времени он не замечает. Возможно, его желания уже не совпадают с требованиями окружающих. Но так или иначе — время для него не имеет пока еще никакого значения, годы ему кажутся длинными, жизнь — бесконечной. Первые сознательные годы человек с нетерпением ждет, когда он повзрослеет. Потом он становится взрослым, но он еще молод, а жизнь интересна, он живет и опять не замечает времени, не замечает, что годы уже не такие длинные, они стали чуточку короче, меняются быстрее, чем раньше. Пройдет еще много лет, пока он это заметит и вдруг откроет для себя, что годы, собственно, летят с чудовищной скоростью, а жизнь и вовсе не бесконечна. Он обнаружит, что и не жил еще совсем, что жить надо было по-другому, иначе. И тут он задаст себе вопрос: почему? Почему не понял этого раньше, почему не заметил? Сперва не думал, потому что думать не умел; затем не думал, потому что некогда было уже думать, а когда нашел на это время, когда научился думать, — уже поздно. Половина жизни позади.

Говорят: школа жизни, университет жизни.

Да, жизнь — школа. Но не просто даются знания и в этой

школе. Жизнь дает и опыт, но забирает взамен годы, учит, но может и уничтожить. И всегда эта проблема — как найти точку опоры, правильную позицию. Думаешь, что вот так именно правильно, по каким-то своим соображениям решаешь, а выходит — ошибка. Может вечность пройти, прежде чем ты осознаешь эту ошибку.

Минуло уже шесть лет с тех пор, как закончились похождения Серого Волка на воле и я приобрел чувство определенности в Батарее, в шестидесятой камере. Шесть с лишним очень долгих лет в борьбе со своими собственными представлениями о жизни вообще и в поисках точки опоры. Ничего за эти годы не прибавилось в моей тетради, ничего я не писал, и не потому, что мне кто-нибудь запретил, — не хотел. Бывает же, что, следуя привычке, по утрам чистишь зубы, занимаешься гимнастикой и все такое, но в один какой-то день что-то случается с твоей психикой, ты перестаешь чистить зубы, заниматься гимнастикой, а также писать дневник. Считаешь, что это ни к чему, ребячество, бессмысленно. И вот после долгих шести лет пассивности и безразличия сегодня, находясь в этой камере, в совершенном одиночестве, я достал свои основательно потрепанные тетрадки, перечитал их, и тут в моей психике произошла революция: жизнь твоя была плохая, прямо-таки паршивая, но все же это — жизнь, а ты — человек; ведь стоит тебе самому перестать считать себя человеком, как ты и не будешь им. Ты прожил скверную жизнь, спору нет, и в основном по своей же вине. И все-таки это была жизнь. И последние шесть равнодушных лет — тоже жизнь. Это та необходимая часть твоей жизни, без которой ты не очутился бы в настоящей ситуации, не написал бы того, что сейчас собираешься писать.

Да, я еще не знаю, что именно сейчас напишу, но в душе бурлит, я уже не в силах не писать, подчиняюсь руке, а она моим мыслям. Сейчас я бесконечно рад, что не уничтожил, не выбросил перед последним побегом свои записи, чувствую — они моя судьба, они — это я, я — они. Я где-то сливаюсь с ними, им рассказываю, у них учусь. Они не только занимают мое время, но и помогают разобраться в самом себе, помогают думать. Помню тот день, когда я впервые начал записывать свою жизнь. Почему я это сделал? Я был тогда «знаменитый Серый Волк» из неизвестного племени босоногих «индейцев», проживающих на острове Сааремаа у старой пристани в устье

реки Тори, в старой, дырявой, скороненной в камышах яхте. Копкин череп... Турецкий ятаган и знаменитый пират Себастьян дель Корридос... Я начал все это записывать просто так, захотелось быть героем, подобно тем, о которых я тогда читал в приключенческих романах, которые жили в моем воображении и манили в мир. По сути, я и стал чем-то на них похожим, на свою беду. Единственное, что у меня в отличие от них имеется положительного, — это моя привычка писать дневник. Это дает мне теперь возможность наблюдать себя как будто со стороны, и жизнь тоже.

Конечно, прав доктор, вернувший мне жизнь, когда я, совсем дойдя до точки, перерезал себе вены и собрался на тот свет. Он сказал:

— Молодой человек, ваша мать родила вас не для смерти, а для жизни, и если вы потеряли тех, кто вам дорог, то не забудьте о тех, кому вы сами дороги... — Еще сказал он: — Если вы потерпели в жизни поражение, если вы жили неправильно, из-за этого не стоит бежать на тот свет, там вы ничего не исправите, но на этом можете все изменить и начать жизнь снова.

Он прав, но, чтобы в совершенстве осмыслить эту правду, мне пришлось забраться вот в эту темную камеру в подвале балашовской тюрьмы, куда я приехал две недели назад, чтобы отбыть здесь три года из моего все возрастающего срока. Тюрьма эта похожа на все другие тюрьмы, и население ее в основном тоже ничем не отличается от жителей других мест заключений. Я намерен отдыхать здесь, насколько можно отдыхать в тюрьме. Отдыхать от всего того, от всех тех, кого терпеть уже нет сил, с кем меня ничто не связывает, кроме замков и колочей проволоки. Вот уже две недели живу один. Хорошо! Мог ли я думать десять лет назад, что буду довольствоваться более чем скромной тюремной камерой, чтобы испытывать удовлетворение от существования. Но, конечно, только от существования... А это так, я доволен и молю судьбу, чтобы она позволила отбыть эти три года именно так. Займусь основательно русским языком.

Да, шесть с половиной лет прошло. Но я помню все, как будто это было сегодня. И ее помню, судью... Она красивая, обаятельная, со светлыми глазами, открытым, прямым взглядом и светлыми пышными волосами. Помню, как она выступала на суде, властная. Умна ли она? Не знаю... Наверное. Во время

заседания она порою склоняла свою красивую голову к заседателям — сперва направо, затем налево, и заседатели нашептывали ей что-то. Она смотрела на меня, а я думал о том, как она меня находит: интересным или нет, мог бы я ей понравиться как мужчина или нет... Многое бы отдал тогда, чтобы узнать, о чем она думала. Мне было очень больно, когда надо мной насмехались охранники, потому что это слышала она; и было больно, когда меня ругали потерпевшие, — потому же... Я устал от жизни, потерял Сирье. Но я был влюблен в судью. Интересно, все люди так устроены или только я?

Меня судили несколько дней, а я все глядел на нее, на ту красивую женщину, и во мне взбунтовался Серый Волк. Он не хотел умирать, он хотел на волю. Но из этого у него ничего не вышло. Когда судья читала приговор, я смотрел на нее влюбленными глазами и мечтал только об одном, чтобы это длилось как можно дольше, но продолжалось это не вечно. Потом пересылки и, наконец, Урал. Привели в строгорежимную колонию, где обитали воры. Дела у воров шли все хуже и хуже. От прежних привилегий остались рожки да ножки: в законе, не в законе — на работу гоняли всех, и о кострах нужно было забыть. Вкальвали они, как все. Оказывается, воровские колонии, как и «масть» эта, ликвидируются повсюду. Почти нет больше «воровского закона», вымирает. Еще встречаются поддельвающиеся под этот «закон», но это для обмана молодых и самих себя.

Однако воры все еще пытались иногда взбунтоваться, вернуть навсегда потерянное положение или просто устроить смуту, милую их анархическому складу души, — и скоро после моего прибытия воры учинили очередную заварушку. Во время расследования этого дела меня по ошибке причислили к их компании, забрали, посадили и укатили на один год в тюрьму. Отбыл я этот год сравнительно спокойно. Происшествий не было, за исключением следствия по поводу убийства Ораса и его приятелей-бандитов в болотах Каркси.

Дело в том, что весной нашли в лесу двух застреленных мной людей Ораса. Милиция, разумеется, сразу произвела тщательное расследование в этом районе. Нашла хутор, старуха хозяйка показала, куда зарыла Ораса и Каллиса на другой день после моей расправы, ну и, конечно, описала мою личность. Таким образом дело открылось.

Длилось это следствие около месяца, и поскольку мои жертвы были матерые ворюги и убийцы, оно кончилось безвредно для меня.

Из этой тюрьмы я опять попал в строгорегимную колонию. Продолжалось нудное, однообразное арестантское бытие. Из-за раненой ноги на лесоповал меня не гоняли. Причислили к инвалидам. Мы убивали время как хотели и умели. Я жил, как заведенный механизм, безразличный ко всему; время тянулось так медленно, а сидеть так много... Но как бы отчужденно ни относился человек к жизни, она его заденет и заставит принимать в ней участие. Она задела и меня, и, как всегда, больно.

Избили меня из-за женщины, которую я никогда в глаза не видел и ничего о ней не знаю, кроме того, что она когда-то подарила некоему Мартину, другу своему, фото, что ее зовут Эстер, что она эстонка. Моих противников было четверо, орудовали они швабрами и березовыми поленьями. Косточки мои после этого стали как резиновые, мягкие, и совершенно не держали меня, так что продолжительное время я мог существовать лишь в горизонтальном положении.

Среди всех этих бездельников есть типы, занимающиеся коллекционированием фото красивых женщин, совершенно им чужих. Они их выдают за своих любовниц, показывают фото друг другу и всем желающим, причем выдумывают всякие пошленькие истории. Все это так же в моде, как заочная дружба с женщинами посредством переписки, когда у наивных выманивают деньги или посылки, а в благодарность над ними же насмеваются.

Один из таких донжуанов среди прочих показал и эту карточку, на обороте ее на чистейшем эстонском языке было написано: другу Мартину от Эстер и так далее... Указывая на эту надпись, я спросил обладателя фото, где он познакомился с этой женщиной. Не подозревая, что я эстонец, он понес чепуху. Тут я порвал фото и сообщил, что думаю по этому поводу. Тогда вся эта свора напала на меня и произвела расправу.

После этого события я возненавидел окружавших меня, чувствовал себя чем-то вроде белого слона среди папуасов и мечтал только об одном: уединиться. Но куда? С утра до вечера я слонялся по зоне. Все меня раздражало, даже отказчики, эти

лежания и лодыри, которых отвращение к труду привело в заключение, где они также из-за этого постоянно страдают, — даже эти человечешки меня раздражали. Я всех ненавижу. Ну и, разумеется, мне ответили тем же. Меня стали сторониться, меня избегали, а многие попросту побаивались. В душе творилось что-то скверное, что — я не понимал сам и до сих пор не понимаю.

Избили меня здорово, и я заболел. Когда врачу колонии стало очевидно, что мое состояние становится все хуже, он отправил меня в Центральную больницу управления.

...Тишина. А все-таки приятно, когда тихо вокруг. Лишь изредка тихонько открывается глазок в двери, тут же закрывается, и слышны осторожные шаги по коридору. На время меня поместили в подвале, здесь, конечно, жилых камер нет, только карцеры. И я нахожусь в карцере, так сказать, на общем положении, имею постель и все прочее. Но какое это блаженство — отдохнуть от жаргона, мата, от охранников, которым не спалось, когда я был в зоне... Здесь не нужно заставлять себя с кем-то говорить, здесь можно думать, спать, читать, писать и можно мыть свою камеру хоть каждый день, и воздух чистый, некому отравлять его вонючей копотью от махры.

Может, я не совсем прав по отношению к людям, но я устал от них. Это чувство можно сравнить с ощущением человека, вынужденного годами жить при ярком электрическом освещении. Вот она горит и горит, эта лампа, и днем и ночью, есть надо при ней, спать тоже... И возненавидит человек лампу эту, свет. Хоть бы раз стало темно, мечтает он. Так и со мной. В плотном окружении людей я мечтал хотя бы немного побыть один.

Конечно, я никогда не считался с людьми, я, собственно, и не встречал настоящих людей, а если и встречал, то это были мгновенные, мимолетные встречи. Я привык в людях, в большинстве, видеть врагов, и это мне сейчас здорово мешает, потому что такое отношение въелось в меня настолько глубоко, что даже когда я понимаю, что поступаю глупо, не могу побороть себя, хотя после мне бывает плохо и я чувствую себя как никогда одиноким. Вот если бы люди могли не замечать этого... Но они не знают, что я способен на раскаяние, да и уж, конечно, по мне это не видно... А годы все шли, уже настал 1958-й.

Больница была большая, в ней работали вольнонаемные медицинские работники. Ну и, конечно, сестры... Поваяло чем-то давно забытым, проснулись какие-то скоростные инстинкты, чувства. Я ощущал дыхание свободы, которая была где-то рядом и в то же время далеко, недосытаема. Страшно хотелось приобрести свободу сразу, сейчас... Но я был болен, я был никто, ничто, и свобода была недосытаема, и сестры эти, призраки свободы, искушение, соблазн... Тут я сдался.

Когда пришел в сознание и увидел вокруг себя людей в белом одеянии, много белых людей, я понял, что и это мне не удалось, что меня каким-то чудом спасли, и покрыл этих людей черным матом. Это был совсем слабый мат, потому что потерял я три литра крови и совершенно обессилел. Потом, когда всё было закончено, меня привязали за руки к кровати и держали до тех пор, пока не уверились в том, что мне уже стыдно.

Целых полгода лечили, уколы разные и все прочее, я выздоровел. Медленно, очень медленно тогда возвращалась ко мне жизнь. Врачи не отходили от моей постели и не отходил Вах-Вах. Даже не знаю, кому я больше обязан своим выздоровлением — науке ли медицинской, врачам или ему, этому усатому длинноносому осетину по прозвищу Вах-Вах. У него и имя есть — Арсен. Впрочем, прозвище это ему досталось здесь, в больнице, из-за одного немного смешного случая. Дело в том, что Вах-Вах поступил в больницу с язвой, а в один день вместе с ним поступил хохол Иван Кандыбенко с геморроем. Они попали в одну палату, и тут их перепутал санитар. Он из-за усов их перепутал. Усы Ивана огненно-рыжие, у Арсена же, как у большинства кавказцев, черные. Понадобилось врачу Александру Андреевичу, хирургу, обследовать больного, поступившего с геморроем. Он приказывает медбрату вызвать из палаты больного, то есть Ивана Кандыбенко. Но медбрат куда-то очень спешил и перепоручил это дело санитару. Только он забыл фамилию и, махнув рукой, сказал: «...Ну того, с усами позови».

Пошел санитар Гаврилка и немного погодя привел Арсена. Александр Андреевич в лицо больного не знал и, думая, что перед ним Кандыбенко, уже надевая на руку перчатку, приказал ему спустить кальсоны и нагнуться в положение буквы Г. Вот тут у Арсена и вырвалось это испуганное: «Вах! Вах!», — которое заставило Гаврилку удрать из процедурной с колесиками

в животе. После этого имя Арсена все будто забыли, его заменило прозвище Вах-Вах.

Да, он, Вах-Вах этот, не отходил от моей постели, и врачи были вынуждены впоследствии переселить его в мою палату. Что его во мне занимало? Кто его знает... Или пожалел он меня? Он смешной какой-то, похож на угрюмую птицу с длинным клювом, только глаза смородиновые, необычайно ласковые и как будто не с этого лица. Он угадывал любую мою потребность: хотелось пить — ко мне тянулась чашка с водой; хотелось принять более удобное положение в кровати — его руки угадывали это, на лбу моем постоянно менялись холодные компрессы, на губах я не переставал ощущать приятный вкус прохладного кислого лимона. Это длилось долго, несколько недель. И всегда я слышал его тихий, низкий, со страшной акцентом голос: «Жить надо, та-ава-ариш, ничего не бойся. Свобода будет. Жена будет. Дети будут. Ты же мужчина — терпеть надо». Да, и он тоже был прав. Плохо было — лучше будет.

О, я прожил скверную жизнь — но я буду жить лучше; я совершал ошибки — я буду их совершать еще, только тепе рь у меня есть конкретная цель, и я могу ошибаться лишь в мелочах на пути к этой цели и на этих же ошибках учиться. А цель простая, естественная: спастись. И это ведь возможно. Только надо окончательно добить Серого Волка, который живет просто потому, что жив, что бьется его сердце, по жилам его пульсирует кровь.

Уезжать из больницы не хотелось, я как-то привязался к своим врачам. Они, пожалуй, первые поверили, что я не такой уж безнадежный дурак.

Как-то в больницу приезжала культбригада с концертной программой, и я решил воспользоваться этим, чтобы хоть чем-то отблагодарить моих друзей. Я стоворился с музыкантами и спел свои старые песни, с которыми когда-то выступал в кабаре, конечно, на эстонском языке. Да и хорошо, что на эстонском, — песни эти, они в общем вроде бульварных, но я других не знал. Не беда, они поняли главное — я пел для них.

В колонии после возвращения из больницы меня ожидал очередной срыв моих прекрасных планов. Я всегда знал, что

милейшему Василию Ивановичу — «оперу» мое присутствие в зоне постоянно причиняло страшнейшие головные боли. Из-за меня он слопал все имеющиеся в санчасти запасы цитрамона. Несмотря на это, он все же ночами спать не мог, то и дело среди ночи проверял, не положил ли я вместо себя кого-нибудь другого. И вот на основании рыгтых под моим руководством подкопов и прошлых заслуг по бегу на неопределенную дистанцию на лесной трассе меня отправили в БУР — барак усиленного режима.

В БУР забирают не только людей, заподозренных в стремлении сбежать, здесь коротают дни отказчики, промотчики, проигравшие все до нитки, все представители тунейдцев. Барак этот разбит на отдельные небольшие секции, по 20-30 человек в каждой. Внутри секций длинные двухъярусные нары, окна с решетками, двери на замке. В секции постоянный галдеж, дым от махорки, вонь от параша, на верхних нарах занимаются черт знает чем, на нижних — разговоры о еде... Здесь я превратился в зверя. Вот где уж действительно меня боялись, ибо от природы я довольно силен, и если кто подворачивался не вовремя под кулак — тому несдобровать. Меня обходили за метр. Долго терпеть это невозможно. Я понимал, что администрация колонии, тот же Василий Иванович не могли знать, что, собственно, происходит в моей душе, собираюсь я исправляться или нет, буду ли бежать, если меня выпустить, или нет; а находиться в БУРе мне предстояло, как я понял, до исправления — долго, что и говорить. Кто же мог знать, когда именно я исправлюсь? Я решил бежать из БУРа — чего бы это ни стоило, пусть даже жизни.

Но куда? Бежать без оглядки, все равно куда? Опять скитаться без жилья, без пристанища? Опять наблюдать жизнь со стороны, не принимая участия в ней? Нет, это не лучше. Или... Лесная хижина, охота, жизнь отшельника? Конечно, это лучше, чем БУР. Но это маловероятно, к тому же я болен. Но куда же тогда бежать? А если добраться до города Красновишерска, ближе к Уральскому хребту (чтобы не попадаться погоне), и там сдать? Что даст мне подобный маневр? Ого, добавят срок и спрячут в тюрьму. Это точно. Ну что ж, там, в одиночке, я отдохну. Я решил. Но осуществить план этот до конца не смог. Он удался только наполовину.

Перед тем как уйти в побег — а бежал из карцера, — я вынес и спрятал в зоне оцепления, в которой работали, дорогие мне фотографии и настоящие записки. В столярной мастерской раздобыл стамеску, затем совершил умышленное нарушение существующего режима и получил за это десять суток карцера. Стамеску, несмотря на тщательный обыск, удалось провезти. Одно было плохо — забрали одежду и обувь. Почему мне вздумалось бежать именно из карцера? Потому что всегда меньше всего внимания обращают на тот объект, который считается самым надежным, непроходимым, куда нормальный человек не сунется. И еще потому, что в карцере заключенные содержатся по одному и, следовательно, можно было не опасаться предательства.

Три дня долбил стену, изорвал в кровь руки, все трое суток не спал, потому что днем работал, а ночью, когда работать нельзя было из-за тишины, караулил, чтобы дежурный не заметил мои достижения. Все это время меня мучил жесточайший понос. Когда же отверстие было готово, я обнаружил, что сваружа его перекрывает толстый железный прут. Выломать его было невозможно. Образовались два отверстия, и оба были малы. Через одно я мог высунуть лишь голову и руку, а через другое и этого нельзя было. Стоило надзирателю заглянуть в глазок, и он увидел бы сквозь стену звезды... Что же ждало бы тогда меня?

Попробовал вылезать то ногами, то головой вперед — бесполезно. Я был в отчаянии. Наконец разделся догола, повесил на стамеску у отверстий свое тряпье, затем с невероятным усилием просунул сразу голову и плечи и повис — наполовину в камере, наполовину снаружи. Содрал с себя солидные куски кожи, я вылез. Это был трюк истинно змеинный: как-никак мой рост 175 сантиметров и корпус соответствующий. Позже узнал, что солдаты намного меньше меня пролезть через эту дыру не могли.

Выбравшись из карцера, я полез в предзонник и взобрался на забор. Предзонник освещался электричеством, по ту сторону забора бегали собаки, а на сторожевой вышке часовой мурлыкал какую-то песню. Я перелез через забор. Ночью рабочая зона не охраняется и можно беспрепятственно раздобыть то, что там спрятано. Несмотря на то, что был босой, за первую ночь

прошел около 50 километров. На второй день поймал курицу, но съесть ее не смог. Совсем потерял аппетит, ощущение вкуса. За вторую ночь прошел почти столько же, сколько за первую, но поднялась температура — это началось еще в карцере. На третий день, не дойдя четырех километров до города Красновиперска, я свалился без памяти. Очнувшись, набрался сил, вышел на дорогу и сдался на милость судьбы. Она явилась мне в лице водителя грузовой машины.

— Куда тебя? — спросила судьба, подозрительно меня осматривая с ног до головы. Я стоял перед ней жалкий, босой, грязный, оборванный и заросший. И так устал, что едва держался на ногах.

— Куда угодно, — ответил я противным самому себе слабым, писклявым голосом, — хочешь, вези в больницу, а хочешь — в милицию.

— Садись, — сказала судьба коротко, нахмурив лоб. Я полез в кабину, и мы поехали.

Он привез меня в милицию. В дежурке, окруженный любопытными работниками милиции и дружинниками, я сел на пол и заплакал — от усталости, от жалости к самому себе, от чего-то, еще неясного. Это было с 6 до 8 сентября 1960 года.

На суде я даже не пытался говорить о причинах, заставивших меня бежать. Судье, видимо, было меня жаль. Он все пытался дать мне возможность оправдываться, задавая наводящие вопросы, и ему, наверное, очень хотелось, чтобы я отвечал на них так, как он надеялся, как бы должен ответить любой, кто хочет оправдаться. Но я не хотел оправдываться. Я знал, что, если меня признают виновным и если я заслужу приговор посуровее — я получу тюрьму. А этого я только и хотел. Поэтому на конкретный вопрос: буду ли бежать еще, на который любой здравомыслящий ответил бы, разумеется, отрицательно, — я ответил утвердительно, хотя на самом деле не буду. Услышав приговор, сразу решил уединиться в одиночку, хотя и не такого положения. Это был мой последний побег. На большее просто не хватит энергии. Я вконец измотался, до того, что, хоть убей, мне все равно.

Тетрадь двенадцатая

Год 1961

Как я и думал, велегко приобрести покой в тюрьме. Вот отсидел для начала пять суток в карцере за то, что не желаю войти в общую массу заключенных. Ну что ж — к этому мне не привыкать.

Все-таки я настоял на своем.

После многих попыток приобщить меня к общей массе тюремного населения, после бесконечных «почему» опять отсидел пять суток в карцере, наверное, не последние. Но я все же живу один и чудесно себя чувствую. Не надо слушать бестолковую, пустую болтовню с утра до вечера, не надо быть свидетелем бесконечных склок, мелких пошлых интрижек. Хорошо! Ни о чем больше пока не жалею.

Получил сегодня письмо от мамы. Какое событие! Неужели это может быть, что она где-то еще существует? За семнадцать лет — первое письмо, первые вести. Пишет, что здорова, но какая она — не могу себе представить. Бывают все же на свете чудеса...

Интересно, увижу ли ее еще когда-нибудь?

Сегодня мой день рождения, и даже имеется возможность отпраздновать это несчастье. Конечно, без шика, но есть сахар, даже белый хлеб — что еще надо? Вот наемся в честь того, что мне сегодня исполнилось тридцать лет. Сажу в одиночке, начальство относится пока к этому терпеливо, они вроде уже начинают меня понимать. Надзиратели посматривают на меня сочувственно. Это, наверное, оттого, что я с ними предельно вежлив, ничего не прошу, не требую, всем доволен. Они словно отдают дань моему терпению. Живу прилично, насколько это возможно в тюрьме. Меня даже выпустили работать, специальность моя — уборщик. Бегаю по тюрьме с метлой, гоняюсь за окурками, мою полы, выгаскиваю грязь.

Недавно из моего срока выбросили пять лет, остается два года и четыре месяца. Колоссально! Это совсем не много — двадцать восемь месяцев или восемьсот пятьдесят два дня. А мне всего

лишь тридцать лет... И это тоже немного, ведь я проживу еще сто лет. Конечно, я устал немного, но тем не менее я молод, и буду еще долго молодым. Собственно, я всегда буду молодым. И кто скажет мне, где граничит молодость со старостью? Есть люди в пятьдесят молодые, есть люди в двадцать старики. Стареют те, кто не хочет расставаться со старыми понятиями, старыми привычками, хотя они уже не ко времени. Если человек может оторвать от себя старое, перешагнуть из прошедших времен в настоящее — он будет долго молодым, и надо жить, извлекая максимальную пользу из того, что имеешь сегодня, и наслаждаться жизнью в пределах доступного.

Что у меня было, когда я прибыл в эту тюрьму? Котомка с тряпками, и больше ничего. Сегодня я обладаю многим. Конечно, фактически у меня нет ничего — лишь четыре холодные стены вокруг, цементный пол под ногами и маленькое окошко с толстыми решетками. Но сегодня я научился жить чисто и испытывать от этого удовлетворение. Умею читать и понимать то, что читаю; могу писать и понимать то, что пишу. Этого мало, чтобы быть счастливым, но достаточно, чтобы жить и даже получать от этого удовольствие. Но тюрьма есть тюрьма, и нет ничего на свете хуже ее.

Хлопают железные двери, гремят замки, слышится беспрерывный топот ног, многих ног. Идет утренняя оправка. Это значит, заключенных водят в уборную. После оправки раздадут завтрак, а затем заключенных, допущенных работать, выведут в столярные мастерские, где они делают мебель.

Что-то случилось... Топот прекратился, замки не гремят, двери не хлопают. Что случилось? Кончилась оправка? Беру метлу, выхожу в коридор. Нет, оправка не кончилась, что-то случилось.

В уборной на тридцать мест полно воды и всякой гадости и воняет, как в уборной. Забилась труба, что-то там застряло, и достать это никак не могут. Но что бы это могло быть? Возможно, какая-то тряпка, возможно, какая-то старая портянка, но оправку из-за этого делать нельзя, а если не будет оправки, люди не пойдут на работу. Один за другим заключенные из бригады хозяйственного обслуживания тюрьмы ковыряются в канализационной трубе железками, проволокой, суют крючки всякие — бесполезно. Там, в колене, что-то есть и достать это невозможно. Вот разве рукой... Но кто же полезет в эту гадость

рукой? Заключенные? Не хотят. И приказать им, чтобы они совали туда руку, никто не может. А оправку не делают. И производство будет стоять, пропадет рабочий день, не будут работать триста человек. Из-за какого-то ничтожного предмета в канализационной трубе, вернее из-за того, что никто не хочет совать в эту трубу руку, а кроме руки, ничто не освободит трубу. Интересно, сколько стоит вся эта продукция, плод труда трехсот человек, которой государство лишается из-за этой мелочи? Вот если бы предложить эту сумму тому, кто удалит препятствие в трубе. Что бы было? Наверно, полезли бы многие — и вольные и зеки. А сейчас — нет. Все вроде в перчатках... Но ведь, братцы, в перчатках жить нельзя. Снимите их!

...Это была изогнутая алюминиевая миска. Я ее достал легко, за одну секунду. Просто вынул, и все. Конечно, рукой...

Проработал три месяца, больше не выпускают. Администрация будто бы получила указание беглецов не выводить. Опять полная изоляция от внешнего мира, говорю в день в среднем шесть слов — ответы на традиционные вопросы надзирателей: да, нет, да, нет.

Тишина. Лишь где-то скребется мышь, еще мухи назойливые летают вокруг моего носа, стремясь сделать на нем посадку. Мне скучно, мне некуда девать себя, а это так страшно, когда человеку некуда себя девать. О, это так страшно!..

Перелистывая дневник, я обратил внимание, что стал он стареньким, уже совсем истрепался, того и гляди рассыплется. Решил его заново переписать, уже по-русски. От этого для меня тройная польза: я научусь писать по-русски; дни, бесконечные в тюрьме, заполнятся делом и пойдут быстрее; и дневник будет переписан заново. Конечно, это будет нелегко, и сделаю я это, возможно, плохо, но, во всяком случае, перестанет докучать тюремная цензура. Потом, раз я говорю и читаю по-русски, значит, обязан научиться и писать. К тому же, вероятно, из-за прочитанной в течение многих лет литературы, а также из-за общения с окружающими людьми исключительно на русском языке я совершенно свыкся с ним и все больше и больше отвикаю от своего родного. Но прежде чем приступить к переводу этих записей, я должен решить, как переводить их: буквально, или усовершенствовать настолько, насколько меня самого усовершенствовала жизнь.

Когда двадцать лет назад я сделал первую запись в своем дневнике, я полагал, что записи эти будут отражать прожитые мною увлекательные приключения, смелые подвиги во имя славы и богатства, в которых тогда заключалось мое понимание счастья, и вовсе не полагал, что мне придется описывать жизнь и приключения, приведшие меня вот сюда, в эту камеру. Приключения... Они, конечно, были. Но были они совсем не такие, какими я восхищался в приключенческих романах. Они были не из приятных, хотя я ими порою тоже восхищался. Что же касается подвигов — их, разумеется, не было. Но жизнь была, и я ее записывал такой, какая она была, невзирая на то, хорошим я выглядел в ней или плохим. Моим запискам пришлось много пережить. Они побывали во многих чужих руках, не раз мокли в воде, обтрепались, десятки раз заново переписывались.

В них заключена вся моя жизнь. Сам того не замечая, я создал ими самого себя: читая и перечитывая эти записи, я каждый раз по-новому видел жизнь и себя в ней.

Я не стану их усовершенствовать, я это делал каждый раз, когда по каким-нибудь обстоятельствам был вынужден их переписывать. Потом, я ведь отдаю себе отчет о своей прошедшей жизни, полной заблуждений, преступлений, страданий, и сегодня, ясно представляя бессмысленность этой жизни, я скажу: как бы мне ни пришлось тяжело в будущей жизни — в эту прежнюю жизнь не вернусь никогда. Я опустился до самого дна и теперь или поднимаюсь отсюда, войду в человеческое общество, или останусь здесь и стгнию, как никому не нужное дерьмо, негодное даже на удобрение земли. Но я не хочу остаться здесь и, значит, поднимаюсь. Тяжелым будет подъем, медленным, но я преодолею все препятствия.

А теперь перепишу свои дневники, быть может, в последний раз. Делать это нелегко: нет ни учебников, ни советчиков, придется полагаться на свое чутье и память. Но хорошо ли, плохо, а напишу. И отступись от меня, мрак тюремный, отступитесь, скука, тоска, пошлые будни.

Год 1962

Приручил мышонка. Великолепная тварь! Жила она у меня в старом ботинке, ела с руки. Только большая шкодница, ей почему-то нравилась моя борода: ночью копошится в ней, а потом уснет.

На днях это маленькое существо опрокинуло здоровенного солдата — смехотища! Дело в том, что щель, через которую эта мышь ко мне попала, я заткнул. Моя мышь сперва забилась за батарею центрального отопления, но потом, привыкнув и, наконец, полюбив свое положение, переселилась в ботинок. А гуляла она по камере свободно, где и как ей хотелось. И вот вздумалось ей совершить прогулку до двери моей камеры именно в тот момент, когда с другой стороны к этой двери подошел надзиратель, чтобы посмотреть через глазок, чем тут занимается моя недостойная личность, но... ничего не видно, в глазке что-то копошится серое. Он мне кричит:

— Отойди от двери! Перестань закрывать глазок! — А мне смешно, потому что я лежу на постели, а в глазке сидит мышь. Я молчу. Надзиратель открывает кормушку, чтобы дать мне наговяй, но прямо у его носа выныривает мышь. Он от неожиданности так испугался, что сделал поспешно шаг назад и, оступившись, упал. А мышонок — в коридор и побежал прочь.

У меня даже дух перехватило: удрал мышонок! Попросил надзирателя помочь горю. Он, длинный, нескладный, долго преследовал мою мышь, пока беглянка не сообразила, что самое безопасное место — моя камера и не вернулась через ту же кормушку. А мой охранник, вытирая шапкой вспотевшее лицо, удивленно наблюдал, как эта шкода забирается в мою бороду на отдых.

Сегодня ночью она мне немного досадила. Послали добрые люди в честь моего 31-го по счету дня рождения полный мешок всяких вкусных вещей. Я поел, разумеется, накормил и мышь. А в благодарность за это она ночью расковыряла свою щель и привела откуда-то целое сборище своих соплеменников, и всю ночь они штурмовали мой мешок самым бессовестным образом. А утром она убежала совсем.

Со мной произошла сказочная история. О подобных я читал

лишь у К. Дойла. Совсем недавно получив арестантскую порцию хлеба, я не замедлил вонзить в нее зубы, ибо был голодный, потому что арестант редко когда бывает сыт. И под зуб мне попалось что-то твердое. Я вытащил изо рта колечко...

Колечко было золотое и маленькое, с темным сверкающим камешком. На внутренней стороне была выгравирована надпись: «Люсе от мамы. 1950». Что мне было с ним делать? Продать было некому, держать у себя — ни к чему. Вернуть обладательнице? А как ее найти? Я стал мыслить, как это называется, дедуктивно. Трубки у меня нет, да я и не курю; потому не сидел, как Шерлок Холмс, погрузившись в облако дыма и в события, а бегал по камере из угла в угол и сделал следующие выводы: 1) она — женщина; 2) зовут — Люся, значит Людмила; 3) работает лаборанткой на хлебозаводе; 4) она очень маленькая; 5) у нее была крупная неприятность или она очень рассеянная. Затем вызвал начальство, сообщил плоды своих размышлений и отдал колечко. Через два дня получил полную корзину кондитерских изделий (в которых понимаю толк) и убедился, что умею дедуктивно мыслить: Люся работает на хлебозаводе бригадиром, у нее в тот день, когда она потеряла колечко, была крупная неприятность: забраковали тесто.

Я остался собой доволен.

Жизнь становится невыносимой. И куда бы мне подеваться от всех этих шумов? Даже в тюрьме нет покоя человеку... Этакое безобразие! Вот бьют с утра до вечера по дверям: тому не додали хлеба, тот не получил махорки, один орет, бесится, изображая психопата, другой целыми днями подсчитывает, сколько он съедает фактически. А тут еще поезда... От них грохот. Да еще вздумалось им гудеть около тюрьмы... Все гудят, как по уговору. Ох, шум, шум. А это еще что за шум? Самолет. Но зачем им надо летать именно над тюрьмой? Что им, в воздухе места мало?!

От изнурительной, тревожной жизни развивается у человека повышенная нервозность, и от этого может избавить разве лишь глубокое одиночество. Но какое же это, к черту, одиночество? Вот в соседней камере живет человек. Слышу его уже больше года и прозвал Ворчуном. Ему вечно нехорошо, и всем он недоволен: и сестры его отравляют, и врачи на него не

обращают внимания, а он больной-пребольной; начальство его преследует и морит голодом (бедняга! он жирный, как боров), прогулку ему дают меньше, чем всем; газеты ему дают не те, что всем, и т.д. и т.п. И вот стучит в дверь с утра до вечера, орет, требует сегодня то, завтра другое.

Тот же считает себя вором...

Все влюбленные и поэты восхищаются соловьем. Но я от души благодарю воробья, который проживает над моим окошком и поет мне вот уже полтора года. Его зовут Филипп, по фамилии — Чирик. И поет он — ей-богу! — не хуже соловья. И что самое главное, это мой собственный воробей. Я его вырастил, выкормил, так сказать, человеком сделал. Подобрал его совсем маленьким в прогулочном дворе, он был тогда некрасивый, голый, без перьев, видимо, выпал из гнезда. А гнезд у этих воробьишек на каждом шагу, народ этот к вопросу о жилищности относится не очень требовательно, любая щель для них хороша. Забрал я этого несчастного, стал кормить, и возни с ним было немало. Мы часами с ним вдвоем беседовали, причем каждый думал о чем-то своем, ведь, должно быть, и они, воробьи, о чем-то думают. Садится он на мой большой палец и говорит — чирик, и я ему говорю то же самое, стараясь быть поточнее в произношении. Выходил я с ним на улицу, в прогулочный двор. Он тогда уже летать научился. Сперва я подумал — улетит. И точно — улетел. Но как только закончилось мое время прогулки и меня выводили из прогулочного двора, Филипп тут же появился, я его забрал, и мы вместе пошли в камеру. Однажды он вовремя не явился, так надзиратели посочувствовали, не вывели меня со двора, ждали Филиппа и вместе переживали: прилетит или нет? Прилетел. Долго он у меня жил, но тосковать что-то стал, и решил я ему дать свободу. Посадил на открытую форточку и говорю: «Лети, любезный, устраивайся, как знаешь». А он — нет. До сих пор я все боюсь держать открытой форточку, чтобы не улетел Филипп, теперь выгоняю его, а он не уходит. Несколько дней он все привыкал к форточке, потом как-то улетел, но в тот же день вернулся. Потом он, видать, влюбился, бедняга — вдвоем появились, Филипп — он был теперь красавец, самостоятельный и вполне представительный воробей — в окно, а она — нет. Он туда-сюда, зовет, а она ни в какую. Кончилось тем, что отыскал Филипп над моим окошком какую-то щель и в ней устроили они

себе гнездо. С тех пор у меня за окном на полном, так сказать, государственном обеспечении живет мой собственный воробей по имени Филипп.

Их трое. Приговорены к смертной казни.

— Спой нам что-нибудь, — просили они меня, — больше ничего никогда не услышим. — Их камера над моей, если петь у окна — им слышно. Когда находит настроение, пою. Вот они и услышали. За что их? Спросил у надзирателя. Один убил человека в парке, отнял часы, больше у того ничего не оказалось. И вот — выпшка. Другие тоже убийцы. Скоро о них напечатают в газете: «Приговор приведен в исполнение». А сегодня они еще живы и просят, чтобы я им что-нибудь спел.

Смерть — это уход из жизни навсегда. И природа ее назначила человеку как избавление от беспомощной старости. Ты человеком родился, а умереть человеку надлежит или на своей постели, или на своем посту, или в подвиге. Умирать потому, что ты перестал быть человеком и не имеешь права на жизнь, — это гадко. Люди живут на свете обществом, и если кто-то становится угрозой этому обществу, люди сами избавляются от него. Я слышал, будто в древности у каких-то восточных народов был обычай: заболел человек — его изгоняют на место захоронения ждать смерти. Он должен был умирать в одиночестве, хотя не совершал никакого преступления, — просто люди были тогда темные, боялись заразной болезни. Теперь больных лечат, даже самых трудных, самых заразных. И все же люди вынуждены изгонять из своей среды многих — то на время, а то и навсегда. Кого изгонят на время — их вроде лечат, они имеют возможность вернуться в общество; кого изгонят навсегда — это безнадежные, это существа, которых человечество отрицает полностью, потому что они совершенно потеряли человеческое. А у этих троих где-то есть горем убитые матери, возможно, жены, дети.

Что думают они, ждущие своего последнего часа? Вспоминают прожитую жизнь? Воображают себе предстоящее? Боятся они смерти, страшно ли им? Да, моя песня — последнее их удовольствие. Они очень уговаривали, наверное, боялись, что я не захочу петь для них. И я пел им, целый вечер пел, слушали они, слушали надзиратели, которые, видимо, все понимали...

Становится понятным, почему люди, имеющие гораздо боль-

шие сроки наказания, чем у меня, все же работают как проклятые в лесу. Дело тут не только в том, что это честно, еще и в том, что им там не видны все эти гадости, они трудом изолировали себя от этой грязи, они находятся среди пахнущих смолой и хвоей деревьев, на чистом воздухе, они в чистоте, и вот здесь имеет место человеческое достоинство. Здесь тяжело, но только физически. Но ведь физически можно закалиться, можно стать сильным, да и не только можно — нужно. Мужчина должен быть сильным, если он мужчина. Он должен быть сильным и духом и телом. И все равно где он им станет, и все равно когда он им станет. Поздно не бывает никогда, ведь я не собираюсь же завтра умирать, и раз так, стало быть, надо быть мужчиной, и быть сильным мужчиной. И я им буду, я знаю это, потому что сумел признать истину, отказаться от прежних ложных мыслей, быть объективным. А это все нелегко, очень нелегко.

Боже мой, они меня доконают, куда мне от них деваться? Мысли — в прогулочном дворе, в камере, в уборной, везде они со мной. Кто ты? — мучают они меня. Некто, кому кажется, что вокруг темно, потому что потерявший гражданские права (они ему казались ненужными), потерявший человеческое достоинство (он с ним не считался), избегавший истины, которой он бессознательно боялся. Беглец. Да, ты беглец. Бежишь из дому, от самой чистой, нежной, материнской любви; бежишь от человеческого общества, затем от правосудия, потом от наказания. И теперь ты снова сбежал — от людей, окружающих тебя сейчас. Ты бежишь от всего сознательно, поэтому так темно вокруг. Тебе страшно, и пора быть мужественным, сознаться себе в этом. Ты жаждешь света, тебе давно надоела темнота.

Все правда. Мне надоела жизнь вслепую. И я покончу с этим, я уже не могу не покончить. Вокруг пусто, но, оказывается, абсолютной пустоты все же нет. Только чтобы в этом убедиться, нужно было создать для себя вакуум, а теперь — нетерпение: когда же я выйду отсюда! Мне уже не нужны эти стены, я жажду проверить себя на деле, хочу убедиться, что я действительно способен стать сильным. Придет час, когда я смогу заговорить в полный голос и рассказать людям о том, что нет отчаяния, нет безвыходности, нет и темноты, что, если ты

человек, тысячи возможностей содержатся в самом тебе. Открой их и пользуйся ими.

Прочь отсюда! Долой одиночество! Я ухожу отсюда — в жизнь. Конечно, начинать придется с самой низкой ее ступеньки. Не бойся, дай по морде Серому Волку и — вперед. Дай ему по зубам, пора ему понять, что его песенка спета.

Мне не терпелось начать с чего-то тут же, в тюрьме. Но с чего?.. Для начала попросил администрацию тюрьмы переселить меня в общую камеру, и не просто в общую, а в самую недисциплинированную, самую грязную: но в такую, где меня как Серого Волка не знают. И вот я оставил вакуум и нахожусь в камере, где живут тридцать два гаврика. Я здесь тридцать третий.

Люди эти — дикая братия, прошедшая ползком на брюхе все возможные топи. Постоянная тема разговоров — любовь (развратная, разумеется): они словно больны любовной лихорадкой, бесконечные рассказы в сопровождении сальной жестикуляции и мимики. Любые измышления рассказчиков слушаются с какой-то плотоядной настороженностью, хотя никто не сомневается в том, что все это чистое вранье: нередко можно услышать циничный смех в ответ на какое-нибудь более остроумное сочинение, и это постоянно, изо дня в день, до тошноты. Этих людей шаг за шагом оттеснили от общества — сперва просто в колонию, потом в строгорежимную, затем — в особорежимную, затем, по той же лестнице, по которой прошел я, — за крепкую тюремную решетку. Но они и здесь обросли грязью, они и здесь стараются не выполнять никаких требований, даже если это в их же интересах. В камере невыносимый смрад от давно не мытого пола, от махорки, от параша.

Меня здесь не знают, конечно, слышали обо мне, но никто не знает меня в лицо. Я пришел к ним не как Серый Волк, о «подвигах» которого они наслышаны, с чьими причудами они, пожалуй, смирились бы. И так, я для них просто человек, совершивший преступление. С причудами такого человека эти люди считаться не станут. А я захотел заставить их хоть немного почувствовать себя людьми, я должен их заставить, должен быть теперь сильнее их, раз сумел быть сильнее самого себя.

Начал с того, что предложил помыть пол. Надеяться, что это

предложение будет встречено с восторгом или хотя бы с малейшим одобрением, было бы наивно. На меня посмотрели как на психического, и только. Тогда я просто взял и вымыл пол. Это был труд, камера большущая — 92 квадратных метра. На это занятие ушло часа три. Я работал, как муравей, таскал бачками воду, выливал на пол и скреб его деревянной пшавброй. Я вымыл пол, чем вызвал общее презрение обитателей камеры, и не успел закончить свою работу, как на пол полетели окурки и жирные шлевки. Все делали вид, словно меня и не было, и пол был такой же, как прежде. Я ничего не сказал. Это было бы бесполезно. На второй день я начал всю процедуру снова, чем вызвал уже не презрение, а гнев камеры. Но вымыл пол снова и опять не позволил себе разозлиться, когда его тут же загадили. Я вымыл бачки питьевые и даже парашу. Конечно, энтузиазм мой не был подхвачен. Хуже того — стали считать, что раз мне приятно поддерживать чистоту — на здоровье. Мне с удовольствием уступили возможность выгаскивать парашу, подметать пол, приносить воду, в общем — делать все то, что до этого хоть кто-нибудь должен был делать по необходимости. А теперь просто не надо было беспокоиться. Нет, это меня не устраивало. Эти люди меня явно не поняли.

Однажды, когда я домывал пол, кто-то, как обычно, с наслаждением отметил это смачным шлевком, который плелся на пол тут же, около моей еще согнутой фигуры. Плевок чуть не угодил на мой вспотевший нос. Это было пределом, я взбесился. Схватив бачок с питьевой водой, я швырнул его с силой об пол, опрокинул парашу со всем содержимым, перевернул стол, вылил на пол грязную воду из ведра и кричал, как сумасшедший: «Что?! Не хотите, чтобы было чисто?! Так вот вам! Вот! Вот!» И все вокруг крушил. Кто-то пытался меня остановить, но я схватил скамейку и так ему съездил по ребрам, что он, ойкнув, отлетел. Вся эта дикая братия смотрела на меня остолбенев, никто не издал ни звука. Открылась кормушка, но надзиратели не мешали, видимо, понимали, в чем дело. Наконец я выдохся и повалился на свою кровать. В камере — тишина. Потом кто-то произнес: «Ну и ну...» Кто-то коротко гоготнул. Затем чей-то повелительный голос начал командовать: «А ну, гаврики, за дело, уберем. Федя, хватай тряпку! Рыба — за водой, ты чего рот разинул, тебе говорю! Бери парашу, ставь на место, бачок тоже. Давай, давай!»

Я, не поворачивая головы, лежал. Послышался шум отодвигаемых кроватей, скамеек, началась всеобщая уборка. Значит — порядок. Моя взяла! Стало быть, хорошее способно пробиться даже через эти грубые шкуры, только надо быть настойчивым. Стало быть, мое решение правильное, и я на верном пути. Я встал и вместе со всеми принялся еще раз за уборку. Когда закончили — подошел к своей кровати и медленно начал собирать вещи. Все недоуменно посмотрели друг на друга, на меня, и кто-то спросил: «Куда ж ты собрался? Убрали же...» Я сказал тихо: «Наверное, мне лучше в другую камеру...» Я никуда, собственно, не хотел идти, надеялся, что меня, может, не отпустят. И точно. Кто-то сказал: «Брось ты!» Кто-то другой: «Оставайся, что ты...» Это было сказано довольно виновато. И, скрывая непривычную неловкость, кто-то пробасил: «Ладно уж, чистота — залог здоровья, что мы... не понимаем». Я остался.

Был суд. За хорошее поведение в быту и труде суд освободил меня досрочно от дальнейшего тюремного заключения. Последние два дня в тюрьме открыли мне неожиданно одно интересное явление: со мной приходили прощаться надзиратели, поздравляли, приглашали после освобождения в Балашов, обещали помочь устроиться. Теперь еду в колонию, наверное, туда, откуда приехал. Появились у меня друзья и враги — как всегда, когда не плывешь по течению, а живешь активно. Друзья не скрывают своего ко мне уважения, враги притаились, ждут удобного момента, чтобы открыться. Друзья из молодых, в большинстве люди, попавшие сюда впервые. Особенно подружился с одним совсем молодым парнем из Шахуньи. Слиматичный, с мечтательными глазами парнишка. Следует из колонии малолеток в колонию взрослых. Очень смысленный, десять классов образования. Он скоро освободится и, надо думать, никогда не попадет сюда снова. Вокруг него, когда я вошел в камеру, так и увивались аллигаторы уголовного мира, люди, почти никогда не жившие на воле, не имеющие никаких человеческих чувств. Я здорово помешал им.

Он показывал письма своих друзей, рассказывал о родителях. Все это не нравилось аллигаторам, и знаю, что приобрел много врагов. Только плевать мне на эту сволочь. Постников верит мне во всем, и я постараюсь показать ему то, что так

трудно заметить в его возрасте. Ведь когда я был в его годах, разве не были для меня самыми авторитетными людьми приблизительно такие, как Серый Волк теперь?

В безвоздушном пространстве

Я не знаю тебя, я незнаком с тобой, но, может быть, ты где-то есть — бескорыстный, искренний друг. Хочется поговорить с кем-нибудь, но хотя вокруг много людей — не с кем. Валяюсь вот уже четырнадцать суток в пересыльной тюрьме (пятой по счету). В камере 54 человека: дым, гомон, шум. Все говорят о чем-то, рассказывают друг другу что-то, смеются, ругаются, и им вроде весело. Но мне не хочется ничего никому рассказывать и слушать тоже. Только не слушать невозможно... До чего же нелепо! Все норовят налить мне горе свое...

«Будь мужественным в беде своей...»

Как их мало, мужественных в беде своей. С кем ни заговоришь, кто с тобой ни заговорит — все плачутся: как им тяжело, как они несчастны. И конечно, хотят, чтобы их ободрили. Какого черта они думали, когда делали то, за что их сюда загнали! А ведь все они тут не первые, все вроде бывалые. Говоришь, ободряешь, но хотел послать к черту. И никто же не подумает, что и мне здесь не дом родной.

Вот вчера подрался... Они ко мне как к «иностранцу» — (как же — был за границей!) обращались с нелепыми вопросами о жизни за границей, причем, горько вздыхая, изъявляли жгучее желание попасть туда. Там, по мнению этих воздыхателей, текут молочные реки с кисельными берегами. Они недовольны решительно всем на своей родине. «За границей все лучше, дешевле, там лучше платят за труд, да и труд там не такой, как здесь, так законы справедливы и правительство лучше, и вещи там лучше, и даже женщины...»

Ведь их ничто не оправдает — мелких, пошлых, пустых. Они безуспешно пытаются винить свою родину в своих неудачах, восхваляя за границу, готовые продать родину за хлеб с маслом! И разве это родину они так ненавидят? Нет. Это они труд ненавидят. В Америке они тоже будут недовольны, и в Англии, и в Италии тоже — везде, где придется жить, подчиняясь законам, и трудиться.

Один доказывал, что мы в общем скот и что общество, упрягав нас сюда, хотело заставить нас понять, что мы действительно скот. Этот, видно, самокритичен. Он говорил, что нас все же воспитывают и жизнь наша намного лучше, чем могла бы быть.

Я думаю, что он лишь в какой-то мере прав. Действительно, многие из нас — животные. Но при этом мы все же люди. Что же касается воспитания — нас воспитывают, каждого ровно настолько, насколько он в состоянии воспринять это воспитание. Но колония, по-моему, это фильтр. Сильные морально и физически или ловкие до подлости, те, кто имеет силы или умение победить все трудности и выйти на волю, — их общество хоть и не встречает с музыкой, но принимает.

Но пока мы здесь барахтаемся в болотах, в лесах, съедаемые комарами, соображая, что мы и где мы, пока мы здесь отбываем в небытии год за годом, там, на воле, строится иная, человеческая жизнь... А мы от этой жизни настолько уже отстали, что вряд ли будем там ко двору.

Хороший друг, если ты где-то есть, поверь — мне тоже нелегко. Многое непонятно, а хочется узнать, проверить, понять. Я не вижу сейчас, но не потому, что слепой, а потому, что завязаны глаза. Но я хочу видеть. Я должен видеть.

Тетрадь тринадцатая

Год 1963

— Бойся-а-а-а!

— Бойся-а-а-а!

— Нет, не того, что тебя зарежут или избыют — некому. Нужно бояться, чтобы не попал под дерево. Лесоповал...

Треск, грохот падающих деревьев. И опять кричат, что надо бояться, и опять грохот, и так целый день. Только меня это не касается.

— Юзи! — вот это уже меня касается. Нажимаю на багор

и резко подгалкиваю бревно вверх по накатам, еще усилие, еще рывок, и оно уже на прицепе.

— Юзи! — кричу я, и теперь уже мой папарник юзанет — у него комель, и опять рывок, и опять бревно на прицепе.

Все. Машина нагружена, 19 кубов. Заревел мотор, машина отъехала, подъехала другая и опять: «Юзи! Бахом, бахом жми!...» раз-два, раз-два, юзом, рывок — на месте. С носа капает вода, по спине она льется, на лбу блестит она, соленая, святая вода. Одна за другой меняются машины, и мы все юзим и юзим, без перекура, до обеденного перерыва. Затем идем к костру, развязываем наши котомки, достаем харчи, поедим, немного отдохнем, опять начинаем. Вечером багры на плечи — и домой, в зону.

Конвой у нас мировой, они с нами уже несколько месяцев, привыкли к нам, делятся папиросами, когда у нас нет, новостями, рассказывают о жизни в поселке, интересуются нашей. Никогда не слышим от них окрика, плохого слова. Ну и мы, конечно, тоже понимаем, что к чему, и стараемся, чтобы не было никакого баловства. Если люди относятся к нам по-человечески, мы отвечаем им тем же. Это ведь очень важно — чувствовать от тех, кто тебя охраняет, человеческое отношение. И работается тогда веселее, с азартом, подсознательно стараешься показать свою ловкость, силу, и бревна словно бы легче катятся на машины.

Хрустит снег под ногами, сверкает в солнечных лучах. шагаем в зону уставшие от работы, но бодрые. Перебрасываемся шутками, а в зоне нас ждет борщ... Наша бригада не ходит в столовую, мы приносим арестантские каши и супы в секцию в ведрах, здесь выливаем в две большие эмалированные миски и, вооружившись ложками, едим все вместе. Если удастся раздобыть картошку, варим ее или жарим. Все, что только удастся раздобыть, и посылки тоже — все пускаем в общий котел. У нас в этом отношении полная коммуна.

Когда я первый раз вышел в лес на погрузку, мне пришлось солоно. Ведь я уже так давно физически не работал, а тут тебе не шутки шутить, погрузка леса — самая тяжелая работа. А меня к тому же мучают боли. Но я решил убить их к чертям, убить работой, чтобы болеть было некогда. Потом, раз я решил покончить с тунелдством, так уж по-настоящему, без дураков.

На погрузку, как правило, берут лишь малосрочников, потому что бригада эта ходит под отдельным, малочисленным конвоем и на разные объекты.

Когда я пришел к Василию Ивановичу и сказал, что хочу идти на погрузку, он, прямо скажем, не был в восторге. Вообще мое досрочное возвращение из тюрьмы не очень его обрадовало. Было видно, что в последние два года он обходился без цитрамона. А теперь я еще задумал идти в лес... Но когда он выяснил, что мне действительно сократили срок, на погрузку записаться разрешил. Только сказал:

— Не выдержишь...

— Попробую, — ответил я, и этим вопрос был исчерпан.

Первое время было тяжело. Но спасибо ребятам, не дали сбежать. Они меня все подбадривали: ничего страшного, всем в первое время трудно, привыкнешь. Нашлись, конечно, и такие, которые начали парилу нагонять: мол, здесь недолго и стобатиться. Но их живо одернули.

А руки мои действительно в первые дни багра не держали, бревна не слушались, не катились, и к тому же мне казалось, что мой напарник специально кричит на меня, чтобы сбить с толку:

— Юзи! Бахом, бахом!.. Кати! — и так без конца.

Но постепенно я замечал, что у других птабелей кричат так же. Бывало, какое-нибудь очень тяжелое бревно не идет вверх, хоть ты лопни. И тут вбивается рядом с моим багром еще чей-то багор, и бревно пошло. Что и говорить, было трудно. Но ребята оказались правы: я привык и теперь уже профессиональный каталь. И жизнью своей доволен.

Помню день в последней пересыльной тюрьме, когда я гадал, буду ли дышать чистым воздухом, увижу ли цветы. Помню, как, глядя на обитателей БУРов, потерявших человеческий облик, я возненавидел людей и думал: много ли надо, чтобы сделать из человека животное — оградить колючей проволокой, и все. Но вот здесь, у птабелей, я смотрю на этих полуголых парней с великолепной мускулатурой и знаю: неправда, этого мало. А цветы... Их еще нет, но воздух чудесный, изумительный, самый чистый.

И еще помню тот первый день, когда пришел в лес. Была осень, снега еще не было, лес стоял разноцветный, красивый,

как в сказке. «Вот она, живая жизнь, — подумалось, — это тебе не мертвые стены, здесь все живое, каждая веточка, каждый листочек, даже земля под ногами живая». Ходил я в лесу и все шлохал, словно дикий зверь. Набрел на желтокожую сосну, с нежностью стал ее гладить. Подошел бригадир Сема.

— Ну как? — спросил он неизвестно к чему.

— Никак, — ответил я.

— Чего дерево обнимаешь, влюблен, что ли?

Я сказал, что это я обнимаю не дерево, а трогаю руками свободу и жизнь.

— Чудак ты, — сказал он и ушел.

Этот парень из Смоленска никогда не был наедине с четырьмя холодными стенами. Он белорус, чистокровный мужик, и потому нет у него никакой клички — просто Сема. Работяга, каких мало. Откуда ему понять, почему я чудак. Но он хороший парень. За что он здесь — не знаю, об этом не принято спрашивать. Вообще бригада наша — высший класс, хотя в основном парни все в прошлом — бывшие «законники». Нас одиннадцать, и наш девиз: один за всех, и все за одного!

Мой напарник Георгий — тоже без клички. Он мне постоянно твердит: «Генацвале, говорю тебе, езжай, когда освободишься, на Кавказ. Там, в горах, такая вода, сегодня попьешь — завтра здоров будешь, как бык». Он мой напарник и мировой парень. Выглядит он как разбойник XVII столетия — дикая черная борода, усы. Он очень поворотливый, немного грубоватый. Однажды он из-за меня попал в карцер. Было это, когда я отработал в этой бригаде свой первый месяц.

Кончился месяц, начался другой, и мы получили зарплату. Собственно, мы ее получаем в виде продуктов, которые по ведомости отпускают нам из лагмагазина. Еще по дороге в зону, когда шли с работы, я все представлял себе эту процедуру и гадал, сколько начислили — рублей пятьдесят или шестьдесят? А может, больше? Некоторые из наших даже семьдесят получили, может, и я... Я не то чтобы был голоден, просто хотелось и мне в общий котел внести свою долю. В магазине — он у нас называется ларек — было полно народу, шумно. Отоваривались побригадно. Когда дошла очередь до наших, я тоже подошел к окну. Сказал свою фамилию и жду. Бухгалтер все перелистывал ведомости, потом сказал:

— Вас у меня нет. Вы раньше в какой бригаде работали?
Я ответил, что ни в какой.

— Значит, не начислили, — сказал бухгалтер.

Я отошел от окна. Товарищи меня успокаивали, мол, не волнуйся, начислят. Это просто в бухгалтерии что-то напутали. Но меня это не радовало.

— Да ты не огорчайся, — говорят парни, — что у нас, жратвы не хватает?

Жратвы, конечно, хватало, но мне было не по себе. «Как же так, — подумал я, — ведь целый же месяц работал...»

Молча направился к выходу, а бригадники молча смотрели и жалели.

— Ничего, — сказал я им, — просто я сегодня почувствовал, что значит, когда кто-нибудь отнимет трудовую копейку...

Я ушел в барак и лег на свою койку. В памяти воскресло давно виденное: старые стоптанные женские башмаки и детские, тоже старые... Еще восемь рублей и письмо отца, бросившего своих детей. Я тогда не взял этих денег, но только потому, что их было очень мало...

Жестокая наука жизнь, она ничего не забудет, она все тебе со временем припомнит... Эх, как мне хотелось сейчас порассказать всем, кто этого еще не знает, какая это мерзость — жизнь воровская.

И вот пока я там лежал и соображал, ко мне подошел Георгий и сказал:

— Не надо, генацвале, не грусти, тебе тоже дадут ларек. — Он присел на край койки, тряс меня за плечо и все повторял: — Надо смеяться, генацвале, завтра добудем мясо, сварим суп, жить надо! А потом тебе ларек будет...

Он ушел, а затем пришли парни и сказали, что Георгия посадили в карцер. Оказывается, он пошел к начальнику колонии и там стал требовать, чтобы мне немедленно дали ларек. «Немедленно» это сделать не могли, обещали через пару дней. Нет, Георгий не мог этого терпеть, а когда его попросили покинуть кабинет, начал ругать начальство и бухгалтерию. Ну, ему и дали трое суток карцера. Только на другой день выпустили, вся бригада ходила к начальнику объясняться. Вот какой у меня напарник — генацвале.

А другой наш сотоварищ — Росомаха, имени которого никто

не знает. Все свое свободное время жертвует картам, можно сказать, с ними он родился, для них жил и с ними умрет. Только придет с работы, не успеет поужинать, как он, тасуя карты, мчится в кильдим, взывая: «Кто хочет сладко пить и есть — прощу напротив меня сесть!»

Что такое кильдим? Кильдим — это барак, где живет самый отвратительный народ. Вымогатели, картежники, отказчики — основное население. Там в одном углу режутся в карты, в другом — за ширмой из одеял еще чем-то занимаются; там, глядишь, кто-то спит совсем голый, все с себя проиграл. В общем кильдим — это кильдим.

Самый старший из нас Быдло. Ему скоро стукнет пятьдесят. Был когда-то в колонии поваром, но однажды утром, когда работяги пришли в столовую, вместо завтрака нашли Быдло. Он сидел в котле и говорил:

— Сварите меня, ребята, мясо я проиграл.

Ему простили, потому что он большой чудак.

Еще есть у нас Кузя — маленький хитрый человек, который и дня не проживет, если кого-нибудь не обманет. Обманы его пустяковые, например: выменяет на ерунду чьи-то кальсоны, раздавая сахар, положит себе лишнюю кучку, и все в таком же роде. Ребята к этому относятся добродушно, знают, что это его болезнь. А в общем парень он неплохой, это его багор частенько мне помогал, когда попадались тяжелые бревна.

А всего нас одиннадцать человек, и живем мы, как я уже говорил, дружно.

И уж, конечно, я меньше всего мог думать, что найду успокоение не в одиночестве, а в бригаде каталей.

Костры в оцеплениях в зимнее время необходимы. Когда работаешь, конечно, не холодно, но все же веселее, когда где-то неподалеку горит костер твоей бригады. Там, у костра, твой хлеб. Пристроишь его как-нибудь на умеренном расстоянии от огня, и он там поджаривается, делается вкусным. Потом, в обеденный перерыв, присядешь у костра и смакуешь его. Костры нужны зимою. Они горят повсюду, у каждой бригады свой костер, у всех, кому не лень его разводить, — костер. Вечером костры аккуратно тушат, но угольки прячут под золой, чтобы на другой день легче было разжигать.

Сегодня, бродя после работы (наша бригада закончила

раньше) по зоне, я набрел на чей-то догорающий костер. Около него сидели фитили — так называют доходяг, отказчиков, промотчиков, потому что они, словно фитили, еле горят, от воздуха дрожат.

Костер все ниже, ниже...

Фитиль все ближе, ближе.

Сидят фитили согнувшись, а костер действительно все ниже. Одеты они паршиво, в тоненьких, почти без ваты бушлатах, заросшие, грязные. Костер вот-вот потухнет, еле тлеет, но им трудно подняться, отойти от него, чтобы хоть дровишек подыскать. Холодно. Если уж совсем погаснет огонь, придется волей-неволей идти за дровами. Беру пару поленьев, подхожу к костру, бросаю в огонь. Затрепал костер, обвилось пламенем дрова. Присаживаюсь. Такова неписаная традиция: бросишь в костер хоть чурку — садись около него, если есть место.

Сидят фитили, молчат.

— Курить есть? — спрашивают. Я не курю.

Сидим. У каждого какие-то думы. Уже стемнело, зимний день короток. Скоро съем — заколотят по рельсу.

От костра поднимаются искры, иногда ветер обдаст дымом, и тогда зажмуриваю глаза, чтобы не лить слезы. Фитили целый день сидят у костра, их выводят на работу, но они слабые, заморенные, разведут костер и сидят. А вечером их за то, что не работали, — в карцер. На второй день опять то же самое. Их жизнь незавидная: карцер, голод, холод. Они боятся холода, и именно потому им суждено мерзнуть — ведь им не дают новых бушлатов, а старые они обтрепали, а многие проиграли или променяли на хлеб. Они боятся голода, и именно потому они всегда голодные — ведь работать они не хотят. Они боятся загнуться от работы — и погибают от недоедания, от холода, кровь-то их не греет. Бесполезно им объяснять, что у костра холоднее, чем у штабелей, где люди работают почти в одних рубашках, какой бы ни был мороз.

Меня они знают. Знают, что и я когда-то не выходил из зоны, хотя не был в отказчиках; они знают, что я был инвалидом, и удивляются, чего это я пошел в лес. Говорю им, что мне нравится, и пытаюсь передать хотя бы частично то, что ощущаю. Они говорят: «Тебе хорошо, ты вон какой здоровенный амбал». Чудаки. Ведь они не знают, какие меня мучают боли. Но кое-кто из них прав.

Вот Моргун, маленький, тщедушный, неразвитый совсем физически. Какой от него в лесу толк? Разве сучки собирать, но и это тяжелая работа. Легко сказать: сучки... Но он, Моргун, ничем не болеет, и поэтому медкомиссия определила ему первую категорию. А раз первая — надо идти в лес. А Моргун не хочет, боится, тяжело ему. Об этом следовало бы кому-то думать. Для начальства степень его исправления измеряется количеством мозолей, только у него они на мягком месте — натирает в карцере. Рано или поздно его трудоустроят на легкой работе, а пока он сидит у костра и грустно смотрит в огонь.

Капитан Белокуров... С этим человеком у меня образовались самые непонятные отношения за мое пребывание в колонии. Он призван воспитывать нас, а, видимо, взял на себя обязательство преследовать меня. Он ревностно следит за каждой моей неудачей, где бы мы оба ни находились, вызубрил наизусть мое личное дело, тычет мне в нос моими неудачными побегам, тюрьмами, карцерами. Когда меня привели из Красновишерска после моего последнего побега и водворили в изолятор под следствие, я даже не удивился его появлению. А он спокойненько, как всегда, словно читая лекцию или доклад, начал взвешивать мои шансы — «за» и «против» — в этом последнем мероприятии. Нет, он не издевается, а вроде решает математическую задачу: вот это плюс, а вот это минус.

Когда я приехал из тюрьмы, он меня тут же вызвал и, словно не было двух лет разлуки, начал подытоживать факты, которые были, разумеется, не в мою пользу. Именно поэтому терпеть этого человека не могу, хотя не признавать его правоту иногда тоже не могу. Все, что он говорит, конечно, правда. Но в том-то и дело: всюду правда — газета, радио, начальники — все говорят тебе правду, внушают с утреннего подъема и до отбоя: ты должен «понять», ты должен «выходить на прямую», ты обязан «исправиться». Вот он меня все вызывает и тянет жилы — раньше за старое тянул, теперь, будто это его кровное достижение, начал захваливать за то, что вот я все же «понял», «исправляюсь» и «выхожу на прямую»... Придепь вечером с работы уставший, мечтаешь об ужине, постели, но не успеешь войти в зону, он вызывает — как день прошел? Ну что там может быть особенного? Неужели он думает, что это его неотступное преследование заставило «понять»? С ним еще, пожалуй, поспорить можно, мысль у него примитивна —

цифры, даты. Цифры я вообще плохо запоминаю. Вот и решил — черт бы его побрал! — нарушить эту плавную линию правды и не вышел на работу. Конечно, угодил в карцер. Он, как узнал, вызвал и... началось.

— О чем ты думаешь? Что ты умеешь?

Я понял, к чему он клонит, и взбесился. Ведь и сам не хуже знаю, где и когда дурака свалал, и нечего теревить болячки.

А ему хоть бы что, пошла математика: «два года убил в тюрьме, а мог закончить три класса в школе колонии или приобрести какую-нибудь специальность в промзоне...» и т.д.

Ну вот, тут я и вскипел и начал, в свою очередь, обвинять начальство, кого за что, одного справедливо, но другого, пожалуй, и нет. Если разобраться, не так легко воспитывать взрослых людей, упорно сопротивляющихся всему положительному, в колонии их много.

Ведь я сам безошибочно могу сказать, кого из нас можно сделать человеком, а кого хоть сегодня, хоть завтра убей — все равно. Но это лишь потому, что в течение многих лет и днем и ночью, в карцерах, в тюрьмах, на работе и на отдыхе — везде и всегда я с ними; потому что мне доступнее их мысли, психика, жизнь и стремления, чем любому администратору, любому воспитателю, сколько бы тот эту массу ни изучал, сколько бы званий он ни имел. Что касается моих суждений, пусть капитан Белокуров не обижается.

Бесспорно то, что здесь должны быть руководителями люди с сильными качествами массовика и педагога (педагога потому, что заключенные, эти взрослые люди, во многом все же дети и разум у них детский), они должны обладать высоким интеллектом и высокими принципами; нужны не прогоревшие где-то карьеристы и бюрократы, а люди, имеющие душу, ум и совесть...

А недавно совершенно случайно я был вынужден отдать ему мои записки для чтения. Я отдал не все записки, но он, без сомнения, захочет читать и те, что я не отдал. А я уверен, что их читать ему будет неприятно. Кто гарантирует сохранность их? Если не дать?.. Этого не допускает мое самолюбие: грош мне цена, если буду отрицать и скрывать мои мысли и понятия.

Если я сейчас думаю иначе, чем думал когда-то, то, может, когда-нибудь я буду думать иначе, чем думаю сейчас. И возможно, многое окажется тогда иным, но до этого нужно

дожить. Чтобы так было, необходимы события, факты, способные изменить мое мировоззрение. А сейчас я могу описать свою жизнь лишь такой, какая она есть, и не иначе. А сам я — хорош или плох — такой, каким формировала меня жизнь.

В больнице

Хочется сосредоточиться, чтобы писать, но это почти невозможно из-за двух дебилов, живущих со мной в одной палате. Они своим существованием буквально отравляют воздух. Это люди, считающие ниже своего достоинства кого-либо уважать. Женщины для них без исключения лишь проститутки, ни одна из них не может противостоять их чарам или деньгам... Целыми днями поют бластные песни и занимаются совсем недостойным мужчин делом — сплетничают. Они судачат о людях, находят в них уйму недостатков и, конечно, совсем не уделяют внимания своим.

Завтра меня выпишут, подлечили немного и — опять в колонию. Уже весна, и скоро свобода... Здесь я и встретился снова с Вах-Вахом. Видимо, он частенько лежит в больнице. У него язвенная болезнь, и недавно его уже третий раз оперировали, причем, надо сказать, по его собственной вине.

Как-то, прогуливаясь по коридору, я заметил через стеклянную дверь в одной из хирургических палат чьи-то огромные тоскливые и очень знакомые глаза, которые каждый раз, когда я проходил мимо, с немым вопросом за мною следили. В них был словно упрек. И тогда я заметил, что у него смешной нос. Арсен?! Я вошел в палату. Да, это был он, хотя узнать его было нелегко: в кровати лежал невероятно худой — совершенный скелет — страшный, обезображенный болезнью человек. Он был настолько слаб, что не мог шевелить ни рукой, ни ногой, даже говорить он толком не мог, было чрезвычайно трудно его понять, и в палате он лежал один.

Оказывается, рассказывали санитары, ему сделали резекцию желудка. Операция прошла благополучно, и все было бы хорошо, если бы не посылка... Дело в том, что Арсен сразу же после операции получил из дому посылку со всякими вкусными вещами и, хотя ему это категорически запрещалось, съел, можно сказать, половину этой посылки — мед, фрукты и разное

другое. А утром он взорвался, то есть живот его вздуло, полопались швы, и Арсена снова оперировали. Только теперь ему с каждым днем становилось все хуже и хуже, и уже никто не надеялся, что он выживет. Кормить его надо было с ложечки, а ходил он под себя, как маленький ребенок. Все знали: не сегодня завтра помрет. Может быть, он бы и умер, потому что бывают положения, когда самые лучшие врачи бессильны, положения, когда человека может спасти лишь одно — любовь. И если она где-то есть, рядом, ты спасен, если же нет — каюк тебе. Может быть, и я бы в свое время умер, если бы мое сердце, совершенно ослабевшее из-за потери крови, не поддерживал своими ласковыми заботами, своими ободряющими беседами Арсен. Помню, когда его выписывали, уже одетый в арестантскую спецовку, он пришел попрощаться со мной. Я еще лежал тогда. Он присел у моей кровати, поговорили немного, попрощались. Он ушел. А потом я нашел под подушкой у себя четыре мандарина, видимо, ему из дому прислали.

Если ты мышшь обласкал и она тебя полюбила, в бороде твоей жила, если ты воробья выкормил — он тебя полюбил, от тебя улетать не хотел, ты полюбишь и человека, и он тебе тем же ответит. Разве мог я забыть, чему меня научил Арсен, — милосердие к несчастным, любовь к человеку. Мы померялись ролями на этот раз. И мне совсем не было противно убирать за ним, меняя его постельное белье. Я не уставал его кормить и следить за тем, чтобы ничто не мешало его сну, чтобы всегда было тихо в палате, чтобы всегда был чист воздух. Я не уставал от его бесконечных капризов. На тумбочке лежали письма от его родных, на которые он уже давно не отвечал. Я написал за него его родным, что он болен, что он непременно выздоровеет. Я их не обманул. Он выздоровел, лежит теперь в общей палате, ест, шутит, смеется. Собственно, он и не лежит, он уже повсюду ходит.

А меня завтра выпишут. Поеду в бригаду. Говоря по правде, соскучился. Только теперь меня переведут в другую бригаду, в дорожную. Эта бригада состоит тоже из малосрочников и ходит под отдельным конвоем, но не хочется уходить с погрузки, там настоящие парни и работа что надо. И все же придется уйти. Меня теперь туда не берут: у меня язва и еще какая-то штука в левом боку. Товарищи давно заметили, что начинаю сдавать, все потихоньку старались уговорить меня перейти в дорожную,

все чаще отдавали мне штабеля полегче, ставили на четверку и т.д. И я как-то тянул, работал. Но однажды вдруг в глазах потемнело, я бросил багор и упал. Через час меня отвезли в зону и поместили в санчасть. Я лежал, уставившись в потолок, и вспоминал, как когда-то давно, на острове, симулировал больного. Кажется, был у меня тогда «детский паралич»... Как давно это было, сколько прожито с того дня, и какой жизни...

Вечером с работы пришли парни. Они сразу от ворот прибежали в санчасть узнать, как мои дела. Набилась полная палата народу, и сочувствие этих грубых людей, выраженное опять-таки не без мата, было таким искренним. Я удивляюсь себе: как мог я жить среди них годами и видеть только моральных и физических уродов, обитавших в карцерах, БУРах, не вылезавших из зоны, пуще смерти опасавшихся загорбатиться от работы, и не замечать этих здоровых, крепких, жизнерадостных и дружных парней. Ведь они прошли, как говорят, огонь, воду и медные трубы, они окунулись в грязь до дна, но они выбрались, она стала им противна, и они ушли на чистый воздух, в лес. А из леса они уйдут на свободу. Уйдут с трудовыми мозолями на руках, уйдут, готовые к испытаниям, ко всему. Ну что ж, и меня грязь не затянула, я тоже пришел к ним на чистый воздух — в лес. И я совсем не виноват, что вот болею и должен теперь от них уйти. Но я не вернусь в зону, в небытие, нет — я иду также на чистый воздух, в дорожно-ремонтную бригаду, назло всем болячкам.

Когда меня на носилках вынесли из зоны, чтобы отправить в больницу, бригада провожала меня до ворот. Парни отняли у санитаров носилки и понесли их сами. Говорили о пустяках, да не в этом дело... Какая разница, о чем говорить, — это не главное. Главное — это проводить друга, быть с ним до самых ворот, пожать его руку на прощанье.

Хороший я прожил кусочек жизни с этими парнями, которые видели жизнь и найдут в ней свое место, очень хороший кусочек.

Утром, после завтрака и прочих процедур, что начинаются с подъема в семь часов, идем на работу. Нас десять человек — бригада. Собираемся у ворот и побригадно выходим за зону. За воротами нас встречает конвой, в распоряжение которого поступаем по выходе из зоны. Садимся на машину. Конвой читает ежедневную утреннюю «молитву», которая звучит приблизительно так: «Вы поступили в распоряжение конвоя и

обязаны выполнять все требования конвоя беспрекословно. В строю по пути следования не разговаривать, не курить; при попытке к бегству конвоем применяется оружие без предупреждения...» Затем следует традиционный вопрос, скорее угроза: «Ясно?!» Зеки отвечают хором: «Ясно!» Можно выезжать к месту работы.

Наше место работы — дорога, по которой едем.

Отъезжаем от колонии километров 20—25, слезаем с машины, снимаем инструменты, затем машина уйдет, а мы останемся, чтобы заделывать проломы до вечера, пока за нами опять не придет машина.

В бригаде каждый знает свое дело: кому подносить материал — таскает доски, шпалы; кому копать — с лопатой не расстается; кому на мотопиле «Дружба» работать — сверлит дыры; кому нагеля точить — этот целый день таскает на себе мешок с толстыми деревянными кольшками и, когда приходим к пролому, затачивает их концы небольшим топориком; мой удел — кувалда. Тяжелая штука, 16 килограммов («понедельником» прозвали ее ребята). Мое дело забивать нагеля. Тяжело, но мне нравится. И я это делаю красиво. Раздеваюсь до пояса, надеваю рукавицы и — сто нагелей без перекура. После этих ста нагелей кувалда, правда, весит уже не шестнадцать, — сто шестнадцать килограммов, но зато ногам спокойно. Дело в том, что ничто, кроме кувалды, меня не касается, утром я ее обниму и расстанусь с ней только вечером. И это здорово: есть нагеля — забиваю, нет их — лежу на бревнах у дороги, загораю. А таскать шпалы, пилить, колоть, копать — удовольствие не очень-то большое. Кувалда в моих руках ходит легко, свободно, и движения мои, я знаю, гибкие. На меня в тот момент, когда забиваю нагеля, приятно смотреть. А мне тоже приятно внимание бригадников и конвоя, которые, чтобы лучше видеть, даже подходят поближе; хорошее это ощущение. Кувалда ритмично бьет по нагелям, они один за другим исчезают в древесине шпал. Да, еще осталось кое-что от бывшей силы, и, кажется, она с каждым днем все прибывает. Движение и воздух — лучшее лечение, против всех болезней помогает. Право же, это так, а если еще настроение хорошее, если имеется в запасе песня и смех, тогда и вовсе здорово.

Правда, смех и песни — это не всегда зависит от нас. Иной раз и хотелось бы запеть, да не до песен, не до шуток, не до

смеха. Это во многом зависит от тех, кто нас охраняет, — от конвоя. Вот когда ходим с Иваном Костромским (из Костромы он) — тогда песни, смех, шутки и работа что надо. Он старший конвоир, простой парень, сам охотно пошутит и никогда никого не обидит: «Устали — отдохните, река рядом — умойтесь, освежитесь». Воткнет в землю веши для обозначения зоны, за которую мы не вправе выходить, и будьте любезны, занимайтесь своим делом. Он не переходит грани дозволенного ему во взаимоотношениях с нами, заключенными, но и не считает нас заразой, достойной одного только презрения. Не то что другой ваш старший конвоир — Рыжий. Он действительно рыжий и еще очень злощидый. Когда ходим с ним — ну, спасу нет. И что за противное отношение... Можно подумать, что кто-нибудь из нас у него лично кошелек стянул. Ненавидит он нас, видеть, люто. Недавно он до того озверел, что сам командир взвода упек его на гауптвахту. Это был страшный день. Поведение старшего конвоира с утра всех нервировало. Он беспрестанно на нас орал, требуя то прекратить курить, то перестать шептаться. Даже его помощнику, мы видим, противно. Рыжему солдаты тоже не очень симпатизируют, они его прозвали «капралом».

Начали мы в тот день работу. Отремонтировали первый пролом, затем еще два пролома и остановились на перекур. День очень жаркий, не меньше 35. Разделись, предоставив свои тела бесчисленным комарам, слепням, мошкаре. Жарко. От невыносимой жары в горле сухо, трудно дышать. Но спрятаться от солнца некуда. Хотим пить. Дьявольски хотим пить. Рядом у дороги, метрах в двух от нее — ручеек. Мы хотим пить все как один. Пошли к ручью. Тут грозный окрик Рыжего заставил вернуться на дорогу. «Не будет воды!» — заявил он и щелкнул затвором автомата. Бригада его просила, ругала, умоляла, а он: «Не будет воды!»

Садимся, отказываемся двигаться дальше. Сидим у ручья и глотаем слюну, у кого она еще есть. Таким образом просидели час, Рыжему надоел окружающий колорит. «Вставай, попляй дальше!» — скомандовал он. Мы ни с места. Он орет, бесится, наставив на нас автомат, подходит вплотную. Нервы у всех напряжены. Встаем, идем дальше. Отремонтировали еще пролом, еще много проломов. Брюки от пота, текущего по нашим спинам, прилипают к ногам; тела наши в укусах; язык у всех засохший, говорить не хочется. Работаем. Оказывается,

чтобы попасть в ад, не нужно умирать. Вот оно — настоящее пекло. Лето! Это сезон, которого так ждут повсюду люди, когда природа украшается зеленью, цветами, песнями птиц, когда весело журчат ручьи и земля благоухает. Лето?! Для нас этого нет. Для нас — жара, дорога, проломы, жажда, а для меня лично еще и кувалда...

Но и вчера было лето. Еще вчера я любовался своей работой и мною любовались другие, еще вчера я не ощущал веса своего «понедельника». Сегодня тебе не до песен, не до шуток, сегодня кажешься себе неудачником, обиженным судьбою, для которого нет надежды снова стать человеком, и растет в тебе злое чувство, ему этот Рыжий открыл своим поведением зеленую улыбку.

День казался бесконечным. Но вот наконец вечер. Кончили работу, собрали инструменты, ждем машину. Хотим пить. Хотим курить. Курева у нас нет.

Сидим, ждем машину. Но вот кто-то из нас кого-то оскорбил, задел, и теперь эти двое ругаются, припоминают все пакости, которые один про другого знает. Наконец вскакивают, друг на друга налетают, сейчас будет драка. Я тоже вскакиваю, чтобы разнять их, — нельзя допустить драки. Это мне нелегко удается. Наконец противники разняты, лишь поливают друг друга словесной грязью. Нервы напряжены до предела. Ведь могло произойти что угодно. Наконец — о радость! — машина. Поспешно погрузили инструмент, сели. Едем. И вот — зона. Вернулись... Идем на ужин. После ужина спешу к колодезю, в нем ледяная вода. Раздеваюсь догола, выливаю на себя пять-шесть ведер холодной воды. Хорошо! Ах, хорошо! Хорошо, что есть этот колодезь, уже ради него можно жить. Здесь можно остудить нервы. А теперь можно и спать — день кончился.

Итак, сегодня, 18 июня, в 4 часа дня тридцать два года тому назад на острове Сааремаа родился я для того, чтобы прожить также сегодняшний страшный день. Да, это был действительно страшный день. Как много значит — воля одного. Он один может делать погоду десятерым. Пожелай он — и мы бы не почувствовали тяжести неволи (как бывает всегда с Иваном Костромским). Но он не захотел, и мы ощутили физически давление одного дня. Может, так это и должно быть? Заключение — это наказание. Мы все десятеро совершили преступления, много преступлений. Многие из нас ненавидят общество,

всякое общество. Многие притворяются исправляющимися. И за все это всех нас ненавидит он, этот не очень развитой рыжий парень. Он хочет, чтобы мы почувствовали, почему фунт лиха, и боялись попасть сюда снова, он хочет быть для нас страшным, и хотя он далеко не прав, но вообще-то, может, это справедливо: тюрьма потому и наказание, что она страшна, а страшным людям за страшные деяния и наказание должно быть таким же. Будет им в тюрьме вольно и беззаботно — будут ли они бояться ее тогда? Но что же тогда такие, как Иван? Они к нам относятся по-человечески, вселяют оптимизм и желание вернуться в жизнь, к честным людям, к честным делам. Поэтому Рыжего командир взвода правильно засадил на гауптвахту, он убивает всякую надежду на прощение, искупление, а если нет надежды — зачем тогда и стараться? Можно опять в карцер, в тюрьму, а побег — куда угодно, потому что трудись не трудись — все равно хорошим не станешь.

Ночь. Спят арестанты. В секции храп и немного, если быть скромным, несвежий воздух. Но это естественно для помещения, где живут семьдесят человек. Не спит лишь Серый Волк. Не спится ему: одолевают мысли, да и раньше ночные происшествия, которыми полна жизнь колонии, не дают спать. Поначалу уснув, он проснулся от дикого, нечеловеческого воя. Вой действительно оказался не человеческим, а копачьим, кошка спасалась бегством под нары от гнавшегося за ней с недобрый намерением кота. Затем он было уснул опять, но немного погодя послышался другой вой, уже определенно человеческий. Это кричал во сне сосед, захлебываясь отрывистыми похабными ругательствами. После этого Серый Волк уже уснуть не мог, опять появились боли, а вместе с ними и мысли. Мысли и чувства.

Скоро свобода. Осталось двенадцать дней. Скоро другая жизнь, в другом мире, где возможны счастье и любовь... Но мне страшно, я его боюсь, того мира, другого. Здесь нередки случаи, когда люди, которым предстоит освобождение, отказываются выходить на волю. Я их не мог понять, но вот сейчас смутно представляю их опущения, их страхи; находясь долго в заключении — десять, пятнадцать лет, — они отвыкли от воли, потеряли способность быть самостоятельными, они не знают, как нужно говорить, как держаться; им кажется, что и ходят

там, на воле, люди не так, как они, и спят, и едят — все делают иначе. Здесь все известно, здесь тебе приказывают — делай так, ходи так, стань этак, повернись, садись, вставай — все тебе приказывают. И это в течение многих, долгих лет. За это время ты, в сущности, живешь почти беззаботно: пища тебе, хоть какая-нибудь, обеспечена; спать ты будешь — в зоне ли, в карцере, где угодно, но в основном в тепле. Твои дни однообразны, ты отбываешь срок. Но ты считаешь годы, события, месяцы, дни, делаешь это мапинально, с тайною надеждой на то, что последний день — конец страшной жизни, после которой ты уже другим человеком начнешь новую. Но вот настал последний день, ты сейчас оставишь позади четырнадцать лет неволи, целую жизнь, и перейдешь в другую, а она тебе неведома, тебе боязно, тобой овладевает страх. Странно, когда решаешься на побег, этого не испытываешь. Тогда совсем другой страх — потерять жизнь. Так или иначе, но встречаются люди, которые в день освобождения отказываются выходить на волю. Таких, конечно, единицы, но страх, наверное, испытывает каждый, хотя никто в этом не сознается. Впрочем, если у тебя семья и ты побыл здесь сравнительно недолго, наверное, тогда ты знаешь все наперед, тебе известно, что попадешь в привычное окружение, тебе известно, кто и как тебя встретит, ты получал письма и знаешь, какова та свобода, куда ты идешь. Но если ты прожил здесь целую жизнь, если свободу ты помнишь и знаешь только как период скитаний в притворстве, в страхе, если тебя никто не ждет и ты действительно не знаешь, как там живут нормальные люди, — страшновато. Но и интересно, очень интересно.

Какая она теперь — свобода? Как надо есть вилкой? Смешно, но вилку ты уже так давно в глаза не видел. Как едят из фарфоровой тарелочки? А галстук завязать? Опять ты будешь похож на нильского крокодила, вышедшего из джунглей в цивилизованный мир. Двенадцать дней... А ведь их было четырнадцать лет. Давно — сто лет назад. И вот осталось двенадцать дней... Невероятно! Что будет?

Говорят, жить на воле таким, как я, надо буквально невидимкой. Носа нигде не показывай, потому что нас будто бы карают уже за одно то, что мы ранее судимые. За любую мелочь — милиция, за малейшее подозрение — тюрьма. Зеки меня наставляют ежедневно на путь истинный: в общественных

местах не показывайся, комсомольцев берегись как огня, а бригадмилльцев и дружинников опасайся больше милиции — заклюют и за дело и без...

Действительно, получается страшная картина, хоть и не освобождайся совсем. Есть и такие, кто дает наколки, где можно легко «работу вымолотить». Но «вымолачивать» я не буду, потому что освобождается уже не волк, а человек, у которого есть, между прочим, совесть. Что же касается отношения общества к освободившимся — вы, мне кажется, судите обо всем, глядя лишь со своей колокольни. Я вообще не тешу себя мыслью, что меня встретят с музыкой, и готов к любым трудностям. Поэтому я не боюсь свободы.

Две жизни — та, которая была, и та, которая начинается, — а граница между ними — узенькая калитка. Сегодня еще по эту сторону калитки, в старой жизни. Последний день. Она остается, она меня отпускает. Но что впереди?

Мне тридцать два года... И нет ни образования, ни профессии, ни семьи, ни даже друзей. Тридцать два года попли насмарку. А ради чего? Ради чего искалечены ноги, нажил язву, как ненормальный, вскакиваю при каждом неожиданном скрипе, шорохе? И жизнь, которая начинается, — я ее совсем не знаю. Ее надо будет осторожно узнавать, изучать. Да, конечно, нужно осторожно, потому что, наверно, встретятся и Рыжие. А сам я? Действительно я уже другой? Здесь — да, а там?.. Ну, что за глупость... Неужели снова стану валяться в коридорах, дрожать в дорожных кюветах? И снова меня сможет бить каждый кому не лень?.. А Сирье...

11. X. 1963 г.

Мысль

Последняя ночь... Завтра, 12 октября, Сергей Волк выходит из клетки на волю. Нет... Серого Волка больше не будет. Освобождается гражданин, у которого есть имя, отчество, фамилия и, как я уже сказал, совесть.

А теперь подведем баланс:

5 лет 7 месяцев + 8 лет 7 месяцев 15 дней.

Итого: 14 лет 10 месяцев и 15 дней. Из этого срока один год

в карцерах, пять лет в строгорезжимных тюрьмах, остальное в колониях, в строгих и на «спецу».

Более чем достаточно...

Как все последние ночи, я сегодня тоже не сплю. Какой там сон, ведь завтра — свобода! Свобода! Настоящая свобода. Уже не нужно будет опасаться ареста, врать на каждом шагу и дрожать за каждое слово, не надо больше играть роль человека. Завтра я получу паспорт и стану гражданином, мне будут говорить «товарищ» — ведь так обранцаются друг к другу люди на воле. Вечером приходили парни из погрузки, принесли кое-что из одежды, у меня же ничего нет. Георгий принес брюки, Бьдло — рубашку, а Росомаха у кого-то выиграл свитер, и свитер теперь тоже вернется на волю; и потом мы попрощались, больше я их не увижу, потому что завтра в то время, когда меня выведут за зону, они будут на работе.

Пробили отбой, зеки укладывались спать, а мы еще долго сидели, о чем-то говорили, «чифирили», пока нас не разогнали надзиратели. Страшное это ощущение — товарищи твои остаются в заключении, а ты среди них почти вольный. Вот я завтра буду ходить по поселку без конвоя, могу идти, куда хочу, а их поведут на работу под конвоем. А еще вчера так вели на работу и меня. Вчера я был заключенный, вчера, если бы нарушил запретную зону, меня могли бы застрелить. И вот — один день, один час, одна минута, и я перехожу из одной жизни в другую.

Думаю иногда, поверили бы мне такие же, каким был я сам четырнадцать или даже двадцать лет назад, если бы я им все рассказал о своей жизни? Поверили бы они мне, поняли бы меня? Те, кто ищет счастья, не зная о том, что так или иначе его надо заслужить — трудом, страданием, именно заслужить, создать, сделать самому. Такие, каким я был прежде, никому не верят. В своих неудачах они винят других, страдать они не хотят, труда боятся. Они охотно, слепцы, идут навстречу ложной романтике и, мечтая о подвигах, приключениях, совершают пошлости, преступления. А грязь их не отталкивает, все глубже и глубже засасывает, они в ней тонут. И они мне, наверное, не поверили бы, потому что они ничему и никому не верят, даже самим себе.

Вот они-то мне сейчас и дают наколки, где «работу можно вымолотить», предсказывают, что не удастся удержаться на воле, что скоро опять сюда вернусь, страшат тем, что меня за

непочтительные мысли об администрации могут просто убить. Они-то действительно почти не бывают на воле, считают, что нет на свете ничего хорошего, ни любви, ни дружбы, ни мести. Но таких, как Арсен и Росомаха, Георгий и Бьдлю, — их больше. Они тоже не скоро отвыкнут от жаргона и мата, но они не стесняются мечтать вслух о хорошей девушке, которая им поверит, они избыют того, кто пытается доказать, что Россию когда-нибудь победят, они выдвывают чудеса с баграми, и они-то знают, что я сюда больше никогда не вернусь... Итак, завтра свобода. Как бы там ни было, но ясно одно: пусть мир полон негодяев и подлецов, пусть они встречаются на каждом шагу, в каком угодно положении, пусть они есть — это еще не значит, что и я должен быть подлецом. Кто знает, может, будет и у меня еще Родина.

Тетрадь четырнадцатая

Год 1963

Это не шторм, нет, просто сильный ветер. Шумит море. Волны одна за другой ударяются в пристань яхтклуба в Тори. Вдали, в море, словно в тумане, видна темная полоска — это остров Абука. А километрах в двух от берега плоским блином лежит остров Лаямадала. На волнах у пристани качаются яхты, кричат чайки, пахнет водорослями, йодом, рыбой — морем... Даже не верится, что я на родине. Вот каменная дорога через разлив, по этой дороге мальчишкой, с ватагой моих подчиненных, бежал я, прыгая с камня на камень, в яхт-клуб. Это только название — дорога, на самом деле просто большие камни, наваленные как попало; они образовали что-то наподобие каменного забора, и тянется этот забор каменной тропинкой через разлив, метров пятьсот. По этой тропинке можно отсюда, из яхт-клуба, дойти прямо до улицы Лоодзи, где когда-то я жил с мамой, отцом, братом и сестрой. Там наш старенький голубой дом. Стою у пристани. Когда-то, мальчишками, мы прыгали

здесь в воду и плыли через залив, соревнуясь в скорости. на той стороне — другой яхт-клуб. Здесь мы ныряли, тоже соревнуясь, кто дольше пробудет под водой.

Где сейчас все мои тогдашние друзья?.. Где Вальдур, Свен, Арно, Велло? Сколько прошло лет... Сколько жизни прожито...

Даже не верится, что я на родном острове.

Но это так. Стоит только повернуть голову налево — и я увижу башни старой крепости, окруженной зеленым древним парком, где двадцать с лишним лет тому назад собрались трое совсем молодых и совсем глупых искателей приключений, чтобы отправиться в мир на поиски счастья и всего необычного, что в этом мире можно найти.

Жизнь нам казалась тогда простой: будь смелым, ловким, сильным — и ты победишь все трудности. Это сугубо физическое понятие, но другого мы не знали...

«Кайяк! Кайяк!» — это кричат чайки, кружа над пристанью, иногда они стремительно падают в море и тут же взмывают вверх и опять кричат: «Кайяк! Кайяк!» Они говорят по-эстонски: «кайяк» по-эстонски чайка. Люблю этих птиц, как и воробьев. Воробьев люблю за их оптимизм, чаек — за то, что они птицы моей родной стихии — моря. Они отважные, чистые, красивые.

Изменился остров Сааремаа. Изменился и город Кингисепи. Подумать только — в нашем маленьком городишке, который когда-то можно было за полчаса пройти пешком из конца в конец, ходит автобус... Улицы заасфальтированы, и дороги острова — тоже. А в парке опять живут белки... мои дорогие белки! Они имеют собственные дачи, построенные для них людьми, но предпочитают жить где-то высоко на каштанах.

Наши белочки — гордость горожан, они не боятся человека, смело прыгают на плечи прохожих, лазают к ним в карман, за пазуху в поисках лакомств, которые люди для них всегда носят в карманах. Во время войны они куда-то исчезли, но теперь появились снова в наших парках, живут, прыгают, принимают дань от поклонников, за что позволяют себя фотографировать. А парки у нас очень красивые.

Остров изменился, город изменился, но не изменилось море. По-прежнему шумит оно, по-прежнему зеленое.

Остров наш — самый красивый в мире, другого такого нет!

Вчера был на кладбище. Полдня искал могилу отца, совсем

заросла она мохом и травой. Пришлось немало около нее потрудиться.

Чувствую себя на родине грустно, я здесь как чужестранец, приехавший в качестве туриста. От родного языка отвык, разговариваю с акцентом, и если кому говорю, что я островитянин, смотрят на меня с сомнением, не верят. Мне разрешено быть на острове десять дней. Поселился в гостинице, отдыхаю. Посетил крепость, музей, ходил смотреть на наш дом, плаваю, катаюсь на лодках. А в том, что плохо стал говорить на родном языке, удивительного ничего нет: ведь я столько лет не был на родине, не говорил, не читал, не писал на родном языке.

Могилу Сирье я долго искал. Я помню хорошо то место, где ее похоронили, помню белый деревянный крестик. Но не оказалось на этом месте ни могилы, ни креста. На этом месте стоит гордая, даже несколько высокомерная мраморная ограда, а в ограде тяжелая, тоже мраморная плита, заставленная сверху горшками цветов. И чужие имена в изголовье. Кого-то похоронили на ее могиле... А может, я перепутал? Спросить не у кого, где живут ее дядя и тетя, да и живы ли они — не знаю. Но я не ошибся — она была похоронена здесь. Неподалеку от этого места растет молодая елочка. Я положил свои цветы на ее ветки. Она, наверное, помнит, когда хоронили Сирье, ведь она видела это.

Так вот... Жил когда-то человек, женщина. Была она добрая, ласковая, обыкновенная. Счастья хотела, любить хотела, никому не сделала зла. Она была скромная и смелая, та женщина, что когда-то жила... А теперь ее нет, как будто и не было ее совсем. Теперь никто даже не знает, где она похоронена.

Прощай, моя добрая, такого друга у меня больше никогда не будет...

Расставался с родиной долго, бродил по Вышгороду, по узким улицам старого Таллинна, съездил на Пирита, где всегда многолюдно. А Пирита течет все так же, как и много лет назад.

Когда собрался уезжать, на вокзале случайно встретил Мишку Проньру. Он стоял с большим коричневым чемоданом и на блатной мотив мурлыкал какую-то песенку, озабоченно озираясь по сторонам. Я вспомнил нашу давнюю встречу, когда «глянули» с ним за пропавшую жизнь, вспомнил все пережитое

за последние годы, и как-то обидно стало, ведь жизнь-то оказалась не пропавшей, ее можно было спасти.

Догнав его, я крикнул:

— Здорово, Проньра! — Он оглянулся и... пошел от меня, прибавив шагу. Я побежал за ним: — Ты что же, брат, старых друзей не узнаешь? — Тут он поставил чемодан и, как-то смущенно улыбаясь, сказал:

— Здорово, ты откуда прикавал?

На этот раз ему можно было знать.

— Да вот, посетил родные края, — ответил я.

— Опять в беге, что ли? — спросил он будто нехотя.

Я рассказал о себе. Он слушал внимательно, его когда-то плутоватые, а теперь погрузневшие глаза словно выражали недоверие, и я понял, что он не очень-то поверил моему рассказу.

— А ты все «углы вертишь»? — спросил я подозрительно, кивая на чемодан.

Тут Мишка разразился такой бранью, какую мне, в прошлом известному мастеру этого жанра, и то редко приходилось слышать. Я слушал его с истинным наслаждением. Однако прохожие, не столь компетентные в этом виде искусства, и оказавшийся поблизости милиционер оглядывались на нас с выразительностью, отнюдь не говорившей о признательности.

Я осведомился у Мишки, что, собственно, вызвало у него такое «вдохновение». И вот что он мне рассказал.

Он живет в Таллинне, «углы не вертит». Последний «вертанул» шесть лет назад, и пять из этих шести ему внушали, что это нехорошее дело — «вертеть уголь». Он согласился и уже год изготавливает чемоданы в какой-то артели. Все-таки остался верен чемоданам...

Женился он, маленьким Проньренком обзавелся, однако где-то на Кавказе у него отыскалась многочисленная родня — чуть не целый аул, — и он их навестил. Когда собрался домой, родственники надавали много подарков, но Мишка привез только полный чемодан винограда.

Вместе с ним в купе ехал гражданин, у которого был такой же, как у Мишки, чемодан. По прибытии в Таллинн гражданин перепутал и унес Мишкин чемодан. И теперь нужно найти этого гражданина и съездить ему по уху, чтобы не трепал Мишкины нервы, и вернуть виноград маленькому Проньренку.

Пошли в ресторан при вокзале, заняли столик. Тягнули, помолчали. Потом я спросил:

— А... какой у него нос?.. У Проныренка?

— Обыкновенный, — сказал Мишка, и мы весело засмеялись. Я поинтересовался, почему он, собственно, совершил такую непонятную штуку — женился.

— О, душа любезный, — сказал он, — вторился Мишка...

— Потому и завязал? — спросил я.

Мишкин нос зашевелился, совершил небольшой круг вокруг своей оси. Он закурил и сообщил:

— Ты что думаешь, это тебе пятьдесят четвертый год? Или думаешь — Мишка дурак? Или слепой? Ты ничего не знаешь. Вот поживешь — увидишь. Ты думаешь, еще есть воры? Не ищи — нету. Сейчас не так, как было раньше. Тебя в тюрьме только надзиратели охраняли, а здесь с тебя не спускают глаз: жена — раз, уголовный розыск — два, милиционер — три, бригадильцы — четыре, дружинники — пять, — Мишкины пальцы один за другим растопырились. Без прописки не проживешь и двух дней, а говорить нужно научиться во что бы то ни стало на грамотном языке, без всяких там междометий и прочих словечек...

Тягнули, закусили, повздыхали.

— Тряпки и часы обесценены, за них ни черта не возьмешь, разве если что-нибудь заграничное попадется... А деньги... За мелочью не погонишься, а большие деньги все на сберкнижках.

Налили, выпили, повздыхали.

— Раньше, бывало, пробежишь по карманам — на базаре, в трамваях. Смотришь, к вечеру, мало-помалу приличный заработок набран. Теперь же и карманы... Ну что в них найдешь? Разве что вытянешь перчатки у какого-нибудь ротозея. Как выдумали эти новые деньги невероятно малого размера... так спрячут — не найдешь. Да еще одеваться стали непонятно, ты себе не представляешь! Моды всякие... Ты, например, уверен, что карман на своем месте, где ему быть полагается, а его уже переместили в другое место, где тебе в голову не придет его искать.

Налили, выпили, задумались.

— И как тут жить... при такой ситуации? Только дураку неясно, что надо менять пластинку. А ты? Что же...

Мишка не закончил вопроса, но я понял его.

— Нет, Мишка, не я тот дурак. И время тут ни при чем.

Тут откуда-то сбоку послышалась знакомая речь; оглянувшись, я увидел за столом в углу компанию молодых людей. Это были даже не молодые люди, а скорее ребята по двадцать лет и меньше. Но эти парни — семь морд — с длинными до плеч волосами, одеты чудно, шпарили по «фене» так, что душа радовалась; на них глядя.

— Однако врешь ты маленько, — сказал я Проньре, — еще, видать, не перевелись мушкетеры. — И показал на компанию в углу.

— Эти-то пугалы... мушкетеры?! Петухи несчастные, — буркнул Мишка презрительно, и кончик его носика зашевелился, описывая круги. — Этих я знаю, они тут всегда. У них у всех приличные папочки-мамочки имеются, и, будь спокоен, если они кого и обворовывают, так своих любезных родителей. От вольной жизни, кроме жаргона, где-то нахватанного, у них ничего нет.

— А лихо как пьют-то, — заметил я, — и девчонки у них интересные...

К ним действительно подсели две крали в невероятно коротких юбочках, с прическами необъятной высоты и глазами под китайца — точно девицы из фленбургского порта. Мишка досадливо махнул рукой, и мы занялись воспоминаниями.

— Ты куда думаешь определиться? — спросил Мишка. — Здесь остаешься?

Он задел за большое место. Ведь не все мои бывшие дружки такие, как Мишка, иной из них хуже врага, да и последние не перевелись. И еще здесь на каждом шагу преследуют воспоминания...

— Уеду отсюда. Хочу новой жизни, на новом месте.

Мишка что-то заерзал на стуле, с беспокойством поглядывая на часы, потом виновато сказал:

— Ну, ты прости, мне пора. Ждут меня. — Понятно — жена... Тягнули еще, повздыхали, затем, подав руки друг другу расстались. Вернее, я остался сидеть с недопитой бутылкой коньяку, а Михаил Карапетян ушел домой, к своей семье.

Какое-то хорошее чувство появилось у меня к этому смешному человеку. На столе он забыл сигареты, я закурил. Противно, погасил.

В углу все еще заседала лихая компания, шпарила по «фене», пропивала пот родительский. Тут еще появился деятель один — длинный, костлявый, одет небрежно, в изношенном коричневом костюме. Лет ему сорок, а может, и больше. Лицо — большое, угрюмое — покрыто шрамами, на руках все объясняющие татуировки. Сел за столик рядом, заказал пиво. На меня он не обращал ни малейшего внимания, но с какой-то жадной тоской стал наблюдать за компанией в углу, и вот на его равнодушном лице появилось красноречивое выражение надежды, загорелись глаза. Он, подавшись вперед, остро прислушивался к пьяному гомону за столом в углу.

Однако точно так же, как недавно Мишка, он скоро отвернулся от них, но с каким-то совершенно другим — жалким выражением разочарования на лице, словно его только что подло обманули. Это был не человек — сплошная хандра. Тут он обратился ко мне.

— Курить есть?

Я подал ему сигарету, он закурил, быстро допил свое пиво и, ни разу не взглянув в тот угол, ушел.

Смешно мне что-то стало. Видно, Мишка во многом прав: кое-кто ищет и не находит. Впрочем, кто ищет — тот найдет. Только смотря как выйдет: ищешь одно — найдешь другое...

Я встал из-за стола, направился на перрон. Скоро мой поезд.

И опять дорога. И опять ритмичный стук колес. А впереди — жизнь. Кто знает, может быть, не все еще потеряно...

МОР

**РОМАН О ВОРОВСКОЙ ЖИЗНИ,
РЕЗНЕ И ВОРОВСКОМ ЗАКОНЕ**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Однажды, очень давно, в малолюдном сибирском краю, красивым солнечным утром из деревни вышел молодой человек с собакой.

Окружающая деревню природа, освещенная золотисто-фиолетовыми лучами восходящего солнца очаровывала первобытно-сказочной красотой.

Молодому человеку могло быть от роду лет шестнадцать, он обладал странной варужностью, то есть странным было лицо: слева — коварное, жесткое, с грубыми чертами, искажавшими облик; стоило ему повернуться, оно неузнаваемо менялось, становясь тонким, даже нежным, даже благородным. Собака выглядела... как собака. Низкорослая, с красивой пушистой ярко-желтой шерстью, дворняжка.

Парень и собака направились в сторону кладбища за деревней, — старый крестьянин просил далеко не ходить, чтобы ему потом проще отыскать это место; парень с собакой о чем-то дружески «беседовали», если допустить, что собака разбиралась в шутках, отпускаемых молодым человеком в ее адрес. Собака отвечала доступным ей образом: то и дело подбегала, стремясь лизнуть его руку, держащую моток толстой веревки.

Поляна, куда они вышли, считалась пастбищем просто потому, что иная хозяйка любила тут коротать свободные часы со своей коровушкой, сидеть на поваленном дереве, вязать, любоваться низенькими, редко растущими, живописными сосенками, вдыхая запахи смолы и грибов.

В то раннее утро на поляне никого не было, сентябрьское солнце отражалось алмазным сиянием на мириадах капелек росы, украшавших листья подорожника.

Вызванная великолепием начинающегося дня резвость желтой пушистой собаки не могла скрыть ее старость. Да, действительно, человек был очень молод, собака же очень стара.

Уже далеко отошли они от ветхих деревенских построек —

по ним можно было с легкостью определить, что иным богатством, кроме божественной природы, их жители не обладали.

Окинув коротким взглядом поляну, молодой человек направился к невысокой сосне, раскинувшей длинные крепкие ветви. Собака, старавшаяся то так, то этак достать языком его руку, весело подпрыгивала, не отставала, ей явно нравился начинающийся день.

Когда парень, соорудив на одном конце веревки петлю, стал надевать ее на шею собаке, она, радостно повизгивая, сама торопливо просунула в нее голову. Перекинув один конец веревки через длинную ветку, парень сильно потянул за другой — собака повисла, захрипела. Парень сообразил, что неправильно выбрал позицию: собака оказалась между ним и деревом. Невозможно было привязать конец веревки к стволу иначе, как опустить собаку на землю, а это продлило бы мучения животного. Он решил дождаться конца в том положении, в каком оказался.

Собака хрипела и у нее получалось что-то даже наподобие крика. Она закрутила веревку, обдала парня брызнувшей из нее мочой и тут же опорожнилась. Парень с отвращением плюнул, упомянув при этом черта.

Вскоре собака затихла, как-то очень прямо вытянулась, хвост повис палкой, шерсть как-то еще больше распушилась, солнечные блики весело высветили ее желтую окраску и неестественно красный, высунившийся из оскаленной пасти, фиолетовый язык.

Обойдя застывшее животное, парень привязал конец веревки к стволу. Осталось вернуться в деревню, сказать старику, что дело сделано, что он может теперь пойти за веревкой, заодно и собаку где-нибудь закопать, конечно же сняв с нее шкуру.

Отойдя немного, молодой человек оглянулся на поляну и, быть может, впервые увидел ее удивительную красоту. Ему открылась радость красок от растений, леса, пожухших листьев в солнечной позолоте. Он невольно подумал, что для таких дел, пожалуй, надо выбирать менее красивое место, да и ненастной погоды дожждаться.

Затем он удалился размеренным шагом. В общем-то он был доволен собой: помог бедным старым людям избавиться от лишнего едока.

Глава первая

I

В детстве его звали Валентином. Прозвище Скиталец потом заменило ему имя и фамилию. Если бы в этом огромном Институте промывания мозгов, если бы в этом Университете всех мировых знаний, в котором ему суждено было завершить образование, если бы здесь соответствующие педагогические силы во имя соблюдения местных порядков время от времени и даже регулярно не напоминали ему о них, он наверняка бы запомнил о себе лишь то, что он Скиталец, сокращенно Скит.

Обычно прозвище достается в университетской (тюремной) жизни от однокурсников по тем или иным соображениям. Ему же кличка досталась от собственной матери: уже с раннего детства, когда он еще не ходил в школу, он обожал уходить в мир, пускаться в «плавание» в мировом океане. «Плавал» пока неподалеку. Его разыскивали родители, приводили домой чужие люди, нередко милиция. Оттого мама все чаще стала обращаться к нему: «Где наш скиталец?» — «Чем ты, бродяга, занят?». Очевидно, слово «бродяга» ей не очень нравилось, «скиталец» более благозвучно. И улица эту кличку тоже охотно признала. Так он стал тем, кем являлся по природе своей.

Его самостоятельные вылазки начались, как он сам рассказывал, в 1926 году, когда не стало отца: попал в автомобильную катастрофу. Отца он плохо помнил. Знал, что был он переписчиком нот. Остались мать и две старшие сестры. Кому как, но ему это бабское общество порядком осточертело. Заходил в их дом в Марьиной Роще в те дни старый большевик, друг отца, но искал тут явно не мужское общество.

Мать звали Тоней, работала она буфетчицей в кинотеатре «Труд», что был рядом с Минаевским рынком. От старого большевика польза была: он выхлопотал в столовой завода «Большевик» бесплатное питание для детей.

Скитания юного Валентина не выходили далеко за пределы своего района, который являлся для него, и не только для него, целым миром. Этот район считался своим, как-то особенно

своим для многих других бродяг, и жил своими обычаями, в некотором роде даже в подчинении особых законов.

Когда ему исполнилось восемь лет, его определили в школу. Рассказывая об этом периоде своей жизни, он не распространялся о сопливой девчонке по имени Варя. Наверное, не имело смысла ее описывать, потому что в первом классе все девчонки сопливы — это знают все настоящие ребята.

Конечно, родился Скиталец где-нибудь в другом районе или даже городе и оказался он затем в Марьиной Роще, многое здесь могло бы показаться ему странным, даже жестоким. Теперь же родинскому мальчишке не было удивительно, что жили здесь воры, которые не скрывали своего социального статуса, говорили об этом открыто и даже как бы с такой же гордостью, как передовики производства на заводе «Большевик», чьи портреты выставлялись у ворот на доске почета.

Воры жили в старых деревянных двухэтажных домах, настолько старых, что поговаривали, будто они стоят здесь еще со времен Петра Первого. Во всяком случае Скит пытался было выяснить, был ли при Петре Первом и тот дом, на первом этаже которого жил и он с мамой и сестрами. Никто ему о том сказать не мог. Его товарищ Николай, года на два постарше, объяснил, что кроме Петра Ханадея, взрослого вора, никто этого не знает, что его и надо бы спросить, но Ханадей постоянно в тюрьме или у «хозяина», потому что воры, мол, не должны все время жить в Марьиной Роще, а время от времени находиться у «хозяина». Кто такой этот «хозяин» — в те годы Скит не понимал. И непонятно, почему Петра звали Ханадей. Колька растолковал:

— Хана... Это ты понимаешь? Когда хана, тогда хреново, понимаешь? Так вот, если кто-то не поладит с Петром, ему хана. Он из воров вор. Понял?

Николай в школу не ходил, он много завлекательного рассказывал о своей жизни: как ворует на базарах, как ночует с ворами на кладбище; он мог пользоваться и ночлежным домом, но туда часто заходит милиция, бывали облавы, проверяли документы, у кого же их не оказывалось, тех забирали, несовершеннолетних тоже, выстраивали в строй и приводили в «мелодию», по утрам же развозили по исправительным домам для малолеток, чтобы они обучались там производственным специальностям.

Скит ходил в школу. Здесь ему толковали, что недавно, всего

лишь десятилетие назад, в России совершилась революция, что раньше был царь, а теперь его нет, что раньше были бароны, князья и помещики, а теперь их не стало, что там, где раньше был царь, там теперь товарищ Сталин, а там, где раньше правили помещики, там теперь председатели, только не такие, как в городе, потому что председатели в городе — это одно, а в колхозе — совершенно другое. И объяснили, что раньше правили плохие, тогда везде была несправедливость и не было никакой свободы, а теперь везде свобода, все могут жить и учиться, чтобы не стать такими, какими люди были раньше, чтобы, одним словом, стать другими, новыми, потому что со старыми людьми председателям невозможно наладить хорошую жизнь для всех, а чтобы все-таки наладить, нужны новые люди.

Скиталец рассудил, что лично он не может быть старым, поскольку он не так давно родился. Сам же процесс становления новым его раздражал: вся эта возня с пионерскими галстуками — в Роше прямо-таки стыдно было на улице показаться, с маршами в колоннах... Спрашивается, где же свобода, ведь сказано было, что все могут жить свободно, как хотят, а Скит не хотел быть пионером, он жаждал свободы. Лучше всего жить, как Николай, чей отец тоже был вор, а матери у него не было.

Внешкольные увлечения ограничивались пока чердаками, погребами. Иногда случалось заблудиться в чужие комнаты. Его товарищами были Николай, Хвастун Мишка и Крот. Крот ему не нравился, был задирист и глуповат и другим пацанам он тоже не нравился. Но его терпели, пока не было причины от него отделаться. Сами того не осознавая, ребята старались жить по правилам взрослых воров. Случалось, с ними лазал еще Матюха — долговязый решительный парень, тоже на два-три года старше Скита. Матюха относился к Скиту снисходительно; он уже бывал в деле со взрослыми. Скитальцу и Матюха не нравился: что-то трусоватое угадывалось в характере этого костлявого подростка.

Скит все больше и больше отдавался зову улицы, и Тоня напрасно тратила энергию, чтобы убедить сына учиться. Он, в свою очередь, убеждал ее, что еще немножко и он сможет устроиться даже на завод, одним словом, хочет стать рабочим, а рабочему зачем образование? Клялся, что будет помогать ей, что, может, наконец, если уж ей так хочется, заниматься в

вечерней школе, многие так делают. Поверила ли она ему — не поверила, наверное, хотелось верить.

Скиталец же вырвался, можно считать, на волю. Был он в школе тогда уже в третьем классе, значит было это в 1931 году, когда Враль еще только радовался первому глотку свежего воздуха: родился.

Однажды Скит поинтересовался у друга Николая, были ли воры при Петре Первом?

— Воры были всегда, даже еще раньше. Ты знаешь про Адама? Самый первый человек на земле тоже был вором, — объяснил Николай.

— А Жора-грузин недавно говорил, что Адам был грузином...

— Это неважно, — решил Колька, — нация тут при чем? Пусть грузин, но все равно вор.

— Если Адам был самый первый человек, — сомневался Скит, — у кого же он тогда стибрил?

— Да у Господа Бога и спер. Бог объявил Адаму и его бабе: ничего не трогать в моем саду, а они какой-то плод стибрили и спалились (попались — жарг.)¹.

Однажды шатался Скит по Марьинскому рынку около одной из палаток, где торговали всякого вида одеждой и обувью. Скит накнукал (высмотрел — жарг.) торговку в белом фартуке с корзиной, в ней булочки, пирожки, а в кармане ее фартука он увидел деньги. Скиталец нуждался в них, чтобы быть не хуже Николая, чтобы сделать заявку на свое будущее. Кроме того, у него уже возникали естественные интересы, которые всегда были у каждого вора в те времена: одеться получше, да и поесть что-нибудь вкусенькое.

Торговка, поставив корзину, выбирала себе обувь: подошла еще женщина с мужчиной и отвлекли внимание продавца. Скит этим воспользовался, забрал деньги из кармана торговки и бросился бежать в направлении Лазаревского кладбища. Здесь круглосуточно вращался разный сброд любого возраста, и воры здесь были всех специальностей. Околачивались и те, кто не имел никакого отношения к воровской жизни: пьяницы, голубятники, зеваки, желающие пожить за счет воров, картежники и, конечно же, барьги, ищущие что бы перепродать. Немало скрывалось здесь и побегушников из тюрем.

¹ Здесь и далее — прим. автора

На одной из могил расселись два молодых человека, карманники: Оловянный и Шкет. Скит с ними уже как-то встречался. Обратив внимание на растерявшегося мальчишку, вору окликнули его:

— Эй, мальчик, поди сюда!

Скиталец нерешительно подошел.

— Садись. Откуда ты?

— С Межавого, — ответил осмелевший Скит.

— У тебя что, родных нет?

— Почему же... — Скиталец рассказывает о себе.

— А сейчас где живешь?

Молодые люди, им по двадцать, с интересом разглядывают Скита.

— На Миусском кладбище, — ответил Скит.

— Выпить хочешь?

Скиталец хочет есть, но знает, если вору предлагают, значит, надо соглашаться, он ведь никто в сравнении с ними; они — люди! Ему налили полстакана пшеничной, и он залпом выпил.

— Закусывай! — Оловянный предлагает ветчину.

Воры решают взять мальчишку к себе. Они собираются приодеть его. Захмелевший Скит признается, что у него есть собственные деньги, украденные у торговки, и рассказывает, как было дело. Воры смеются, хвалят, говорят, что ему пора спать: водка сильно разобрала его.

В кладбищенском заборе в сторону Трифионовской улицы был сделан проход, метрах в двадцати от него построен небольшой шалаш из веток, сверху шалаш покрыт толем, внутри застланы старые половики, старые пальто, даже ватное одеяло имеется и подушки. Сюда-то и привели вору Скита.

Проснувшись наутро, солнце уже стояло высоко, но еще ощущалась утренняя свежесть. Птицы неутомимо щебетали, создавая у Скита ощущение сказочности. Рядом спали вору, но когда Скит зашевелился, они проснулись.

— Сейчас махнем на Сухаревку, купим тебе что-нибудь из одежды, — объявил Оловянный, — а сначала в чайную, позавтракаем.

Через проход на Трифионовку, недалеко водокачка, умылись; затем на трамвай и на Палиху в закусочную, заказали яичницу с салом, водки. Официант, увидев с ворами несовершеннолет-

него, не хотел подавать водку, Оловянному с трудом удалось уговорить его. Воры, конечно, и Скиту предложили, но он теперь отказался, организм не принимал. Потом наняли извозчика и поехали на Сухаревский рынок, по дороге договорились, что сегодня работать не будут, а только отдыхать на кладбище, пока деньги есть.

На Сухаревском в палатке приобрели Скиту серый костюм в елочку, из обуви на его ногу подошли только сандалии, в одной из палаток отыскивали кепку.

В подвальном туалете Скит переоделся и показалось, будто он как-то изменился. Старое тряпье оставили в туалете. Сели в трамвай и поехали на Цветной бульвар. Здесь Шкет и Оловянный исчезли в магазине, чтобы запастись пшеничной водкой, ветчиной, банками осетрины в томате, двумя фунтами ситного. Купили газеты, чтобы завернуть продукты, затем опять на трамвай и уже через Марьинский рынок пришли на кладбище, расположились на одной из могил. Не успели воры выпить, подошли двое, карманники: Лиса Блондин и Митя Тарзан. Поздоровались, попросили разрешения сесть. У них с собой свои запасы, примерно такого же ассортимента.

— Откуда малыш? — поинтересовался Тарзан.

— С Рощи, с Межавого, неплохой мальчишка, — объяснил Оловянный, — побегает с нами, кое-чему поучится и будет вором.

Воры выпили, поговорили о делах. Скит в эти дела не вникал, ему просто все интересно — идиллия новой жизни, романтика. А воровская жизнь на кладбище в самом разгаре: на одних могилах выпивают, на других играют в картишки; некоторые воры приходят с добычей, тут же начинается продажа добытых вещей барыгам.

Тарзан с Лисой распроцались, Скитальца же воры повели в шалаш.

— Пусть поспит, а мы с тобой ходим к знакомым, завтра пойдем держать садку (шарить по карманам в транспорте — жарг.) на «букашке» («Б», линия трамвая в Москве — А.Л.).

2

Утро вору проспало. Проснувшись, заторопились. Для храбрости захмелели и поехали держать садку, времени было уже семь, им давно надо быть там... на «производстве».

— Надо хоть пару кошельков схватить, — торопил Оловянный.

На трамвае поехали по Садово-Каретной, здесь вышли, чтобы дождаться «букашку». Народу на остановке — не протолкнуться. Вору подсказали Скиту, чтобы цеплялся, чтобы хоть одна нога стояла на подножке.

— Если не сумеешь сесть, жди следующего. Мы будем ждать у Смоленского рынка.

Подшел трамвай. Толпа понесла Скита к подножке, но встать на нее Скит не смог; на подножке висело множество людей. Цепляясь друг за друга, они стояли на ногах друг друга; Оловянный и Шкет уехали. Оставшись один, Скит раздумывал, как бы отделаться от трамвая, он ему страшно не понравился. Но все же решил дождаться второго и опять не сумел сесть. А что, если податься на Марьянский рынок и украсть там что-нибудь? И он поехал на Марьянский. Шатаясь по базару, увидел, как женщина подходила к палатке, торгующей трикотажем. Улучив момент, Скит вынул у нее кошелек, ощутив, что тот сильно раздут. И бросился наутек к Лазаревскому кладбищу.

Здесь все обыденно. На одной из могил сидели Тарзан и Лиса; пили водку. Эти вору промышляли в продуктовых магазинах, в универсальных тоже, на почте. Увидев запыхавшегося от быстрого бега Скитальца, позвали к себе.

— От кого бежишь? За тобой гонятся?

— Да вот, — Скит показывает кошелек.

— А ну, посмотрим!

Скиталец открыл кошелек: в одном отделении рубли, трешки, пятерки, в другом — две бумажки по три червонца.

— Ну и фатовый ты! — хвалит Тарзан. — А где же Оловянный и Шкет?

Скиталец рассказал, что они ждали его у Смоленского рынка, но он не смог сесть на трамвай и уехал на Марьянский, к тому же трамвай ему не нравится.

— Что ж, твое дело, где хочешь, там и бегай, — рассудили воры.

Когда пришли на кладбище Оловянный и Шкет, все хвалили Скита, что он фартовый.

— Кличка у него есть? — спросил Тарзан. — А то назовите Фартом.

Воры вращаются на кладбище, сталкиваются: знакомые — не знакомые друг с другом, дружившие между собой или нет, при встречах делятся добычей, пьют водку, играют, выясняют отношения, живут только одним им привычным образом, только своим мировоззрением, своей психологией, представляющей остальному миру паразитической, — так угодно другим слоям человеческого образования, другим партиям, грабившим народы по собственному усмотрению, создающим собственные, единственно правильные для них, для каждого мировоззрения, единственно для них правильные идеологии. Вот и разместились на кладбище живые и мертвые, прошлое и настоящее, ибо оно — жизнь; и те воры, которые мертвецки пьяные спят где попало, и которые где-то разругались из-за картежной игры, и те, кто сейчас пьет водку рядом со Скитом, все они в настоящем. Оловянный толкует это настоящее:

— Видишь, фраера каждый день ходят на работу? Это их каторга: рано вставать и вкалывать, чтобы живу быть. У нас своя каторга, тоже начинается рано, а то и ночью приходится...

Вон сидят там на могиле три скокаря: Федя Мопсик, Иван Бутырский, Илья, — констатирует Тарзан, — недавно взяли хорошую хату, много денег прихватили, да и золотишко досталось...

Скит с удивлением смотрел на взрослых воров. К Феде Мопсику кличка пристала из-за носа — вор, способный не только хату взять, но и ювелирный обработать. С ним Иван Бутырский: когда-то с отцом и матерью жил на Бутырках, отсюда и кличка. Сидят взросляки, выпивают, ведут оживленную беседу, базарят, а под ними покойнички — никто никому не мешает.

— Не сходить ли нам в кино? — предложил Оловянный Тарзану, поглядывая искоса на насторожившегося Скита, — в «Гиганте» идет американский боевик с участием Уильяма Харта.

Оловянный явно хотел сделать приятное Скиту. Тарзан согласился. Шкет перебрал водки, так что не поднять. Но дети

до 16-ти на вечерние сеансы без родителей не допускались.

— А мы кто? — вскричал Тарзан. — С нами пройдешь.

В фойе «Гиганта» очкастый сморчок в сопровождении фортепьяно тянул нудную мелодию. Народу битком, стоят-толшатся у входа в зрительный зал, чтобы, как откроют двери, тут же ворваться: места не нумерованы, можно сесть, где хочешь, если успеешь. Наконец, маэстро умолкает, раздается первый звонок... Толпа налегла на дверь — она слегка пружинит, но держится; второй звонок, третий, открывается дверь и пошла давка, орут, визжат, кого-то придавили, матерщина, толпа прет в зал, но не по проходу, а прямо, перепрыгивая через сиденья, они скрипят, трескаются. Потом в проходе на полу можно собирать пуговицы, булавки, пшильки всех сортов.

Начинается картина, заиграли на рояле рядом с экраном, и вот показывают кабачок, в котором сидят и вышивают американские забулдыги, но вот входит ковбой Уильям Харт, заказывает виски, а какой-то забулдыга подходит свести с ним счеты. Уильям нокаутирует его, но из-за столиков поднимаются еще несколько забулдыг, Уильям нокаутирует второго, третьего, однако их много, и он разбивает лампу, свет на экране гаснет — темно и в зрительном зале, тоже все разбухевались, раздаются крики: «Бей их!». Свистят. В кабаке — на экране — наконец зажигается свет, там продолжается потасовка, но Уильям уже ускакал на своем пегом коне...

После кино воры покупают водки и нанимают извозчика. На кладбище едут с шиком, почти как Уильям Харт.

3

На обширном Лазаревском кладбище стояла небольшая церквушка, в которой честный народ приходил вымаливать у Бога прощение за свои грехи. Само же кладбище стало пристанищем и для честных воров, кипело ими. Если случилось, какой-нибудь вор спалился с кражей, стояло лишь добежать до кладбища: потерпевший уже не решался преследовать его дальше. Случалось, угрозыск устраивал на кладбище облавы, но воров вовремя предупреждали их пристяжные шестерки — пьяницы, зеваки, а лазеек в оградах проделано много.

Вернулась наша тройка из кино, а на кладбище жизнь еще в разгаре, хотя и был уже десятый час вечера: всюду слышался воровской жаргон. Прямо у входа расселись майданники, симпатичной внешности люди. Для них снять с майдана (поезда — жарг.) пару углов (чемоданов — жарг.) — пустяк, выдра (пила — жарг.) у них всегда с собой; не постесняются и по городской отвернуть что-нибудь с отводом глаз. На могилах тут и там закуска, тут и там качают воры правешки, а если дело осложняется, то идут на камушки за кладбищем, где собираются воры не только Москвы, но и приезжие; там уж, конечно, все вопросы урегулируются. Несколько человек пьяные отдыхают между могилами, ждут ночи, чтобы пройтись по сонникам.

К Оловянному с Тарзаном подходят воры, отзывают в сторону, о чем-то тихо сообщают... Скиталец о том не узнает, но наверно дело касается какого-нибудь «конфликта». Ведь если конфликт касался судьбы взрослых воров, то малолеткам присутствовать не полагалось. Еще не было сук, еще сравнительно мало встречалось конфликтов, их урегулировали сразу по возникновении.

Воры жили в строгости и даже в общении вор не имел права «послать» и вообще оскорбить вора. Бывали обиды и особой серьезности, когда вор, обидевший другого вора, отваливал в неизвестность. Обиженный обращался к вора, и они решали конфликт в отсутствие виновного и, если того приговаривали к смерти, а приговор должен обязательно исполняться, то привести его в исполнение обязан был сам обиженный. Если же он увиливал, то мог потерять звание вора. Следовательно, ему необходимо было разыскать приговоренного. Бывали случаи, когда такой розыск длился годами, но приговор приводился в исполнение.

Скиталец теперь редко навещал дом матери, чтобы передать какие-либо подарки ей и сестрам. Они понимали, на какую стезю он ступил, подарки из бедности принимали, но мать умоляла расстаться с улицей.

Много воды утекло с тех пор.

Когда он сам захотел избавиться от этой жизни, то убедился, что легко в нее окунуться, выбраться трудно. Несмотря на благоволение к нему воров, он в законе так и не стал. А вот Васягаденьши, сверстник в другом городе на другом конце огромного государства, тот стал...

Глава вторая

I

Скит вращался среди воров на Лазаревском кладбище Москвы, его сверстник Вася также стал общаться с этим народом, даже можно сказать с кастой, но его приближение к ней проходило совсем по другому стандарту.

Василий, которого мама ласково звала «котик ты мой», ходил в пятый класс и считался одним из лучших учеников. Отец котика занимал ответственную должность при райкоме, мама была учительницей. Ему повезло оказаться единственным ребенком в семье, все родительские нежности доставались ему безраздельно. Папа был очень занятой человек, проводил собрания, заседания и произносил речи, сына воспитывал в понимании, что он сам вырос в борьбе с трудностями за лучшую жизнь, справедливую для всех людей на земле.

В доме присутствовал недостаток, чего Вася не мог сказать про других своих школьных товарищей: не у всякого было то, чем располагал Василий. Отсюда он и заключил, что жизненные блага, то есть хорошая жизнь прежде всего достается тем, кто за это лично боролся, как его папа; относительно же «для всех людей на земле; надо было, по-видимому, еще маленько подождать — не всем сразу.

Если юный бродяга Скит заинтересовался жизнью воров, тому не бедность была причиной, хотя всем известно, какое оно свинство, а его любовь к бродяжничеству; что же до воров, так уж случилось, что Роща в те годы была, можно сказать, центром воровской жизни в Москве; во всяком случае воры его к себе не манили, не тянули, но, поскольку он к ним как-то прибился, то и не оттолкнули.

С Васей обстояло иначе: кто-то из воров обратил внимание на вальяжного и умственно развитого пацана. Вора он импонировал и тем, что его отец был видное начальство. Сам же Василий о своей будущей судьбе и не подозревал, она однажды подошла к нему в образе миловидной девочки по имени Ляля. Познакомились в кинотеатре — или Вася случайно

с ней заговорил, или она, может быть... случайно. Васе нравились ее меткие замечания о жизни. Оказалось, что она многое о ней знает, возможно потому, что была старше Васи на два года. От этого она не стала для Васи хуже, она ему очень нравилась. Вечерами, когда Вася аккуратно выполнял домашние задания, они встречались и отправлялись на танцы в парк, где играл духовой оркестр. Да, да, Ляля отлично танцевала и обучала Васю. Они толкались среди взрослых и ему нравились ее вечно взлохмаченные черные волосы. Он ее провожал, но целоваться пока не получалось.

Особенно ему нравилась в ней готовность высмеивать глупость, притворство, ханжество, причем, ее отрицание этих явлений подчеркивало ее несколько большую независимость в поведении, большую свободу, большую непосредственность. Она могла говорить, не краснея, о вещах, которые Вася, пожалуй, вслух не произнес бы, например, о любви уличных... собак.

Ляля не ходила в школу. Она прямо заявила, что девушке это ни к чему, если она красива и не боится остаться старой девой. Предпочитает она все-таки свободу, так что замуж никогда не выйдет. Вася вспомнил, как его отец высмеивал мать, которая в дни их юности тоже объявила, что никогда не выйдет замуж, и мама, смеясь, подтвердила, что да, все молоденькие девушки чаще всего своим зеленым кавалерам заявляют такое, дабы продемонстрировать свою исключительную независимость и недостижимость. Таким образом, Вася не очень реагировал на подобные вольные заявления своей подруги.

У них была или, может быть, выработалась тенденция считать тех притворщиков или ханжей, над которыми они насмеялись, дураками. Но именно она ему и растолковала, что дураки-то они дураки, но, посмотришь, так живут они получше умных... Как же так?! Естественно, попробовали они это явление проанализировать. Так и здесь Ляля проявила недюжинные знания. Она-то и разъяснила Васе, что дураки живут хорошо не потому, что дураки, а потому, что умеют жить по поговорке: «Хочешь жить — умей вертеться». Учитывая, что им было немного лет, дураков они вокруг обнаруживали видимо-невидимо. Ляля заинтересовалась, хорошо ли живет Васе в семье, естественно, чтобы установить, кто его родители — дураки или умные. Вася объяснил, что мама умная, потому и

учительница, преподает естествознание, а папа... солидный работник и воспитывает людей, так что тоже умный.

Ляля не высказывала готовности с этим согласиться. Она спросила, есть ли в доме Васи книги и читал ли он «Милого друга», — автора она не помнила. Но «Милого друга» Вася читал, а книги у папы были только политические: Ленин, Сталин, Маркс; у мамы же учебники о молекулах, растениях. Тогда Ляля объяснила ему свою точку зрения насчет дураков: это такие люди, которые знают только то, что дает им возможность выслужиться, но в целом они о жизни ничего не знают и ничем не интересуются; они лишь стремятся приобрести в обществе значительность и за счет этого обеспечить свое благополучие.

— И заметь, — предсказала Ляля, — если твои предки всех воспитывают, значит, когда ты закончишь школу, они сунут и тебя в педагогический вуз, чтобы ты стал их подобием.

Вася честно признался, что не хочет в педвуз. В его психике образовалась первая, еще незначительная трещина, даже царапинка всего лишь: он сообразил, что его родители действительно не интересуются жизнью вообще, что читают они только... нужную литературу, которая лично ему скучна. Эту царапинку процарапала Ляля, которая, нет-нет да и обнаруживала то одно несоответствие между школьной наукой и жизнью, то другое что-нибудь подмечала тонко и ехидно.

— Бедный потому беден, что честен, — объясняла Ляля, — если он что сделал не так — краснеет. Подлецы не краснеют никогда, бледнеть — бледнеют, но краснеть...

Вася догадался: Ляля — девушка не простая. Она не объясняла, откуда столько знает. Неважно, решил он, но только такая и нужна ему подруга. Скоро стало ясно и другое: ей вовсе нежелательно все время ходить в кино или в парк, топтаться на танцплощадке. У нее, оказывается, существует свой круг друзей. Это открылось ему, когда он уже послушно плавал в ее кильватере. Она дала понять, что не на необитаемом острове жила до сих пор, что ее друзья и ему подойдут — ребята как ребята. Они не будут против, если и он к ним придет.

Эти ее друзья, действительно, люди как люди, разных возрастов. Время проводили интересно: с гитарами, граммофоном, бывало, танцевали. Но присутствовала какая-то тень таинственности... И Вася пришел к убеждению, что без

тайственности жить скучно, когда вокруг только и видишь постоянную заботу о работе, патриотизме, когда по утрам трамваи трещат от напора и тесноты людей, опасаящихся опоздать на работу, за что могли даже и в тюрьму посадить, когда, отпахав неделю, все вдохновенно мчались на субботники, словно на любовное свидание...

Ее друзья не во все свои дела посвящали Васю. Понимал: он новичок. Обиды нет. Ведь к нему все относились хорошо, даже ласково. Причем и секретность... Создавалось впечатление, что его как будто оберегают, словно это мелочи и вне его компетенции, недостойны его внимания. Во всем остальном он среди своих — дружба. И дружба эта с каждым днем крепла. Ему нравились и парни, и более взрослые мужчины. Однако, чем крепче она становилась, тем больше отдалялась от него Ляля.

Принято считать специалистами, будто ворами становятся неуспевающие в школе, ограниченные и ленивые, те, кто от жизни хотят больше, чем стоят сами, у которых зависть к благополучию других создает неудовлетворенность. Но именно такие-то ущербные мозги ворами не нужны. Если воры уже издавна исторически определившееся явление, тогда существует и определившийся воровской интеллект, который, как вообще интеллект, не признает мелочности, ограниченности — глупости, одним словом. Но какое же нормальное общество потерпит дураков?! Если задуматься, дурак не нужен даже дуракам, хотя в среде последних уровень глупости выявить не просто. Так что и воры вовсе не стремились вовлекать в свои ряды недоразвитых, а искали сообразительных и находчивых.

Васе совершенно «случайно» удается иногда подслушать какие-нибудь захватывающие истории о чьих-то приключениях его новых друзей. В этих историях видные, чаще всего руководящие фраера, выступают идиотами, невероятно смешными и подленькими, нечистыми на руку, лицемерами, трусливыми, в то время когда сами рассказчики производят впечатление вполне искренних, даже беспристрастно относящихся к этим фраерам.

Раз случайно, два случайно... Постепенно в нем образовалась уверенность, что ему, тоже случайно, чрезвычайно повезло оказаться в обществе остроумных, свободомыслящих людей, не то заговорщиков, не то членов тайного общества, не считающихся особенно с лживыми законами. Если Скиталец, выро-

сший в Марьиной Роще, знал с детства, что из себя представляли эти «заговорщики» — Вася вырос в хорошей семье.

Когда он иногда в чем-то сомневался или с чем-то не соглашался, — ведь его папа учил людей в райкоме, а мама в школе, — то любой мало-мальски сообразительный вор на трех пальцах растолковывал неопиту несоответствие в их словах о принципиальности с их делами, сравнивая доходы людей с партбилетами с доходами, таковых не имеющими. И где же принципиальность, где те истины, которые ему вдалбливают в школе, в комсомоле, когда у Васи дома папе привозят, а маме достают все то, чего нет у других... «Котик ты мой!»...

Попробуй теперь кто-то из образцовых родителей ему заикнуться: «Мы для вас строим беззаботное будущее»... Чтоб только вы ели, пили и наслаждались? Закостенелые вруны! Обманывают других и самих себя ради новых кастовых привилегий и... «Да здравствует товарищ Сталин!».

2

У Васи любовь. Его жизнь становилась интереснее, необычнее. Это и есть романтика, которую папа и мама не понимали. Он уже знал, что означает «атас», и появился небольшой личный доход. Новые друзья — не лицемеры, рискованные люди, «зарабатывают» недурно, главное, честно, если их сравнить с другими «официальными» ворами. Такое представление ему обеспечили те, кому он был нужен. Девочки тоже — не проститутки, хотя предпочтительны в этой среде гражданские браки; воры «живут» то с одной, то с другой. Предпочтительна свободная любовь, ведь все настоящее — свободно.

Объявились-образовались его постоянные идеологические «консультанты», опытные в житейских вопросах субъекты. Если что-то непонятно, объяснят без учебников. Их бескорыстные уроки базируются на конкретных примерах, взятых из жизни, и это больше, чем в учебнике, в котором формуляция — не жизнь. У воров действительность — факты, а факты — упрямая вещь, способная опровергнуть любую декларативную мораль. Воры к тому же признавали похожие с коммунистическими взаимоотношения: один за всех и наоборот. В то же время

всякий вор являлся одновременно и частником, обложенным налогами, но он по крайней мере звал: им украденное — это его собственность. В таком случае и воровать интереснее. Гораздо хуже было бы, если бы всем украденным имела право распоряжаться община.

Обучение Васи проходило ненавязчиво, никакого принуждения. Его даже на дело не допускали: еще молод, возможно это дело и не для тебя, так что не увлекайся, тебя никто не хочет в это впутывать, закончишь школу, станешь кем-то...

Вася же пришел к тому, что не хочет стать кем-то таким, над кем обыкновенно издеваются его товарищи. Вася уже требовал: «Я же хочу», «Я уже не маленький», «Я же не дурак!». Так что из Васи Котеночка начинал получаться вор. У воров, чтобы их не путали со всякими грабителями и мокрушниками, — так ему разъяснили его наставники Гриша Дубина и Иван Дурак, — имеются свои железные законы похлепче фраерских, и вор в законе (в данном случае вор и его закон представляют одно цельное явление, когда вор отождествляется с законом, а потому и следует эти две составные целые написать с большой буквы), то есть Вор в Законе есть вор идейный. Тоже целое из двух составных: вор и идея. Так что Идейный Вор это тот, кто живет, следуя идее воровского закона. Идейный вор в законе не очень сильно отличается от воров фраерского общества с соответствующими положениями, сующих деньги в свои карманы также посредством эксплуатации фраеров, единственно обирают они фраеров по-разному: воры с положениями делают это цинично и нагло. Похожесть их структур заключена в организации «котла» у тех и у других, который пополняется за счет членских взносов. Правда, «котлом» это называлось только у честных воров, или же общаком, — слово сие не нуждается в расшифровке.

Ваське нравилось утверждаться в мысли, что воры не двуликие, что не боятся риска, не дрожат от страха за свое кресло, как страдающие от излишнего веса руководящие фраера, что нет нужды вору зубрить наизусть «Капитал», не осмысливая его сущности; что вора интересует только тот капитал, который обладает для жизни конкретным значением, а наизусть идейный вор должен знать одну-единственную книгу — криминальный кодекс.

Вася продолжал посещать школу, даже отличался успевае-

мостью. Родители были им довольны, родителям завидовали родители, менее довольные своими детьми: ах, какой у вас парень умница! Он, конечно, стал надолго отлучаться от дома и стал менее открыт, доступен... но он же растет. Даже на комсомольских собраниях иногда присутствовал, чтобышний раз самому убедиться в правдивости Лялькиных умозаключений о том, насколько формален и казенен комсомол.

Вася уже почти заканчивает школу, родители видят в нем будущего, если не педагога, то какого-нибудь ответственного сотрудника (отец), или ученого (мать), а он... все еще не в законе, все еще стажер в воровском деле. И только через год, когда семья решала, куда ему определиться дальше, в какой институт, наконец наставники однажды повели его на сходку.

У фраеров на партсобраниях имеют право присутствовать только члены партии, то же и на воровской сходке присутствуют только воры, но председательствующего здесь нет, в законе все равны, хотя и отличаются по профессиональным признакам и заслуженности, если так можно выразиться.

Старых воров принято считать авторитетными, отношение молодых к ним почтительное, как и положено к заслуженным, что само по себе не значит, будто они обладают какой-нибудь директивной властью, это больше похоже на пенсионерство союзного значения. Весомость слова на сходке принадлежит все же центровым ворам: центральной вор не означает директор продовольственного магазина или Ювелирторга, или председатель исполкома, или начальник райотдела милиции, или центральный нападающий в футболе — центральной есть вор, у которого авторитет в воровской среде приобретает за счет его ума, ловкости, организаторских способностей. Так же, как каждый солдат стремится стать генералом, вор тоже не прочь стать центровым и авторитетным. Это означает быть видной фигурой в своей среде.

Сходки, увы, редко проводят в роскошных залах (это доступно жуликам в мире фраеров), а обычно где-нибудь в подвале, на «маливе» или, бывает, на природе.

Здесь терпеливые Васькины воспитатели, обучавшие его правилам этикета вольного народа, докладывают о своих достижениях: что, мол, Вася и теоретически и практически подготовлен, умеет обращаться с фомкой и знает, в каких случаях как подобает вести себя порядочному вору, за какое нарушение по

неписанному кодексу воровской чести какое следует наказание. Далее перечисляются общие качества кандидата, дается положительная характеристика, подкрепляемая устной рекомендацией воспитателей, что равняется трем письменным при приеме в партию у фраеров.

Путем голосования воры должны решать, созрел ли Вася, чтобы быть ему наказанием для чересчур обеспеченных граждан, не знающих меры в приобретении барахла, стать ли ему нормировщиком чужих карманных денег, напоминаящим гражданам, как вредно и бессовестно рассказывать по карманам излишне большие суммы, в конце концов еще не инфляция... Если большинство голосов «за», вопрос считался решенным и кто-нибудь из авторитетных говорил традиционное в таких случаях напутствие: «Бог тебе навстречу». Это то же самое, что «ни пуха, ни пера» или «камень тебе в мешок». Далее ему желали всех благ: «живи, не тужи, будь честным вором, и легавые (они же «менты» и «мусора») пусть будут с тобой вежливы, а судьи милостивы, и решетки тюремные чтоб попадались потоньше, а доски на нарах помягче, ну, а, если клопы, чтоб исключительно сытые...»

Вася теперь уже не просто Вася, а вор по кличке... А что, у него и кличка уже имеется? Кличку приобретают, как кому выйдет: кому по каким-то приметам (Карзубый, Карнаухий, Нос, Хромой, Шрам), а бывает, что наивный неофит, очутившись впервые в тюрьме, встает у окна и орет в тюремный двор: «Тюрьма! Тюрьма! Дай кликуху!» и ждет, что ответит тюрьма. И если откуда-то ему прокричат, что он баран или дурак, так ему и быть обладателем малоуважительного прозвища. Таким образом, понемногу потом везде по стране узнают жулики о новоявленном молодом воре по кличке... в данном случае Кота Васьки, или просто Котике или Котенке.

Васькины родители оказались перед фактом: что-то случилось с их образованным сыном. Хотя он и не стал обладателем наковки на плече: «Не забуду мать родную». И не потому, что неумно вору отмечать себя особой приметой, а потому еще, что не понимал сути наковки. (Это в глубокую старину юнец, ставший вором в законе, обязан был навсегда покинуть родительский дом, отсюда и происхождение той тоскливой клятвы; уже не стало у воров столь жестокого закона, и Вася до первого суда продолжал обожать кров родителей).

И что же за жизнь стала теперь у Васи — профессионального вора? Нет нужды перечислять, что должен вор. Он во всяком случае, понимал, что под лежащий камень вода не течет, следовательно, надо работать... «Чепи-воруй, пока ходит трамвай»... У воров полный хозрасчет, никто не живет нахлебником среди них. Вор может жить как ему угодно, но только чтобы ему и его товарищам была возможность осуществить основной принцип воровской: приспособливаться в любой обстановке и в любой отрасли, если это не против воровской этики; он должен освоиться всюду, как вошь в белье, как клоп в щели, как блоха в дамской сорочке, в собачьей шерсти, как лягушка в болоте, как мышь в закромах, как бюрократ в коммунистическом хозяйстве. Но чем вору хорошо — его трудовая деятельность не подчинена Госплану, как в судах, банях, общественных туалетах — везде во фряерском мире; у него нет этой абсурдной погоняловки «давай, давай!» сегодня больше, чем вчера. В то же время вору на работе спать, простите меня, совсем невозможно, даже невыгодно, особенно если в ночной смене. А некоторым, например, карманникам, тоже очень рано надо вставать, чтобы шагать в ногу со всем трудящимся народом, — который на работу, который куда-нибудь очередь занимать, чтобы вместе со всеми штурмовать барьеры светлого будущего, чтобы слиться со всеми в единый поток жаждущих чувствовать локоть товарища меж ребер. Работенка, надо признаться, хотя и тихая, но довольно нервная и без перспективы на особую пенсию: редко кому удается дожить.

3

Тишина есть сущность воровства, одно из его основных положений, по которому существуют в жизни и крысы, и мыши и другие некоторые виды биологического мира: чтобы не возникали, не проснулись у жертв инстинкты собственничества, приводящие к настороженности, сопротивлению. Чтобы незаметно стянуть и с наслаждением сожрать в безопасности, необходима тишина. Так, в воровской жизни повелось с того времени, считай, когда где-то в далеком прошлом воры отделились от образа древних своих предшественников, так называе-

мых татьев, став тоньше по характеру деятельности, ибо тать — человек грубый, действующий, конечно, где надо и хитростью, но больше полагающийся на силу, дубинку, топор, отчего и на дыбу попадал чаще.

Необходимо подчеркнуть, что вору в описываемое золотое время были доминирующей уголовной средой и не жаловали грабителей, насильников и убийц. К мошенникам относились снисходительно, считая их специалистами тихого ремесла: вору не любил шума, оттого и грабителей и убийц не любил — из-за шума. А то могут подумать, что исключительно из-за человеколюбия... О, нет, в наивности этих разумных существ винить не стоит. Скажите, пожалуйста, за что уж так любить вору фраеров? Что зарабатывают на жизнь честным трудом? А что им, собственно, остается другого? Каждому свое. Работяга трудится, даже когда не хочет. Вору не любил грабителей и убийц по той причине, что деятельность последних чрезмерно возбуждала общественное мнение. Вору предпочитали тишину, чтобы о них не знали, поэтому-то там, где обитали вору, не было грабителей, за исключением Института промывания мозгов. Вору преследовали грабителей, ибо грабитель для вора — провокатор.

Вору властвовали в уголовной жизни за счет своего закона, организовавшего их вокруг воровского «котла». У всех прочих добродетельных представителей уголовщины такой организованности, а следовательно, и мобилизованности не было, оттого они все вынуждены считаться с ворами и держаться подальше от мест, где они правили. Было известно: где один вор не сила — завтра соберется десяток, а если мало — послезавтра наберется уже больше, или воров, или их «амбалов». Посему там, где проживал хоть один какой-нибудь стоящий вор, там не было даже хулиганов, уж эта пушера понимала, что означает свободу любить... А участковым, то есть «ментам» как хорошо жилось в таких районах — тишь да благодать! Если и случалось какое-нибудь чрезвычайное событие, менты знали к кому обратиться, чтобы дело уладить; и волки были сыты, то есть начальство, и овцы не волновались, то есть вору.

Воровская жизнь протекала по старым, почти патриархальным навыкам, тихо и мирно, и вполне степенно. Почти как в сказках: жили-были уже старые вору, дедушки (которых писатели детективного жанра обожают называть не очень

уважительно — «паханамь»), передавали традиции молодым, объясняли закон, правила поведения и чести. Молодые учились не только той или иной специализации (тут кто во что горазд, специальных курсов не существовало), узнавали истории конфликтов между знаменитыми ворами. Слово «конфликт»... Как ни забавно это выглядит, но слово «конфликт» у воров, которые часто даже не знали его значения (сами они могли разве что как-то расписаться) было у воров в исключительном почете, им обозначались любые мало-мальски взаимные разногласия.

Старые вору сами по себе являлись связующим звеном между уходящим и будущим временем в воровском мире, его живой историей, его справочниками; это именно они, старики, являлись олицетворением воровской культуры; и пусть надменные чванливые представители фраерского общества не сомневаются, она тоже в жизни человеческого рода существовала наряду с другими культурами — воровская. Хотя, может, кто-то скорчит гримасу: тоже мне культура! Но почему не может быть культуры воровской, а каких-нибудь диктатур, сдиравших кожу с живых людей, может?

И по традициям воровской культуры люди жили своей жизнью: ездили в гости друг к другу, давали, конечно, и «гастроли» в городах, куда ездили; собирались на «малинах», слушали пластинки, резались в карты, играли на гитарах, бацали, пели цыганские романсы наряду с песнями на стихи а ля Есенин из тюремного фольклора собственного сочинения; иногда резали друг друга на почве ревности; упражнялись в красноречии и, произнося речи на сходках, не пользовались пиаргалками наподобие государственных деятелей; одевались шикарно в меру собственных представлений о моде: обычно хромовые сапоги в гармошку — излюбленная приважденность воровского гардероба тех времен, — остальная одежда зависела от узкой специализации каждого. Не все вору держались какого-то конкретного профиля, многие работали универсально: ночью — по сонникам, утром и вечером в часы пик на транспорте — карманы, днем — сдача товара барыгам. Спали, когда удавалось, час-другой, так что с их трудоспособностью даже при плановом хозяйствовании можно было опередить не только Америку, а весь этот загнивающий в своих богатках Запад.

Да, конечно, то тут то там в стране возникали или распадала-

лись какие-нибудь группировки воров, которые выработывали для себя и своих жизненных условий особые законы, не желая быть как все, стремясь отличаться, что свойственно роду людскому испокон веков, но тем не менее и они остерегались игнорировать или идти против старых, выработанных в древности, воровских традиций. Какие-нибудь экстравагантные выходы могли навлечь на экспериментаторов иногда праведный суд старых воров, такое могло плохо кончиться. В целом же и паханы к этим отклонениям относились снисходительно, как к чудачеству, и диссидентами молодых воров из-за всевозможных новшеств не считали.

Глава третья

I

Когда Скит уже очутился в системе Университета всех мировых знаний, так сказать на начальных курсах в колонии малолеток, они ему не понравились, он об этом времени выразился этак лирически, даже поэтично: «Заключили меня на север, на холод, голод и слезы. О, сколько было там чудес! Об этом знает лишь темный лес»...

Он был еще совсем молод, но являлся обладателем длинных ног и цепких рук. Сроки за карманный промысел в те годы давали небольшие. Освободился вместе с лагерным другом в Сыктывкаре. У приятеля в лагерном поселке жила знакомая безмужняя женщина с малолетними детьми, переночевали у нее. Скиталец спал на кушетке в кухне, его друг с женщиной и ее детьми в комнате. Скиталец все еще не был близок с женщинами, ему не спалось, прислушивался ко всевозможным звукам, а ночью его разбудил товарищ и велел идти... к ней. Он робел, стеснялся, но, чтобы не быть смешным в глазах товарища, пошел. Так приобрел еще и начальный опыт любви, мог теперь считать себя мужчиной. Единственно не понравилось, когда товарищ потом в вагоне критически отзывался о

некоторых достоинствах той женщины: что жирновата, по-видимому оттого, что работала в пекарне. Скит об этом, увы, ничего не мог рассказать, как ни расспрашивал приятель. Он лишь помнил собственную неловкость, как прислушивался к дыханию спящих тут же детей, и ничего более.

На станции «Тайга» за кружкой пива они расстались. Скиталец направился на вокзал, чтобы поехать домой, но не доехал: тот, кого однажды взяли на учет в Институте промывания мозгов, должен, выбравшись из него, убраться как можно дальше с максимальной скоростью. Короче, он тут же с новым сроком был направлен «доучиваться» в другой регион страны, о котором потом рассказывал примерно столь же лирично: «На пеньки нас ставили, раздевали и колами били, били нас колами...» Вообще-то впечатляюще.

Ему, действительно, приходилось не сладко, но нельзя сказать, что он не был подготовлен к лагерным трудностям: еще в Москве, когда общался с ворами на Марьином кладбище, наслушался рассказов о тюрьме и лагерной жизни, ведь тюремная жизнь является основной темой у людей, чья профессия — воровство. Но если воры в законе пользовались в лагере привилегиями, положенными им по закону, Скиталец, в отличие, скажем, от Васи Котенка, ими пользоваться не мог, потому что не был принят, как Вася, в закон. Эта его мечта не успела осуществиться; таким образом, он считался фраером. Поскольку он znalся на воле с ворами и даже авторитетными, воры считали его приближенным к себе, не обижали, не обделяли воровским куском, когда было возможно. Его можно было считать пока что проходящим кандидатский стаж...

Закончился и второй срок. Обожженный опытом, он, нигде не задерживаясь, превратившись в невидимку, добирался в Москву. Наконец это ему удалось осуществить, хотя на какой-то станции, где вышел из вагона проветриться, его чуть было не забрали заодно с какими-то гавриками, затеявшими на перроне драку. Отделался благодаря проводнику своего вагона, заступившемуся за него.

Все эти годы он мечтал о Марьиной Роце, о встрече с друзьями, но о матери не думал. Слухи доходили, что в доме Скита живет тот дядя, который когда-то обратил внимание на их бедственное положение; не хотелось Скитальцу осваиваться в этой непривычной обстановке, он был свободолюбив, привы-

кший к вольной жизни. А друзья... Марьянские воры... Им хотелось рассказать о многом, например, как ему плохо от того, что с ним в лагере не считались, поскольку он не был принят в закон. Он, конечно, понимал: ничего еще в своей жизни воровского не совершал, только вертелся около воров — не основание для принятия в закон, но он же... сочувствующий, как фраерами принято про некоторых говорить.

Он понимал, что иные его друзья могут уже и в тюрьме оказаться, с этим всегда надо считаться в воровской жизни, но кто-нибудь, может, все же присутствует и кладбище Лазаревское наверняка на месте. Хотя, конечно, надо будет как-то обеспечить тылы, значит, надо считаться с рамками малопривлекательной фраерской цивилизации, с ее регламентом и правилами, как-то: прописка и трудоустройство. Мать вполне искренне клялась достичь в этом вопросе максимального, дойти аж до самого Калинина. Ему и самому тоскливо было в дальних веласковых краях, и он уже имел опыт: могут туда запрячь, даже если ты ничего плохого не сделал, просто потому, что ты уже состоишь на учете, как с ним уже и случилось на станции «Тайга». Он не очень верил в благополучный исход в вопросе прописки, в этом тоже у многих имелся достаточный опыт, тюрьма никогда легко не расстается со своими питомцами, но можно было и надеяться, учитывая, что он еще ничего из себя не представлял в уголовной жизни.

Однажды он направился в нарсуд. Уселся в коридоре на стульчике; чтобы осмотреться, сориентироваться. Дверей в коридоре много, в которую сунуться? То и дело проходили люди, мужчины, женщины, но вот он заметил девушку, выходящую из одной двери — и больше, кроме нее, он ничего вокруг не создал.

Он, конечно, с интересом присматривался к женщинам. Это естественно. Ведь до тюрьмы их не знал, после лишь Анюту, ту женщину в прилагерном поселке. Теперь он с новым интересом стал смотреть на них. Раньше, собственно, и не было никакого интереса, хотя каких только историй, связанных с любовью, ему не приходилось слышать в тюрьме... Он даже не умел предаваться самоудовлетворению, хотя знал, что другие этим занимались: он не умел создавать в воображении моменты любви, способные вызвать извержение, потому что не знал их. Этот же человеческий акт в тесной жаркой комнате, когда

рядом сопели малолетние дети, не дал ему в сущности ничего, кроме самоутверждения — у него уже была женщина.

Он помнил девушек, с которыми воры жили на кладбище, когда его, бывало, просили покинуть шалаш, когда воры, особенно Тарзан-здоровяк, часто таскали их туда. Скит помнил, как доброжелательно они все над ним насмеялись, выпытывая, знает ли он уже, что это такое, не хочется ли ему попробовать с Машкой или с Райкой, а от предлагаемых дам несло водочным духом, если не сказать хуже. Ему никогда не представлялось, какое это ощущение, когда от одного взгляда на девушку захватывает дыхание, как, якобы, бывает, — о том он в книжках читал, рассказывали и другие; у него лично дух никогда не захватывало. Не захватило и теперь, когда эта девушка появилась в коридоре, дыхание оставалось нормальным, но смотрел он на нее, действительно, не отрываясь (в книжках пишут: как замороженный).

Конечно же, и она его заметила, улыбнулась, и красива она была невероятно, на его взгляд, — в темно-коричневом, легком, почти воздушном платье, с каштановыми пушистыми длинными локонами, обрамлявшими ее овальное нежное личико с большими голубыми глазами; она улыбнулась ему, он же застеснялся, но отвернуться не мог, и тут она к нему подошла, чтобы спросить:

— Откуда, друг?

Никогда ему не было так неловко, он растерялся: неужели она сама с ним заговорила?! Заметив его смущение, она просто сказала:

— Я — Варя, твоя школьная подруга.

Даже не верилось: она — Варя?! Эта красавица и та замухрышка... Одно и то же лицо? Кто бы подумал!.. Удивился Скиталец и обрадовался. Он скомкано объяснил, откуда и зачем здесь.

— Тебе в канцелярию, — объяснила Варя; она взяла его за рукав и повела за собой. Оказывается, она здесь работала в качестве секретаря.

Естественно, дальнейшее делопроизводство в суде сильно облегчилось для Скитальца, и он через пару дней получил разрешение на жительство в Москве, но оно оказалось недостаточным для так называемых «органов», осуществляющих режим всеобщего повиновения в городе, и сколько они все ни

бились, органы не шли навстречу Скитальцу. В результате ему ничего не оставалось другого, как петь для друзей на кладбище о том, что «и вот, друзья, как трудно исправляться, когда правительство навстречу не идет; не приходилось им по лагерям скитаться, вот когда побудут, тогда они поймут»...

Это были годы его цветущей юности. Ему исполнилось девятнадцать.

2

Объявился у Скитальца в эти дни новый приятель, который даже кличкой приличной хвастаться не мог, а звали его, представьте, просто Николай. Видно из-за того, что и внешностью обладал весьма заурядной, в ней не было решительно ничего, что бы послужило основанием для какой-нибудь кликухи. Когда у него нос не надкусан, зубы не выбиты, шрамов на «циферблате» никаких — как его прозвать? Только и остается что Колей, как его, собственно, окрестила родная мать. Познакомились на кладбище и в самое время: ни Тарзана, ни других прежних своих друзей Скит не застал, кто сидел, кто просто растворился в безбрежной воровской жизни. Одним словом, Николай — был совершеннейшая обыкновенность, отсюда и получилось, что Скитальцу не оставалось ничего другого, как самому дать ему кличку. И он это сделал — стал звать приятеля Обыкновенный. Кликуха двадцатилетнему бродяге не сразу прижилась, слово Обыкновенный представлялось шпане трудным, она спотыкалась о него, стали это упрощать, говоря, вместо Обыкновенный — Простак, в результате окончательно так и сложилось: Коля Простак.

У Коли Простофили (это уже Скиталец еще более конкретизировал прозвище приятеля) была девушка по имени Тося, тоже из себя не ахти, так что, если Коля — Простак, то девушка его — Проступка. Два сапога... как говорится. Однажды случилось Скиту провожать приятеля, когда тот шел на свидание к Тосе. Встреча была назначена у кинотеатра «Труд». Тося была с Варей.

Варя как-то изменилась с тех пор, когда они встретились в коридоре суда. Она стояла хрупкая, стройная, слегка напудрен-

ная, с подведенными тенью глазами, от которых трудно было оторвать взгляд. Одета во все бежевое. Дина Дурбин! Портрет этой американской актрисы ему доводилось видеть в каком-то журнале, вернее на вырванной странице киножурнала.

Ему показалось, что ее глаза за прошедшие дни приобрели какую-то особенную выразительность, а маленький прямой носик мог принадлежать лишь принцессе. И эта красавица — его школьная подруга! Что сказать? Оробел он окончательно, а тут еще собаки — бессовестные твари! — на виду у всех стали заниматься черт знает чем, причем оба кобели...

Простофиля предложил прогуляться — за билетами в кино стояла большая очередь, в которой никому не было охоты торчать. Затем последовало другое предложение: идти посидеть в ресторане «Север». Варя категорически отказалась:

— Я не привычна к ресторанам...

Тогда Тося пригласила к себе домой. Она проживала недалеко, на 4-м проезде Марьиной Рощи. По пути Простак и Скиталец зашли в гастроном и приобрели все необходимое к столу.

Тося проживала со своей матерью — с тетей Ньюрой, так ее звали в Марьиной Роще. Две небольшие комнаты, маленькая кухонька, старая мебель, в ней главное — круглый стол (его-то и накрыли). Тетя Ньюра, общительная простая женщина, тоже работала в столовой. Все понемногу выпивали, тетя Ньюра поставила пластинку и от патефона неслись романтические, тоскующие песни Лещенко. Выпивала и Варя. Скитальцу нравилось, что она не жеманничала, не отнекивалась. Она всячески старалась не уделять Скиту чересчур много внимания, даже, можно сказать, буквально окружила его безразличием, как и он совершенно не замечал ее: они не замечали друг друга настолько настойчиво, что не заметили, когда легли спать в эту ночь, а легли они, надо сказать, в кровать тети Ньюры, где утром и обнаружил себя Скиталец, проснувшись первым.

Он не знал, должен ли радоваться такому повороту дел, что все так неожиданно вышло. А что, собственно, вышло? Скиталец не знал, было ли что-нибудь, или они просто спали, как невинные агнцы, будучи уморенные водкой и невниманием друг к другу.

3

Им пришлось обитать по чужим углам. В Роще в те времена практиковалось сдавать углы. Наконец, более обстоятельно обосновались в старом деревянном доме где-то в тупике на Полковой. В крохотной комнатухе на втором этаже. С сараем во дворе впридачу. Комнатка служила им как зимняя квартира, сарай же в качестве летней дачи. Они оборудовали сарай внутри: постелили на пол ковровую дорожку, обставили «мебелью» — сундуком, старым шкафом, еще деревянный стол, табуретки, добыли деревянную кровать с лоскутным одеялом, подушки.

У Скита ранее не было домашнего уюта. В тюрьме ему мечталось о любви. Эта мечта само собой была связана с домашним уютом...

Он, она и их жилье. Красивая девушка означала для него одновременно и защищенность от одиночества, в котором он себя интуитивно осознавал всегда с того времени, как себя помнил.

Варя объяснила ему и свое стремление:

— Я давно хотела влюбиться, даже сама не знаю, как давно, но встречалось все не то — то комсомольцы, то блатные, а чтобы нормальный кто-нибудь... Хотелось встретить настоящего.

Скиталец удивился:

— Но ведь и я в некотором смысле как бы из этих... И с чего ты взяла, что я настоящий? Я и сам еще не понимаю, каким мне быть должно.

Но ему льстило, что она считала его настоящим. Еще она требовала слов любви... Они бродили по Роще, ходили вдоль железнодорожного полотна, и она упрекала его:

— Почему ты никогда не говоришь мне: «Я тебя люблю»?

Скиталец не понимал, что она от него хочет.

— Что ты меня любишь? — переспросил он.

— Да нет, — она вспыхнула, — что я тебя люблю, то понятно, но ты не говоришь, что ты меня любишь.

— Кого ж еще? — удивился Скит. — Ведь это как дважды два.

Варя приставала:

— Тогда так и скажи: «Я тебя люблю».

Скит повторил:

— Я тебя люблю.

— Прямо выдавил из себя, — сморщилась Варя, — если бы сама не настаивала, то и не сказал бы.

— Но я же все равно... Просто зачем говорить? — Скиталец недоумевал.

— И впрямь все равно, как одолжение сделал, — она явно над ним насмехалась.

Хотелось ему тогда ей доказать, что нет ничего и никого на свете, кого бы он любил, кем бы дорожил более, чем ею, но промолчал: он действительно не умел болтать о любви. Он считал, что смешно, пошутив, уточнить: «Я пошутил». А она ему бросила, что он просто-напросто не музыкален. Опять непонятно:

— Причем здесь это?

— А притом, что для меня эти слова — музыка. Соображаешь?

В прописке ему отказали, следовательно и работу найти было нелегко; тем не менее он каждый день уходил, якобы искать ее, но ходил воровать. Не жить же ему на ее издвигении, в самом деле.

К Вариной матери он не пошел, Варя отсоветовала, считая, что лучше пусть все сложится так, как угодно судьбе, зачем торопить события? Они всегда были вместе. Скиталец избегал мест сборища воров, промышлял в одиночку. Ему в этом никто не препятствовал. Он был свободен даже больше, чем ему хотелось. В жизнь воровскую его никто не тянул, вору его знали и многих из них знал он, с ним все были приветливы, над его любовью добродушно пошучивали, некоторые даже завидовали ему. Что и говорить, как сама воровская жизнь изменчива, так и любовь: в ней встречи-расставания. Так что хорошей паре, относившейся друг к другу с нежностью и преданно, почему не позавидовать?

4

Миновало с полгода. Варя ходила в суд на работу; Скит искал хоть какую-нибудь работу, но, конечно же, не находил. Он

уверял Варю, что иногда ему удастся найти временную работу, и она делала вид, что верит этому: надо было каким-то образом объяснить происхождение денег, продуктов, которые время от времени он ей приносил. В воровском мире еще царило относительное спокойствие. В те же конфликты, которые так или иначе возникали, он не совался — он был не в законе и не его дело знать, чем заняты профессиональные урки.

Если он мечтал когда-то стать вором в законе, после женитьбы (он лично считал, что женился на Варе, как и она считала себя замужем за ним), он об этом уже не думал. Да и воры не тянули его, им еще не было нужды пополнять ряды, еще не было резни, даже суки не стоили разговора, не было и других мастей.

Варя и Скит переселились из сарая в комнату, когда однажды их посетила ее мама. Собственно, в эту историческую минуту они как раз находились во дворе, сидели на скамье в ярких теплых свитерах, прижавшись друг к другу, и строили планы: о том, как у них все будет, когда, наконец, он пропишется и устроится работать на завод «Борец», где когда-то работал матрос Железняк, и получат свою собственную квартиру, которую, в виде исключения, не обворуют, учитывая задуманные связи Скита со специалистами воровского дела; мечтали о том, как у них родится ребенок и как однажды они будут совершать прогулки втроем. А мама, Мария Евгеньевна, уже стояла позади них и молча наблюдала влюбленных.

Мария Евгеньевна не была знакома с матерью Скита, хотя и знала, что та — буфетчица в кинотеатре. Она даже однажды, после ухода Вари из дома, заходила в этот буфет, но не стала знакомиться с этой угрюмой женщиной — не верила в серьезность увлечения дочери Скитальцем, бродягой, — а тогда чего ради? Где-где, а в Марьиной Роще знали цену воровской любви, воровские «жены» столь нравственно свободны, как и цыганки, хотя у последних преданность мужьям традиционна, даже дело чести. Воровская же жена... За примером далеко ходить не было нужды: в соседнем доме от нее проживала воровская жена. Сама не воровала — нет. Говорили, воры пытались ее натаскать, но... не воровка. А живет с вором. Если это можно назвать жизнью — упаси боже! Конечно, и воры, как и вообще люди, всякие встречаются, но надеяться, что Скит хороший человек...

Мария Евгеньевна не знала, что Скит еще не вор в том смысле, что не «член партии». Она не разбиралась в подробностях воровской жизни, как большинство обычных людей, не вникающих в хитросплетения каких бы то ни было политических коллизий.

Но картина, открывшаяся ее глазам во дворе, где рядышком сидели молодые, защемила ее сердце знакомой болью и мгновенно разбудила воспоминания о времени, ушедшем навсегда.

5

Однажды Скит сел в электричку, чтобы отыскать какое-нибудь место для своей семьи: Варе уже не было смысла скрывать от матери и Тоси свой значительно увеличивающийся живот. Но случилось так, что, прежде чем сесть в электричку, он зашел, или, говоря правильно, закавал в гастроном на Чкаловской, где почти без труда стал обладателем «пузыря». Этого было достаточно, чтобы разбудить в нем инстинкт охотника. Ему уже представлялось, как выкупает (выгаскивает — жарг.) дутого пимеля (толстый кошелек — жарг.).

Взяв пузырь, он направился на перрон Курского вокзала, намереваясь сделать посадку на поезд, следующий до Петушков. Войдя в вагон, выпил содержимое пузыря, затем решил прошвырнуться по вагону. Майдан (поезд — жарг.) уже был на ходу, оставляя позади пригород столицы. Заканав в очередной вагон, он обратил внимание на маму, сидящую рядом с пацаном лет шести. Над ней висел баул.

Женщина выглядела подавленной, словно чем-то опечаленной. Толстый, неприлично упитанный пацан рядом с ней смотрелся отталкивающе, был капризен, что-то от нее требовал противным голосом.

Какая несурaziца, промелькнула мысль, какое несоответствие: у такой симпатичной дамочки этакий отвратительный выродок. Зайдя с тыла, Скит через пару минут спокойно, как свой, снял висевший баул, а еще через несколько минут, стоя на опустевшем перроне, с удовольствием провожал взглядом уходящий майдан. Уединившись недалеко от железнодорожной платформы, он с нетерпеливым любопытством стал изучать

содержимое баула. В нем оказались четыреста рублей с мелочью, кое-какие вещи домашнего обихода и ксивы: паспорт, сберкнижка; еще присутствовала телеграмма, из нее явствовало, что ее муж попал в больницу в городе Владимире, что ему предстоит операция.

Деньги небольшие, но все же... Документы... Скиту представилась эта подавленная женщина и им овладело неприятное чувство: ведь она ехала в больницу к мужу. В паспорте место ее прописки — Реутово. Конечно, содержимое баула не говорило о том, что она едет в больницу. Вдруг подумалось совершенно несвойственное: а не вернуть ли баул? Тут же вспомнил противного пацана с мерзким голосом — да ну их к черту! Обойдутся. Он вернулся на платформу, приближалась электричка в сторону Петушков. Он вошел, сел в конце вагона, повесил баул и задумался. Почему-то на него удручающе действовал побитый вид той женщины. Там беда, а он — в кураже!? И у него самого жена — сказочная красавица... Он сошел в Реутово, отправился поискать эту улицу...

Открыла ему она сама, удивленно уставилась на свой баул, затем вопросительно на Скита.

— Вот, — протянул он баул, — подобрал. Ваш?

— Да, да, господи! — как она обрадовалась. — Да что же вы стоите, проходите, садитесь, я вас угощу чаем.

Противный мальчик на толстых ногах вышел из соседней комнаты, уставился злобным взглядом на Скита, а женщина действительно налила в чашку кипятку, положила заварку, указала на сахарницу, достала печенье.

— Вы пейте, я на минуточку, — и вышла в другую комнату, захватив с собой противного мальчика. Скит неохотно прихлебывал чай.

В другой комнате женщина говорила по телефону с каким-то Федором Абрамовичем. Наверное, иронически подумал Скит, рассказывает о редком проявлении честности, наверное, станет навязывать вознаграждение.

Скоро она вошла в кухню, стала расспрашивать, откуда он сам, где живет, как нашел баул. Затем позвонили в дверь, и, когда она открыла, вошла милиция.

— Вот, — показала она на Скита, — сидит голубчик аферист, сперва украл, теперь принес, чтобы в доверие войти. А что у такого на уме?

Из соседней комнаты вышел противный мальчик, показал на Скита пальчиком и нечленораздельно произнес мерзким голосом:

— Бы-ы-ы!

Вот как все обернулось.

Глава четвертая

I

Дальнейшая жизнь Скитальца превратилась в калейдоскоп событий, перемешались годы, люди и географические названия, пересыльные тюрьмы, телячьи вагоны и колотушки от конвоя три раза в день в пути следования: Владивосток, Заполярье, Охотское море и «чуждая планета Кольма, где двенадцать месяцев зима, остальное — лето». Сопки, дожди с градом, голод, болезни, морозы, пурга, обмороженные ноги и носы. И воспоминания о Марьиной Роше, о кладбище, о жене (Варю он считал своей женой) с их малюткой. Скиталец боролся за свою жизнь с ее необычайными суровостями, валившимися на него каскадами. Он писал и писал Вале, но ответов на свои письма не получал.

Настал 1941 год — началась война. В жизни Скита в этой связи ничто не изменилось, единственно — условия лагерного быта стали еще более жесткими, участились произволы охраны и надзирателей, а лагерные придурки напивались и издевались над «быдлом», то есть работягами. В этом особенно отличался комендант в одной из зон, куда занесла Скитальца судьба. Этот субъект обожал демонстрировать свою силу. Он окружил себя ватагой удалых молодцов-телохранителей, законом для них являлась только его сила, оправдывавшая отсутствие ума. Он безнаказанно терроризировал людей, пока однажды, в дождливую погоду, когда он один, пьяный как всегда, пробирался меж барakov, ему сократили жизнь.

На другой день искали убийц. Таскали на допрос всех, кого

подозревали. И Скита тоже. И особенно его усердно пытали: видать, кто-то на него донес. Так во всяком случае ему намекнули. Скиталец объяснил, что об убийстве коменданта ничего не знает, но ему доказывали, будто его видели в час убийства, кум даже свидетеля выставил, им оказался нарядчик (должностное лицо из заключенных — А.Л.), член банды убитого коменданта.

Скиту везло в картах, он всегда был в кураже, оттого ему и завидовали; одни стремились ему угодить, другие искали повод ограбить. Его допрашивали с помощью куска железной трубы...

Пришел он в сознание весь в холодном поту, и словно ослеп, во всяком случае он не видел окружающих.

— Хватит притворяться! — орала на него и угрожали забить насмерть. Когда человек избит уже до такой степени, что едва жив, в таком состоянии часто теряется чувство страха или расчета, оттого, наверное, Скиталец и прохрипел своим мучителям, что они — подонки, трусливая сволочь, не способная даже убивать. Зря, конечно, он так поступил. Дальнейшего он уже не понимал. Очнулся в карцере в мокрой от собственной крови рубашке.

— Ползи сюда... — звал его кто-то тихо. И он пополз в сторону голоса. Это был еще один подозреваемый в убийстве коменданта, допрошенный ранее. Они вместе теперь рвали свое белье, чтобы скомбинировать из него бинты для перевязки ран. Скоро в карцер бросили еще одного из их бригады, которого допрашивали с помощью куска шпалы, отчего он и подтвердил, что участвовал в убийстве Мордворота... вместе со Скитальцем. Прежде, чем захлопнулась дверь, из коридора им крикнули многообещающе:

— Скоро вернемся.

Иван, которого к ним закинули, очнулся, стал каяться, просить прощения, что не выдержал пыток. Скиталец понимал: пытка — не воля человека, не его сознание. Они все тут купались в собственной крови — не до Ивана было. Каждую ночь их избивали пьяные мучители, стращали, что расстреляют. Так продолжалось семь суток. Без врачей, без перевязок. На восьмые сутки их на носилках по очереди выносили в лазарет. И здесь продолжали допрашивать, но допрашивал уже чекист. Он заинтересовался и о том, кто их таким образом истязал. Они обо всем рассказали, терять было нечего.

Когда они уже могли самостоятельно передвигаться, им отдали одежду, велели собраться и повели на вахту (пристройка у ворот зоны — А.Л.), затем под конвоем погнали в неизвестность. Продолав тридцать километров пешком, очутились на вокзале и стали пассажирами столыпинского вагона (вагон для перевозки арестантов — А.Л.). Попутешествовав по пересылкам, они прибыли наконец в Свердловск, где их гостеприимно приютила тюрьма. А в большом мире всюю шла война.

Тюрьмы и до этого не пустовали, теперь они были переполнены. Кто-то из старых арестантов в этой связи сказал, что так везде, где происходят беспорядки. Тогда в тюрьмах всегда становится тесно, даже бывает необходимость построить новые. Это сказал очень опытный зек, который, вероятно, имел возможность побывать в тюрьмах во всех частях мира.

В последнюю тюрьму в Свердловске Скит прибыл с большим мешком тряпок, которые выигрывал в карты по пути на пересылках. Тряпки обеспечивали ему уважительное отношение окружающих, даже воров, потому что, если у кого-то есть добро, он на столько более ценим бедняка, на сколько у него добра. Скиталец с благодарностью вспоминал марьинских воров, в особенности Оловянного, научившего его премудростям картежной игры.

Он постоянно думал о Варе, писал письма. Доходили слухи, что Москва окружена врагом. Его дальнейший путь лежал через весь Урал — в Казахстан, в лагерь, обслуживавший какой-то военный завод. Контингент и здесь разделялся на «быдло» и «благородных», хотя воров в законе здесь не было. Скит, разумеется, числился в «быдле», несмотря на то, что по-прежнему удачливо выигрывал в карты.

Здесьняя зона даже не считалась тюрьмой для так называемых благородных: местная «знать» — нарядчики, бригадиры, комендант и прочие придурки — имели право жить с заключенными женской зоны, расположенной рядом, куда их (как и женщин оттуда) беспрепятственно пропускала охрана. Можно было и представителям быдла рассчитывать на небольшую долю привилегий, если кто очень старался заслужить расположение «знати».

Скиталец, наверное, мог бы заслужить эту привилегию, поскольку прибыл с большим мешком приличных тряпок. Но он не согласился одаривать ими представителей местной олигар-

хии. Оттого и случилось, что в его бараке однажды обнаружилась кража: у кого-то пропали сапоги. В поздний час Скита вызвал в свой отдельный кабинет в штабном бараке нарядчик. Здесь присутствовало множество жадных лиц. От Скита требовали, чтоб... отдал пропавшие сапоги. Не понять эту игру мог только глупец, потому он предложил им выбрать любую пару из его собственных, но заявил, что не намерен признавать кражу чужих сапог.

И опять повторилось то, с чем он не так давно столкнулся, когда его обвиняли в убийстве Мордворота... Когда на этот раз он пришел в сознание — а ведь был не из слабосильных, — около него сидела миловидная девчонка в хлопчатобумажном сером платье.

— На-ка, браток, попей воды и успокойся, — проговорила она, протягивая ковш, — тебя больше не тронут. Я убедила Бурана, что ты ни при чем. Он мне слово дал. Как видишь, много добра не доведет до добра, — улыбнулась эта красавица.

Скиталец согласился с этим выводом: действительно, не будь у него мешков с тряпками... С другой стороны, он понимал, что добром надо было делиться.

Решив так, он однажды, улучив час, преподнес Бурану, главе местной олигархии, шикарные полуботинки и шерстяной пуловер. Спустя несколько дней, пшырь Бурана намекнул ему, что он совершенно беспрепятственно может пройти в женскую зону, если захочет. А он хотел. Ну кто, находясь на таком положении, откажется идти в женскую зону!.. Только что-то его удерживало, и он не сумел себе это объяснить. Варя?.. Так или иначе, но он даже не подходил к той калитке. Может, гордость?.. Мол, не надо мне ваших привилегий. Вероятно, олигархия его поведение именно этим, гордостью, и объяснила себе.

Его опять пригласили для разговора к нарядчику и спросили вежливо:

— Что ж ты, падла, нос воротишь, когда дают? Или ты лучше всех, сука поганая?!

В конечном счете ему за это «по морде лица» надавали прилично.

Неизвестно, чем и как бы закончились его взаимоотношения со здешней интеллигенцией, если бы военные люди не стали составлять списки добровольцев, готовых защищать родину на

фронте. И Скит записался одним из первых. Скоро собирали спецэтак, погрузили в состав, пришедший из Караганды.

2

Большой состав с усиленным конвоем шел вглубь Узбекистана. Вагоны переполнены. Бывшие заключенные ехали на записку своей родины. Закаленные бойцы, прошедшие всяческие испытания. Здесь и воры, и грабители, и просто хулиганы. Здесь и те, кто на гражданке опаздывали на работу, и те, кто, не пожелав помереть от голода, подбирали на полях колоски, оставшиеся после уборки урожая. Кого здесь только не было! В Алма-Ата вагоны разгрузились.

Жители города с подозрением наблюдали этот странный контингент, преследовавший под конвоем по улицам. Они не догадывались, что то не пиратское нашествие, а шагали добровольцы — будущие красноармейцы. Пройдя весь город, бойцы-рвань-армейцы с множеством татуировок подошли к воротам на сей раз военного лагеря, обнесенного, однако, тоже двумя рядами колючей проволоки: без нее все же нельзя. Они подверглись санобработке, затем им предложили расстаться с личными вещами, рекомендовали отправить родственникам, но не объяснили, как сие осуществить без соответствующей тары и в отсутствие почтового отделения. У Скита еще сохранились какие-то вещи — отдал их старушке-уборщице, та удивилась, с дрожью в голосе поблагодарила и благословила его. На прощание сказала:

— Не лезь вперед, но и последним не будь.

Новобранцев одели в военную форму, чтобы не отличались от других защитников страны. Они стали одинаковыми и с трудом узнавали друг друга.

Скит подружился с двумя зеками. Одного, помоложе, звали Кешей. Этот червявый мальш отличался веселым нравом, поэтому все стали называть его Кеша Веселый. Второго звали Гошей, лет тридцати пяти, всегда молчаливый, его стали звать Гоша Хмурый. Эти двое стали его основными друзьями; взаимоотношения всех со всеми здесь отличались дружелюбием. Ни Веселый, ни Хмурый не распространялись о своем

прошлом, также и Скита не расспрашивали, одно лишь установилось, что Веселый из Калуги, а Хмурый — колхозник. Что ж, решил про себя Скит, оттого, наверное, и хмурый, что колхозник — чему веселиться! Скоро их известили, что стали они бойцами 118-го запасного штрафного полка. И настал час, когда всех заключенных-новобранцев построили по взводам, ротам, батальонам и объявили: отныне они красноармейцы, хотя и штрафники.

— Вы должны искупить свою вину в боях! Кто служил в армии — шаг вперед!

Им определили месяц срока на спешное обучение и ознакомление с оружием. Скит навсегда запомнил сказанное его командиром: «Хотите защитить свою жизнь — научитесь отнимать ее у противника».

Кроме воров и разбойников из русских товарищами ему стали теперь еще казахи и узбеки — бывшие басмачи, которых за их нежелание участвовать в строительстве нового общества считали провинившимися перед родиной — Россией, хотя они имели наглость доказывать, что своей-то родине служили преданно, что, мол, за это и в тюрьме очутились.

С питанием обстояло плохо, но оптимисты уверяли, что станет еще хуже. Узбеки и казахи получали от своих сепаратистов-родственников посылки с продуктами, которые у них «технически» похищали воров. В основном служба проходила на «отлично». Ставили всех в известность о скорой отправке на фронт, но оружие еще не давали.

Новобранцы последовали далее до станции Горбачи на Орловско-Курском направлении, компанию им любезно составила привычная охрана. На этом участке фронта, как им объяснили, командующим был Рокоссовский, а противник, хорошо здесь укрепившись, стоял уже два года. Прибыв на место, едва высадившись из вагонов, они попали под воздушный налет двадцати или более пикирующих бомбардировщиков. Новобранцы, разбежавшись по полям, уцелели, состав сторел. Их собрали, и они предавались на поляне веселому отдыху. Не в духе этого контингента уныние, даже если бы их доставили в преисподнюю. Проходивший офицер, приостановившись, пристально изучил всех, затем подозвал Гошу Хмурого, оказавшегося ближе к нему, и что-то коротко ему объяснил. На сие происшествие большинство веселых новобранцев не обратили

внимание. Надо сказать, настроению здесь в данную минуту помогала держаться на высоком уровне еще и анаша, доступная им благодаря все тем же бывшим басмачам.

Естественно, любопытно было узнать, о чем так доверительно беседовал с Гошей товарищ — теперь уже можно было так обращаться — подполковник. Оказывается, он поручил Гоше подобрать на его усмотрение с десятков сообразительных ребят для выполнения возлагаемых на них особых заданий. Отделение, в котором состояли три веселых зека, согласилось полностью выполнить эти особые задания. Когда они предстали перед полковником, тот, посмеиваясь, объяснил следующее:

— На гражданке (то есть на воле) вы, братцы, «технически» воровали... как у вас принято считать... у народа. Теперь вам также «технически» как можно хитрее необходимо украсть человека. Он не так слабо охраняется, как, скажем, кошелек ротозея. Человек этот — наш общий враг и его нужно доставить живым, по-военному это означает «брать языка». Такова ваша будущая задача, а наша — подготовить вас к этому делу, кое-чему подучить. Будете обучаться у назначенного к вам командира. За хорошо выполненное задание обещаю льготы: кто имеет родственников, поедет в отпуск, кто не имеет — целый месяц отдыхает и пьет спирт. А еще, смотря по сложности операции, будете вознаграждены правительственными наградами.

На следующий день их привезли в назначенную часть, отвели в землянку, выдали оружие, приказали отдыхать. Устраиваясь спать на низеньких нарах из горбылей, они слышали автоматные очереди и поняли, что передний край совсем близко.

Наутро их поднял старшина:

— Ребятки, подъем!

Он проговорил это как-то тихо, по-дружески, тем не менее все проснулись сразу. Старшина, как выяснилось, опытный разведчик из рабочих, русский, здоровой комплектации мужчина, на выгоревшей гимнастерке ряд наград. Познакомился с каждым в отдельности. Его интересовало все: кем был в качестве правонарушителя, в который раз судим, как воровал, то есть какой спецификации держался: домупник, карманник; а еще его интересовало, что такое вор в законе, что такое честняга?

С удивительным знанием дела объяснил старшине Кеша

Веселый, что вор в законе считается лишь в том случае, когда он принят ворами в законе в их касту, а честняга — тот, кто еще ни разу не провинился перед воровским законом, короче тот, кто еще не получил по ушам; последнее определение — «по ушам» — старшине вряд ли что объяснило, но в целом он остался доволен информацией.

— Как ты смотришь на то, что военная форма не является, скажем, реквизитом воровского дела? — улучив момент, тактично задал вопрос Скиталец своему товарищу, Кешке Веселому.

— Воры всякие есть, — ответил Кеша, — но у всех было детство, оно и есть родина, я так понимаю. Воры всякие есть... как и вообще люди. Есть шкурники, а есть люди. Я лично... Понял? Когда Наполеон шел, воры и тогда против него воевали, понял? Воровать — моя работа, воевать с врагом — обязанность, понял?

И Кешка Веселый со смехом — он все делал со смехом, на то и веселый, — предложил затянуться из «козьей ножки».

Старшина начал заниматься с отделением бывших зеков, обучать их навыкам разведки. С этим контингентом он вполне подружился, все тут отлично друг друга понимали. Приказы (они звучали как советы) бывшие разбойничьи выполняли беспрекословно. А примерно недели через полторы старшину вызвали в штаб полка вместе с его отделением. Здесь старшине поручили первое боевое задание, дали ориентиры, где переходить линию фронта, пожелали успехов и благополучного возвращения.

3

В ночь перед выходом на задание Скиталец проснулся и уже не мог заснуть, прислушивался к храпу товарищей. Но там, где лежал Кеша, уловил подозрительную возню... Что же тут такого?! Война не война, а по законам природы человеку надо и есть, и пить, и все другое и ничего с этим не поделаешь.

До сих пор Скит не задумывался о своей смерти. Ему, бывало, угрожали расстрелом или избить насмерть, но эти угрозы звучали абстрактно, словно такое могло произойти с кем-то

другим. Потом Мор (старый, авторитетный вор в законе, учитель — А.Л.) объяснит ему: только молодые не думают о смерти — не зная жизни, они в смерть не верят; поскольку до смерти ближе, они в нее верят и готовы подозревать ее присутствие в возникшем на носу случайном прыжке. Скит не боялся, что может погибнуть в предстоящем задании, другие мысли пришли незванно: Кеша Веселый говорил о родине, как о детстве, но ведь детство Скита — Миусское кладбище в Марьиной Роще, в шалаше среди воров. И родина — что она для него? Ему доверено ее защищать, но наручники с него сняли в последнюю минуту. А что защищать? Марьину Рощу со старыми деревянными домами, полными клопов? О своей матери он думал как о постороннем человеке и к сестрам относился так же. Что для него детство? Воры и кладбище... Хочет ли он совершить подвиг? Если это не очень трудно, если ради этого не требуется лишиться рук и ног, то он готов и на подвиг, ради права зажить законно с Варей, с его Дивой Дурбин, чтобы все было как положено. Вот она, Варя, и представлялась ему родиной, эту свою мысль он облек в законченную формулу: родина только тогда возможна, когда в ней что-то любишь.

Примерно за два часа до рассвета встал старшина, произнес негромко и споконнее, чем обычно:

— Час настал, ребятки, я на вас надеюсь. Теперь все от скорости зависит.

Все встали, словно и не спали, молча приводили себя в порядок, затем, сохраняя тишину, вышли из землянки.

Стояла темная промозглая ночь.

Шли бодро. Подошли к месту перехода, который в темноте, не имея очертаний, Скиту ни о чем не говорил. Место было определено старшиной:

— Это здесь.

Вокруг земля, выброшенная из окопов. Дул сильный ветер, безразличный к жизни и смерти. Сделали небольшой перекур. Укрывшись каждый под собственной плащ-палаткой, три товарища сгруппировались, и Кеша Веселый прошептал, что целоваться на прощанье им не годится, а вот запалить приличный косяк дури (анапа — жарг.) в самый раз; и «козья ножка» вскоре пошла по кругу. Покурив, горе позабыв, все отправились в путь за старшиной.

Пока новички-разведчики в окопе затыгивались анашой, за линией фронта на стороне противника царил выжидательная тишина. Едва же они двинулись вперед, как со стороны противника стали стрелять и через головы бывших зеков прожужжали трассирующие пули, заставляя отделение превратиться в ползущих ужей. Стрельба прекратилась, когда они переползли «нейтралку», о чем Скиталец догадался по поведению старшины: он позволил всем забраться в бомбовую воронку и закурить. Когда они поползли дальше, вдруг учуяли запах дыма. Такой дым мог быть от костра. Передвигаясь осторожно, услышали тихое бормотание голосов где-то впереди. Заметили очертания строения, оттуда и доносились голоса. По знаку старшины осторожно окружили постройку, которая по приближению оказалась всего лишь сараем. По команде старшины ворвались в него и очутились в кухне, где повар со своим помощником уставились на них с открытыми ртами. Лихие разведчики заткнули их весьма несвежими портянками.

Обратно с немецкими поварями добрались вполне благополучно и без задержек, за исключением каких-то пяти-семи минут, понадобившихся Кеше Веселому, чтобы поменяться сапогами со старшим поваром, который, возможно, и возражал против обмена, но, не успев проглотить портянку, он свои протесты проговорил невразумительно. Собственно, и Кешины сапоги еще что-то стоили, но он, видимо, считал, что юфтевые — шикарнее, чем кирзовые. К тому же, им было обещано, что в разведке можно не во всем следовать строго по форме.

В штабе похвалили. Уже знакомый подполковник благодарил их и дал приказ хозяйственнику, чтобы выдал спирт как положено, а отделению до следующего вызова велел отдыхать.

Скиту этот рейдик показался сущим пустяком, — так себе, прогулочка. Это проще, чем украсть кошелек на Минаевском рынке. И это подвиг? И это война? Война, конечно, — стреляли же, и люди погибали, ему уже приходилось видеть трупы как своих, так и немцев. Но страшно ли?.. Э, нет, пытки железной трубой пострашнее, отчего он, собственно, и записался на фронт добровольцем. Здесь, если и убьют, есть надежда, что сразу. А пока они в своей землянке тихонько пели «Темную ночь»... чтобы почувствовать себя как все, ибо песню эту везде пели, а потом они запели «свою», родимую: «Эх, вологодская тюрьма с поворотами труба...»

4

Они жили дружно, питались за «одним столом» и вполне сытно, ведь им полагался спецпаек, они же особые, люди риска, ювелиры войны. Им это льстило. Скиталец даже забыл, что наберется едва с десяток дней, как он на фронте, настолько все стало привычным — и стрельба, и ранение, и вид убитых, и рассказы, средоточием которых, как, впрочем, и в тюрьме, являлись женщины. Скиталец понемногу и от воспоминаний лагерных дел стал освобождаться, их заполняли дела войны. Он с удовольствием ощущал, что, несмотря на всевозможные избиения, он здоров и молод.

Тяжесть войны осознавали везде, даже в тюрьме и, конечно же, на фронте. Но может быть именно здесь, где люди с нею, что называется, ежедневно обнимались, где бессмысленность войны была естественным содержанием быта, именно здесь они к ней относились наиболее терпеливо, и война, как таковая, несмотря на ее шумливость, грохот, казалась Скиту порою просто работой: он ощущал себя этаким разнорабочим, подай-принеси, и работа эта казалась обыкновенной в необыкновенной обстановке. Кого-то несут орущего, стонущего или навек замолкшего, — ну и что! Люди ходят, что-то делают в кровавых бинтах, — ну и что! Общаются не в манере изящной словесности, — ну и что! В лагерях тот же стиль. Штрафники... Но они ничем не отличаются от нештрафников в своей работе, внешне такие же солдаты, у всех общая привилегия — умирать, желательно героически. Вместо загробной жизни в райском блаженстве обещаны исключительно земные вознаграждения за везение остаться в живых — почет и уважение после войны и блага в первую очередь, во всяком случае без очереди; о них станут писать повести и поэмы и будет о чем рассказывать внукам.

На фронтах началась новая жизнь, грохот войны все более перемещался в сторону противника и отодвигался от позиций красноармейцев. По всему фронту шли ожесточенные бои. Скиталец воевал. Кажущееся ощущение прогулочности постепенно миновало, но представление о ней, как о работе, сохранилось и даже возросло. На войне требуется выносливость, трудоспособность. Однажды один из батальонов, входяив-

ших в 13-ю армию, вырвался вперед и очутился в кольце немцев без связи с основными силами армии. Скит получил задание включиться во взвод прорыва к окруженному батальону, чтобы наладить связь. Дали ему подводу, на ней добрались до нужного места, откуда связисты намеревались начать прорыв. Наконец — ур-ра! — прорвались! Дружный рев сотен глоток усталых мужчин, отцов, женихов, братьев, сыновей одних ласковых матерей, убивавшие яростно сыновей, других таких же, ласковых матерей, — прорвались, остались на пути убитые отцы, женихи и братья из другого войска, другой веры, другой идеологии защитники. Как их много — идеологий, во имя которой столько убивают во всем мире! Идеологии обеспечивают благополучие уймы народов на земном шаре, во всяком случае в любом государстве генералы, полковники, майоры и даже лейтенанты существуют за счет идеологии, которые во всевозможных потасовках обязаны обеспечить солдат.

Окопы и траншеи в этой местности оказались проложены на окраине небольшой деревеньки, бойцы готовились сесть перекусить после трудов, обещали раздать спирт, но Скиталец захотел до этого освежиться, ему объяснили, где колодец, — недалеко за деревенским домиком, — туда он и направился. Настроение у него образовалось даже возвышенное, он радовался объединенности с другими солдатами, нечто похожее он испытал только в детстве на кладбище с ворами, какое-то первобытное чувство защищенности, ощущение своей среды, ощущение, которое кто-то определил, что это у него начинало зарождаться мировоззрение. Сняв гимнастерку, он с удовольствием умывался холодной водой. Мимо проехала кухня. И тут раздался оглушительный взрыв.

Небытие Скит уже дважды испытал, и состояние, о котором принято говорить: «пришел в себя». А куда, собственно, он мог прийти еще? В этот раз, когда он «пришел в себя», все было иначе, чем в предыдущий раз, когда, открыв глаза, он видел своих мучителей. Теперь, открыв глаза, он ничего не видел, но слышал, как кто-то произнес:

— Смотрите, еще живой.

Другой голос ответил:

— Такие не умирают. Посмотрите, где у него ранение.

Его спросили, жив ли он. Едва слышно он прошептал, что не знает, что ничего не видно, очень темно

Наконец, его повесли. Вдогонку кто-то кричал:

— Будешь живой! Обязательно напиши.

Он не знал, кому принадлежали эти слова.

Он не видел больше войны, но еще слышал. По мере удаления от фронта, слышал все слабее. Звуки войны постепенно принимали новое содержание, изменился их характер, формулировка, становясь все тише, покойнее, мирнее. Сначала звуки в операционной с голосами людей, малоприятная медицинская терминология, какие-то ощущения от прикосновения к нему, когда обрабатывали голову, но боль не давала возможности вникать в суть времени и пространства.

Миновала вечность, если вечность — измерение безграничное, одновременно и малое и большое, и кто-то около него произнес:

— Пусть хранит их, два осколка.

— Передам, — ответил другой голос.

Когда он в очередной раз пришел в себя, проще говоря, — проснулся, молоденькая медсестра показала ему малюсенькие кусочки металла на его тумбочке и сказала, чтобы взял их на память и хранил, как талисман. Затем пришел врач и заинтересовался, не больно ли его глазам от дневного света, и только теперь Скит осознал, что опять стал видеть. Врач объяснил, что первым самолетом его и одного офицера отправят в тыл. Так и произошло: на носилках его доставили к маленькому самолету, дожидавшемуся на небольшом летном поле, здесь медсестра развлекала раненых, читая им вслух из старого журнала о том, что в капиталистическом мире якобы существует общество милосердия, защищающее бездомных собак и кошек. Вот живут буржуи! Но он, конечно, не поверил, что такое в действительности может быть: тут людям порою приходится хуже, чем собакам, и хотелось бы, чтобы свое, родное общество хотя бы сочувствовало, так нет же, кроме побоев, тебе только помирать позволительно и то не в очень благообразном качестве — штрафника.

С аэродрома, куда самолет приземлился с ранеными, Скита и других на грузовике доставили на станцию Белев, где стоял большой состав для эвакуации раненых. Не скоро этот процесс начался. Кругом стоны, ругательства, успокаивающие голоса сестер. Он обратил внимание на офицеров, проходивших мимо, один из них обернулся к майору, распоряжавшемуся погрузкой:

— Давайте наших вперед.

Скиту вспомнилась декларация политрука о его перспективах, когда он, Скиталец, закончит войну, — грудь в крестах, но вот вместо крестов под подушкой в пакетике с сопровождающими документами у него два металлических осколка, но он... не «наш». И он крикнул удаляющимся офицерам:

— Господа офицеры! — в таком тоне к офицерам, наверное, редко обращались. Они удивленно остановились, повернулись. — Можно вас на минуточку? — позвал Скит.

Офицеры подошли к его носилкам. Он со злобой спросил, почему он меньше «наш», чем другие раненые. У него спросили, с какого участка фронта его доставили и какое у него ранение. Один из офицеров, нагнувшись, вытащил из-под его головы пакет с осколками и медицинским заключением, прочитав, показал осколки другим и, обратившись к майору, распорядился:

— Этого немедленно в офицерский вагон.

Состав направлялся к Москве — судьба Скитальца набирала скорость. В офицерском вагоне он себя не чувствовал уютно, вроде находился не в своей тарелке. Вероятно, это настроение образовалось у него от некоторых попутчиков в купе — двух вполне здоровых, на его взгляд, офицеров. Особенно один вызывал его презрение: необычайно довольный собой фрукт с круглой красной физиономией, сытый, не похожий на тяжело-раненого.

Вначале он всю дорогу стонал, этот красномордый с перевернутой рукой, стонал и... пил водку. Ее ему приносил приятель из другого купе (или палаты); красномордый лежал на верхней полке напротив Скита и Скиту мерзко было наблюдать частые преобразования в его настроении: то стонал, то забывал стонать, а когда выпивал, напевал оперетту. Чем ближе подъезжали к Москве, тем меньше сей раненый стонал, чем дальше от фронта, заключил для себя Скит, тем мужественнее вел себя этот командир. А уже по приближении к городу он, можно сказать, почти выздоровел — вот какова истинно героическая натура, способная на чудеса перед лицом столицы родной. Герой уже примерял свой мундир с капитанскими поговами... Он даже запел, правда, несколько игриво-тоскливо о том, что «вот она, столица моя, где дом мой и красивая жена».

Скиталец, конечно же, стрелял в людей, во всяком случае в

сторону противника, он даже видел, как после его выстрела упал человек. Он стрелял в людей в серой форме вражеской армии, но вражды к этому упавшему не испытывал. Стрелял потому, что так было положено. Однако этого серого солдата вовсе не ненавидел так, как возненавидел теперь красномордого капитана, своего командира, защитника родины — не из штрафников, куда уж там!

Скиталец тоже жаждал повидаться с милой своей женой и никаких орденов или иных наград, кроме этой встречи, ему не надо было за то, что дал продырявить свою башку во имя узаконенного убийства.

Но как ему осуществить эту мечту? Он, первым делом, стал себя проверять, пытался приподниматься, чтобы понять, есть ли у него силы для задуманного, сможет ли устоять на ногах без посторонней помощи. И убедился вскоре, что в одиночку это делать рискованно. Ведь он лежал наверху. Внизу занимали позиции два командира, сильно контуженные, совсем безжизненные: эти двое даже не ели ничего, только просили пить. Скиталец попросил санитаря помочь ему спуститься в туалет.

— Вам не только вставать — шевелиться нельзя, — санитар сунул ему под одеяло утку.

Сколько ни твердил Скит, что надоела ему утка, сколько ни орал-умолял, санитар его не слушал.

В Москве состав поставили где-то на окружной дороге, поговаривали, что будет стоять здесь суток трое, снимут раненых, которых примут московские госпитали, остальных повезут в освобожденный Ленинград; Скиталец уловил из разговоров московских врачей, осматривающих прибывших раненых, что его здесь не оставят, что черепников Москва не принимает из-за нехватки места, и он решил, что должен торопиться.

Улучив момент, он приподнялся — перед глазами темно, искры, зашумело в голове. Отдохнув, стал спускаться, помог проходивший офицер; в проходе опять отдохнул на откидном сидении; набравшись мужества, побрел дальше, держась за стенку; появился санитар — помог добраться до туалета; здесь взглянул в зеркало — и испугался собственному отражению, слабость не позволила освежить лицо. Санитар помог обратно добраться до места.

Валяясь на своей полке, Скит разрабатывал в уме варианты,

как выбраться из поезда: он решил во что бы то ни стало украсть обмундирование «тяжелораненого» капитана, который так рвался к своей сдобной жене; Скит считал, что у него больше прав увидеться со своей единственной любовью, своей Дивной Дурбин. Он не сомневался, что в одиночку будет принят в любом госпитале.

После первой попытки встать, ему захотелось для верности попробовать снова. Когда не было близко санитаров, успешно присел и стал спускаться. Да, он передвигался самостоятельно, но... не ходил, до туалета не дошел. Очнувшись, понял, что лежит на своей полке. Уткнувшись в подушку, он заплакал. Было обидно наблюдать, как эта сука, этот бравый капитан, на его глазах облачился вечером в заветный мундир, побрызгал себя одеколоном и ушел.

Тогда пришла мысль: письмо! Подозвал санитар и продиктовал полстранички о том, что умирает совсем рядом с ней, Варей, от тоски. Санитар обещал тут же отправить письмо. Поезд простоял на окружной дороге даже дольше, чем предполагалось. Затем состав пошел, а на следующие сутки был уже в Ленинграде.

Скит поступил в эвакуационный госпиталь. Его сразу же отвезли в операционную для перевязки, затем определили в «тяжелую» палату. После укола морфия он, наконец-то, крепко заснул.

Глава пятая

1

Судьба Скитальца набирала скорость, но, по его мнению, очень медленно. Его лечили, оперировали. Человек рождается как будто в готовом виде. В течение же его жизни становится очевидным, что готовым он никогда и не станет, за редким исключением, если покидает мир довольным прожитой жизнью, завершивший все, на что был способен. Скиталец требовал от

врачей, чтобы поскорее выписали его, даже не готового. Но ему объяснили, что ждут крупного специалиста, который доведет его до окончательной готовности, так представлялось врачам.

— У тебя же голова пробита, а не задница, — доказывали они, — или для тебя между ними нет разницы?

Шли месяцы. Он писал в Москву, ответов не получал. Ела тоска. Почти год он находился в госпитале. Наконец его сочли окончательно готовым, чтобы отправить обратно на фронт за очередной порцией осколков, хотя бы на сей раз в зад для разнообразия. Возвращаться на фронт ему доверили самому, после положенного отпуска.

Прибыв в Москву, с вокзала в Рончу шел пешком: какое наслаждение идти обратно в детство и в пути предаваться воспоминаниям: здесь на электричке садку держал, а вот у этого магазинчика от Оловянного пропуть (принять от укравшего добычу, чтобы отвести улику — жарг.) получил. Мелькают, припоминаются лица и события и ждешь, вот-вот встретишь кого-нибудь знакомого. А на дворе зима — сорок пятый год.

Никого из знакомых он не встретил, все стало вокруг не так, как было. Окна в домах заклеены, везде всего навалено, впрочем, все же не сравнить с Ленинградом...

Роца мало изменилась. Все те же деревянные двухэтажные дома, утопающие теперь в грязных снежных сугробах. Ноги сами унесли на Полковую, к дому, где они с Варей в сарае предавались любви. Думая о Варе, он почти физически чувствовал тепло ее кожи, в зудящем ожидании его тело рвалось вперед. Вот он — дом! Калитки нет. И забора в сущности не стало, но исчез и сарай! Из окон все еще торчали почерневшие жестяные трубы, похожие на водосточные. Вот куда все подевалось, и забор, и сарай — в трубу улетели. Жильцы дома ничего не знали, не слыхивали ни о Варе, ни об Олечке — тоже словно в трубу улетели.

Он пошел к Вариной маме. Ее дверь упорно не отвечала на его страстный зов. Постучал к соседям и узнал, что она здесь бывает редко, больше ничего сообщить не смогли.

Наконец он направился в собственный дом, но и здесь ему открыли чужие люди, которые знали лишь, что прежние жильцы из его собственной квартиры эвакуировались. Но куда?..

А Тамара Андреевна, пожилая женщина с первого этажа,

которая всегда относилась к Скиту как к родному сыну, то ли съехала, то ли умерла...

«Скажите почему... нас с вами разлучили», — воскресли в памяти знакомые слова из тех дальних дней, когда все они собирались вместе, слушали пластинки, когда только начиналась их любовь с Варей, — «зачем навек ушли вы от меня»... — Он брел к единственному дому, где надеялся что-нибудь узнать — к Тоське, — «ведь знаю я, что вы меня любили, но вы ушли, скажите почему?»...

Открыла сама Тося. Встретила она Скита, как принято говорить, с открытым ртом. Не знала, куда посадить нежданного гостя. Обстановка в ее квартире не изменилась. Но где же Николай Простак?

— Дурака где-нибудь валяет, — осуждающе проговорила Тося скороговоркой. — Я сейчас кое-что соображу, — она подошла к шкафчику, достала полулитровую бутылку с оливковым маслом.

Скит обратил внимание на более чем скромную одежду на ней: ситцевая юбочка, заштопанная белая блузка, на ногах штопаные простые чулки, галоши.

Она надела телогрейку, завязала шерстяной платок.

— Сбегаю до рынка, обменяю масло на вино. Ради такой-то встречи да не выжить!

Он отобрал у нее масло, поставил в шкафчик, вручил ей все свои деньги. Спросил про Варю, но Тося спешила.

— После, бросила на ходу.

Потом она на бегу накрывала на стол, одновременно прибирала в комнате, тут и там что-нибудь убирая, куда-то запихивая и, словно не замечая вопрошающих взглядов гостя, заговорила о матери Скита.

— Тебе подробности рассказали? Хотя, кто их знает-то! — тараторила с деланной легкостью. — Я и сама-то ничего не знаю...

О чем это она? Какие подробности?

— Так ведь, — Тося застыла с фужерами в руках, — ты разве не знаешь?.. Ее ж похоронили и... я думала...

Она рассказала, что знала, предельно кратко.

— Ну, собрались они... это-то я знаю... собирались куда-то эвакуироваться, многие уезжали, думали немец Москву возь-

мет. Потом услышала в Роцце, что буфетчицу с кинотеатра похоронили то ли на Пятницкой, то ли в Кузьминках. Ну что заболела она, что в больницу клали — это-то я знала. После ее мужик куда-то уехал, а сестры... О старшей говорили, будто замужем за военным интендантом. Видела: румяный такой, весь из себя ладный мужик, ничего не скажешь... Ну, выпьем за помин или встречу? — она грустно и с сочувствием поглядывала на него.

А он молчал и вовсе не от потрясения — от неожиданности даже не понимал, чувствует ли горе или раскаяние? Что он должен чувствовать? Он помнил ее не столько как мать — помнил бодрую деловую женщину, работающую в буфете кинотеатра: в белом халате за прилавком, — такой представляла она в памяти, та, которая и назвала первая его бродягой, скитальцем. Ему и самому было интересно констатировать, что, наверное, нужно сейчас испытывать и горе, и раскаяние, и утрызения совести: не был он примерным сыном. Но даже замужество сестры с тыловой крысой вызвало лишь какие-то странные чувства, а смерть матери воспринял спокойно. Острее занимал вопрос о Варе — что с нею?

И уже откладывать было некуда. Тося, разливая вино, решив с этим сразу покончить, сказала прямо:

— Мне тебя жалко, Скит, но ты не должен расстраиваться. Встретишь другую, еще лучше, а у нее другой муж есть. Она с вором живет, с Тарзаном.

2

В те годы преобладали в народе по меньшей мере три романтических направления: одни романтизировали ушедшее время, которому память сохраняла верность, поскольку любое будущее не могло обеспечить того, что они потеряли; другие романтизировали наступившее время, обещающее светлое будущее при социализме, и были готовы разрушить старое до основания, чтобы на его развалинах построить счастливое будущее (должно быть, непросто жить на развалинах, тем более на них что-то строить); третье направление, конечно же, воровское: на развалинах царизма и скверно создаваемом

фундаменте социализма оно достигло выдающегося развития за всю историю своего существования на этих широтах. Можно сказать наверняка, наряду с теми, кто мечтал о партийной карьере, наряду с бравыми комсомольцами, наряду с вчерашними чиновниками, готовившимися перестраиваться в социалисты с расчетом в нужное время обратно перестроиться, наряду со всеми ими властвовала и романтика воров, о которых говорилось открыто с полным признанием де факто, как о каком-нибудь общественном движении типа защиты животных.

Скиталец не мог понять: почему именно такой социальный тип стал избранником Вари? Почему не интеллигент какой-нибудь, адвокат или прокурор, или даже сам судья... всенародный? Ведь она же вращалась в их сфере. И при ее-то внешних данных... А тут — вор! Тарзан! Насколько он ее знал, — а ему представлялось, что он хорошо ее знал, — она не была очень уж романтической натурой, скорее даже практичного склада ума. Так что за причина — практичность?

Скиталец не раз с ним встречался в детстве на Лазаревском кладбище среди других воров, но сейчас не очень четко его представлял, все-таки давно это было. Как его звали? И этого не знает — Тарзан и все. Из-за внешности. Скит тогда о Тарзана Эдгара Берроуза не имел собственных суждений, поскольку не слышал об этой книге. Кличку свою Тарзан приобрел за свой более чем импозантный вид: рост, руки, плечи, шевелюра, грудь... Дело, наверное, именно в груди... Но вор все-таки!.. Уже и тогда считалось, что Тарзан удачливый вор: редко сидел. И почти всегда в кураже. А тут война, голодное время, карточки. А карточки... У воров они имелись в избытке: они крали их у других. А тут Варя с ребенком, от матери толку мало, ее саму поддержать надо было. И опять же Тарзан все-таки: то есть и плечи, и руки, и грудь. Вот и плюсуй все один к одному.

Скит вспомнил, как Варя требовала от него слов любви: они для нее — музыка. А теперь, вопрошал он себя, теперь что же — Тарзан поет ей эту музыку?

Тося поинтересовалась, как он намерен теперь поступить с Олечкой и Варей, заберет ли их к себе или как? И, видя растерянность Скита, вызвалась проводить его «туда»: она знает и улицу и дом.

Но, спрашивается, куда это «к себе» он может их забрать? А

если бы и было куда, зачем ему человек, предавший его, ведь, предав однажды, она способна предать и в другой раз. Но посмотреть на них — он посмотрит, этого себе отказать он не в силах.

С вполне независимым видом он шагал рядом с Тосей. День клонился к вечеру, поздние солнечные лучи предвещали, что скоро они покинут и город, и Марьину Рощу.

Они жили при переезде у железной дороги в таком же деревянном доме, которые преобладали в Роще. При подходе к нему Скит констатировал, что забор наличествовал, не сожгли. Вошли в калитку и увидели девочку годика в четыре, игравшую во дворе. Поверх пальтишка она была укутана в синий шерстяной платок, на ногах черные валеночки с галошами. Тося деланно-нежным голоском подозвала девочку и сказала Скиту:

— Смотри, это и есть твоё изделие.

Скиталец невольно засмеялся. Он не знал, как вести себя, он не знал чувства отцовства, а дочь предстала перед ним так вдруг, в готовом виде; он не видел, как она росла, не слышал никогда ее плача, не знал, чему она смеялась. Тося, показывая девочке на Скита, щебетала ей в ушко:

— Смотри, Олюшка, это твой папа вернулся с войны.

Скиталец подошел к девчужке. Она, нахмутив бровки, молча изучала его. Скит улыбнулся, протянул к ней руки и предложил:

— Давай поцелуемся. Я — твой папка, ты — моя дочурка.

Девочка отступила на несколько шажков. Тося все тем же деланно-медовым голосом спросила, дома ли мама. Ответа не последовало. В это время открылась дверь дома и на крыльцо вышла Варя.

Воцарилось молчание.

Варя, наверное, вышла, чтобы позвать девочку. Она была в одном платье, элегантно облегавшем ее стройную фигуру, на плечи накинут платок, похожий на тот, которым была укутана девочка. Он видел ее глаза — Дина Дурбин. Его Дина... Уже не его, а Тарзана. Интересно, видит ли Тарзан в ней звезду, Дину? Вивовата ли она перед Скитом? Или он перед ней, раз не сумел ничем ей помочь? Сделать ребенка — небольшое искусство, и он же не говорил ей, что не надо рожать, что он не хочет ребенка. Иначе бы другое дело: она сама бы за все отвечала. Давать или не давать жизнь новому человеку, это

обязаны решать двое. А он жил совершенно безответственно по отношению к своей Диве. И все-таки он испытывал тихую злорадность, стоя вот так перед ней в солдатской шивели, с марлевой повязкой, выглядывавшей из-под шапки: воин, жертвовал своей жизнью, не просто так по тюрьмам скитался. Они, конечно, поздоровались друг с другом, настроенно как-то. Тося сказала коротко:

— Вот... Варя...

Варя рассматривала его с головы до ног, а он — герой! Он с фронта! Этот факт словно в чем-то оправдывал и очищал.

— Можно войти в твой дом, Варя? — обратился он к ней, наконец.

Она молча посторонилась, пропуская их в дверь. Конечно, они не знали, здесь ли Тарзан, ведь ни о чем по сути не говорили, а Тарзан присутствовал. Как вошел Скит, не раздеваясь — не предложили — в более чем скромно обставленную квартиру, сразу и встретился с ним глазами.

Тарзан в данную минуту был расположен к гостям, был в очень хорошем настроении, настолько хорошим, что даже не дал себе труда вникнуть в суть вещей — кто они и к чему объявились. Он надеялся, что с помощью этих посетителей удастся продлить хорошее настроение, к тому же Скита он даже не помнил: когда встречались на кладбище, Скиталец был для него шкет, ведь Тарзан старше лет на десять. В двери соседней комнаты показалась мать Вари. Узнав Скита, явно испугалась, даже не здороваясь, ретировалась в свою комнату.

— Здорово! — буркнул Тарзан, изображая на лице нечто отдаленно напоминающее улыбку, он силился заглянуть Скитальцу в глаза. — Варя, ты там... что-нибудь сообрази, а?

И повалился на диван, на котором сидел. Скит понял, здесь, несмотря на все происходящее в мире, несмотря на то, что в Египте есть пирамиды, а в Африке растут бананы, в океанах подводные лодки топят корабли, а на материках люди убивают друг друга, совершенно не считаясь с шестой заповедью, в сухопутных боях, а церковные служители одних убийц благословляют, других призывают бояться Бога, — несмотря на все, в доме, где теперь очутился Скит, существовал свой незыблемый стиль, который тоже состоит в восточных правилах воровской жизни всегда и бесповоротно. Ему стало жаль Варю. Неужели она не понимала, на что обрекла себя, связавшись с Тарзаном?

Хотя, разве сам он, Скит, обещал ей другие перспективы?

Варя держалась отчужденно, украдкой поглядывала на Скита. Растерялась и Тося, только теперь дошло до ее ума, что «взять» их, Варю и девочку, Скитальцу некуда.

Похоже, не сомневался Тарзан, что все тут обустроится для него наилучшим образом и захрапел. Скиталец сообразил: здесь больше делать нечего. Варя, видимо, сочла неудобным свое молчание и спросила Скита о здоровье.

— Лично у меня все хорошо, — с вызовом ответил он, — зашел на минутку на дочь посмотреть, — голос его дрожал, — завтра уезжаю на фронт.

Исподтипка за ним наблюдала маленькая Оля. Она стояла у старого шкафа, закутанная. Скит протянул к ней руки и обрадовался нежному прикосновению ее маленьких ладошек. Он был готов заплакать.

— Пойдем? — повернулся он к Тосе, — мне пора.

Но не успели Скит и Тося подойти к двери, к ним подбежала девочка, вцепилась в полу шинели Скита и заплакала:

— Я с тобой хочу, на флонт, — пищала, плача еще больше.

— Что ж, пойдем, — промолвил Скит, — пойдем к тете Тосе.

— Меня с собой возьмете? — раздался робкий голос Вари.

Скит промолчал. Ответила Тося:

— Конечно, давай и ты...

Варя взглядом старалась получить и согласие Скита, сама же наспех одевалась. С дивана раздавался храп Тарзана. Варина мама так и не показалась.

Посещение Скитом Вариной квартиры продолжалось не более трех минут, но Скитальцу они показались вечностью. Он осознавал, что никогда не переживал ничего более тяжелого. В сравнении с пережитым сейчас избиения и физические боли казались пустяками — так его душа и тело жаждали Варю, но какой-то первобытный инстинкт не позволял отнестись к ней с добротой — древний, пещерный инстинкт, сохранившийся дольше и прочнее в крови бесхитростного, возможно в чем-то более примитивного люда.

Уже ступились сумерки. Скиталец шагал впереди, неся на руках Олечку, которая молча обнимала его ручонками за шею. Варя и Тося, как в добрые старые времена, шли следом, о чем-то тихо переговариваясь. Придя к Тосе, Варя стала раздевать девочку, избегая говорить со Скитом — словно боялась его

вопросов. Но и он чувствовал себя неловко. Тося готовила чай, собирала на стол, что сумела отыскать в своих топких запасах: сыроватый хлеб, капусту, мед, банку свиной тушенки, не объясняя откуда эта роскошь.

Олечка сразу оценила появление на столе меда, и это отвлекло всех от стесненного состояния, дав тему для общего разговора: откуда? Ах, летом в деревне достала от родной тети, ах, какие молодцы эти пчелы — всем жрать нечего, а они мед производят — перебрасывалось в таком духе. Стали пить чай. Тут, ради веселья, Тося и патефон завела, и опять им пел Петр Лещенко, совсем как тогда, когда они только-только познакомились и встречались у Тоськи совсем как тогда пел им Лещенко: «Скажите почему нас с вами разлучили, зачем навек ушли вы от меня»...

Варя, обняв Олечку, беззвучно заплакала, и у Скита в горле образовался комок, особенно когда Лещенко жалобно пропел: «Ведь знаю я, что вы меня любили»... Но и зло нарастало в Ските — то первобытное, пещерное, древнее... Общество за его ошибки детства отвергло его, обзывало отбросом. Когда же это общество, что называется, жареный петух в жопу клюнул, оно и о нем вспомнило: иди, будь любезен, умирать, защищая родину, стань героем; а пока он жертвовал своей отбросовой жизнью, красномордые офицеры гуляют со своими сдобными женами и коты типа Тарзана валяются в постели с его женой.

Теперь что же? Он обязан опять отправиться с уже пробитой башкой туда, чтобы ее снесло как неподражаемо дурацкую?

— Тось, — обратился он к хозяйке, — можешь достать мне гражданские шмотки?

Варя взглянула на него внимательно и с какой-то надеждой. Тося тоже — вся знак вопроса.

— От Николая кое-что осталось. Ты хочешь на гражданке остаться? Здесь что ли?

— Нет, — ответил Скит, — здесь поживать — не моя судьба, здесь Тарзанам да другим крысам лафа. Куда-нибудь поеду.

Глаза Вари обрели недобрый отблеск. Она снова, в который уже раз, начала молча и спешно одевать сонную, разомлевшую от меда и тепла, девочку. Тося немо переглянулась со Скитом: что же будет, что же... ничего и не будет, так и не договоритесь что ли? Скит словно ничего не замечал, молча пил чай. Одев девочку и одевшись сама, Варя, взглянув на Скита, промолвила

насмешливо-ядовито, на красивом лице появилось злорадное выражение:

— Тарзан что!.. Он — третий, до него у меня еще были двое.

И дверь за ними захлопнулась. Тося грустно уселась к столу. Скит же, перевернув пластинку, прислушивался в раздумье к словам Лещенко: «Все что было, все что было, уж давным-давно ушло»... Уплыть-то ушло, но плыть не перестало. Увы, не перестало.

Скит переоделся у Тоси в гражданскую одежду и уехал из Москвы, унося в сердце свою боль и навсегда запомнившиеся мелодии песен Петра Лещенко. Ему пришлось участвовать в довольно свирепом бою на Курском вокзале, чтобы раздобыть хоть какой-нибудь билет в дальневосточном направлении, а хотелось ему добраться до Хабаровска, где проживали товарищи, с которыми сошелся в госпитале. Вместо Хабаровска он сначала очутился опять в больнице, а затем... опять в тюрьме.

3

Скиталец из всех мерзостей в человеческой природе больше всего, ненавидел цинизм. Он ехал в переполненном общем вагоне, с ним, в числе других пассажиров, ехали молодые супруги с двухлетним мальчиком, который подружился со Скитальцем. Они увлеклись беседой, а маленький Вадик остался предоставленным самому себе, и никто не обратил внимание на пробиравшихся по вагону, слегка подвыпивших, четверых молодых людей. Когда они проходили, один из них толкнул Вадика, тот упал и разбил нос. Родители ребенка кинулись к нему. Скиталец заметил парню, толкнувшему Вадика, что, залив до такой степени глаза, нужно передвигаться поосторожнее, ведь ты не Гулливер.

Идущие впереди молодые люди вроде и не слышали это замечание, но двое попросили Скита выйти в тамбур для беседы. Скиталец не струсил, пошел с ними. Один из парней прошел в следующий вагон, другой остался «беседовать» со Скитом: развернулся и ударил в лицо. Скит ответил, нападавший упал. Скит нагнулся помочь подняться и почувствовал удар в спину.

Не поняв смысла случившегося, ощутил, что в грудь со стороны сердца что-то уперлось. Он резко выпрямился и вовремя повернулся, чтобы подставить руку: над ним был занесен кинжал. Затем он упал.

В сознание пришел на пятые сутки после нападения и узнал, что все это время в больнице шла непрерывная борьба за его жизнь. Когда же стало очевидным, что закончилась она победой врачей и пострадавшего, выяснилось неожиданно, что роли каким-то фантастическим образом поменялись: из пострадавшего Скит превратился в обвиняемого, из больницы его перевезли в... КПЗ, предъявили обвинение в нападении на пассажира с целью ограбления, ввиду того, что он является элементом без документов и определенного места жительства.

Документов у него действительно не оказалось — это факт, а куда они подевались, он объяснить не мог; что они у него были, этому не поверили даже врачи, потому что его заявление, будто он фронтовик, будто ранен и лечился в Ленинграде, это заявление моментально потеряло свое значение, едва только работники уголовного розыска получили сведения из своих архивов о его судимостях. Он безрезультатно ссылался на свое ранение, на шрам в голове. Ему насмешливо намекнули, что теперь у него еще одно «фронтовое» ранение прибавилось. Он доказывал несуразность нападения на кого-либо спиной. Ему объясняли, что такое вполне возможно и, действительно, такое встречается даже в мировой политике, когда иное государство, двигаясь задом вперед, захватывает другие государства, уверяя, что ракообразное передвижение есть доказательство исключительного миролюбия.

Скиталец оказался на скамье подсудимых. На суде присутствовала его «жертва», которая в порядке «самозащиты» ранила его, оказывается, простой отверткой; присутствовали свидетели-милиционеры; прокурора не было, его функцию с успехом исполнил адвокат, талантливо подчеркнувший обстоятельства, не оправдывавшие действия Скита. В конечном итоге ему «отвалили» девять лет для выправления мозгов.

Глава шестая

I

Захлопнув дверь Тоськиной квартиры, Варя отправилась домой, таща дочку за руку: в душе хаос. Она подумала о себе, как о пуридановой ослице, — ей нравился Тарзан, но хотелось, чтобы дома ждал Скит. В то же время злорадство сожительствовавало с сожалением, что не удалось помириться. А ведь Варя согласилась сожительствовать с Тарзаном из-за матери — так представлялось ей самой. Интуитивно она понимала, что это с ее стороны лишь попытка оправдаться. Только ведь праг да и то, что Тарзан буквально купил ее с матерью...

Он завалил их продовольственными карточками и носильными вещами, причем хорошими. И они не спрашивали у Тарзана о их происхождении, не спрашивали, потому что всем известно, откуда у воров вещи. Они даже притворялись перед самими собой, что, мол, не подозревают о том, что Тарзан — вор. Марьяна Роцца ворами кишмя кишела и тогда, и раньше, но кто к ворам сами отношения не имели, делали вид, что их не знают. То же самое и те, кто отношение к ним имели. А, в общем, к ворам относились, как к отсутствию топлива, к холоду, к голоду, к заклеенным бумажными лентами окнам, трубам, торчащим из форточек, бездомным собакам, воронам на Миусском кладбище — все суть природы данного этапа истории и вечности.

А жилось Вале трудно, мама не могла ей сколько-нибудь значительно помочь: она работала на мануфактурной фабрике и тащить оттуда было нечего. Варя же за свое секретарство в суде получала триста двадцать рублей, а как на них прожить, когда за ботиночки на толкучке заплатила четыреста.

Тарзан начал за ней ухаживать, держался импозантно. Он не был романтичен, как Скит, но разница показалась Вале чисто внешней, внутреннее состояние Тарзана представлялось Вале глубоко спрятанным. Его внешнею грубость она приписала бездомной, непорядочной жизни, отсутствию нежности, ласки, любви. Она не сомневалась, что все это даст ему и он со

временем преобразится. Верила, что в состоянии сформировать его душу, и, когда это свершится, — это будет их совместное торжество. В таком случае, подумала она, Тарзан... куда более привлекателен, чем худой, угловатый Скиталец.

Мать Варвары сперва защищала семейный статус Скита, напоминала дочери о его отцовстве, выражала обеспокоенность относительно судьбы Олечки; постепенно же и в ее рассуждениях появились мысли, что хозяин урожая все же не тот, кто поле вспахал и посеял семя, а тот, кто поле поливал, урожаем вырастил. Скиталец сунул-вынул и был таков, а здесь в трудное время мужчина помогает обездоленным женщинам.

Когда же с продуктами стало очень трудно, Тарзан отдал Варе немало довольно дорогих вещей, чтобы она уговорила мать съездить с ними в деревню и обменять на продукты. Все так делали. Но маме невозможно было отлучиться с фабрики, в деревню съездила сама Варя, в суде ее подменила другая девочка. Олечку оставили под присмотром соседки. Варя привезла продукты и всех, кто ей помог, тем или другим одарила. Таким манером незаметно для самой себя она воплывилась в образ жизни Тарзана. Ее удивляло, как он ухитрился не работать в такое время, когда других за прогул или опоздание на работу сажали в тюрьму. Тарзан лишь смеялся:

— В стране дураков можно жить чудесно, если сам не дурак.

Он сказал, пусть ее не беспокоят его дела, так ей будет проще жить.

Недаром Тарзана давно считали удачливым вором, это и теперь подтвердилось: он все умел достать, даже и водку; хотя всем известно, что бутылка водки на базаре стоила пятьсот рублей. Собственно, кроме водки, самого Тарзана мало что интересовало.

Варе надо бы радоваться, что с помощью Тарзана всем им не приходилось довольствоваться картофельными очистками, отрубями, жмыхом и другими столь же калорийными продуктами. Все бы ничего, только Олечка не очень благоволила Тарзану и все попытки Вари заставить ее обратиться к нему со словом «папа» не достигали успеха. Если же давление на девочку становилось непосильным, она это слово проговаривала с таким выражением, что вместо «папа» получалось «бяка». Впрочем, и Тарзан не высказывал большого расположения девочке. Его попытки иногда поиграть с ней или ласкаться получались более,

чем убогими. Но как мужчина Тарзан волновал Варю, и ночью, как правило, она прощала ему все то, что вызывало в ней протест днем.

Однажды он объявил ей, что комнатуха, где Варя была счастлива со Скитом, тесна для них, что он нашел приличную хаверу из двух комнат и кухни. И вскоре туда перебрались. Мебель, старую рухлядь, перевозить не было нужды. В новой квартире они стали пользоваться всем тем, что в ней было расставлено, такой же рухлядью, но все необходимое для жизни здесь было.

2

Когда Варя с Олечкой подошли к двери квартиры, Варя поняла — Тарзан дома и пьян: в нос ударила густая вонь табачного дыма. Что он пьет она, конечно, знала, — какой мужчина в Роже не пил... да еще в такое время. Пьянство на Руси явление настолько распространенное, что как бы общенародное и, как таковое, естественное. Тарзан, когда был пьян, не лез драться, но становился грубым. Обычно, напившись, он валялся на своем любимом диване в одежде.

Стараясь не шуметь, они осторожно миновали храпевшего Тарзана, вошли в спальню. Уложив Олечку спать, она вернулась к валявшемуся на диване Тарзану. Настроение... Впору было и самой напиться. Она уселась на стуле и, свесив обессиленные руки, смотрела на храпевшего мужа. Да, да, на... мужа. Она ловила себя на мысли: факт регистрации их брака был с ее стороны преждевременным.

Она сама не решилась бы на это, и Тарзан... На что ему это?! Настояла мама: «Чтобы было как положено, по закону...» Тарзан расписываться не хотел, но хотел Варю — расписались. Его нетрудно было уломать тем аргументом, что процедура регистрации максимально проста. Расписались тайком. Тарзан не хотел, чтобы кто-нибудь из воров узнал об этом: жить вору с бабой сам Бог велел, но расписываться... не считалось предосудительным, но... Одним словом их свадьба не отличалась от выдачи продовольственных карточек, которые в Москве

Тарзану и не полагались, потому что прописан он был в Егорьевском где-то на «хате».

Уедет ли Скит, подумалось ей, или это была только похвальба, как и с ее стороны декларация ее бесконечных связей?

Связавшись с Тарзаном, они с Олечкой оказались в самой гуще воровской жизни. Их дом, двухэтажный, деревянный, постоянно навещали вору. Постепенно она к этому привыкла, в душе теплилась подсознательная надежда, что так будет не всегда. Соседи знали молодую женщину с ребенком, относились к ней приветливо, но в их личную жизнь не совались. Варя могла то у одной, то у другой соседки оставлять Олечку, и это было удобно.

Что знала она про Тарзана? Собственно, ничего. И это незнание стало роковым для нее. Тарзан был вор и даже потомственный: его дед и отец были ворами. Мать он не помнил, но она не была воровкой, это ясно, скорее такая же, как Варя. Вору жить с фраершей по воровскому закону не воспрещается. Но, если какая-то баба стала женой, даже не расписанной, — развод только по разумению вора. С моралью у воров было строго. Если, к примеру, жила воровка с вором, но его посадили, и этим обстоятельством задумал воспользоваться другой вор, державший глаз на его бабу, — дело доходило до разбирательства. Вор не имел права сойтись с бабой другого вора на время его отсидки: человек рикпу тявет (можно толковать как «бедствует» — А.Л.), а ему рога наставляють! Так то с воровкой! А фраерша, как Варя?.. Глухо! Она — собственность вора, как в гареме султана.

Что она сошлась с Тарзаном, тому уже не одни перечисленные мотивы послужили, была еще одна очень серьезная причина: Варю преследовал Крот. И этого субъекта нельзя было сравнить с великолепным Тарзаном: у Крота нескладная долговязая фигура, лицо жестокое с малосенькими, всегда полузакрытыми красными глазками, отчего и создавалось впечатление полного их отсутствия. Этот вор, которого знали как жестокого человека, стал домогаться ее повсюду. Нельзя было даже в парикмахерскую сбегать без опаски встретить Крота на своем пути. А он беспардонно, с ухмылочкой, всегда вещал:

— Бесплезно, крошка, от меня бегать, все равно однажды подловлю.

Крот не отстал от нее, даже узнав, что она стала жить с Тарзаном, но дистанцию соблюдать ему все же приходилось, ибо воровской закон — не те законы, которые Варя наблюдала в суде, где все еще секретарствовала (этот факт особенно нравился Тарзану: «моя баба... судья», — с высокомерной иронией рассказывал он обычно вора́м, и было им смешно от этого).

В суде часто ее симпатии были на стороне подсудимых, в том числе воров, привлекавших своим независимым поведением, не боязнью тюрьмы, к которой относились, как к родному дому. Она видела, как часто приговоры были predetermined заранее, как всех покупали, давали взятки, даже судьям. Видела и понимала: правосудие — беззаконие. Она охотно поверила, что закон воровской — неподкупен.

3

В три часа ночи их разбудили настойчивыми ударами в дверь. Тарзан, успевший уже проспаться, открыл и выпустил вора по кличке Иван Бандит.

— Налей выпить, мне очень нужно! — проорал тот, когда Тарзан спросил, какого черта он вломился в такую рань. Что и сказать, несведущему может показаться, что манера обращения не отличается изысканностью. Но она в духе господствующего в этих кругах этикета. — Выпить есть? — потребовал Бандит еще раз. — Дай сначала выпить, потом скажу.

Ленинградский вор Иван Бандит немало натерпелся насмешек за свою свирепую рожу, хотя, как известно, вор бандитом по своему партийному признаку быть не может.

— Что стряслось? — Тарзан явно струхнул. Правда, вору всегда есть основание ждать какой-нибудь подлянки от судьбы, такова специфика его жизни. Тарзан налил стакан Бандиту и тот, как говорится, ухнул его.

— Случилась дрянь! — выдохнул Бандит. — Налей еще.

Хорошо, что у Тарзана осталось с вечера горячее на похмелье. Бандит опять выдул стакан и начал приходить в себя.

— Знаешь, Макса убили.

Макс-вор, карманник, был душой воровской братии, сын известного музыканта Максакова, аккомпанировавший певице Лидии Руслановой, он и сам играл на аккордеоне, развлекал воров на малинах.

— В Грохольском переулке. Я с ним шел, — объяснял Бандит, — с Максом. Нам встретились Чича и Фунт, стали звать, мол, дело есть. Зашли в разрушенный дом и вот пристали к Максусу. «Ты, говорят, в Питере был?» Макс: «Был, а в чем дело?» — «А ты? — это они мне, — тоже питерский?» — Говорю: «Да, но в чем дело?» Слышу, говорят между собой, что надо, мол, обоих убраться, а то, если одного Макса, — Иван, то есть я, их заложит. А нам: «Встаньте к стенке». — Кричу им: «За что?!» Они кричат: «Становись!» (Не надо думать, что они в этом разрушенном доме так прямо и кричали, слово «кричать» употребляется у достойных воров еще как «говорю», если даже разговор ведется шепотом). — Кричу им, — продолжает Бандит: «Я ничего не знаю». А они кричат: «Становись, падло». Стали к стенке, они кричат: «Спиной к нам давай!» У них натурально пугач (револьвер — жарг.). Слышу, вроде осечка. Кричу: «Вы шутите, или в самом деле?» Макс поворачивается и — на колени: «Братцы, скажите причину». А ему как бабахнули в голову из пугача. Макс упал, а Чича с Фунтом шарахнулись оттуда. За ними и я.

Варя слышала, что пришел Бандит, но не прислушивалась к их разговору. Ей давно внушили, что дела воровские должны касаться ее постольку-поскольку: замечать, чтобы соседи не проявляли излишнего любопытства, — а они не проявляли. В Роце обыватель относился к ворам всех сортов, как относятся прохожие к черным котам: говорят, лучше если черный кот не перейдет дорогу перед носом, но жить он имеет такое же право, как серый.

В жилье Тарзана и Вари воровы ходили постоянно, по одному и табунами. Варя привыкла к ним, к их пьянкам, картежной игре. Она радовалась существованию Олечки: девочка давала ей право восстать иногда, когда воровам, случалось, слишком расшуметься.

4

Три дня собирали воры сходку из-за Макса, которого любили за веселый нрав, талант музыканта, а следов за ним никаких не знали. Сначала собирались в ресторане «Спорт» у Белорусского вокзала. Здесь воры чувствовали себя по-домашнему, несмотря на присутствие фараонов и прочего мусора, официанты просто обожали обслуживать блатных, зная их пренебрежение к деньгам. Что же до оперативников, они вообще-то не задевали воров без особой нужды: они бы не справились со своими обязанностями без дружеского контакта с ворами. Объяснить это явление доступно: воры в некотором роде обеспечивали порядок в городе. Скажем так: участковому было бы туго, не проживай на его участке какой-нибудь стоящий вор в законе. Где водились воры — там тишь да гладь, то что надо участковому. То же самое и оперы всегда знали, что в случае чего можно обратиться к авторитетным ворами: когда украли что-нибудь такое, что, кровь из носа, а найти надо, дабы начальство не лишило премиальных. Таким образом, благодаря дисциплине и почитанию ворами своего закона, в обществе существовал относительный мир. Потому и чувствовали воры себя в «Спорте» спокойно и разбирали в приятной атмосфере свои дела, хотя надо, конечно, отметить, что ресторан в такое время и не ресторан, а недоразумение.

На сходку должен был явиться и Чича — пригласили же, — но он оторвался. Фунт на сходку пришел, а может его привели... И рассказал о случившемся иначе, чем Иван Бандит.

Из показаний Фунта воры установили, что Чича и Фунт ездили в Питер искать именно Ивана Бандита, который и закладывал воров, а Макс... Он, оказывается, дело по замачиванию Бандита взял на себя: дескать, я его замочу. И вот совершенно случайно Макс и Костя Барин ночью встретили в Москве на Каланчевке Чичу и Фунта и видят, что ведут они какого-то парня мордатого во двор разрушенного дома, подбегают к ним, и Макс говорит, что изловили того, кто своих закладывает, — Бандита, и велят тому становиться на колени:

— Ты закладываешь людей, за это тебя приговорили к смерти.

Бандит не хотел вставать на колени, снял шапку и принялся

божиться, что «курва буду, если хоть одну безвинную воровскую душу подлым мусорам заложил», что «век мне свободы не видать», что, мол, «член мне в рот» и все в таком духе. Но в это время Чича стреляет... в Макса. Все, конечно, растерялись, и Бандит, воспользовавшись моментом, удрал.

Тут бы промолчать Тарзану, что в ту ночь Бандит был у него и пил с ним водку, но он рассказал. Затем разбирательство пошло уже по другому направлению.

— Значит ты этого предателя еще и поил? — возмутились воры.

Теперь Тарзан принялся божиться, что «блядь буду», если бы звал про дело Бандита... Ведь этот гад, бандитская морда, рассказал ему про убийство Макса совсем по-другому.

Воры нашли, что вопрос нуждается в дополнительном разборе и назначили следующую сходку на Миусском кладбище у пруда.

Утром многие воры пришли в Тушик к Тарзану, немного выпили, говорили про Макса, жалели о нем. Он всегда играл им на аккордеоне и в ресторанах развлекал до утра, а потом провожал воров с музыкой по хатам. Конечно, на сходке и Тарзану предъявят претензии, но все-таки в Макса стрелял Чича, а этот субъект и на этот раз на сходку не пришел. Все-таки у гражданского суда есть хоть то преимущество — не явившемуся в суд можно послать повестку, доставить с милицией. Тут же... Когда еще поймают Чичу (Чичу задушили позже в тюрьме — А.Л.)?

Вечером вор, по кличке Солдат, известил Тарзана, что сбор на кладбище, будут разбирать конфликт воров Тюхи и Фофана. Придут Хлестак и другие. Вопрос Макса пока оставили.

Собрались у пруда, здесь уселись на опрокинутые могильные памятники. И говорит тут Фофан дело: Тюха, мол, его от презента оттолкнул, надо «эту суку» смолкнуть. Тюха, было, залаял в адрес Фофана, но его притормозили: не дело лаять при разборе, на гражданском суде и то не лают (ругаются — жарг.). Спросят, тогда и ответишь, такой порядок: сначала обвинение, затем оправдание или приговор. Спросили и Тюху, виноват ли?

— В толпе — когда полно людки (народу — жарг.), — отвечает Тюха, — не смотришь на Фофана, а смотришь на фраера. Я не помню, чтобы толкнул Фофана.

Дело, в сущности, было пустяковое: Тюха и Фофан —

карманники, держали Ржевский вокзал, куда ровно в шесть утра приходил майдан из Риги. Пассажиры, конечно, прут сразу в город на трамвае, а Тюха с Фофаном тут-то и работали. И случилось так, что Фофан надьбал (увидел — жарг.) выкуп, собрался его брать, подыскивал удобный подход. Тюха же в это время оттолкнул его и сам забрал выкуп, причем, как выяснилось, хорошего шмеля — в нем тысячи четыре-пять. Фофан Тюхе:

— Ты что меня толкнул от моего презента?

Тюха вежливо ответил:

— А пошел ты на хрен персидского царя!

Почему-то среди воров было принято считать, что у персидского царя большой... запас хрена.

Воры слушают и ждут, что скажет Хлестак. Из всех здесь присутствующих воров лишь он один еще не имел никаких конфликтов, потому как-то само собой признается его право репающего голоса. «Дура» лежит тут же на опрокинутом кресте. Хлестак подходит к кресту, берет «дуру» и бросает далеко в пруд.

— Из-за пустяка воры друг друга не убивают — глупо! Мало ли фраеров с их кошельками? Разливайте водку.

Про Макса отложили: не все участники конфликта оказались на сходке.

Хозяин «дуры», конечно, обижен. Хлестак его успокоил:

— Этого железа теперь навалом, офицеры их отвалит за жратву любого калибра. Горбатый, однако, признался, что тоже не прочь был замочить Тюху, они как-то взяли выкуп на тысячу двести. Горбатый ему шмеля в пропуть дал, а Тюха потом отдал только триста, остальные обжухал.

5

Варя была дочерью своего времени и... своего района. В конце концов, роцинская же! О вездесущности воров и воровства она, работая в суде, конечно же, знала, но понимать сущность воровской жизни могла лишь поверхностно, ей раньше было ни к чему. Сколько раз она слышала, как воры в ее доме поносили сук, как обсуждали проблемы, с ними

связанные, и, конечно же, Тарзан, когда на него находил такое благодушие, тоже, как говорится, в семейном кругу, рассказывал ей про это, особенно если Варя в чем-то угодила, что было опять-таки легко вылезти: уменьем достать в нужное время водки опохмелиться. Приобретя, что называется, второе дыхание, он с удовольствием начинал разглагольствовать о теории воровской идеологии в доступном ее понимании, и о причинах возникновения сук как масти.

— В конце концов, — просвещал он однажды, — что мы, люди, всю жизнь делаем? — спрашивал он и отвечал: — Добываем еду, а? Ну, а ворье? Ведь нас ворьем иногда называют, — он презрительно сморщил губы, — хотел бы я знать, кто в мире не ворует?

Встречал я в зоне таких пострадавших ни за что. Вот это дураки: стащили что-то с производства. Работали, как рабы, создавали ценности, получали крохи; им внушали, что все, создаваемое ими, — их собственность. Но как только они протянули лапы взять немного из своего — их в зону. Но ведь кто-то же пользуется тем, что эти дураки создают? Значит, у кого-то богатства навалом, и ты — он ударил себя в грудь — от награбленного ими берешь свое — чисто, технически, рискуя, и в этом заключается твое честное воровское дело. Вор тот, кто способен спереть чужую собственность так, что фраер даже не почешется, то есть технически. До войны у нас были только технические воры...

Дальше Варя узнала еще о воровском обществе, как оно, по представлению Тарзана, стихийно складывалось.

— Какой вид преступлений может по праву считаться самым умным и честным? — спросил у жены честный вор Тарзан. Сам же, как обычно, ответил: — Конечно, воровство. А какой преступник самый мерзопакостный? — спрашивал он затем и объяснял: — Грабитель! Это самая отвратительная скотина. Грабитель ставит жертве нож к горлу и отнимает барахло — много ли для этого требуется ума? Или возьми чернушника (мошенник — жарг.) — тьфу! Поплятина! Согласись, надувать — подло. Убийцы! Ну эти и есть главным образом грабители. Грубо и бесчеловечно. Главное — неумно, потому что опасно не только самому крестину — убийце, но и вору: шухер образуется — всем плохо.

Если, скажем, человека обворуют — обидно ему, кто спорит!

Никто не хочет расставаться с барахлом, даже потерять что-нибудь — и то обидно, разве не так? Вот ты потерял вещь, которую стибрил, но все равно обидно. Вот у тебя украли кошелек — его не стало, и все. Жалко. Но ведь ты сама не пострадала — разве не благородно? А вор, он ходит и смотрит в книгу, а видит... фигу — элегантно! Мастерство! А грабитель... Человека убил — весь город хинишует, а тогда говорят и воры. Так вот грабитель и есть сука, воры их приговорили к смерти, всех без исключения, потому что из-за них вора́м тоже опасно. Поняла?!

Тарзан пытался внушить Варя, что воровской закон — сплошное милосердие.

— Можешь у старика поинтересоваться, если мне не веришь, — буркнул Тарзан. Подразумевался Заграничный. Тарзан знал, что Варя с этим интеллигентом хорошо ладит и считал, что это даже очень полезно. Он пытался всячески сформировать по-своему психику жены, стремясь доказать ей, во что и самому хотелось верить: воровская жизнь — не просто образ существования ни на что более не годных и морально опустошенных людей, а результат здравых размышлений, приведших его к философии — именно к философии! — жизни, существовавшей многие сотни, даже тысячи лет во всем мире, и в некотором смысле был не так уж неправ. Тарзану надо было, чтобы Варя прониклась такими убеждениями и не считала его неудачником в сравнении с каким-нибудь интеллигентным и элегантным, образованным фраером, который мог ей в жизни встретиться. Взять хотя бы того же Скитальца — интеллигент не интеллигент, образования хоть и нет, но какой-то все-таки странный, как помнилось Тарзану.

А тут Заграничный... Мало того, что интеллигентный и образованный человек, так еще — подумать только! — замаркома. И тоже вор в законе. Значит, не просто так они воруют — воры всех специализаций, значит, и закон их — не мыльный пузырь. И все это старик лучше других может вдолбить в башку этой красивой дурочки, на которую — а уж это Тарзан прекрасно видел — глаз кладут мужики. Еще важно, чтобы до нее дошла и такая истина: хоть ты сама и не воровка, но ежели свою судьбу связала с воров — это навсегда, и обратного хода быть не может, чтобы она уверилась, именно воровской закон этого не допустит. Вот так-то!

И даже не чувство собственности для Тарзана главное: Варя красива — все это признают, но он лично не может сказать, чем, скажем, Блюма Надя, воровка, хуже Вари. Нет, дело не в чувстве собственности, а в том, что ему необходима моральная опора. Вот так-то! Если она способна признать его философию (если он в состоянии доказать эту философию), тогда его дело правое — так ему, во всяком случае, представлялось.

Варя знала, у нее от Тарзана будет ребенок и надеялась, возможно, он тогда захочет зажить более спокойно. Она проявляла интерес к воровской жизни из-за собственного... интереса. Даже иногда стала сопереживать в том или в другом случае, и вору ее всячески привлекали в свою жизнь — воровская жена! Она прекрасно видела, что многие вору на нее «глаз положили», но не столько Тарзана совестились, сколько своего закона остерегались. Бывал и Крот в Тушике, тоже пялил на нее свои мерзкие глазки, однако лишь шипел и предвещал, что все равно она своей судьбы не избежит.

Что такое закон для воров? Что он, их закон, для них — самих творящих беззаконие?

Давно Варя обратила внимание на немолодого человека, приходившего в их дом с ворами в качестве вора же, но ни манерами, ни разговором на них не похожего. Она наблюдала интеллигентных воров. Даже в нарсуде. У одного даже кличка была «Интеллигент». Но, ей-богу, особенной интеллигентности у Интеллигента она не обнаружила, разве что в разговоре он меньше употреблял междометий типа «блядь», «сука». Этот же седоватый, немного насмешливый человек сразу привлек ее внимание именно непосредственностью поведения, интеллигентностью, которую не изображал, — она являлась его сущностью, чем он даже походил на Скитальца, в котором такое необъяснимое влияние тоже присутствовало. Называли его вору Иваном Заграничным. Почему Заграничным?

— Потому Заграничный, что бывал за границей, — объяснил Тарзан и добавил: — это же обыкновенно.

Варя полагала, он шутит, издевается над «дурочкой».

Но Тарзан, хотя тоже не все знал про Заграничного, не шутил: Заграничный действительно был заместителем наркома легкой промышленности, членом КПСС, женатым, отцом двух сыновей. У него были служебный кабинет в министерстве и персональная легковая машина.

Случалось, при Варе воры говорили о нем, она старалась не пропустить ни слова, и создавалось у нее суждение об Иване Заграничном как о весьма странном, необычном человеке, ведущем двойную жизнь: днем проводит совещания или произносит речь на партийном собрании, вечером велит шоферу подвезти его к универсальному магазину и ждать. Сам же отправляется шарить по карманам. Главное, что не могла она уразуметь, зачем ему это? Какая выгода? Разве он мало зарабатывает? Не могла Варя понять логику, когда важный чин прямо с партсобрания направляется на воровскую сходку.

Воры, по наблюдению Вари, относились к Заграничному с исключительным уважением, причем ни разу не слышала она, чтобы его упрекнул хоть один за то, что он — нарком, а следовательно, не придерживается воровского закона: вор — не работает. Она догадывалась, воровам, наверное, было престижно, что такой человек... и с ними. Что же получается, размышляла Варя, — коррупция среди уголовников?

Тарзан объяснил:

— Иван Заграничный — наш разведчик, поняла?

Варя не поняла, но согласилась.

Да, не ошибся Тарзан, он был наблюдателен, как и должен быть человек его специальности, — иначе лучше в грузчики податься: Варе нравилось общаться с этим, немолодым уже, загадочным Заграничным, которого и вором назвать язык не поворачивался. Ей очень хотелось, чтобы и Тарзан был бы хоть немного похож на этого старика.

И одевался Заграничный не так, как обычно одевались воры, с почти традиционными аксессуарами воровской экипировки: хромовыми сапогами в гармошку.

Однажды, когда старик опять к ним зашел в отсутствие Тарзана (машину он, по-видимому, где-то оставлял далеко), она, неожиданно для себя самой, задала ему не очень тактичный вопрос, который давно не давал ей покоя:

— Почему, Иван Васильевич, когда у человека все есть, он ворует? У него же все... Он ни в чем не нуждается...

— Ты меня имеешь в виду? — Заграничный доброжелательно рассмеялся и, не ответив, спросил у нее сам: — Скажи-ка, милая, как ты решилась стать женой вора? Что, красивый парень?

Пришлось Варе признать, что, конечно, это немаловажно,

когда мужчина красивый, но ее преследует Крот, животное с маленькими злобными глазками, с вечно слюнявым ртом, так что она рассчитывала на защиту Тарзана (а ведь, действительно, Крот теперь отстал, только шипит да грозится). Ах, родители? Как к этому отнеслись? Так ведь у нее уже ребенок был — на что рассчитывать в таком случае и в такое время... К тому же у нее только мать. Мать не была замужем, с детства не верила мужчинам, опасалась их из-за отца — деда Вари, который жизнь своей жены — Вариной бабушки — превратил в пытку и довел ее до преждевременной смерти: все пьянство, пьянство. Но Вариной матери хотелось ребенка. Она долго присматривалась и избрала женатого, отца троих детей, дворника... Варя, узнав об этом, пришла в ужас, но мать доказывала правильность своего решения. Варя, однако, не пожелала узнать, где проживает мужчина, благодаря кому она зовется Антоновной.

— Да, да, — произнес Заграничный в задумчивости и, словно возвратясь из дальних странствий в свой внутренний мир, ответил наконец на ее вопрос: — Для меня, видишь ли, воровать... это не значит вообще воровать. Это для меня, Варечка, все равно как джентльмену из приличной семьи играть в бильярд, и даже что-то большее.

Постучали в дверь, и Варя впустила соседку, Зину. Женщины в прихожей повели свой суетливый женский разговор. Заключался он в важной новости, которую соседке необходимо было скорее сообщить, а именно, что в доме Первого тупика, где раньше жила старуха, Марфа Егоровна, которая категорически отказывалась эвакуироваться, будучи готова сгинуть, если на то пойдет, вместе с Марьиной Рошей, так вот: она две недели назад как умерла, а теперь в ее квартиру вселили инвалида-фронтовика, без обеих ног, то есть они у него имеются, но деревянные, а звать этого танкиста Володя, что поселился он вместе с матерью и швейной машинкой Подольского производства. В этом-то и заключалась важность давней новости: инвалид этот — портной, причем, говорят, хороший, берет недорого, а это важно для женщин с детьми в военное время.

6

Когда соседка, заглянув, конечно, разочек в кухню, — Ивану Васильевичу удалось мельком всмотреться в ее любопытные глаза, выглядывающие из-под платка, натянутого на самые брови, — ушла, Варя готова была слушать дальше.

— Иван Васильевич, а у вас есть дети? — она чуть не брякнула: «Вы не такой уж старый». Заграничный нахмурился, и Варя пожалела, что задала этот вопрос. Действительно, ему не хотелось рассказывать о своих сыновьях, поступивших учиться в суворовское военное училище, о жене, о том, что никто в семье не подозревает о его тайном пристрастии. Он любил свою двойную жизнь, если бы у него не было этой тайны, он бы умер от смертельной пустоты однообразия. Он состоял в партии, иначе не занимал бы должность в наркомате, но не верил в возможность изменить к лучшему человеческую психику какими-то социально-мифическими воздействиями, хотя видел, что насильно переформировать ее можно: с какой легкостью многие вчерашние монархисты под давлением обстоятельств переделались в образцовых социалистов, оставаясь в душе готовыми в нужное время перестроиться хоть в чертей. Он был убежден, что каким человек является сегодня, таким он был и в каменном веке; жизнь постоянно изменяется — да, но это только в развитии техники добывания. Чему же человек и по сей день не научился, так это главному — распределению добычи; в результате бесконечные войны, в том числе и настоящая, которую почему-то считали «отечественной» и грузины, и латыши, и литовцы, и эстонцы, и чуть ли не сами немцы.

Ему не хотелось именно на эту тему дискутировать, но и он относился к Варё с симпатией.

Его не тянуло в этот злополучный Институт потрошения мозгов, в котором некоторые государственные заплечных дел мастера развили бурную деятельность, — тоже результат неумения или нехотения поделиться добычей с народом — добычей, которую отнимают у природы, без зазрения совести ее обескровливая. К тому же Варю интересовали другие ее наблюдения, и первое из них касалось непривычного для ее уха

термина из воровской жизни: суки. Кто такие? Тараан не удовлетворил ее любопытства в достаточной мере.

— Да-а, — сказал многозначительно Иван Васильевич, — суки... это да, те еще субъекты. До войны сук почти не было, до войны были воры, и закон нарушался настолько редко, что нарушившие не успевали образоваться в какие-то противоборствующие партии, каковые теперь образовали суки, до войны нарушивших закон, успевали своевременно и приговорить и, если надо... от них избавиться.

Иван Васильевич должен был рассказать сначала о воровском судопроизводстве. Суд воров — что это такое? Воровской суд, по разумению Заграничного, являл собой более объективный институт, чем правосудие социалистического общества. Даже по составу они сильно отличались друг от друга: если в гражданском обществе функционировал суд заседателей, у воров он по своей структуре являлся скорее всего судом присяжных, в том смысле что состоял не из ограниченного числа судей. Причем каждый из присутствующих на «процессе» имел право быть и судьей и заседателем, решение выносилось голосованием.

Сам порядок судопроизводства воров представлялся исключительно демократичным: подсудимый выслушивал предъявляемое ему обвинение от каждого присутствующего, имел право оспаривать выступление каждого из обвинителей отдельно, опираясь на знание воровского закона и овертируя фактами дела по собственному разумению. Принцип данного судопроизводства прост: или все докажут одному его виновность, или он каждому отдельно свою правоту. Процесс, как таковой, может продлиться столько времени, сколько потребуется — сутки, двое или месяц. Если у обвиняемого в голове не опилки, а язык подвешен, у него есть шанс оправдаться.

Приговор, в случае признания вины, мог быть разный, хотя процессуальный кодекс воровского закона не содержит бесчисленное количество параграфов, дающих часто в гражданских судах лазейку для ничтожностей-судей, чтобы через хитроумные комбинации засудить обвиняемого еще до начала судебного процесса. Суд честных воров намного проще: если подсудимый не совершил предательства, а что-нибудь полегче — ему выносили предупреждение; если он уже имел предупреждение за аналогичный поступок — давали по ушам и выставляли вон

из сословия честных воров; если он сделал подлость непристойного качества, его приговаривали в большинстве случаев к смерти.

Наверное, мало на свете людей, знающих, как приводят в исполнение смертную казнь. Известны многие версии: что, мол, где-то привели приговоренного в некий кабинет, зачитали отказ о помиловании, назад же повели через другую дверь, где в специальных тайниках с отверстиями для стрельбы его поджидали расстреливающие.

Или же его просто ведут и неожиданно сзади стреляют в голову — тоже благородно.

В некоторых странах, говорят, приговоренному дают возможность выбирать: повешение или выпить яд. Если через повешение (говорят, не очень мучительная и довольно скорая смерть, но утверждать трудно, если сам не пробовал), тогда надевают на шею петлю, и стул, на котором он сидит, проваливается вместе с ним через люк в полу; нельзя сказать, что принять смерть таким образом приятно. Нет ничего хорошего и в известном электрическом стуле, применяемом в Соединенных Штатах, это почти не отличается от гильотины, бывшей в употреблении во Франции, разве что первый более гигиеничен.

Вообще-то способов убивать по приговору и без него изобретено в мире уйма, но самый древний способ — бабахнуть человека чуркой по голове, хотя в каменном веке пользовались больше валуном.

У воров основным орудием исполнения смертной казни являлся нож, который еще называли пикой. Отсюда и клич «на ножи!» — ставший традиционным при определении воровского приговора.

Приговор воровской сходки обжалованию не подлежал. Да и некогда его обжаловать, поскольку приговор обычно тут же и приводился в исполнение — редко, когда приговоренного доставляли в другое, более подходящее место. Если же кого-то приговорили заочно, когда обвиняемый категорически отказывался присутствовать при разбирательстве дела, тогда решение о смертном приговоре распространялось в воровском мире от границы до границы, а его исполнение становилось обязанностью всякого вора, который где бы то ни было встретил приговоренного. Надо отметить, приговоренные к смерти редко

соглашались с приговором и сознательно умирать отказывались. Тогда что им оставалось делать? Скрываться, что же еще. Скрываться же проще от гражданского суда, чем от воровского.

Бывали случаи, когда обвиняемый, почувствовав, чем для него обернется разбор «конфликта», успевал заблаговременно скрыться. Как известно, воры не признавали мокрых дел, а мокрушников карали. Но прибившиеся к ворам дезертиры и прочие, не получившие гуманитарного воровского образования, привыкшие жить эгоистично и развращенно, оказались неспособными чтить воровской закон, как не чтили и законов гражданского общества. И были приговорены к уничтожению. Причем правильно приговорены, ибо если ты до такой степени подлец, что изменил законам самих нарушителей законов, тогда кому ты можешь быть нужен?!

Но умирать этим дважды изменникам не хотелось, и многим удалось избежать расправы воров до поры до времени. Этих-то, избежавших казни, воры и прозвали суками. Откровенно говоря, вряд ли найдется столь грамотный вор, кто бы сумел объяснить, за что благородному собачьему роду, символу верности, такое оскорбление? Но факт есть факт и, произнося слово «сука», нужно себе представить гнуснейшего человекообразного субъекта. Жаль, конечно. Следовало бы подчеркнуть, что не годится приписывать животным признаки, свойственные одному лишь человеку.

7

Это он, Заграничный, прозвал Варю козочкой, дав ей таким образом кличку. А как же без клички ей, воровской жене? Рассказывая козочке о том, что знал про жизнь воровскую, он сам постигал неожиданно фантастичность собственного положения: он принадлежал к миру диктатуры пролетариата, в котором, он давно осознал, пролетариату не дано вообще никакого права голоса, притом, что голосовать «за» он обязан. В то же время сам он выступает в роли честного вора в законе... Он стал понимать, что со стороны это смотрится ни парадоксально, ни комично, ни уродливо, а сюрреалистично.

Он был образован и начитан, признавал и понимал красоту,

но не верил Достоевскому, заверявшему, будто красота спасет мир. Не верил в Бога и, наконец, перестал верить в марксизм. Иван Заграничный сомневался, что имеет смысл объяснить Варе всю правду о собственной раздвоенности, почему ему нравится общество честных воров (было смешно осмыслить, что он одновременно член двух воровских общин: честных и нечестных). Он сомневался даже в своем умении объяснить причину раздвоенности собственного характера, но... Но была ли раздвоенность? Он занимал должность и положение в партийной иерархии из-за необходимости обеспечить жену и детей, но презирал правила жизни тех, кто вынуждал народ жить в унижении и предательстве. Он не верил в марксизм, что не означало, будто ему не хотелось в него верить. Во что же тогда верить? Религия? В глубине души он подозревал, что религия и преступление каким-то образом тесно переплетаются, связаны друг с другом.

Вращаясь среди воров, он знал гораздо больше о преступности во всем мире, чем сами воры. Он много об этом размышлял, пытаясь нащупать в болоте сомнений какую-то твердь, в существовании которой не сомневался. Но все у него смешалось: Италия, Ватикан, мафия, Кремль московский, Моисей и десять заповедей, Сицилия... В Ватикане — наместник Бога, повелевший людям соблюдать и шестую заповедь, и мало где в мире люди столь религиозны, как в Италии, но мало где в мире совершается столько убийств...

Конкуренция! Вдруг это слово проникло в мозг Ивана Заграничного, бултыхнулось камнем в болото его сомнений. Конкуренция во всем. Здесь, в поддельном социализме, это называется соревнованием. Но что в одной, что в другой интерпретации это означает борьбу за благополучие, борьбу безжалостную, даже звериную, первобытную. И честные воры, и нечестные коммунисты, думалось Ивану, фактически конкуренты, но, как на Западе, так и здесь мафиози делят сферы влияния. Но сферы влияния распределились в результате исторических традиций воровских общин в древне-русском царстве-государстве: у воров российских свято соблюдались патриархальные законы так же, как в сектах религиозных. И воровские законы оказались менее кровожадными, чем революционные.

«Ворую мы теперь каждый на своих угодьях, — размышлял

Заграничный, — наши интересы пока вроде не задеваются, вероятно потому, что у нас просто разные структуры, разная специфика. Нечестные воры давно поняли, что свободная конкуренция — не в их пользу. Для них важна монополия, а диктатура пролетариата — монополия коммунистов».

Нечасто удавалось Варя узнавать о неведомом от столь интеллигентного и доброжелательного собеседника. Конечно, она этим старалась воспользоваться максимально. Она хотела знать, как думает о воровском законе этот странный человек.

— Что для воров их закон? — переспросил Заграничный с улыбкой. — Законы любого общества призваны защитить его от распада... разложения. То же и с ворами. Их закон — защита их сословия. Как? — спросил изучающе. — Я понятно рассказываю? — Варя признательно улыбнулась. Тарзан спросил бы иначе: «Понял?»

— Воровской закон, — объяснял Заграничный, — Бог его знает, с какой старины берет свое начало, возможно, от пещерного времени. Он, конечно, веками сотни раз изменялся, оставаясь в глубине все же верным основным старым традициям. Правда, в пещерное время люди больше мокрушничали...

Закон честных воров организует и мобилизует их жизнь. Они, конечно, романтизировали его, а иначе нельзя, иначе им трудно ему преданно следовать. Воровской закон для честных воров, как религия для церковников или марксизм для парработников: часто его и не понимают, но верят, что он — истина. Впрочем, верят или не верят... все одно действуют от его имени, всякому ведь надо свои дела на земле как-то оправдать, но поскольку законы везде являются результатом как бы коллективного волеизъявления, то и воры... Преступление тоже, если хоть по какому-то закону, уже как бы и не злодеяние.

У нас в официальных и компетентных сферах не принято признавать наличие в государстве организованной преступности, словно с завершением революции в стране социализма преступники превратились в героев социалистического труда.

Но это для западного уха: дескать, у вас вот есть она, организованная, а у нас перевелась. На самом же деле где еще в мире существует столь древний традициями закон воров?!

Надо признаться, поголовье воров во время войны сильно сократилось, приходилось думать о пополнении кадров, уже не стало времени воспитывать желающих поступить в воры,

оттого принимали и не очень достойных, не проверенных относительно нравственности. Из-за этого обстоятельства стало возможным поступление аморального элемента в чистые ряды воровского общества. В гражданском обществе тоже произошли перемещения: многие дельцы, привыкшие воровать с помощью лишь партбилета, должны были, сражаясь в первых рядах, доказать свою партийную сущность, показать пример беспартийным массам обывателей. Но у них начисто отсутствовала готовность умереть за Сталина, они об этом никогда не мечтали...

Что же оставалось? Прежде всего, долой с фронта. Привыкшие к тиши кабинетов, они жаждущие мирной обстановки, рассчитали, что в ранее ими презируемом обществе отбросов все же менее опасно, что их сохранность и благополучие возможны только, соединившись с теми, кто свою систему противопоставил государственной. Фомкой или набором «мальчиков» (ключи — жарг.) они работать не умели. Многие имели воинскую выучку и в мирное время служили родине преданно в офицерском чине. Наколками на руках в те времена было модно обзавестись еще с раннего детства, а теперь за гривенник, кому понадобилось, любой дворовый художник наколет, что хочешь: «Не забуду мать родную», «Раб КПСС», некоторые со странной фантазией даже на заднице выкальвали, что «Нет счастья в жизни»...

И возникали то в одном, то в другом городе свежее испеченные блатные, называли клички, которые им пожаловали не тюрьмы, не улица, и стали претендовать на воровской кусок хлеба с маслом. Выражаясь по-культурному, им проканал. Ведь фонетические способности блатного фольклора знали также и комсомольцы. И многие добропорядочные в прошлом товарищи могли теперь со вкусом известить другого, что он «козел» или «педераст» (настоящие блатари говорили: пидарас). Придумывались легенды: кто с кем и когда «лазал». Образование старались забыть, воровской же науки, традиций и понятий воровской чести не знали. Не зная тонкостей воровской морали, ерши («фальшивые» воры — жарг.), естественно, продолжали жить старыми привычками, сущность которых непризнание никаких законов, подлость, жестокость.

8

В Москве давно были убраны с окон бумажные ленты, засыпаны противотанковые рвы, даже у воров настроение стало более радужным. Приближалась весна. Жизнь Козочки приобрела далеко не весенние тона. Она ловила себя на мысли, что не любит даже мать, что было бы хорошо, если бы не было на свете дворника, Антона. Ей не нравился Тарзан, но у нее достало ума не заикаться о своей все возрастающей к нему антипатии. Он часто попадался при проверке документов, и ей приходилось ходить в милицию доказывать их брак, объяснять, что он только-только приехал в Москву, иначе ему угрожала статья за нарушение паспортного режима: прописан-то он был в Егорьевске.

Тарзан много пил и становился с ней грубым, но по-прежнему считал ее присутствие для себя престижным. Он грозил убить ее, если вздумает завести амуры на стороне, и Варя этому поверила. Ей внушили: от вора уйти нельзя, закон не позволяет, хотя в воровском законе не существует обязательства, чтобы бабу насильно принуждали жить. Ее мать отпустили с фабрики из-за ревматизма рук и взяли сторожем клуба при заводе «Станколит», где, собственно, сторожить было нечего. Благодаря этому, Варя могла оставлять Олечку жить у нее надолго. Уходя в клуб, старуха и девочку брала с собой. Им нравилось быть вместе — бабушке с внучкой.

Для ребенка дом Вари становился мало привлекательным, пугающим из-за постоянных пьянок. Воры приводили с собой женщин-воровок, гуляли. Как-то Тоня-Коряша, карманница, сказала Варе:

- Ты живешь с вором, тебе тоже надо учиться воровать.
- Я не умею, — возразила Варя, — я в суде работаю...
- Тем лучше.

Варя отказывалась, объясняла, что просто не может себя заставить подойти к человеку и что-то у него стащить.

— Значит, ты не должна быть женой вора, — заметила Коряша резонно.

Сильно напившись, Тарзан вытворял дикости. Однажды, придя домой, Варя застала квартиру всю в перьях. Олечка, спрятавшись в углу за шкафом, сидела безмолвно, парализо-

ванная страхом. На постели изуродованные подушки, перья, в них и валялся пьяный Тарзан. Когда он встал весь в пуху, она засмеялась:

— Только рога приставить — на черта похож.

Сказала, не подумав, какую реакцию вызовут слова: «рога приставить». Она выбежала на улицу, он — за ней. Перья с него летят, прохожие хохочут. Навстречу попался мужчина, хотел Варю поймать. Она толкнула его, насколько хватило сил, опрокинула, но он вскочил — «ненормальная!» — и схватил ее. Подбежал Тарзан и давай ее бить. Подошли мужики:

— За что?!

— Она трое суток дома не была, — врет Тарзан.

— Тогда добавь еще.

Жаловаться некому, она знала: «закон» есть закон. Сколько раз решалась уйти от Тарзана — удерживал страх. Олечка боялась одного взгляда Тарзана. Жили все беднее: Тарзан с ворами украденные деньги тут же пропивали. За все время, прожитое вместе, у Вари и приличной одежды не осталось: то, чем он ее одаривал в удачные свои набеги, он же потом и пропивал. Когда же дома не было еды, он уходил к другим женщинам.

Соседка Зина посоветовала ей научиться пить, как этот инвалид, Володька-танкист. (В Роще-то все называли его Володька-инвалид, который пьет). За питье он брал недорого, Варя частенько забегала к нему мимоходом — в буквальном смысле мимоходом, поскольку так расположились их дома, что не миновать окна Володьки-инвалида.

Володьке было лет двадцать пять, сколько его матери — трудно определить. Выглядела она изможденной, впрочем и Володьке, худощавому, курносому, можно было дать на первый взгляд все сорок — следы войны. Варя не представляла, каково это гореть в танке во время боя, тем более, каково жить без обеих ног, а расспросить стеснялась. Хотелось узнать, как это происходило и где ему ампутировали ноги... Хотя, какая разница! И сама Варя уже не смотрелась прежней красавицей: тоже «следы»...

Володька-инвалид пил, его мать пила вместе с ним, и Варя понимала: от беды прячутся. В отличие от воров, Володька-инвалид все заработанное на швейной машинке пропивал и брал выпивку в уплату с удовольствием. Пенсию ему платили

не ахти какую, над ним опекуновствовал завод «Борец», но в чем это, собственно, выражалось — никто не знал.

Когда Володька пил — он не пил; когда у Володьки пить было нечего и болела голова, он сидел у кухонного окна, облокотясь о стол и смотрел грустными глазами на прохожих. В этом был свой умысел: вору, идущие мимо с водкой, обязательно заходили к нему и наливали опохмелиться. Но собираться у себя вора Володька не разрешал, им и не было нужды, они ходили к Тарзану, но к Володьке относились с уважением — вояка.

Квартира Володьки-инвалида чистотой не отличалась: у матери ревматизм, к тому же и алкоголь, так что пол и все другое покрывалось густым слоем грязи. Иногда воры заставляли марьянских проституток идти к нему убраться, но много ли пользы от таких девиц? Однажды Варя решила помочь Пелагее Ивановне и сама все у них убрала-помыла — работа была нелегкая.

Она видела как-то Володю на улице (он иногда выходил «походить»), и вид этого молодого человека на протезах, помогавшего себе двумя палками, вид этого человека, ковлявшего с огромным трудом, был настолько жалок, что потряс Варю. А ведь он был простым солдатом, подумалось ей, и у него нет даже никаких наград, никаких орденов-медалей, кроме одной... за равенство. Тогда-то и решила она им помочь. Все же живое дело. Она испытывала, словно этим своим отношением заслуживала индульгенцию за свои собственные промашки, в которых сама себе в последние дни признавалась, не умея их тем не менее объяснить. А Володька теперь с нее за питье и вовсе ничего не брал, да ей и нечего было ему дать.

Все знали, если Володька на кухне не сидит, в окно грустно не смотрит, значит, пьет, значит, не пьет. Тарифы платы за свою работу он определил странно: что бы ни пил, за все три червонца. Это было настолько смешно, что никто всерьез не воспринимал: люди платили сами, кто во сколько оценивал его труд.

Однажды, в виде исключения, повел Тарзан Варю в кинотеатр «Труд». Здесь часто собирались и воры и воровки базарить, понт держать (болтать, щеголять-похваляться — жарг.). Тарзан с незнакомыми мужиками, судя по внешности, ворами, отправился в курилку, бросив Варю:

— Ты смотри на танцы пока.

В неказистом, заплыванном семечками фойе, проводилось культурное мероприятие — танцы под звуки баяна. Девицы в ватниках танцевали вальс. Неожиданно к Варе подошел Крот, сунул ей в руки какой-то пакет:

— Тебе делать нечего, поддержи, — и тоже собрался куда-то уйти.

— Я не камера хранения, — ответила дерзко Варя, и тут же получила от Крота пощечину. Однако, не растерявшись, она вернула пощечину — очень даже звонко вlepила в ненавистную морду Крота.

Такого никто не ожидал, а свидетелей было много. Что вор бьет женщину — то нормально, тем более фраершу. Но чтобы фраерша — вора! Это сенсация! Конечно, многие, возможно, даже большинство, считают недостойным бить женщину, но все-таки женщине бить мужика — не традиционно, а вора так вообще... черт знает что!

Крот до того растерялся, что вопя помчался в курилку и, подбегая к Тарзану, заорал:

— Видишь! Ты видишь! Выведи свою!..

— Куда?

— На улицу.

— Зачем?

— Она мне дала по морде! Какое у нее право!

Перепуганную Варю толпа мужчин вывела во двор кинотеатра. Как странно это выглядело со стороны: множество народа танцует под звуки баяна, грызут семечки, курят — кто в гражданской одежде, кто в военной форме, и вот группа глуповато одетых франтов, выделяющихся среди остальных, шаря по фене (слышатся выражения типа «блядь буду»), тащит волоком маленькую женщину неизвестно на какую муку, и никому до этого, ей-богу, нет дела.

Словно какая-то невидимая одним людям жизнь других, жизнь со своими особенными правилами, красками, одеждой, языком, манерами, и никто в одной жизни другую не видит: кажется, об этом Иван Заграничный однажды рассказывал Варе. И вот они, невидимые среди бела дня другим, человек пятнадцать воров окружили Варю. Она понимала, что Тарзан не в силах ее защитить — один против стольких. Но он... и не собирался: ему «не положено», он — вор, член партии в данном

истолковании, так же как и другие здесь воры, а Варя-то всего лишь...

Неподалеку — Суцевская баня, сюда во двор и затапили воры женщину. Крот достал опасную бритву, наполовину обмотанную изоляционной лентой, и замахнулся на дрожащую от страха Варю. Она инстинктивно защитила лицо, и удар пришелся по руке. Видя, что у нее только рука порезана, Крот ударил еще и разрезал щеку, — глаз уцелел чудом. Заливаясь кровью, она упала, а Крот закричал:

— Что мне с ней делать?

— Удавить, и дело с концом, — ответил кто-то в толпе.

— Вы ее убьете, — слышит Варя безучастный голос Тарзана, — а у нее ребенок должен быть.

— Считаться не буду! — прокричал Крот. — Если каждая фраерша начнет бить вора в морду!..

Что же будет тогда? Землетрясение? Крот не закончил свой прогноз. Он нагибается, чтобы резать Варю, но у нее под пальто в кармане халатика нашелся небольшой ножичек для чистки картошки. Как-то сумев его извлечь, не отдавая себе отчета, она полоснула им Крота по лицу, разрешила сверху донизу.

Что тут поднялось! Прижав ладонь к щеке, Крот отскочил от жертвы и заверещал на весь рынок и всю Марьяну Рощу:

— А-а-а! Видишь, падла, что делают!

Воспользовавшись суматохой, — одни воры смеялись, другие матерились, третьи просто в шоке, — Варя вскочила и побежала что было сил, держась рукой за порезанную щеку. Убежать ей удалось, благодаря тому что воры принялись выяснять отношения теперь уже с Тарзаном:

— Это ты подбросил ей нож?

Какова проблема?! В Берлине заканчивается война, человеческое общество, в очередной раз переколошматив все достижения созидательной мысли, ломает голову над тем, во что это в конечном счете ему обошлось, сколько предстоит потратить сил и средств на восстановление нормальной жизни, если такая на планете возможна, если существует у людей хотя бы представление о том, какая должна быть нормальная жизнь, а тут, рядом, в этом своеобразном мире, не видимом побеждающему в большой войне народу, толпа взрослых мужчин выясняет, почему не зарезали, как свинью, незащищенную женщину...
Двадцатый век!

Где-то в этом великом городе в это же время в институтах именитые юристы, профессора и доктора наук заседали и произносили речи, писали заумные труды о преступности: есть она или нет ее, а если есть, то какая. Они, конечно же, вывели нужные для них теории, они — теоретики, и так будет всегда, сколько бы не менялось правительств, как бы не изменилось общество. Но... Двадцатый век!

У Тарзана среди воров недоброжелатели или завистники: воровал — не попадался, красивую бабу отхватил и вообще чересчур из себя красавец, это тоже нескромно. Многие присутствующие, оказывается, хотели бы разделаться с Тарзаном, но беззакония допустить не могли (воровского беззакония), до сих пор зацепиться было не за что, а вот теперь... Повели вору Тарзана в сквер и так его отдубасили — доской, ногами — он еле ноги унес.

Варя в это время кралась дворами, соображая, как ей идти, чтобы не нарваться на своих мучителей. Сунувшись на улицу, заметила их, хотя могло и померещиться. В страхе кинулась обратно, чтобы опять дворами двигаться в сторону Палихи, оттуда намереваясь выйти на Новослободскую, там на чем-нибудь доехать до Сушевского, и дальше. Двор оказался глухим, полезла на высокий забор, уже перебросила одну ногу, как потеряла равновесие и грохнулась вниз; ударилась больно, все нутро перетряхнуло, сразу даже подняться не могла, пришлось полежать, отдохнуть. Потом еще несколько заборов преодолела, пока оказалась в проходном дворе у Палихи, и здесь столкнулась со своим мужем, пробиравшимся, хромя, куда-то. Узнав Варю, он затрясся от душившей его злобы:

— Сука! Это из-за тебя... Видишь, что со мной сделали! — Варя поняла, побили его, бедного. — Завтра Люди придут (ворам нравилось называть себя — Люди), и мы с тобой пойдем на сходку, объяснишь, что не я тебе нож подкинул.

Они были одни в проходном дворе. Где-то в отдалении мелькали темные силуэты прохожих, наступали сумерки, где-то глухо прозвенел колокольчик трамвая.

— Никуда я не пойду! — тоненько проскулила Варя и зарыдала взхлеб. — Хватит с меня и того, что уже было. Пусть придут, пусть! Не нужна мне такая жизнь!

Тарзан взбесился: он из-за нее пострадал, а она еще сопротивляется... Потеряв самообладание, достал нож и вотк-

нул ей в ягодицу, да еще в бешенстве повернул его. Когда Варя пришла в себя от дикой боли и потрясения, Тарзана рядом уже не было. Завывая потихоньку от боли и невыносимой обиды, уже ни с чем не считаясь, она побрела в сторону Рощи, чувствуя, как кровь струйкой бежит по ноге в ботинок. Ее стало трясти в лихорадке, с каждым шагом силы убывали, она плохо понимала происходящее: кого встречала, что видела? До своего дома добраться сил не хватило, поравнявшись с окнами Володьки-инвалида, упала и хорошо, что Володька сидел не за машинкой, а в темной кухне и, как всегда, поглядывал на улицу, хотя и не ждал, чтобы ему кто-нибудь налил — у него было.

К упавшей Варе выбежала Пелагея Ивановна, на босых худых ногах — галоши. У нее нашлась перекись водорода. Промыв Варины раны, наложив замоченную перекисью тряпку на ее задницу, Пелагея Ивановна уложила Варю в свою постель с серыми простынями, куда забралась и сама. Володька-инвалид налил ей полстакана самогона, уверяя, что он снимет боль. Варе важно было унять боль душевную. Она вышла и, наконец, заснула.словно издали, словно во сне она слышала голос Тарзана, кричавшего зло:

— Здесь эта сука?!

И она не понимала, что именно Володьке-инвалиду принадлежал другой голос, стыдивший Тарзана, впрочем, весьма мирно, что, мол, нельзя ему, Тарзану, такому мужественному человеку, поступать так с женщиной, собравшейся подарить ему сына. С тем и ушел Тарзан.

Утром, кое-как прикрепив на раненую ягодицу компресс с самогоном, едва переставляя ноги, — правую словно судорогой свело, — с помощью Пелагеи Ивановны она дошла до дома и, едва ушла Пелагея Ивановна, пришли воры, Хлестак и Крот в том числе.

— Тарзан подбросил тебе нож? — спросил Хлестак. Варя полулежала на кровати бледная.

— Вот нож, — она достала из кармана халата нож для чистки картошки, который вчера машинально засунула в карман, — он у меня случайно оказался.

Хлестак испытующе смотрел ей в глаза.

— Ладно, ребята, — сказал он, — не дело с бабой конфликтовать. Но ты, — он повернулся к Тарзану, — научи

свою бабу воров уважать, — и пошел к двери, за ним потянулись и другие, последним Крот, который обернулся на пороге и крикнул:

— Все равно поймаю и удавлю!

Что и говорить, перспектива, не сулящая беззаботной жизни.

Жаловаться милиции на воров, Варя знала, смысла нет: участковые «своих» воров знали в лицо; милиция знала, кого из воров... можно посадить, и воры знали, когда милиция имела право посадить вора. В дела семейные обычных людей милиция не совалась.

Тарзан ушел с ворами и не вернулся ни в тот день, ни после. Зина заходила к Варе и рассказала, что его видели с Блюмой-воровкой.

Значит, опять Блюма, подумалось Варе. Блюма так Блюма. Приходили мама с Олечкой, посочувствовали ей, что лицо случайно поцарапала, когда поскользнулась. Заходила соседка Зина, заваривала чай из брусничных листьев, помогала и Пелагея Ивановна. Даже и воры отнеслись к ней с сочувствием: им ли не знать, насколько непредсказуемо поведение Тарзана. Воры нет-нет да оставляли на столе продовольственные карточки, деньги. Все-таки, они, как и сами себя называли, — люди.

Варя поправлялась, прошли ушибы и синяки, разве что на душе сохранились. От раны на щеке осталась тоненькая полоска. Уже и ходила она без боли в ягодице. На дворе потешлело, пришла весна. Узнала от патристически настроенных воров, что «наши» в Берлине взяли рейхстаг. Ей это лично ничего не дало. У нее часто болел живот...

Однажды в солнечный майский день решила выбраться в магазин, оставались неотоваренные карточки: если не отоварит, то хоть продаст. Проходя мимо Володьки-инвалида, радостно махнула ему рукой, и он в ответ улыбнулся... Как-то случилось Варе встретить в городе инвалида на протезах, тот выглядел даже франтовато и шел уверенно; тогда Варе подумалось, что Володя скорее всего вредит себе тем, что пьет. Она завела с ним об этом разговор:

— Володя, если бы тебе не пить, ты и на танцы мог бы податься, как этот... настоящий человек, летчик.

— Я не летчик, — буркнул потускневший Володя, — и не человек я... полчеловека.

Варя заходила во многие магазины — везде народ. Решила

отправиться на Новослободскую, в гастроном, что напротив Бутырской тюрьмы. Пошел дождь. Хорошая погода неожиданно испортилась, помрачнело. Совсем так, как в жизни. И в этом Варе предстояло тут же убедиться самой, пробираясь по Тихвинской, она нос к носу столкнулась с Кротом.

Как принято говорить, все у нее внутри оборвалось. Она метнулась во двор дома, находившегося рядом, делая вид, что именно сюда и спешила, словно и не видела Крота. Но тот разгадал ее хитрость, пошел следом и, догнав, положил руку на плечо:

— Что так спешишь? — сказал вкрадчиво. — Пойдем, поговорим, у меня тоже здесь знакомые живут.

Если даже он не врет, мелькнуло у Вари, то известно, какие у него могут быть знакомые. Притворившись спокойною, словно ничуть его не боится, она проговорила этак мягко, доброжелательным тоном:

— Знаешь, Миша, у меня девчонка дома одна... я за продуктами выбежала. Как-нибудь в другой раз... сейчас, ну не могу, девчонка одна...

— Где Тарзан? — он словно не слышал ее.

— Не знаю... Гуляет, где же еще, а может сидит...

— Ты помнишь, что сделала? — Крот имел в виду, конечно же, свою порезанную щеку. Подойдя к ней вплотную,дохнули какой-то смесью кислой вони чеснока с табаком и водки.

— Помню, Миша, — ответила она миролюбиво. — Ну и что же ты теперь хочешь?

— Пойдем... поговорим, а то... кто будет носить молоко твоей девчонке?

Варя за свое:

— Потом, Миша, я же не против, — она молилась, чтобы хоть кто-нибудь зашел во двор. «И зачем меня сюда занесло!» — кляла себя. — Да я сама приду, — обещала Кроту, — давай только обговорим, когда...

Он действительно ее не слушал. Не дав ей говорить, рывкнул:

— Брось! — схватил за руку и потянул в подъезд. Варя хотела закричать, но он взял ее за горло, другой рукой обнял за талию и потащил вниз по ступенькам — в подвал. «Вот и конец мне», — решила Варя. Крот зашипел ей в ухо:

— Поори только, враз глотку перегрызу.

Он повалил ее на грязный пол и навалился как был, в

расстегнутом длинном пальто. Она видела мельком его злобные маленькие глазки и задохнулась от чесночно-табачковой вони. Его руки грубо рвали ее платье, трусики. Затем ее задыхающиеся полуоткрытые губы очутились в вонючей пасти зверя.

— Вот... так... козочка, — уже безразличным тоном, зевая, еще часто дыша, проговорил Крот, закончив, наконец, дело, вытирая о подол ее платья свой обмякший инструмент, — не всякого вора можешь оскорблять, стерва.

...У Вари перехватило дыхание, тело пронзила невыносимая боль. Она закричала изо всей силы и на ее крик в двери квартиры стала стучать соседка Зина, но Варя, обессиленная, не смогла дойти до двери, чтобы открыть. Тогда Зина стала звать на помощь, и мужчины выбили дверь. Кто-то куда-то побежал, кажется, к проходной завода позвонить в «скорую». Так и случилось, что в день Победы она родила мертвого ребенка. Не видел победного салюта и Тарзан. Варя не ошиблась, когда сказала Кроту, что, может, он сидит: он сидел. Когда Варю выписывали из больницы, Тарзан путешествовал по этапам в Институте промывания мозгов.

Глава седьмая

I

Поезда со спецвагонами для перевозки зеков (некоторые из них называли себя Люди) ходили нерегулярно, и зеки в каждой пересыльной тюрьме коротали время в малокомфортабельных условиях по многу недель.

В пословице говорится: «Хуже нет, чем ждать да догонять». Но ждать хуже: кто ждет, от того ничего не зависит; кто догоняет, хоть не скучает. Пересыльные тюрьмы к тому же набиты до отказа, когда спят и под нарами и, скажи спасибо, что хоть лежать можешь. Скука страшная и мух до черта! От скуки люди ловили мух и определили норму, сколько каждая человеческая единица должна поймать жужжащих. Трупы

представлялись «контрольной комиссии» — лучше, чем бездельничать.

На одной пересылке в камеру затолкали столько народу, что даже мух ловить было невозможно в тесноте. Скиталец и еще несколько человек вынуждены были расположиться под нарами — темно, но сравнительно свободно.

Когда их впускали в камеру, он оказался в числе последних. В этой системе крайне важно уметь рассчитать, где и как находиться в той или иной ситуации. Когда массу выводят, необходимо быть впереди, чтобы там, куда приведут — вагон ли это, баня ли, столовая — живо ориентироваться на захват более выгодной позиции. Когда же ведут на работу, на территорию объекта, необходимо оказаться в числе последних, в надежде, что всю работу разберут и, глядишь, тебе ничего не достанется.

Итак, нары захватили те, кто ворвался первыми, а Скиталец полез под нары. Не валяться же в заплыванном проходе, чтобы через тебя шагали к параше! Ночью он проснулся и испытал непреодолимое желание избавиться от гнетущей тяжести в «центральной» органе и, именно тогда, когда он был занят удовлетворением зова природы, думая, что здесь в темноте этого никто не видит, он услышал шепот:

— Зачем же так! Лучше в меня, — в сказанном слышались нотки упрека и сожаления: пропадает зря добро, которое другому надо.

— Ты что! — Скиталец уже различал во мраке худую фигуру в рваном бушлате у стены.

— Белладонна я, — представилась фигура хриплым голосом и поправила подушку, то есть рваную ватную шапку под головой. Скиталец выполз из-под нары, стараясь не прищипываться, до утра нервно шагал по камере, убеждаясь, что под нарами дышать было чище. Утром, когда всех вывели, он получше рассмотрел предлагавшего ему свою нежность в виде тощей задницы: костлявое заросшее лицо с широким носом, большой рот в болячках, гнилые зубы... Радость-то какая!

Пока добрался до станции Решеты, Скиталец насчитал на своем счету около двадцати тысяч мух. Наконец ему дали пинка, и он сошел с поезда. Встречали без цветов, но вполне приветливо:

— Садись!.. Суки!..

Сесть, кроме как на землю, было некуда, но хоть предложили и то ладно. Встречали самоохранники, им доверяли встречать «стольшин», когда было известно, что людей прибудет мало. Собственно, много привозили в товарных вагонах.

Заботливые, сами себя охраняющие хлопцы, — забавное явление в природе. Столкнувшись с этим впервые, Скиталец не знал, что и думать. Мор потом объяснил, что самоохранники — позорнее, чем самоубийцы. Если человек оказался в тюрьме — плохо, но что может быть сквернее, когда он еще и сам себя там сторожит.

Из прибывших в управление только одного Скита водворили в изолятор. Причину этого он не мог себе объяснить. В изоляторе провел трое суток, ломая голову над тенденцией политики всех от всего бесконечно изолировать.

Возможно, в канцелярии управления попросту не разобрались, в какой барак для прибывших транзитных пассажиров его посадить — к сукам или к честным ворам, к Красным Шапочкам или к Польским ворам, к Беспределу или к этим, которые «Один на льдине»? Разобраться же в этом надо было непременно, потому что миновало мирное жительство — в уголовном мире уже шла война, то есть резня.

Итак, вторая мировая война закончилась, у уголовников же началась... Спустя годы, иные литераторы назовут этот период «сучьей войной», или «войной воров». На самом деле называлось это просто: «резня». Все друг друга резали, одна уголовная масть другую.

А стало это возможно оттого, что Гуталинщик (такую кличку воры присвоили Генералиссимусу), будучи в хорошем расположении духа, отменил смертную казнь. Позже мыслители из воров, скорее всего это был именно Мор, пришли к заключению, что этот шаг явился коварным ходом, направленным против воров. Ведь жертвами смертной казни становились главным образом фраера, то есть политические, то есть в общем-то честные люди, если допустить, что таковые существуют или существовали в природе. Они расстреливались, как это наблюдалось ворами, пачками за их партийность, за ум, образованность, за стремление считать себя лучше других — борцами за всеобщее счастье на земле. Естественно, воров это не касалось, они не верили в возможность всеобщего счастья, всемирной справедливости, они скромно держались древних

патриархальных традиций, следовательно, не противопоставлялись институту власти.

Таким образом, они не давали повода, чтобы их физически уничтожали. Воры не судились по политическим признакам. Значит — не предатели, не агитаторы чуждых идей. Но конкуренты — это да, конкуренцию в некотором смысле они собою представляли: обирали народ, а это, как считала власть, не являлось их монополией. Теперь же, отменив смертную казнь, Гуталинщик открыл ход резне. Надо же было доказать всему миру, что, во-первых, преступный мир уничтожает сам себя, и, во-вторых, что нет у нас организованной преступности: какая она организованная, если сама себя пожирает! Ведь уже раскололся такой единый прекрасный мир честных воров, уже отпочковались от воров суки, от них — Польские воровы, от Польских — Беспредел, от этих — Красные Шапочки и от всех — Один на льдине, дрожащий от страха за свою жизнь без всякого на то основания.

2

В эти годы среди урок тут и там ходили разговоры о том (в точности никто ничего не знал, невозможно отыскать в стране нормального уркача, прочитавшего хоть страницу из сочинений Ленина), что Лениным якобы написано или сказано где-то, будто бы преступный мир уничтожит сам себя.

В Министерстве промывания мозгов, по-видимому, долго уже ждали, когда же это произойдет. И вот случилось чудо: отменили смертную казнь. Тут же началось долгожданное самоуничтожение преступников.

Мор в этой связи сказал, что диктаторы могут уничтожать народ не одними только расстрелами, а иногда даже, отменив своевременно смертную казнь. Убивать стало фактически разрешено: за это не наказывали. Собственно, наказание за убийство заключалось в сроке 25 лет лагерей — убивай, сколько заблагорассудится, больше не дадут. А двадцать пять лет... Для честного вора это не предмет для разговора, хотя бы потому уже, что по воровскому закону честные воровы обязаны воспользоваться любой возможностью совершения побега, исключение

делалось только в том случае, если у вора парашный срок.

Кажется, Иван Заграничный разьяснял Варе суть процесса образования сук и мастей: не желающие считаться ни с какими законами личности заерпились в воровскую среду, дабы присосаться к воровскому куску, в результате оказались судимы ворами на смерть. Не желая умирать, бесконечно меняли клички и регионы проживания, но рано или поздно разоблачались и были зарезаны.

Как же удавалось их разоблачать? А удавалось это благодаря памяти паханов и системе постоянных расспросов всех встречаемых, заезжих и проезжих воров. Паханы знали обычно всех мало-мальски достойных воров и сами являлись как бы адресным бюро: кладовые памяти паханов содержали большие числа памятных событий воровской жизни по всей стране. Немного похоже на старых аристократов, которые при встрече, как правило, уточняют, из какого корня пошел род того или другого князя, княгини или барона: «Ах, княгиня такая-то! А-а, из этих, которые по ветви таких-то... Ах, это Петр Сидорович из ярославских дворян, их род получил начало от...» и так далее.

То же и у воров. Спроси у какого-нибудь пахана, в каком году началась Октябрьская революция, он, возможно, и не вспомнит, но приличных воров в Питере, Ташкенте, Ростове, Барнауле перечислит по кличкам, знает, когда они в законе стали, а ежели кто-то осучился... Конечно же, они знают их приметы — особые и не особые, историю получения клички, манеру передергивать карты при тасовке — ничто не ускользает от зрительной памяти паханов. И что же тут удивительного: это их жизнь. К тому же и сами воры обожают себя всячески отмечать, например наколками (на каких только местах их не встретишь!). Поэтому проследить траекторию передвижения воров по континенту не так уж и сложно, о решениях же, касающихся их судьбы, становится известно повсюду как на воле, так и в Институте промывания мозгов.

Скигалец однажды сказал Вралю: «Это же прелесть беседовать с любым из этих мыльных, старых, мудрых «справочников» на пораженных подагрой ногах! Это очаровательнейшие из живых энциклопедий...»

Удравшие от воров суки тоже стали группироваться в свою независимую масть. Им тоже необходимо жить коллективом, ибо коллектив — это сила. Но в Институте промывания мозгов

им стало необходимо следить, как бы не очутиться вместе с ворами, иначе известно, что могло случиться.

Суки везде сколачивали свои корпорации, приветствуя в них всякую шваль; в Институте промывания мозгов они требовали изолировать их от воров, так же и воры вынуждены были требовать сугубо изолированных условий содержания. При случайных встречах представителей враждующих корпораций участились случаи мокрых дел.

В тюрьмах для всех мастей выделялись отдельные камеры, во всех управлениях лагерей — отдельные зоны. А мастей все прибавлялось, и всех надо было друг от друга изолировать — у администрации голова шла кругом. Суки, не считавшиеся с законами социализма, а также воровскими, издали собственные законы, которые тут же предали — предавшие сук называли себя «Польскими ворами» и создали свои законы, и сразу же многие «поляки» эти свои законы тоже предали — образовался Беспредел, который, в свою очередь, образовал свои законы. Чем не мировое общество в миниатюре? Чем не политика всех государственных образований на планете уже многие тысячи лет? Чем не структура всеобщей эволюции человеческой цивилизации?

3

Бараки для транзитных зеков отделены от зоны управления забором. Заборы, заборы и еще раз заборы! Население зоны управления состояло в большинстве из людей кавказской национальности — чечены, осетины, особенно много грузин. Они не были уголовниками. Интеллигенты, служащие, работяги, но, на чей-то взгляд, их мозги нуждались в очищении, и здесь, в Решетах, это достигалось на строительстве железнодорожной магистрали под названием «Ангарстрой». На пути прокладки будущей магистрали они еще строили поселки из финских домиков и рыли глубокие колодцы для будущих ударных комсомольских бригад, тоже строителей этой магистрали.

Скиталец не настолько был изолирован, чтобы лишиться возможности общения с окружающим миром, многое о здешней

зоне рассказывал лепила (врач — жарг.) — интеллигентный человек с кулинарным образованием, раздававший обитателям ШИЗО калики (таблетки — жарг.). Он же объяснил, что кавказцы доставлены в Решеты из-за отсутствия у них политической сознательности и еще ввиду того, что железнодорожная магистраль должна быть построена на уровне мировых стандартов.

Скит, взобравшись в носках на нары, «бегал» по ним или кружился. Чтоб занять свое тело такой минимальной нагрузкой, ему не хватало движений, надоело сжатое пространство изолятора. Куда-то его доставят? К какой масти? Все они ему осточертели, показалась издевательством судьбы эта их резня после войны. Не знал он, что похожая «резня» в эти годы имела место не только в стране социализма — и на другом полушарии планеты уголовники, мафия, гангстеры воевали, стреляли, уничтожали сами себя. Но у них, конечно, другие законы, другие правила игры, и эти парни там думать не думали, что где-то в мире тоже идет резня воров и сук и прочих, даже знать не хотели, что где-то еще, кроме Штатов, существуют достойные люди.

Наконец за Скитом пришли два надзирателя.

— Фамилия?

— Статья?

— Срок?

— Конец срока?

Как будто не ясно, что срок кончится тогда, когда вышустят. Скит назвал конец срока, определенного ему приговором.

— Мать? — потребовали от него.

— Работяга.

— Значит, мужик, — констатировали надсмотрщики, словно в этом можно было сомневаться.

— Пошли.

Его провели к трем баракам для транзитных зеков. Когда они приблизились к ним, услышали адский грохот, словно все три барака изнутри разбивали в сопровождении диких воплей множества зверских голосов. Создавалось ощущение, что из бараков стараются вырваться полчища чертей. Надзиратели остановились.

— Подождите здесь, схожу посмотрю, — сказал один. Он скоро вернулся и сообщил, что лучше вернуться в изолятор.

— Там вору бушуют.

Означало это, что вору выбивали двери чем попало — парашами, скамьями, вдохновляя себя призывами из цитатника блатного фольклора, внося в него свежие и как можно более трудноподражаемые элементы красноречия.

Скита вернули обратно в изолятор дожидаться, когда вору перестанут бушевать. И что это они? Что их взволновало? Хотя... они могли разбушеваться и от скуки. Скит от скуки (не разбушеваться ли и ему?) опять начал ловить мух, но в соседнюю камеру привели какого-то фрукта, который тоже скандалил будь здоров как! Он орал проклятья в адрес КПСС, мусоров, что они унижают его человеческое достоинство, лишая свободы слова, обещал объявить смертельную голодовку, выгацил зубами из нар гвоздь и, пользуясь каблуком ботинка, прибил к ним свою мошонку. Надзиратели, рыдая от жалости, выгацили гвоздь и освободили мешочек, но смертельную голодовку фрукт грозился держать аж семь дней.

Скоро за Скитом опять пришли и снова повели к транзитным баракам. На этот раз в них царила относительная тишина: кроме обычного нормального мата ничего не было слышно. Скита принял дежуривший в транзитке надзиратель, отомкнул одну из камер, куда Скит и водворился.

Когда за ним захлопнулась дверь, он нашел себя в большом помещении с длинным столом посередине. С двух сторон расположились, как везде в бараках, массивные двухъярусные нары от двери до окон. А на них...

4

Сперва его оглушил запах. Скит стоял как столб и вдыхал, впитывал кисло-сладостную «мирру» через нос, рот, и спустя несколько минут им овладели астральные видения. Он узрел толпу примерно из сорока необыкновенных существ: какая-то неземная корова мычала и ржала одновременно, выкручивая в то же время копытце хрюкающему кабану рачьиими клешнями; за столом хохотало стадо обезьян-макак; один орангутанг, свесив лапы, дико рыча, прыгал на столе — подпрыгивали алюминиевые кружки; на полу валялись, кувыркались хохочу-

щие, визжащие, плачущие и верещащие, как свиньи, существа — они что-то жрали и курили... Дым, дым и вонь. Все это нечто уставясь на вошедшего Скита, показывало на него своими конечностями и дико вопило. Перед глазами Скита весь этот ад смешался, в ушах возник прерывистый режущий звон. Опомнившись, он сообразил: наверное, сошел с ума. Но пришла ясность: все тут во власти кайфа, имя которому — анаша. Она и превращает людей в белых лебедей, австралийских страусов, вызывает безумную радость или невыносимую тоску, создает мучительные страдания, жалость и сочувствие и безучастие ко всему в мире; одним словом — это Дурь.

Но хотя и Дурь, к утру жертвы ее, если говорить изысканно, очухались. И можно сказать наверняка — пожрать в этой камере ни у кого ничего не было (аппетит от Дури возникает такой, что человек пожирает все, что доступно).

Очухалось население камеры своевременно: начали вызывать на этап. Канцелярские специалисты управления, руководствуясь сведениями в личных делах, определили каждому его конечную точку прибытия и, будьте любезны, собраты с вещами! Вместе с десятью субъектами отправился в путь и Скиталец.

Через калитку в одном заборе, в другом, в третьем, через калитку в проволочном ограждении, затем всех три раза пересчитали, далее самоохранные пропустили всех вперед и сопроводили на станцию узкоколейной железной дороги, где стояла «кукушка» с двумя вагонами, один из них — вагонзак, как принято его величать изысканно.

Вагонзак внутри разделен решетками-перегородками на три равных отделения. Прибывших закрыли в отделении справа от двери, решетчатую дверь замкнули. Пассажиры расположились на деревянных скамьях, некоторые под музыку собственной композиции начали бацать от избытка энергии. Нар в этих вагончиках нет — не «стольпин» — да и путь предстоит недолгий: несколько часов. В отделении посередине — два конвойных с автоматами.

Скиталец догадался, что его попутчики — суки. Достаточно было прислушаться к разговорам, чтобы понять, кто есть кто. Сам он вроде не вызвал интереса к своей особе, что мужик — сукам стало ясно по его поведению: он не интересовался, в чью камеру угодил, а это только мужику безразлично. К тому же у

него на лбу написано: «пахать». А воры и суки ни за что не войдут в камеру или зону, не выяснив сначала, какая в них масть: кому охота попасть впросак! Всякая масть обитает только своею средою. Скитальцу симпатичнее воры, но об этом теперь лучше помалкивать.

Небольшой состав не спешил отправляться. Суки бадали — пыль столбом, некоторые перебирали клички известных сук, которых предполагали встретить там, куда к вечеру попадут; они знали — куда. Скит не знал. Конвой перекидывался в картишки. Раздавались голоса рядом с вагоном, дверь вагонзакра растянули, — привели еще одну группу пассажиров. Этих затолкали за решетку слева. Воцарилась настороженная тишина: кого привели? Сквозь решетки справа и слева люди старались рассмотреть друг друга. К конвойным присоединились еще двое, и составчик тронулся.

— Тамкто? — крикнули суки тем, за решеткой напротив, — что-то не разобрать рожи через эти «тюлевые гардины».

— Ваших харь — тоже! — ответили сукам. — Куда вас везут? Воры есть?

— Ого-го! — Теперь сукам все понятно: «Воры есть?»... Воров им, гадам, захотелось?! Впрочем, только воры и способны были везде запросто орать о себе. Представители других мастей о своей «партийности» предпочитали громко не распространяться. Сукам смешно до коллик: этим воры нужны!..

— А вы что же, воры? — проорала какая-то сука, и сострила: — Из воров в мире только вы и остались, понял! — Суки хохочут. — Остальных мы везде уже согнули в букву «Г»... и они теперь все бляди!

Тут уже и вора́м ясно, какой контингент с ними едет. Конвойные располагаются поудобнее, как и полагается в театре: начинается спектакль, уж они-то знают.

— А-а! Педики! Вас в бабскую зону везут?.. — Воры кричат издевательски.

То были первые пробные аккорды, первые акты симфонии изящной словесности, в блатной интерпретации это называется: воры лаются. Термин «вор» в данном случае обобщающий, на самом деле можно сказать — «блатные».

Необычной, даже неуместной показалась вдруг наступившая в вагоне минутная тишина; как вдох, концентрация вдохнове-

ния. И вот последовал мощный аккорд — экспрессия, но еще не фортиссимо.

— Козлы! — примитивно.

— Пидарасты! — какая неграмотность!

— Чтоб тебе сосать всю жизнь шоколадную конфету...

— А тебе, сука, лизать сливочное мороженое с миндалем...

С обоих концов вагона последовали общие призывы идти туда-то, сделать то-то, почти как в центральных газетах в предпраздничные дни, типа: «Да здравствует...» или «Слава...» и другие.

— Чтоб вам вечно сбитые сливки сосать — желают одни, но без добавления: чтоб завтра больше, чем сегодня.

— А вас чтобы красной икрой рвало! — не остаются в долгу другие.

Лай блатных затянулся, потерял свежесть, стал однообразен, и конвойные начали позевывать. Нельзя разве как-то оживить представление?

— Эй! Ублюдки! Отбросы! Паскуды! — как все же специфичен их словарный запас и беден! — Кончайте свою блевотину, твари ползучие! Молчать всем! — Конвой знает, сей речитатив только возбуждает блатных, будит в них новый всплеск эмоций, и не ошибается. Но теперь орут все — и суки, и воры, и конвойные.

Суки и воры бросаются на решетки, притворяясь, будто стремятся вырваться из клеток, конвойные посередине хохочут, крутятся, плюют в тех и других, орут им свои оскорбления, и это уже фортиссимо! Такого рева, такого визга и потока извергаемых гнусностей трудно себе представить и в аду. Вот это да! Вот это по-человечески!

— Держите меня! Зашибу!

— Убью! Зарежу! В рот тебя (жареным пончиком)... В нос!

— Я — твою мать (медом помажу)...

— А я — твою бабушку... сидром оболью.

Словно из другого мира доносится стук колес. Скиталец, дотянувшись до маленького в решетках оконца, констатирует, что снаружи — зелень лесов, даже удастся различить птичек, там в природе течет какая-то жизнь, и интересно ему: сейчас здесь, в вагоне, это тоже природа? Он где-то слышал, человек — царь природы, разумное существо, мясо употребляет в вареном виде.

Тайга безбрежна. Что такое тайга? Это очень большой лес. До того большой, что можно ее рубить, жечь, а ей конца нет. И рубят. Когда же удается выбраться из бесчисленных зон в побег — жгут, двигаясь сами против ветра. Беглецы поджигают тайгу, чтобы, стораю, она не выдавала их следов. И горит она, милая, выгорает на десятки, а то и сотни километров, сторают заживо звери и птицы, высыхают реки — вот какой прогресс всеобщего развития человеческого рода! А все равно тайги еще много, уж очень она большая. Настолько большая, что многие сотни зон в ее дебрях, наверное, даже с самолета едва заметны.

На какой-то станции воров сняли, дальше им предстояло добраться пешаком. Что ж, устали они уже лаять, аж говорить стало невозможно, захрипели — долаялись. Дальше им идти в глубокие и дремучие болотистые леса, где расположилась их специальная воровская зона — «Девятка», причем не простая, а особорежимная: не всякий вор устаивался сюда командировки.

Кое-кто из сук эту Девятку знал, они там бывали, когда были еще честными ворами — мерзкое место, по их оценкам, не дай бог, там очутиться! Так что, туда вам и дорога — честняги.

— Чтoб вам сдохнуть, сгнить на своей Девятке! Чтoб вас сифилис сожрал!

Воры тоже рады отдохнуть от сук поганых.

— Чтoб вашу Тринадцатую зону мочой затопило!

— Гады!

— Твари!

— Чифиристы!

— Аферисты!

Конвоиры пожелали и тем, и другим поскорее оказаться в аду.

Вагоны катятся дальше, конвоиры, тоже охрипшие, принимают за карты, суки приутихли.

5

Сук принял с поезда конвой, их повели по таежной дороге, но многокилометровые марши никому не сахар, в том числе и конвоирам, тащившимся вежливо, как всегда, сзади. Наконец

открылась им Тринадцатая зона, которая по внешнему виду не отличалась от большинства архитектурных шедевров подобного типа.

Усталые и пыльные, хриплые от лая, провонявшие потом, подошли они к воротам своей цитадели. Конвой расположился в отдалении с таким расчетом, чтобы суки были надежно отгорожены от возможности «заблудиться» в тайге. Из вахтенного сооружения вышел «хозяин» со свитою принимать прибывших; вышли и рядовые мусора, которых некоторые величают надзирателями.

В который раз за всю дорогу прибывшие должны перечислить все свои данные, пока наконец им разрешат вытряхнуть из своих мепков содержимое, дабы эти подлые мусора могли его получше рассмотреть. Самих же их попросили раздеться догола и заняться художественной гимнастикой: поднять руки, расставить ноги, нагибаться, выпгибаться и прыгать выше собственного члена, хотя известно, что это еще никому не удавалось: мусора придирчиво заглядывали им в зад в надежде увидеть добавку к зарплате в виде премиальных. — и кому может прийти в голову искать премию в таком месте...

Глава восьмая

I

Относительно сук в сравнении с ворами можно сказать, что хрен редьки не слаще. Разумеется, это дело вкуса. Одному больше нравится хрен, другому предпочтительнее редька. Скиталец уже имел контакты с суками: до фронта в лагерях с ним расправлялись именно суки, хотя и они назывались не везде еще так и их еще не резали. Гуталинщик не разрешал.

Если воры не должны работать и им не положено, то сукам — положено. Ворами не позволяет их закон, сукам не запрещает.

Политические законы часто подвергаются, как известно, реформации по разным причинам. Воровской неписанный закон

тоже видоизменялся в течение многих столетий, оставаясь неизменным лишь в основных положениях. Но в любом виде по отношению к общественным законам он беззаконие. Сучья законы по отношению к воровским — тоже беззаконие. За сучьим беззаконием последовали другие «законы» беззаконий, в конце которых оказались «Один на льдине». У этих был единственный закон: сберечь жизнь свою. В будущем это могло бы наверняка назваться политикой невмешательства.

По признаку своей природы и воры и суки — одна пшуба, только в последнем варианте наизнанку. Вор по закону не работал сам и не заставлял мужика, но делал так, чтобы тот работал на вора добровольно; суки принуждали мужика работать насильно и сами становились бригадирами, десятниками, нарядчиками, комендантами, что ворами тоже было заказано их законом.

А «гражданину начальнику» суки нравились больше, чем воры. Скиталец знал, что заработная плата, даже мизерная, ему у сук не светит — в этом суки тоже отличались от воров: те оставляли мужику столько, чтобы у него не пропадала охота работать, суки отнимали же все, оставляя только пайку. Наиболее доходчиво разницу между суками и ворами объяснил Мор: у капиталистов разбой называется разбоем, у социалистов — благотворительностью.

2

Лесоповал — кедры, сосны, березы, зелень, запахи, птицы, ягоды, родниковая вода... красота. Но Скиталец не любил лесоповал: здесь царила неописуемая каторга, от которой выматывались до изнеможения и люди, и животные — лошади. Люди и животные находились здесь в одинаковом положении.

Однажды в оцеплении (примерно квадратный километр леса для вырубки, отделенный просеками и вышками от большой тайги — А.Л.) он случайно набрел на компанию мужиков, сидевших на бревнах. Они курили махорку, травили анекдоты. Присмотревшись, он понял, что это «живая очередь», словно на прием к зубному врачу: каждый, вновь подошедший, устанавливал, кто последний. Скит хотел стрелкнуть у кого-нибудь

покурить, затянуться, если не больше.

— Что дают? — пошутил он, наблюдая маневры бурундучка на сосне, удивляясь сходству зверька с белкой.

Из-за штабеля бревен вышел мужик и быстро удалился. Кто-то из видевших крикнул вдогонку: — Как она? — Мужик даже не обернулся, пропал в кустах.

На вопрос Скита мужики рассмеялись.

— Первый раз что ли?.. Пусть пойдет без очереди... хоть посмотреть.

Сначала он увидел лошадиную морду, зарывшуюся в кучу свежей травы. Она жадно хватала ее губами, изредка пофыркивая. Затем осознал остальное: кобыла оказалась загнанной между бревнами так, что ни туда ни сюда, у ее зада трудился мужик, держащий в одной руке хвост кобылы.

— Че стоишь, — крикнул он Скиту, — поди, поцелуй ее, а то мне отсюда не достать! — и заржал.

Позже Скит наблюдал трелевку бревен из болотистого участка и в очередной раз убедился в невероятной тяжести женской доли: на повозки нагружалось столько леса, что бедные лошади не в силах были их тянуть, а любовники избивали их толстыми дрынами смертным боем, несчастные животные рвались изо всех сил, опустив морды до самой земли, кропили ее кровавой пеной из ноздрей. И кто здесь человек, а кто животное — решить не просто. Какая несправедливость: ведь потом их опять... за штабеля! Обессиленных, голодных. К тому же любовники отбирали из их рациона немало овса, который варили себе на костре для укрепления сексуального потенциала.

3

Итак, самоуничтожение в преступном мире...

Да, примерно в эти же дни в далекой Америке, в Нью-Йорке, пять крупнейших гангстерских «семей» уничтожали друг друга: у них тоже своего рода «большая резня»; хотя ножи там применялись редко.

Вряд ли работники Института промывания мозгов сами верили в то, будто Лениным действительно было сказано, что преступный мир сам себя уничтожит, но допускаю. Со временем

они, однако, разочаровались: слишком уж малыми порциями происходило у преступников их самоуничтожение. Так что они уже начали сомневаться в предсказании Ленина и, надо отдать им должное, среди них оказалось достаточно здравомыслящих, не изучавших Ленина. Они пришли к пониманию, что медленное развитие данного процесса объясняется безучастностью, бездеятельностью самих же работников системы. Привыкли бездумно пользоваться благами в лице дармовой рабочей силы, которая им и дровишки на зиму заготовливала, и развлекала театральными представлениями. А чтобы содействовать передовому процессу самоуничтожения преступников — и не шевелились. Только и занимались — на партийных собраниях лясы точили, да и то неохотно.

Обязали всех создать проект ускорения самоуничтожения преступников.

На места промывания мозгов были направлены представители для изучения условий масштабного самоуничтожения преступников: необходимо было понять причины возникновения резни. Несмотря на существование в столице институтов, докторов наук и профессоров, получавших высокие оклады за изучение настроения в среде преступников, они эту механику не понимали, потому что, как уже объяснял Иван Заграничный, их основная работа до сих пор состояла в обязанности докладывать верховному усатому командованию об отсутствии преступного мира.

Прибыв на место, осмотревшись, представители схватились за лысые головы. Они сделали открытие, опровергающее напрочь быгующее в идеологических анналах утверждение об отсутствии в государстве организованной преступности, которое считалось до сего времени исключительно веским доказательством преимущества социалистического строя. Оказывается, эта треклятая организованность у этих подлецов все же есть! Именно сам факт резни не отрицал этого, а доказывал. Схватились представители министерства за башки и зачесались: что-то надо решать. Но как? Если организованности не должно быть, но она все-таки есть? Как доложить Верховному командованию, что обнаружено то, чего нет?

Ведь порядок такой: чего быть не должно — того нет, а если они все-таки что-то там обнаружили, значит, мозги у них барахлят, и надо их выпотрошить или промыть. Лысые.

наверное, потому и лысые, что понимают. Но усатые понимать не желают, они — постанавляют.

Тогда представители додумались: уж коли эта организованность существует и благодаря ей началась резня, тем более необходимо ее ускорить во имя искоренения организованности, чтобы самоуничтожилась она с такой скоростью, при которой отпадет необходимость докладывать о ее существовании. Потом можно утверждать во всеуслышание: да, была, но вся вышла, потому что у нас нет того, чего быть не должно.

4

Результатом таких умозаключений ведущих мыслителей системы промывания мозгов стало то, что однажды на воровском спелу, Девятке, примерно с полсотни воров были отправлены в этап, а куда — не сказали; об этом редко говорят и к подобной невежливости здесь не привыкать. А доставили партию к воротам 13-й сучьей зоны.

Воры старались расспросить вольных бесконвойных, идущих мимо: какая зона, чья? Воровская или, не дай бог, сучья? Ничего не узнали, все как воды в рот набрали. Единственно, конвоиры намекнули, что в зоне де воры, этак по секрету намекнули, чтоб не волновались честняги. Да и то: для конвоиров уголовники всех мастей все одно — воры. Сквозь щели в заборе воры видели в зоне мелькавшие тени и стали кричать — выяснять обстановку:

— Эй! В зоне! Воры есть? — традиционный вопрос.

— Есть! — отвечали в зоне, воры даже не уловили в ответе глумливости. — Есть воры, есть!

Прибывшим этого недостаточно: надо, чтобы крикнули оттуда поименно, кто есть из известных, авторитетных воров.

— Россомаха здесь! — орали из зоны.

Конвою эти крики надоели:

— Не орите, не положено!

Как полагается, прибывших вышел приветствовать Хозяин (начальник лагеря — жарг.) со свитою: тут и кум (оперуполномоченный — жарг.), и КВЧ (начальник культурно-воспитательской части — А.Л.), и Режим (начальник по режиму — А.Л.),

и Спецчасть. Как и полагается, воры должны опять вспомнить свои фамилии, даже имена-отчества, даже срок и, как полагается, надзиратели разденут их догола, заставят прыгать выше собственного члена и заглянут в «то место» в поиске премиальных. Наконец гостеприимно распахиваются ворота — пожалуйте в зону. Но почему не видно встречающих? Такой уж с давних пор обычай: когда воры в зоне знают, что этапом прибыли их однопартийцы, то все, кто в данное время присутствует, спешат к воротам встречать: вдруг знакомый приехал или товарищ по воле. Да и просто это признак воспитанности — встретить своих единомышленников, пригласить к себе в барак чифирком побаловаться. Но на этот раз что-то не видать приветливых морд, лишь издали процессию воров наблюдали серые личности, прижавшиеся к стенкам бараков.

Зато тут же объявился комендант, одарил прибывших радужным блеском золотых зубов, и вообще радость от встречи с ворами его буквально переполняла. Из каскада его приветственных речей ворами становится ясно, что воров сейчас в зоне нет — они в лесу, на пикнике, на природе, слушают пение птичек, а прибывшим сейчас первым делом надо в баню, погреться-попариться, смыть дорожную пыль, а там и хлопцы все соберутся. И приглашает он воров следовать за ним.

Воры зашагали за золотозубым комендантом по деревянному настилу лагерных тротуаров в сторону бани, расположенной, как почти во всех зонах без исключения, в одном из углов территории недалеко от вышки.

Воры во главе с комендантом подошли к бане, но дверь в нее оказалась запертой. Комендант постучал кулаком по двери, открывать ее никто не спешил. Вырутавшись, комендант отправился искать банщика — так он сказал ворами, которые расселись и закурили, одни на траве, где она была, другие — на корточках. Оживленность сменилась настороженностью. Из всех прибывших воров заметно выделялись двое: Кнур — авторитетный вор сорока лет солидной комплекции, славившийся своей свирепостью и физической силой; второму и двадцати, наверное, не было, воры обращались к нему ласково: «пацан». Остальные воры — середняк. Ключики здесь были и известные в воровской среде, и не очень.

Еще невидимые ворами у бани, закрытые их взору баракком, уже подходили толпою суки. Их насчитывалось более ста

человек, в руках у кого что: ломы, палки, колуны, швабры, пики (ножи), кирки, цепи, лопаты. Среди сук тоже выделялись центровые во главе с Россомахой, высоким, кряжистым мужиком — на плоском лице безжалостные глаза убийцы. Были и здесь разные клички, смешные и хищные; вместе с суками шли и мужики — их амбалы и придурки, которым суки велели идти к бане в качестве толпы, чтобы внушить воров ложное представление о численности сук. Но и без них сук было вдвое больше воров, даже втрое. Толпа шагала тяжелой поступью, старались не шуметь; шли молча, во взглядах злорадство, зубы хищно обнажены, дыхание затаенное — идут убивать.

Но не физическая смерть воров важна для сук — им важнее моральное их падение, духовное поражение; сукам необходимо «согнуть» воров, заставить отказаться от воровского закона; сукам выгоднее, если воры предадут свой закон так же, как сделали они сами, и станут тогда с ними, с суками, на одном уровне. И вот они идут, достопримечательные суки, на убийства тела и духа, ибо, если кто из воров не захочет согнуться — тому смерть. Сукам уже нечего терять, они уже не могут кичиться воровской честью. У воров же что-то еще осталось, и это необходимо у них отнять — таков сучий закон.

5

Когда толпа сук окружила воров, открылась изнутри и дверь бани, из нее выходили тоже вооруженные суки. Воры застыли потрясенные, понимая, что попали в ловушку. В зоне — суки!

Суки окружили их плотно со всех сторон, воцарилось молчание. Воры понимали ситуацию: предстоит испытание на прочность — станут гнуть.

— Кнур! — крикнул, наконец, Россомаха главному здесь из воров. — Тебе конец пришел. Или пойдем перекинемся в терса (карточная игра — жарг.)? Почифирим, а?

Это было предложение отказаться от прежней жизни. Кнур стоял, сопел, озирался вокруг, как затравленный кабан. Он был не из робкого десятка, прикидывал, может удастся выпрыгнуть через проволочное ограждение на запретную полосу у забора, там с вышки его положат, он будет лежать, пока не выведут,

но... для этого надо пробиться через кольцо сук. Остальные воры сгрушировались вокруг Кнура. Пацан держался рядом со своим лагерным другом по кличке Щербатый — не тот, который Ташкентский, а Читинский. Щербатых вообще-то много. Щербатый и Пацан вместе жрали.

— Нет, Россомаха, — Кнур его знал, Россомаха ведь когда-то был вором, хорошим вором, — наши дороги не сойдутся, канай сам с этой своей блядской компанией. — Кнур проговорил это глухим голосом, спокойно, а суки продолжали молчать, лишь всматривались в своих врагов. Они наслаждались этим мгновением ясного понимания предстоящего безнаказанного кровопролития, выбирали жертв, не боялись ничего: ведь воров, прежде чем выпустить в зону, тщательно обыскивали, так что суки знали — воры безоружные. Обычно, будучи изолированы друг от друга заборами, решетками, они затевали лай. Теперь же никому и в голову не приходило начать лаяться, теперь другое...

— Что ж... — проговорил зловеще Россомаха, — тебе виднее, Кнур. — Воры! — крикнул, обращаясь ко всем. — Кто хочет остаться живым — выходи сюда! — Россомаха показал рукою, куда надобно встать тем из воров, кто согласится уйти от своих.

Над толпою нависло тягостное ожидание. Воры плотнее сжимались вокруг Кнура, но вот... на указанное Россомахой место шагнул Щербатый, оттуда уже крикнул Пацану:

— Давай сюда! Тебе что, жить надоело?

Пацан, бледный и трясущийся, стоял неподвижно, из глаз лились слезы.

— Ты уже не вор? — спросил Щербатого Россомаха. — Тогда скажи... громко скажи: «Я больше не вор, я — сука».

— Я больше не вор, я — сука, — повторил Щербатый за Россомахой.

Тогда Россомаха сунул к лицу Щербатого нож и велел:

— Целуй нож сучий! В знак клятвы...

Щербатый поцеловал лезвие ножа в руке Россомахи. Тут к нему подскочил еще один из сук, сунул в руки кочергу и приказал:

— А теперь бей этого сопляка, пока не откажется, — он показал на плачущего Пацана. — Ты дал клятву сучьему ножу, выполняй! Бей Пацана!

— Витек! Ну, откажись! — умолял Щербатый своего друга, подходя к нему. На шаг приблизились к вора и остальные суки.

— Бей! — орала суки на Щербатого, и тот поднял кочергу. Еще мгновение, и удар, не очень сильный, обрушился на плечо Пацана. Теперь заорали, залаяли все вору. Нет, никто не просил пощады, просто начался привычный лай, но еще несколько воров отскочили от своих на указанную Россомахой точку спасения. Щербатый же готовился избить своего друга насмерть. Он и сам пришел в ярость от глупости того, во имя чего этот дурак дает себя изуродовать... Тут случилось неожиданное.

Ошиблись суки, считая, что вору безоружные. Ножи у воров были и прятали они их не там, где искали надзиратели. Надзиратели и не искали особенно, ими не было предусмотрено обнаружить у воров ножи... Поэтому-то и случилось, что у Пацана в руке оказался нож, который он, плача и умоляя: «Не бей меня!» — легко воткнул себе в сердце. Возможно, на него подействовал ажиотаж воровского энтузиазма, которым он, живя с ворами, пропитывался, — он ведь был наслышан о подвигах воров, пожертвовавших жизнью во имя воровской идеи. Возможно, он умом-то и не понимал, что исполнили его руки. Он упал замертво к ногам друга... И пошла резня. Уже проткнули насмерть двух воров. Других отгеснили и страшно били до тех пор, пока еще наблюдались признаки жизни — цепями, ломами. Некоторых хватили за руки-ноги и подбрасывали вверх — они падали плашмя на землю, трещали сломанные кости; некоторым выкалывали глаза; одному вору отрубили руку. Люди обезумели, воздух над зоной наполнился криком, небо над зоной выло и рычало, а на вышках часовые спокойно покуривали. Мусорам было все равно, кто кого больше зарежет — вору сук или наборот.

Кнур успел повалить многих сук, прежде чем в него угодила брошенная кирка, воткнувшись острием в живот. На еще живого Кнура бросились несколько сук и кромсали его, уже мертвого, остервенело. Постепенно бой затихал, суки выиграли сражение. Мужики, пригнанные для массовости, воспользовавшись суматохой, давно потихоньку ушли.

Когда со всеми ворами было покончено, у бани 13-й зоны на земле, пропитанной кровью, остались убитые. Оставшихся в живых, теперь уже бывших воров, согнутых, впустили милос-

тиво в баню вместе с победителями: надо же освежиться, помыться после ударного труда. Смыв с себя старую «веру», новоиспеченные суки вышли из бани со всеми, чтобы продолжать ту же самую в сущности воровскую жизнь, но уже без права жрать из «воровского котла».

И что тут выяснилось! Что открыли они, бывшие честные воры, сукам? Оказывается, они давно уже относились критически к положениям воровского закона, уже давно пришли к заключению, что котлом и другими воровскими привилегиями, в том числе «подогревами», пользуются главным образом одни центровые, словно какая-нибудь партийная элита в большом обществе. Так что они рады, что суки вроде освободили их от воровской несправедливости...

Суки праздновали победу. Назавтра кому-то предстоит взять эти убийства на себя, но не страшно, больше чем двадцать пять лет не дадут. Убил ты одного или десяток — все равно двадцать пять. Кум, конечно, отлично знает, кого именно надо будет «дергать» на допросы: блатные — как воры, так и суки — сами в сознанию не шли, дело брали на себя амбалы и те, кому терять особенно нечего, у кого и так сроки по двадцать и двадцать пять.

А ночью вывезут на подводах убиенных, и все это «мясо» свалят с бирками на ногах где-нибудь недалеко за зоной, вместо крестов воткнут колы с номерами их личных, наблюдательных дел.

Живые же празднуют победу, пьют чифир, с воодушевлением и, привирая как обычно, пересказывают, как, кто и кому перерезал горло, как рубанул топором, шандарахнул ломом, изображают, как сопротивлялись жертвы, демонстрируя все в позах, многочисленных вариантах, не подозревая, что уже составляются списки тех сук, которых однажды отправят на этап... в воровскую зону. Во имя ускорения самоуничтожения уголовников.

6

На другой день, едва убрали из зоны порезанных воров, кум начал дергать на допрос подозреваемых убийц. Допрос не занимал и трех минут. Он задавал лишь один вопрос: «Кого убил

лично ты?» После этого допрошенного закрывали в изолятор. Как можно было предвидеть, кум выбирал подозреваемых по некоторому расчету. Они были, конечно же, из шестерок, амбалов или фраеров, зарекомендовавших себя строптивыми. Скита кум тоже допросил.

— Ты кого укокошил?

— Никого, — ответил Скит, и его тоже закрыли в изоляторе.

Кум, конечно, знал, что Скит не являлся амбалом сук. Амбалы — удивительная народность! Амбала не надо сравнивать с идиотом — тот более распространенная разновидность нового человека или просто человекообразных. Амбалы в данном мире встречаются двух и более сортов, но основные — амбалы ворские и сучьи. Амбалов можно сравнить с партийными функционерами районного масштаба. В мире честных и нечестных воров амбал всегда отвечает за глупости тех, кому верно служит. Амбал не есть личность, но жаждет быть ею, и не просто шестерка, он — телохранитель той или другой личности, исполнитель ее воли, адъютант, оруженосец и мальчик для побоев. Он искренне преклоняется перед личностью, восхищается ею. Когда же рядом с ним нет личности — сам воображает себя ею и даже становится способен принимать самостоятельные решения. Амбал холуяствует осознанной гордостью.

Из кого образуются амбалы? Амбалы и есть те самые неудачники и в школе, и в жизни, из которых, по выражению великих криминалистических мыслителей, происходят преступники. Они не столько преступники — очень тупы, — сколько всеядные, жаждущие удовольствий, но не способные их себе создавать сами. Это про них сказано: сила есть — ума не надо.

Именно амбалы и оттерли Скита из среды подследственных, чтобы не примазывался к их амбальной славе. Отныне — после того, как амбалов осудят на двадцать пять лет — отныне их будут везде считать фигурами, матерыми бесстрашными убийцами, они станут личностями. Потому и орала амбалы единодушно про Скита, чтоб не путался под ногами настоящих мужчин: «Долой эту мразь!»

— Что же ты не сказал, что тебя у бани и не было, когда убивали воров? — упрекнул Скита опер.

— Я сказал, — объяснил Скит, — но мне не поверили.

— Суки сами доказали, — засмеялся опер. Он, похоже, испытывал расположение к Скитальцу. — Что же, обратно на 13-ю?

Скит не хотел больше к сукам.

— Тогда к ворам? — предложил опер. — Или к Беспределу?

— Шутишь? — закричал Скит. — К ворам, конечно! — с радостью согласился он. И был отправлен в транзитные бараки.

Глава девятая

I

Скиталец на 5-м ОЛПе держал в изоляторе смертельную голодовку. На этих широтах принято объявлять только исключительно смертельные голодовки. Независимо от того, сухие они или мокрые (с принятием лишь воды или без). Здесь в зонах уже давным-давно объявляются ежегодно сотнями смертельные голодовки, но не слышно, чтобы хоть одна из них закончилась смертью.

После резни воров в зоне 13-го ОЛПа следствие установило, что Скит не убивал воров, ему глубоко наплевать на весь этот процесс самоуничтожения. Он даже ни с кем не лаялся никогда — фронтовик (единственно лаялся с теми, кто неуважительно высказывался о его внешности, да и то предельно коротко, чаще всего врезал в циферблат). Что делать, время и ранения, избиения и прочие жизненные неудовольствия сильно навредили его былой красоте. Не известна, потребовала бы Варя от него слов любви, повстречай она теперешнего Скита: шрам от ранения в голову захватил и левую скулу, отчего глаз неестественно скривился, обезобразив лицо. Утверждение, будто шрамы украшают мужчину, скорее всего призвано служить им утешением.

Его уже хотели назначить на этап в воровскую зону, но он узнал, что в зоне управления главврач собрал медицинскую комиссию для выявления педерастов, которых во всех зонах

безбрежной тайги завелось видимо-невидимо. Медицинские комиссии, как известно, обладали правом назначать зеку трудовую категорию — последняя в их жизни играет немало-важное значение.

У Скита категория была первая, но он этим вовсе не гордился: считал, что имеет основание на самую что ни на есть никудашную категорию — четвертую, последнюю, освобождавшую от тяжелого труда, дающую право устраиваться в зоне придурком или даже вообще не работать. Он стал требовать, чтобы его перекомиссовали, тем более, что в личном наблюдательном деле — он уверял — документы о его ранениях должны быть. Ему отказали. И тогда он объявил смертельную голодовку... сухую. Семь дней не пил, не ел. Наконец его камеру посетил главврач и другие, велели и ему спустить штаны и нагнуться. Врачи стали смотреть туда, где, бывало, надзиратели высматривали премии, но врачи искали не премии, а хотели удостовериться, честно ли он голодал, и заодно установить, нет ли у него опасной болезни, часто проникающей в человеческий организм по этому каналу.

Заключив, что Скит к педерастии отношения не имеет или разве что активное, они стали выяснять, при чем тут его голова, когда в тайге работают руками... С трудом, но выяснили: на большую голову деревья падают чаще, чем на здоровую. Но не это решило дело, а то, что в его деле действительно обнаружались документы, подтверждающие фронтовые ранения. Не зря Скит добивался их еще в следственной тюрьме.

Месяца два думали врачи, признать ли за Скитальцем право на четвертую категорию. Чтобы отказать, ничего придумать не могли, но четвертую дать не захотели — дали третью, обозначавшую «легкий труд».

Семь дней сухой смертельной голодовки способны довести человека до крайнего истощения, тем более когда и до этого он не обладал излишним весом. Поэтому его поместили в стационар, чтобы он малость отъелся.

После стационара его опять водворили в барак для транзита, на этот раз в тот, в котором содержались воры. Здесь никто анашой не обкуривался. В камере человек пятнадцать мужчин занимались кто чем, главным образом играли в карты. На Скита тут же, конечно, накинулись с расспросами о его происхождении. Услышав, что он родом из Марьиной Рощи, один солидный старый вор, окладистая борода с проседью, предложил ему сесть

рядом с собой на краю нижних нар и с большим интересом стал расспрашивать про марьинских воров, кого из них он знал.

— Я и сам из рошинских, — объявил, смеясь, бородач, — ты и меня мог бы вспомнить, землячок. Но ты тогда пацаном был, — поправил он сам себя и представился: — Петро я... Хамадей, слышал небось? А Тарзана ты там знавал? Он-то молодой еще... Эй, Тарзан! Тут москвича к нам кинули, ты его не знаешь, случайно, а? — крикнул Хамадей одному из играющих на верхних нарах в карты.

Услышав про Тарзана, Скит растерялся, не зная, как ему держаться. Хотелось узнать про Варю... Он вспомнил, как приходил в этот трухлявый деревянный дом, где Тарзан тогда валялся пьяный, как ушли оттуда — и Варя, и Олечка, и Тося, — как шли к Тосе, как ушла тогда Варя, признавшись ему, что не с одним Тарзаном путалась. Больно было вспоминать.

Тарзан на вопрос Петра Хамадея лишь оглянулся, окинул Скита взглядом, но не узнал, спросил лишь, как звать и где жил в Роще, и вернулся к игре — здесь решались более важные вопросы, разыгрывались почти новые хромовые сапоги. Потом еще, повернув голову к Скиту, спросил:

— Вор?

— Нет, — ответил Скит, после чего интерес Тарзана к нему пропал. Скиталец решил не открывать их «родственных» связей, даже порадовался, что Тарзан его не признал, а про Варю, раз уж судьба их свела, он как-нибудь потом потихоньку расспросит — вору обожают болтать про своих баб... Однако мир тесен, думал он, присматриваясь с любопытством к Тарзану, которого мог рассмотреть только сбоку: заросшее лицо, как, впрочем, у всех, шикарной Тарзановской шевелюры тоже нет — лыс, только могучие плечи да широкая спина наличествовали, но такие были у многих, так что — мужик как мужик. Скит даже не испытывал к нему неприязни, но почувствовал, было бы лучше, если бы их дороги не скрестились.

Здесь, в этой транзитной камере, ждали отправки на зону еще и другие, весьма авторитетные вору: Леша Барнаульский, вор в летах, что-то около сорока, с таким простецким рабочим лицом, не снимавший клетчатой кепки, надвинутой на глаза, даже во сне; Пух-Перо, вор лет тридцати пяти с усиками, как у Гитлера — Скиталец так и не понял, как он в данных условиях

их подстригает — горластый болтун, беспрерывно о чем-то зубоскаливший; Снифт — худой вор с кривыми ногами, кличку Снифт (окно — жарг.) обеспечил ему выбитый глаз, вместо которого его лицо украшал уродливый шрам; Витька-Барин — высокий молодой вор по фамилии Баринов, отсюда и... Барин; Чистодел — один из авторитетнейших воров сорока лет, интеллигентен, ловкий картежник, с ним воруы играли с опаской — Чистодел всегда в кураже; Мор — уже немолодой вор, единственный, чей возраст Скит не мог отгадать даже приблизительно. Чувствовалось, в данном обществе этот красивый и одновременно уродливый человек (лицо старого вора, если смотреть слева, выглядело злорадным, жестоким, грубым; справа же смотрелось благородным, даже печальным) пользовался непрерываемым авторитетом, был он молчалив и в то же время будто ироничен в отношении всех и всего, не высокомерен, но и не доступен. Все были кто во что горазд, но вполне прилично прикинуты (одеты — жарг.).

С верхних нар, в углу, где играли, начался галдеж, возник ожесточенный спор по поводу каких-то расценок. А они в зонах трактовались по-разному: ватная телогрейка где-то игралась на тысячу рублей, в другой зоне — за восемьсот или меньше; валенки — за полторы тысячи, портянки — за двести, майка с трусами — за триста или дороже — где как. За тысячу двести игралось «очко», которое по латыни называется анус. И тот, кто его проиграл, естественно, садился на «кожаный нож» (мужской член — жарг.), после чего из, скажем, Митеньки, он становился «Петей-петушком» или, проще, козлом. Это, конечно, если человек садился играть и, проигравшись, «зальсил фуфло» (проиграл не существующее — жарг.). В фраерском мире принято говорить, будто козлами становятся по принуждению (насилюют). Это наверно, все здесь делается «по закону», а насиловать не позволяется даже козла, все равно как непозволительно насиловать проститутку на воле. Другое дело, что могут ошельмовать парнишку в карты, и он обязан будет расплатиться, но все-таки это не насилие: кто не ищет — тот не найдет. А козла... если хочешь его трахнуть, если пылаешь страстью, то плати: или хлеба дай, или какие-нибудь вещи, может, обувь у него прохудилась, то да се... Дело добровольное и рыночное. В этом мире люди продают свое тело не хуже, чем на воле, в сущности, и там, и тут — те же люди,

разница лишь в том, что одних посадили, других еще нет.

Вспомнил Скит детство свое, и кладбище, и воров — Оловянного, Хвата, Матюху, Шкета. Конечно, вспомнил Крота и Тарзана, всех, кого встречал в дни юности. Вспомнил и Ханадея, который уже тогда был известным вором и тоже носил бороду, чем удивил Скита. Зачем такая заметная борода вору, размышлял он, не зная, что Ханадей не бывал долго на воле, а в «доме родном» борода не в тягость.

Услыхали в камере, что новичка сам Петро Ханадей знает, и сразу же к нему соответствующее отношение: вот стол, на нем хлеб, сахар — воровской кусок, но ты, фраер, — фронтовик, говоришь? — все равно, ешь, пей чай.

Он был принят. Но все-таки решился рассказать, что по прибытии в Решеты попал к сукам, что хотели за резню воров послать его рикшу тянуть (здесь: отвечать — А.Л.), но сами «бляди» раскололись. После стационара, — он ведь голодал, — попросился к ворам.

Воры выслушали его внимательно, расспрашивали подробности про резню, как было в точности, хотели знать, как Кнура убивали, а кто из воров согнулся... Не знал про все это Скит, ведь он, действительно, там не был. Воры похвалили, что не скрыл о том, что бывал у сук, хотя и нет с него спроса — он мужик. Если правильный мужик, он за дела сук не ответчик. Да, хорошо, что рассказал, а то случайно стало бы известно, всякое могли подумать... Ну, а так — ешь, жри, пей чай, не стесняйся, никого не бойся.

Да что мужику бояться! Воры, суки и прочие — они должны знать, в какую зону им можно, а в какую нет, от этого зависела их честь, у кого она была, или жизнь. Ну, а мужик... Здесь, как у феодалов: рыцари дрались и убивали шпагой, мужика же, если он заслужил, должны были не столько карать, сколько наказывать, и делать это можно было либо плетью, либо палкой. К правильному мужику отношение воров благожелательное, а правильность мужика — это на усмотрение господ. Мужик в современном мировом статусе — тот, во имя и от имени кого утверждают правительства, объявляются войны или убивают без объявления таковых; все мировые идеологии, вся земная дипломатия якобы защищают его, пекутся о его благополучии — рабочего класса. Чего ему бояться, когда он нужен и ворам, и сукам, и генералам и премьер-министрам? Он

всех кормит и, если его не будет, на что нужна в таком случае вся мировая философия? Даже сам Господь Бог станет не нужен, ибо ни скотине, ни зверю покупать индальгенция нет надобности.

2

Дернули их на этап вечером. Всего девять человек. Из них только Скит — не вор. А воры с ним шли все, кого уже раньше перечисляли: Ханадей, Мор (его, оказывается, звали Вальдемор, и Скит даже удивлялся: имя Вальдемар он слышал, есть такое, но Вальдемор?..), Тарзан, Снифт, Барин, Барнаульский, Чистодел, Пух-Перо и Скит — единственный фраер. Кроме них в вагонзаке никто не ехал. Лаяться не с кем. Высадили где-то: сумрак — не понять где. Конвоя встречного не было, ждали долго, погода мерзкая, глубокая осень — дождь со снегом. Вагонзак — рядом, кукушечному составчику спешить некуда, в этот час здешние «экспрессы» не ходили уже, железка никому не понадобилась. Но зачем же их выгрузили в слякоть, в мокроту? Можно же было и внутри ждать. Теперь сами мерзнут, и зеки тоже. Хотя мусора-то в брезентовках с капюшонами...

Наконец показался конвой, выступил, чавкая сапогами в грязи, из мрака. Встретил их вагонзаковский конвой небольшим матом за то, что пришлось ждать.

— Че тянетесь, как черви говенные?! Тут промозгли аж, юбтвашгумать!

Полаялись конвойные, но воры голоса не подавали, хотя согласились с определением конвоиров вагонзакана вполне. Но им с пришедшими — их шестеро — в тайге шагать...

Дорога, хоть и протоптана, но скользкая. Шли молча — три солдата впереди, три, отстав немного, на расстоянии. Между собой воры перебрасывались фразами мечтали вслух о заварке чифирка. Попробовали выяснить у шагающих впереди, куда их везут, на какой ОЛП, воры ли в зоне или кто? Но их не удостоивали ответом, сзади лишь рывкнули:

— Прекратить разговорчики!

Наконец впереди показался слабый свет, словно заря. Это

горящие лампочки на заборах зоны создавали такое впечатление. Скоро выступили и дома поселка. Еще немного, уже совсем светло стало от освещения, а вот и она, зона, а вот и «вахта», и ворота. Их подвели к вахте, конвой встал в отдалении. Но куда их привели... в такую поздноту? Обычно этапы приводили днем, даже утром рано. Скит уже узнал эту вахту...

— Хлопцы, это 13-я зона: суки здесь, — сообщил он ворам.

В это время со стороны поселка подошел офицер, кажется опер, а может Режим или Спецчасть... Из вахты вышли надзиратели принимать приезжих. Воры вскрикивали:

— В зону не войдем! В зоне — суки!

Офицер начал убеждать, надзиратели уговаривать: в зоне, мол, одни мужики, работяги. Стали угрожать, но воры уселись в грязь и заявили, что и силой их в зону не втащить — не пойдут они сюда. Офицер и надзиратели зашли в вахтенное помещение. Воры сидели на земле. Сверху сыпалось что-то мокрое, дул пронизывающий ветер. В запретке от скуки тявкали собаки.

Более часа просидели воры в грязи, это констатировали охранявшие их конвоиры. Тогда вышел офицер, позвал к себе старшего конвоира, что-то долго говорил ему, разъяснял. Воры не слышали о чем, единственно уловили конец фразы, сказанный погромче о том, что, дескать, «уже позвонили»... Куда? Кому? Тут старший конвой крикнул им вполне мирно:

— Вставайте. Попшли дальше. В другое место.

В другое место воры не возражали. Встали. Построились по два и пошагали — впереди три солдата, сзади столько же.

3

Когда эта небольшая группа, чавкающая ногами в мокром месиве, подходила к Поканаевке, зоря от фонарей на лагерных заборах и, начинающаяся за горизонтом, настоящая — сливалась.

Пока шли по таежной дороге, воры вновь пытали конвой про цель их похода — куда? Однако в ответ следовала все та же команда:

«Кончай болтать!»

Поканаевка... Если совсем точно, то Верхняя Поканаевка. И

кто знает, что бы оно означало, этакое название. Опять зона, поселок поменьше, чем на 13-й. Но кто в зоне? Опять вора́м объяснили, что в зоне — одни работяги, но они не поверили и опять отказались войти, тем более в такой час. Кончилось тем, что воров повели в изолятор, где и заперли.

Усталые, они грохнулись на низкие нары и как были, одетые-обутые, потихоньку еще переругиваясь по привычке, скоро захрапели.

Утром дверь камеры приоткрыли, велели вынести парашу. Она действительно была полна, к тому же небольшая посудина — с ведро, воняла, как и должно, — застоялой мочой. И пришлось Скитальцу, обняв ее, вынести дорогушу, потому как он единственно и был здесь фраер. Если бы одни вору́ присутствовали, то вынес бы кто-нибудь из менее авторитетных...

Их перекликали, сверяли по личным делам и оставили в камере. Больше недели проторчали здесь, никто за ними не приходил, и они из этого заключили, что и на Поканавке зона, видать, не для них... Ведь здесь все вору́ были очень видные, их знали в Карлаге и Тайшетлаге, Ныроблаге и Усольяге, на Камчатке и на Магадане, в Сиблаге и Краслаге и во всех приличных тюрьмах Института промывания мозгов. Они были центровые и стремились к своим — на воровской «спец», то есть на особорежимный воровской лагерь под номером Девять, где начальником служил сам полковник Бугаев.

До Девятки осталось уже немного, но пот и в зоне Поканавки — тоже суки. Из этого следовало — вора́м хоть ложись и умирай, но в здешнюю зону ни ногой. Постели у воров всегда имеются, но спичек не было и надоело до смерти «катать вату» (выдирать из бушлатов, скручивать в небольшие закрутки и катать их на досках подошвой ботинка до дыма), жрать хотелось невыносимо. И было скучно. Вору́ ввали и трухали (занимались онанизмом — жарг.) у парапи, над которой на стене неведомый художник нацарапал гвоздем «наскальный» рисунок, изображавший женскую задницу с выразительно раскинутыми ногами. Сей шедевр был залит, словно лаком, засохшей спермой.

Вору́ коротали дни враньем о том, как и где они, бывало, гуляли, с какими красотками время проводили, как их без памяти любили. А жрать хотелось... ну очень!

Однажды загремела отворяемая дверь, показавшийся из-за нее мусор предложил им — неслыханное дело! — поработать. Не хотят ли они, дескать, подышать свежим воздухом, продолжая удлинять уж начатый ров для солдат охраны, у них там что-то наподобие полигона, они, охранники, будут в этой траншее ползать, прыгать, стрелять... За это обещали дать махорки, вечером двойную порцию каши. Махорки было у воров довольно, каша их не вдохновляла, они эту плебейскую еду презирали, но согласились идти рыть канаву — дурака валять — исключительно в надежде на случайное приключение, на возможность как-нибудь раздобыть чайку.

Воры выказали бурный восторг от возможности — наконец-то! — потрудиться, ведь они просто умирали от тоски по труду, ведь труд — черт побери! — облагораживает дураков.

Траншея или яма — раскопали ее еще очень мало — расположилась метрах в трехстах от их комфортабельной гостиницы. На дне ямы полтора-два метра глубиной валялись лопаты, кирки и топор для рубки корней, встречавшихся под пластом верхнего слоя чернозема и дерна.

Воры и Скиталец опустили в яму. Приведший их сюда конвоир с автоматом, молодой солдат, устроился метрах в сорока, разжег себе небольшой костерчик, чтобы было ему тепло. Его не качало, как будут работать эти бедолаги в яме и будут ли работать вообще, его дело следить, чтобы они были в сохранности, именно за это он нес ответственность.

Собственно, те, кому туркнуло в башку вывести воров рыть эту могилу, и сами не ждали, что воры будут копать, но пусть, подлюки, померзнут там в мокроте, решили они. А конвоир — солдат! Солдат не командир взвода, мерзнуть вместе с «подлюками» — его служба, обязанность. У командиров свой долг, у солдат — свой. Хотят воры рыть — хорошо, не хотят — пусть так сидят, мучаются, их дело, а яма, вообще-то говоря, давно превратилась в долгострой, ее уже несколько поколений зеков тут рыли... или, скорее, не рыли.

Воры высовывались из ямы, обозревая окрестности, надеясь увидеть бесконвойного зека или хоть кого-нибудь из вольных, чтобы попробовать что-нибудь выключить, — никого не было, погода не располагала к прогулкам, моросил мокрый бисер, кругом все серо, уныло. И тут вор Леха Барнаульский заметил пса.

Гладкошерстная охотничья собака. Как будто породистая. Леха в собачьих породах не разбирался. Нет, овчарку они все хорошо знали... Ну, еще пуделя или... Впрочем, дворняги тоже как-то разделяются, но про них воры понимали просто: молодая вкуснее, чем старая. Эта же была как будто легавая, а к легавым воры испытывали особенное расположение... Эта же была еще и уштанная, и молодая, дурочка рыжая.

Воры одновременно обратили взоры на валявшееся в яме ведро, предназначенное для вычерпывания накопившейся на дне воды.

— Гражданин начальник! — проорал конвоиру Чистодел. — Гражданин начальник! Мы хотели бы подружиться с собачкой, а?

Остальные воры в это время уже приманивали пса, одаривали ласковыми прозвищами, предлагали — «на, на» — вкусными голосами, и собака заинтересованно, виляя хвостом, приближалась к яме.

— Что скажешь, а? — домогался у конвоира Чистодел. — Мы четыре месяца на подсосе (голодаем — жарг.), понимаешь, — объяснял вор культурно и дипломатично, — дошли уже все — больше некуда, а? Мы тут живо... ведро есть, дров в лесу хватит, а?..

Конвоир, молодой солдат, успел невзлюбить своего командира, если не сказать, что он тихо презирал его. Командир охранного взвода здесь на Поканаевке, старший лейтенант, неразвитый деревенщина, строил из себя этакое вельможу, всех поучал, сам не отличал геморроя от Гоморры, в то время когда конвоир, студент филфака, изучал даже Фрейда; одним словом, не любил солдат своего командира, а рыжая собака принадлежала именно ему, подлому чалдону.

— Валяйте! — махнул он великодушно рукою; пусть не обзывает других маменькиными сынками, думал про командира мстительно. — Но живо, и чтоб никаких следов. Шкуру, того... закопаете там.

Собака стояла на краю... могилы, воры продолжали нежно призывать ее, чтоб прыгнула вниз, но ей что-то не хотелось. Нравилось, конечно, общаться с людьми, но... Тогда Пух-Перо, уловив момент, схватил ее за передние лапы и рывком стащил в яму.

Собака изо всех сил вырывалась, ее успокаивали, прижали

к земле, и Тарзан рубанул топором ей по горлу. Удар был сильный, но не удался — настолько тупой оказался топор. Собака взвyla истопно и, собравшись с силами, рванулась из ямы. Пух-Перо успел схватить ее за задние лапы — передними она уже скребла, царапала край ямы и страшно орала на всю тайгу, могла быть услышана и в поселке. Собаку потянули обратно в яму, четверо мужчин опять прижали ее, хрипевшую, к земле, и Тарзан снова рубанул топором — результат тот же.

И откуда только силы взялись у нее! Высунувшись из ямы, она орала человеческим голосом до того страшно, что и конвоиру стало не по себе: собака словно плакала, словно звала на помощь:

— Бросьте ее! Отпустите! — закричал конвоир. — Раз не можете, отпустите!

Куда там! Пух-Перо с Чистоделом опять втащили собаку в яму, а Тарзан, обнаружив веревку, привязанную к ведру, соорудил петлю. Натянули ее собаке через голову и, схватившись с двух сторон за концы, два вора, наконец, задушили ее. Тут Тарзан, уже спокойно и деловито, как мясник на бойне, отрубил тупым топором ей голову.

Остальное заняло немного времени: шкуру сняли, — у воров да чтобы не было мойки (самодельный ножик, скорее небольшое лезвие — жарг.)! — разрезали, тушу разрубили, с разрешения конвоира принесли из лесу дров и воды, развели костер. И вот уже закипает в ведре то, что еще недавно представляло собою жизнерадостное живое существо. Шкуру, как было обещано конвоиру, лапы, голову, хвост и прочее решили зарыть тут же в яме, поглубже. Пух-Перо и Витька Барин стали копать ямку на дне. Вдруг лопата Пуха уперлась о что-то твердое. Отбросив землю, песок, он увидел кости, вернее... ребра. Позвал других. Они еще подрыли малость и увидели скелет и черепунку человека. Воры растерялись, затем решили о находке никому не объявлять, закинули сюда же останки пса и все заровняли, чтобы шито-крыто. Мало ли скелетов в советской тайге...

Только Мор в убийстве собаки не участвовал, сидел на корточках в углу ямы, и непонятно было, как он, собственно, воспринимал происходящее. Его лицо не отражало никакой мысли, словно ничего и не видел.

Но он видел... пока приманивали рыжего пса, он видел себя

в те годы, когда, как принято было говорить в одном монастыре (он там тогда был), Бог отступил от людей (именно так выражались его тогдашние братья по вере) и на земле стал свирепствовать зверюга, терзавший человеческие племена. Он вспомнил, как за ним пришли ночью, как повели, и начались мучительные дни ожидания конца; он был еще молод и влюблен в красавицу; из камер тюрьмы по ночам выводились люди, их расстреливали; больше двух месяцев он ждал своей очереди; потом его отпустили. Он еще не был вором...

Когда Тарзан первый раз рубанул по горлу рыжего пса, в мыслях властвовало воспоминание, как обнаружил в доме своей возлюбленной доказательство ее «искупительной жертвы», принесенной комиссару ради его свободы. Когда рыжая собака кричала человеческим голосом на всю тайгу о своей беде, зывала о помощи, Мор видел, как ударил женщину по голове кочергой, и слышал ее страшный крик и хруст разбитого черепа... Когда уже снимали шкуру с легавого пса, когда голова с мутными, выкатившимися из орбит, глазами покатилась рядом с Мором, он ничего уже не видел, а ужасался тому далекому, когда, убив свою любовь, он узнал о ее невинности... Совершенно неожиданно вспомнилась еще и красивая поляна, и далекое сентябрьское солнечное утро, когда он вешал желтую старую собаку... Он видел, как надевал ей на шею петлю, как доверчиво она сама услужливо просунула в нее голову, видел преданные глаза, и взгляд собаки словно сливался с взглядом убитой им девушки...

Глаза Мора с сатанинским злорадством спокойно взирали на воров, копошащихся у костерчика на дне ямы, как раз над зарытым скелетом, — одновременно в них застыл ужас. Серый дождь стал сильнее, пространство вокруг могилы потонуло в сыпавшейся сверху сырости. Только дым от костра свидетельствовал о жизни в могиле.

Воры, давясь от удовольствия, жрали мясо, лица блестели в свете костра, жир размазался по подбородкам. Обгладывая кости пса, они чуть не рычали от радости насыщения. Скит тоже ел, он был достаточно молод, чтобы жаждать мяса не меньше, чем другие. Он раньше не ел собак, но знал, что в лагерях их ели, теперь было еще и любопытство: каково это мясо на вкус? И оно ему понравилось, пес был еще не стар, его мясо не

отдавало потом, как, он слышал, бывает с мясом старого пса.

Мор же в углу ямы не шевелился. Воры приглашали его на пир, но он молчал.

— Брезгуешь, что ли? — воры хохотали. — Жри, пока есть!

Он их ошарашил:

— Я... не людоед!

— Ты что? — Ханадей усмехнулся — борода в жире. — Ты легавого пса чтить за человека? Ну, не хочешь — как хочешь...

И воры продолжали жрать, миролюбиво перегрызаясь, перелаиваясь. А Мор находился во власти гнетущих воспоминаний, был ареной борьбы противоречивых осознаний: с злорадным наслаждением вспоминал, как преследовал того комиссара, искал, караулил и, хотя и не был тот виновным в том, из-за чего Мор убил свою любовь, но был он, комиссар, виновником возникшего у Мора подозрения... И за это, тогда еще молодой Мор, убил его с не меньшей радостью. А здесь, в этой яме... ему представлялись жирные безбожные монахи, молящиеся в церкви о празднике братского единения между людьми на земле, твердившие, что человек есть самое совершенное творение в мире. Но почему же это самое совершенное считалось ими греховным? Почему же оно осуждено Богом на искание спасения? Но разве Христос — Бог? Разве это понятие — Христос — в состоянии объяснить, что представляет из себя то пространство, в котором находится универсум? А то пространство, в котором само пространство? А то прапространство или... Что это? Нет ответа. Христос не дает ответа. Если бы он был, тогда, может, Мор и не сидел бы теперь с растерянной душой на дне этой ямы с ворами, пожирившими собаку.

— А что, — посмеивались воры, — человека нельзя жрать? А как же в Африке людоеды? Жрали же, говорят, а Бог их не покарал. Мы же только собаку...

— Я — орудие Бога, — мрачно буркнул Мор.

Ворам было непонятно, но они не смели насмеяться, они знали-понимали пословицу: «Всяк сверчок — знай свой шесток». Они продолжали заглатывать мясо.

Наверху никто бы не сказал, что в этой яме-могиле что-то происходит, ничего не было видно и конвоиру, сидевшему, задумавшись, у своего костра. Уже наступили сумерки, не стало

видно и поселка, стоявшего недалеко. Но вокруг существовало огромное пространство, покрытое лесами, морями, горами — планета, населенная живыми организмами.

4

Все-таки наутро их вывели из изолятора и, чтобы все было уже ясно, — понимая, ворам спокойнее на душе будет, когда узнают, куда их теперь поведут, — начальник конвоя сообщил, что неведомое начальство, которого полно в бесчисленных кабинетах управления, постановило вдогонку уже давно отправленному этапу доставить воров оных в их, воровской масти, спецрежимный лагерный пункт номер Девять.

Опять их построили по двое, и, как уже было, — три солдатика впереди, три плюс одна собака сзади, — они отправились в дорогу веселые и сытые. Идти оставалось не очень много: километров двадцать или чуть больше.

После съеденной накануне собаки, действительно все взбодрились. И вот шагают, кто-то балагурит — конвой терпеливый попался, не реагирует. Собака, в отличие от конвоиров, злющая, беспрестанно и беспричинно рычит на воров, словно чувствует, что сожрали они ее сородича.

Скит шел в последней паре с Лешкой Барнаульским, который с деревенским лицом и который не расставался с кепкой. Этот вор был вообще-то не из болтливых, всегда улыбался, даже когда вроде бы ничто не могло служить этому причиной — бурист¹ с хитрецей в глазах.

Скит — во власти своих дум, совсем не в струе воровской жизни — все чаще вспоминал войну. Чем дальше была от него война в прошлом, тем чаще он к ней возвращался: что-то не ладилось в его мыслях, что-то не складывалось, не укладывалось. Объяснить это он не мог и самому себе.

¹ Любитель играть в карты лишь в «буру» (коммерческая игра). Воры часто назывались — «терсист» или «тредист» — по своей приверженности к какому-нибудь виду игры в карты.

Нелепость! Тюрьма, лагерь, Тарзан, Варя, Олечка, он сам — все нелепость. Война... По прошествии времени ему стало казаться, что, когда была война, люди, несмотря на ее жуткость, особенно солдаты, относились к ней как будто обыденно, порою даже несерьезно. Подумалось, может быть, это свойственно природе человека — чем ему тяжелее, страшнее, тем беспечнее к этому своему состоянию относится. Скиту думалось, что с годами война у тех, кто в ней участвовал, вызовет все больше и больше и ужас, и возмущение, и недоумение: нелепость, зачем? Время уносится дальше, люди стареют, о них и забыть могут, а они же, страшно подумать, своей единственной жизнью рисковали... У всех людей всего одна жизнь... Солдаты, санитарки — обычные простые люди, смертные, делились куском хлеба, барахтались в грязи, пропитались запахами крови, гноя, дерьма, любили, мечтали, умирали... и что же? Зачем он, Скит, после всего этого здесь? Зачем его огромный народ одновременно мудр и слеп, добр и злобен, обижен и несправедлив, честен и доверчив до самопожертвования... жесток и туп недосыгаемо. Нелепость!

— Шире шаг! Подтянись! — раздался окрик сзади, овчарка, рыча, чуть не схватила Скита за пятку.

При подходе к Девятому спелу тайга неожиданно расступилась, они оказались на улице с земляным покрытием, как все «улицы» поселков при лагерях. Она тянулась между убогими деревянными домиками с приусадебными участками, низенькими бараками — общежитиями. Кучка воров и их конвой вышли к так называемой «промзоне», которая типичное явление в таких поселениях. Сюда, в эти «промзоны» из лагерной зоны водят зеков-специалистов. Здесь мастерские — столярка, авторемонтная, слесарная и другие. Промзона, естественно, охраняется днем, когда сюда запускаются зеки. С вышек, с уходом их в жилую зону, снимается и охрана. Надо отметить, что именно здесь в одном из сараев не так давно лишилась девственности единственная коза старшего надзирателя Ухтомского.

Обогнув промзону, воры прошли мимо конюшен, где жили те несчастные копытные, которых изнуляли непосильной даже для лошадей каторжной работой, избивали,

насиловали, обкрадывали и съедали, когда по причине ни на что уже негодности, они, зарезанные, попадали в лагерную кухню.

За конюшнями в кустарнике, не видимое с дороги, расположилось так называемое кладбище, место успокоения усопших зеков, где покойников хоронили лишь в «деревянных буплатах» в том виде, в каком они и родились, — вполне даже справедливо: голым пришел в этот мир, голым и уходит.

Недалеко от лагерных ворот их поразили довольно внушительные пирамиды из пней. Бесспорно, они были творением рук человеческих. Торчавшие из «пирамид» корневища и коряги делали их похожими на скопища громадных пауков. Они смотрелись даже художественно, но... зачем они? На вершинах пирамид рассаживались вороны: отсюда удобно атаковать помойку в зоне. Вороны, конечно, знали историю образования пирамид, но с какой стати они стали бы об этом всем встречным каркать?

Глава десятая

I

Как уже было замечено при проследовании мимо промзоны семерых воров и Скитальца, коза старшего надзирателя Ухтомского в сарае лишилась невинности, и, чтобы сие объяснить и к этому не возвращаться, надо уж заодно рассказать про Девятку вообще, покончив с этим раз и навсегда. Да, бесспорно, зона как таковая описана многими, что-то о ней знающими: одна треть населения государства побывала в ней (другая готовится побывать) и своими впечатлениями с удовольствием делится со всеми жаждущими услышать-узнать. Вроде и ни к чему лишний раз за это братья.

Шестой барак стоял близко к забору зоны, за которой буквально рядом расположились дома надзирателей и команди-

ров-начальников. Единственно дом самого начальника Десятки, полковника Бугаева, стоял особняком, подальше, чтобы не раздражал свет прожекторов и лампочек на заборе — вид на вышки из окон ему не imponировал. Стоял он рядом с бревенчатым большим строением с табличкою на двери: «Дом культуры». Здесь вольнонаемным показывали кино.

В домах же напротив конца 6-го барака проживали со своими женами: начальник КВЧ (культурно-воспитательной части), начальник спецчасти и оперуполномоченный, сокращенно опер, а если по-простому, то кум.

Дом старшего надзирателя Ухтомского, как и дома еще двух старших и одного не старшего надзирателя (Плюшкина, Сумкина и Метелкина) находились совсем в конце поселка или... в начале, смотря откуда идти.

Если сам Бугай являл собой высокую и упитанную колоритную фигуру, то и старшие, и младшие надзиратели представляли собою паноптикум.

Ухтомский — высокий, тонкий, гундосый и курносый, медлительный, любитель копать в саду, доить козу, кормить кур.

Плюшкин — маленького роста, пермяк, сухой и вертлявый, не злой, смекалистый и расторопный, к тому же шутливый.

Сумкин и Метелкин считали своим долгом быть в курсе всего происходящего в зоне. Педантичные, они во все совали нос, не брезговали лезть в самые грязные места в бараках, лишь бы изловить отказчиков, которых считали своими личными врагами, и воевали с ними, бедолагами, как Господь Бог с бесами.

Наподобие этих четырех надзирателей, такой же паноптикум являло собою и более высокое начальство.

Начальник КВЧ капитан Белокуров, женатый на кругленькой вертлявой бабенке, которую (это знали и в зоне) звали Зинаида Самсоновна, зеки же прозвали ее Читой, после просмотра трофейного фильма «Тарзан», — им, конечно, виднее. Белокуров отличался небольшим животиком, был розовощек, оставлял впечатление эдакого изнеженного интеллигента, которого уволили из конструкторского бюро.

Начальник спецчасти, внешне походивший на Белокурова, был женат на худой нервной чернявой Ариадне Георгиевне.

Кум был женат на спокойной дородной светловолосой Марии Ивановне — это зеки тоже знали, ведь как не говори, 6-й барак стоял уж очень близко от забора, за которым были дома вышперечисленных товарищей.

Итак, про Бугаева сказано, про паноптикумы сказано. Осталась коза Ухтомского. Но до нее очередь еще не дошла, хотя уже скоро дойдет.

Прежде в двух словах: воры и с ними Скиталец, после необходимых традиционных процедур у вахты, обыска, прыганья выше члена, высматривания премии, переклички-сверки по «делам», были запущены в зону, где их радушно встретили. Каким-то образом зона уже знала, что на Девятку прибыли приличные воры. Их встретили у ворот и подхватили гостеприимно под руки и отвели в седьмой барак, где квартировался высший цвет здешнего общества, главным образом элита: 37-я штрафная бригада «королевских — так их прозвал Плюшкин — мушкетеров». В этой бригаде функционировало истинное «правительство» зоны в лице авторитетных воров в законе. Генерального секретаря у них не было, все решения принимались голосованием: демократия.

На другое утро, когда прибывшие авторитетные, прошедшие всю ночь за игрой (в том числе и Скиталец, ставший автоматически не то чтобы амбалом, но воровским хлопцем — своим, доверенным, как говорилось про таких — не шестеркой, упаси Боже!), дочифирили и спали, натяжно, набатно загудел рельс от ударов молота, которым старший мусор Ухтомский бил ритмично через небольшие паузы.

Длинный неуклюжий Ухтомский с так называемым «простым крестьянским» лицом, почти как у Лепи Барнаульского, бил по рельсу сосредоточившись, был серьезен, даже хмур, ведь он совершенно не обладал чувством юмора, как и не было у него ни малейшего музыкального слуха.

Ладно, без музыкального слуха жить можно, а вот без козы... Вчерашний день был для него настолько мерзок, что впечатления о пережитом больно терзали его мужественную

гордую душу: вчера он был вынужден предать смертной казни свою козу Милку. Казнил он ее в гневе, несмотря на отмену смертной казни в государстве, а сейчас вот жалко ее, да и молоко где теперь брать?.. Все из-за Ивана-Дурака... Только по кличке Дурак, но себе на уме, как, впрочем, и руководящие дураки на воле, которые своего не упустят. Скотина... Тоже еще «хороший мужик», как у них принято говорить... чтоб ему яйца оторвали!..

Провинилась Мылка тем, что явилась вечером домой — к воротам маленького дома Ухтомского — с арестантской пайкой, воткнутой на рог, явилась к калитке и еще кокетливо с ножки на ножку пританцовывала... Ухтомский как раз дрова колот. Он ее впустил, но, зная некоторые особенности зековских нравов, сразу догадался, за какие услуги этой дряни досталась сия пайка: на панель сходила, стерва!

Недолго думая, схватил он топор и, гундося, то есть произнося слова этак на французский манер: «Ах ты, блядь продажная» — одним махом отрубил ей голову.

Подробности произошедшего он после выяснил: трахнул Милку этот дурак-Иван в промзоне в сарае за слесарной, о том все узнали, ибо коза, говорят, орала не своим голосом. Значит, изнасиловали! Терпеть не мог Ухтомский насильников, даже если они дураки. Да и коза!.. Что ей было там шляться! Сама, видать, искала приключения на свою... А у человека теперь дети остались без молока.

Наконец, рельс перестал гудеть, тут же из вахты во главе отряда мусоров вышел Плюшкин, весельчак. Сказать, что он сам изобретал юмор — не скажешь, но этот пермяк соленые уши никогда не унывал, перевоспитываемых не презирал, не обманывал, не издевался. Плюшкин и Ухтомский, совсем разные, тем не менее дружили, так же как Сумкин с Метелкиным. Однако не мог Плюшкин не воспользоваться подвернувшейся возможностью вдоволь посмеяться, лишь только увидел Ухтомского.

— Ухтомский! На жаркое позовешь? Или один задумал Милку жрать, ха-ха-ха!

Ухтомский плюнул, взял свой молот и пропал на вахте, Плюшкин же с надзирателями отправились отпирать бара-

ки. Обратно из зоны они пойдут, обвешанные гирляндами из сцепленных друг с другом амбарных замков — тяжелые вообще-то «бусы».

С момента снятия замков с дверей секций в бараках, обитатели Девятки могли передвигаться в зоне по своему усмотрению до следующего сигнала рельса — приглашения к завтраку, который описывать просто неприлично, настолько он скромнен; хотя, нужно отметить, что в углу столовой всегда стояла бочка превосходной сельди, которую всякий мог брать.

Третий сигнал рельса раздавался в восемь ноль-ноль: просьба пожаловать к воротам для развода на работу. Сигнал касался как тех, кто должен был идти лес валить, так и тех, кто отправлялся туда на отдых, прогуляться — всякому же ясно, что быть в природе в чистой экологической сфере исключительно приятно. О да, это так. И воры обожали шпилить картишки в шалашах, сооруженных для них услужливыми шестерками из еловых веток... Запахи лесные! Прелесть, что за воздух! Как приятно в такой атмосфере глотнуть цифирек!

Конечно же, и на Девятке население должно было относиться с рвением к обоженной Инструкции, которая требовала во имя поклонения и очищения засоренных мозгов выполнения тяжелой каторжной работы от всех, невзирая на «партийную принадлежность», кроме тех, за кем сама Инструкция признавала право эту работу не выполнять, то есть — придурков, инвалидов, освобожденных леπιлой. Остальные были обязаны относиться с энтузиазмом к процессу уничтожения родной природы. Потому и воры, кто в лесу отдыхать не намеревался, должны были заблаговременно позаботиться, чтобы их фамилии оказались в списке освобожденных от труда, иначе канцелярские крысы зачисляли их в отказчики со всеми вытекающими из этого последствиями.

Ибо после развода раздавался очередной милый звон, выразивший мольбу мусоров расходиться всем оставшимся в зоне по своим баракам, чтобы было можно всех пересчитать. Почему-то мусорам этот процесс, который они называли проверкой, очень нравился, они этим увлекались, по

много раз ежедневно, даже в выходные, в дни рождения революции и товарища Сталина, особенно в День Конституции, который на Девятке считался праздником исключительной важности. В честь этого праздника по просьбе начальства работяги старались вывозить на лесные склады даже больше кубатуры. За это вечером в кинозале (столовой) им показывали кино «Кубанские казаки».

После проверки, когда в ментовской канцелярии офицерские жены, вооружившись счетами, вычисляли число отказчиков, Ухтомскому, Плюшкину или Метелкину полагалось таковых выловить в зоне, дабы загнать в карцер, а на сколько суток — определял сам Бугай, который, рассказывали, трахал всех баб, бывавших в его кабинете, прямо на письменном столе.

И, спрашивается, легко ли живется мусорам? Когда тут какой-то дурак еще твою козу бесчестит...

А вечером, когда на заборе уже зажигалось освещение, когда темнело, с вышек началась ожесточенная стрельба... Что это? В побег кто-то ринулся, что ли?..

Нет, это всего лишь Демон — дрессированный ворон Боксера, местного лепилы. О существовании Демона знали и воры, и фраера, о его ненасытной ненависти к электрическим лампочкам. «Доктор медицины» Боксер воспитывал у своего вороненка ненависть к электричеству: дразнил его горевшей лампой на самодельном удлинителе, тыкал ею ворону «в лицо», вызывая ярость пернатого. С тех пор как птенцом его принесли из тайги работяги, жил он в оборудованном ящике, днем вел себя воспитанно, но когда зажигались фонари, выпускать его не стоило: где только может — расколет лампочки, хоть в бараке, хоть во дворе. Устав их бить, он обычно возвращался «домой». Этим и стал пользоваться хулиганистый Боксер: как станет ему скучно, выпускает Демона вечером полетать. И сколько тогда шума, стрельбы, крика!.. Откуда знать «попкам» на вышках, какая это нечистая сила лишает сей объект охраны — освещения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

I

Когда он родился, его ждала Судьба, а он не подозревал, что родившись, вошел в нее, словно в вагон пассажирского поезда, следовавшего в бесконечность. Поезда Судьбы ходят по дорогам вечности, а вокзалы, станции на них — исторические события, индивидуальные для каждого пассажира.

Судьба — предопределение, которое можно считать даже божественным, если не знать, что смертные относятся к судьбе, как к везению, а богов создают-выдумывают себе сами. Судьба есть мир, оказавшийся при рождении твоим окружением, и в этом смысле она-таки фатальна: одному повезет родиться принцем Уэльским во дворце, другому — в лачуге негра, раба, в болотистых африканских джунглях, один родится миллионером, другой — нищим. Какой бог, какая неведомая субстанция по каким признакам справедливости одну живую душу произведет в жизнь в благополучной сфере, а другую в убогой?

Та же сфера, в которой ты произвелся в жизнь, будет питать тебя до той «станции», где ты или захочешь сойти с «поезда» или сделать пересадку на другой, идущий тоже от изначальности и следующий в бесконечность, но в новом направлении, ибо дороги Судьбы пересекают жизненное пространство во всех мыслимых и немыслимых направлениях: и горизонтально, и вертикально, а также сикось-накось и наперекосья, хотя что это такое и не скажешь.

Судьба достается человеку не в завершенном виде — он волен менять ее направление по своему разумению в пределах, доступных его знаниям и желаниям. Лишь если у него нет таковых, он будет предоставлен течению и плавать как говно в проруби.

Враль еще не родился, но и его ждала Судьба. Она не сразу бросила его в водовороты жизни, судьба иногда и не спешит, она дала ему время на приобретение начальных представлений о ярком свете, ослепившем его при появлении в жизнь, позволила даже обзавестись небольшим запасом опыта и кое-каких мыслей, дабы он мог себя осознавать индивидуальностью настолько, насколько необходимо для созревания самостоятельного выбора того или иного «поезда», в который садится.

Сферу обитания избрал для Вестера Вралья (он уверял, что полностью его имя пишется Сильвестр, но, поскольку имена и фамилии он менял по собственному усмотрению, трудно утверждать их документальность) некто Неведомый и, скажи спасибо, что не в африканских болотах или пустыне. Затем он сел в свой поезд. Этот поезд был не скорым, но привез его со всеми предназначенными остановками в сферу земного бытия, ставшую доминирующей в его жизни, — в сферу, существовавшую на земле везде, созданную Неведомым Создателем не для него одного. Название ей — преступность. Не вся мировая преступность дождалась его рождения, а лишь тот отрезок ее истории, в которой протекало ее развитие на данное время.

Да, ему не повезло родиться принцем, но повезло родиться в зоне умеренного климата, в семье обыкновенных людей, обеспечивающих свое существование трудом. Это дало ему основание считать их почти безгрешными. Его отца можно было упрекнуть разве что в нарушении седьмой заповеди катехизиса, но пятую он никогда не нарушал. Враль, случалось, упрекал в душе своих родителей, что не являлись они царствующими особами, но признавал, что заслуживают безграничной благодарности за то, что содействовали его появлению на свет в одном из красивейших уголков мира. Из романов он черпал информацию про мыслимые и немислимые удовольствия, дающиеся так называемым благородным происхождением (в их достоинство он поверил), и не раз приписывал своему отцу различные звания: полковник, генерал, даже маршал; он разжаловывал своего родителя в своих рассказах постепенно, по той мере, по какой сам умнел.

Отсюда следует, что Сильверст Эстон фон Враль был подвержен пороку, отмеченному девятой заповедью, то есть вранью, о чем принято считать, что оно зло, хотя, думается, худшее в мире зло есть цинизм, являющийся законченным выражением, концентратом всевозможных мерзостей. Совершается сколько угодно преступлений, продиктованных умственной отсталостью, завистью, ревностью, жадностью, — их можно объяснить, к ним можно относиться снисходительно, иногда даже с сочувствием. Цинизм же все понимает, все учитывает, служит удовлетворению надменно-рафинированного эгоизма; к совести циников нельзя апеллировать, в них нельзя воспитать сущность человечности. В сравнении с цинизмом, если вранье не в служении последнему, оно явление весьма даже рациональное.

Но было время, сам Вестер Враль стеснялся, когда его вранье разоблачали. Он, собственно говоря, стеснялся своей слабости ровно до того дня, когда ему, уже в 1960 году, в Балашевской тюрьме на сущность вранья открыл глаза его главный наставник — Мор, кого он считал и обязан считать своим спасителем и крестным отцом. Это именно Мор читал ему в прогулочном дворе тюрьмы два года подряд лекции о смысле и красоте вранья, и он заслуживает, чтобы познакомиться с ним.

Мор — вор. В законе. Старый, авторитетный, центровый вор. Держал зону, да не простую, а воровской спец, да не просто спец, а особорежимный, точнее знаменитую Девятку в Краслаге. Это за Канском, где выгружают этапы на небольшой станции с обнадеживающим названием — Решеты. Впервые молодой Вестер оказался здесь в 1948 году. В тот день капитан Белокуров вошел в зону Девятки уже после отбоя, когда надзиратели, именуемые контингентом зоны мусорами, замкнув бараки, удалились.

— Краковский, достаньте мне постель, — объявил он своему библиотекарю, — я у вас сегодня заночую.

Неизвестно, знал ли, понимал ли капитан Белокуров, начальник кабинета культурно-воспитательной части — КВЧ, что его библиотекарь, старик (ему могло быть около шестидесяти), является среди воров зоны главной фигурой, кого можно бы назвать паханом, если бы сами воры считали такое определение уважительным. В Балашевской тюрьме Враль поинтересовался

у Мора, почему его зовут не Вольдемар, в Вальдемор, на что старик ответил, что у него всегда все наоборот.

Мора нельзя было назвать красавцем. Уже на Девятке он произвел на Вралья отталкивающее впечатление, но в Балашеве, много лет спустя, уродливое лицо старика приобрело необъяснимое выражение дикого благородства, и Врально подумалось, что самым мерзким это лицо было скорее всего в юности. Прожитое же время, случается, откладывает на лицах людей свою печать, подчеркивая особенности характера. Лицо Мора и на самом деле обладало странной особенностью: справа — человек как человек, слева же — сволочь, каких мало.

Для начальника КВЧ в библиотечном шкафу хранились постельные принадлежности: матрац, подушка, одеяло, простыни, свернутые в тюк.

Вальдемор прикинул, что капитан, похоже, опять поцапался с Читой, то есть с женой. Те зеки, которым посчастливилось в доме Белокуровых — сразу за лагерным забором, — выполнять ее поручения, называли ее Читой из-за ее малого роста, вульгарных черт лица, оттопыривающихся ушей, не помещавшихся под жидкими волосами, а также вытянутых трубочкой губ и «висячего» вертлявого зада. Зеки с удовольствием рассказывали подробности из жизни капитана Белокурова, на чьих плечах лежала солидная доля ответственности по задаче очищения мозгов населения страны, рассказывали, изображая гримасы Читы и ее немного визгливый голос. Впрочем, ее голос знали в зоне многие и из тех, кто и близко ее никогда не видел.

Что касается прямых обязанностей капитана Белокурова, то его жена занималась ими больше, чем ее идеологически подкованный супруг: она воспитывала своих верноподданных, которых ей отбирал другой капитан, тоже Бело... но не Белокуров, а Белоусов. Он являлся начальником спецчасти и отбирал для Читы и своей Фаины этих олухов, мужиков по признакам судимостей, избегая брать осужденных за изнасилование. Зря опасался: Фаина была даже страшнее Читы. Воспитывали граждан Союза жены всех офицеров Девятки, и даже чопорная супруга самого Бугая, воспитывали в своих хозяйствах, где перевоспитуемые пилили-кололи дрова, перекопывали огороды, чинили заборы, красили, таскали воду, выполняли другую работу, но — к счастью! — не стирали белья... к счастью для некоторой части населения зоны.

Необходимо отметить: такая «воспитательная» работа офицерских жен не шла на пользу самим мужьям: никто из начальства не мог, кроме разве что Бугая, похвастать здоровьем, физической развитостью, особенно начальник КВЧ. Почему-то часто отсутствие физических нагрузок в первую очередь накладывает отпечаток на лицо и задницу человека. А как полезно зимою, раздевшись до пояса, махать колуном на свежем воздухе! А весною на огороде загорать! Ан нет, мужья не желали ни махать, ни загорать, в результате — и дряблость, и бледность, и прыщи...

Вальдемар догадался, почему Белокуров решил переночевать в зоне: рассказывали, что наемни опять обтрухали Читу. Белокуров решил отомстить своим анонимным соперникам, незаметно застукав их на чердаке 12-го барака. Именно на этом чердаке это безобразие и вытворяли, поскольку с него хорошо просматривались дома вохровских работников, причем именно дома двух капитанов «беляков», как их прозвали (Белокуров и Белоусов). Поскольку Чита и Фаина свои трусики стирали сами, они обычно устраивались со стиркой прямо рядом с крыльцом как летом, так и зимою. А их хозяйства были так построены, что крылечки располагались на виду у всей зоны. Они сначала не подозревали даже, что стирали на виду у мужчин, специально взбравшихся на чердак взирать на их аппетитные зады.

Сперва эта визуальная любовь осуществлялась через небольшие видоискатели — дырочки от сучков в досках торцевой части барака, выходящей как раз к домам Читы и Фаины. Однако дырочки не позволяли охватить взглядом все обожаемые пропорции. Тогда люди натаскали кирпичи, чтобы достать до пролома в одной из досок, — положение улучшилось. Но слишком много оказалось желающих предаваться любви, уже все дырки захватили, образовались очереди. Натаскали кирпичи, построили мостики, чтобы достать до других дыр, и прочили, как рыбаки с удочками на реке, — каждый на своем помосте. Наконец, кто-то в порыве необузданной страсти отодрал целую доску: красота! Совсем другое дело! Спустия три дня уже не осталось ни одной доски... Видимость первоклассная!

Но теперь и возлюбленные прачки приобрели возможность лицезреть своих любовников и радоваться вожделениям, вышванным ихними тендерами. Конечно, растерялись бедные, и

понять это можно: когда в пятнадцати метрах от тебя на чердачной возвышенности стоит ряд мужиков, пожирающих глазами, с высунутыми от страсти языками — слюни каплют — и манипулируют совершенно открыто инструментами разной величины — даже профессиональные проститутки способны впасть в шоковое состояние от такого открытия. К тому же Чита с Фаинитой сами от этого никакого удовольствия не получали, так что никакая это не любовь, а натуральное изнасилование.

Чита и Фаинита с плачем помчались в штаб жаловаться законным мужьям, и те, гонимые ревностью, ринулись в зону. Но, увы, к их приходу на чердаке 12-го барака не оказалось ни одного сексуального гангстера. Сколько бы их не ловили — безрезультатно. Оттого, наверное, что при их появлении какая-то ворона на крыльце барака напротив вахты сразу же начинала каркать: «Атас!» Означало это: закрыть бардак! Столь же бесполезно было заколачивать чердак досками...

— Обладать предметом можно и не будучи его владельцем, — заметил Вальдемор в беседе с Боксером по этому поводу, — зачем тратить энергию на приобретение... Другие бесплатно пользуются, даже близко не подходя.

Утром рано капитан свернул свою постель и пропал (спал он на столе в «читальном зале»). Вальдемор отправился в санчасть к Боксеру: от санчасти 12-й барак хорошо наблюдался — это же цирк бесплатный, когда Белокуров ловит там любовников своей жены.

Как раз пробили подъем. Одновременно Ухтомский, тот что говорил по-русски с французским прононсом, завел в зону прибывший этап и повел к бане. Прибывшие зеки буквально наступали на пятки Белокурову, и тот понял: раз пришел этап, на чердак никто не полезет. Черт с ними! Он оставил мысль сейчас тут караулить. Ему не нравились этапы: опять надо с кем-то беседовать, проводить работу, как будто не все равно, кто валит лес — мозглые или безмозглые.

Белокуров не интересовался этапами, пусть ими занимаются те, кому положено. Миновав кухню, как и Вальдемор, он приостановился наблюдать помойку: здесь у крыс как раз в разгаре «разборка». Вцепившись во что-то, они рвали и кричали, отгоняли одна другую, на Белокурова даже не реагировали. А еще говорят, что крысы умные, подумалось Белокурову,

почему бы им не поделиться, чтобы досталось всем поровну?

Узнав, что цирк отменен ввиду прибытия этапа, пришли в баню и Вальдемор с Боксером. Сюда же пришли воры с амбалами, среди последних выделялся огромный субъект с лицом в шрамах — видный амбал, знающий себе цену среди себе подобных. Звали его Треской.

Прибывшие и местные воры радостно обнимались. Никого из воров, с ним приехавших, Враль не знал, но здешние воры узнавали знакомых. Треска, скривив рожу в ухмылке, фамильярно хлопнул Вралья по заднице и в тот же миг растянулся в нокауте на полу — присутствующие не успели даже понять происходящее. Воры одобрительно захохотали: хороший бокс, приятно посмотреть. У доктора же — бывшего боксера тоже дух захватило.

— Вот здорово! — воскликнул он. — Ты боксер, парень?

— Лошадь я, — ответил Враль не в струю. Потом объяснил: как-то его с побега гнали по жаре, били прикладами вишговок, где-то поили прямо с ведра, как лошадь.

— Какая категория? — спросил Боксер.

— Первая.

— Пойдешь пшырем в 37-ю? — спросил Николай Дурак, комендант.

Дурак уловил в настроении воров симпатию к молодому человеку. Еще бы — так шандарахнуть Треску!..

— А как насчет бегать? — тут же поинтересовался Боксер.

— От кого? — не понял Враль.

— От Трески, — засмеялись воры, поглядывая на сидевшего на полу рохлю.

— Просто так... бегать по утрам, — объяснил Боксер: ведь Алик Саркисов был когда-то настоящим спортсменом и в душе остался им. — Мне нужен партнер — спарринг-тренер, понимаешь?

По правде говоря, Враль не понимал, что это такое — спарринг-тренер... Огромный черноголовый, черноглазый молодой человек в белом халате смотрел на него серьезно, даже просительно, похоже не разыгрывал. Густые брови, приятное лицо... Не мог же знать Враль, что это бывший боксер-тяжеловес, бывал даже чемпионом. Он велел Вралю раздеться, пощупал мускулы и высказал мнение, что тот мог бы добиться успеха в среднем весе.

— Завтра побегаем, да? А с утра сходим в БУР бабам уколы сделаем, а то я без санитаря пока...

Решительно дурачат, подумал Враль. Откуда здесь бабы?

— От чего уколы? — прикинулся простофилей.

— От поноса, — захохотали Боксер и все присутствующие.

Враль пожал плечами: если им смешно — пусть радуются, зачем возражать, портить отношения, все тут незнакомо...

Потом боксер Саркисов расскажет ему свою спортивную биографию: сколько матчей провел, сколько из них выиграл нокаутом, сколько апшеркаутом, где был чемпионом. Единственно насчет своего медицинского образования не скажет.

Как и за что попал на этот Спец?.. А-а, это так романтично! Он в одной зоне где-то в тайге имел связь с женой самого Хозяина, тот вызвал его на поединок. Боксер нокаутировал его, и вот — он здесь.

Как стал врачом?.. О, это тоже так романтично! Он, оказывается, приглянулся — только строго между нами — жене кума... Так что и сейчас еще продолжается тайный роман — она бывает у него в санчасти, потому он и не хочет ни санитаря, ни шпыря. Но ему это уже надоело, хочется отдохнуть от баб...

Воров к бане посмотреть на этап пришло человек двадцать. Враль уже понимал многое в лагерной жизни, понимал и то, что сейчас судьба завела его в какой-то особый лагерь, какой-то специфический, воровской. Он не понимал причину смеха всех, когда врезал Треске, намного превосходившего комплекцией. А что значит 37-я? Его спросили, сколько ему лет. Ему исполнилось уже восемнадцать. В школе учился? Нет. Не любил математику, без нее жить лучше. Убежал из дома, бывал в Европе, уже там сидел в тюрьмах.

Воры посмеялись над ним, по его мнению, беспричинно, сказали, что он, видать, заливаает. Он опять не понимал. Тогда спросили, умеет ли он врать?

— Нет, — сказал он честно.

Воры, смеясь, сказали, что, наверное, все-таки он врет насчет заграницы.

— Ты вот расскажи нам что-нибудь из жизни заграничной, если хорошо расскажешь, будет тебе у нас хорошо. Так ему объявил бородатый человек, а другой, немолодой страпилице сказал, чтобы он не боялся, хотя... именно такого бояться и назначено самой природой. Но рассказывать что-то надо было.

Он догадался по отношению других воров к этим двум, что они главные. И рассказал про случай, когда в портовом кабаке одна женщина за что-то отрезала у своего любовника член. Рассказ рассмешил воров, скорее всего из-за слова «писка». Словно они даже не знали такого слова, как будто оно было даже нерусское. Но как он узнал, что отрезала? Ах, предмет валялся в кабаке на полу? Ладно, — решили воры, парень вроде толково брешет, так что подойдет. Но дело в том, что Враль не соврал: он об этом случае читал когда-то в газете.

Его слушали, хохотали, только Треска оставался хмурым. Да, не сам рассказ всех развеселил, а именно оконцовка, то есть как он нежно назвал отрезанный предмет: пи-с-ка. Он даже не знал, что в этой среде такого слова как бы не существует, что здесь это называется даже не пенис, а хрен как таковой.

— Видите? Как человек правдиво все изложил... Чем вам не шпырь? Где лучше найдете? — объявил страхопога, которого все звали Мором.

Таким образом, общественное положение Вралья на Девятке решилось очень даже естественно. Его отвели в седьмой барак в секцию 37-й «королевской гвардии» и показали, где он может расположиться, то есть спать. Обязанности простые: убирать в секции, зимою еще и топить, утром и вечером с кем-нибудь из шестерок, хотя бы с тем же Треской, выносить из парашной каморки бочку с мочой — огромную парашу. Малой для всех здесь не хватило бы — на сорок с лишним морд.

2

Валька Черный, молодой чернявый парень с раскосыми черными цыганскими глазами, жрал с Мацоккой и бригадиром, Юркой Лебедевым, жившими в секции 37-й бригады. И вот сказал Валька Черный Вралю: после того как выльют за барак в углу зоны в уборной на двенадцать мест парашу, шел бы он в санчасть, как и приглашал его Боксер, а то, мол, тот может обидеться.

Вынесли они парашу емкостью в пять ведер с Треской. Понесли, взявшись за концы палки, просунутой через отверс-

тия-ручки в двух боках бочки, выпили, затащили в парашную (помещение в четыре квадратных метра), попав в нее через дверь в конце секции рядом с громадной, от пола до потолка, печью, огражденной от жилого пространства решетками, чтобы нельзя было разобрать кирпичную кладку трубы: в дальнейшем станет ясно, почему этого можно было опасаться.

Помыв руки, Враль побежал в санчасть. Утро выдалось промозглое. Как не говори, а осень в этих местах заступает все-таки рано, и часто весьма даже холодная. Вралю еще не удалось получить постельные принадлежности. Собственно, в каптерку он успел сбегать. Ему сказали, что нужные предметы раньше весны вряд ли поступят, но огорчаться не следует: половина населения зоны спит без простыней, так что не надо воображать, будто без простыней — ты не человек. К тому же, объяснил каптер, в зоне все это фактически существует как рыночный товар: сумеешь — доставай и владей, здесь все можно купить или выиграть в карты.

Из каптерки Враль побежал в санчасть. Новичку в зоне необходимо следовать всякому поучению, дабы не наделать ошибок, а было еще только время завтрака, еще даже не колотили на «развод».

Он уже установил, что ЗУР — зона усиленного режима, но не мог себе объяснить, кого в ней могут содержать. И хотелось узнать, откуда в ЗУРе бабы, но спрашивать ни у кого не стал, чтобы не показаться заинтересованным. Будет время, сам все узнает. Может, они здесь транзитом в пути к женской зоне?

Боксер уже ждал на улице в так называемом палисаднике перед санчастью — длинным баракком с општукатуренными и побеленными известью стенами. Рядом с ним на скамеечке лежал фанерный ящик — чемодан с намалеванным сбоку красным крестом.

— Твое дело ампулы открывать, — объяснил Саркисов с ходу. Затем, поздоровавшись, поинтересовался, как спалось на новом месте. Хотел-таки Враль спросить про баб, но тут Быддю — повар — с кухонным Хмырем притащились: принесли термос. Боксер и Враль присоединились к ним. Враль удивился: термос есть, черпак есть, но где посуда? Обычно и миски носят с кухни, как бывает в тюрьме.

— У них своя посуда, — буркнул Быддю. Его помощник с немалой харей подленько захихикал. Больше никто ничего не объяснял.

— Чего филонишь? — рявкнул в адрес Враль повар, — хватайся за термос! — И уступил ему ручку.

Подожли к узкой калитке в заборе. Боксер потянул висевшее на проволоке кольцо — далеко за забором послышался слабый звон колокольчика.

Девятка являла собой сложную хозяйственную комбинацию: состоявшая из четырех зон: Большой, Малой, ЗУРа и БУРа. Большая — бараки, баня, штаб, санчасть, КВЧ, пищеблок, восемь уборных на двенадцать мест каждая. В Малой зоне содержались личности, чей образ мысли хоть и нуждался в переформировании, но считался сравнительно мало испорчен. ЗУР — зона усиленного режима, но что она усиливала, никому неизвестно. БУР — барак усиленного режима. Содержались в нем чаще всего отказчики, когда удавалось извлечь их с помощью кипятка из нор под бараками.

ЗУР — это три барака, которые больше пустовали; зимою в них изолировали больных гриппом. Содержались в них и собранные на этап, как, например, те воры во главе с Кнуром, которые отсюда были отправлены на 13-ю сучью зону. Одним словом, все помещения зоны тут служили единому процессу всеобщего изолирования.

За калиткою послышались шаги, изнутри отмыкали замок. Процессия вошла. Тропинка через осеннюю грязь повела к трем баракам. В одном из них дежурный «мусор» достал амбарный ключ и отправился открывать секцию: конечно, подумал Враль, если здесь женщины, их необходимо держать под замком.

Дверь секции распахнулась — в лицо ударила волна тяжелой вони, как в зоопарке в клетках хищников. Бьдлю, Хмырь, Боксер и последним Враль вошли в секцию и... Враль сразу и не понял, что происходит, куда он попал?

Вонь буквально парализовала. Враль увидел абсолютно голых людей, которых по отдельным признакам все же причислил к существам мужского пола. К едкой вони примешалась сладковатая примесь явно не из параша, которая тоже вносила свою лепту в гамму запахов.

Мгновенье в помещении царил относительная тишина, слышалось лишь слабое бормотание на верхних ярусах вар, где сидели на корточках стадо голых образин, которые, едва они вошли, ринулись на них с грохотом и адским металлическим дребезжанием; бормотанье превратилось в звериное рычание.

Голые, грязные, небритые образины тесным кольцом окружили термос и Быдло. У каждого своя посуда: консервные банки, помятые старые алюминиевые кастрюльки, миски. Все это и создавало металлический грохот, когда они прыгивали. Тут Враль увидел еще голых...

Он даже вздрогнул от неожиданности. Те висели на печных решетках. Нет, их не подвесили — сами себя привязали какими-то тряпками как можно выше к потолку и там полусидели-полувисели, растянув руки-ноги, напоминая обтянутые грязно-бурой кожей скелеты или висящие на крюках туши в лавке мясника. Повисли они на решетках именно от холода: печь едва теплилась, да и то лишь в верхней части под потолком, внизу же оставаясь холодной, потому что шныри в БУРе ленились таскать дрова и топить. Они просто совали в печь горящую свечу, чтобы через трещину можно было убедиться — внутри горит огонь. Отсюда вывод: не все что горит — греет.

Вероятно, с помощью этих свечей здесь старались одержать победу над грешной плотью обитателей барака, поскольку жили здесь «козлы» — пассивные педерасты, они же и активные тоже: так что в каком-то смысле Враль не обманули.

Каждой образине Быдло давал кусок хлеба и наливал в его посуду черпак размазни, именуемой кашей. Подтягиваясь с трудом на костлявых руках, эти существа вползали обратно наверх. Здесь полученную еду складировали в углу, где находились еще какие-то обитатели.

Пять-шесть субъектов были и вовсе из разряда неопознаваемых животных. Они валялись на огромной куче матрацев, подушек, одеял, телогреек, бушлатов и разного другого старья. У некоторых даже имелись простыни бурого цвета. Аристократия! Сами они тепло одеты и выглядели очень даже упитанными. Их небритые рожи лоснились от грязи и жира одновременно, в глазах — тупость, алчность и жестокость.

Вот перед ними и расставляли полученную еду. Остальные голые пингвины умоляющими глазами молча впивались в безжалостные морды откормленных чудипц, заглядывающих в миски этак вальяжно, с ленцой, словно нехотя:

— Опять эта пшенка! Сколько можно! Каждый день одно и то же... надоела!

Они отламывали корочки от хлеба, макали в пшеничную

размазну, лениво жевали. Голые же вокруг, обхватив руками колени — так теплее, немо смотрели и смотрели... Их кадыки дергались.

Потом одно жирное животное отломило корочку от пайки хлеба и небрежно кинуло какой-то голой образине:

— Изабелла, на... ешь!..

Изабелла?! Этот... грязный скелет, лохматый, вонючий — Изабелла?

«Изабелла» на лету жадно схватила корочку. Шепотом прозвучало раболепное «спасибо». И уже она или оно с жадностью голодной собаки проглотило корочку.

— А можно... если ты не будешь... я съем кашки, а?

— Бери... на, — животное на куче барахла пододвинуло «Изабелле» миску с размазней. Другие сытые скоты тоже стали кормить «пингвинов».

— Зина, это тебе.

— Люба! Лови.

— Мама! Ломай кашу, разрешаю.

— Эй, вы там, сзади! Берите по куску на двоих. Пшенку можете сожрать.

— Оля! А ты куда это, сука, лапы протягиваешь: за тобой еще, ого, сколько числится, а я тебя о чем просил? Тоже еще... пятки отказываешься мне чесать, а?

— Кто поел, спускайся с нар — на уколы! — крикнул Боксер и, обернувшись к вислячим скелетам на решетках, добавил: — Вас это тоже касается, спускайтесь и согнитесь в свою любимую позу... Хоть штанов на вас нет, и то ладно.

Враль уже приготовился отламывать ампулы, как его учил Саркисов. Боксер приготовил шприц.

— Аляк, а больно это? — спросил первый пингвин, согнувшись в позу «Г». С каким обожанием они на него смотрели! Аляк ведь человек! Высшее существо! Совершенно из другого мира, не то что они.

Боксер одному за другим втыкал без всякого сострадания длинную тупую иглу в тощую задницу, впрыскивая пенициллин. Когда Враль прочел название препарата на коробке, он в который раз удивился: пенициллин от поноса?

— Не в поносе дело, — объяснил Боксер на обратном пути, — а в том, что у этих блядей сифилис. Оттого они в ЗУРе, их сюда сам Кириш собрал.

«Сам Кириш» — это, оказывается, тот самый главный начальник местного здравоохранения, у которого Скиталец в центральном изоляторе третью категорию себе оттолодал. А здесь... Приехав однажды на Девятку во главе медицинской комиссии проверить положение гигиены половой жизни (в комиссии не было гинеколога) и обследуя одного козла, подслеповатый лысый Кириш чуть было не воткнул свой длинный нос в обследуемый объект. И тогда он заорал на всю зону: «Всех в БУР! Всех! Хватит! Прочь!» В результате проверки выяснилось, что у многих «девочек» четыре креста (последняя стадия развития сифилиса — жарг.): ткнешь в нее (него) пальцем — гноем брызнет. Самых сложных срочно куда-то отправили, остальных изолировали в БУРе, и в обязанности Боксера входило делать им уколы пенициллина.

— Главная беда, — вздохнул с горечью повар Быдлю, — что закрыли и «замужних», и других с вполне безупречным поведением. Из-за этих сифилисных блядей «порядочным женщинам» приходится страдать. Вот Оля с Изабеллой — здоровые, но там и заразиться могут. Изабелла же за Лешкой Барнаульским замужем, а Оля жила с Кнуром, которого на 13-м зарубили. Вдова теперь...

— А там один... одна, — вспомнил Враль, — страпилице, старое, без зубов... Что? Тоже? Разве с таким кто-нибудь захочет?

— А-а, это Белладонна. Со стажем блядица. Сам-то я не проверял, но, говорят, что у нее это дело классно получается, — объяснил Быдлю. — А то, что без зубов... На что зубы-то?

— Пока они жили в зоне, — заметил Боксер, — их самих валяли, теперь они друг друга... кто кого. Те, которые всех других в карты обыграли, там султаны, остальные — их гарем. Представляете, какая козлиная идиллия? Козел трахает козла... Бисексуализм по-научному получается.

Боксер изредка прибегал к ученым терминам: доктор все-таки.

— Если выпустить их в мир божий и необъятный, одеть, допустим, в цивильные костюмы, смокинги, фраки, галстуки, шляпы, ведь о них скажут — люди! О каждом. Человек, мол! Импозантный мужчина! Встретится тебе с какой-нибудь дамочкой под ручку — она влюбленно ест его глазами... взирает в его

мужественные очи... Какой напрашивается вывод? Прежде чем женщине выйти замуж, необходимо удостовериться, что ее избранник — мужчина.

Глава вторая

I

На Девятке вновь прибывшим не давали времени на ознакомление с обстановкой или на адаптацию: сегодня приехал, нарядчик зачислил в бригаду — завтра канай на развод. Как известно, Враль определили в 37-ю королевскую, но... у него была первая категория! Значит, ему полагалось выходить в тайгу. Он же был поставлен в известность, что будет шнырем в секции у воров. Воры это решили, а о такой мелочи, как обеспечить ему «освобождение» — забыли.

Освобождение от таежного труда можно было получить только у врача, в данном случае у Боксера, единственного здесь представителя медицины. Это не представлялось проблемой: Враль ему понравился, он даже предложил, что будут вместе бегать. Боксер любил по утрам заниматься оздоровительным бегом, одному ведь скучно. Пробовал клеить на это Скита, но тот отказался. Скит был независимой персоной: приближенный самого Мора.

Официально Мор считался библиотекарем в КВЧ, но все знали, что из авторитетных воров зону держал именно он, затем шли видные воры — Петро Ханадей, Тарзан, Чистодел. По закону ворам работать, как и занимать в зоне должности, не полагалось. Они и не занимали, за исключением Мора, которого считали настолько неприкосновенной личностью, что было естественным числиться ему библиотекарем, на самом деле библиотекарем, шнырем и оруженосцем — всем одновременно был Скит.

В тот день, когда Боксер, Бьдлю, Враль и хмырь ходили в ЗУР делать уколы козлам, Боксер попросту забыл, что Враль

остался в зоне фактически на положении отказчика, забыл дать ему «освобождение» от лесной работы по состоянию здоровья.

Враль, честно сказать, в других лагерях тоже был отказчиком и за это немало пострадал, то есть из-за своих убеждений: был отказчиком не потому, что считал необходимостью бороться за сохранность сибирских лесов, — ему было неинтересно подчиняться бессмысленным, на его взгляд, требованиям. Строптивостью характера тоже отличался, причем, как он сам заметил, за последние годы стал относиться к жизни и человекообразным с необъяснимым презрением.

Жизнь не казалась ему справедливой. Что же касается отказчиков вообще, эти мужественные люди нравились ему своей стойкостью, несгибаемостью: администрация старалась заставить их трудиться, сочиняла для них лозунги в духе изящной словесности: «Честный труд — дорога к дому, запомни сам — скажи другому». Разве не гениально? Отказчики оставались глухи к красоте поэтического слова.

Им обещали, что труд облагораживает их телесно и духовно — они отказывались облагораживаться, утверждая, что от труда станешь горбатым.

Обещали хорошо кормить — они довольствовались «пониженной нормой» питания да еще сами изобретали вредные антилозунги: «От работы кони дохнут».

В действительности так и было.

Или же: «Пусть работает медведь, у него четыре лапы!» — Мечта, что и говорить: медведь тоже не дурак.

Суки в своих зонах палками учили их любить труд, но убедились: из-под палки настоящий отказчик труд никогда не полюбит — не кобыла в конце концов. И хотя вынуждены были подчиняться насилию — кубатуры давали смехотворно мало, если... давали.

Отказчики и на Девятом воровском спецу выступили против Инструкции древним способом организаторов всех революций мира: ушли на подпольное положение в буквальном значении этого понятия. И единственный барак, где они могли уходить под пол совершенно законно, — воровской, где 37-я королевская штрафная воровская гвардейская знаменосная бригада. Здесь «цвет нации». Тут-то и проявлялась разница между суками, которые угнетали мужика, гоня на работу дрынами.

Воры благоволяли мужику, значит и отказчикам, воры снисходительно наблюдали их борьбу с администрацией со своей аристократической высоты и даже помогали, как могли. Надо сказать, часто и сами воры, не слишком видные, которым не удавалось почему-то записаться у Боксера, тоже делили с отказчиками неудобства подпольной жизни.

Итак, бригады ушли на работу, проверка окончена, в зоне выжидательная тишина, нет никакого движения. Будет ли облава? Стоят на стреме отказчики-«часовые», лежат на наблюдательных пунктах у окон, бдительно следят за происходящим в зоне: если облава, о том узнается заблаговременно.

В зону вошел отряд мусоров с Ухтомским и Плюшкиным, значит — атака! Всем в кабуры. Кабур (лаз — жарг.) — это всего лишь пропиленные в укромных местах доски пола, легко вынимающиеся, открывающие вход в подпольный темный лабиринт лазеек, перегородок. Здесь нет никакого света, есть жизнь. Тут хозяева крысы, это их царство. Но и отказчики претолчиво ориентируются. Все эти несчастные дохлые интеллигенты (первая категория не обеспечивает физическими данными) — инженеры, профессора, бухгалтеры, агрономы, директора магазинов и другие — все они тут теперь ползают в худшем положении, чем крысы: те ведь в своей натуральной среде обитания.

Мусора, конечно, знали, где их искать, но лезть туда за отказчиками не просто и не очень заманчиво. Во-первых, они знали не все кабуры, а отыскивать — большая и часто бесполезная работа: отказчики попадались и из архитекторов.

Кабуры попроще, как, например, из так называемой «парашной», где в одном углу параша, в другом — бачки с питьевой водой, отсюда не очень-то хочется спускаться вниз: сюда, бывает, вываливают и экскременты. Правда, в жизни так бывает сплошь да рядом: одни какают, другие нюхают.

Облаву дважды не делали. Потому, как только она заканчивается и отряд мусоров удаляется за зону, — тут же отбой, отказчикам дают об этом знать в подпол, они вылезают и могут жить жизнью зоны до следующего утра, когда все повторяется.

Бывало, однако, так, что терпенье Бугая лопалось. Самоуничтожение преступников — одно дело, и оно — забота оперативно мыслящих работников министерства тотальной культуры. Лично с него же, Бугая, требовали еще перевыпол-

вения плана по природоуничтожению, которое ему надлежало доказать предъявлением энного числа кубометров поваленного леса. Что и говорить, в самых верхах усатые повелители и лысые мыслители понимали, что на чисто воровском спесу не выполнить никакие планы, если в нем будут только одни честные воры: им мешает работать их честность. Потому-то и гнали сюда этих подлых интеллигентов, но и от них пользы не очень — слабосильная продукция, вот и лезут они, паразиты, под пол...

Оставались мужики, то есть именно чистокровные мужики из колхозов и других крестьянских хозяйств, или рабочие, опоздавшие на воле на работу, но в целом привычные батрачить, — только за счет этих и можно было Бугаю выполнять правительственные задачи, но... Нормативы лесоуничтожения отпущены в верхах на каждую отдельную душу. Сюда включались и суки, и отказчики, и козлы и просто педерасты, а еще чеченцы, грузины и даже лошади. Одни работяги — просто мужики — чисто физически не могли справиться с такой нагрузкой, им не под силу за всех пахать. Они старались изо всех сил вместе с замученными и затраханнми лошадьми, но мало преуспевали. Тогда терпение Бугая лопалось, и мусора должны были во что бы то ни стало выловить этих проклятых саботажников, отказчиков. Тогда и объявлялась «генеральная облава».

Мусора действовали коварно: в обычное время облаву не делали. Облавы, бывало, пропускались, делались не каждый день и отказчики, успокоенные, не прятались; тут-то мусора и появлялись в такой час, когда их вроде и не ждали. Но и отказчики не дураки: стали постоянно держать караульных, и дела свои в зоне старались делать, держась поближе к «норам»...

Для надзирателей приказ Бугая почище мнения иного усатого генералиссимуса. И вот надевают они комбинезоны, вооружаются ломami, лампой-переноской с проводом на сорок метров, проламывают в секциях полы тут и там, и кто-нибудь по сильнее полезет в крысиное царство. Остальные, окружив проломы, ждут на подхвате.

Над тайгой, над бараками в безоблачном небе в это время сияет солнце и льет свет свой золотистый на страну, на весь прекрасный мир, где везде все правители обещают своим подданным светлое будущее, в котором разрешены право на

труд и отдых, на преклонение перед властью имущими и, конечно, на образование. А как это важно — образование, когда столько образованных ползают здесь в грязи под полом 37-го воровского барака!

2

И вот вор Витька Барин кричит вору Пух-Перо:

— Пух! Ты же сегодня у Боксера не был, ты в отказе, а мусора вот-вот... — Тут он обратил внимание и на Враль: — А ты? Освобожден?

— Нет, — ответил Враль, — а как это?

— Лезьте в кабур, вашу мать! — И воры, кто не взял освобождение (всю ночь в карты дулись, забыли) нырнули под нары, за ними и Враль, — там уже открыт лаз, все спустились в подпол. Из других секций, их еще три, сюда тоже лукнулись (здесь: нырнули — жарг.) отказчики, все теперь расползлись кто куда. Наверху стукнули два раза об пол, затем еще два удара. Это означало: мусора собираются капитально обыскать кабур — мол, держитесь там.

Впереди Враль в темноту уходили-уползали пятки Пух-Перо, он полз за ними. Послышался шепот Пуха:

— Сюда, ребята: тут отсек между фундаментом крыльца и коридора, чурбак есть, залезай в тупик, чурбаком закроемся, упремся ногами.

Скоро они все четверо лежали в темноте на спине. Воняло крысами.

— Ну ты мастер врать, толкни что-нибудь, — буркнул Вралю Пух-Перо.

А если вор просит — это Враль уже усвоил — надо постараться. Оно как-то лучше, если у тебя с ворами приличные отношения.

— Хотите про череп Гайдна? — спросил шепотом.

— Он кто, вор? — поинтересовался Пух-Перо.

— Сочинитель, — прошептал Враль, — композитор. Про «Восход Солнца» слышали?

— Какой тут восход под полом? — буркнул Пух-Перо. — Давай, дуй про череп. Что с ним?

— Гайдн отдал концы в Вене... в прошлом веке. Войска Наполеона только что взяли город, а одиннадцать лет спустя внук Гайдна, князь (Эстергази — *А.Л.*), получил от правительства разрешение перезахоронить Гайдна в Эйзенштадте, он в этом городе долго жил, и тут ему построили монументальный памятник. Когда раскрыли могилу в Гундштурме и сняли с гроба крышку, оказалось, скелет на месте, а черепушки нет. А так не положено.

— А зачем скелету голова? — недоумевал Пух-Перо.

— А черт его знает, — согласился Враль, продолжая рассказ. — Гроб опустили в могилу со скелетом, но без башки. Менты австрийские завели уголовное дело. Напали на след.

— Во, гады! — буркнул Пух-Перо. — Разнюхали? Кто же спер башку?

— Какой-то Карл, бывший секретарь Гайдна, с приятелем ночью на кладбище и отмахали... Заодно еще у одной актрисы (Бетти Роозе — *А.Л.*) отсекли черепушку. Они, оказывается, интересовались хронологическими (френологическими — *А.Л.*) теориями какого-то доктора, словно по черепу можно понять характер человека.

В это время надзиратели уже ползали под полом, искали, освещая более чем сжатое пространство переносной лампой. Работа эта мусорская — собачья, что и говорить, но, с другой стороны, что им оставалось? В колхоз не хотелось, образования нет, воровать боялись. Вот и ползай тут. Может, конечно, их загнали сюда по комсомольской путевке. В результате общения с местным специфическим контингентом они со временем и омусорились: ведь если человека каждый день бесконечно посылать на три буквы и в другие разные места, можно и озвереть, это факт. Но вот они сейчас тут ползут в пространстве, где невозможно определить, где юг, а где север, ползут с фонарями и ищут человек. Наконец один наткнулся на кого-то. На кого? Может, это профессор-биолог, обозвавший обыкновенного черного таракана генералиссимусом, или инженер с первой лагерной категорией (несмотря на его сахарный диабет), в котором Боксер, увы, ни хрена не смыслил? Встретились люди на таком низком уровне, и один другому орет в изысканной манере:

— Вылазь! Мразь ползучая! — и толкает профессора в

сторону дыры — наверх. А мусорам наверху: — Встречайте там! Одного принимайте!

Прокричал, а сам ползет искать других отказчиков. Профессор же покорно уползает в указанном направлении...

Вскоре надзиратели наверху опять слышат крик снизу:

— Там! Наверху! Примите второго!..

— Третьего возьмите!

— Четвертого!..

— Посылаю девятого!

— Пятнадцатого!

Надзиратели наверху пьют зенки на дыру в ожидании появления хоть одной образованной крыски — никого.

А все потому, что профессор, уползая в указанную сторону, едва пятки надзирателя исчезли из виду, меняет направление — уж он-то преотлично ориентируется — и вот он уже уткнулся носом в ботинки другого своего коллеги, к счастью, инженера, который всех их поведет через узенькое отверстие в фундаменте в некоторый другой тупичок; возможно, тоже закроет его за собой чуркой, валяющейся рядом. Теперь они, лежа на спине, упираясь ногами в чурку, фактически недоступны любой силе.

Мусоров опускают под пол помочь товарищу, они пытаются оттолкнуть чурку лбами, потом переворачиваются на спины и тоже толкают ногами. ну! У кого копыта сильнее? И все проклинают матерей, даже божью мать, а толку никакого, копыта отказчиков сильнее, им помогает страх. Мусорам приходится вылезать несолоно хлебавши.

— Ну, давай, — требует Пух-Перо, упираясь ногами в чурку, — гони дальше про эту хренологию.

— Френологию, — поправляет Враль. — Одного там вроде посадили, но черепушки они не вернули.

— Во, бляди! Хотя бы бабскую отдали... все-таки актерка без черепушки не смотрится.

Дальше Пух-Перо узнал от Вралья, что череп Гайдна зашла в тюфяк жена одного похитителя, где он и хранился, пока из тюрьмы не освободился другой и заложил приятеля, после чего тюфяк распорили, череп примерили композитору — оказался подложным. Могилу опять зарыли, и лежал в ней бедолага-композитор без головы, а уже сын Эстергази с трудом нашел настоящий череп.

Пока отказчики делились знаниями, надзиратели натужились отодвинуть турку. Как же, как же! Так ли это просто? Тогда они предприняли последнюю атаку с применением горячего оружия: пошли на кухню, наполнили пять-шесть сорокалитровых алюминиевых бадеек кипящей водой, потащили их, задыхаясь от тяжести, в злополучный барак; здесь, расставив в разных стратегических позициях, высчитав примерно траекторию ползания «подпольщиков», начали одновременно поливать через щели кипятком. Тут уж несчастным больше как наверх спастись некуда — в ожогах, мокрые, люди выходят наконец на поверхность. С них срывают мокрую одежду и, как опшаренных гусей, тащат в карцер, где им гарантировано «диетическое» питание.

Но, случалось, кипяток не всех доставал. Уцелели на этот раз и Пух-Перо, и другие с ним. Враль побежал к Боксеру в санчасть оформлять освобождение от физического труда.

3

Теперь по утрам Враль бегал с Боксером. Ради этого необходимо было вставать за час до подъема. А как узнать время без часов? Выручали сторожевые собаки, лаявшие в пять утра, когда на вышке, стоявшей рядом с баракom, менялся часовой. Какими часами пользовался Боксер, неизвестно, но Враль заставал его всегда готовым к спортивным занятиям.

Начиная от санчасти, они бежали — впереди Боксер — мелким шагом в сторону бани, отсюда к 12-му бараку, где в этот час на чердаке трухальщиков еще не было, затем мимо кипятылки — к сушилке, дальше трусили мимо каптерки и ряда баракoв, последний из которых, седьмой, являлся резиденцией «королевской гвардии» — 37-й штрафной бригады.

Оставив в стороне бараки, они галошировали уже на хорошей скорости к штабу, в котором размещались кабинеты Бугая и прочей администрации. Такой бег, объяснял Боксер, хорош для установления ритма дыхания.

Между делом они болтали о разном — о боксе, конечно, о раундах, тренерах, нокаутах. Но Враль не интересовался

боксом. Треска был первым, кого он нокаутировал случайно. Поняв однажды, что не знает, чего хочет и чем интересуется, он растерялся. Но это была не апатия, а следствие усталости, просто слишком часто он сталкивался с несправедливостью и перестал верить во что бы то ни было. Послал бы он и этого боксера подальше, но лагерный опыт не позволял: с лепилой необходимо считаться всем, потому что лепила — человек! Да и бег!.. Разве плохо? Враль слышал про одного побегушника — ушел с концами. За ним километров двадцать шла погоня с собакой, награжденной медалью за поимку многих беглецов, но в данном случае бедная псина схватила инвалидность — вот что значит правильно установленный ритм дыхания.

Враль устраивал Боксера главным образом в качестве партнера по утренней пробежке, его личной жизнью он не интересовался, о собственной же обожал болтать, особенно о том, как его боготворят женщины; о своем происхождении тоже распространялся, но если бы Враль не обладал даром воображения, он бы очень мало что понял. Из рассказа Алика можно или должно было заключить, что Саркисовы... — сам Алик точно не знает — но вроде азербайджанцы, хотя изначально они турки, а их дальние предки произошли от древнекитайских феодалов, так что сам Алик, вполне вероятно, восточный принц. Бывал он в разных зонах — и у сук, и «поляков», даже у беспредельщины; но отовсюду ушел с незалатанной шкуркой, потому что его эта резня не каеается, он — наука, медицина.

Пробегая мимо вахты, они направились к пищеблоку, затем, миновав колодец и помойку, одну из уборных, очутились у КВЧ. Здесь темп снизили, чтобы закончить бег на ровном дыхании там, где начали, — у санчasti.

После несложных «водных процедур» они расставались: Враль отправлялся на кухню за завтраком Ханадею, Боксер — готовится к приему больных, симулянтов и просто жаждущих получить «освобождение».

Враль и Скит тоже сошлись характерами, их дружба началась, когда дни стали совсем холодными, летали белые «мухи», а воры все больше отсиживались в зоне, развлекаясь, как умели. В большинстве они все-таки ночные люди. По ночам «бурят», «рамса» гонят, «терса» или «делят третей» (коммерческие карточные игры — А.Л.). Иной к утру окажется в кураже, другой проигрался «до досок», третий — были и такие — лез на

чердак вешаться, чтоб не оказаться на «кожаном ноже» за фуфлю.

Вечерами, когда бараки еще не заперты (хотя замки для воров до фени), воры чифирят, травят баланду, кто-то на гитаре шпарит, кто-то бацает — как говорится, самодеятельность. Бывают и пельмени (с воли доставят, и водочку тоже), и песни Петьки Лещенко, Изабеллы Юрьевой, или сами воры музицируют, декламируют Есенина, романы травят — настоящие или собственного устного сочинения. И просят Вралю рассказать о какой-нибудь хренологии с князьями, и тот всегда им травит. Ворам его заграничные истории нравились, его хвалили.

— Хоть не наш фраер, а жизнь понимает не хуже, чем иной вор!

Как-то его за плечо тронул Скит.

— Попли в КВЧ, чайку заделаем. Я там живу у старика.

Они пошли в КВЧ, вслед им завистливо смотрел гигант Треска. Он понимал: этот сосунок теперь у воров на хорошем счету, но, бог даст — свинья не съест, может, настанет праздник и на его улице.

Глава третья

I

Скит рассказал Вралю, что Боксер, было дело, и ему предлагал по утрам бегать, но Скит остерегался его бесконечных любовных историй. Он многое объяснил Вралю про Девятку и воров, о порядках, но попросил уточнить, почему его зовут Враль. И тот разъяснил, что зовут его так, поскольку в детстве много врал. Скит рекомендовал быть осмотрительным, пробегая мимо окон КВЧ. Оказывается, капитан Белокуров, ночуя в зоне, ленится ночью ходить в уборную, вышвыривает в окно газетные свертки (зимою бросает в печку):

— Не поскользнься, случайно наступив!.. Между прочим, он с университетским образованием...

В конуре Скита в два квадратных метра (из нее и топилаась библиотека) кроме топчана с матрацем помещались тумбочка и чурбак, сидя на котором у открытой топки, словно у камина, приятно предаваться думам. Зона в это время уже должна была спать: пробили отбой. Лишь на кухне могла продолжаться жизнь: повара крутились у огромных котлов, в разделочных помещениях подсобные рабочие из отказчиков чистили картошку, разделывали рыбу, резали капусту. Жилые же бараки с зарешеченными окнами закрывались на ночь на замки, в них полагалось предаваться сну. Но замки для воров ничего не значили. Если уж по своей специальности они проникали в чужие закрытые помещения, то из собственного выбраться им ничего не стоило: ходили и ночью из барака в барак — чифирить, играть в карты. А надзирателям не улыбалось бродить по зоне в такое время, особенно в одиночку. Смертной казни ведь не было...

Мора в библиотеке не оказалось. Скит объяснил, что он часто не ночует — коротает время где-нибудь в бараках или на кухне, если там дежурит, скажем, Ванька Быдло, с которым Мор дружит. Скит поинтересовался, где это Враль так ловко травить научился, и Враль признался, что из книг.

— У меня их здесь навалом, набирайся вранья сколько влезет, — обещал Скит, — а то некому их изучать, работяги в тайге изнуряются. Воры книгами интересуются разве что в тюрьмах. В тюрьмах даже самые неграмотные стремятся похвастаться начитанностью. Некоторые вору говорили, что читали «Капитал» Маркса, и некому было их разоблачить, доказав обратное. Странно похвастаться тем, чего и знать не хочешь, чем никогда не интересовался.

Когда пришел Мор, Враль впервые поразился странной раздвоенности лица этого человека. Увидев незнакомого парня, Мор спросил:

— Ты ищешь кого-нибудь? — мгновение он изучал Вралья, посмотрел мельком на Скита: — А-а!.. — и вошел в библиотеку.

Скоро оттуда послышалось неуверенное, но старательное треньканье на мандолине, кто-то пробовал вывести мотив известной воровской песенки «Гоп со смьком — это буду я!»

— Старик... — без уточнения сказал Скит, дав понять, что это Мор музицирует. — Его любимое увлечение, когда он очень старается, того и жди — кого-нибудь в зоне зарежут.

Скит признался, что из всех лагерей, которые знал, лишь здесь он обустроился, наконец, лучшим образом: обязанности несложные, свободного времени достаточно.

— Здешняя элита — воры. После них идут придурки... Я, например, придурок. Затем работяги, затем амбалы и шестерки, затем отказчики, затем «замужние» козлихи, затем просто козлы. Собственно, последними в списке могут считаться интеллигенты, из настоящих, но они тут делятся на несколько категорий: одни — доктора наук или инженеришки — те, которые с тобой под полом ползали, отказчики. Но и придурки считают себя интеллигенцией, возьми хоть нашего медбрата, «доктора» Боксера... Еще комендант, банщики... Даже ассенизатор по кличке Кенгуру, метр с кепочкой, но с таким инструментом... говорят, женщины, увидев, падают в обморок: больше, чем у Бугая. Так этот состоит в браке с кобылой, которая его бочку тащит: распрягает, заталкивает в уборную на двенадцать мест и... Что поделаешь, не у всякого спальня из карельской березы... Но и Кенгуру — интеллигент. Разве можно его сравнить с нашим Белокуровым, путающим уборную с газетой «Правда». Дворник обзывает нас засранцами. Или этот верзила Бугаев, начальник всего и всему, трахает на письменном столе баб... Интеллигенты! Офицеры!..

Скит рассказал, что достиг сейчас в жизни вполне приличного положения (инвалидности), достиг ценой собственной жизни, являясь одним из миллионов тех, о ком говорится: «Никто не забыт и ничто не забыто». Так что не зря воевал, не зря полбашки оторвало. Рассказал и про особенности воровской зоны:

— Здесь не воруют в том смысле, что у тебя ничего не украдут, можешь оставить на виду даже деньги — не возьмут, понимаешь? Никто не рискнет взять... инвалидом станет. В воровской зоне криминала нет, кроме, если зарежут ерша. Это бывает, но это нормально.

Пробираться в свой барак Вралю понадобилось через кабур, двери барачков оставались на замках до утра. Проходя мимо кухонной помойки, он невольно остановился посмотреть наглую возню крыс, не обративших на него никакого внимания.

Они дрались и мерзко визжали на зловонной гряде всевозможных отбросов.

— Днем, — услышал он хриплый голос сзади, — она смотрится хуже. — Оказывается, Мор неслышно шел за ним. — Не так, как сейчас, при луне... Здесь каждую ночь идет смертельная схватка между крысами и воронами: кому помойка, а кому Эльдорадо.

2

Они стали часто посиживать вечерами после закрытия барakov в конуре Скита. Случалось, к ним подсаживался и Мор, спросить о чем-нибудь непонятном или о еще более непонятном сказать.

Скит рассказывал Вралю и о своих военных приключениях, про Рощу и Варю...

Ночью, когда бараки считались замкнутыми, в зоне велась неслышная обыденная воровская жизнь. Лишь в бараках, где жили рабочие бригады, царствовали храп спящих и вонь сохнувших портянок на печной решетке.

Смотревшему с вышки в зону, наверное, казалось, что в ней тихо. Но тихо бывало под утро, когда над тайгой, за горизонтом, намечается заря, сначала лишь бледная синева, отступающая по мере приближения света. За забором в это время глухо гремят цепи сторожевых собак, охраняющих свободу от несвободы, или наоборот. Гремят эти цепи, и тот, кому суждено их звон в тасжной ночи слышать, надолго запомнит, если не навсегда. В такой час Боксер выпускал «полетать» свою ворону... Сколько она крови попортила часовым на вышках! Сколько казенных фонарей перелушила эта неуловимая пернатая! Как могло прийти Боксеру в голову привить вороне такую ненависть к свету? Хотя ненавидела птица только искусственный свет.

На ночь единственно барак расконвоированных не закрывали; еще не запирались помещения пищеблока, баня, КВЧ, санчасть и уборные.

Не спеша проволочился Мор мимо помойки, остановился, наблюдая, как производится смена охраны на вышке, дошел до

колодца: здесь два хмыря выгаскивали бадейкой воду и переливали в бачок, установленный на низенькой тележке. Потом вошел в кухню через разделочные помещения, где как раз очищали вареные лошадиные головы — сдирали остатки мяса с удлиненных черепов, вынимали из глазниц крупные глазные яблоки, достававшиеся хмырям в уплату за работу: они чистили картошку, разделывали рыбу, мыли-скребли, натаскивали из колодца воду, в общем, делали все, что велили, — хмыри в большинстве своем из отказчиков. Мор с кухней в ладах, система общесоветская: ты — мне, я — тебе. Из воров только центровые имели право обжать кухню, ворам рангом поменьше не положено. Иван Быдло в белом халате разгуливал между котлами, словно генерал. Переругиваясь с Мором, он положил ему в миску жареной для «комсостава» картошки и котлет: свои люди из общего котла не жрут.

— Говорят, Ухтомский новой козой обзавелся, — заметил Быдло, усевшись около пожиравшего котлеты Мора, — проводит с ней воспитательную работу.

Иван Быдло по образованию учитель географии. Мор не ответил: он ел.

— Бугай матюкает ментов, чтобы те заставили мужиков давать больше кубатуры: стране нужен лес не растущий, а спиленный.

Мор не отвечал: он ел.

Быдло говорил о том, что вчера в БУРе затагнули ерша (подразумевалось, человека задушили полотенцем) и гадали, кто же пойдет на рикшу. Быдло имел в виду воровских амбалов: кто возьмет дело на себя?

Мор промолчал: он заканчивал еду. Мор не был словоохотлив — общался исключительно вежливо, в пределах нормы. У воров вообще принято общаться в изысканной манере. Случается, переругиваются этак незлобно, но до конфликта доходит не часто. Чтобы оскорбить просто так, как фраера в трамвае... упаси боже! Обыграет иной шулер из воров мужика нечестно — старики это безобразие пресекут и мужику хоть что-то вернут. Так что воры тоже всегда готовы защитить интересы рабочего класса. Недавно Витька Барин даже отлупил молодого ворику за насилие над козлом... Да, да, насиловать не полагается даже козла!

Мор поел, попил чай с белым хлебом, не поблагодарил,

просто пожелал Быдлу здоровья и ушел. Было еще темно. Ночь приближалась к утру... Это он позавтракал? Или поужинал? Впрочем, вор может себе позволить завтракать или ужинать в любое, удобное для него время.

Скит и Враль тоже бодрствовали: чифир — коварная и в общем вредная вещь. Главным образом для тех, кто его пьет. Если водка может причинить беды многим, то чифир только употребляющему его: цирроз печени, бессонница — это обязательно. С другой стороны, тот, кто его регулярно употребляет, без чифирка уже ни на что не годен: у него постоянно расширены сосуды за счет чая. Если ему не поддерживать привычный тонус, сосуды сузятся — он уже не жизнеспособен.

Лагерные мусора много теряют, этого не понимая. Во-первых, за бесценку распродается лагерное барахло; во-вторых, без заварки чая чифирист не работник. Но мусорам скорее всего не столько нужна работа зека, сколько его мука.

На огонек к Скиту и Вралю заскочил Дурак, тот самый, который в промзоне козу Ухтомского обесчестил, и передал за глоток чифира кое-какие параша (слухи, сплетни — жарг.), а именно: управленческие теоретики намереваются заставить воров работать.

Как раз в это время и мяукнула дверь КВЧ, а она «мяукала» только тогда, когда ею пользовался Мор, мяукала из-за того, что петли проржавели. Но когда этой дверью пользовались другие, она лаяла, словно старый охрипший пес.

— Сидите, — констатировал Мор, собираясь идти в свою опочивальню. Скит решил поделиться услышанной от Дурака «парашей». Новость как будто не удивила Мора, вернее, она не была для него новостью.

— А то они раньше этого не хотели, — буркнул он, — всегда мечтали, чтобы воры работали. Крепины. Они же ни хрена не понимают в экономике... — Подвинься, — приказал Вралю, сидевшему на топчане, и сам устроился рядом. — Бугаю надо, чтобы был план. Бугаю лучше с суками: эти погонят мужика, семь потов выдавят из него. Вора́м не положено. Вот и плохо Бугаю. Но, спрашивается, почему бы вору и не работать, если он, скажем, умеет и у него хорошая специальность, образование? В книжках пишут, будто вору зазорно быть образованным, будто к вора́м идут умственно отсталые... Выходит, воры приветствуют дураков? Они и приветствуют... тех, у кого труд —

дело чести, доблести и геройства, но не дураков вообще. Притвориться дураком — одно, так делают многие коммунистические руководители (удобно — значит выгодно), но дурак на самом деле — совсем другое, и это несчастье.

Мор никого не наставлял, аудитория его не интересовала: он размышлял, и из его размышлений публика узнала, что воровские законы... тоже законы. Воры именно потому не должны работать, что их организованная жизнь возможна только при существовании общего воровского котла, а на каких дивидендах базируется он? На воровских поборах фраеров: дань, процент. И от украденного доля. Воры вносят в общак долю из всякой добычи. Конечно, тоже пытаются зажухать, обмануть «налоговую инспекцию», но тем не менее с большой добычи и большой процент, с меньшей — меньший; и из картежных выигрышей отстегивать полагается: они также прибыль с воровского ремесла.

Но отдаст ли вор долю в воровской общак из зарплаты, которую ему выдали, скажем, на заводе? В том-то и дело, что нет. Если вор пахал и одновременно воровал (такие вообще-то встречались), он отдаст долю из ворованного, но из заработанного собственным горбом — никогда. Но если все воры начнут пахать, где же порядок? Тогда того и гляди воры трансформируются во фраеров. Если бы воры завели такой порядок, чтобы все украденное вносить в общак, а из него выдать как бы зарплату и подогревы с учетом авторитетности — они бросили бы воровать. Да, если все воры начнут работать, времени для главного у них не останется, даже если бы удалось заставить их отдавать долю из зарплаты. Вымрет тогда воровское общество: зарплата-то у государства нищенская. Воры, как хорошие экономисты, не хуже капиталистов знают, что время — деньги, которые пока не отменили нигде. Потому и должны честные воры воровать, ибо это их работа, а любой другой труд означает валять дурака. И этот закон является основным, мобилизующим жизнь скромных, тихих людей. Так что, мечтать мусора мечтают давно, как бы заставить воров плясать под свою дудку, но в экономике они не сильны... Да что там, с любой уголовщиной покончить возможно. Преступлений не станет тогда, когда нечестно жить будет невыгодно, когда будет выгодно жить честно. А кому в нашем государстве выгодно жить честно?

Мор рассказывал о том, что воровская система основана тоже на экономической базе, как и всякая другая. Карты в воровской жизни, как лотерея: надежда сразу оторвать кусок. И еще карты как четки, которые беспрерывно перебирают мусульмане, или как жвачка — говорят, в Америке люди постоянно жуют...

Глава четвертая

I

Зону всколыхнул неслыханный слухер. Зарезали четырех авторитетнейших воров: Тарзана, Чистодела, Витьку Барина и Снифта. История Краслага такого не знала, чтобы на воровском спецу, где никогда ни у кого ничего даже не украли, где дисциплина, где ершей раскусывали раньше, чем они успевали сюда прибыть, где просто неммыслимо само понятие преступления в том смысле, что у преступников преступление исключалось как неестественное явление, аномалия, — убиты четверо почтеннейших граждан!

Кум, в ожидании непредвиденных эксцессов в зоне, был в панике, Бугай — в еще большей: выйдут ли бригады на работу? Если нет — как он все объяснит начальнику управления. Самоуничтожение преступного мира хорошо, когда от него не страдает план лесоразработок. Зарезали бы сотню сук — да бог с ними, работа в тайге не остановилась бы: работягам нет дела до междоусобной войны блатных, но воры... Убиты авторитеты, которых почитали. А бугры, то есть бригадиры, все до единого, — ставленники воров. Вот объявят теперь траур... Какая сволочь это сделала?

Начальник по режиму тоже в панике: у него были недоброжелатели в управлении. Теперь ему могут сказать: в чем вы там занимаетесь, не знаете свою зону? Как будто в управлении не знают, чем они тут занимаются. Не успеет из столицы или даже областного центра выехать какая-нибудь паршивая комиссия — из

управления уже звонят: выдать телогрейки, простыни (чтобы потом собрать, пока не прочифирили).

Больше других паниковал все-таки кум. Уж его точно упрекнул в отсутствии профессионализма: мол, куда смотрят твои стукачи или их нет совсем? А если нет — какой же ты тогда кум? Что же вы, такие-сякие, только и делаете, что ловите трухальщиков на чердаке, которых эти две курвы, Чита и Рита, марьяжат своими задницами.

Напрасно все они так волновались. Воры — люди разумные, понимали: Бугаю план давать надо, нужна кубатура. И бригады, как всегда, вышли в тайгу.

Убитых воров нашли в разных местах. Одноглазого, то есть Снифта, под полом парашной секции 37-й бригады. Там существовал кабур с выходом из барака, он был открыт: доска — «вход» — отброшена. Снифт с выколотым единственным глазом валялся среди дохлых крыс, в дерьме, которое туда попадало вполне естественным образом.

Витьку Барина нашли с пробитой головой в коридоре того самого 12-го барака, с чердака которого открывался для любителей прекрасного пола такой для них живописный вид.

Голого Чистодела утром обнаружил в бане банщик, одежда лежала рядом с ним. Не было похоже, что он там мылся, а что делал?..

Тарзана нашли кухонные хмыри, когда утром выливали помои на помойке: здесь-то на горе объедков он и валялся — красавец-великан. И таким образом можно сказать, что Варя опять овдовела. Тарзану в горло была воткнута его же собственная пика (самодельный нож — жарг.).

Воры собрались на сходняк в секции 37-й королевской. Фраеров выдворили, даже бугра, Юрку, даже лучших оруженосцев — Вальку Черного с его другом Мацокой и даже самого преданнейшего из преданных — Треску.

Про сходку известно, что воры там вовсе не рыдали от скорби. Они для начала говорили-гадали, как это такой громадина, Бугай, — большой человек не только комплекцией, но и властью, но поставить диван в своем кабинете... Пух-Перо знал, что жена Бугая будто бы пригрозила перерезать ему глотку, как только Бугай поставит в кабинете хотя бы скамейку.

Больше других воры жалели о потере Чистодела. Чистодел был не просто авторитетный вор. Он был, говоря словами

фраерской терминологии, заслуженный. Его можно было сравнить с такими легендарными урками, как, например, Красюк, которого широко знали в качестве «Героя Советского Союза». У Красюка и соответствующий реквизит со звездочкой героя имелся. Воры допускали, что Красюк не уступал легендарному разведчику Кузнецову в умении конспирации. Чистодел пользовался авторитетом у воров по всей стране. Ему даже менты поражались: такой видный воругоа, а не единой наколки... Действительно, даже у Трески мало осталось на коже неразукрашенных мест, аж до задницы покрыт всякой чертовщиной.

Говорили, Чистодел после закрытия бараков ушел через кабур в восьмой барак. Он сказал своим кентам, с которыми жрал, что идет, мол, к Саньке Носу: у них уже с неделю идет игра. Нос подозрительно азартен и он, Чистодел, начеку: как бы не клюнуть на фуфло... Ему не столько было боязно нарваться на фуфло, сколько не хотелось, чтобы Нос, которому он симпатизировал, оказался фуфлыжником.

О, Чистодел на своем веку всякого повидал и понимал: Нос — очень молоденький вор, а азарт — болезнь. В азарте человек всякое может натворить. И тогда Носа ждуг непредсказуемые неприятности, тем более что игра при свидетелях. Мор высказал подозрение, что ЧИстодела скорее всего устроило бы, если бы Нос засадил ему фуфло: это развязало бы ему руки, ведь его «баба» — «Юлечка» — в БУРе, так что ему, как говорится, «жить» не с кем. Так, может, голый Чистодел в бане с Носом и «чифирил»?..

Воры устроили поминки душам усопших воров в секции 37-й королевской бригады, откуда удалили всех фраеров, оставив Вралья и Треску, чтобы варили чифир. Поминки по ворам совпали с празднованием нового, 1950 года. В секции имелся патефон с пластинками Лидии Руслановой и гитара, а один вор, из цыган, превосходно бацал. Нигде не сказано, что воровские поминки должны быть мажорными, тем более что днем извозчики дров достали водку и настоящих сибирских пельменей аж целый мешок. Но надо оговориться: Треска, пока воры чифирили да базарили, через небольшую дырочку в мешке с пельменями доставал их по одному и сожрал сырыми добрую половину.

2

Кум доложил в управление, что зарезали четырех воров, что он приложит силы и, как обычно, найдет, кто это совершил. Еще не было случая, чтобы после мокрых дел виновные сами не прибежали на вахту в повинной.

В управлении его успокоили: не надо спешить. Четверо воров — пустое! Беспокойство проявлять нет оснований, на Девятке вот-вот совершатся более значительные дела, к ним-то и надо заблаговременно подготовиться. Затем главный управленческий кум заинтересовался у своего девяткинского коллеги:

— Как там твой шеф, Бугаев? Доходят слухи, он свой письменный стол совсем доломал... Главный кум на своем конце провода гулко рассмеялся. Девяткинский кум, не понимая, откуда ветер, тоже захихикал. Чтобы выиграть время, он продолжал дудеть в свою дуду: что, мол, не дает ему покоя этот случай с ворами, что он давно уже служит, всю войну тут провоевал, но такого в его практике еще не было, чтобы Тарзана да на помойку, а этот... Чистодел! По нему ведь все тюрьмы плачут...

Главный кум, правивший делами в первом особом отделе Управления, даже как-то раздраженно повторил, вежливо конечно, но смысл такой, что не ной, кретин, а передай Бугаю, чтобы заказал у себя там в промзоне — есть же плотники? — новый стол, а заодно двадцать восемь плюс столько же еще — значит, что-то около сорока ящичков из горбыля метра два в длину. Непонятно?! В 13-й сучьей зоне уже составлены списки тех сук, кого сегодня-завтра отправят на этап. А куда их отправят? Как о том кумекает девяткинский куманек-родственник?

— К нам что ли? — разинул рот тот, доказывая начальству свою исключительную сообразительность.

— Ты там не болтай! — рявкнул «родственник». — И вот что, нацупай-ка... в общем, готовь свидетелей.

Связь прервалась. Это значило, что куму из кумов надоел собеседовать с таким дурацким кумом, как этот на Девятке.

Но тот кое-что все же скумекал:

Девяткинский кум считал, что он хороший специалист в своем ремесле вынюхивания, потому и чувствовал себя как

мужик, от которого ушла жена: почему же ему не настучали, кто замочил четверых центровых воров? А тут что-то опять затевается... Значит, что-то надо обмозговать. Значит, кого-то надо завербовать. Еще ведь намекнули обеспечить виновными (свидетелями). Необходимо завербовать сознательного стукача, какую-нибудь честную сволочь... но из кого? Он не мог отыскать в своей памяти такой честной души. Сознательность... Душевное качество... Добро... Добровольно содействующий... Патриот... Нашел!

Он заглянул в библиотеку узнать, нет ли здесь четвертого тома собрания сочинений... Кого бы спросить? А-а, этого... как его там — Булганина или Бухарина или, кажется, Бухарика. Так и спросил у Скита. Тот посмотрел как-то не так, вроде засомневался в чем-то. Кум решил, что Скит боится выдать свое невежество и объяснил, что этот Бухарик нужен-то ему как волку соленый огурец, но политэкономия, знаешь ли... а в поселковой библиотеке этого... Бухого нет. Затем от нечего делать спросил, откуда Скит родом. Ах, из Москвы? Воевал? На фронте родину защищал, к тому же добровольцем из лагеря? Похвально! Сознательно?! В будущем это на его судьбе несомненно благополучно отразится. Кум перешел на «ты», как со своим человеком, служивым, фронтовиком. Завел речь о ворах, их порядках, что, мол де, между собой не ладят, и почему бы?

Скиталец знал, что многие придурки — кумовские осведомители: и сушильщик, и кипятыльщик, и банщик... Впрочем, тот, кажется, поставлен ворами, вору баню особенно берегут: везде в зонах баня — оффис правящей «партии». А вот комендант, Дурак: этот — стукач, Иван Быдло — не стукач, но второй повар — стукач. И никто не знает, сколько их еще в бригадах. Мор, сидевший в КВЧ, не по зубам куму, об этом тоже вся зона знала. А что старый уродец и есть в зоне главный, не знал никто, кроме, конечно, воров, и то не всем было ведомо. Многие считали, что, безусловно, зону держал Чистодел или даже Тарзан, или во всяком случае старый Ханадей.

Кум гнул свою линию: Скиталец кровь проливал, а как ворье относится к таким? Не дай бог! (А то Скит не знал, сколько профессиональных воров погибло на фронте. Причем, кто бы мог принудить вора!.. Памятников погибшим вора на фронте не ставят, но и их, надо полагать, причисляют к неизвестному солдату).

Кум уговаривал Скита не падать духом: у него, мол, все еще впереди, будут перспективы и заживет он не хуже других. И стал кум размышлять вслух о жизни в зоне, воров, мусоров, крокодилов, негров и политзаключенных, которых, как известно, на Девятке не имелось. Кум должен был осторожно доказать будущему потенциальному «сотруднику» мотивы его заинтересованности, службы и тому подобное, чему мог содействовать, полагал он, ракурс его понимания воров как биологического вида, которому он вполне сочувствовал. Затем между прочим он деликатно расспрашивал Скита про жизнь вообще, и в зоне в частности, осуждая по-человечески тот факт, что безнравственно зарезать вот так по-скотски четверых видных граждан зоны. Затем для убедительности стал приводить примеры из некоторых лагерных реальностей.

— Вот я как-то наблюдал некоторых, обижающихся на нас, доказывающих свою невиновность... нам, — он уточнял, что в данном примере речь вообще-то идет не о населении Девятки, он-де говорит о политических, из чего Скит заключил, что девяткинский кум и с ними работал. — Но ведь эти люди, — возмущался кум, — избрали путем голосования своего вождя, который шандарахнул их доской по башке, но они — вы бы видели! — даже в тюрьме все еще продолжали ему верить. Спрашивается, почему же мы не должны верить великому вождю — мы, еще им не наказанные? Смешно и то, что обижаются такие на воров — грабят, мол. Политические не в состоянии понять: вор живет по своим законам, и по этим законам фраер — его добыча. Для воров эта политическая катавасия означает не больше, чем то, что одни фраера посадили других. Воров фраера по некоторым причинам презирают. Могут ли воры сочувствовать тем, кто их презирает? Ворам это ни к чему. Для них фраера всех сортов всего лишь фраера, как для волка бараны всего лишь еда. Ни один волк никогда не будет в претензии к другим волкам за то, что они едят баранов... Пришло бы кому-нибудь в голову обвинить крокодила в том, что он сожрал негра, или белого, или русского, или даже политического заключенного?

Скит понимал, что тот мурлычет здесь, потому что еще не дали ему по башке доской. Скитальцу давали, и не раз. Поэтому куму не на что было рассчитывать. Скит не клонет, ибо случается же человеку от жизни и поумнеть. Разговор завер-

пились вежливо. Скит обещал поискать томик марксистского философа и передать с капитаном Белокуровым, когда тот появится в зоне караулить визуальных любовников своей Читы.

3

Скит зря отнесся пренебрежительно к доброжелательству кума. Его забрали еще до подъема, когда Плюшкин и Метелкин с Ухтомским, обвешанные амбарными замками, шли на вахту, когда Враль с Треской уже занесли опорожненную парашу в секцию 37-й бригады. Скита забрали за неучтивый тон при разговоре с кумом, и тот отправил его вместе с тремя отказчиками на Пятый ОЛП (Управление) в центральный изолятор в качестве подследственного по подозрению в убийстве четырех воров. Основание? Основание здесь не практиковалось.

Поместили их в новый изолятор в трехэтажном деревянном корпусе. В камере уже находились два вора. Одному лет сорок пять, другому примерно столько же, сколько Скиту, или немного меньше. Старшего звали Сенькой по кличке Самурай, молодого — Котенок Вася или просто Котик. Таким образом, стало их в камере пять «морд».

Самурай, невысокого роста упитанная личность с прищуренными глазами на пироком лице, держался надменно. Вася, с наглыми голубыми глазами, тоже малого роста и тоже с апломбом. Они были в «законе» — самые настоящие «честняги».

Однажды все валялись на варах и слушали болтовню Васи Котенка о том, как несложно убивать.

— Это даже просто, — объяснял Вася (и Скиталец согласился: он видел на фронте, как просто умирают кем-то издали убитые люди), — когда «пика» входит в человека, даже не требуется большого усилия: легко этак надавил и, словно в масло... если кость заденет, хрустнет, конечно, а так... легко.

В это время загремели замки, и в камеру вошел хрупкий паренек с матрацем подмышкой, в руке — небольшой мешок со скудным имуществом. Совсем еще молод, быть может, недавно переведен из колонии малолеток.

Вася остановился, не договорив, даже ахнул. Скит тоже отметил, как не вписывается в их атмосферу новичок: с

нежными чертами лица, круглой остриженной головой. Станные черные глаза смотрели на мир вкрадчиво. Небольшой чувственный рот. Он был похож на девушку. Скит подумал, что его по ошибке к ним посадили. Назвался он Германом.

— Убей меня бог, если ты не Гермина! — закричал Вася Котик. — Все засмеялись. — Я тебя Минкой буду звать.

— Вообще-то зовут меня просто Геркой, — уточнил парень столь же вкрадчивым голосом, как и его взгляд. И все согласились: Герка так Герка.

В банный день, когда они все разделись, даже у Скита задрожали коленки при виде его задницы. Самурай впился в этот предмет странным взглядом. Васька застонал. С тех пор в камере начался какой-то незримый психологический процесс: Вася и Самурай на прогулке полунамеками о чем-то перешептывались, стараясь, чтобы на это не обратил внимания Гера. На прогулочном дворе Самурай и Вася старались расширять контакты. Они переключались, выясняя, в каких камерах находятся воры, узнавали новости, касающиеся их «партийной» жизни: кого где задушили, зарезали, кто откуда «выпрыгнул», то есть ушел от воров, от кого ждать «подогрева», то есть продуктовых или табачных посланий из воровского «котла».

Гера был неразговорчив. Несмотря на это, после первой бани обращение к нему со стороны воров стало исключительно почтительным, даже нежным. Скиталец был вежливым от рождения. Самурай же с Васей наперегонки оказывали Гере знаки внимания: Самурай по-отечески, Вася этак по-братски. Не исключено, они дарили бы ему и цветы, ведь своим марам (девушкам — жарг.) воры дарят цветы, если случится приличный выкуп (удачная кража — жарг.). Конечно же, расспрашивали Геру, — которого Вася стал звать Миной, уверяя, что так изящнее, — расспрашивали его о жизни. Тот отвечал односложно, и получалось совершенно неясно: бродяжка бездомный — да... но вовсе не еврей, хотя цвет волос и глаза черные; жил с матерью, пока не сбежал от нее; попался за кражу и содержался в колонии малолетних преступников.

Гера был общительным только в прогулочном дворе и только со Скитальцем. Рассказывал, как жестоко жилось в «малолетке», как надо было за себя постоять. Скит объяснил ему, что и здесь, у «взрослых», то же самое надо держать ухо востро. Гера с большим любопытством расспрашивал Скита: где тот

побывал, что повидал. Скит охотно рассказывал, ловя на себе насмешливо-ревнивые взгляды Самурая и Васи, о Марьиной Роце, о фронте, о ранениях. Он очень удивился неестественному, на его взгляд, интересу, проявленному Герой к его интимной жизни: есть ли у Скита девушка, любит ли он ее, красива ли? Конечно, с другой стороны, что тут неестественного? Гера исключительно доверчиво относился к Скиту, его явно тянуло к старшему. Он часто как-то робко старался держать Скита за руку, внимательно вглядываясь в лицо. Скит подумал, что Гера, наверное, надеется на его защиту в случае чего. Но это не так-то просто: против воров ему выступать не хотелось: опасно — куда потом податься? Но он был уверен, что воры все-таки не пользуются силой — не в их обычаях.

Неспокойная атмосфера образовалась в жизни камеры с приходом Геры: Вася открыто стал домогаться близости с ним, упрямо называя то Миной, то Герминой. Самурай держался нейтрально — его, мол, не касается, что молодежь тут вытворяет.

Скит-таки действительно решил для себя, что ему до них нет дела: каждый человек хозяин своему хотению, в том числе... и задницы. Ему порою казалось, что и Гера ведет себя как-то кокетливо, не понимая, что держится, как женщина: и смех, и ужимки. Как девочка, ей-богу! Он часто злился на Геру за его обезьяньи гримасы, в то же время жалея и стараясь помочь: в камере сам собой установился порядок, что и пол помыть, и бачок таскать с водой — все на самого младшего наваливали.

Однажды ночью Скит пробудился от неясной возни, что-то затаенное творилось в камере. Вроде все спали, но слышались приглушенные голоса, потом раздался стон, последовал яростный шепот Васьки Котенка и грязные ругательства. Скит окончательно проснулся, пытаясь понять, что происходит. И тут во весь голос рывкнул Самурай:

— Только без блядства! — надо полагать, в адрес Васьки. Затем уже тише: — Если по-хорошему, добровольно — ладно, но... чтоб без блядства.

Утром обнаружилось, кто-то прилично разукрасил Ваське морду — вся в царапинах. И почему-то Кот избегал разговаривать с Герой. Самурай едко над ним издевался:

— Получил в рыло и дуешься... Сопляк! Подумал ли о том, что прежде, чем лезть к человеку под одеяло, надо его хоть накормить. Ты же, паразит, и курить ему не даешь.

Так оно и было. Кроме Самурая никто не оставлял Гере даже затынаться, в том числе и Скит: так трудно доставался табачок! Воры из других камер «подогревали» только воров — Самурая и Котенка.

Амурная обстановка, угнетавшая Скита, разрядилась, когда им всем велели «собраться с вещами».

Их доставили на станцию, в тупик, посадили в уже не раз встречавшийся в этом рассказе вагонзак, и в конечном итоге Скит вновь очутился у ворот Девятки вместе с теми же отказчиками — Васькой Котом и Самураем, а с ними, может по ошибке, Герой.

Случилось так потому, что даже самый талантливый кум не должен нарушать закон субординации: когда главный кум, ввиду назревания в высших сферах важных приготовлений, хоть и только намеком, дает предписание не заниматься никакой «блошиной возней» из-за отдельно замоченных четверых воров, то и не надо, как говорится, лезть в пекло наперед батьки. Вот в доказательство такой истины, продержав месяц в центральном изоляторе, и завернули Скита на Девятку. И он снова занял свое место.

Глава пятая

I

Жизнь на Девятке продолжалась. Какой-нибудь пессимист может сказать, что в лагере — не жизнь и будет прав: какая это жизнь, если в ларьке нет коньяка, шампанского, шоколадных конфет, бразильского кофе, американской жвачки? Если в зоне отсутствует публичный дом, нет бассейна, а жилищные условия не комфортны?

Необходимо, чтобы любая скотина могла чувствовать себя человеком. Какая это жизнь, если работа — рабство? Разве оно способно обновить душу грешника?.. Именно!.. Душу-то забыли! Необходим православный собор, начало духа в христианст-

ве. Христианство не только как дорога к Богу, но в человечность. Возможно, она да вечность — и есть Бог? Но в зоне могут быть и католики... А евреи? Значит, и синагога нужна. А кто подумает о спасении душ мусульман, буддистов, магометан?.. Лютеран? Не разместить, конечно, столькох «посольств» всевозможных богов. Может, построить один большой собор и разделить на секции: в одной — христиане, в другой — католики, в третьей — мусульмане, в четвертой — красный уголок... КВЧ же упразднить. И чтоб в наличии было все необходимое: коньяк, конфеты, молельня и бордель. И закон природы будет соблюден, а то Мор, как-то обозлившись, сердито заметил:

— Царь! Ставит себя выше природы, а не понимает, что задний проход предназначен для сражья. Ни одно животное не совокушается неестественно, а тут, говорят, кобыла произвела на свет то ли жеребенка, то ли вора в законе.

Конечно, на Девятке пока молельни не было, вместо борделя — ларек. Ларек — это ад в двадцать квадратных метров с окошечком, к которому одновременно рвется несколько сотен человек, выкрикивающие ругательства и оскорбления в адрес всего рода людского. Толпа рвется к окошку, в котором вместо коньяка и бразильского кофе дают всего лишь комбизир, махорку, мыло.

Система оплаты труда в зонах за время их существования изменялась многократно: сначала за труд не платили вовсе — хорошо, что кое-как кормили. Тогда были люди — «танки». Они надевали на себя несколько бушлатов, ватных брюк, шапок, кидались под ноги бригадных хлебоносов, хватали рассыпавшийся хлеб, и в те блаженные минуты, пока телохранители хлебоноса зверски избивали их палками, заглатывали его. Это время сменилось хозрасчетом, когда стали хоть мизерно, но платить наличными.

Спустя несколько лет администрация убедилась, что блатные благодаря звонкой монете успешно пополняют свой «котел», и постановила: наличных денег в зоны не давать, а производить оплату продукцией пищевой промышленности, выпускающей, как известно, также и зубные щетки, зубочистки, мочалки, портсигары, махорку, деревянные ложки, леденцы, комбизир... маргарин почему-то выпускался деревообрабатывающим комбинатом не то Канска, не то Красноярска. Как и всюду

в мире, интересы работяг защищались всеми. Суки просто продавали им их же законные продукты по «рыночной» стоимости. Воры поступали честнее: старались обыграть работяг в карты, давая жертве хотя бы иллюзию справедливости. Во всяком случае убеждали ее в собственной виновности в лишениях: силком играть никого не заставляли — здесь, как говорится, жадность губила фраера.

Иной вор в те дни отправлялся в тайгу «валить» лес в качестве рабовладельца — хозяином двух, трех или более личных рабов, проигравших ему все, что имели, плюс свою работу на многие месяцы вперед, то есть отработанные ими кубометры леса записывались на счет их «хозяина». Воры своих личных рабов прилично кормили. Так учили старики: жертву надобно сначала накормить, лишь потом обобрать, сытой-то жертве не так обидно. Гуманно! Намного более гуманно чем, скажем, поведение этих хунхузов в юбках (вольных женщин-проституток), которые лукались по ночам в лесных оцеплениях, прячась в палашах из еловых веток, а когда приводили рабов, начинали лежа обирать (ноги на ширину плеч!). Брала все, что у мужиков имелось дать. Нередко за день рядом с их «рабочим местом» вырастали приличные груды товаров, которые эти разбойницы, ночью же, после отбытия рабов в зону, с трудом на себя навьючивали, чтобы унести. Правда, случалось, последние клиенты «освобождали» их от всей выручки.

Прибыли воров за счет налогообложения работяг вызывали нестерпимую зависть у чиновников министерства тотального образования и они постановили: деньги в зонах отменить, взамен — маргарин, комбижир, зубные щетки, зубочистки, махорка, леденцы и деревянные ложки, которые и выдавались в этом, как уже сказано, аду в двадцать квадратных метров. И чтобы к заветному окошечку пробиться, требовалось потратить больше сил, чем на лесоповале. А где их было взять слабосильному Гере? Тщетно пытался он хотя бы вклиниться в эту давку.

Худой и жилистый Скиталец потянул его за собой. Когда на обратном пути Скиталец выгалкивался назад и поравнялся с Герой, тот ему крикнул:

— Я потом тебя разыщу, ладно?

Потом они встретились недалеко от санчасти. Гера, увидев Скита, повел себя, как собака при виде собственного хозяина, заглядывал любовно в глаза, хватал Скита за руку. Скит с

трудом выдернул свою руку из его горячих цепких ладоней.

— Ты меня избегаешь? — спросил Гера хриплым голосом, изучающе заглядывая в глаза, виновато улыбаясь, — не хочешь, чтобы я к тебе ходил?

Скитальцу было все равно, существует этот Герман или нет. Что значит «ходил»? Какой idiotский вопрос. Оказывается, Герман часто его посещал, но не заставлял. Герман рассказал, что ходил на повал, что он сучкоруб в бригаде Партсъезда (кличка бугра, то есть бригадира). У Геры первая категория, несмотря на его физическую неразвитость. Сучкоруб звучит легко, но сучочки бывают толщиной в человеческую ногу — попробуй, руби их, за день любой здоровяк выдохнется, хотя это считается легкой работой.

— Устаю очень, — вздохнул Гера.

— Чем я-то могу помочь тебе? Что ко мне пристал? — неожиданно грубо даже для себя отреагировал Скит.

— Ничем, — вздохнул Гера горестно, — просто мне надо с кем-то дружить. На работе устаю очень... Я же тебе ничего не сделаю, чего ты боишься?

Конец фразы, обернувшийся вопросом, озадачил Скита, хотя ничего странного в нем как будто и не содержалось. Но? «Чего ты боишься?», «ничего не сделаю»... мелькнуло мгновенное воспоминание из жизни Ропци, когда его манила к себе одна подвыпившая торговка: «Иди, дурачок, я же тебе ничего не сделаю, чего ты боишься?» Скит заглянул в глаза Гере и встретился с его вкрадчиво-покорным, словно немного виноватым взглядом и догадался: Гера ему признался, можно сказать, в любви.

— Давно это... у тебя? — Скит даже не знал, как спросить, старался подчеркнуть свое как бы сочувствие.

— С тринадцати, — ответил Гера с готовностью. Он словно обрадовался, что его, наконец, поняли, что может держаться уже более откровенно.

— Еще на воле? — удивился Скит.

— В тюрьме ни разу не было, — ответил Гера.

— Но почему? — Скиталец искренне не мог себе такое объяснить. Он понимал: Гера не козел... Не за кусок хлеба продается, не проигрался. Что же с ним?

— Мне уже в детстве мама говорила, что я у нее и не мальчик,

что мне бы девочкой родиться... Я еще и в школу не ходил, я без отца рос... Я матери и поверил.

В детстве Гера мог ориентироваться только на ту информацию, которая доставалась от окружения одиноких женщин. Мама и ее подруги принимали красивых и щедрых мужчин, которым старались нравиться. Так же и он, с первых сознательных дней стал во всем подражать женщинам. Ему это нравилось, он даже надевал мамины платья. Сперва такое подражание было чисто внешнее. Со временем он и думать и относиться к жизни стал, как мама и ее подруги: вникал в их суждения о мужчинах, вместе с ними анализировал недостатки и достоинства мужчин. Так же, как и женщины, ценил за что-то одних, отвергал других. Он стал чувствовать так же, как мама и ее подруги. Мама не отпускала его от себя ни на шаг, держала изолированно от грубого, жестокого остального мира. Он давно уже понимал, на предмет чего обожают женщины мужчин, и сам стал чувствовать потребность в этом предмете. Случайно, в отсутствие мамы, когда ему было уже тринадцать, он сам уговорил одного симпатичного маминого друга попробовать с ним...

— Вот так все и вышло, — рассказал Гера и признался, что в зоне он боится, хотя ему этого и недостает.

— И что же ты хочешь от меня? — спросил Скит замолчавшего Геру.

— Я не навязываюсь, но тебе же не противно со мной общаться? Да? Ты умный, жизнь видел, читал... Меня даже в школу не пускали...

Геру хочется быть женщиной. Разве можно запретить человеку хотеть быть тем или другим? С другой стороны, если Скитальцу захочется быть Наполеоном? Он может им быть, но только в сумасшедшем доме.

— Общайся, — буркнул он. Лично ему это действительно ничем не угрожало. — Но только чтобы в зоне о твоей болезни не знали! — Он имел в виду желание Геры быть женщиной. — Общайся, — повторил он. — Мне все равно, кем ты хочешь быть, меня это не касается, но на меня не рассчитывай.

Скит хотел спросить насчет Самурая с Васькой, когда на тропинке показались двое. Заметив их, Гера торопливо вскочил, сказал «пока» и удалился в сторону кухни. Вася с незнакомым Скитальцу парнем подошли.

— Ну как? — глядя на Скита снизу, Вася недобро улыбался.
— Вроде, этот стоял с тобой? Ну и гусь ты, однако!
Не сказав более ничего, они направились в санчасть.

2

Бугай и кум выжидали. Возможно, они что-то знали о замыслах начальства в управлении. Комендант, этот, с точки зрения воров, плюгавенький плотник, узнал от своих коллег в промзоне (гаражи, столярка, кузница, инструменталка, слесарная), что там заказаны из горбылей сорок с лишним ящиков двухметровой длины и один из дубовых досок письменный стол. Спустя некоторое время, приехал с Решеты киномеханик и привез, наконец, фильм, из-за которого работяги с позволения воров объявили забастовку и три дня не выходили в тайгу: требовали, чтобы показали «Девушку моей мечты» с Марикой Рокк.

Как-то вечером после ужина было объявлено: в столовой состоится развлекательное мероприятие. Ну и набилось народу полная столовая. Тут на сцене с важным видом нарисовался (показался или объявился — жарг.) Боксер и стал толкать речь о том, как бороться с насморком: надо, мол, теплее одеваться. Зеки хохотали. Все это придумал капитан Белокуров, чтобы «галочку» заработать. Боксеру же — слава как специалисту! Зеки же думали, что будут показывать фильм «Девушка моей мечты», его давно обещали.

Боксер объяснял: надо больше находиться на свежем воздухе и следить, чтобы обувь не пропускала воду. Главное, необходимо есть больше свежих фруктов. Всем стало ясно: девушкой их мечты и не пахло. А тут еще вторую неделю кормили пшеникой... Утром пшенка, в обед — пшенная размазня, вечером — пшенная бурда... Закормили... И работяги забастовали. Бугай, конечно, метал икру: горел план. Собственно, он горел и без забастовок: воры сами не работали и других не заставляли, лес фактически не столько «заготавливали», сколько приписывали якобы заготовленную кубатуру. Нормировщики фиксировали ее наличие, но... чясло было — фактуры нет. И нормировщики, и десятники, и мастера — все подкуплены ворами: сплошная

туфта (еще одна дыра, в которую уходят деньги из воровского котла — на подкупы). Так что Бугаю было не сладко. А тут еще забастовка... Он — к ворам: посодействуйте, заставьте. Но вору не вмешивались, к тому же и они были не прочь посмотреть «Девушку моей мечты»... Да, были бы на Девятке суки, мечталось Бугаю, тут не забастуешь, такую девушку покажут — только и останется мечтать... о выздоровлении. Бугаю не понятно, почему нельзя воров просто ликвидировать, как саботажников. Зато ему понятно, что нет таких инстанций, которые могли бы что-нибудь санкционировать без разрешения. Каждый разрешающий должен же получить разрешение высшего разрешающего.

Когда в зону проникли слухи о возможном прибытии сук, воровская жизнь оживилась как-то особенно: вору собирались, о чем-то совещались и, что бросалось в глаза даже мало вникающему в «партийную» жизнь, стали заводить дипломатические отношения со «зверями». Зверьями вору называли кавказцев. Они не делали разницы в их национальности — все кавказцы без исключения были для них «звери». В истории лагерей известны кровавые стычки между зверьями и ворами, ибо звери, которые ни к каким из уголовных мастей не относились, вору дань не платили и вообще не считались с ними. В зонах кавказцы — грузины, чеченцы, осетины, азербайджанцы, армяне, но больше всего чеченцы — жили сплоченно, в отдельных бараках, обособленно работали в тайге. Среди них не было отказчиков и козлов, и лагерному обывателю было непонятно, почему они — звери. Многие из них, как подметили вору, задницу газетой «Правда», да и вообще никакой бумагой, не вытирали, а носили с собой бутылку с водой и подмывались (козлы же никогда не подмывались ни до, ни после)... Так, может, из-за этого? Разбираться в этом долго. И без того ясно, что вору насчет зверей всегда были начеку, особенно когда на горизонте маячила какая-нибудь опасность. И теперь вору стали подчеркнуто уважительно обращаться с ними. Даже подкинули Мамеду, возжаку зверей, по-дружески килограмма два сала. Наверное, учли, что звери сало не едят по религиозным соображениям, считая свинью близким родственником человека. А жрать родственника, оказывается, не полагается.

Итак, вместе со слухами о возможной доставке на Девятку

сук, киномеханик привез, наконец, и этот фильм: «Девушка моей мечты». Но показать его в тот вечер опять нельзя было из-за ученой вороны Боксера, расколотившей десятка два фонарей, ставшей причиной замыкания в электросети.

Суки все не шли. Воры успокоились. Кум заказал еще с десяток ящиков. На всякий случай. Вообще-то он считал, что ни к чему, эти ящики — роскошь! Но мало ли! Комиссия может вдруг вагрнуть, если экстумировать надо, или еще что... Наконец, суки прибыли. Сытые, самодовольные и уверенные в себе здоровые мужчины, по тем временам и условиям хорошо одетые. Их мешки несли на себе шестерки. Ведь и суки — как же иначе! — не могли без шестерок. В мешках, как и у воров, постели: ватные матрацы, одеяла, подушки с вышитыми мулине наволочками. В подушках, как бывает и у воров, пики. Если пики найдут при шмоне, ответят за это шестерки: мешки несут они. В данном случае, прямо удивительно, сук даже не шмонали — была лишь видимость шмона.

Постель в лагере — предмет престижа, по ней судят о жизнеспособности владельца. Постель — последнее, что вор проиграет, то же и сука, ибо, как уже отмечено, воры и суки — одна пуба, только в каждом случае вывернутая наизнанку. Уважающий себя вор старается обзавестись как можно более пижкарной постелью. Наволочки и пододеяльники часто вышивают сами: нитки мулине ценятся дорого.

И вот они шагают тяжелой поступью, поскрипывая валенками в подмороженном снегу, двадцать восемь сук. Сзади, как всегда, люди с автоматами и собаки. Их лица — галерея жестоких, хитрых, коварных, подлых портретов, от колонны веяло безжалостным духом уничтожения: где уютно на земле пойдут; готовые убивать, брать, душить и крушить, об этом красноречиво говорил даже их шаг, от которого по сторонам разлетались каскады снега.

К воротам зоны их не повели, а усадили на снегу за пирамидами пней ждать, пока из зоны в тайгу не уйдут рабочие бригады. Затем пройдет проверка численности оставшихся в зоне и облава на мужественных отказчиков. Погода испортилась, поднялась метель. Суки сбились в кучу у пирамид, значение которых осмыслить даже не пробовали.

В это время в зоне Боксер и Враль заканчивали утренний «спортивный» бег у санчасти, где их дождался Самурай.

— Сегодня приема не делать! Сам из санчасти тоже... уходи, — объявил он Боксеру.

Это было уже непривычно. Самурай спросил, есть ли больные в стационаре — в двух небольших палатах, каждая на четыре кровати. В настоящее время здесь отлеживались три симулянта. Самурай посоветовал гнать их в шею. Он отвел лепилу в сторону и о чем-то с ним недолго шептался. Затем Боксер распрощался с Вралем и вместе с Самураем направился в санчасть. На двери санчасти он прикрепил записку, уведомляющую, что «приема больных не будет». Этой запиской всем отказчикам от работы была объявлена амнистия.

3

Сумкин выбивал искры из подвешенной у вахты рельсы — и Враль вскочил. Еще не рассвело, небо над зоной сохраняло черноту, но в 37-й королевской, как всегда по утрам, воры отыскивали во что бы обусться: вся обувь валялась у нар, как с вечера скидывалась. Проснувшись пораньше без стеснения надевали что получше. Из-за этого хамства немало лаялись: отсюда и пошла поговорка: «кто раньше встал, тому и сапоги».

Сегодня все вставали рано — тоже и центровые воры, а их амбалы всю ночь глаз не сомкнули. Воры к чему-то готовились, шестерки извлекали притыренные пики (припрятанные ножи — жарг.), чтобы вручить обладателям. Обычно воры пики при себе не носили, вручали их шестеркам (у каждого вора свой «оруженосец») — прятать, и те отвечали за сохранность воровского ножа. Так удобнее: вдруг внезапный шмон...

Воры со всей зоны собрались в секции 37-й бригады, в центре внимания — Петро Ханадей и Самурай. Оба авторитета были вечером у Мора, он что-то им долго внушал. Однако считалось, что именно Самураю принадлежит идея обыграть сук за счет их всем известной тенденции к симулированию какого угодно заболевания, когда прибывших доставят в баню, где и происходят обычно всевозможные неожиданности. Теперь Самурай считал правильным изменить программу, чтобы суки ни о чем не заподозрили, чтобы не приготовились к защите. Воры словно были уверены, что менты сук уже несколько раз обыскали и

ножи изъяли. Но они не знали больше, чем имели право знать по замыслу Главного кума.

Закончился развод — зона опустела. Тишина. Никакого движения. Как будто даже демонстративно после проверки ушли на вахту все мусора во главе с Сумкиным, Плюшкиным, Ухтомским. Отказчики настороже — будет ли облава? С другой стороны, санчасть «больных» не принимала... Значит, и облаве не быть... Тишина...

Придурки попрятались, закрылись в своих «точках».

— Ты пока никуда не ходи, — заявил Мор Скиту, — кажется, этап приведет.

В секции 37-й королевской Самурай послал Треску за Боксером...

А за воротами зоны, едва бригады работают скрылись из виду, началось движение: сук подвели к воротам. Суки уже не смотрелись самоуверенными, в их лицах, кроме жестокости и подлости, добавился затаенный страх, в глазах — настороженность. Они не могли установить, куда их привели. И теперь стояли... люди из разной среды: сбежавшие когда-то с фронта офицеры и солдаты, бывшие воры, предавшие воровские законы, и просто обыкновенные мокрушники из амбалов, которым на 13-м было так сладостно убивать воров, мстить им за то, что считали они сук мразью.

Кто все-таки в зоне? Они всю дорогу старались выяснить, куда их поведут. Им намекали, будто на Паканаевку, где, если не суки, то «поляки» или даже «беспредел». Беспредел — плохо, но для сук все же лучше, чем воры. К ворах суки не ходоки, они попросту не войдут в зону, любую кару примут, на землю улягутся, и тащите хоть волоком. Такое во многих местах случалось.

Сук не обыскивали, это их успокоило. Им казалось, что начальнички избегают резни — значит, их не обыскали потому, что резни не опасаются. Суки старались рассмотреть сквозь щели в заборе, есть ли в зоне движение, — в зоне тишина. Сидя за пирамидами, они видели, как бригады ушли в тайгу. Значит, подумали суки, в зоне остались одни придурки, а в таком случае зона скорее всего ничья, в том смысле, что в ней не правит ни одна уголовная масть.

— В зоне есть кто?! — изо всех сил проорал Россомаха. Безответно. Только один лишь начальник стерегущего их конвоя облаял его:

— Здесь такие же паразиты, как и вы! Так что не ори!

Наконец из вахты вышли начальник спецчасти с папками пухлых личных дел, кум, Режим и... Боксер в белом халате, как и подобает медику; он-то первым и обратился к прибывшим с вопросом, не давая времени даже рта открытъ:

— Больные есть?

Такая забота удивила сук, и они, решив, что в каждом монастыре свои порядки, загадели все сразу: выяснилось, все они очень больные, даже инвалиды есть, а некоторым необходимо срочно в больницу. Другие стали требовать, чтобы им пересмотрели категорию.

— Будет!.. — остановил лепила поток жалоб и обернулся к начальникам: — Как в зону войдут, сразу всех в санчасть, скажите коменданту. В баню потом.

И Боксер удалился через вахту в зону: он свое дело сделал. Такой аванс еще больше создал у сук благодушное настроение, даже самые осторожные — Полковник и Хрипатый — вздохнули облегченно. Полковник, по его словам, на войне бывал, но Полковником его прозвали из-за татуировки полковничьих погон. Силач — в 13-й зоне штангой занимался, вернее, не штангой, а куском рельса; долговязого Хрипатога с удлинненным лицом раньше звали лошадью, за хриплый голос приобрел теперешнюю кличку. «Полковника» Скит узнал бы: ему довелось слушать его хвастливые рассказы о военных приключениях.

Начальник спецчасти проверил всех по данным в «делах»: год рождения, статья, срок. И только «масть» прибывших его не интересовала, он ее знал. Покончив с этой процедурой, начальники удалились кто куда: начальник спецчасти — на вахту, приводить «дела» в надлежащий порядок, скоро их отправлять обратно в управление, поскольку уже сегодня к обеду «наблюдать» из прибывших некого станет. Идти с кумом и Режимом с вышки любоваться на все ему было противно: он считал себя глубоко интеллигентным человеком. Кум и Режим отправились к одной из вышек, которая ближе к бане, санчасть отсюда тоже просматривалась.

Дежурный открыл ворота настежь, и надзиратель Плюшкин принялся считать входящих в зону сук: «Один... два... три... десять... двадцать... двадцать семь...» Но куда девался двадцать восьмой? Конвой орет там на кого-то. Плюшкин в недоумении. Дежурный по вахте, молодой розовощекий парень с сержантскими лычками на погонах, что-то кричит на Хрипатого:

— Не пойду! — орет Хрипатый. — В зону не войду! Будете силу применять — вены вскрыю.

Сержант, наконец, закрывает ворота, а то и остальные суки того и гляди обратно выбегут. Остальные суки, встреченные комендантом, даже не поняли толком, что там случилось, а кто понял, тем не верилось:

— Что там?

— Хрипатый...

— Неужели сквозанул?

Комендант — сама доброта:

— Здорово, хлопцы! Давайте к санчасти. Велено к врачам... — И зашагал. Суки гурьбой за ним. Но насторожились. Из окон барачков за ними следили злорадные взгляды сотен глаз воров и их амбалов.

— Чего там у вас стряслось? — начальник спецчасти, услышав шум и крики Хрипатого, расспрашивал сержанта, доложившего ему, что вот один гад не вошел-таки в зону. Начальник спецчасти поморщился и, махнув рукою, спросил фамилию. Он велел закрыть его в изолятор, сам пошел искать «дело» этого «гада», чтобы от остальных отделить.

4

Суки подошли к санчасти. Комендант сказал, чтобы ждали в палисаднике. Здесь из-под таявших сугробов выглядывали скамейки. Сам ушел, якобы проверить, в каком состоянии баня. А врачи, сейчас, мол, начнут прием (он так и сказал — врачи), вот-вот подойдут. Действительно, едва скрылся комендант, они и подошли... Хирурги...

На всех вышках народу добавилось: то ли часовых прибавили, то ли просто зрители, пришедшие, как в древнем Риме, смотреть бой гладиаторов. Надежно защищенные, они могли сейчас воочию видеть, как происходит самоуничтожение уголовного мира.

От вида подхлывшей толпы, вооруженной ломami, лопатами, ножами, сукам стало, надо полагать, жарко. Они застыли. Затем сплотились вокруг «Полковника», ставшего теперь центральной фигурой. Суки имели достаточно известные клички и славу — как и у воров, славу, оцениваемую по-разному. Суки поняли: сейчас их будут убивать. И догадались: на этот раз именно им уготована роль покойников.

Они ринулись в санчасть, но столкнулись с запертой дверью этого обычно милосердного заведения.

— Вышибать! — проорал Полковник, и несколько тяжелых тел с треском выбили дверь. Суки торопливо втискивались в приемную, торопливо извлекали из подушек ножи, отчего и воздержались воры от атаки в лоб: у сук — ножи!.. Неожиданность. А еще не был доведен до нужного подъема их собственный боевой ажиотаж.

Внутренние двери санчасти тоже оказались заперты, суки их разбили. Они крушили и ломали скамьи, столы, чтобы использовать в качестве оружия; кровати, тумбочки, шкафы натаскали к входной двери, забаррикадировали ее, и как же хорошо, что на окнах решетки! Но их снаружи стали уже выламывать ломami, воры уже входили в раж, в этом им помогали Петро Ханадей, Самурай и другие старые воры, поднимавшие молчаливыми ценными указаниями их боевой дух, подвачивая главным образом амбалов, которые и старались отличиться больше самих воров. Единственно Мор не присутствовал.

Зрители на вышках обиженно ворчали: они-то полагали, что гладиаторские игры совершатся на виду перед санчастью, а теперь, поскольку суки забаррикадировались изнутри, главное от их глаз будет скрыто...

Санчасть окружили со всех сторон: Бастилия! Воровское войско подходило к санчасти с двух сторон — и от барачков, и со стороны пищеблока, чтобы таким маневром отрезать сук от запретной зоны, простреливаемой с вышек, а то они станут прыгать в «заплетку», — там преследовать уже невозможно.

Все нарастал яростный рев, злобные звериные голоса

выкрикивали в адрес осажденных непередаваемые эпитеты, изнутри в ответ раздавались такие же: это уже был не воровской лай — вой.

5

Из секции 37-й «королевской» все ушли. Остался один Враль. Он знал, что у санчасти сейчас зарежут сук. Он знал, что это явление в тайге, в зонах, везде распространено, что имя этому «резня». Враль решил идти в КВЧ. Он был уверен, что Скиталец там. Скит как раз хотел забраться на чердак, оттуда санчасть была не видна, но как-то ориентироваться в происходящем можно было — отчетливо доносились рев, вой, рычание. Они залезли на чердак вместе. Метель прекратилась. Даже солнце выглянуло. Мимо открытого чердачного люка пропорхнули воробьи. Враль и Скиталец встали у люка чердака, прислушались, молчали.

— Война, — сказал Враль, — натуральная война.

— Нет, — ответил Скит, — на войне хуже. Война — другое. Но похоже. На войне лично противника вовсе не ненавидишь, война потому и страшнее. — Прислушиваясь к крикам в зоне, он добавил: — На войне убивают потому, что так положено и приказано — убивай. И ты стреляешь. Один снайпер говорил: «Я его вижу, он у меня на мушке, но ничего к нему не чувствую, соседа по квартире презираю, а этого... Стреляю, понимаешь, потому, что надо; шлепнул, как муху, хотя понимаю — не муха».

— Ну что?! Слышно? — раздался снизу крик Мора. Скит крикнул в ответ, что да, слышно. Еще бы не слышно! Над зоной стоял такой рев, словно в зверинце шла битва между хищными зверями. Раздавались крики, ругательства, но они слились в единый рык. Такого адского крика Вралью еще не доводилось в жизни слышать. От этого он весь похолодел, хотя на чердаке и так жарко не было. Внизу хлопнула дверь: значит, Мор вернулся к себе в библиотеку. Затем они услышали, как там затренькали на мандолине, стараясь вывести мелодию «Санта Лючия». Скоро, не доведя мелодию до конца, Мор вышел в коридор и крикнул на чердак Скитальцу, чтоб

сбегал на кухню к Ваньке Быдлю и принес что-нибудь пожрать.

У санчасти тем временем воры соображали, а может, уже ничего не соображали — они почти перестали выпть, что надо штурмовать санчасть с чердака.

Ханадей с несколькими старыми ворами стояли в стороне как символ воровской идеи, как групповой монумент, олицетворявший зло. Некоторые центровые воры, словно комиссары на фронте, «заводили» амбалов, рвущихся в санчасть, чтобы доказать свою преданность. Они и впрямь сейчас, в горячке, считали этот бой святым делом — у них или не было никогда, или сейчас потерялось чувство реальности. Распалаясь все более, они вряд ли понимали, во имя чего им надо достать других людей и убить. Воры взобрались на чердак. Здесь ломачами, колунами, взятыми из кухни, принялись разбивать потолочное покрытие. Ломали в разных местах, чтобы, свалив потолок на головы сук, тут же самим ринуться вслед.

А на вышках за происходящим наблюдали с интересом. Этим парням на уроках политвоспитания тоже какой-нибудь идеолог наверняка объяснял, что данное событие прогнозировал (или запрограммировал) сам товарищ Ленин.

В битве за санчасть активно участвовали, конечно же, и Самурай и молодой вор Вася Котик. Воров не награждают орденами, но за удачу будут относиться с уважением, можно заработать авторитет. Для Васи это был первый крупный бой с суками. Самурай, конечно, бывал в разных переделках. На чердаке от пыли плохо видно, воры едва узнавали друг друга, но в этом и не было нужды — они слились в единый порыв бешенства, стали одним кровожадным организмом. Они обоюд-но восплалялись азартом убийства, загнипотизировались коллективной жаждой уничтожения, потеряли страх, рубили покрытие потолка остервенело, и оно, наконец, рухнуло.

Когда потолок провалился, Самурай, падая вниз вместе с мусором, досками, услышал крик вора Витьки Стального:

— Смерть сукам!

Крик этот оборвался не потому, что Стального зарезали, — на голову ему рухнуло бревно: Васька видел — потом рассказывал.

Суки, конечно, растерялись, прежде всего потому что их было мало, и они это знали; это знание и внушило им, что они обречены. К тому же среди них были бывшие дезертиры,

значит, трусы, другие же — в большинстве грабители — тоже трусы: грабитель только на силу или оружие рассчитывает, не нападает, если знает, что объект силен или вооружен. Он предпочитает беззащитных жертв. Вор тоже не герой, но все-таки чаще идет на дело, не зная, что его ждет. Если среди защитников санчасти и встречались храбрецы, то они скорее всего стали таковыми от безнаказанности, не встретив еще нигде сопротивления своей наглости. К тому же здесь им прятаться было некуда, только и оставалось обороняться.

С потолка валил песок, падали доски, кругом все в густой пыли, видимости никакой. Все кричали — кто, умирая, кто от боли, кто от ярости. Там, где людей полагалось лечить, их убивали. Очень скоро многие валялись с пробитыми черепами, в том числе и из воровского войска. Песок и штукатурка на полах превратились в кровавое месиво.

Самурай весь в крови походил на... самурая. Он ловко полосовал острым ножом животы несчастным сукам. Люди обезумели и, спрашивается, во имя какой истины им все это понадобилось? Вася тоже сражался за воровское дело, не зря его приняли однажды в закон. Он освоился с мыслью, что на воле ему жить от случая к случаю, а если сегодня не убьют, так в другой раз. Это входило в особенности его жизни по закону. В пыльной серой мгле он тем не менее ясно видел, как вонзил свою пику в горло какому-то парню, который, заливаясь кровью, задыхаясь, упал, а Вася Котик рванулся дальше. Но на его долю больше жертв не хватило — слишком много было желающих убивать, слишком много воров.

Перебив сук, вору в азарте по инерции чуть было своих не принялись резать, но остыли, зарыскали по помещениям с окровавленными топорами, выскивая недобитых и безжалостно приканчивая, раздалбливая головы.

Все кончилось, воцарилась относительная тишина, если не учитывать сторожевых собак, непрестанно подвывающих за забором. В разгромленном здании пыль улеглась, во всех комнатах валялись недвижимые тела. Когда Вася с другими ворами обходил покойников, чтобы опознать своих, он увидел труп Трески в углу. Подойдя, чтобы поближе его рассмотреть, застыл от неожиданно громкого вороньего крика «кар-ра-ул?» и обнаружил там самодельную деревянную клетку с ученой вороной Боксера. Помещение оказалось

спальной «доктора». Надо же... такая резня, а ворона уцелела... «за решетками».

Постепенно в зоне совсем стихло. В библиотеке тоже перестала тренькать мандолина. Вышел Мор, сказал:

— Там, кажется, стало тише, пойдем посмотрим.

Воры, убедившись, что в живых остались только свои, отправились в баню. Мор, Скит и Враль подошли к окнам санчасти, из которых все еще, будто дым, тучей выходила пыль. Они посмотрели внутрь: на полу лежали трупы, мало приятные для созерцания. Искаженные звериной злобой или изуродованные страхом лица — застывшее на лицах мгновение, когда оборвалась жизнь. Вдруг представились они все — и живые, и мертвые — Вралю детьми, ему представилось, что он видит их детские глаза, свежие лица, не искаженные никакими страстями, пороками, вопрошающие и удивленные взоры: как прекрасен этот огромный светлый мир, как он добр и интересен, ласкает руками матери, кормит!..

Когда же и куда это в человеке девается? Почему? Когда они дети, в них уже был или еще не был Бог? Когда он из них ушел? Когда на их лицах и в душах возникло то выражение, как у этих на полу санчасти?

С вышек уже спускались зрители. Они, пристально наблюдавшие за происходящим в зоне, видели, как шли в баню воры, и решили, что в зону заходить еще рано. Когда же воры разошлись по своим баракам, настало время Сумкину, Плюшкину, Ухтомскому и офицерскому составу войти в зону, узнать, что там за шум, почему беспорядок.

А «беспорядок» отличался здесь от такого же беспорядка в 13-й зоне сук лишь тем, что суки оставляли в живых тех из воров, кого «согнули», превратили в сук, что было им выгодно, даже лестно. Во всем остальном никакой разницы. С суками, в сущности, поступили так же, как поступали они сами в своей зоне. На войне как на войне.

И вот вопли они теперь в зону — специалисты по промыванию мозгов. Что же они здесь нашли?.. Прежде всего — тишина...

Падал снег, два кота пробирались к кухонной мойке, пролетели две вороны и к ним присоединилась третья — та, которую Вася выпустил на волю: он не симпатизировал Боксеру и использовал возможность насолить.

Тишина...

Полный покой. Все воры в бараках, там же и амбалы, шестерки. Придурки заняты кто чем. Обычные мирные будни обыкновенного воровского отделения Института промывания мозгов.

Воры в бараках чифируют... Конечно, еще возбуждены, во власти впечатлений от только что содеянного, вторят друг другу, как кололи, резали, тыкали, рубали, как жертвы орали, умоляли, умирая или обезумев, как кровь где-то струей билась, рассказывают, стараясь подчеркнуть свою ловкость, бесстрашие: дескать, куда сукам супротив нас — воров.

А Плошкин, Сумкин и Ухтомский, кум, Режим и сам Бугай подошли к так называемой санчасти, подсчитывая убытки, — не убитых: они их не считали, приблизительное количество жмуриков знали еще до их прихода на Девятку, — прикидывали, сколько и что понадобится сделать, чтобы можно было сие строение опять превратить в нечто похожее на нормальный барак, санчасть с решетками. Надо, конечно же, прежде всего вывезти покойничков. Этот вопрос они утрясли тоже заблаговременно, зная, что носилками, как обычно, теперь не обойтись. Уже с утра было дано распоряжение приготовить подводы. Всех сразу, калькулировали начальники, не вывезти, предстоит несколько заходов, даже если нагружать на подводу сразу пять, ну шесть туш. Ящики готовы. Можно бы и в общую яму, но вдруг комиссия какая-нибудь зачем-то объявится и потребует отчетность — где есть кто?

А за зоной, на «кладбище» для контингента, в зарослях молодых осин, тоже до рассвета, расконвоированные зеки из Малой зоны копали большие ямы, каждая этак ящиков на десять. Они копали уже тогда, когда суки за пирамидой пней дожидались. Здесь же были свалены колья метровой длины с плоскими верхними торцами, — потом на сточенной плоскости напишут номера личных наблюдательных дел, а то зарастет место травой и не узнаешь, где и кого... наблюдать.

В промзоне же в столярке стоял новый письменный стол для Бугая. Но он оказался короток и скрипел, а Бугая раздражало, когда во время работы стол скрипит.

Глава шестая

I

На Девятке наступила относительная тишина, нарушаемая лишь молчаливыми посещениями по ночам кума, во главе отряда мусоров тех барачков, в которых квартировались воры. При шуме и грохоте открываемых замков молчаливыми эти посещения можно считать на том основании, что ни сам кум, ни его свита не произносили лишних слов: он молча указывал на якобы сонного, потиравшего «заспанные» глаза человека, а Метелкин коротко командовал «Собраться!»

«Собраться!...», «Собраться!...», «Собраться!...» Всех отобранных отводили в БУР, где уже валялись на нарах многие, пришедшие на вахту сдаваться, признававшие себя виновными в произошедших беспорядках. Из воров взяли только одного Лешу Барнаульского, возможно по ошибке. Кум понимал, что центровых трогать нельзя. К тому же кум уже тогда, когда сук пропускали в зону, знал, кого необходимо оформить как виновных резни: десятка два амбалов, — заодно и с отказчиками можно разделаться. Из 37-й секции взяли еще Вралю, чтобы не говорили, будто кум никого не тронул из воровского барака... Не забыл кум и Скита, которого однажды не удалось подставить.

Воры же чувствовали себя на высоте, собирались на толковища, но не конфликты решать, а торжества ради, чифирнуть, побалагурить. И ходили они кондибобером, произносили речи в изысканном стиле. Они восхищались собственным умением жить красиво, гордились организованностью, хотя это слово им не нравилось, ибо они избегали засорять свою лирическую словесность грубым стилем развивающегося социализма. Правда, воровской фольклор или, если угодно, жаргон постоянно меняется, встречаются новые термины, так что сегодня даже маститые лингвисты не в состоянии расшифровать иногда такие пустяковые определения, как например: ворварян на веревочке, что означает всего лишь повешенного армянина.

О своем возвращении в зону, подняв переполох со стрельбой,

известила и ворона Боксера, долбившая лампы на заборе: выстрелы всполошили охрану, крыс и педерастов, высматривающих со страхом через решетчатое окно БУРа. Боксер был счастлив. Он гордился собственным воспитательным результатом: сумел привить птице такую ненависть к свету, что через нее образовалась любовь... к тюрьме.

Итак, пятидесятый год закончился блистательной победой воров над суками в зоне Девятого спеца. Это было одно из последних сражений между «мастями», происходившее везде в тайге и стране, самоуничтожению преступного мира предназначено было остановиться, о том еще не знали участвовавшие в нем.

Скит, не знавший, что Враль взяли ночью, прибежал искать его в бараке. В секции «королевской гвардии» дым коромыслом: играют, чифирят, дурака валяют, да и что тут особенного — не академия наук, в конце концов, и не духовная семинария.

— Ты не Геру ли ищешь? — подскочил Вася Кот, подленько ухмыляясь. — Он там, — Вася кивнул в сторону парашной, — к нему очередь. Котенок захихикал. Скит приоткрыл дверь парашной и увидел Геру... согнутого в углу. С ним тут, что называется, «трудились» пять рыл... Скит видел лишь один глаз Геры с каким-то бессмысленным взглядом: Его насиловали одновременно и спереди, и сзади... если насиловали...

Враль и Скиталец услышали друг о друге уже в центральном изоляторе. Находились они в разных камерах. Отсюда их дороги на время разошлись: их не судили как участников резни, лишь отправили в закрытую тюрьму, а за что — начальству виднее. Но попали они также и в разные тюрьмы. Враль, попутешествовав, как полагается, по пересылкам, прибыл наконец в Томск, где и определился в одиночной камере местной тюрьмы с гостеприимными великотомскими черными тараканами. Случилось это уже весной 1951 года. Здесь он провел год, изучая труды классиков социалистического реализма с трогательно-человеколюбивыми содержаниями и такими же названиями, как-то: «Жизнь в захолустье» и «От всего сердца». В некотором роде историческим событием явился факт зачтения всем заключенным о вновь учрежденной (исключительно в лагерях) смертной казни за убийства, причем Враль должен был даже расписаться, что он ознакомлен с данным постановлением правительства. Поскольку он в этот «вагбн» в поезде

своей судьбы вскопал в сорок восьмом году, то есть уже после отмены смертной казни (в 1946 г. — А.Л.), он ничего не понял более, кроме того что в лагерях возможно изменение климата.

2

И, действительно, едва успели довести Вралья до 5-го ОЛПа, едва за ним закрылась дверь камеры в транзитном бараке, девяткинскому куму позвонил главный кум управления и передал инструктаж: собрать в Девятой зоне всех воров в одну бригаду, а затем... принудить работать. Всех честных воров до единого!

Кум на Девятке был потрясен, не доходило до мозгов: воров... на работу? Да они там, наверное, рехнулись, репил он про свое начальство. Он перезвонил в управление, чтобы объяснили ему доходчиво: что за дела? Ему доходчиво объяснили: никто не спятил, они не сами сочиняют инструкции, существует начальство и повыше.

— Как же я их заставлю? — взвыл девяткинский кум. — Это же невыполнимо. Не станут эти аристократы голубой крови, чифиристы, работать. Им это не позволяет их святой закон. Если они пойдут работать, если даже один сучок отрубят, после этого они вроде уже и не воры, во всяком случае не честные воры. Разве в управлении этого не знают? Разве суки не потому суки, что предали закон и стали работать?

Ответные слова, врезавшиеся из телефонной трубки куму в ухо, настолько его озадачили, что он, не дослушав, бросил трубку. Эти слова были обидны. Потом ему перезвонили, велели создать вора́м невыносимые условия. Девяткинскому куму стало ясно: предстояло организовать на зоне, говоря дипломатическим языком, государственный переворот. Здесь в зоне и везде в безбрежной тайге за все отвечали диктаторы типа Бугая, но интриги, шпионаж, вербовка стукачей, продельвание прочих славных делишек являлось задачей кума.

Воров на Девятке собрали в одну бригаду — не стоит пускаться в подробности этого достаточно трудного процесса. И всех, за исключением освобожденных Боксером, повели под отдельным конвоем на работу и на отдельный объект. И повели

не много не мало, а за двенадцать километров, туда, где уже вырублен лес, где торчали из подтаявшего снега пни полутора-метровой высоты. А дорога! А дорога-то!.. Изумительная! Проложенная в живописном лесу, она напоминала тренировочную трассу для начинающих горнолыжников...

Привели их после мучительного перехода — в хромовых сапогах со скользкими подошвами — к этой старой вырубке. Здесь конвоиры отвели им участок в сто квадратных метров, поставили по углам два легких пулемета: ломы, кирки и топоры их уже дожидались, — и, пожалуйста... трудитесь, докажите уровнем, что достойны большого куска хлеба.

Воры растерялись: все-таки неожиданно получилось. «Самовары» (консервные банки или алюминиевые кружки на длинных ручках, скрученных из проволоки) остались в лесных шалашах в рабочем оцеплении. Как же теперь им чифир заваривать? Ведь работать... Вы шутите?! Да и одеты они были, мягко говоря, не по-рабочему: в хромовых сапогах, у некоторых на ногах изящные разукрашенные бурки, спитые лагерными сапожниками. И что же, в такой обуви пни корчевать? А именно этим они и должны были тут заняться.

Но еще больше они растерялись, когда конвой начал на них орать, приказывая браться за работу. Обычно конвой не касалось, работают зеки или нет. Но им пришлось начать работать, иначе конвой пригрозил уложить их в снег и держать до вечера. Воры приступили к работе: один пень каждый мог за день выкорчевать. Они с ленцой копошились, понимая, что никому эта работа, в сущности, не нужна. Выкорчевав несколько пней, они посчитали, что пора и в обратный путь. Разожгли костер и сгрудились у огня, но эта мусорская рожка, начальник конвоя, стал орать, чтобы погасили костер. Погасили. Сидели на своих пнях, покуривали, матерились. В зоне в то время собирали в БУР оставшихся авторитетных воров, которые, само собой разумеется, были или освобождены от работы или имели какую-нибудь инвалидность. Первым изолировали Петра Ханадея. Авторитетные сидели в БУРе, как принято говорить, на общем положении: получали нормальный паек и могли пользоваться собственными постельными принадлежностями.

Когда воров на старой вырубке наконец известили, что надо собираться в зону, начальник конвоя преподнес им еще один сюрприз: каждому велели взвалить на плечи выкорчеванный

пень, чтобы вести его к зоне... По такой-то дороге?! В такой-то обуви?! При таком-то воспитании?! Но мусора наставили на воров автоматы, scomандовали ложиться в снег, в грязь, натравили собак — пришлось смириться. Все разбежались по вырубке в поиске шней поменьше, но выбирать было не из чего.

И вот колонна построена... Вперед! К финишу! Упаси боже, отстать последним в строю: сзади собаки. Передним, упаси боже, спешить — держи дистанцию между головным конвоем. И в сторону из строя — это всякому известно — не вываливай! С птичьего полета колонна воров из-за торчавших кверху и по сторонам корневищ походила на гусеницу, которая то растягивалась, то конвульсивно сокращалась, изгибалась-выгибалась, двигаясь неукложе по грязной и скользкой дороге. На одном из спусков Вася Котик удивил всех: даже собаки растерялись, когда он сначала под прием, а в конце пируэта — на нем, пролетел мимо передних конвоиров. Они едва успели отскочить, а то их спшибло бы.

К зоне, вернее, к «пирамиде» эта «гусеница» доползла уже в темноте. Пни приказали затащить на пирамиду из давно здесь собранных таких же, дабы росла она, стремясь превзойти египетских собратьев. Лишь теперь, ругавшие всех богов и матерей, вору сообразили, что уже давно на Девятке практиковался сей благотворительный вид издевательства: ведь кто-то же притащил сюда гнить этикие горы шней.

3

На следующий день вору на развод не вышли, в результате их всех отконвоировали в зону усиленного режима (ЗУР) и закрыли под замок. Им нанес визит сам Бугай, чтобы объявить о грядущих переменах: настала пора искупить трудом вину перед народом. Он стоял, окруженный своими подчиненными, большой и тяжелый. Искупить вину... В чем, собственно, заключается вина профессионального вора? Воровство — его работа. С таким же успехом можно предложить самому Бугаю искупить вину за то, что родился таким кретином. Бугай же продемонстрировал вору отличное знание положения дел в Польше:

— У меня, — заявил он, — как в Польше: у кого хрен больше, тот и пан.

Что и говорить, о бугаевском хрене за зоной ходили легенды... В знак протеста воры закинули в парашу кокетливые бурки, хромовые сапоги. Кладовщики, по распоряжению Бугая, притащили им взамен «что ты, что ты». Это — гибрид бурок-валенок-сапог шьется из тряпок и старых автопокрышек на одну ногу и одного огромного размера, чтобы для каждого. Первый зек, кому их когда-то выдали, в испуге и закричал: «Что ты, что ты!» Отсюда и пошло название. Фирма!

За дело взялся опять-таки кум. Он знает, что делает. Кум шутить не любит. Началась очередная кампания изолирования. Процесс изолирования начался, как известно, очень давно: сперва Людей изолировали людей, затем мужчин от женщин, затем политических от неполитических, затем воров от сук, а сук от других мастей, потом педерастов от непедерастов. Теперь решили отделить воров от мужиков, чтобы оставались они вариться в собственном соку. Было решено разбить воровскую структуру так, чтобы изолировать безмозглых воров от мозглых, то есть авторитетных от рядовых. Вора́м объявили, что в качестве отказчиков их будут кормить по пониженной норме питания, штрафным пайком.

Воры лаялись, обзывали мусоров, их жен, детей, бабушек-дедушек и Господа Бога. В результате доходили до такой степени, что голоса садились, они едва хрипели, в их матерной речи зазвучали заграничные словечки, как-то: пеллагра, атрофия...

Они готовы были признать панство Бугая, но что скажут воры в других зонах по всей стране? Было принято решение рассылать ксивы, чтобы получить какие-либо советы. Но когда стали прикидывать, сколько займет времени воровская почта, где литер «срочно» не функционирует вовсе, то приуныли и те, кто больше всех соблюдали параграфы воровского закона. Решили, наконец, что делать нечего, надо идти корчевать пни, а о своем решении и причинах, к нему приведших, известить ксивами всех воров по всему Союзу, дабы избежать недоразумения.¹

¹ Избежать недоразумений не удалось: когда позже воры из Краслага пришли этапом в другие лагеря, где воры не были еще в похожих ситуациях, их там карали, значит и резали.

4

Итак, воры сдались. Они стали выходить на вырубку, корчевать пни. Бугай пошел на компромисс: воров больше не принуждали таскать на себе эти никому не нужные пни, их выпустили из ЗУРа, они вернулись в свой барак, в свою секцию. Довольно скоро все привыкли к тому, что на разводе воры состояли в отдельной бригаде. Не обошлось и без попытки воров вернуться полностью к прежнему образу жизни, но Бугай дал понять: собрать их в БУР не представит большого труда. Упорствовать не стали. Параграф своего закона — вор не работает — они все равно, говоря культурно, похерили. Но жили они по-блатному и весело. Продолжалась игра, без которой блатная жизнь невыносима. Игра — карты. Нет, это не религия блатной жизни, но тренировка постоянной готовности наказать ближнего. Игра — это средневековые рыцарские турниры, когда семерки-восьмерки всех мастей заменяют пики и щиты, когда дамы, короли и прочие сеньоры участвуют в ристалищах.

Затем до воров стали доходить тревожные слухи о том, что собираются соединить все резавшие друг друга масти — воров, сук, «поляков» и даже Беспредел, что где-то, в каких-то зонах объявилась новая масть из работяг. Они отказались платить дань кому бы то ни было, прогнали из зон всех блатных, опоясались, что называется, ломами, стали работать на хозяина и на самого себя (именно тогда и родилась масть «ломом подпоясанные», как их с юмором прозвали сами воры). Единственную масть в лагерях эти слухи не беспокоили — тех, кого прозвали в уголовном мире «Один на льдине». Эти люди существовали, как зайцы: всех и всего боясь. Они даже часто ни перед кем не провинились — просто боялись. Некоторым казалось, что их преследуют, некоторые не хотели считать себя мужиками, но ворами не являлись, и воры над ними смеялись, а все-таки они считали себя личностями; случалось — их били, но никогда не убивали, они никому не были нужны, в воровском мире считались глупее фраера. Слухи беспешабных воров несколько не волновали.

— Соединить воров да сук, — недоумевали они, — это же все равно, что объединить фашистов с коммунистами, — что за масть от этого?

Действительно, что за гибрид от такой комбинации? Кто тогда вправе признать себя честным вором в законе? Тогда выходит, все воры везде как бы окажутся нарушителями догматов воровского закона?¹

Суки к перспективе соединения мастей относились с надеждой: они, как ни говори, понимали свою второсортность в уголовной жизни. В результате слияния мастей они могли бы почувствовать себя реабилитированными и стать снова полноправными сволочами, равными среди равных, и избавились бы от страха: угроза расправы всегда висела над ними, где бы они не были. Воры действительно представляли стихийно сложившуюся организацию, распространенную всюду в государстве, и иногда, бывало, безграмотно написанная на Дальнем Востоке ксива убивала, сколько бы не минуло времени со дня ее сочинения — приговора сходки, — человека, где бы он не находился. Сукам же самим наплевать на любые законы, потому их не волновало, каким они будут гибридом. Какие, собственно, должны быть законы у тех, чья природа — их нарушать? Какая честность у людей бесчестных?

Суки правы. Ну, не станет воровского закона — не будет также и воров? Куда же они денутся? Станут сразу честными людьми? Как фраера? А эти-то, фраера, честные ли на самом деле? Если да, то потому, что не способны быть вечестными? Значит, честные из-под палки?

По высказываниям покойного воровского мыслителя, Чистодела, честно живут только те, кому не из чего выбирать, когда стащить просто неоткуда.

5

Они встретились опять там же — в транзитных бараках. Отсюда их отправили в знакомом вагон-заке туда, откуда уходили «в крыгую» — на Девятый спец. Бежали «на рывок», когда, сопровождаемые конвоем из самоохранников, следовали

¹ В последующие годы так и произошло на самом деле. Это стало возможным благодаря введению смертной казни.

от вагон-зака тайгой к Девятке. Автоматные очереди раздались с опозданием. Решились на рывок как-то спонтанно, из-за того что пришедший на полустанок конвой, их встречающий, оказался без собаки. Когда началось болото, они поняли не сразу — лес как лес... Местами скользкие лужицы вскоре обернулись вязкой топью. Они выбежали на поляну, похожую на луг. Здесь Враль внезапно провалился. В будущем он напишет, будто спасся благодаря камню и ветке ольшаника... И никому даже в голову не приходило, что на поляне нет кустов, а в болоте — плавающих камней, способных удержать тяжесть человека.

Вытащил друга из трясины Скиталец. Но описывать подробности всего здесь приключенного излишне, потому что в мире уже много описаний всевозможных побегов. Единственно стоит сказать, что настигли их, когда они форсировали реку Пойму, когда Врало в ногу угодила пуля, от ricochetившая с поверхности воды. Скит мог бы, конечно, бежать дальше, но он знал: если уйдет, Вралья пристрелят, чтобы не менал собаководам гнаться дальше за ним. Так в тайге везде делалось: когда беглецы разбегаются, то всех по одному и перебьют, — редко кого приводили из тайги живым. Скит помог другу встать и дохромать до берега, где их ждали двое с автоматами и собака.

— Что, бляди, пустить вас плыть по течению? — предложил один из автоматчиков вежливо. Но беглецов спасло то, что поймали их случайно собаководы не Девятки, а другой зоны, оказавшейся недалеко. Девяткинские беглецы для этих собаководов были чужими... Чужое у них, оказывается, полагалось сохранять в целости для владельца, в данном случае оно принадлежало Бугаю.

Судили их в уже знакомом управлении, после чего они опять очутились в транзитном бараке дожидаться этапа в закрытую тюрьму.

Когда в Кировоградской тюрьме на Вралья надели наручники и втокнули в карцер, он успел лишь кивнуть Скитальцу, которого подобным же образом запикивали в другую камеру, и больше встретиться им здесь не довелось. Отсидев в порядке знакомства семь суток, Вралья перевели в жилой корпус и поселили в одиночку: оказывается, какое-то роковое напутствие девяткинского кума в его деле продолжало влиять на его репутацию...

Однажды в марте ему снился вещий сон: в тюрьме гремят замки, грохочут двери, зеков из камер вызывают с вещами. Они уходят, а Враль будто находится в общей камере, и уходящие зеки оставляют ему свои недоеденные пайки хлеба. Он убирает за ними камеру, подметает... Утром же началось остервенелое перестукивание по всей тюрьме — взяв «телефон» (алюминиевую кружку), Враль приставил ее к стене (включился в «сеть»), чтобы послушать, чем вызван переполох, и удалось ему расшифровать любопытное сообщение: любимый товарищ Сталин умер. Через несколько месяцев тюрьма еще более активно перестукивалась: амнистия!

теперь он и сам стал энергично «названивать» во все стороны и установил, что одних уже освободили, другие освобождаются, третьим сократили сроки. Что всех, кому что-то положено, водят в какой-то зал с множеством столов — на них «личные дела» зеков в алфавитном порядке, и тем, кого амнистия касается, зачитывается соответствующее постановление. А касается амнистия не только тех, кто осужден по указу и по первому разу, а вообще всех уголовников. У кого же 58-я — тому ничего не положено.

И понял тут Враль значение своего сна: у него имелась 58-я статья, пункт 14 — саботаж, который ему припали за один из побегов.

— Но это же вранье! — заорал он во весь голос. Ведь он, когда бежал, никакого саботажа не подразумевал. Он бежал потому, что бежать было его потребностью. Вранье это! Вранье!..

Глава седьмая

I

Закончился очередной тюремный срок. Враль последовал этапом обратно в Краслаг. Здесь ему неожиданно удалось сбежать, причем на этот раз «с концами», как принято говорить

среди зеков об удачном побеге. Но, как уж повелось, судьба пошутила с ним в очередной раз: он сбежал, не зная, что через пять месяцев законно освободился бы. Постановление о сокращении срока находилось в его личном деле — по какой-то случайности в Кировограде ему не дали его подписать, а не из-за статьи 58-14, которая в данном случае (в связи с побегом) не считалась политической. Ему не повезло: он сумел бежать раньше, чем успели познакомиться с его делам в спецчасти управления в Решетах, куда его возвращали. Надо же! Повезло тогда, когда не надо было, чтобы повезло...

Он жаждал получить свободу, но никогда не задумывался: что будет с ней делать, заполучив ее. Не понимал, что такая воля — не свобода, и, естественно, растерялся. Разъезжал с места на место, из города в город, толкался среди людей, что-то искал, не понимая — что. Так он, собственно, и признался новому приятелю, которого встретил на городской толкучке в Таллине. Этого худошавого, похожего на Скита, молодого человека окрестили Орестом, сам он представился как Рест. И Враль ему объяснил, будто он, если полностью, то Сильвестр, а так... просто Вестер, а можно и Вест, чтобы получалось у них в рифму — Рест и Вест. Вокруг горланила толкучка, а они, явно симпатизировавшие один другому, стояли и изучали друг друга. Рест признался, что является помощником преуспевающего номенклатурного дельца, что работа — не пыльная: «уводить» у шефа поднадоевших ему баб, то есть, проще говоря, спать с ними.

Они подружились. Враль счит возможным довериться новому приятелю. Он признался, что находится на нелегальном положении, что особого опыта в этом деле не имеет, что раздобыл с трудом в одном лесном хозяйстве временный паспорт на чужую фамилию, а дальше не знает, как все сложится. Рест поинтересовался, за что Враль сидел, и тот поведал, что — ни за что, вернее за то, что в юности стащил в одном доме окорок, а в другом незалатанные штаны. В ответ Рест признался, что ходит по сонникам, но не из-за наживы, то есть не крадет. Такое никто не в силах понять. Рест не стал разъяснять подробно своей страсти, сказал, что в дальнейшем это сделает, что коротко об этом не скажешь, но он сможет помочь Вралю в трудоустройстве, даже достать комнатуху у одинокой старушки. Далее Вралю предлагалось сопровождать Реста в его ночных рейдах.

но с условием, ничего не совать в карманы. Рест повел Вралья в каменоломню к знакомому мастеру. Каменоломня — не монетный двор: качество документов Вралья в здешней конторе никого не занимало; платили за сдельную работу неплохо, и Враль остался доволен. Они часто встречались. Рест проживал на Пирита в мансарде, набитой книгами. Этот внешне элегантный человек тридцати трех лет являлся загадкой: он действительно не крал и такой эксгибиционизм был недоступен пониманию Вралья.

Однажды он побывал с Рестом на таком его мероприятии и оказался участником мало интересного приключения, на его взгляд. Смотреть — просто смотреть на спящих в собственных постелях людей представлялось Вралю и неестественным, и скучным, тем более что в доме было чем поживиться. Единственно, что они себе позволили, это закусить в чужой кухне. Рест объяснил, что наслаждается осознанием себя как рока, судьбы, таинства в тех домах, где люди спят (везде люди в какой-то час спят, не бывает, чтобы они совсем не спали, надо только знать, когда кто спит): они в его власти и их имущество тоже, а главное — даже их жизнь.

Рест пробовал передать приятелю смысл этого опущения. Он волен, что называется, жить в чужом доме без разрешения хозяев — жить в их присутствии, волен смотреть, — а это даже тучше, чем владеть, — на их так называемые ценности, во — и это квинтэссенция, это и есть главное — смотреть самих людей тогда, когда они уверены, что кроме Господа Бога их никто не видит. Это лучше театра, кино — подобное ощущение трудно передать. Ты хочешь наблюдать святош? Как они трахают своих гусынь? Какие они мерзкие и жалкие! Днем заседают где-нибудь в президиуме — важные, уважаемые, в галстуках, а ночью, голые, пукают, словно лошади в конюшне. Представь себе такого гусака, как, скажем, Суслов, в ночной сорочке со своей суслихой... Рест в похожих спальнях побывал. Непременно надо избегать маленьких жилищ — в них не развернешься, нет свободы передвижения: Рест признался в наличии у него клаустрофобии. Он подолгу выбирал себе жертву, Объект созерцания: в большом доме, объяснял он, места всем хватает, в одной из комнат люди ужинают или кувыркаются в постели, а в это время в других ты изучаешь их библиотеку или питаешься. И от важности этих мерзавцев, от их святости ни

хрена не остается. Можно и пошутить... Однажды одну церковную крысу он застал с молодым парнишкой и так их напугал — обкакался бедолага.

Как-то, можно сказать случайно, Рест в ресторане «Глория» познакомил Вралья с ревельскими джентльменами удачи в интернациональном составе — эстонцем Кала и русским Раппильем. Славянские воры и грабители старались слиться с ревельскими специалистами данного профиля жизни. Они прибыли в эти освобожденные социалистическими преобразованиями от буржуазных предрассудков государства в надежде встретить организованную уголовную цивилизацию и оказались разочарованными: здешние буржуазные жулики были все исключительно индивидуалистами, у них напрочь отсутствовало коллективное сознание, все тут дудели в свою дуду на сравнительно примитивном профессиональном уровне. Славянам предстояла трудоемкая миссионерская деятельность, и они включились в нее с полной отдачей, внедряя в эту дремучую отсталость свежую уголовную мысль; на взгляд миссионеров местные языческие души были единственно пригодны в качестве наводчиков и барыг (торговцев краденым — жарг.). Раппиль был и воров, и грабителем одновременно: больше грабителем, — воровал при случае. Значит, по воровской конституции воров в законе быть не мог. Кала же представлял из себя наводчика, был как тот шакал при тигре в романе Киплинга.

На Вралья знакомство не произвело благоприятного впечатления. В связи с этим Рест убеждал его, что и интеграция уголовников на интернациональном уровне достигается все же куда проще, чем у марксистов, несмотря на общность интересов даже при несхожести специфики как тех, так и других: у уголовников отсутствуют националистические амбиции. Рест был большой ученый. Он рекомендовал Врально не пренебрегать обществом этих двух представителей интернационализма из-за того, что, может быть, у Вралья могут возникнуть антипатии к физическому труду на каменоломне. В результате однажды по наводке Кала они должны были навестить — пригласили и Вралья — живущую в двухстах километрах от Ревеля одинокую женщину, которую Кала представил друзьям как исключительно аморальную, что заключалось в партбилете и излишней самостоятельности. Проживала эта контра на хуторе в отдале-

нии от других домов — у леса. Уже при подходе к ее дому, Рапшиль сунул Вралю пистолет «Вальтер» и объявил категорично, что после ликвидации женщины они с Кала подойдут. Вралю поручалось идти на мокроту из-за того, что эта женщина знала личность Кала. Рапшиль же, само собой, русский, что тоже могло испортить дело. Для Враля предложение было неожиданно, такое не предусматривалось. Не испытывая к интернациональному уголовному симбиозу особых симпатий, он из полученного «Вальтера» стал палить по своим компаньонам, не с целью их убить, но напугать, что удалось превосходно: сломя голову, проваливаясь в сугробах, Кала с Рапшилем спаслись бегством. Враль же направился в дом жертвы и рассказал обо всем хозяйке. В благодарность приобрел ее расположение и разрешение бывать у нее, ночевать, если у него в том будет надобность.

Знакомство с интернациональной уголовной интеграцией для Враля завершилось плачевно. Возможно, отчасти тому поспособствовал тот случай, когда Враль как-то, за несколько дней до описываемых событий, обнаружил у одной своей ревельской подруги Кала и удалил его с поля зрения примерно таким же ударом в челюсть, каковым когда-то заслужил уважение воров в Краслаге, свалив Треску. Кала оказался злопамятным. В результате, когда Враль однажды пришел отдыхать на хутор женщины, фактически им спасенной, она тайком позвонила в милицию, и Вралю среди ночи бессовестно и грубо разбудили, доспать ему было предоставлено уже в камере предварительного заключения. Почему же такая неблагодарность? Оказалось, эту состоятельную хозяйку с партбилетом обворовали, проникнув в ее дом через старую забитую дверь, о существовании которой Враль даже не подозревал. И, конечно же, кроме Вралю, кого могла подозревать бедная женщина, ведь только он пользовался ее домом в качестве убежища. Она знала — он этого от нее не скрывал, — у него с властями конфронтальные взаимоотношения. Узнав, в чем его обвиняют, Враль не сумел доказать, что настоящие воры те, от кого он однажды получил пистолет «Вальтер». Для милицейских психологов этот криминальный опус не поддавался расшифровке. А посему Вралю присудили за все его неудачи (вспомним его вещий сон в Кировоградской тюрьме) десять лет лагерей строгого режима. Последовали

тюрьмы, пересыльные камеры, мухи, вагон-заки и наконец — на этот раз Уральские лагеря.

2

Благодаря введенной вновь смертной казни резня в лагерях прекратилась. Воров все-таки принудили работать. Старые честные воры, которых называли «последними могоканами», уходили в закрытые тюрьмы. Вернее, их, отказывающихся идти в ногу со временем, изолировали от всех. Примерно в те же дни объявилась новая масть — «ломом подпоясанные» — работяги, которым надоела тирания блатных, в том числе и «сук». Прогнав блатных, они сами правили внутренней жизнью в зонах. Воров, сук и прочие масти везде в лагерных управлениях объединили. Главные неписанные параграфы воровского закона оказались нарушены почти всеми ворами (за исключением «могокан», обречшихся на жизнь в тюремной камере пожизненно), и никто уже не принимал всерьез во внимание, если встречались иногда на воле индивидуумы, объявившие себя честными «ворами в законе».

Прекращение резни проявлялось даже в мелочах лагерной жизни — может, не особенно заметно тем, кто в зоне неотлучно, — но после долгого отсутствия, когда немного порезвился на воле, сразу бросалось в глаза: когда Вралья запускали в зону, его даже как следует не обыскали и не заставляли прыгать выше собственного члена, не заглядывали в задницу... прогресс! Всегда заглядывали, сегодня — нет: доверие, культура, эволюция. Благодаря краслаговским собаководам, подстрелившим его, он был избавлен от тяжелого труда, который он вовсе не отрицал, но не любил из-за сопутствующих различных неудобств: насекомые в тайге, террор конвоя, шмоны. Слоняться же в зоне без дела его деятельная натура не позволяла. Он увлекся земляными работами — организацией подкопов из зоны. Администрацией системы промывания мозгов такое вообще-то не поощрялось. Работники кума и начальника режима усиленно искали эти подземные сооружения, многие подкопы Вралья спалились (были обнаружены — жарг.). Скоро «засветился» и сам организатор, после чего местный кум

вежливо обещал ему, что стноит его в тюрьме, в чем Враль сильно засомневался: до сего времени ему хоть и встречались сырые тюрьмы, но все же не до такой степени, чтобы кто-то мог в них заплесневеть.

Между кумом и Вралем с этого дня началось как бы соцсоревнование: на Вралья было нацелено внимание всех стукачей и просто «хороших» людей, о каждом его вдохе докладывалось куму. Наконец, это стало надоедать, и Враль решился на попытку разнообразить существование, попросился в бригаду и спрятался в тайге — оцеплении — с целью дожидаться в болоте снятия охраны с вышек, чтобы прогуляться в тайге подольше и дальше. Его нашла собака, она оттаскивала-разбрасывала лапами дерновые пласты, укрывавшие его, затем Вралья грызли уже шток восемь собак... и откуда их столько взялось? И так скоро?.. Со всех сторон на него сыпались удары, и бьющих было столько, что они друг другу мешали; били прикладами автоматов, палками, ногами. Получив очередной удар по лбу, на сей раз, по-видимому, замком автомата, он потерял сознание. Когда очухался, град ударов все еще продолжался.

Оно и объяснимо: солдаты, искавшие его трое суток, промочили ноги, проголодались и все по вине одного оборота. Каждый стремился стукнуть хоть раз, а некоторым так и не удалось из-за тесноты. Офицеры стали отнимать Вралья у взбесившихся солдат. Возможно боялись, что убьют, а здесь — внутри оцепления не положено было (труп могли бы и вытащить в тайгу, словно его там и настигли, но уж очень много свидетелей — поди знай, кто чем дышит, вдруг кто-нибудь, где не надо, проговорится или даже настучит...) Не положено, значит не положено... Выяснилось, что и идти Враль не может, — его лицо оказалось до того... не лицо: залито кровью, один глаз и вовсе не видел. Тогда один из офицеров спросил:

— Меня различаешь?

— Одним глазом, — прошептал Враль. Он был почти гол, собаки все на нем разорвали.

— Ориентируйся на меня, иди следом, — велел длинный.

Они двинулись в путь: длинный впереди, за ним, отстав на три-четыре метра, Сильвестер Враль, потом молча шли офицеры, за ними солдаты и самоохранники — матерились, смеялись.

Те из солдат и самоохранников, кому не удалось ударить Вралья ни разу, зная дорогу, пристроились в удобных местах и ждали. Когда Враль с ними поравнялся — а он их не отличал от кустов. — на него опять посыпались удары прикладами. Наконец его, полуживого, доставили в зону, в кабинет кума. Тому необходимо было узнать, кто помог Вралю вынести сухари в лес и пластами дерна прикрыться. Враль, отирая руками засохшую кровь, признался честно, что может рассказать всю историю в трех вариантах, из которых ни один не соответствует истине... Кум принялся колотить его толстой линейкой — линейка разбилась. Тогда кум стал работать кочергой, та согнулась, но уцелела. Время от времени Враль приводили в чувство, поливая водой.

Его отвели в карцер. Окно здесь оказалось без стекол, так что воздухом не ограничивали. Свежий осенний ветер дул из всех щелей. Враль не мог жаловаться на духоту, поскольку оказался уж очень легко одет, вернее, вовсе не одет. Кормили обильно, в том смысле, что он ничего не мог съесть, точнее, очень мало из штрафного пайка — болел, харкал, плевался кровью. В голову пришел странный вопрос: какая ему радость, что не родился в африканских болотах в семье негров-рабов? И не нашел ответа.

Когда лагерному начальству стало очевидно, что судить за саботаж Сильвестера Вралья нет нужды, поскольку он, беспорно, умрет, оно решило, будет лучше, если зек отдаст Богу душу в своей естественной среде — в зоне, среди себе подобных. Вралья выпроводили в зону. Хорошо, что после месячного отдыха в проветриваемом помещении он уже стоял на ногах, мог... ходить не ходить, но двигаться. Бывший фельдшер, работавший в зоне парикмахером (бывший парикмахер — лагерный доктор, ничего определить не сумел), констатировал, что у Вралья экссудативный плеврит и рекомендовал удалить из легкого жидкость. В данном поселении можно было, в чем Враль уже убедился, удалить не экссудативную жидкость из легкого, а как жидкость — всю кровь.

Когда кум с удивлением констатировал бессмертность Сильвестера Вралья, он почесал свою небольшую лысину и согласился: делать нечего, судить Вралья нет оснований — побег не состоялся. Оставить безнаказанным этого мерзавца кум тоже не мог... Устал он от этого организатора: все время казалось, что

тот где-то что-то роет или другую пакость замышляет. Кум решил, что лучше всего будет им обоим, если Враль отправится в тюрьму, в «крытку». Чтобы ничего более не организовывал.

Глава восьмая

I

Затем были еще попытки к бегству и последующая кара, состоялся и побег до Красновишерска. И опять его судили, и опять «крытка». На этот раз в Балашеве. Это была его последняя крытка. Четвертая. К сожалению, у него не было возможности обозреть эту тюрьму в Балашеве с птичьего полета, потому он не мог сказать, как она выглядит снаружи. Внутри же тюрьмы мало чем отличаются друг от друга. Как «организатора», его и здесь поместили в одиночную камеру, и он с благодарностью вспомнил того кума, который создал ему столь лестную популярность. Он радовался одиночеству, возможности изучать классически социалистическую, человеколюбивую литературу из серии: «Жизнь в захолустье», «От всего сердца» и «Это все о нем». Радовался одиночеству и потому, что ему надоел ежедневный человеческий лай как разговорная речь.

До встречи с Мором он совершал одинокие прогулки. В бескрайних просторах тюремного прогулочного двора его мысли устремлялись в единственно доступном направлении — в небо, в космос. И, взирая из этого каменного колодца вверх, он вопрошал пространство про зародившийся еще в детстве интерес: в чем все есть? В чем есть то, что есть вместилище всего? Что есть вместилище вместилища — в чем оно? Что есть бесконечность и в чем она находится? Пространство не отвечало. Он не обижался. Понимал: надо учиться узнавать. Встретился он с Мором в тот день, когда надзиратель-разводящий решил сэкономить время: на каждую камеру положено час, а камер многовато — больше, чем прогулочных двориков. Разводящие решили объединить на время прогулки населения

«мирных» камер — не враждующих между собой заключенных.

— Ты не против гулять со стариком из двести первой? — спросили Враль.

В прогулочном дворе Враль увидел старика и узнал в нем Мора. Семь лет примерно минуло с тех пор, когда Враль покинул Девятку в Краслаге. За это время он повзрослел. Смотрелся постаревшим и Мор. Старик впился в вопедшего цепким взглядом и спросил:

— Ты был в Краслаге?

Весь час прогулки они посвятили узнаванию друг друга. Вспоминали значительных лагерных людей — имена, клички, привычки. Вспомнили, конечно, Скита.

Мор был тих, но властен. Враль его не боялся, однако не забывал, что этот согбенный как бы от тягостей жизни человек был на Девятке самым значительным из воров и, хотя это не рекламировалось, все знали, что настоящий хозяин в зоне — он. Враль относился к Морю почтительно и как к личности, и как к старшему, и как — он это четко осознал — к человеку мудрому. Старик не позировал своим интеллектом, не старался показаться умным, что свойственно многим в блатной жизни, у которых похвальба выпячивается из всех дыр, и многим, вполне нормальным и даже образованным фраерам на воле. Старик держался с достоинством, но раздражал как бы ироническим своим отношением. Бывало, Враль обижался и даже не выходил гулять или требовал вести его в другой двор. Потом они мирились. Старик не извинялся, но Вралю хотелось продолжать с ним общаться. Он понимал: жить со стариком в одной камере он бы не смог.

Обычно их беседы походили на допрос: старик расспрашивал Вралья о его жизни. Когда же тот о чем-то рассказывал уже в четвертой-пятой интерпретации, хохотал как безумный, хрипел, задыхаясь. Бывали и монологи, когда старик просвещал его. Он любил рассуждать о Боге и загробной жизни. Говорил, что в юности ему случалось быть в монастыре, но попов ненавидел, утверждал: все зло — и войны и преступления — от религии.

Враль о себе рассказал с того дня, как стал себя осознавать, а помнил себя — как он, бывало, уверял — еще с того времени, когда его и на свете не было. И не шутил... Он помнил то, чего

не понимал: что находился в сфере, куда доходил раздражающий его серый свет. Ему казалось, там были еще бесцветные и бесформенные существа. Даже помнил, что одновременно, боясь непоятного света, он жаждал в нем раствориться, но не помнил своего ухода из той замкнутой сферы и своего возникновения в беспредельном пространстве.

Мор, конечно, говорил и о жизни воров... Сегодня, завтра, послезавтра — о жизни воров, о конфликтах, сходках, резне. Месяц, второй и больше — все об этом... Жизнь воровская — жизнь Мора. Тем не менее говорил он мало, больше расприпывал Сильвестера-Враля. Со временем понемногу разговорился и сам. Из отрывков, рассказанных стариком про себя, и в уме склеенных Вралем, он составил хронологию жизни Мора. В ней была его молодость и то единственное деяние, не дающее ему никогда покоя, — когда он повесил собаку по просьбе бедных, живущих впроголодь, стариков-крестьян. Потом, с годами, все больше его преследовало воспоминание этого акта. Он возненавидел этих бедняков, ходивших в церквушку молиться о спасении. От чего? От кого? Бедностью замученные... Мол, сказано, спасение достигается через лишения и страдания и молитву, мол, только бедные попадут в царство Божие. Тогда что им еще вымалывать?! Им самой их жизнью райская благодать заслужена. А молодого Мора упростили повесить собаку... Если, — вопрошал Мор, — жизнь человеческая — божий дар, что же жизнь собаки? Кто дал жизнь собаке? Почему же ее можно повесить, словно негодяя?

Мор говорил о том, что, дескать, не знает Бога в лицо, не может он спросить у него, в чем он не прав, но кругом на его глазах совершалось столько убийств и никто ни о чем не переживал. Что же, убить человека проще, чем пса? Это к тому, что он и человека убил, даже не одного, но это его не мучило. Первой он убил женщину, когда была революция. До этого его за что-то посадили, по какому-то подозрению в принадлежности к белым. Освободили по просьбе его невесты. Из случайного письма к ней он узнал, что комиссар большевиков, когда Мор находился в большевистской тюрьме, побывал у нее. Мор убил ее кочергой случайно, не рассчитав силу удара, а потом установил, что комиссар с его невестой просто вместе учились в одном классе. Опять тюрьма... Опять монастырь... Однажды обокрали монастырскую церковь (Мор был сторожем), его

обвинили, приговорили к черным работам, — он ушел в мирскую жизнь.

— Шикарно жила эта братва в том монастыре, — рассказывал Мор мрачно, — но это не для меня: так жить — стыдно.

Как он пришел в воровскую жизнь, в хронологии ясности не было, но сам Мор как-то сказал, что свободу потерял уже в тот день, когда в юности повесил собаку.

— Все чтят свободу, стремятся к ней, но когда обретишь Бога, тогда и становишь свободным, и он не есть создатель всего — его самого создали! Ведь я — вор, всегда жил по воровскому закону, все же всю жизнь вопрошаю себя только об одном. Почему именно я? Почему я это сделал? Казалось бы, пустяк — всего-то собака, а вот целая жизнь позади, ангелом я в ней не был, но эту старую суку не забыл. Это самое мерзкое в моей жизни. Хотя свидетелей, понимаешь ли, никаких. Кто мог бы упрекнуть?.. Я не верю в единого Бога, но во что-то верить надо; если бы в человеке Бога не было совсем, люди давно сожрали бы сами себя, только в ком-то из нас он есть, а в ком-то пусто. А каков он, Бог, — кто это знать может?

2

Враль осознал, что на его долю всего-то за ничего (окорок и брюки) выпало в жизни немало испытаний. Он даже стеснялся, что не является достойным уголовником, и везде врал о своих криминальных подвигах. Оказавшись наедине с выдавшим виды вором, который так просто рассказывал ему о своей непростой и страшной жизни, Враль поражался его открытости и тоже признался, что стыдится собственной неполноценности — он никого не убивал и даже воровать должным образом не научился. Единственно врать умеет и больше ничего.

— Вранье! — возликовал старик. — Это великое торжество? Это дар божий. — Он потирал руки от удовольствия. — Даже невозможно сказать, какая это прелесть! Вранье — не ложь, от которой разит интеллигентностью, скользкой и пошлой, вранье — понятие конкретное, оно бескомпромиссно, вранье — это лестно. Психологи считают вранье обманом, но обман не всегда

зло. Вранье может быть благородно, в то же время ложь и подлость весьма конкретны. Когда обман лицемерен и лжив, он не художественен, не приносит удовлетворения даже при благополучном исходе. Если же ты в состоянии так соврать, что и сам поверишь — это же поэзия! И даже не важна сама цель — важен процесс, торжество!

— Научиться врать искусно, — говорил Мор, — очень сложно. Но вранье становится искусством, когда с его помощью безликие явления обретут чарующие очертания, когда старухи станут девственницами (что в природе встречается и без вранья), а проститутки добропорядочными (хотя известно, что они часто порядочны в большей мере, чем дамочки, считающиеся порядочными), когда трус смотрится разумным человеком, а бедняк чувствует себя богатым и удачливым — значит, счастливым, ведь недаром говорится: дурак думою богатеет. В итоге — поэзия.

Мор доказывал, что не знает в истории человеческого рода никого, ни разу не совравшего в жизни, что жизнь без вранья так же невозможна, как невозможна абсолютная свобода или вечный двигатель, что даже главный библейский персонаж, проповедуя любовь, достиг чудовищных обратных результатов: во имя этой любви люди на земле уже столько душили, жгли, резали своих ближних, что ни о какой правде, святости и милосердии речи не может быть.

А политики! Очень правдивые люди! Посмотри в их добрые, улыбающиеся, искрящиеся любовью глаза, послушай их прямо и откровенно сделанные заявления и скажи: можешь ли ты усомниться в чистоте их помыслов, в том, что они мучительно страдают из-за любви к своим народам? Разве такие возвышенные души способны соврать? Да никогда! Они лишены божественного дара вранья. Вопрос лишь в том: почему никто из них не верит другому? А не верит потому, что вообще люди тут и там в мире все меньше доверяют друг другу, а все из-за этих человеколюбивых дипломатов, столько раз уже подводивших народы под монастырь. Отсюда и получается, что народу, поверившему иному политическому честняге, искусно повесившему лапшу на развешанные народные уши, ничего затем другого не остается, как класть голову на плаху, отвернув прежде воротничок, чтобы палачам удобнее было рубить. Случается (редко) иной политикан так умело запудрит мозги,

что народ рьяно ринется следовать его призывам (ему и самому такое в голову не могло прийти) и создает в государстве такой порядок, при котором политикану самому жить тошно: это называется сыпать пепел на свою голову. Всякий врёт в надежде на пользу для себя, но если это ради подлого приема, причиняющего страдания безвинным, — уродство безрадостное.

Воры запросто в состоянии управлять государством, — утверждал Мор, — хотя на самом деле, исходя из положений воровского закона, управляют им сегодня суки. Но настанет время, править бал станет Беспредел. Настанет день и фраера еще будут тосковать по воровскому закону, ради уничтожения какого-то мусора столько сил потратили. Ведь именно ради этого и отменил смертную казнь тот, кто хотел показаться мудрее самого Бога — отменил в расчете на то, что без нее, законом благословимы, мы тут друг друга перережем больше, чем успели бы расстрелять. К тому же, как нас расстреливать? Мы же не политические фраера, враги государственных сук... Мы всего-то в некотором смысле конкуренты. Потому и сделали, чтобы мы сами себя казнили. Но когда честные воры мешать стали, их надо было остановить, чтобы их влияние не очень разрасталось: ввели обратно смертную казнь. Резня прекратилась, масти объединили, воров заставили работать — закону хана. Все-таки убийцы единственно смерти боятся; хорошо было резать, когда государство за это не убивало... А ведь и библейский Бог смертную казнь применил, предав огню Содом и Гоморру, затем утопив весь род людской, переставший ему нравиться. Таким образом, преступление идет от Бога, без воли которого ничего не делается. Что же удивительного, что людьми правят преступники... Теперь суки! Если бы правили воры, в государстве бы такого блядства не было. Но тут, сколько бы земле не крутиться, мало что изменится. Ведь как это происходит? Умный вор, — рассуждал старик, — старается ладить с ментами, а мент есть винтик. Выгоднее иметь дело с его шефом и, если это вору удастся, тогда и шеф — жулик, который, в свою очередь, налаживает контакты с вышестоящим начальством. В случае благополучного результата вышестоящее тоже становится... или уже стало преступным и наверняка налаживает перспективные отношения с более высокими чинами. Что должен делать в такой схеме по-настоящему умный вор? Он должен

наладить отношения с министром, кушать его. А еще лучше самому поступить в Высшую партийную школу, чтобы стать министром. Но тогда он, по старому воровскому закону, сука и его надо резать. Вот и выходит, правят-то суки. Принципиально вор должен приспосабливаться и совершенствоваться, захватывая, проглатывая, размножаясь, стремясь в конечном итоге превратиться во всемирную идею, становясь таким образом правом, идеологией, вынужденной, увы, начать борьбу с левыми движениями, тоже и с воровством — вор должен начать бороться с собственным хвостом... Но так было всегда. В мире сплошная круговерть проституции. Право повелевать, давать и брать всегда достигалось интригами, обманом, коварством, кровопролитием, одним словом — преступлением. Так кто же наши правители?

— Но воры, что в правительстве, были бы умны, если бы брали умеренно, дали бы и рабам дышать, кушать, пить, чтобы размножились и пахали они на умного вора. Когда же они обирают мужика дочиста, то им скоро и самим брать станет не у кого, и такие правители даже глупее, чем суки. Беда в том, что наши воры, как только станут правителями, возомнят себя честными людьми... Губительно! Хуже нет, когда стараешься изменить своей природе, отсюда всякая путаница. Для человечества было бы идеально, если б в мире правили везде «ломом подпоясанные», то есть мужики.

3

Два года «гуляли» вместе Мор и Враль. Старый вор и человек, стесняющийся, что он не преступник. Во всяком случае полноценный. Мор имел основание относиться к Вралю снисходительно... Одиночество сблизило обоих, но не настолько, чтобы согласились они постоянно находиться в одной камере. Они не в одном лишь прогулочном дворе общались: они переговаривались — перекликались через решетки своих небольших окон. Их жилища помещались недалеко друг от друга, хоть и на разных этажах. Тюрма, вообще-то говоря, не отличается молчаливостью, несмотря на «цензуру» надзирателей. Часовые на вышках по-разному реагировали на их

общение из окна в окно, как и на «ночь» с «подогревом» (бечевку с выпивкой — жарг.), которого, случалось, Вралю приходилось принимать. Но был у них и свой часовой, они звали его философом: этот охранник на вышке постоянно что-то писал в толстую тетрадь. Заметив, что за ним из окна камеры следит Враль, он, подняв тетрадь, хвастливо крикнул: «Не работал, но трудился». После чего Мор привел его Вралю в пример: «Видишь, даже этот не такой дурак, чтобы не соврать в свою пользу: или он там правду пишет на вышке?! А ты что же ворон ловишь? Раз не можешь красть, зачем такая страсть... зачем красотку красть, если можно ее так уговорить. Или ты не заметил, что в зоне каждый второй — поэт, а третий — романист?»

Здесь-то и высказал Мор идею, что Враль мог бы тоже что-то сочинить такое, что в дальнейшем поможет ему преуспеть в жизни. Мор считал, на жизнь надо смотреть трезво. А если трезво, то получается у Вралья грустная перспектива: ни уголовник, ни честный человек, ни прошлого, ни будущего. Мор выказал завидное знание литературы: похоже, не зря кантовался (приспосабливался — жарг.) в качестве библиотекаря. Он даже объяснил Вралю, что если тот, будучи и не очень грамотен, напишет, скажем, книгу, в форме дневников от первого лица — это проще, надо лишь знать, как писать, чтобы обеспечить удачу.

Враль ничего не презирал в жизни больше карандаша... Про всевозможные литературные жанры, стили — он не слышивал, о конструктивности, сюжетах, инспирациях понятия не имел и всегда знал, вернее, полагал, что у него одно лицо. Мор объяснил, что в литературе можно рассказывать от первого, второго и даже третьего лица, а если бы Враль был королевских кровей, то мог бы даже писать от имени «мы»... По знанию литературы Мор и впрямь являлся уникалом, ибо воры в большинстве пользовались книгами исключительно рационально: сушили в них самодельные игральные карты, употребляли при кипячении в камере чифирка страницы, как тошливо.

— Вот где открывается горизонт для вранья. Можешь даже обходиться правдой, но не следует говорить всей — если это не в твою пользу. Перевоспитание — дерьмо, но, когда ты сам в дерьме, в его описании — нужная вещь: прийти из тюрьмы в новое общество надобно, склонив повинную голову с покаянной

мордой. И тогда тебе простится твое уголовное невежество, тебя примут в общество, потому что, хотя и виноваты в нем все, — все не виноваты перед одним, ибо в нашем государстве должно полагать правовой коллективизм. В случае успеха будешь относительно свободен и обласкан прекрасными дамами. Причем, говорил Мор, если учесть, что человек считает себя осознанно царем природы, — ты хотя и не королевских кровей, тоже все-таки как бы царь, ведь ты родился в сословии человеческого рода и все, кого ты встречал в жизни и встретишь впредь — члены этой большой царской семьи. Ко всем ты обязан относиться с традиционным преклонением, как приличествует между высокородными родственниками, однако любить их тебя никто не обязывает.

4

Враль стал создавать дневник. Потому что, как сказал Мор, это самый распространенный жанр и из всех них проще. Мор рекомендовал Вралю описать собственную жизнь пожалостнее, он возвысил своего ученика в преступном звании, ибо если уж объявится в мире с покаянной мордой, то не иначе, как с жутко уголовной. Мор уверял, что фактически дает Вралю свободу, что, занявшись сочинительством, — ведь времени в него больше, чем надо, — он в тюрьме станет свободным более, чем иной на воле. Но предупредил: чем больше Враль углубится в эту свободу, тем больше окажется в «тюрьме» из-за невозможности понимания мира. Главное, в своем описании он должен соответствовать тому положению, какое ему создало общество. Таковы правила игры. Иначе на задуманное вранье никто и не клюнет, а тогда нет в нем особого смысла.

Враль трудился прилежно, ушел с головой в сочинительство и убедился, что книги читать намного проще, чем их писать, даже самую незатейливую. Встречаясь ежедневно в прогулочном дворе, он рассказывал старику о своих успехах, чтобы как бы постоянно с ним консультироваться, но тот заявил, что не дело — соваться ему, Морю, в труды начинающего романиста, что в этом процессе Враль должен полагаться на собственную интуицию, фантазию и смелость,

что иначе ему свободным не быть, что в этом деле надо быть самостоятельным. Именно тогда, неожиданно, Враль столкнулся с трудностями, о которых даже не подозревал: он осознал, что ему фактически предстоит обмануть и будущих читателей, если допустить, что его действительно когда-нибудь напечатают (в душе он в этом сильно сомневался), а также и идеологию. И он вдруг спросил себя, хочет ли он обманывать, что он, собственно, имеет против идеологии социализма? Сомнения такого рода были также порождены, как ни странно, Мором. Еще рассказывая Вралою о своей бытности в монастыре (вот где он видел уникальные книги, вот где была библиотека!), Мор рассуждал о марксизме и религии, производя некий сравнительный анализ. Он одновременно забраковал и то, и другое, признавая в то же время в обоих явлениях красоту человеческой мечты о совершенном мироустройстве. Он не отрицал бога как такового, считая, что древние, молившиеся солнцу, луне, дереву, бычку, воде, огню — природе, понимали бога, но предали его, когда стали относиться к природе небережливо, теперь она за это людей карает. Ради чего же променяли люди веру в реальное на мифическое? Корысти ради. Жертвоприношений ради. Создав бога по своему образу, люди становились богоправными, и бог стал многолик, но вообще не един: у одних он двурукий, у других многорукий (этим больше положено); и все считают только своего бога правильным (еще бы!), а тех, кто с этим не соглашается, на костер (куда же еще!), или на кол, или просто башку долой. Религия, объявил Мор, церковь — причина всех войн и преступлений, она — всеобщее лицемерие, символ жадности и коварства. И не существовало первородного греха, а был первородный страх. И одеваться людей не стыд принудил, а холод. А как ты представляешь себе этих наипервейших людей? Адам, Ева да сынки их — Каин и Авель. Каин убил брата и стал родоначальником. От него якобы пошел род людской. Но кто ему детей нарожал? Адаму, понятно, из ребра бабу сварганили, но из ребер или других костей Бог вроде бы ничего не делал, и женщин других в этом семействе не было... В заповедях же сказано, что не должен человек прелюбодействовать. Таким образом, чем больше разрастал-

ся род кайнов, тем больше нарушались заповеди создателя. Ну ладно, Бог этот фамильный бардак ликвиднул, потопил всех, как котят, оставил Ноя с его лодкой и... создался другой фамильный бардак? Значит, не зря твердят попы и марксисты, что все люди — братья.

Церковники сделали из своего вранья науку, ее впоследствии скопировали марксисты, а то их зависть заела: святоши брюхо набивают, обещая райское блаженство на том свете, словно могут знать, что будет после смерти; коммунисты свой плагиат намного улучшили, посулили рай на этом свете. Но тоже не сумели: Бог все-таки в природе, а человек устремился ее обмануть, обобрать... Одним словом, проворовались плагиаторы.

Лживость библейского вранья на своем жизненном примере подтвердили за всю историю папства (заместителей Бога) десятки римских пап и другие церковные корифеи, а уж они-то знали истинную цену загробной жизни. От себя Мор объявил, что если без воли Бога и волос не упадет с головы грешника, то и преступления по воле господя делаются, тогда и он, Мор, сотворив убийство, является дланью божьей, исполнившей волю всевышнего. В результате получается, что священное писание как бы и оправдывает зло, значит... зло есть благо, или Бог очень коварен. Так и тиран, утвердивший смертную казнь, с одной стороны, восстал против Бога («не убий»), с другой же, и он есть длань всевышнего. Ведь как бывает: совершавшие с упоением и цинизмом кровавые, массовые убийства, ставшие перед судом земным, сами избегали казни, потому что «Бог дал жизнь и он один вправе взять ее назад». Причем палачи в таких случаях обычно выполняют приказы вождей, которых сами себе избрали. Следовательно, они убивали и зверствовали, выполняя долг, заключавшийся в повиновении вождю (они же именно потому его выбрали, чтобы дать ему право повелевать). Сказки об Иисусе Христе — это призыв к райской жизни, но... на том свете. А марксизм — тоже хорошая сказка про разумную жизнь, но на этом свете, и потому эта сказка умнее.

Вот эти-то мысли Мора... Нет, они не вызвали у Вралья удивления: что вор способен иметь подобные мысли. Хотя

противоречивости в них он себе объяснить и не смог. Но они, эти мысли, совокупно с его собственными наблюдениями жизни и стали трудностями, затруднившими ему создавать его литературный обман. Об идеологии марксизма, как и об учении Христа, у него имелось поверхностное представление, но было оно не так уж и негативно. В душе он, несмотря на то, что был в тюрьме, все более и более оправдывал социалистическую идеологию. Во-первых, ему нравились книги про революцию. Революционеры сильно отличались от тех, с кем судьба свела его в лагерях. И грань между справедливостью и злом была в них понятно обозначена. Было нетрудно определить, кому симпатизировать, кого презирать. Возможно, не будь он осужден по уголовной статье, его мировоззрение развилось бы по-другому. Но те люди, среди которых он вращался, в большинстве не нравились ему вовсе. И мусора ему тоже не нравились. Но даже их он пробовал оправдать — мотивы их действий, логику их жизни. Ему довелось слышать о том, что осужденные политические будто бы верили тому, что беззаконие и произвол в лагерях неведомы диктатору, что сидевшие в лагерях коммунисты пытались открыть ему глаза. В то же время они обвиняли тюремщика, что тот их лупит. Разве не смешно: сами получили от тирана по шее, как враги народа, и не перестают ему верить, а тюремщика, который по шее еще не получил, обвиняют в верности этому же тирану...

Все эти и подобные социальные веяния, которые он теоретически не четко представлял, а практически и вовсе не знал, совокупно вызвали в нем сомнение: должен ли он поступать так, как его обучал Мор? Из всего им прочитанного он получил понимание, что во все времена люди всегда искали способы создания идеального общества, когда возможно справедливое деление земных благ. Он понимал, что именно этот вопрос — как разделить земные «дары» природы, чтобы досталось всем, — и есть извечная задача. Помнится, Мор однажды эту проблему выделил из общей задачи своей формулой: проблема одна — «как бы рыбку съесть и... на хрен не сесть», то есть ловчее надуть ближнего. Все воры — правящие по закону государства и живущие по закону воровскому, — обязывают одуроченных фраеров

класть все ими созданное на общий стол, чтобы с него производить раздачу по заслугам. Фактически на общий стол кладут лишь то, что не утаено. В результате на стол попадает все меньше и меньше. Фраера не хотят создавать, раз со стола все равно нечего брать. Воры начнут изобретать способы убеждать фраеров, чтоб создавали. Помрут одни воры, их место займут другие, облают за нечестность предшествующих, набивая в тоже время брюхо с общего стола. И так до того дня, когда будет необходимость придумать что-то исключительно убедительное, чтобы фраера поверили, смирились, вкалывали. И дойдет до того, когда последним ворами уже и взять нечего и не у кого. Тогда и настанет честная жизнь. Так что, браток, честная жизнь и всеобщая справедливость теоретически возможны.

Враль прикинул, что эти рассуждения старика скорее всего результат его наблюдения дележа воровского общака. Из прочитанных книг он получил представление, что революция не может состояться без людей, искренне в нее веривших, что всегда она делается теми, кому нечего терять, что и в России массы людей находились в социальном неравенстве, — не от хорошей же жизни они, босые, шли умирать за революцию, — но что таких дурачить всем вождям легче, обещая лучшую жизнь на этом свете (в отличие от религии), это тоже верно.

Приближался конец его срока пребывания в Балашевской тюрьме. Враль втянулся в свое литературное вранье, которое однажды ретивый тюремный кум даже хотел у него конфисковать. Этот кум был начисто лишен художественного вкуса: в результате Враль угодил в кичман (карцер — жарг.) и его «затянули» в смирительную рубашку. Рубашка — чудо изобретение! Вралья раздели догола и четверо молодцов в подвале тюрьмы запихнули его в это брезентовое изделие с длинными рукавами, к «манжеткам» и подолу которой прикреплены брезентовые ремни. Затем виделись ему солнце и звезды, и ангелы небесные, и хотелось ему страстно вернуться в детство, в школу, изучать ненавистную таблицу умножения.

После долгого отсутствия Вралья в прогулочном дворе, Мор встретил его вполне равнодушно. Он, конечно, знал о

карцере, — в тюрьме всегда все обо всем знают, — но известие о рубашке произвело впечатление.

— Уважительно к тебе относятся, — признал он. И только на третий день вскользь поинтересовался, чем Враль все это время занимался. Он, конечно, знал чем, но не всегда давал ученику возможность о своем деле распространяться. Враль вяло ответил, что, вот, заканчивает дневник и скромно выразил сомнение о качественном уровне. Мор разрешил ему прихватить сей труд на следующую прогулку. Вручая учителю и первому литературному консультанту свой литературный опус, Враль премо́лчал про усовершенствование грамматики русского языка: он упростил ее за счет неудобных, на его взгляд, букв из семейства согласных. На другой день, едва Враль был запущен в прогулочный двор, старый Мор, вместо выражения восторга, разразился гадким смехом. Назад свои «дневники» Враль получил с ужасно искорканным, как ему представилось, языком — пропал его труд по улучшению русской письменности. Мор старательно свел на нет все его нововведения, став, таким образом, еще и первым его редактором. Кто бы подумал!.. Враль был уверен — об этом и в литературе писали, и говорили, и вообще логика воровской жизни как бы доказывала: воры сплошь неграмотны... Мора же смешила не только грамматика Вралья, но и логика повествования, он тут же стал издеваться над автором.

— Итак, тебя в тайге подстрелили за сорок километров от зоны, а, надо сказать, тайга — не городской бульвар — и тебя несут на носилках по тайге обратно в зону? Живого!.. В такую липу поверят только законченные идиоты! Или вот: утопая в болоте, нащупываешь камень... Ты подумай: в болоте!.. Камень — не пробка! Идиотов, конечно, отыскать можно, но, если будешь рассчитывать только на них, значит, сам идиот. Если будешь считать себя умнее их, это и есть глупость. Стараться же выглядеть глупее их — дело верное. Ты должен посредством твоей писанины становиться как бы показательным исправившимся преступником, вещественным доказательством жизнеспособности системы перевоспитания правонарушителей, хотя мы знаем, что на самом деле можно перевоспитать их разве что пулеметами. Ты должен

стать готовой продукцией. Местами в твоих дневниках очень уж ты скромн, надо бы больше подвига. Лучше быть героем хоть немного, но на этом свете, чем после смерти, где нет возможности насладиться славой. Значит, где-то убавь, а где-то, наоборот, прибавь.

Чем ближе подходила последняя ночь в тюрьме, чем больше задумывался Враль над учением Мора, тем больше хотелось ему верить в реальность успеха задуманной авантюры. До сих пор он относился к своим «дневникам» скептически, как к игре, забаве, и мало верил возможности ее реализации.

В будущем он станет изобретать способы осуществить операцию «дневники». Надлежало стать охотником, выслеживающим дичь, рыбаком, стерегущим поплавок — он должен закидывать удочки, расставлять силки. Ему надлежит поймать своих «открывателей» и тех, кто станет ловить его: издателя. Необходимо сконструировать случайность, чтобы затянулась она удавкой капкана на шее жертвы.

Так родились «Записки Серого Волка». Но это еще не все...

**БЕЖАТЬ
ОТ ТЕНИ СВОЕЙ**

Памяти Сергея Михайловича Крылова

Глава I

Этот сентябрьский день мало отличался от обычных: погода с утра стояла хорошая, сухая, умеренно теплая, когда легко дышится, — именно такая, какую я люблю. Я не поклонник лета. Лето в городах, особенно больших, люди задыхаются в бензиновом угаре. Зимую жить в них еще как-нибудь можно, но летом... Лучше всего в городе, конечно же, осенью. Дожди, опавшие листья, бодрые мысли, творческие планы — все это, мне кажется, осеннее. Лето хорошо у моря, когда нет никаких других забот, кроме как поворачиваться с боку на бок, чтобы не осталось, не дай бог, какой-нибудь светлой, не тронутой солнцем полосочки на твоей шкуре...

Меня зовут Автор. И в тот сентябрьский день я уже с раннего утра ощущал в себе силы, необходимые для создания нового романа, способного потрясти человеческие умы и вывернуть наизнанку сердца. К вечеру это опущение переросло в уверенность, которую стало невозможно терпеть в одиночку. Я отправился в ресторан «Лира». За трешку получил от швейцара пропуск в него и оказался в объятиях официанта с лицом Вольтера и манерами светского человека. Он был образцовым официантом — быстро организовал уютную обстановку за одним из столиков. И мы, нас оказалось четверо малознакомых мужчин и одна дама, веселились до одури. Да, мы, кажется, много в тот раз выпили — чего только мы в себя не вливали!.. Когда шел домой, я сознавал только одно: пьян, братец, больше некуда. Во рту хвойный привкус джина, в голове шум... И все-таки мысль о будущем романе, словно назойливая муха, кружилась в мозгу. И, придя домой, я тотчас позвонил Зайцу и сказал, что

начинаю работать прямо сейчас, өню же минуту. И начал...

Начать было легко, потому что я давно задумал написать роман, в котором будет целый водопад приключений, пережитых моим героем, только в конце романа встречающемся с героиней, потому что ее у меня еще не было. Не было даже представления о том, какой она должна быть. Ее следовало еще отыскать — то ли в моей фантазии, то ли в жизни. Как всегда, в кино, в книгах, умную, добрую, обаятельную, а если удастся, то и красивую... До поры до времени можно было, конечно, обойтись Лючией...

Здесь необходимо пояснить сущность моего замысла. Дело в том, что главные мои герои — он и она — должны быть во всем противоположны друг другу. Герой — персонаж отрицательный, целиком негативный, что называется, человек дна. Она же, напротив, — предельно чистая, благородная натура. А смысл такого сочетания, разумеется, в том (как, впрочем, во всех произведениях похожей конструкции), чтобы показать силу воздействия социально положительного над негативным и в конечном счете преобразование негативного в позитивное, злого начала в доброе.

Чтобы найти негативный персонаж, не надо долго ломать голову: всем известно, что подобным субъектам место — в тюрьме. Но пока было неясно, где откопать положительную героиню...

Поразмыслив, я решил, что все же следует допустить некоторое сходство в судьбах героев: ведь не так-то просто свести положительную героиню с героем, находящимся в тюрьме...

Поэтому-то я и сделал так, что и она... Ну, в общем, отсюда следует уже рассказывать по порядку.

Итак, он, Феликс Кент, сидел в тюрьме.

А она — Лючия... проживала у Черного моря, в прекрасной местности, именуемой Пицундой.

Кент находился не в самой тюрьме — в одной из сибирских особорежимных лесных колоний. Находиться здесь было ему крайне нежелательно. Тюрьма — неволя, а неволя — это плохо!.. Ему здесь разъясняли необходимость искупления вины честным трудом, но он не относился к труду как к празднику, для него труд всегда был всего лишь необходимостью. На воле он не любил устраиваться на заводы, где строгая дисциплина,

где, хочешь не хочешь, нужно вкалывать от звонка до звонка и где нужно радоваться перевыполнению плана...

Поэтому и к тюрьме Кент относился должным образом: как к месту, откуда при первой возможности следует драпать. Чего ждать? Если ты не можешь сказать, положив руку на сердце, что не намерен впредь «контролировать» чужие доходы, то всегда следует считаться с возможностью рано или поздно снова оказаться в тюрьме. А если так, то какая разница — сидишь ты до конца своего срока или нет? К тому же Кент верил в неограниченные возможности, открывавшиеся ему на воле, в судьбу, в провидение, в удачу и черт знает во что еще. Впрочем, о своей судьбе он мало задумывался, потому что жить, думая только о сегодняшнем дне, веселее, чем предаваться думам о неизбежной старости, одиночестве, болезнях... Ему хотелось получать радости жизни и платить за них монетой собственной чеканки — иными словами, теми трудностями, которые он выбирал по собственному вкусу, и выбирал не труд, который предлагали чересчур навязчиво, — выбирал риск, зная, что трудом в случае неудачи будешь обеспечен ровно на такой срок, какой потребуется, чтобы через этот же риск от него избавиться...

Сегодня после долгого трудового дня на кирпичном заводе Кент валялся на своих нарах и думал о Лючии. К ней рвалась его душа, из-за нее он решился, несмотря на промозглую таежную осень, предпринять труднейшее путешествие из далекой Сибири в Пицунду.

Закрыв глаза, он видел, как Лючия выходила из моря, совершенно нагая, бронзовая от загара, высокая, гибкая — дочь морского бога, увенчанная роскошной короной сияющих в лучах южного солнца волос, ниспадающих на ее плечи, видел ее маленькие упругие груди. Вот она вышла из воды, покрытая мириадами сверкавших на солнце янтарных капель... Подойдя вплотную к Кенту, она ласково улыбнулась ему зелеными глазами...

В бараке было тихо, все спали. Кент достал первое письмо Лючии — не терпелось прочитать еще раз. Ведь с этого письма все и началось. Письмо было очень длинное — целая повесть о жизни...

«...Далекий друг!

Самое лучшее сейчас — это видеть вас перед собой, видеть

выражение ваших глаз, — тогда и говорить было бы проще.

О, это ваше письмо, написанное кровью сердца и с такой искренностью! Что же касается права судить вас, то я могу не судить, а страдать и радоваться вместе с вами.

Пишу вам с берега Черного моря. Здесь я и получила ваше письмо — его мне переслала моя бывшая квартирная хозяйка. Я буквально проглотила его, и потом я не знала, куда деваться от душевной боли. Я избегала общения с людьми, боясь, что они могут заметить выражение страдания на моем лице...

Дорогой Феликс! У нас удивительное сходство в судьбах, даже внутренние мы чем-то схожи. Печальное сходство, но что поделаешь? Что было, то было!.. Ведь и я когда-то не слишком уважительно относилась к чужой собственности. Слава всемогущему, что у нас с вами хватило мужества, хотя и поздно, но подойти к себе критически и что есть еще у нас время искать, выбирать, в общем, жить. Кто-то из мудрецов сказал: «Чтобы оценить настоящее, нужно иногда его сравнивать с прошлым». К черту воспоминания! Я ценю настоящее, я скромна в требованиях к жизни, прощаю людям их недостатки, лишь бы они не упрекали меня прошлым...

Не знаю, хороший я человек или плохой, но в друзьях сильно нуждаюсь и твоё предложение считать тебя другом как нельзя кстати сейчас. Также не знаю, оправдаю ли я твои надежды в дружбе — натура у меня сложная, противоречивая. Что могу обещать твердо — это быть с тобою предельно честной, откровенной.

Итак, о моем настоящем.

Рассказывать мне трудно. В последний год я слишком много молчала, без сожаления порастеряла друзей и знакомых, полагая, что со своим горем справлюсь сама. В какой-то мере мне это удалось.

Внешне я произвожу впечатление благополучной, сильной, жизнерадостной женщины. Никому и в голову не приходит, что совсем недавно я пережила утрату близких, о которой можно сказать: это предел человеческому страданию. Будет, наверное, жестоким по отношению к тебе выкладывать всю мою боль на бумаге. Но ты просишь рассказать обо всем, и, конечно, не из праздного любопытства...

Итак, с конца...

Освободилась я в 1956 году на Урале. Перед этим находилась три года в исправительной колонии. Из трех лет восемь месяцев просидела в одиночке — времени подумать было более чем достаточно. Думала днем и ночью, о разном. Но никогда не могла в деталях представить себе своего освобождения. Свобода пришла неожиданно — в теплый майский день, и уж очень обыденно. Вышла из ворот колонии — нигде никто меня не ждал, никакой специальности я не имела, но была здорова, красива, с надеждой, что у меня есть еще силы и время искать и выбирать. (Разумеется, красивая женщина имеет право выбирать, даже если она выпорхнула из колонии. — Прим. автора.)

Родилась я в Ленинграде. Но в этом городе не осталось ни одной близкой души, которая была бы рада моему возвращению. Несмотря на это, я поехала туда. В пути, в поезде, в одном купе со мной ехал мужчина с дочкой. Первое, что сразу бросилось в глаза, — его нежное, любовное отношение к маленькой девочке. Никогда не имея своих детей, наслушавшись в тюрьме разговоров об отцах-подлецах, я была растрогана до слез. Вскоре из разговора с ним я узнала, что он летчик-испытатель, что у него умерла жена и что самое большое его счастье — дочурка, с которой он едет в отпуск в Ленинград.

Рассказал он мне обо всем этом как-то сразу, причем добавил: «Мне нелегко, но все жду какого-то чуда... Возлагаю надежды на интуицию моей шестилетней дочери. Как она захочет, так и будет...»

А ночью случилось действительно чудо. Мне снились камера тюрьмы, окрики надзирателей... Наверно, я кричала во сне, а когда проснулась вся в слезах, то увидела бледное, искаженное страхом лицо моей маленькой соседки, ощутила ее горячие ручонки, гладившие меня по голове. Этот миг сразу решил судьбу троих. Девочка, ее звали Алиса, забралась ко мне под одеяло, крепко обняла меня, и мы так и лежали до утра. Наконец-то пришло ко мне долгожданное счастье!..

Алиса и Юрий принесли мне столько радости, сколько я не видела за всю свою жизнь. Юрий служил на Севере, материально мы не нуждались, но я пошла работать. В колонии у меня была подруга Тая. Она была хорошей сварщицей. И я еще тогда решила, что тоже стану сварщицей. Такая возможность мне теперь представилась на Севере. Поступив на курсы

сварщиков, одновременно пошла в вечернюю школу, в шестой класс. Жизнь была заполнена до предела!..

Мне очень повезло в жизни: Юрий был не только внешне привлекателен. Это был умный, добрый, образованный человек, целеустремленный, во всем последовательный. Самое ценное в нем было для меня то, что он не оставался равнодушным ни к чему, что касалось меня.

Меня, правда, иногда угнетало, что я духовно беднее его. Но он всегда утешал: «Я ведь тоже знаю мало из того, что знаешь ты. Будем помогать друг другу, будем учиться друг у друга!»...

Конечно, его любви и любви Алисы мне удалось добиться не сразу — потребовалось немало ума, нежности, чтобы завоевать их сердца.

А потом родился мой ребенок, сын!

Я не была в раю и, судя по всему, вряд ли туда попаду. Но те годы, когда мы жили уже вчетвером, — разве это был не рай! И вдруг в один день все было сметено, как ураганом...

Случилось это в прошлом году, в июле. Юрий, Алиса, Ванюшка летели в отпуск в Одессу. Мне нужно было готовиться к экзаменам. (Я училась заочно в Ленинградском университете на факультете журналистики.) Провожала их с военного аэродрома: шел самолет по спецзаказу из Москвы. При взлете самолет разбился. Погибли все.

Когда я думаю о том, что пережила тогда, мне вспоминается фильм «Жизнь Рембрандта», тот эпизод, когда великий художник стоит у изголовья умирающей жены, протягивает руку к невидимому Всемогущему и спрашивает: «За что?!» А рядом стоит врач. У него суровое, бесстрастное лицо: «Надо жить, Рембрандт! Ты нужен людям...» И год тому назад я часто думала: а кому нужна я?..

И все-таки я выстояла. Судьба, изрядно потрепав меня, с пристрастием испытал на прочность, в награду дала мне великое терпение.

С Севера я выехала в марте, квартиру сдала, а вещи — в основном книги — и поныне там. В Новороссийске живут родственники мужа. Я побывала у них, отдохнула, полечилась. Я избегала всяких волнений, не писала никому писем и даже книг не читала. А когда пришло твое письмо, оно потрясло меня. Все сразу вспомнилось... Я не настолько еще очерствела душой, чтобы остаться равнодушной к твоему рассказу. Мне подума-

лось, что вот есть еще одно одинокое сердце. Спросить бы у него совета — как жить?

Сейчас далеко за полночь. Все спят. Вокруг темно. Только в моей комнате горит свет. Пишу тебе из одного чудесного места, именуемого Пицунда. Здесь курорт.

Такое замечательное разнообразие природы я вижу впервые: море с просторными пляжами, величавые сосны, пальмы и кипарисы, вдали горы, покрытые снегом. Я приехала сюда по совету одного хорошего знакомого родителей мужа — он организовал мне вызов. Меня приняли на строительство пансионата газозлектросварщицей: я уже квалифицированный сварщик. На первых порах меня поселили здесь, на туристической базе, дали крохотный деревянный домик, точно теремок.

Не знаю, надолго ли удержат меня море и солнце, но пока хочу здесь пожить. Впрочем, все равно, где жить, когда ты одна. И от этого никуда не уйти...

Твоя Лючия».

Глава 2

Да, с этого письма все и началось...

Мой герой Феликс Кент вел в то время мучительную для себя борьбу с человеком, считавшим себя его воспитателем. Этот воспитатель в течение нескольких лет стремился доказать Кенту справедливость того, что он, Кент, находится в неволе.

— Что тебя посадили, — объяснял он Кенту, — не исправляет тобою содеянного. Общество изолировало тебя не только для наказания, а чтоб впредь оградить себя от твоих возможных деяний. Для тебя это, конечно, зло со стороны общества, но для общества... добро!

Кенту, наверное, не было еще и тридцати, воспитателю Плюшкину — пот пятьдесят. Он беседовал с Кентом, ссылаясь на разных философов, которых он будто бы изучал. Кент опровергал его, ссылаясь на собственную философию, по которой выходило, что нет учения, пригодного для всех. А от факт, что он, Кент, сидит, зависит просто от феноменального невезения.

Плюшкин, возможно, и в самом деле понимал жизнь

несколько односторонние, потому что ему, не исключено, так же не повезло в жизни: в отличие от Кента, который повидал жизнь широко хотя бы географически, Плошкин последние двадцать лет провел в тайге, убеждая кентов и ландышей в справедливости сказанного: «Кто не работает, тот не ест». Кент, конечно, работал — куда деваться! — относительно же еды...

В колонии особого режима у него был друг по кличке Ландыш, неизвестно за что пользовавшийся здесь всеобщим уважением.

От кого и как Кент получил адрес Лючия, он уже не помнил.

Ландыш, прочитав ее письмо, коротко проанализировал содержащуюся в нем информацию:

— Сроду не слыхивал, чтоб тюремная бандерша вдруг училась на каком-то там факультете... Башковитая баба!

Ландыш рекомендовал Кенту обратить внимание на тот факт, что девочка «одна... и от этого никуда не уйти», очевидно, потому, что нет поблизости родственной души; а какова конструктивная сторона письма: начинается с «Вь», кончается на «ты», причем самое восхитительное в нем подпись: «твоя Лючия...»

С тех пор Кенту по ночам снилась златокудрая, зеленоглазая, изящная богиня со сварочным аппаратом в беленьких ручках — символ трудовой познания.

«Что ж, моя, так моя», — решил он не без удовольствия, думая о ней днем и ночью: ведь легче жить, когда есть о ком думать, а насчет ее судьбы Ландыш верно сказал: трагическая судьба, но выдержала, не сдалась, вкальвает на сварке, тоскует... Прекрасно, черт возьми! Нет уж, извините, но ждать некогда ни ему, ни ей, и никто не виноват, что «любовь нагрянет, когда ее совсем не ждешь!..»

Для того чтобы осуществить план побега, Кенту необходимо было раздобыть стамеску. Ее можно достать в инструменталке кирпичного завода. Раньше инструментальщиком был Ландыш, но он ушел в побег, а на его место поставили московского спекулянта Ивана Ивановича Шахер-Махера. Ландышу уйти не удалось — его поймали, и теперь он сидел в изоляторе, ожидая суда. Отправился Кент к новому инструментальщику красть стамеску. «Жаль, — подумал он, — что не удалось Ландышу уйти...»

Ландышу было лет сорок пять, из них половину он провел в

Карелии, в Магаданской области, на Печоре, в Якутии, на Чукотке, на Дальнем Востоке, в Сибири — вернее, его по этим краям провозили. Однажды он решил, что с него хватит, и «завязал». Ну и нажил себе врагов — защищаясь как-то, одного из них убил. Шесть лет скрывался, жил по чужим документам, женился, трудился механиком на целине (там и сын родился), был награжден медалью за освоение залежных земель. Нелегко было ему вести честный образ жизни в ожидании дня своего ареста!.. Наконец, устав, пошел с повинной. Ландыша судили и оправдали: действия его признали правомерными. Вернулся, но на работу теперь не принимали, а жена за это время ушла к другому. И Ландыш опять живет старой жизнью, не слишком доверяя судьбе. Да, жаль, что не удалось ему уйти с концами. А ведь сроку у него не дай бог!..

Две недели нервотрепки стоила Кенту стамеска, которую он с большим трудом, путем сложных маневров доставил к себе в барак, спрятал в соломе своего матраца и стал дожидаться случая, чтобы пустить ее в дело. Ему предстояло пробить стену барака.

И вдруг ни с того ни с сего заболел у Кента живот, и даже фельдшеру с ветеринарным образованием стало ясно, что это приступ аппендицита. Из близлежащей больницы прислали машину, и Кент поехал лечиться, а его матрац сдали на склад, с тем чтобы выдать первому нуждающемуся..

В больнице обнаружилось, что человеческий аппендикс значительно отличается от аппендикса барана, что у Кента попросту несварение желудка из-за отсутствия кислотности и недоброкачественной пищи, ему сделали клизму, привезли обратно в барак и выдали новый матрац. А обладатель его старого матраца в это время уже сидел в карцере из-за стамески, которую обнаружили во время обыска. Кенту же пришлось начинать все сначала.

В результате администрация еще раз сменила инструментальщика из-за пропажи стамески, которая перекочевала в новый матрац Кента.

Наконец настал день, когда его мероприятие завершилось благополучнейшим образом. Я сказал «день», хотя произошло это ночью...

Глава 3

Тот, кто отважится пуститься в путь по осенней тайге, избавлен от гнуса и изнурительной жары. Зато он окажется жертвой мерзкой погоды, когда от сырости болят кости.

Кент шел третий день, а дождь, не переставая, лил уже целую неделю. То хлестал ливень, то мягкий бисер висел в воздухе, и обсушиться не было никакой возможности: костер разжигать было некогда и опасно, ну а где еще обсохнешь в этой пестрой, разноцветной, холодной промозглости?..

Днем он шел лесом и, несмотря на холод, сырость, усталость, не мог не поражаться красоте, которую топтал рваными ботинками. Шелестящий золотисто-красных расцветок ковер из опавших листьев очаровывал фантастичностью узоров. Случалось, солнце отыщет с трудом небольшую расщелину в толстом слое облаков — и капли дождя заблестят, заискрятся на ветках и листьях, все засверкает, все радуется этим лучам, и ощущение какой-то торжественности наполняет душу усталого от бессонницы и голода человека, подбадривает его. Кажется, что сама природа сжалилась над одиноким бродягой и дала ему испытать для укрепления сил животворную радость...

Ночью шел по дороге. Шел быстро. Спаситься можно было только за счет скорости. Но он очень устал, то и дело на ходу засыпал и просыпался, оказавшись в дорожном кювете. Чтобы не уснуть на ходу, развлекал себя думами о будущем, мечтал о счастливом случае. Кому-кому, а ему он был необходим как никому другому. Но от случая зависело теперь неизмеримо меньше, чем от его собственной выносливости и сообразительности.

На четвертый день утром, едва начался рассвет, — в мокрой от дождя тайге об этом можно было догадаться довольно поздно, — когда стала видна дорога под ногами и Кент уже собирался свернуть с нее, он вдруг увидел провода и удивился, что ночью, попадая в кюветы, ни разу не стукнулся о телеграфные столбы. Проводам он сильно обрадовался. Нечасто можно здесь встретить дороги с телеграфными столбами, обозначающими, что дорога не простая, а нечто похожее на магистраль, связывающую какие-нибудь далекие населенные пункты.

Была не была! Он решил идти дальше по магистрали. Здесь

черный расчет: засады оперативных постов, если на этом пути они и расположились, не были особенно опасными — они отлично знали, что люди типа Кента не ходят открыто по дорогам, а стремятся идти в глуши, по звериным тропам. Стало быть, если эти посты где-то здесь и были, то они наверняка мирно спали в этот час в шалашах. Надо быть сумасшедшим, чтобы заниматься чем-нибудь другим в такую погоду. Три стальные нити — провода — плакали крупными слезами, а он им радовался: они указывали направление дороги, которую он приблизительно знал. Это означало, что был он на верном пути, не заблудился, а ведь так легко заблудиться в такую погоду, когда нет солнца и ориентироваться в тайге трудно!..

Вдруг... Что это? Еще не понимая причины, он насторожился и, сделав несколько шагов, увидел машину с фургоном. Она стояла метрах в трехстах. Около нее — люди в зеленых плащах с капюшонами, натянутыми на фуражки. Его также заметили. Капюшоны (их, кажется, было четверо) сразу все на него уставились. Кент стоял, готовый к прыжку, чтобы исчезнуть в тайге. Это длилось несколько секунд. Один из капюшонов у машины, махнув призывно рукой, крикнул:

— Эй! Брат, иди сюда!..

«Нашли дурака... Тоже мне «брат» отыскался»... Кент прыгнул через кювет и бросился в тайгу. Тут же раздался выстрел. Кент бежал и машинально думал о том, что карась существует затем, чтобы щука не дремала. Она и не дремлет... Он не сомневался, что люди у машины погнались за ним.

Было необходимо перемахнуть дорогу. Он не рассчитал, когда прыгнул с нее, — прыгнул в сторону, где через два-три километра неминуемо оказался бы в ловушке, — его поймала бы холодная болотистая река, как рыбу в сеть. Но перебежать дорогу теперь было опасно: на земляном накате непременно отпечатались бы следы его ботинок.

Он бежал не быстро, осторожно — скорость сейчас была плохой помощницей: нужно было двигаться бесшумно, надеясь на удачу. Хоть бы какая-нибудь лазейка! Но дорога шла ровно, не нарушаемая никакими пересекающими ее следами, гладкая, словно выглаженная. Будь она проклята! Если вызовут «капюшоны» собаку... Правда, дождь... Но эти звери, он знал, по свежему следу и в дождь найдут!

А дождь, как нарочно, едва моросил. Пробежав еще с

километр вдоль дороги, Кент наткнулся на трубу сантиметров шестидесяти в диаметре, проложенную под дорогой. Труба, отводившая воду, была единственной возможностью пересечь дорогу, не оставляя следов. Она была почти наполнена водой, только несколько сантиметров отделяли поверхность воды от верхней стенки трубы.

Раздумывать было некогда. Он лег в воду и, повернувшись на спину, носом кверху, отталкиваясь ногами, влез в трубу. Довольно легко он прошлы четыре-пять метров под дорогой и от страха быть пойманным не почувствовал даже холода. Да и после, когда снова бежал со всей доступной ему скоростью, не чувствовал холода. И только часа через полтора, когда совершенно обессиленный лежал в кустах, начал дрожать не от одного возбуждения, но и от пронизывающего до костей холода. В лесу стало темнее, мрачнее, моросивший до этого дождь сменился ливнем, обрушившимся на тайгу со спасительной для Кента силой. Можно было не спеша продолжать путь, и не было нужды выжимать одежду.

Ливень кончился. Все это время Кент думал о спичках, завернутых в восковую бумагу, обмазанную колесной мазью, а затем в лоскут брезента, — выдержали ли испытание? Они выдержали. Облюбовав в густой еловой чаще небольшую поляночку, Кент разжег из сухого мха и веток, собранных под деревьями, небольшой костерчик у гнилого, мохом обросшего пня. Костер жизнерадостно затрещал. Подбросил веток покрупнее — повалил дым, серый, как ненастье вокруг. Мало-помалу стало тепло. Пень от огня подсох, на него можно было сесть.

Что такое?! Опять что-то насторожило Кента. Шорох... как будто кто-то крадется. Опять услышал. Поднял голову — шорох прекратился. Значит, он виден тому, кто крадется. Что делать? Может, он уже взял на мушку? Бросил в костер сырую еловую ветку, поднялся густой столб дыма. Пригибаясь как можно ниже, бесшумно двинулся в кусты, отошел шагов десять и опять услышал шорох — треснула ветка. Остановился, шорох прекратился, пошел — возобновился.

Увидев в траве сук причудливой формы, блестящий, почерневший от времени и дождя, поднял его и двинулся вперед. И тут же услышал шорох листьев. Поднял сук, крикнул:

— А ну, выходи! Стрелять буду!..

В ответ — тишина. Двинулся дальше — тишина. Пошел

быстрее — тишина. То-то! В таком мраке и сук оружие...

Кто бы это мог быть? Кто бы это мог околачиваться здесь в такую погоду, в такое время и в... такой глупи?

Надо идти, на ночлег рано еще. Только когда совсем стемнеет, можно будет часок-другой передохнуть где-нибудь под кустами у едва тлеющего огня, а потом опять постараться отыскать дорогу. Как бы она опасна ни была — она служит верным ориентиром.

Он шел, ориентируясь теперь на ветер. Утром ветер в лицо дул. Теперь Кент старался тоже держаться против ветра и чуть-чуть левее, чтобы приблизиться к дороге, которая, может, и делает какие-либо зигзаги, но насовсем все равно не спрячется. Ветер, юго-западный, ударившись о горы, обычно поворачивает здесь на северо-восток и долго держится в этом направлении. С этим надо считаться, когда нет другой возможности ориентироваться.

Недолго удалось ему продолжать путь — стемнело довольно быстро. До дороги он так и не добрался. Отыскал густую молодую ель, раздвинул спускавшиеся до земли ветки, укрепил их в этом положении — образовалось укрытие от ветра и дождя, защищенное и с боков, и сверху ветками, на которые набросал мох. Вскоре затрепал маленький костер, стало почти уютно. Можно ли спать здесь? Конечно нет. Но расслабиться, подремать — можно при условии, что бодрствуют уши. Да ведь и трудно, невозможно спать, когда мысли о будущем перешлетаются с впечатлениями дня, картинами погони, когда задаешь себе в сотый раз один и тот же вопрос: что будет дальше?

И все-таки он заснул и видел во сне Ландыша, тонкое, нервное лицо с насмешливым выражением, живые серые глаза. Ландыш тощ, сутул, бледен, но не от чахотки — он наркоман, морфинист. Ландыш личность замкнутая, раздражительная, мучимая ночными кошмарами, — снится ему все время один и тот же сон: какой-то мертвый ребенок. За пять лет знакомства Кент не видел от него никаких подлюстей. Некоторые знали Ландыша и дольше, но и они не могли сказать что-либо худое о нем.

Глава 4

Утром начался сильный ветер. Тучи поредели, наконец-то через них пробилось солнце. Кент был голоден. Нашел дикую смородину, но от нее голод ощущался еще сильнее. Ночь, проведенная под елью, не дала отдыха, тело оцепенело от холодной сырости, и даже быстрая ходьба не скоро помогла согреться.

Тайга переливалась пестрым золотом, и как было бы здорово идти в этой радости, если бы сухая одежда, если бы еда!..

Примерно к полудню он набрел на почти разрушенный деревянный настил одной из дорог, которые строились и строятся поныне в этих болотистых лесах. По ним из районов лесоразработок тяжелые лесовозы вывозят миллионы кубометров древесины, оставляя на месте лесов огромные пустоши. По мере исчезновения леса эти пустоши окружают одинокие поселки, какие обычно вырастали здесь и вырастают поныне вокруг колоний, население которых работает в этих лесах.

Состояние дороги говорило о том, что ею давно не пользовались: настил из бревен давно не ремонтировался. Кент пошел по этой дороге и вскоре заметил первые серые бревенчатые строения старого поселка. Понаблюдав за ним, пришел к выводу, что поселок пуст: нигде не было видно признаков жизни — ни дымка из трубы, ни звука. В поселке царил тишина, нарушаемая только посвистом ветра.

Странно и непривычно было ходить по вымершему поселку, смотреть на когда-то жилые дома с заросшими крапивою дворами и огородами; проходить мимо строений, в которых помещались, возможно, не более как год тому назад административные учреждения. Вот дом с забитыми окнами, над дверью прибита доска: «Продмаг». А вот здание, где помещались почта и сберкасса, — так написано на доске у сорванной с петель двери. А вот... — сердце даже сильнее забилося — открывается вид на незабываемое несложное архитектурное сооружение: четырехметровой высоты частокол из круглых остроконечных нетолстых бревен — забор покинутой колонии, по углам вышки, ржавое, рваное проволочное ограждение. А вот и цепи, к которым привязывали собак, и, наконец, «вахта» рядом с двустворчатыми высокими воротами...

Мертвая колония!

А может, не мертвая?

Сердце забилося еще сильнее: а вдруг эта пустота и тишина обманчивы? Да мало ли что может быть «вдруг»!

Разумом он понимал, что перед ним пустая колония.

И все же дверцу в проходную он открыл робко, настороженно. Дверь страшно и жалобно заскрежетала, словно зарычала уставшая от бессильной злобы собака, но отворилась. Он вошел в проходную, налево — дверь в вахтенное помещение и решетчатое окно дежурного. Такое же окно расположено справа — из него видны ворота. Открыл вторую дверь с массивным засовом и вошел на территорию колонии.

Перед ним бараки, он — в «зоне».

Много повидали эти бараки человеческих трагедий!.. В них были собраны люди со всех концов огромной страны. Здесь были люди с душами, озлобленными на жизнь, жестокие, коварные, бесчестные, чье ремесло — зло; здесь были и жертвы этих людей — обманутые ими, втянутые в гнусные деяния хитростью и людской слабостью. Здесь были и жертвы слепого случая. Здесь были все пороки, известные в мире, бесчеловечность вместе с жестокостью. Эти стены слышали проклятия в адрес всех и вся — жен, судьбы, человечества...

Жуткое ощущение: казалось, вот-вот появятся из бараков, изрыгая сквернословия, их обитатели или откроется калитка «вахты» и войдут надзиратели во главе с Плюшкиным, который обрадованно закричит: «Вот ты и вернулся, блгдный сын! Только смерть нас разлучит»...

Никто не появился, где-то лишь ветер хлопал открытой дверью. Где-то что-то звенело, дребезжало. Кент зашел в барак. Он пуст, не только нет людей, нет и нар, столов и прочего жалкого скарба. Все перевезено на новое место, где еще шумят дремучие леса, в которых, ни о чем не подозревая, бегают зверье, щебечут птицы.

Кент подошел к вышке — к угловой, где штрафной изолятор. Последний теперь открыт, нет даже замков, лишь решетки на окнах оставлены и — ах вы, милые! — в камерах все еще стоят параша, эти вопочие свидетели порочной жизни, молчаливые слушатели блатного фольклора, порою столь же пахучего, как они сами.

Посмотрел на вышку, где когда-то, возможно, не так уж

давно, мерзли на ветру часовые, считающие дни, оставшиеся до конца службы, вынужденные слушать в свой адрес площадную брань от населяющих зону. Попробовал бы тогда кто-нибудь пролезть через заграждение из колючей проволоки на вспаханную, теперь заросшую травой полосу «запретки»: пулю бы получил!..

Теперь Кент смело пролез через проволоку, вступил в «запретку», подошел к забору и, вспоминая, как это уже было однажды (когда каждое неосторожное движение стоило жизни), поднялся по забору и взобрался на вышку. Никого, здесь он один. Как хорошо!..

Бросив последний взгляд на эту безрадостную цитадель, он спустился с вышки по скользким от сырости ступенькам. Оказался он на задней стороне зоны и решил обойти безлюдное поселение — проверить, не осталось ли кого-нибудь из прежних поселенцев. Это, правда, казалось маловероятным. Ему было известно, что и не из таких глухих поселков уходило население: в этом краю все больше и больше пустели деревни, потому что жизненные центры и дороги были расположены от них далеко и люди оставляли дома, покидали целые деревни, уходя ближе к жизни, — туда, где она проявляла себя в виде ли большой стройки, железнодорожной магистрали или организованного сельского хозяйства. Пустые деревни в тайге можно было встретить часто. Кент видел их сам.

Вернувшись в поселок, где он намеревался отыскать укромное местечко, развести огонь и отдохнуть, Кент отправился на розыск так называемой промзоны — места, где арестанты в бытность здесь колонии трудились на токарных станках, ремонтировали технику — тягачи, бульдозеры, автомашины.

В «промзоне» легче всего можно было найти горючее — в крайнем случае пропитанные маслом или бензином тряпки, весьма подходящие для разжигания костра. Ну, а в дровах здесь нехватки не было.

«Промзону» он скоро нашел. Так же, как и жилила, она была окружена забором и вышками. На ее территории тут и там валялся грудями ржавеющий металлолом — старые моторы, останки тракторов, прицепов и прочее. В одном из гаражей нашел даже большую железную банку с бензином, а в углу гаража железную печь — скажи, какая роскошь! С грустью подумал о том, что нечего, с сожалением, сварить.

Запасшись дровами, затопил печь в гараже, не боясь привлечь кого-нибудь дымом. Черта лысого сюда заманишь, здесь даже охотнику делать нечего — леса-то настоящего нет, а зверье давно и далеко разбежалось, испуганное шумом электропил, треском падающих деревьев, рокотом моторов да воюю выхлопных газов. Здесь все мертво — и бывшая колония, и жалкий, оцепянный лес кругом...

Он вскипятил в найденной консервной банке воду, выпил ее, согрелся, затем устроил у печи из мокрых досок лежанку. Когда она достаточно подсохла, улегся. Ах, как приятно лежать у потрескивавшей и шипевшей печи, как приятно оплутить после многих дней скитания в тайге крышу над головой! Он лежал и думал о хлебе, о лагерном поваре...

Затем стал думать о Люции, достал свернутое в трубочку ее самое последнее письмо и стал перечитывать, смакуя каждое слово, каждую фразу. Чем не питание, способное придать энергии, сил, бодрости!..

«Дорогой Феликс! — зазвучал призывно в ушах Кента ласковый голос Люции. — Сегодня день был исключительно жаркий — температура воды двадцать градусов. В садах созревают фрукты и белеют шикарные хризантемы. Сейчас ночь, а вечер я провела в компании из двадцати человек грузин, единственной русской была я. Отмечали день рождения товарища по работе.

Впервые воочию видела настоящего тамаду и обычай грузинского застолья. Тамада произносил много замысловатых тостов, насквозь пропитанных житейской мудростью и, может быть, звучащих еще более торжественно потому, что произносились из-за моего присутствия на русском языке.

Удивительно! На столе не было ни водки, ни чачи, ни коньяка. Пили домашнее вино и шампанское. Все были в ударе, но ни один не был пьян в стельку. Вот этому надо бы поучиться нам, русским!

Правда, были, на наш взгляд, и дикости. Например, женщины сидели отдельно от своих мужей, ни один из них не ухаживал за своей женой, на женщин вообще не обращали внимания. Танцевали тоже без женщин. Исключением являлась я.

Чтобы ты понял, почему без всякого повода пишу тебе это письмо, придется сделать небольшое вступление.

Я очень жалею, что нам, хотя мы с тобой и шли на

«параллельных курсах» взбаламученного житейского моря, не пришлось встретиться. Если б это случилось раньше, сегодня не нужно было начинать беседу в таком изысканно-вежливом тоне. Я не солгала, когда говорила о моем олимпийском терпении, но сейчас, размышляя о событии, произошедшем два дня назад, не вижу другого человека, с которым могла бы говорить об этом. Даже необязательно, чтобы этот человек выражал одобрение или осуждение. — просто мне нужно сейчас с кем-то поговорить по-дружески...

Послушай! Отвлекись немного от окружающей суеты, сядь поудобнее, прочти мое письмо и ответь, как бы ты поступил на моем месте.

Я тебе писала, что меня поселили на бывшей туристической базе. Года три назад эта база соответствовала своему назначению. Теперь же в хилых, облезлых домиках, давно не видавших ремонта, проживают приехавшие на строительство курорта жители с гор и случайные люди.

По соседству со мной, в таком же курятнике, живет русская женщина Анна с одиннадцатилетней дочерью от какого-то грузина, который, разумеется, обитает невесть где. Живется ей трудно. Работает она уборщицей. Как-то я зашла к ней за чистым ведром, и она встретила меня с истинно русским гостеприимством, сделала вареники, купила чачи (так тут называется самогон), снабдила всякой хозяйственной утварью.

У меня сохранилась бутылочка вина, привезенного с собой, и я решила угостить Анну и Питико — ее девочку. Выпили за дружбу. Питико взобралась ко мне на колени, попросила: «Можно я буду называть вас «ма»?» Я чуть не разревелась, но взяла себя в руки и решила не рассказывать Анне о своем горе — пусть считает меня удачливой женщиной, такой, какой я ей кажусь...

Часов в девять вечера Анна предложила показать мне курорт. Приоделись, навели марафет и чинно, по-семейному, отправились гулять. Вечер был чудный, тихий, теплый.

Со дня приезда я лишь издали видела контуры высотных домов пансионатов. На фоне моря и сосен они казались мне совершенно неуместными здесь. К этому месту подошли бы небольшие коттеджи или же дома, похожие на прибалтийские. Но при вечернем ярком освещении эти высокие корпуса в черной мгле производили сильное впечатление.

Навстречу нам двигалась праздная, нарядная толпа, слышалась музыка, и мне казалось, что я попала на другую планету, где не знают страданий.

Анна, видя меня грустной, — а я всегда грущу, когда другим весело, — вдруг предложила:

— А не попытайся ли нам зайти туда, где играет музыка? Только там... — заколебалась она, — там все очень дорого...

— А что это за место? — спросила я.

— Ресторан, еще, говорят, бар...

И вот мы — в огромном зале. Все говорило в нем о том, что простому смертному сидеть здесь не по карману, но отступить было поздно.

Нашелся свободный столик. Вспомнила, как Анна управляла суп луком, поджаренным на постном масле... Захотелось сделать что-нибудь приятное для нее и Питико, как-то отблагодарить за их теплоту. На нашем столике появилась холодная буженина, маринованный лук, холодная рыба, тарелка с тонко нарезанной копченой колбасой, сухое вино и, наконец, поднос с цыплятами, зажаренными на вертеле.

Кутить так кутить! Но Питико беспокойно ерзала в кресле, поглядывая на соседний столик. Оказывается, для ее полного счастья не хватало фисташковых орешков и мороженого!..

Сначала в зале было более или менее тихо. Музыканты исполняли классические вещи, посетители вели неторопливые беседы. Моё внимание привлекли три славных парня: загорелые, в белых рубашках, пиджаки их висели на спинках кресел.

К их столику подошла молодая худощавая женщина в старых выцветших шортах и какой-то неопределенного цвета кофте, попросила у них спички. Я слышала, как она обратилась к ним по-английски (я ведь немного знаю английский и немецкий).

Один из парней небрежно, через стол, швырнул ей коробок спичек, другой поднес зажигалку к самому ее носу, а третий прошелся рукою по ее тощому задку. Они дружно заготовали, а женщина развернулась и закатила нахалу пощечину. Все трое вскочили. Один схватил ее за волосы, другой ударил кулаком в грудь. И никто в зале не встал, никто не заступился.

До сих пор не могу понять, как это я сумела перемахнуть через соседний столик, вырвать женщину из рук этих негодяев и дать одному по морде... Ты бы видел, как он полетел!

Парни опешили, да и все находившиеся в зале с удивлением

смотрели на меня: ведь принято считать, что на подобные поступки способны только мужчины. Подошел милиционер, предложил «пройт» — что другое он мог еще предложить!.. Я была уверена, что мне ничто не грозит, но слово «пройдемте»... Как неприятно было услышать его!..

Как и предвидела, я отделалась легко: мне только внушили, что не следовало затевать драку.

На улице меня ожидала Питико.

— А где мама? — спросила я девочку.

— Мама там... У нее ведь нет денег.

Ах да! Нужно же заплатить. Я кинулась в ресторан. Анна по-прежнему сидела за нашим столиком... в компании этих самых парней. Когда я подошла, все трое вскочили. Один, пострадавший, робко протянул мне руку:

— Товарищ... Вы храбрая женщина! Только не нужно было защищать эту... шлюху!

— Какой бы она ни была, — ответила я, — неужели не стыдно таким сильным молодым людям обижать женщину?

Подошел официант, подал счет. Я расплатилась, и мы ушли.

Все во мне кипело. С горечью, с негодованием я думала о том, что эти юнцы считают, будто им все дозволено. Они чувствуют себя господами, держатся разнузданно, а их «невинные развлечения» сходят им с рук. А я работаю, трудом стараюсь утвердить свое человеческое достоинство в моей новой жизни. Я строю прекрасные пансионаты, настоящие дворцы. У меня война отняла детство, исковеркала жизнь, я не могу спокойно взирать на то, как на моих глазах по-скотски относятся к женщине мальчишки, еще и не нюхавшие жизни!..

Феликс, дорогой, ты, наверное, устал, читая мое письмо, но наберись еще немного терпения. Я сама не знаю, почему рассказываю тебе обо всем этом. Наверно, потому, что очень одинока здесь и мне не с кем поделиться своими мыслями...

По дороге домой Анна мне сказала:

— Сейчас будем проходить мимо концертного зала, там танцы в разгаре... Хочешь, зайдешь?

Я не хотела, да и Питико давно пора было спать.

— Зайди хоть посмотри, — сказала Анна. — Я уложу дочку и приду к тебе.

Все мои колебания улетучились, как только я услышала джазовую музыку и увидела в окно людей.

Я люблю танцевать, знаю толк в танцах, но тут немного растерялась: стою в сторонке, наблюдаю. Вскоре меня пригласил не старый еще мужчина в отлично отупоженном костюме. Танцуя, стал задавать вопросы в духе анкеты следственного отдела. Спросила, не все ли ему равно, с кем танцевать. Ответил: «Профессиональная привычка! Я ведь следователь». Ужас как не люблю мужчин, которые и в постели думают о запчастях для своей машины или, объясняясь в любви, говорят: «На основании вышеизложенного и данного материала...» Я бросила своего кавалера посреди зала и уселась в освободившееся кресло. Он вскоре подошел, сказал: «Вам следует скромнее вести себя. Я знаю, вы приехали сюда работать, надо характер изменить!..»

Сегодня на стройку не пошла, и у меня оказалось много свободного времени. Можно было пойти к морю, погода теплая и вода — тоже, но не хочется. Забралась в свой теремок, закрылась изнутри и вот пишу тебе. На это письмо ушло часа три, и все равно не все высказала — чего-то хочется, что-то мучает...

Анна успокаивает: живи проще, живи в свое удовольствие, ты сильная, красивая — мне бы твою фигуру и твой ум!..

Она меня, конечно, не поймет. Вот почему о всех своих делах рассказываю тебе. Знаешь, я часто ловлю себя на мысли что думаю о тебе...

Сейчас мы строим пансионат «Правда» — для газетчик, журналистов и прочих деятелей печати. Он расположен в самом живописном уголке Пицунды.

Смотрю я на эти сосны, вдыхаю их целебный запах и думаю: Феликса бы сюда, чтоб он надыхался этими запахами, погрузился бы в них своим уставшим телом, забыл бы на время о своей рано поседевшей голове, унес бы на губах радостную улыбку...

Кто-то хорошо сказал, что «все начинается с дороги». Хочется мне знать: когда, куда и к кому приведет тебя дорога оттуда, где ты теперь?..»

Кент усмехнулся, сложил письмо, спрятал за пазухой, задумался. Подбросив в печку топливо, улегся.

— К тебе приведет меня дорога...

Глава 5

Ночь он проспал сравнительно спокойно. Проснувшись довольно поздно, обрадовался, что погода разгулялась: дождь прекратился, ветер утих, светило солнце.

Замерший в тишине поселок с высоким частоколом и вышками в отдалении производил фантастическое впечатление. Казалось, что здесь только что шли колонны арестантов, сопровождаемые конвоем, рычали машины, тарахтели тракторы, сновали по деревянным тротуарам женщины, дети, старики, солдаты, бесконвойные зеки и разные другие люди. И что только что замолк неистовый лай, доносившийся из питомника, который теперь стоял пустой у пустого здания охранного взвода...

Все молчит...

Но утро замечательное — разноцветное благодаря разноцветному лесу и осенним цветам. Земля подсохла. Кент ощущал себя в этом мертвом поселке, словно он каким-то чудом остался среди пустых домов после гигантской катастрофы на земле, в которой погибло все человечество. Идти никуда нет смысла, потому что всюду одно и то же: всюду пустые города и села — жизни нет...

Птицы есть!.. Вот кто живет в этом поселке по-прежнему, не унывая — воробьи. Глядя на них, становилось веселее: снова возникало бодрое мироощущение, сознание того, что жизнь есть, что впереди нескончаемые леса, горы, озера, города, а в них миллионы людей, в них миллионы возможностей, в них песни, кино, театры, вино и женщины. Разве это не жизнь? Вперед!..

Кент шагал по главной улице поселка. Улица долгая — уже с километр тянется, но все еще нет ей конца, все еще по обеим ее сторонам полуразвалившиеся домишки. Уже не видно четырехметрового забора, даже вышек не видно. Что ж, прощайте! Он не испытывал особого удовольствия от их вида — есть зрелища более радостные!.. Конечно, разумом можно понять, что если человечеству нужны законы и правосудие и что справедливость и безопасность предпочтительнее анархии, без этих вышек, пожалуй, пока не обойтись, как врачу не обойтись без инструментов, причиняющих больному боль ради его же выздоровления...

Кент решил извлечь максимальную выгоду из установившейся погоды, то есть постараться идти как можно дольше, возможно, и до города добраться. Подойдя к последним угрюмым домам поселка, он увидел ручеек, а на его берегу — баню. Около бани... курицу!

О господи! Это была самая что ни на есть натуральная курица — белая, средней упитанности. Она разгребала землю, выискивая червей, и сама с собой тихо разговаривала. Сооружение почти у самого ручейка — маленькое, черненькое, с круглой трубой, — конечно же, могло быть только баней. При приближении Кента курица опасливо удалялась, но не слишком быстро. Удивительная вещь жизнь! Вчера он о курице и мечтать не мог, сегодня она — реальная еда. Но откуда она здесь? Видя, что курица ведет себя спокойно, он присел на бревно, чтобы сообразить: наяву это или он жертва галлюцинации.

«Цьп-цьп», — сказал он в раздумье и повторил: «Цьп-цьп»...

Что это означает на курином языке, ему было неизвестно, но все знают, что к этим пернатым обращаются именно так. Однако курица, недоверчиво выгнув шею, покосилась на него и сказала в ответ лишь: «ко-ко-ко».

Звучало как вопрос, вроде — что тебе надо? Но могло означать и какое-нибудь предложение из трех слов... Понять это было невозможно — здесь его знания куриного языка кончались.

Кент, обеспокоенный появлением курицы, осторожно обошел близстоявшие домишки, затем осмотрел и дома, расположенные подальше. Признаков жизни он нигде не обнаружил. Боясь потерять курицу, вернулся к баньке. Курица оказалась на месте. Кент всячески приманивал курицу, звал, просил, умолял — ничто, увы, не помогало.

Он открыл дверь в баню — в так называемый предбанник, грязная лавка, печь. Если, подумал он, начну ловить эту дурочку на улице, она убежит. Курица подошла к открытой двери предбанника и встала боком, наклонив голову, время от времени произнося все то же: «ко-ко-ко», как будто этим и исчерпывался ее лексикон.

— Входи, — пригласил Кент, — поговорим о жизни.

«Ко-о...»

Не надеясь больше на переговоры мирным путем, он решил

применить хитрость: стрёб песок у печи и, посыпая его в предбаннике, приговаривал: «цып-цып-цып, цы-цы»...

Курица заинтересовалась, подошла ближе к двери. Кент продолжал сыпать. Подошла еще ближе. Проклятье! Песок кончился. Пока нагибался за новой пригоршней, она отошла на прежнюю позицию.

Долго длился этот поединок на сообразительность, и порою казалось, что человек берет верх, но курица не сдавалась и всегда вовремя оказывалась на безопасном расстоянии от пустого желудка Кента.

Он был вне себя. Может, объяснить ей по-человечески, что он уже давно ничего, кроме лесных ягод, не ел, что, не подкрепившись как следует, идти тяжело, что идти далеко и это тем более трудно, что помешать этому найдется кому (желающих много!), а помочь некому — никто не верит, что он, в общем-то, хороший человек, хотя ему и не везет... Так что, моя добрая цыпа, отверни свой грязный зад и давай говорить по-человечески... Гуси, например, спасли Рим, видишь, какие славные птички! Я, конечно, не Рим, но ведь и ты не гусь...

Подлая курица не реагировала ни на какие речи.

Он смотрел на курицу во все глаза и все никак не мог поверить, что она — настоящая. А она, кажется, забыла про Кента, стала опять, царапая землю под ногами, приближаться к бане. Когда же повернулась на мгновение задом к бане, Кент осторожно открыл дверь и приготовил несколько пригоршней земли покрупнее. Ну вот, она вкоччет уже у открытой двери. Кент сыплет «зерно». Вскочила! Стоит у порога, смотрит.

«Ко-ко? — идет сторожко, один шагжок. — Ко-ко?» — еще несколько шагжков, еще...

— Ура! — дверь закрыта. Кент готов кричать от радости.

Курица поздно поняла свою оплошность.

— Ну что, куриная морда, попалась?

И тогда, подгоняемая страхом, с жутким, каким-то даже не куриным криком она ринулась в окно, вышибла его прогнившие рамы — «ко-ко-ко-о!» — улетела. Больше Кент не видел ее...

Он вышел из поселка и продолжал путь по такой же разбитой дороге, по какой и пришел в него. Шел спокойно, бояться было нечего. Он радовался хорошей погоде и даже дороге, хотя она и была основательно повреждена, — можно было смело сказать, что ею не пользовались лет пять по меньшей мере.

Чем дальше он шел, тем хуже становилась дорога, а вскоре она и вовсе затерялась в кустах и траве. Лишь изредка встречались отдельные бревна, шпалы, но потом и они пропали.

Нет так нет!.. Кент продолжал шагать, придерживаясь того направления, какое избрал раньше. Через некоторое время ему повезло — нашел небольшое озеро, к которому легко было подойти. Можно было предполагать о существовании в нем какой-нибудь беспечной рыбы. И не ошибся. Он поймал осеннюю жирную муху, насадил на крючок (кто собирается в путешествие по тайге, должен иметь крючок), и вскоре бечевка, привязанная к осиновой ветке, затрепетала, как и его сердце. Он поймал еще много мух и пару мелких рыбешек, родословной которых, к сожалению, не знал, во всяком случае, они не были из семейства осетровых. Но какое это блаженство: поймать их тому, кто подыхает с голода!.. И что за божественный запах, когда они, бедненькие, слегка шипят на чуть тлеющих углях!

После такого королевского обеда можно и вздремнуть на куче сухого хвороста, но недолго — надо идти, пока светло.

Где-то высоко в небе раздался шум. Самолет. Он не виден. Это мог быть пассажирский лайнер, совершающий такой сравнительно небольшой перелет, как Владивосток — Москва. Интересно, за сколько он доберется? Часов за семь или восемь? Каких-нибудь девять тысяч километров... И несет он человек сто с гаком пассажиров... Эге! Сейчас бы сидеть среди них, вздремнуть, или журналчик полистать, или с птичкой какой-нибудь — кто знает! — поболтать о жизни. А тут скоро стемнеет — своего носа не увидишь, холод проникнет. Иди тут или отдыхай — все одно паршиво, хуже некуда...

И что гонит человека? Как ни говори, а куском хлеба, теплом и определенностью был обеспечен он там, откуда ушел. Кто же его гонит в эту жуть, не снабдив даже кусочком хлеба, — одной только надеждой на удачу? Кто, что?

«Кто» и «что» — в этом не так уж трудно разобраться. Тем более когда где-то далеко-далеко маячит пленительный образ Люции. Только тот образ не дает сам по себе ответа на более щекотливый вопрос: что дальше? К Люции? Да. Но она ли конечная цель? На этот счет нельзя сказать ни «да» ни «нет», на это только жизнь даст ответ.

Он один, ему не за кого отвечать. Даже собаки у него нет, и потому-то его никто и ничто не привязывает.

Что же касается Люции, он шел к ней от одного, считай, полюса до другого, а точнее — от северных сибирских сосен к реликтовым южным. Но, положа руку на сердце, одна ли Люция всему виною? Нет! Кент еще достаточно молод, чтобы стремиться к приключениям во имя самих приключений. Они могут быть и трудными, и голодными, вот как сейчас, в тайге, но в них кроется прекрасная цена риска, обещающая радость за победу — Люция! Потому вперед, без страха и сомнений! Вперед через топи и болота, сквозь таежные дебри — к Люции! Может, она и есть удача, может, с ней все пойдет по-другому — повезет!..

А идти стало труднее. Кент несколько часов брел в крошечной тьме. Погода опять испортилась, опять заморосил нудный дождь, опять можно было ориентироваться только по направлению ветра. Идти приходилось медленно, спотыкаясь о сучья, корни, камни. Идти надо было только потому, что отдых в этой мокроте был просто невозможен.

Так он брел довольно долго, пока вдруг не обнаружил под ногами опять шпалы и обломки деревянного настила. О боже! Как он обрадовался! Значит, снова набрел на эту оборвавшуюся где-то с десятков километров назад дорогу.

Конечно, лежневка — не асфальт, но он мог двигаться теперь смелее, не задумываясь о направлении. Эх, добраться бы скорее до города, там встретит друг Ландыша, там можно помыться, побриться, переодеться. Достанут билет на самолет, прыжок — и он в Горьком. А из Горького добраться до Пицунды может и младенец. И воображение уже рисовало ему уютную кабину в пассажирском воздушном лайнере. Вперед, к Люции! К златокудрой богине, газосварки, дочери морского царя и грозе курортных хулиганов!

Он не мог бы сказать, сколько в общей сложности прошел в эту ночь. Чем дальше он шел, тем дорога становилась лучше, прочнее, пока, наконец, Кент не заметил, что тайга поредела, и он вдруг не увидел впереди темные контуры строений. Сомнения не было — дорога привела его в какой-то населенный пункт. Только почему он не освещен?

Кент остановился, прислушался — не слышно ли ритмичного шума двигателя, дававшего в этих лесных местах электроэнергию, всматривался в темноту — не мелькнет ли где-нибудь огонь. Нет, ни шума мотора, ни света. Последнее обстоятель-

ство успокоило: значит, не колония. Если колония, освещение ее заборов прожекторами видно за несколько километров.

Он прошел осторожно мимо первых домов, чтоб не разбудить собак, которые здесь могли быть в каждом доме. И никак не мог решить, что предпринять — либо попробовать где-нибудь спрятаться, чтоб отдохнуть до утра, либо же тихо и бесшумно пройти это поселение и продолжить путь.

Так, размышляя, двигаясь осторожно вперед, он наткнулся на темный забор... Что за чертовщина?! Прошел вдоль забора и нашел проход на какую-то территорию. Ужасное подозрение закралось в душу — он решительно зашагал к постройкам. Так и есть! Легко нашел знакомый гараж: здесь он недавно ночевал. Вот остатки дров, вот и лежанка. Итак, он пришел обратно в этот вымерший поселок! Проклятая курица! Ведьма пернатая! Это ее лап дело, не иначе.

Что оставалось делать? Предаваться отчаянию? Тайга, как и жизнь, обманчива. Чтобы не дать себя им провести, надо их хорошо знать. Вот так-то... Кент разжег огонь в печи, лег на свою лежанку и уснул. Во сне его не мучили кошмары. Они терпеливо дожидались его пробуждения на следующее ненастное утро.

Глава 6

Они расположились вокруг его ложа и негромко переговаривались. Сначала он думал, что это сон, шорох ветра в печной трубе. Протерев глаза, он увидел людей, сидящих кто на корточках, кто на рюкзаке вокруг него. Он снова закрыл глаза, чтоб проснуться еще раз и уже без этих людей.

Бог свидетель — ему приходилось видеть всякие рожи, способные нагнать страху на самого черта. Видел он убийц с физиономиями святых и, наоборот, святых с физиономиями убийц. Эти же... лица — нет, они не были безобразными, к тому же одно из них принадлежало женщине, но тем не менее они были ужасны. Все четверо были одеты в брезентовые куртки с капюшонами, обуты в резиновые сапоги. На широких ремнях, надетых поверх курток, висели длинные ножи и топоры. Ружей он не видел: значит, не охотники.

Их лица, бритые, не старые, были холодными, жестокими. В глазах словно не было жизни — пустые, равнодушные. На Кента они смотрели, как на неизвестное насекомое, но без всякого удивления.

Один из них, с самой безжалостной физиономией, с острыми скулами, обтянутыми желтой кожей, длинным тонким носом с неестественно широкими ноздрями, обнажив длинные прокуренные зубы, спросил Кента коротко, без всяких интонаций, словно робот:

— Как ты сюда попал?

— Ну и рожа! — таким же бесцветным голосом определил другой внешность Кента.

Средних лет женщина и третий мужчина с серым квадратным лицом молчали.

Кент приподнялся было, но тот, который первым заговорил с ним, толкнул его небрежно рукой в грудь, и он повалился обратно на лежанку.

— Что вам надо?! — Кент попробовал держаться независимо.

— Как ты сюда попал?

— Действительно уродина, — сказал человек с квадратным лицом.

Женщина молча смотрела на Кента, покручивая пальцами длинную прядь черных волос.

Что и говорить, по сравнению с ними Кент действительно выглядел бродягой: давно небритый, немутый, оборванный, мокрый.

Один из них, всех моложе, с лицом, похожим на мордочку хорька, вытащил нож и, расстегнув телогрейку Кента, обыскал его.

— Как ты сюда попал? — по-прежнему безразлично в третий раз спросил первый, судя по всему, главарь.

— Пришел, — сказал Кент, — ногами.

— С какой стороны?

— С этой. — Кент показал рукою примерно в ту сторону, откуда пришел.

— Куда идешь? — последовал новый вопрос.

— Желательно в город, — сказал Кент.

— Бежал?

— Бежал.

- В какую сторону пойдешь, чтобы попасть в город?
- В противоположную той, откуда пришел, — ответил Кент.
- Ты сумеешь найти город?
- Надо идти к горам, потом левее...
- Ты пойдешь с нами, — сказал главарь. — И не пытайся

удрать. Вставай!

В его тоне не слышалось угрозы, которая заключалась в словах.

Все они закурили сигареты, но Кенту не предложили. И никто не поинтересовался, хочет ли он есть. Он не сомневался, что в их туто набитых тяжелых рюкзаках нашлось бы чем подкрепиться! Ему на плечи взвалили мешок женщины, словно он выючный мул и специально для того и бежал, чтобы теперь таскать для них тяжести. Не имело смысла спрашивать, кто они, откуда, — ответа он все равно не получил бы. Он боялся их — непонятные, страшные люди... Бандиты, диверсанты?..

Кент сообразил, что не следует говорить им о своем блуждании по тайге, что он вторично забрел в этот поселок. Он попросил чего-нибудь пожевать, намекая на то, что мешок женщины довольно увесистый. Ему сказали, что есть не дадут, потому что, во-первых, он еду не заработал, а во-вторых, сейчас некогда этим заниматься — начался день, нужно идти.

— Пошли, пошли! — крикнул главарь, и они потянулись гуськом по улице поселка, направляясь к уже известной Кенту бане у ручейка, чтобы, перейдя его, углубиться в тайгу, направляясь к горам, которые в тот день не были видны из-за непогоды.

Судя по тому, что Кента поставили вперед, эти люди плохо ориентировались в тайге и надеялись, что он дорогу знает. «Значит, если случайно я найду правильную дорогу к городу, — размышлял Кент, — они, узнав о приближении к нему, постараются избавиться от меня!..» Кент понимал, что властей они боялись так же, как и он, хотя не были беглецами. Кто, кто они? Почему с ними женщина? Как они оказались в тайге? Они ни разу не обращались при нем друг к другу по имени... Кент вспомнил шорохи, которые слышал, когда недавно сидел на пне у костра и когда угрожал подобранным суком, как оружием. Возможно, эти чужаки с тех пор и шли за ним?

Кент едва тащился — он вспотел от тяжести мешка. Скоро дошли до места, где дорога терялась в траве. Потом дошли до

озера, где Кент ловил рыбу. Уже в сумерках, когда Кент заметил в траве признаки вновь появившейся дороги, его спутники сделали привал и он мог скинуть проклятый мешок.

Главарь кивнул женщине — она за все это время не проронила ни единого слова, и та развязала мешок, который тащил Кент. Она достала солонину, хлеб и передала главарю, который отрезал своим компаньонам по куску хлеба и мяса, а Кенту дал небольшой сухарь. Все молча занялись едой. Кент подозревал, что и сухарь-то ему дали только потому, чтобы он был в состоянии тащить мешок...

Покончив с едой, главарь достал из мешка коробочку, из коробочки пузырек, из пузырька белые таблетки и протянул всем по одной. Они сунули таблетки под язык. Кент взвалил мешок на спину, занял место во главе отряда и зашагал вдоль еще не замеченной другими старой дороги, которая, в чем можно было не сомневаться, привела всех обратно — в тот же поселок. Кент надеялся, когда совсем стемнеет, бросить мешок и скрыться — ведь не так-то просто найти без собаки в темном лесу человека. Стоит только шагнуть в сторону, не шуметь, и ты уже вне досягаемости. Но случилось не предвиденное им.

Чем дальше они шли, тем быстрее дорога освобождалась от травы и кустов, и ее скоро увидели все.

Главарь сбросил свой рюкзак и крикнул:

— Черт! Куда это мы идем?!

Он ударил Кента ногой пониже мешка, и тот, падая, угодил головой в большой муравейник. Поднявшись, он пробормотал, что дорога, должно быть, правильная...

— Знаю! Мы здесь уже были и знаешь куда пришли? — орал главарь. — Мы сделали круг!

Кент молчал, прикинувшись удивленным.

— Мы пришли туда же, откуда ушли. Ты понял это, ублюдок?

«И ругается-то он как-то... неинтересно, — подумал Кент. — Сразу видно, что они никогда не сидели в тюрьме — богатый тюремный фольклор им незнаком!...»

Он сказал, что не знает, куда они пришли, но ему не поверили.

— Нет смысла искать дорогу ночью, — сказал главарь. — Придется еще раз переночевать здесь. Ублюдка поведем с собой.

— Зачем? — спросил один.

— Зачем? — повторил другой.

Женщина промолчала.

— Встань в середину! — приказал главарь Кенту.

Взвалив послушно на плечи мешок, Кент занял теперь место посередине, и они двинулись к мертвому поселку. Кент — уже в третий раз. Какое невезение!

И как несправедлива к нему жизнь! Разве в тайге места мало?.. Шли бы они своей дорогой, он ведь их не трогал. «Что за люди? — в который раз спрашивал он себя. — Не беглецы — видно же, что колонии они и не нюхали. И женщина с ними... Стремятся в город и... не знают, где он. Что они с ним сделают в поселке, когда придут?..» Присутствие женщины, хотя и не проронившей ни слова, Кента обнадеживало. Правда, и у нее были такие же холодные, безразличные ко всему глаза, но она все же была женщиной. А всем известно, что женщины больше предрасположены к жалости, сочувствию, да, пожалуй, и к справедливости. Может, ее присутствие все-таки как-нибудь смягчающе отразится на его дальнейшей участи, надеялся Кент, хотя не мог уловить в ее глазах ни тени сочувствия. Проклятая ведьма! Могла бы сказать: «Ребята, да отпустите вы его, он же нам ничего не сделал плохого». Куда там!.. Дождешься от нее доброго слова. Не женщина — сфинкс в брезентовых штанах. Сука. Волчица. Людоедка...

Вошли в поселок и направились к пустой колонии. Подошли к «вахте». Главарь открыл калитку и сказал Кенту:

— Проходите, уважаемый. Привычное место, не правда ли? Кент вошел в проходную.

— Дальше! — скомандовали сзади. — На территорию!

Они прошли мимо темных пустых барачков, направляясь к изолятору.

«Похоже, — подумал Кент, — меня ведут в карцер...» Так оно и было — его привели в штрафной изолятор. Но почему именно сюда? Разве им известно назначение этого сооружения?

Вошли в небольшую комнатушку-дежурку.

Все скинули мешки. Кент тоже.

— Пришли, — сказал главарь и приказал: — Закройте дверь!..

Человек с квадратным лицом закрыл дверь и прислонился к ней спиной.

— А теперь рассказывай, — сказал главарь, — откуда бежал,

за что сидел, почему хотел нас надуть? Все говори как надо! — И ударил Кента кулаком в лицо.

Кент отлетел к человеку с квадратным лицом, тот ударом ноги препроводил его к третьему, и этот стукнул его доской по голове. Кент еще раз проделал весь круг, только женщина не принимала участия в его избииении. Она равнодушно наблюдала, сидя на рюкзаке.

— Говори! — крикнул главарь и ударом кулака разбил Кенту губу.

Выплювывая кровь, Кент сказал:

— Вы же не даете... Перестаньте бить меня...

— Ага! Он намерен говорить! — сказал главарь и поднял руку, словно призывая всех к тишине.

Кент был вынужден признаться, что сидел за любовь к чужой собственности. Объяснил, где сидел, как бежал. Почему сюда? Ищет город и сам не знает точно, как его найти. Сказал, что устал, проголодался, а они еще заставили его мешок тащить и избивали неизвестно за что... Если они — люди и у них общие цели, то им совместно и надо искать город; он не может быть далеко...

— Значит, ты все-таки хоть приблизительно знаешь, как идти к городу?.. — сказал главарь и задумался. Потом встрепенулся и спросил: — Тебе деньги нужны? Не будешь вилять, получишь. — Он вытащил из кармана пачку купюр.

Кенту стало смешно.

— Вы мне хлеба пожалели, а теперь, значит, и денег не жалко! — сказал он и тут же спохватился — он выдал свои догадки об их расчете с ним. Это тут же подтвердилось.

— Н-да, — сказал главарь. — Ты не дурак, смотрю. Он правильно рассуждает, — обратился к своим, — доведет нас до города и получит, что ему причитается!

И Кент снова пошел по кругу, пока уже не смог подняться.

— Уберите его! — сказал главарь, видя, что Кент чуть дышит.

Его бросили в одну из камер. Он слышал, как лязгнул засов снаружи. Один — слава богу!.. «Лихо они меня обработали! — думал он с горьким восхищением. — Не расходуя много силы, били легко, играючи, а человек чуть жив... Специалисты!.. А ведь действительно, так бьют профессионалы, хорошо натренированные!..»

Между тем их не было слышно — полная тишина, только

ветер подвывал в разбитое стекло маленького оконца, будто на флейте играл.

Жуть брала от сознания того, что опять оказался в карцере... и посадил не Плюшкин. Умора и только! А ведь Плюшкин его ни разу за их долгую совместную «дружбу» даже пальцем не тронул.

Захотелось помочиться. Слез с нар, по привычке нашел в темноте угол, где, не глядя, знал, стоит парапа, и она там была. Облегчился, добрался до нар и грохнулся. Наступила апатия. Тело била дрожь — и холод, и нервы совместно старались. Послал их обоих подальше, закрыл глаза, замер. Тот, кто родился, должен всегда быть готовым умереть, этого никто не избежал. Как ни странно, уснул и проспал мертвым сном досветла, было ли утро или день — понять не мог.

К своему удивлению, встал довольно легко, бодро... Думал, что после вчерашнего вовсе не сможет пошевелить ни рукою, ни ногою, а если сдвинется с места — отдаст душу черту от боли, потому и не двигался, хотя и почувствовал ближе к утру, что его грызет клоп. Ох, уж эти паразиты! Какая жизнеспособность — столько времени жить без еды!.. И только аппетит нагулял...

Спустившись с нар, Кент не поверил своим глазам: около двери на полу лежало полбуханки черного хлеба, а чуть подальше — вяленая рыбина! Что же это — мучители за ночь подобрали? Неужели в их кирзовых душах появилось какое-то доброе чувство?! А что же крысы — как они проспали такую благодать?

Он поднял драгоценные яства и хотел выйти из камеры, но дверь оказалась запертой. Что за дела!

Постучал кулаком, как обычно, когда в карцере вызывал надзирателя, — ответа никакого. Кент кричал, звал, сколько хватало сил, ответа нет. Неужели бросили... в запертой камере... даже без ножа? Снова начал кричать, и, наверное, жутко раздавался этот крик над пустым поселком, бараками, расходясь и замирая в окружающем кустарнике. Никто и ничто не отвечало, следовательно, хлеб-рыбу они подбросили перед тем, как уйти. Потому, наверно, и рыбу вяленую им не жалко стало — воды-то не было!..

Еще покричал изо всех сил и перестал — не было смысла без толку глотку драть. Разбежавшись, бросился на дверь и, кажется, ключицу сломал — дверь-то железная, он от нее

отскочил, как мяч, и плепнулся о стенку. Такой маневр тоже не имело смысла повторять. Сел на нары и в бессильной злобе начал выкрикивать весь арсенал терминов, которыми в тюрьмах выражают эмоции как положительные, так и отрицательные, и адресовал все это богу, чертям, матерям, бабушкам, шлошкным, пернатым и парнокопытным, и кричал, бесился до полного иступления. Затем, обхватив голову в тупом отчаянии, замер, готовясь ждать своей участи, даже не поев «на дорогу».

Присидел в таком оцепенении недолго — с полчаса, больше его беспокойная натура была не в состоянии выдержать. Вскочил с нар, подошел к двери и начал бить по ней ногами, вкладывая в это всю оставшуюся силу. Вдруг! О, радость! Спустя некоторое время заметил, что щель между дверью и косяком как будто стала шире; это придало силы. Он продолжал бешено бить ногами дверь — пыль столбом. Разбежался, ударил в дверь обеими ногами и упал на пол, больно ушибся. Но дверь... с треском раскрылась. Вот когда время работало на него, то время, в течение которого ржавели шурупы, державшие засов, и гнили обитые железом доски!..

О, теперь уж ему и хлеб и рыба будут очень кстати. Он схватил их и вышел в коридор. В комнате, где его били, никого не было. Открыл дверь на улицу и машинально вскинул глаза на вышку. Сердце обмерло. Нет, это выше его сил: на вышке взад-вперед ходил часовой. Кент прыгнул назад, прикрыл дверь, посмотрел в щелочку. Нет, ему не померещилось: на вышке в зеленом плаще, держа в руках, кажется, автомат, ходил часовой.

Что же это? Не могли же заселить колонию за ночь! Когда часовой повернулся спиной, Кент выскочил из двери и юркнул за угол, где его нельзя было видеть с вышки. Прошел до противоположного конца штрафного изолятора — оттуда открылся вид на другую вышку, там тоже маячила человеческая фигура. Значит, на всех вышках за ночь поставили охрану? Или это снится ему, или он сходит с ума от всего пережитого?

Он лег на живот, сунув хлеб и рыбу за пазуху, и попластунски пополз к воротам по грязи, под моросящим дождем. Кругом не было видно ни одной живой души, но он видел третью вышку, и на ней тоже шевелился человек.

Кент дополз до ворот, отсюда и четвертая вышка была видна,

и на ней также — боже сохрани! — стоял охранник. Кент уткнулся лицом в грязь и беззвучно заплакал. Могло быть только одно: ночью пришли те, кто шел за ним, искал его, оттого и сбежали его ночные мучители. Значит, оставленная ему еда была все-таки чем-то похожим на запоздалое сочувствие или даже раскаяние с их стороны... «Но почему же меня ночью не взяли? Не нашли? Быть не может!»

Он вытянул руку и толкнул дверь в караульную — открылась. Подождал. Никто не вышел. Тогда, улучив момент, вскочил и прыгнул в проходную. Пусто. Никого. Какой-то бред: на вышках часовые, здесь — никого. Открыл калитку, выглянул в поселок — нигде никого. Эх! Была не была! Побежал со всех ног.

Как он бежал! Так скачут козы весной, вырвавшиеся из зимнего хлева впервые на зеленую травку. Остановился, когда опять оказался у бани на берегу ручейка, и опять — силы небесные! — увидел белую курицу на том же месте за тем же занятием. Но ему не до нее было. Передохнув, продолжал идти, направляясь, однако, совсем в новую сторону, не имея ни малейшего понятия, куда доберется, продолжая путь в этом направлении. Все равно куда, лишь бы поскорее и подальше отсюда!..

Глава 7

До сих пор Автор писал, не отрывая карандаша от бумаги, и был собою доволен: водопад приключений обрушился на белые листки бумаги легко и свободно. Но вдруг произошло неуловимое смещение мыслей — и сомнения тут как тут.

Я вынужден был остановиться, чтобы дать себе возможность критически обдумать сделанное, а времени на это не имел, потому что сумел расположить к себе редактора одного издательства и заключить с ним договор на приключенческий роман с любовной интригой, который обязался написать в предельно короткий срок. Разумеется, я не поспешил, определяя объем будущего романа, чтобы оторвать как можно больший аванс. Всем известно, что любые суммы (тем более крупные) легче получать, чем возвращать. Чтобы такой необходимости не

возникло, следовало выполнять договорные обязательства в срок — только и всего. А тут вдруг самокритичные размышления!..

Но раз они возникли, они непреодолимы. В них нужно разобраться. Собственно говоря, случилось то, что можно было предвидеть: я устал от Кента, моего героя. Устал думать о нем и о том, что будет с ним дальше. Ну, убежал, ну, зайвится к Лючии... А что, если эта моя богиня газосварки не поладит с ним? Сама она — личность. Но и Кент тоже личность. Порою побороть самого себя все же легче, чем другого. А в таком случае кто может гарантировать победу Лючии над Кентом? Тогда во имя чего я написал все это?

Да, я устал от Кента. Он выжал из меня все соки еще до того, как закончил свой побег. Кент еще в пути, а мне уже тяжело думать о его будущем. На что он мне сдался, этот паразит? Благодать — писать о героических натурах, с ними, вероятно, не так устаешь. С возвышенными душами можно спокойно идти вместе, шаг за шагом, радуясь их духовной чистоте, восхищаясь ими, их стойкостью, и слишком уж сильно мучиться из-за них не приходится. Если они и страдают в твоём повествовании, так только потому, что они борются со злом, и тебе остается лишь воспроизвести эти их благородные страдания на бумаге как можно впечатляюще...

Кент же не страдает решительно ни от чего, кроме разве от пустого желудка, холода да еще от страха... Я же, Автор, страдаю оттого, что не знаю, как справится с ним моя героиня...

Авторская власть? Не так-то все это просто! Пока героиня не определилась в моем представлении как образ, действительно способный быть для Кента побеждающей силой, ни о какой авторской власти и речи быть не может! И вот пока что Кент изводит меня своим постоянным присутствием: я на прогулку — он за мной, я спать один или с женой — он тут как тут, я в баню — он со мной, я в забегаловку — и он, естественно, тоже. Есть один только способ от него избавиться: залить чем-нибудь мозги.

Пью в одиночестве. Пытаюсь сообразить, пьян я или нет. Кажется, нет. Но интересно, почему будильник стоит ко мне спиной? Будьте любезны повернуться ко мне лицом и доложить, сколько времени. Ах, не хотите? Так вот же вам — летите в угол! А время... Вот оно: наберу по телефону «сто», и вежливый до тошноты голос мне его доложит. Как просто!..

Зазвонил телефон. Кто? Выжидаю. Опять зазвонил, это уже условный звонок: жена. В два часа ночи!

— Ты где? — слышу ее слабенький голос. — Когда ты пришел?

Голос у нее не очень жизнерадостный. Спрашиваю:

— Ты что, Заяц?

— Где ты был? — слышу тихий голос. — Я все хожу по дому, хожу, все думаю, думаю... Тебя нет, и не знаю, где искать...

Докладываю, что со мной все в порядке, что меня искать не надо. Я дома и сажусь сейчас писать о том, что становлюсь Судьбой, чтобы соединять или разъединять людские души. Она порывается ехать ко мне, но ведь ей завтра рано вставать и я тоже хочу работать, — не разрешаю. Что ж, она знает, что в «этом» моем состоянии лучше не противоречить.

Я действительно взял лист бумаги, карандаш. И уже слова складываются в строчки. Они изливаются бурным потоком, радостно растекаются по бумаге. Да здравствует бумага! Она стала моим самым терпеливым собеседником с давних пор. Но беседовать с ней и легко и тяжело одновременно. Этот белый лист бумаги не умеет говорить — ты можешь, если хочешь, навязать ему свою волю. Но он может оказаться и весьма коварным: ни о чем с тобой не споря, он может злоупотребить твоим доверием. Ты думаешь, что с бумагой нечего церемониться, что с ней можно обращаться, как с рабыней, которая обязана тебя успокаивать, одобрять, вдохновлять, давать полную свободу, ибо ты с нею наедине и можешь быть воодушевленным ею же. Она кажется тебе безответной, и ты чувствуешь себя с ней раскрепощенным. Но бумага если не спорит, то и не врет. Как ты с ней говоришь, так она тебя тебе же и покажет. Ей чуждо вероломство, она не тщеславна, она беспристрастна, чиста. Именно этой ее чистоты и нужно бояться людям, собирающимся пропагандировать свои идеи с ее помощью...

Слова ложатся на бумагу до тех пор, пока из рук не выпадает карандаш и сам Автор не проваливается в небытие...

Несколько дней после этого я был не в состоянии написать хотя бы одну-единственную строчку. Из головы улетучились не только мысли о Кенте, а вообще всякие мысли.

Когда наконец кризис миновал, я прежде всего подумал о Люции. Она кстати действительно писала одному моему знакомому и, следовательно, являлась в отличие от Кента лицом реально существующим.

Что же касается Кента, не могу сказать, что он всего лишь плод чистого вымысла. Когда я начал думать о моем «негативном» герое, мне вспомнился рассказ одной моей приятельницы из Кишинева о молодом человеке, которого действительно звали Феликсом. Смутные воспоминания о том рассказе и стали основой, на которой я построил свое представление о Кенте. Но если на основании чьих-то рассказов я создал в сущности вымышленный образ и имел право писать о нем все, что мне угодно, то в отношении Люции я такого права не имел. Ее письма я читал, с их помощью получил о ней представление, и описывать ее в дальнейшем по собственному разумению мне казалось недопустимым...

И тут меня осенило. Раз я не видел в глаза моей героини, то следует поехать и посмотреть на нее, если я решил писать ее с натуры. Что может быть проще? Тем более, что это путешествие обещало много новых впечатлений, новых эмоций. Оставалось собрать чемодан и известить об отъезде жену. Здесь следует отметить, что мы с ней сохранили после вступления в брак каждый свою квартиру, чтобы я имел возможность уединяться в часы работы.

Итак, я позвонил жене и доложил, что отправляюсь в творческую командировку в Пицунду, чтобы по свежим впечатлениям описать события, которые будут иметь там место после прибытия туда Кента. Упаковал чемодан — и был таков.

Но, пока я летал в Пицунду, Кенту неразумно было сидеть в тайге на пне и ждать продолжения своей судьбы... Ведь за ним погоня, он был в опасности — то ли охрана колонии, то ли эти жуткие чужаки могли его изловить. Поэтому я расскажу пока о том, что приключилось с ним после того, как ему удалось выбраться из того пустынного, словно заколдованного поселка.

Ему повезло — он добрался до города.

Глава 8

Да, ровно через два дня Кент добрался до города.

Когда он вышел на невысокую сопку и с нее увидел вдаль город, он испытал заслуженную радость — дошел до порога победы! Стоит ли говорить, какими были для него два последних

дня... Впрочем, они были не такие уж плохие. Самое удивительное было в том, что шел он наугад, в направлении, которое при других обстоятельствах не выбрал бы, шел, подгоняемый страхом снова встретиться с теми четырьмя чужаками, и — надо же! — именно в этом направлении и оказался город! Сами того не зная, чужаки оказали ему добрую услугу. Итак — впереди город. Остальное зависело от него самого.

Любая победа радует, а здесь была и победа над Плюшкиным, и над чужаками, и над тайгой, и над самой судьбой. И такая победа вселяла уверенность в правильности избранного пути, в удачу. Хотя он был голоден, оборван, хотя он устал от утомительного пути в тайге, тем не менее он чувствовал, что его переполняет какая-то удивительная сила, словно он шел на святое, благородное дело, а не в поисках собственного благополучия. Кент был убежден, что жизнь эгоистична. Разве каждый не о себе заботится в первую очередь? Едва успевает человек родиться, как хватается соску в рот, начинает сосать и будет совать себе в рот все, что получше, до самой смерти.

А ощущение силы в то утро было просто от сознания того факта, что на этот раз он победил: уйти из колонии может лишь человек с головой!

Казалось, наконец, недобрая судьба, преследовавшая его всю жизнь, отступила. Другие остались в лапах невезения, а он вырвался.

Когда Кент, размышляя таким образом, стоял на сопке, он, конечно, не представлял себе, что ждет его хотя бы через самый малый промежуток времени. Нет, не представлял даже, но ощутил, необъяснимо — как. Говорят, иной человек чувствует, когда на него пристально смотрят. Так было и с Кентом. Он стоял и вдруг почувствовал: на него смотрят. Кто? Он мгновенно принял решение.

Чуть ниже вершины сопки расстился невысокий кустарник, уступавший у подножья сопки место лесу. Кент неторопливо направился к кустарнику, но, дойдя до него, нагнулся и побежал, прячась за кустами, в сторону. Отбежав довольно далеко, он выбрал место, удобное для наблюдения, и, раздвинув кусты, посмотрел на ту сопку, где только что стоял. Что же он увидел?

Он увидел чужаков, его недавних мучителей, которые медленно, осторожно приближались к кустарнику. Кента как

ветром сдуло. Он скатился вниз с поразительной быстротой и совершенно бесшумно, а пока катился, сообразил: значит, это они изображали часовых на вышках! Должно быть, были уверены, что он знает дорогу к городу. Решили дать ему возможность уйти от них, чтобы незаметно последовать за ним, и таким образом помогли Кенту и сами вышли к городу.

Сволочи... Чем он им мешал? Что ж, теперь, когда он их снова увидел, им его больше не найти.

Полдня крутился Кент около города, размышляя, как и откуда безопаснее войти в него. Это было не так-то просто, если учесть внешний вид Кента. Либо надо было дожидаться поздней ночи, либо раздобыть какую-нибудь более приличную одежду. Ночью здесь улицы освещались и, должно быть, разгуливали постоянные доброжелатели Кента — милиционеры.

После некоторых наблюдений и раздумья он решил войти в город со стороны, противоположной той, где произошла встреча с чужаками: тут лес вплотную подходил к городу. Кент улегся у большой, полной воды ямы в лесу и стал ждать ночи.

От нечего делать он еще раз перечитал адрес Николая Петровича, друга Ландыша, вызубрил название улицы, номер дома, номер квартиры, имена жены и двенадцатилетней дочери Николая Петровича. Там его ждали горячая ванна, сытный ужин, приличная одежда, документы и деньги. Там ему приобретут билет, проведут в аэропорт и помогут, не вызывая особых подозрений, сесть в самолет. Одним словом, там он получит все, что было приготовлено для Ландыша, который когда-то оказал добрую услугу Николаю Петровичу.

Смастерив из тоненькой палочки примитивный станочек, он сунул в него лезвие, размочил небольшой кусочек мыла и побрился: наугад, без зеркала — сойдет ночью-то!.. Озябнув, задумал было соорудить (хотя это и неосторожно) небольшой костерчик, но, услышав какой-то настораживающий шум, приглушенные голоса, залез под растущую у самой ямы елку и замер.

Подходили люди. Раздвинув бесшумно кусты, они вышли к яме, и Кент похолодел: это были те, страшные чужаки. Они сбросили рюкзаки и сели отдохнуть, переговариваясь вполголоса. К сожалению, они были довольно далеко от него и он не мог расслышать, о чем они говорили. Первой его мыслью было бежать, но его заметили бы. Убежище под елью хорошо

скрывало его от них, а они тем временем быстро и молча принялись за дело: стали поспешно раздеваться, и женщина тоже.

Раздевшись до нижнего белья, они достали из рюкзаков другую одежду и надели ее. Через четверть часа все неузнаваемо преобразились: Кент видел людей, одетых в обычную одежду, все в пиджаках, в плащах, кто в кирзовых сапогах, кто в ботинках, у одного на голове фуражка, у другого — берет. Женщина выглядела вполне привлекательной в темном пальтишке, в платке, резиновых сапожках. В руках у нее очутилась хозяйственная сумка и авоська со свертками. Мужчины тоже вынимали из рюкзаков кто портфель, набитый неизвестно чем, кто небольшой спортивный чемоданчик. Затем, собрав свои брезентовые куртки, штаны, резиновые сапоги, а также топоры, закинули их в рюкзаки и бросили в воду. Дождавшись, когда рюкзаки затонули, они исчезли в кустах. Выждав несколько минут, Кент, крадучись, последовал за ними и вскоре увидел их. Они шли к городу.

Кент вернулся к яме и начал собирать сухие ветки, хворост, соорудить костер; дремать было некогда, надо было действовать. Когда костер разгорелся, он скинул с себя лохмотья и нырнул в холодную воду. Нашел под водой один из мешков, вытащил. Ему повезло — это оказался мешок главаря, который был ростом с него. Достав брезентовые штаны и куртку с капюшоном, Кент пристроил их у костра сушиться, так же как и резиновые сапоги, которые тоже подошли ему. В таком снаряжении можно было смело войти в город, не вызывая подозрения. К тому времени когда совсем стемнело, вещи высохли. Кент натянул на лагерные шмотки брезентовую спецовку, обулся в сапоги и тоже пошел в город. Рюкзак с топором и своими разбитыми ботинками бросил обратно в воду, костер потушил.

«Вот будет номер, — подумал он, — если теперь еще раз с ними встречусь... В их же шкуре!...» Ему стало страшно, он невольно замедлил шаги. Крутом было тихо... И каждый раз потом, даже спустя много лет, когда он вспоминал этих людей, его охватывал страх. Вернее всего потому, что он не мог понять, кто они такие.

Вскоре он вышел на тропинку, которая вывела его на дорогу, а та — в город. Цивилизация приняла Кента в свои объятия

примерно метров через пятьсот: он прошел мимо небольшой свалки недалеко от дороги, увидел в ней остов мотоциклетного колеса и на всякий случай прихватил его — колесо удачно сочелось с брезентовой одеждой Кента. Времени могло быть не более десяти, на улицах еще было оживленное движение. Архитектура города — смесь деревянных одно-, двухэтажных и пяти-, шестиэтажных кирпичных или блочных домов. Город как город, со всем тем, чему положено быть в городе.

Довольно скоро он добрался, кажется, до центра. Кое-какие продовольственные магазины были еще открыты, и около них толпился народ. Встречались женщины с авоськами, мужчины с бутылками, — жизнь, которую он уже несколько лет не видел, окружила его со всех сторон, но еще не схватила своей цепкой хваткой. Он был хотя уже и в ней, но пока еще не с ней, он был такой же чужой в этой жизни, как те четверо чужаков, которые наверное, тоже в это время где-то что-то промышляли.

А вот и они, его «друзья», — два милиционера. Придирчиво присматривались к нему, кажется, даже оглянулись, когда он прошел. Но тут как раз к ним кто-то подошел — что-то спрашивал и отвлек их внимание. Непонятно, как можно о чем-то расспрашивать милиционера!.. Ему тоже надо было спросить у кого-нибудь, как пройти на нужную улицу, и он выбрал с этой целью самый безобидный для себя объект — старушку. Но она не знала, где та улица. Вот беда-то! Еще одного-двух граждан спросил, тоже не знали

Но если в городе нужная улица все же есть, ее можно найти. Нашел и он — улицу и желтый трехэтажный, општукатуренный снаружи дом. Николай Петрович жил на третьем этаже в квартире номер девять. Перед дверью лежал пестрый домотканый ковер.

Открыли не сразу. Звонок, еще звонок... Наконец слышны шаги. Открыли.

Перед Кентом мужчина лет пятидесяти в пижаме.

— Николай Петрович?

— Да.

Мужчина вопросительно смотрит.

— А вы кем будете? — спрашивает.

— Вы не получили сообщение от Ландыша?

Лицо мужчины проясняется:

— Заходи, парень!..

Глава 9

Самолет приближался к Сочи. За иллюминаторами было темно — половина одиннадцатого. Кента нельзя было узнать: одежда, конечно, не делает человека, но может изменить его наружность до неузнаваемости. Темный костюм был ему немного великоват, но зато рубашка в бело-черную клетку отлично подходила к костюму. А как трудно было Кенту оторвать глаза от коричневых щегольских полуботинков!.. На голове — бежевый берет. Он удобен тем, что нет необходимости его везде снимать. Рядом висел темно-синий плащ, а над головой в сетке подпрыгивал, словно от нетерпения, небольшой чемоданчик.

Сбылась таежная мечта — он в облаках! В самолете он оказался впервые в жизни, и настроение его было выше девяти тысяч метров. «Вот бы меня сейчас Плюшкин увидел!..» — думал он мстительно. В голову приходили странные, на его взгляд, мысли — о взаимосвязи событий, имевших отношение к его жизни: вот Ландыш, если бы он не пострадал от каких-то превратностей судьбы, если бы не услужил Николаю Петровичу неизвестно чем, он, Кент, вряд ли теперь находился бы в этом самолете, да еще столь отлично экипированный...

Откинувшись удобно на спинку сиденья, закрыв глаза, он предавался воспоминаниям о побеге. Ну нет!.. Больше он не опростоволосится. Подумать только, за что схватил последний срок — за дамское пальто!.. Кент, вспомнив то пальто, тихо засмеялся, и сосед подозрительно на него покосился.

Нет, такой глупости за всю свою разнообразную практику Кент не совершал... Нужно было ему это пальто, как Эйфелева башня! Он просто одурел тогда. Всякий бы одурел, если бы выпил три бутылки портвейна да еще наглотался каких-то таблеток. Уходя из кафе, вместо своего новенького плаща (гардероб обслуживался посетителями) он надел дамское пальто и шел по улице, пока его не схватили. В результате — пять лет! Смешно и грустно! Ну нет! Теперь, раз уж начало везти, повезет до конца.

Кент спросил у соседа, как можно добраться до Пицунды, и узнал, что автобуса в такой поздний час не будет.

— Надо ждать до утра или пойните такси, — рекомендовал сосед.

Самолет пошел на снижение, затем вздрогнул, затрясся на земле. Все завершается, кажется, должным образом: подается трап, и вот их ведут в сторону аэровокзала, впереди идет такая же колонна от другого самолета. Смешно смотрится, так и хочется крикнуть: «Эй? Откуда этап?»

Наконец Кент оказывается на привокзальной площади, где тщетно пытается отыскать такси в Пипунду. Шоферы немногочисленных машин как ошалелые выкрикивают незнакомо звучащие названия, но в Пипунду никто не едет. Наконец один черный спросил:

— Сколько дашь? Пятерку давай, и поехали!

Оказывается, он «частник», живет в Пипунде, так что ему все равно куда ехать. Едут. Лихо едет этот черный. Гонщик! Позже Кент понял, насколько ему повезло, что ехали ночью и ничего не было видно, а то натерпелся бы страху, не дай бог!

Черный оказался молчаливым, на вопросы отвечал неохотно. Кент заинтересовался сначала погодой.

— Хорошая погода, — ответил черный.

— Как насчет фруктов? — спросил Кент

— Навалом. Кушай, пожалуйста, — ответил черный.

И опять молчим. Ну, о чем с ним поговоришь?

Вспомнил.

— А девочки?.. — рискинул Кент и хихикнул, как дурачок. — Хорошенькие есть?

— Кому есть, кому — нет! — буркнул черный и так резко рванул налево, что Кент чуть не вылетел в правую дверь (если бы он видел, что было за дверью!).

Напоследок Кент спросил:

— Вы не могли бы подвезти меня к гостинице?

— Гостиница нету, — равнодушно ответил черный.

В Пипунде — непривычно теплая, черная ночь, полная душистых запахов хвои, моря и чего-то незнакомого, приятно-го. Кент снял плащ, совершенно неуместный здесь, свернул и сунул в выданный Николаем Петровичем чемоданчик.

Куда идти? В каком направлении? Вокруг сновали люди в легких платьях, в сандалиях, босоножках — чудеса, да и только! Там, откуда он прилетел, почти зима. Здесь... женщины ходят без чулок. Разве еще недавно он не дрожал от пронизы-

вающего холода в тайге?.. Вопрос ночлега здесь не проблема — можно устроиться под любым кустом, лишь бы не было дождя. Но откуда ему взяться невероятно чистом небе, в котором звезды словно россыпь золотых самородков?

Кент обратился к одному прохожему с просьбой указать, где расположен совхоз, на территории которого находились описанные Люцией «теремки». Тот сказал, что совхозы везде вокруг Пицунды, а до домиков, которые он называет «теремками», — километра два ходу. Кенту объяснили, как к ним пройти, и он отправился искать их и, наконец, нашел. «Теремки» стояли в зелени, словно в лесу. Их территория была обнесена невысоким миролюбивым забором. Нашел калитку, вошел и растерялся: маленькие домики заполняли большое пространство, они расположились рядами по обоим сторонам бесчисленных дорожек. В котором же из них — она? На ее письмах не был указан обратный адрес с номером дома — просто название совхоза, турбазы и ее фамилия. Значит, предстояло ждать утра, чтобы узнать в конторе или у людей, здесь живущих.

Кент приуныл, но делать было нечего. Вышел из городка «теремков», побродил вокруг и направился по мощеной дорожке в ту сторону, откуда доносился необычный для него гул морского прибоя. И вот оно — море!

Он стоял на гравии, заменявшем здесь, видимо, песок, и смотрел на черные волны, атакующие берег истушленно, неустанно, — благодать! Пахнет морем и соснами. Его воображение снова рисует пленительную картину, он видит, как выходит из этих шипящих черных волн бронзовая богиня...

О господи! Ради этого, в предвидении такого мгновения стоит мерзнуть и голодать в какой угодно тайге, в любых дебрях!..

Еще какое-то время он слушал шум прибоя, потом вернулся к «теремкам». Устав бродить, устроился в укромном месте на скамейке под каким-то деревом, но уснуть не удалось. Встал, снова отправился бродить. На одном из перекрестков вдруг очутился в небольшой толпе людей, мужчин и женщин, невесть откуда взявшихся, обнимающихся, целующихся. Какая-то дородная женщина схватила его за лацкан пиджака и крикнула по-пьяному задорно:

— Чего бродишь-то молодой-красивый? Давай с нами чачу пить!

— Давай, давай! — кричали и остальные.

Кента подхватили под руки, куда-то повели. Вскоре пришли к двухэтажному дому, поднялись, распевая и крича, по наружной лестнице на второй этаж в просторное помещение. Здесь был накрыт стол: всего навалом — и винограда, и яблок, и персиков, и помидоров, всевозможных салатов, жареных уток, мутной чачи. Не успел он моргнуть глазом, как оказался сидящим рядом с дородной женщиной, и уже наливают ему чачу, а перед его носом на тарелочке источает аромат утка. Выпивают, за что — неизвестно. Только позднее он узнает, что провожают директоршу московского гастронома с мужем, похожим на общипанного цыпленка. Супруги завтра улетают в Москву — уже два дня делятся проводы. Так познакомился Кент с абхазским гостеприимством.

Понемногу один за другим выходят из-за стола. На одном из присутствующих отлично сшитый костюм. Пожалуй, Кенту в самый раз. Наказать бы за беспечность... Бог с ним, пускай пока носит... Последними уходят директорша с Цыпленком. Кент с удивлением констатирует факт, что сидит за столом в одиночестве. Только что шумели, кричали, а тут... в другой комнате раздается храп; сначала храпел один кто-то, затем к нему присоединились, и пошло... Что за люди! Хоть бы «до свидания» сказали или что-нибудь в этом роде!..

Осмотрелся, высматривая, где бы и ему расположиться, — нигде

Увидев зеркало, достал бритвенные принадлежности, нашел горячую воду и побрился. Явиться взору Лючии нужно в лучшем виде. На прощание — еще стопочку, и привет этому дому. На улице как-то вдруг рассвело. Утро настало.

Глава 10

Кент нашел контору, в ней человека, показавшего «теремок» Лючии, — в точности такой же, как и все другие. Он оказался заперт. Кент стучал-стучал, никто не открыл. Пришла женщина с ведром, спросила:

— Вы кого ищите? Люську? Ее нету.

«Люську»?.. Впрочем, здесь она, конечно, может именоваться и Люськой...

— Вы не знаете, — спросил женщину с ведром, — когда она вернется?

— В обеденный перерыв придет, — ответила женщина. Она сегодня рядом работает. Можете пойти сейчас к ней, здесь недалеко, трубу приваривают...

Она объяснила, как пройти, — оказалось действительно рядом, с полкилометра, в поле. Кент издали увидел нескольких рабочих, склонившихся над люком канализационного колодца. С замиранием сердца подошел к ним, думая среди них найти женщину. Наконец сообразил, что она, наверное, в колодце. Спросил:

— Скажите, где сейчас Лючия? — и тут же поправился: — Люська...

— Люська! — крикнул в люк один из рабочих. — Тут к тебе...

— Сейчас! — послышался хриловатый голос.

Минут через пять из люка вылезла крупная женщина с широкой недоброй физиономией, в брезентовых штанах и куртке, со сварочным аппаратом в руках. Боже мой!..

— Э-э... вы Лючия? — спросил Кент, заикаясь.

— Что еще за Лючия? — недоуменно спросила женщина прокуреным голосом.

— Видите ли, я... как бы это сказать... я с вами переписывался. Я — Феликс!..

Глаза ее широко раскрылись. Она удивленно смотрела на Кента.

— Неужто?! — вскричала обрадованно. — Мужики! — обратилась к рабочим. — На сегодня баста! Скажите там прорабу что хотите, но ко мне родственник приехал...

Она бросила аппарат и протянула Кенту здоровенную лапу. Вот так богиня!

Идеалы — вещь хорошая, но встречаются они, видимо, довольно редко. Поэтому лучше уж стремиться к реальному и мечтать о доступном, имея о нем собственное представление и не веря представлениям других. Сама себе она, может, и казалась такой, какой ей хотелось себя видеть. Наверное, и Кент кажется себе красавцем, но неизвестно, что думает об этом она?

Кент изобразил на лице улыбку и выдал из себя какие-то приветливые слова, уместные при встрече «родственных душ». Они пришли в «теремок», и, не стесняясь его присутствия,

Лючия-Люська начала стаскивать с себя брезентовую оболочку. Извинившись, он отвернулся, чтобы дать ей возможность переодеться.

«Самое лучшее сейчас — видеть ваши глаза», — вспомнились ему строки из ее письма. «А для меня самое лучшее было бы сейчас дать отсюда тягу!» — подумал он...

— А вы точно такой, каким я вас представляла, — было первое, что она сказала, когда Кент повернулся к ней.

В «теремке» из мебелировки, кроме кровати, ящика, похожего на шкаф, стола и стула, не было ничего. Она переделалась в ситцевое платье с чересчур вызывающим разрезом. У нее были рыжие волосы, большой рот, синие глаза с белесыми ресницами, вдобавок еще и курносая. Широкие бедра, крупные ступни, она чуть-чуть хромала.

— Знаешь, Феликс, мне нравится твое имя. Оно настоящее? — спросила она.

— Если хочешь, — буркнул Кент, — можешь называть меня Гарри...

«Ежели ты можешь назваться Лючейей, — подумал он зло, — почему я не могу быть Гарри, или Бервардино, или даже Риголетто?..»

— Гарри, — она с легкостью приняла новое имя, — прежде чем будем говорить о делах и планах на будущее, давай сходим к морю. День-то какой!..

День был действительно достоин похвалы.

Они отправились к морю. Разумеется, не на курортный пляж; для местного населения здесь имелся отдельный, недалеко от турбазы.купающихся было мало. Кент разделся. Купаться в ноябре — мечта! Люська-Лючия не изъявила желания искупаться, уселась на гравии, обхватив руками колени. Кент — он уж не помнил впервые за сколько лет — вошел в морскую воду.

Если по дороге на пляж он ломал голову над тем, о каких делах, о каких планах на будущее собирается говорить Лючия, то теперь, умея он хорошо плавать, уплыл бы, кажется, за горизонт. Что за блаженство барахтаться в морской воде! А, черт с ней, с этой Лючейей! Разве только из-за нее он рвался сюда?..

В течение суток, которые Кент прожил в «теремке», продолжалась ожесточенная борьба за его свободу, на которую

Люська-Лючия обрушилась с яростью тигрицы. Борьба велась, с одной стороны, в стремлении доказать необходимость соединения двух родственных душ, а с другой — в стремлении отрицать родственность этих душ. Люське-Лючии нельзя было отказать в силе, страстности, изобретательности, в уме, наконец, хотя и невозможно было понять, в какую сторону он направлен. Она была похожа на автомобиль без тормозов. Так показалось Кенту, особенно после того, как он поинтересовался причиной гибели летчика-испытателя с детьми.

— Здесь много загадочного, — сказала она мрачно. — Для меня самой много неясного. Но то, что я написала тебе, — вранье в третьем варианте...

— Что значит — в «третьем варианте»? — удивился Кент.

— Другим известно, например, что они, Юра и дети, погибли в железнодорожной катастрофе. А некоторым, что он был горным инженером и что беда случилась в шахте... У тебя — воздушный вариант...

— А еще варианты будут?

— Наверное. Не люблю одну и ту же версию...

Она взглянула на него, пожалуй, даже грустно.

— Ты не обижайся, — сказала виновато, — что не так все, как тебе представлялось... Я ведь тоже хотела бы иметь кого-нибудь, кто понимал бы меня... Кто тут меня понимает! Кому я нужна как человек? Люська-сварщица... переспать годится, а на большее ни у кого души не найдешь...

Позже, в самолете, Кент много думал о ней. Купила все-таки ему билет — не хотела, а купила. А как уговаривала остаться, даже упрекнула в трусости... Его, Кента, бежавшего из Сибири! Обозвала трусом, который-де удирает от бабы... Но билет все же купила.

И Кент — снова в облаках. Он очень сожалел, что бурная фантазия Лючии не соответствовала ее внешности: какая любовь получилась бы!..

Глава II

Итак, мы снова в облаках, мы оба — я и мой незадачливый герой. Куда мы летим? В Москву? Мне-то можно туда — я там

прописан, проживал, имел там жену и даже две квартиры. НО что было делать в Москве Кенту, когда и хорошим-то людям там тесновато? Ведь у него там, кроме меня, никого не было, а я понятия не имел, где бы я его там пристроил и к кому... Лететь же домой одному несолоно хлебавши, то есть не устроив дальнейшую судьбу Кента, означало признать невозможность создания романа с такими непривлекательными, как Кент, персонажами. Во всяком случае, имея их на ролях главных героев. Тогда что же — вернуть аванс, полученный за роман? Я бы и вернул, кабы знал, где взять теперь эти деньги...

Правда, у меня в Москве имелся приятель-философ, который обожает работать с личностями, подобными Кенту. Можно было бы подсунуть Кента ему. Но как? Ведь Кент находится на нелегальном положении. Станислав, конечно, взял бы его в оборот. Он, как мне известно, сумел вправить мозги многим и почище, чем Кент. У него объяснение жизни и ее проявлений построено нестандартно, живо, убедительно. Вот кто, мне кажется, пропугивал всю мировую философию от Сократа до Маркса и Ленина. И, если бы я сумел свести своего героя со Стасем, я бы здорово обогатил мое повествование интересным поединком различных мироощущений, вернее, оцущения, с одной стороны, и сознательного убеждения — с другой.

Но и это для меня чревато последствиями: ведь тогда бы пришлось скоро закончить роман, и он вышел бы непозволительно коротким: все кончилось бы тем, что Кенту в результате знакомства со Стасем пришлось бы пойти в милицию с повинной...

Впрочем, как сказать... Может, Стась и то не справился бы с Кентом... Стась, безусловно, силен в философии и подходы к своим подопечным найти умеет, но ведь трудность заключается в том, что Кент сроду ничего не читал, кроме романов про шпионов. Его можно было убедить в чем бы то ни было или личным примером, или великодушным отношением лично к нему, чтоб он поверил в действительность добра. Словесное убеждение на него действует плохо...

Могут спросить: откуда я все это знаю, могут сказать, что мои соображения о его нравственных качествах выдуманы так же, как и он сам, и, следовательно, особой цены не имеют...

В свое оправдание могу еще раз напомнить, что Кент не совсем выдуман, как уже однажды объяснил, потому что совсем

из ничего что-либо создать трудно. О Феликсе мне кое-что рассказывала Маргарита Самохвалова из Кишинева. Меня можно упрекнуть в плохой памяти — я не запомнил всего ею рассказанного.

Вслушиваясь в убаюкивающий рокот моторов самолета, я размышлял о создавшейся ситуации и больше самого Кента сожалел, что письмо Лючии и заключенные в нем призывания не соответствовали ее внешности, — какая бы получилась красивая любовь!.. Теперь героиню я потерял, а с героем не знаю, что предпринять. Плохо, плохо, что я оказался не в состоянии приписать Лючии недостающие достоинства и продолжить повествование без сучка и задоринки, так, чтобы читатель прочитал роман не отрываясь!..

Здесь мои мысли и вернулись к Маргарите Самохваловой — ведь именно она-то и обладала необходимой мне для продолжения романа внешностью! О да! Марго была просто Королевой красоты.

Вот и пришла идея: не отвезти ли мне Кента к ней, тем более что в моем воображении он родился из ее рассказа, он ею порожден...

Как это сделать? Ну, это легко. Здесь-то мне и дозволено воспользоваться авторской властью. Я просто-напросто уступаю ему свое кресло здесь, в самолете, а сам усядусь сзади и буду за ним наблюдать. Нам вдвоем у Маргариты делать, пожалуй, нечего. Я там буду скорее всего лишним. Но полететь с ним имеет смысл: следя издали за ходом событий, я, возможно, вспомню все, что мне рассказывала о Феликсе Королева красоты.

...Итак, Кент летит в Кишинев к Маргарите, адрес которой ему «на всякий, особо крайний, случай» дал тот же Ландыш. Причем Ландыш предупредил, что Маргарита, хотя ей и можно во всем доверяться, особа сложная, образованная, требующая деликатного обращения. Ландыш, дав Кенту адрес, просил его не злоупотреблять гостеприимством Королевы. Ничего больше о ней, а также о своих с ней отношениях он не сказал...

Ну нет, злоупотреблять гостеприимством, если больше некуда деваться, все же приходится, пусть Ландыш его простит! Ведь он должен понимать, как трудно организовать сносное существование в таком положении. В былые времена, все знают, за

деньги можно было везде удобно устроиться. Теперь деньги мало значат, к тому же их нет.

«Махнуть бы за границу», — мрачно размышлял Кент. — Но что он там станет делать? Это только в заграничном кино всякие авантюристы, гангстеры, Жан Габены и прочие бегут из тюрем и летят из Рима в Париж, из Парижа — в Лондон... Опять же, чтобы там быть авантюристом, надо там и родиться, и вырасти, и учиться, на худой конец и в тюрьмах посидеть...

Ему приходилось слышать рассказы лихих ребят, которые, попадая в колонию, симулировали сумасшествие: головой о стенку, пена изо рта. Затем — сумасшедший дом, затем — через забор психиатрички, затем — через границу, а там дружелюбные хлопцы из мафии и, пожалуйста, — кури героин, нюхай кокаин, колись морфием, ходи в публичный дом, катайся на «шевроле» — делай, что душа хочет...

Все это хорошо. Но существует еще граница, которая наверняка крепко охраняется. Можно запросто в другом качестве вернуться в колонию нюхать... парашу, а не кокаин. Перспектива не слишком бодрящая!..

Скажи сейчас кто-нибудь, что ему даруют свободу, если он согласится честно работать, он бы, пожалуй, не отказался. Все-таки такое предложение показало бы, что и он достоин какого-то доверия и уважения как личность, имеющая смелость и ловкость, проявленные в таком трудном походе: «Сибирь — Пипунда». Во всяком случае, это совсем другое, чем в колонии, где его агитируют, суют в руки топор и дирижируют им, как будто он настолько туп, что не может обойтись без дирижеров...

Он, конечно, понимал, что жить, совсем ничего не делая, невозможно, но всегда, пусть даже бессознательно, искал для себя право на особое отношение к жизни, искал для себя исключение из общего порядка. Но разве такое реально? Увы... Кто станет искать компромисса с ним и его мировоззрением?

Поэтому — долой прошлое!

Он должен стать выше обстоятельств, которым подчинялся раньше. У него не должно быть прошлого, у него только будущее, всегда будущее или... ничего!

Бережно, как грудного ребенка, опустил самолет Кента на одесский аэродром.

На автовокзале — огромные очереди у касс. Добравшись на трамвае до окраины города, вышел на шоссе, ведущее в

Кишинев. А вот и «газик» едет! Кент «проголосовал». «Газик» остановился. За рулем — хмурый парень лет двадцати пяти.

— В Молдавию?

— Залезай.

Кент устроился рядом с ним. Парень не то чтобы хмурый — вроде бы обозленный. Брюнет, с круглым добродушным лицом, под носом тоненькая ниточка усиков, на верхнем резце фикса (коронка).

— Сколько дашь?

Соплишь на пятерке.

Ехали молча. Потом парень ни с того ни с сего и, в сущности, ни к кому не обращаясь, сказал с какой-то решимостью:

— Да ладно! — и махнул рукой. Повернулся к Кенту: — Закурим, что ли... Как звать?

— Леонард, — сказал Кент, немного подумав, — можно Ленька...

— Валентин, — представился водитель.

Закурили из его пачки.

— Откуда сам?

— Откинулся от «хозяина», — уклончиво ответил Кент.

— Хочешь в Молдавии пристроиться? Оно и правильно, здесь народ — простофиля.

Валентин рассказал, что живет в Бендерах, но скоро переселится в Подмоскowie, в Красково. Меняется.

— Не знаешь, где там улица Суворова?

Кент признался, что в некоторых городах знает, а вот в Краскове... не бывал.

Поначалу хмурый этот парень оживился и стал совать свой нос во все щели личной жизни Кента, что было тому не по душе. Переключил парня на другую волну — поинтересовался, какой город тот обрадовал своим первым криком. Оказывается — Одессу... После этого — о чем же еще! — стали говорить о женщинах.

— Я вот с Нинкой едва объяснился, — рассказывал Валентин, мимоходом узнав, что Кент чуть было не плюхнулся в расставленные Люцией сети, — едва потом от нее отделался! Они хорошо смотрятся, когда строят тебе глазки, но когда ты у них на крючке...

Он тяжелым выдохом выпустил из себя облако дыма в ветровое стекло. Ниночка была, оказывается, поварихой в столовой, и это было ее единственным достоинством.

— Идешь с ней в кино, — продолжал Валентин, — шагает рядом и молчит, как рыба. Целый день рта не раскрывает, а если и открывает... так лучше бы закрыла!..

Валентин болтал, а Кент его не слушал, лишь делал вид, что внимательно слушает. Он раздумывал над собственными проблемами.

В отличие от Автора, знакомого с Маргаритой, Кент о ней ничего не знал, кроме скудных сведений, полученных от Ландыша. Он думал-гадал о том, что собою представляет Маргарита, можно ли будет у нее хоть сколько-нибудь перекаптоваться, или, может, здесь так повезет, что вообще удастся к ней прикадриться, так сказать, зацепиться наглухо...

— ...И эта тихоня чем вздумала поймать? — услышал он возмущенный голос Валентина, который, гоня языком уже потухший окурок из одного угла рта в другой, продолжал травить про свою Нину. — Заявляет, что намерена произвести на свет от меня ребенка! Ничего другого не хочет... Нет-нет! — только ребенка от любимого человека, и тебе должно быть приятно, что ты и есть любимый человек... Нет, видали?! Раз, два — и ребенок!.. Растолковал ей, что она понятия не имеет, что такое быть кормящей матерью, как больно, когда с молоком вместе этот беззубый бандит вытянет из нее все соки и красоту. Убедил...

Серая лента асфальта не спеша петляла, исчезая под передними колесами. Оторвавшись от нее, Кент увидел человека, бегущего через поле к шоссе. Отстав от него на приличное расстояние, спотыкаясь, бежал еще кто-то. Первый выбежал на дорогу и показал руками в небо, где в данную минуту не было ничего примечательного.

Валентин остановил «газик». Маленький, вспотевший, запыхавшийся хлопик объяснил, что жутко спешит в Бендеры, что за доставку туда его особы даст пятнадцать рублей. Валентин присвистнул от удивления и помедлил секунду в надежде на прибавку. Но неразумно ждать, чтобы синичка упорхнула в небо. Взяли Хлюпика.

Валентин тут же прилип со своим одесским любопытством к Хлюпику, который ерзал на заднем сиденье, будто его муравьи кусали. Но, не добившись от того толку, снова переключился на Кента.

— Обстоятельства складываются не в мою пользу, — сказал

он и сообщил подробности. Оказывается, у него было грустное объяснение с одесской автоинспекцией, хотя ничего особенного он не совершил — просто немного выпил, перепыхал цветочную клумбу и врезался в киоск.

— Подумаешь, инспектор! — ворчал Валентин. — Дали человеку палочку в руки, и он воображает, что может ею ковыряться в шоферской душе, как будто шофер не человек, а фальшивомонетчик и у него денег куры не клюют...

— Закурить есть? — неожиданно спросил Хлюпик.

Кент поинтересовался, как его зовут. Ответ был лаконичен:

— Лимон!

Валентин волюбопытствовал, почему он так нервничает. Хлюпик не ответил, плюнул в окно, попросил газануть, а не доезжая с километр до Бендер, высадить его. Эту просьбу Валентин исполнил. У города же их остановила милиция, и теперь заерзая на сиденье Кент... Проверляли документы. Кент протянул свою поддельную справку об освобождении. Придирчиво изучал человек в гражданском эту бумагу, попросил Кента снять берет. Но на справке — его фотография, боиться нечего. Человек смотрел на фото, на Кента и вернул справку. Видимо, они искали кого-то другого — несомненно Хлюпика...

Когда въехали в Бендеры, Кент стал умолять Валентина доставить его в Кишинев, но тому не улыбалось ехать в Кишинев — без прав, на дребезжащем драждулете. Он привез Кента на автовокзал. Здесь через знакомую кассиршу достал ему без очереди билет до Кишинева.

Вперед... к Королеве!

Глава 12

В Кишинев прибыл к вечеру.

Шестиэтажный дом, в котором жила Королева, выглядел вполне солидно. На шестой этаж Кент поднялся пешком — лифт не работал. На звонок открыла женщина безупречной внешности, ей можно было дать лет сорок. Немного старовата, — прикинул Кент, — но в общем-то ничего, сойдет на время...»

В результате обоюдной вежливой информации подтвердилось, что зовут ее действительно Маргаритой, а Кент на этот раз

представился зачем-то Арнольдом. Знакомились в просторном коридоре большой коммунальной квартиры. Внешность у Королевы была на самом деле отвратительно классическая: тут тебе и ямочки на щеках, и родиночка, и черные глаза, и волосы — мечта парикмахера. К тому же тоненькая, изящная, да и к ногам не придерешься.

Пока Кент объяснял ей себя, свое отношение к Ландышу, пока они витали в области сомнений, догадок, предположений друг о друге, в дальнем конце коридора открылась дверь, из-за нее высунулась кудлатая голова, и Кент увидел круглые, как у совы, настороженные глаза. Потом откуда-то появился высокий седой старик со сверкавшим яростной ненавистью взглядом, он тут же пропал, как призрак, которого, может, и не было.

— Мой папа, — прошептала Маргарита как-то зло. — Ничего уже не соображает. А этот, — она кивнула в сторону кудлатой головы, — Яков, сосед. Всегда смотрит, когда кто-нибудь приходит. Идемте!..

Она открыла одну из дверей в коридоре, и они вошли в королевские покои. Кента ошарашило свирепое: «Мя-у-у-у».

— Изабелла! — заворковала Королева. — Это хороший дядя...

Изабеллой оказалась громадная белая кошка с наглой мордой. Кент быстро удостоверился, что за прелесть, когда эта тварь линяет. В большой комнате он увидел рояль и — бог его простит! — широкую манящую кровать. Ковры, мебель, книжные полки не произвели на него особого впечатления. Зато его внимание обратила на себя висевшая на стене галерея портретов знаменитых мужчин, которые рекламировались как лошади на ипподроме. В основном это были известные актеры и спортсмены. Наверное, женщине и на самом деле приятно, просыпаясь, останавливать взгляд на какой-нибудь знаменитой физиономии. Холодильник «Розенлев» также привлек внимание, а его содержимое с заграничными этикетками приятно взволновало. Когда Кент уселся было в удобное кресло, в нижнюю часть его кузова вонзились когти Изабеллы. Они испытывали друг к другу обоюдную неприязнь...

Маргарита с любопытством расспрашивала про Ландыша — как он и что, старо ли выглядит, много ли осталось ему сидеть, есть ли у Ландыша еще друзья, получает ли он письма. Кент

рассказывал, как мог, но скупно — об этом его попросил сам Ландьш.

Королева сварила кофе, достала коньяк. Они курили и умничали. В основном Марго. Она дала понять, что много читала Мечникова, Шопенгауэра, Ницше, Андрея Белого. Кент с заинтересованным видом молча сосал сигарету. Затем она рассказала о своей работе. Можно было понять, что у нее полоса неудач, что ее часто стали критиковать в редакции. И Кент убедился — Ландьш не соврал насчет ее образованности. Во всяком случае, у него не было основания не поверить тому, что она музыкальный редактор на радио и что она имеет музыкальное образование. Нет, с такими бабами не заскучаешь!

Опять зазвучали Шопенгауэр, Гете, Шиллер, но они были Кенту до лампочки. Он наслаждался жизнью, проклиная шопенгауэров и кошку Изабеллу. Ему было ясно, где и чем это кончится. Да здравствует молдавский коньяк и постель на хороших рессорах! Он был молод, строен и знал, что женщинам нравится. Маргарита, хотя и присматривалась к нему с каким-то, на его взгляд, излишним любопытством, держалась в то же время довольно игриво.

Любовь! Да при чем здесь любовь? Человек пришел из тайги. Может, ему в далеком будущем и нужна будет умная жена, но не теперь и не в первый день знакомства... Теперь, милая, будь не умной, а женщиной. Умной будь, став другом. Часто бывает, что женщиной ты останешься, так и не став другом, и, наоборот, став другом, перестанешь быть женщиной. И жизнь дает трещину!.. А здесь... Зачем было здесь думать о любви к человеку из леса?..

...Следующее утро началось с бодрого пожелания доброго утра. Нежные пальцы осторожно пощекотали его ухо. Была половина одиннадцатого. О, как отличалось это пробуждение от подъема в колонии, когда от каждого удара молотка по рельсу мурашки пробегали по спине и каждый удар напоминал — дождь или снег, жара или стужа, ты должен идти и делать то, чего тебе делать не хочется, потому что от этого зависит очищение твоей души, изгнание из нее дьявола.

— Там нет женщин? — спросила Марго, закуривая сигарету. — Как же вы там обходились?

— Сновидениями, — ответил Кент.

— Ужасно!..

Они встали, и Кент отправился мыться в ванную. На двери туалета его рассмешило объявление: «воду спускать два раза». Потом — опять кофе, коньяк и умные разговоры, благо было воскресенье. Кент уже восхищался собственными тонкими манерами.

Он все выкидал случая, чтоб поудобнее было спросить про Ландыша. Ему хотелось раскусить и понять их взаимоотношения, но она стала расспрашивать его о планах на будущее.

А какие могли быть у Кента планы на будущее? Он стал распространяться о том, что чаще всего встречал невезучих, что и сам он из их числа.

У Люции возникали разговоры о планах на будущее, у этой тоже... Но что он знает о своем будущем?

— А чего же ради ты убежал? — спросила Маргарита с любопытством. — Разве только чтобы навестить меня, чтобы передать привет от Ландыша? А как дальше будешь жить? Думаешь, не поймают?

Нет, не станет он перед ней выворачиваться наизнанку. Еще никогда и никому не давал он расколоть своей души, а то пришлось бы рассказывать о скупой, даже жадной бабке, которая его выкормила, о нудном одиноком детстве и о фотографии матери, где она была снята юной красивой девушкой, — единственное его представление о ней. Пришлось бы, может быть, сказать и о том, что чаще всего он напевает ту песенку, где есть такие слова: «...Я так давно не видел маму...»

«Мя-у-у!» — взгляды Кента и Изабеллы враждебно скрестились в немом поединке.

Зазвонил телефон. Из реплик Марго Кент догадался, что звонит какая-то Соня... Марго сказала в трубку, что она не одна. Затем Кент услышал, к своему удивлению, что она как будто говорит о себе во множественном числе: «Мы придем». Когда же она положила трубку, Кент узнал, что «нас», стало быть его тоже, пригласила в гости к себе Соня. Королева начала наводить маршфет.

Что же получается? — размышлял Кент о своем положении в жизни. Она даже не поинтересовалась, хочет ли он в компанию или не хочет, удобно ли ему там щеголять своей жидкой и весьма подозрительной шевелюрой? Тащат, куда хотят, как собственность. Собачья жизнь! Но возражать не стал...

На улице дождь лупил, как в тайге. Соня, к счастью, жила не слишком далеко — несколько кварталов ходу. Она была в брюках, на голове бигуди. Сразу следом за ними пришла еще одна зрелого возраста девица. Все три красавицы топтались в санузле перед зеркалом.

Вскоре прибыли и кавалеры. Один — сорокалетний коротыш в ковбойке и джинсах. Другой, блондинчик лет двадцати, сразу сумел оценить прочность дверного косяка, как он вообще дошел — загадка. Третий — полный самец неопределенного возраста, в белой рубашке при галстукe, лацкан пиджака украшал «пошлавок».

И вот уже царствуют на столе бутылка «Столичной» со святою бутылоч портвейна, окруженные сострепанными на скорую руку закусками.

— Сплошная серость! — сказала Королева тихонько.

Ее подруги старались изображать радостное оживление. А может, оно было настоящее?..

— И такие смеют встречаться с культурными, знающими языки, образованными женщинами! — шипела Королева.

Действительно, для культурных женщин, знающих языки, эти кавалеры были грубоваты. Хотя, размышлял Кент, с ними все же веселее общаться, чем с чужаками из тайги...

Веселья не получилось. Пошептавшись в «вестибюле», красавицы позвали Кента проводить Ее Величество. У нее было испорчено настроение, и от этого она, увы, не похорошела.

Шли молча. Кент не знал, о чем говорить.

— За что?! Отчего недоступно мне то, что другим женщинам доступно? — неожиданно простонала Марго. — Других доби-ваются, на них женятся... Ведь я красивая, культурная и не дура же... Разве я меньше других достойна уважения, счастья? Я искала героев Грина, Лермонтова, Хемингуэя... Видно, все погибли на войне. И вот — «почему бы не слопать собачке кошку»...

Кент ничего не понимал — о какой еще кошке речь?

— Так однажды сказал один: почему бы не слопать кошку, если она не возражает, то есть меня... Он, видите ли, не собирается два года носить цветы и вздыхать. Он, видите ли, считает, что женщины этого и не требуют, что сами мужчины придумали все это!..

«Но ведь и от меня она, помнится, цветов не ждала!» — подумал Кент.

Пришли к ней. Едва вошли в коридор, услышали крик:

— Ты что, разучилась здороваться?!

За их спинами метнулась и скрылась длинная тень. Марго вздохнула, вставила ключ в замочную скважину своей двери. Появилась, вероятно из кухни, сухонькая старушка и направила на Кента острый сердитый нос. Опять открылась дверь в дальнем конце коридора, из нее высунулась кудлатая голова. Марго была, видно, вынуждена как-то объяснить Кента старушке.

— Мой друг, — сказала она сухо. — Журналист.

— Теперь журналист! — ехидно сказала старушка, обращаясь, очевидно, к голове.

Вошли в комнату. Марго устало плюхнулась в кресло.

«Мя-у-у!»... Изабелла совершила прыжок. Кент ощутил адскую боль в загривке, в который вцепилась эта королевская любимица. Попытался было ее погладить — она укусила его за палец и молниеносно взлетела на гардероб. Марго весело смеялась:

— А ведь она не со всеми играет!

Кент гадал, обидится Марго или нет, если он откроет «Розенлев» и достанет коньяк.

— А у тебя не было ничего... настоящего? — задал он ей вопрос и решительно открыл «Розенлев».

Королева казалась удивленной:

— Как?! А Ландыш! Ты разве не знаешь? Он же был моим мужем...

Наступила очередь Кента удивляться. Вот номер! Ландыш не говорил об этом.

— После... были и другие, — сказала она. — Приходили. Были и ушли. Или я их прогоняла... Я так устроена, что все надеюсь: а вдруг...

Что «вдруг»? — не понял Кент. Кого «вдруг» ждет она?..

— Мне не нужен, — говорила она, — образец мещанского счастья: машина под окном, собака, квартира, солидный муж — нет! Но я всему этому все равно завидую, потому что это лучше, чем такая жизнь, как у меня теперь. Хочу обратно в природу, в деревню, хочу, чтоб было спокойно, как тогда, когда был Ландыш. Но я не умею быть одна. Да и в деревне скука...

В прежние времена художники, писатели, поэты жили в глуши, в захолустье и создавали шедевры... Теперь никто не хочет уйти из города, как будто в этом бедламе скрыты все сокровища — материальные и духовные... Выведи, пожалуйста, Изабеллу во двор.

Кенту не улыбалось гулять с этой наглой тварью, но он подчинился.

Маргарита встала, потянулась, достала с гардероба кошку и была в этом жесте грациознее, чем сама кошка. Кент схватил Изабеллу и спустился во двор.

Спускаясь в лифте, который, оказывается, иногда все же работал, он думал с раздражением: «Что же, так и буду у нее человеком при кошке?» Не такой ему представлялась железная удача. Смутная тревога и тоска овладели им. «Там, когда собираешься в путь-дорогу, все представляется иначе. Вернее, никак не представляется, просто там все это еще впереди. Теперь же, когда самое трудное, казалось бы, позади, опять повторяется все то, что было всегда, что в конечном счете возвращало его «туда»: он при кошке или при бабе, есть и выпивка и жратва и на работу пока не гонят. Но в том-то и дело, что все это «пока»...

Ее не «оседлать», Маргариту эту, — к ней и до него приходили всякие: были и ушли, или она их прогоняла сама. Ясно, что и Кент не тот «а вдруг», кого она ждала. Значит, в один прекрасный день она и его выметет...

Нет, он не станет дожидаться, чтоб его выгоняли. Он сам хлопнет дверью. Не мешало бы заглянуть в ее казну на дорогу, но, пожалуй, нельзя: подруга Ландыша все-таки. А уйти — уйдет!.. Душа тянет в края, где его старые друзья и подружки, где также найдется выпить и закусить...

Прогулять кошку оказалось сложнее, чем можно было предположить: едва он выпустил Изабеллу из рук, на нее накинулись сразу три кота. Во дворе началась такая карусель, что Кент и понять не мог, где чья кошка. Он увидел белый хвост, который мелькнул за воротами, увлекая за собой всю эту мяукающую ораву. Напрасно он кричал: «кис-кис!» Изабелла пропала.

Королева была в отчаянии. Они обошли весь квартал, заходили во дворы, в подъезды, звали, умоляли, искали почти до утра — эту скотину не нашли. Утром Марго взмолилась:

— Сходи, пожалуйста, на живодерню...

Еще чего не хватало! Но это в последний раз...

Кент с трудом отыскал живодерню, но и там Изабеллы не было. Вместо нее рабочие предложили по рублю за штуку полный мешок кошек любого цвета.

Вернувшись, устроили достойные поминки изабеллиной душе. Затем Королева проводила Кента на автобусную станцию. На прощание поцеловала.

Вперед! О Ландыше так больше и не вспомнили...

Глава 13

Что они о Ландыше не вспомнили, мне, Автору, немало повредило: я так и не сумел последовательно восстановить рассказанное Маргаритой о Феликсе. И я опять не знал, что предпринять с таким незадачливым героем. Он никак не сочетался с Марго, и я был вынужден их развести. А дальше что?

Обычно я полагал, что можно запросто создать роман или рассказ за счет одной лишь фантазии, имея какие-нибудь самые незначительные конкретные образы или ситуации в качестве отправной точки. Я полагал, что можно легко создавать произведения, импровизируя и не слишком ломая голову над планированием будущей вещи. Я целиком доверял импровизации, а она вот подвела меня. Теперь, оказавшись со своим бездомным героем в дороге и не имея понятия о том, куда эта дорога ведет, мне пришла пугающая мысль: несерьезно все это! Во имя чего затеял я этот рассказ? Приключения... Но они чему-то должны служить, должны быть как-то обоснованы.

Я показался себе отцом, прогнавшим из дома сына на произвол судьбы... Разве не так поступил я с Кентом: породил, сделал неудачником, заставил нарушить закон и бросил.

Конечно, бросил. В тот самый момент, когда я написал о его решении покинуть Маргариту, пока та не выгнала его сама, я его и бросил: сам-то я сидел в самолете и летел домой, в Москву, один, без него. Я не мог взять его с собой — мне некуда было его девать.

Я решил дома спокойно и трезво осмыслить положение,

посоветоваться со Станиславом, а Кент пусть пока погуляет, где хочет.

Я летел домой, а на душе тревожно. От душевного взлета, с каким я начал свой роман и вырвал аванс, не осталось и следа. Думая о Стасе, я не мог отмахнуться от мысли, что неудачно выбрал и тему, и героя. Зачем надо было вытаскивать его из тюремных стен, когда не кого-нибудь, а именно Станислава окружает целый мир, заключающий в себе и негативные и позитивные явления, — мир, в котором столь много не до конца понятого, решенного, в котором каждый день происходят новые открытия, ставящие людей перед необходимостью создавать новую педагогическую науку, новые, более современные методы преподавания, подходы к человеческому сознанию, и это — педагогика! — действительно настоящая борьба за лучшее будущее, хотя и нет в ней романтических приключений и рискованных поступков.

К тому же, разве мало книг, в которых преобразование отрицательного в положительное изображено не хуже, чем это смог бы сделать я в своем романе о Феликсе Кенте? Ну, опишу еще раз «малину», бродяг, попавших под влияние облагораживающих, исцеляющих направлений жизни, пришедших, наконец, к заключению: так больше жить нельзя. Так что же это, если не повторение уже сделанного, уже существующего?

Описание трудностей и риска, какие испытывал Кент в своем побеге, а также тех, которых образ его жизни ему неминуемо принесет, никого не страшит, не отталкивает: на бумаге самые страшные ситуации выглядят даже привлекательными. Часто получается так, что читатель прямо упивается всякого рода опасностями!.. Для него само слово «опасность» обладает магической, притягивающей силой. Представьте себе киноафиши с такими, например, заглавиями: «Опасный побег» или «Опасная погоня»... Обыватель бегом ринется за билетом, и можно сказать с уверенностью — зал будет полон.

Тем не менее Кент у меня уже есть, и даже убить его теперь не так-то просто, хотя этим я и мог бы освободиться от него...

А между тем совершаются же убийства просто так, и по пьянке убивают же люди, тебя не спрашивая, и смерть так естественно вписывается на страницы жизни. Вот хотя бы сейчас: если этот лайнер клонет носом, помчится вниз и врежется в землю? Конец. Ты встретил редактора, который

перечеркнул все, что ты сделал, и твою собственную судьбу, который, ни с кем не считаясь, вносит свои коррективы по своему определению. Так почему же жизнь может так естественно предложить смерть без особой логической подготовки, а я на своих страницах боюсь убить Кента, мною же созданного?

Пока я раздумывал обо всем этом, самолет приземлился на Внуковском аэродроме.

Дома, едва я вошел в подъезд, судьба преподнесла мне хотя и не смертельную опасность, но нечто малоприятное, — во всяком случае, она внесла в мою жизнь и на самом деле неожиданные коррективы.

Я, естественно, прежде чем подняться к себе наверх, достал почту и в кипе писем, газет, журналов обнаружил тощенький желтенький конвертик, который не сразу бросился в глаза. Полистав журналы, просмотрев другие письма, я, наконец, вскрыл этот конвертик и нашел в нем повестку, приглашавшую меня в отделение милиции...

Что бы это могло означать? — вопрошал я себя, но ничего путного не придумал. С милицией как будто никаких дел я не имел — не я же удрал из колонии, а мой герой! Так что бы это могло означать? Ответ не заставил себя долго ждать. Нашелся внимательный человек, согласившийся объяснить суть дела, причем со всеми подробностями. Это был следователь, а встретился я с ним в его кабинете, куда был приглашен повторно — теперь по телефону.

Телефонное приглашение вроде бы ничего плохого не предвещало: оно было произнесено обыденным, даже скучным тоном, словно речь шла о потерянном носовом платке: «Заходите, когда найдете время»... Не зная сути дела, я доверчиво отправился в милицию. Здесь я узнал, что носового платка не терял, а в тот вечер, три недели назад, когда в ресторане «Лира» в обществе малознакомой компании гасил джином бушевавший в моем сердце огонь творчества, кому-то — не то Геллеру, не то Келлеру — весьма основательно повредил голову, говоря точнее, хватил его бутылкой по башке. Каким-то образом мне удалось тогда уйти, несмотря на то что одна молодящаяся дама с хорошо поставленным голосом, оказывается, призывала на мою голову небесные кары.

Следователь зачитал мне показания свидетелей. Один из них даже свидетельствовал в мою пользу: он слышал, что этот

Геллер-Келлер оскорбил девушку, с которой я пытался якобы танцевать (бог ты мой — я же не танцую!). Я назвал его ослом, и он — свидетель видел! — бросил мне в лицо рюмку вина, а я в ответ ударил его бутылкой.

Мне повезло: следователь оказался гуманным — он взял с меня подписку о невыезде из Москвы и отпустил. А я в тот же вечер... ехал в Таллинн и жарил мысленно на вертеле даму, у которой хорошо поставлен голос. Что же касается Келлера-Геллера, он, оказывается, находился в больнице, и врачи были в полном неведении относительно того, выйдет он оттуда сам или его вынесут.

Должен пояснить: я, конечно же, его совсем не знал, и скорее всего, ни он ко мне, ни я к нему в нормальном состоянии не испытывали бы никакой неприязни. Все случившееся — следствие того, что мы просто-напросто перепилились. Ужасно! Этак и человека можно убить и забыть, продолжая гулять со спокойной душой... Как я и гулял, создавая свой роман, который рос, как чудо-ребенок, не по дням, а по часам. Ведь за сравнительно небольшой отрезок времени я все-таки сочинил целый вихрь приключений, а вместе с ними описал и маленький кусочек реальной жизни... Теперь я ехал в Таллинн и вез с собой несколько бутылок «Столичной» водки для Юхана — Медведя из Керну, местечка в сорока километрах от Таллинна. Собственно, нацеливался я на его старый хутор в лесу. Эти пожилые крестьяне построили новый дом недалеко от шоссе, что для них намного удобнее, чем лесной хутор, к которому в плохую погоду и не добраться по утопающим в грязи дорогам. Осенью и весной единственно мыслимая обувь в этих местах — резиновые болотные сапоги. Новый дом Юхана, шестидесятилетнего богатыря, местного тракториста, и его седенькой худенькой, большеглазой жены, еще недостроен, но они уже в нем поселились, хотя мебель и прочее имущество остались на хуторе «Соловья». Когда-то проездом я обмолвился, что хутор — отличное место для работы, и Юхан сказал, что будет рад, если я там поселюсь на время: и дом будет отапливаться, и вещи не отсыреют.

Прибыв в Керну, я с Юханом распил бутылку «Столичной», которую он обожает, и, договорившись о деталях: где лежат дрова, как топить баньку, — я обосновался на хуторе «Соловья», куда он меня доставил на тракторе. Пешком пройти было

невозможно. Чтобы я мог совершать прогулки по окрестным лесам, он дал мне свои резиновые сапоги.

Дом давно не топили. Сырость в нем была хуже, чем в тайге. Я затопил сразу все имеющиеся в доме печи, отыскал постельное белье и приготовил в одной из комнат постель. На всем лежал густой слой пыли: на книжных полках, на столах, подоконниках; в вязаных занавесках — полно дохлых мух, они застряли в них, словно рыба в сетях. Принялся за уборку, и часа через два выбранное мною помещение стало выглядеть весьма уютно. Разложил свои вещи, подготовил стол для работы. Покончив с этим, пошел к колодцу, умылся, присел отдохнуть.

Тишина, окружавшая меня, была поразительной — ни звука, кроме потрескивания поленьев в печах и завывания ветра за окном. Уже наступила ночь, темень и вой ветра еще более подчеркивали тишину. Вот когда я совершенно явственно ощутил: я один.

Я знал, что в лесу были еще хутора. Но они стояли далеко друг от друга и были заселены одними древними стариками и старухами — пенсионерами, желавшими провести свои последние годы в родных домах, лесах и полях, с которыми были связаны всю жизнь. Они мало общались, встречались только у одиноко стоявшего пустого дома на повороте дороги, которая вела к шоссе. К этому дому в неделю раз приезжала автолавка — привозила хлеб и все необходимое. Сюда же доставляли почту. Старик покупал вино, угощали друг друга, вспоминали былое, а старушки поверяли одна другой новости о дочерях, внуках — кто на ком женился, кто с кем развелся. Здесь и мне предстояло покупать еду.

Я бродил по лесам, кишевшим кабанами, дикими козами, и ломал голову над сюжетом моего романа, который так неожиданно пришлось оборвать... Что будет с Кентом? Насколько мне известно, его ждали новые приключения. Кента ждали приключения, а Автора — пленительная игра воображения, игра тем более заманчивая, что в руках Автора оказался целый букет потенциальных героев, начиная с самого Кента и кончая теми, с кем его могли столкнуть события, придуманные Автором... Где он теперь, мой невезучий Кент? Может, опять встретился с чужаками?

Благодаря суровой действительности, так неожиданно вмешавшейся в личную жизнь Автора (я имею в виду вызов в

милицию), пришлось подумать о том, чтобы переставить акценты в будущем романе, поскольку случившееся с Автором было тесно связано с причиной неудачливости его героя. Я решил создать новый роман о любви. Всем известно, как строится роман о любви, — здесь самым жанром намечена конкретная схема: он, она плюс третий лишний; потом могут быть дети, даже внуки, житейские трудности, переживания и, естественно, все существующие в обиходе благозвучные определения морали, такие, как честь, благородство, верность, преданность, долг, совесть и другие. Из всего этого, из всех этих снадобий и приправ, и следовало варить суп с любовью, в котором главным должна быть борьба позитивного и негативного, чтобы этим самым подчеркнуть воспитательную функцию романа.

Теперь мне это казалось важнее и интереснее, чем роман приключений с Феликсом Кентом в качестве главного героя. Но ведь о любви написано так много!.. Надо, чтобы в романе о любви была проблема, да такая, которая волнует всех честных и здравомыслящих людей. Я долго ломал голову, пытаясь найти такую общечеловеческую проблему, и вот сама жизнь натолкнула меня на проблему алкоголизма, хотя и об этом написано немало.

Да, проблема не нова. Но где взять проблему, которую можно назвать новой? Да и есть ли такие? Могут быть проблемы, о которых не говорят и не пишут. Но проблем новых, наверное, нет. А в таком случае мой замысел может стать вполне оправданным.

Скажем так: алкоголик, не поддающийся никакому лечению, обретает новую жизнь с помощью любви прекрасной женщины. Чем плохо? Но здесь вопрос опять-таки упирается в героиню. Алкашей навалом, за ними дело не станет. Им, то есть героем, по-прежнему может оставаться тот же Кент. Но где найти эту прекрасную женщину?.. Где найти такую одухотворенную женщину, способную полюбить преступника, да еще алкоголика? Я ведь искал такую для Кента и не нашел.

Проблема! Я ведь не сумел ее выдумать. Мне нужно не проявление жалости к больному, мне нужна могучая, излечивающая сила большой любви!..

Я бродил по лесам, обдумывая роман, и сражался с мухами. Ожив от неожиданно наступившего тепла, они сотнями выле-

зали из всех щелей и раздражали назойливым жужжанием — жирные, черные. Ночью они имели наглость кидаться с потолка на подушку — видимо, их привлекал белый цвет наволочки, — падали мне на лицо, я просыпался в страхе. По утрам выгуживал из колодца крыс. Сначала я думал, что они попадали туда случайно и погибали из-за неумения плавать (хотя известно, что крысы плавают), и продолжал варить супы из этой воды. Потом пришел к выводу, что крысы лезут в колодец мне назло...

Чтобы не было скучно, принес с хутора по соседству трехмесячного щенка. Таскать же оттуда воду было трудно — три километра.

Так миновал месяц, за ним другой. Дрова кончились, крысы — нет; я исписал много бумаги, и, наверное же, все годилось только на растопку... Приближался день приезда Зайца.

В тот же день я хорошенько натопил печь, сходил-таки на хутор по соседству, принес ведро чистой воды, затем сытно накормил щенка и поехал в город встретить Зайчишку. Для этого надо было обуться сперва в резиновые сапоги, добравшись до шоссе, переобуться в ботинки, а сапоги спрятать в кустах, чтобы, вернувшись из города, повторить то же самое в обратном порядке. У Зайчишки, я знал, не было резиновых сапог: обратно нам предстояло добираться на тракторе Юхана.

Приехав в город, я не знал, куда себя девать. Решил зайти в клуб работников искусств. Позже вспомнил, что все неразумные дела происходят главным образом от безделья. Едва разделся, едва вошел, встретил знакомое лицо, пригласившее меня к столу. Потом знакомых лиц оказалось много: я ходил от стола к столу и вскоре достиг «уровня». Только выкачнулся я из клуба, как был подхвачен под руки двумя личностями в сером и переведен через улицу в вытрезвитель. Я напрасно доказывал, что рестораны, кафе и клубы (кроме клуба трезвенников) для того именно и существуют, чтобы люди могли в них общаться и, естественно, выпивать. Напрасно, потому что был нетрезв, а по закону нетрезвых надо вытрезвлять...

Утром, взяв у тамошних доверчивых сотрудников на память бумажку, обязывавшую меня в будущем выплатить пятнадцать рублей, я был выпущен — в виде исключения чуть пораньше, чтобы не опоздать к прибытию поезда.

Подходя к вокзалу, встретил мужчину с маленьким мальчиком, который показывал на меня пальцем и о чем-то расспра-

пывал отца. Я услышал голос мужчины, который сказал: «Нельзя пальцем показывать на людей». Я, конечно, был помят, небрит. И я подумал: люди не любят, когда на них показывают пальцем. но ведь и я показываю своей писаниной на людей пальцем, а сам я разве лучше тех, на кого показываю?..

Глава 14

Мой отъезд из Москвы произошел с такой внезапностью, что мы с Зайцем и поговорить толком не успели. В нескольких словах, вкратце, успел я ей объяснить создавшееся положение и рассказать о своих планах.

— Ну вот... — сказала она как-то безнадежно.

И мне без продолжения было ясно, что она могла бы сказать еще. Неужели действительно настал тот роковой момент, неизбежность которого она нередко предвещала? Я вспоминал, как яростно она сражалась с моими друзьями, стараясь оттащить их от моего дома, — не всех, а тех, кто без бутылок никогда не приходил. Вспоминал и ее суеверное, как мне казалось, пророчество: добром это не кончится! А я видел во всем этом своего рода ревность и доказывал, что почти все великие поэты, художники и писатели — пили, и вреда их творчеству от этого не было.

Но, в сущности, я относился к ее предупреждающему голосу так же, как относятся семнадцатилетние к заветам родителей: вечно вы каркаете!.. Но семнадцатилетним-то, может быть, и простительно, а вот мне...

Зайчишке казалось, что мне не следовало уезжать, не дождавшись дальнейшего развития событий. Но они могли развиваться по-разному, именно поэтому я и уехал. Все зависело от того, что будет дальше с потерпевшим — выживет или нет. Пока что он находился в больнице и меня разыскивали. А я сидел в глуши, на хуторе, и обдумывал свой роман. И следовательно не знал пока, кем я для него являюсь: мелким хулиганом, учинившим драку в общественном месте (три года), или, если Келлер умрет — убийцей. Все зависело от крепости головы Келлера

Я ничем не мог оправдать свой отъезд из Москвы, кроме как

надеждою на здоровье Келлера. Если он выживет, а я за это время закончу роман, не так трудно будет выпутаться: ведь победителей если и судят, то не слишком сурово, а мелкое хулиганство — оно мелкое и есть. А что Келлер непременно выздоровеет, я в это верил фанатично.

Мне трудно было убить Кента лишь потому, что он был мне еще нужен, и еще потому, что он был мой... Вместо него я случайно ударил другого, ни в чем не повинного человека. Ведь нельзя же убивать людей из-за такого пустяка, как выплеснутая в лицо рюмка вина в пьяном состоянии!..

Что привезет Зайчишка, какие вести?

Приятно встречать поезд, когда в нем прибывает твой друг. Раскаживая по перрону, с завистью поглядываю на встречающих с цветами и думаю с сожалением о том, что мало дарил Зайчишке цветов... Вспоминается ее последнее письмо — доброе, ласковое, как всегда, и особенно подпись: «Твой маленький друг».

Представляю, как она собиралась ехать ко мне (как всегда, когда ехала меня навещать куда-нибудь): за пять дней до отъезда упаковывала вещи, не спала по ночам, соображая, все ли уложено, не забыла ли чего; как по нескольку раз считала-пересчитывала деньги, которые должна мне привезти, — не затерялся ли где рублишко...

И вот он ползет, поезд, не спешит...*

Вагон восьмой. Где он? Вот!.. А вот и Зайчишка высунула упки из вагона, вынырнула с чемоданом, в зеленом пальто, на голове — белая велюровая шляпа, из-под нее выглядывают ее милые доверчивые глаза-орешки.

— Здравствуй, Заяц!

— Здравствуй, друг!

Как приятно. Домашне. Спокойно.

На улице холодно, дует пронизывающий ветер. В это утро даже слегка подморозило. Надо ее быстрее посадить в такси.

— Ты привезла денег, Зайчишка?

— Разумеется, привезла.

Она не замечает ни того, что я небрит, ни того, что помят.

— Ты не болеешь? Хорошо питаешься?

— Зайчик, со мной все о'кей!..

Такси достать невозможно — очередь огромная. «Левым» путем достаем машину, едем. Заезжаем к Юхану, потом я

отыскиваю в кустах сапоги, садимся на трактор и, наконец, часа через два оказываемся во дворе хутора «Соловья». Ох, Зайчишка, какими глазами смотришь ты на все это!.. Двор грязен, истоптан кабанями. Из пристроек сохранились баня и амбар; за ними — запущенный сад с яблонями, кустами смородины. Дико все вокруг, уныло. Потому и взял щенка — живая душа рядом...

Щенок сидит на постели и с наслаждением грызет мои новые носки... Что делать! Он еще ребенок. Увидев щенка, Заяц вскрикнула радостно: «Ой, сдохнуть можно!» Не очень-то поэтично, зато чистосердечно. Так она выражает свой восторг по любому поводу. И, конечно же, это касается моего устройства на хуторе, и, конечно же, замеченного ею в огромной мрачной кухне старенького дамского велосипеда: ее давняя мечта — научиться кататься на велосипеде...

Но вот ее взгляд остановился на батарее пустых бутылок из-под водки, и она помрачнела...

— Да нет, Заяц, это не мои! Они здесь были до меня — охотники оставили. (Впопыхах забыл их спрятать.) Рассказывай лучше новости. Как Келлер? Что заложила в ломбарде? Кто мне звонил? Привезла ли почту? Не вызывали ли тебя куда-нибудь?.. Что делают Стась с Наташей? Не намечается ли у них прибавления семьи? Говори, Зайчик. Мне надо знать все столичные новости.

— Пока все спокойно, — говорит она. — Есть повестки, но не очень требовательные. Работай спокойно...

Гора с плеч... Но о Келлере она ничего не знает. Ей неизвестно, в какой он больнице. Мне — тоже...

— А Стась?

Станислав — учитель. Его особой страстью является, как я уже писал, перевоспитывать, иначе говоря — переубеждать. Он считает, что умеет убеждать людей (разумеется, тех, кто в этом нуждается) правильно думать, правильно понимать вещи, вследствие чего люди, естественно, и жить могут более или мне правильно. Работает он в школе-интернате олигофренов, как будто нет на свете больных более перспективных...

Впрочем, он сумел доказать мне обратное:

— Почему-то люди об этих детях говорят: олигофрены... Стало быть, это прежде всего, а уже затем люди. А я считаю, что они прежде всего люди и по несчастью олигофрены.

Что ж, не исключено, что он прав, ведь люди и бандитами не рождаются. Они ими, случается, становятся впоследствии. Наше знакомство со Стасем началось, когда я случайно набрел на здание института дефектологии. Не сознавая толком — зачем, я вошел. У первого встречного спросил, где найти директора. Потом сообразил, что мне хотелось узнать и понять, чем занимается институт дефектологии. Познакомился с одним из сотрудников. Он меня познакомил со своими коллегами, среди них оказался и Стась, который в тот день замучил меня какими-то своими теориями, относящимися к «Преступлению и наказанию» Достоевского.

Мы подружались, хотя люди мы, конечно, разные. Он, например, совершенно не употребляет алкоголя. Основой моих с ним взаимоотношений служили своего рода споры-анализы, в которых один как бы дополнял другого. Иногда мне казалось, что я для него был вроде верстака, на котором он обстругивал и сколачивал собственные мысли, доводя их до необходимой ясности. И еще я подозревал, что он пытался тихо и незаметно перекроить на свой лад мое мировоззрение. Мы с ним, случалось, находили общий язык, и это меня настораживало: это смахивало на тактику Кутузова, заманившего Наполеона...

Во всяком случае, Стась мне нравился. Он приветлив, щедр во всех отношениях, непрактичен в быту, принципиально упрям в деле, и у него есть хобби — рисование. Приятно дружить с Человеком. Если сам не можешь ничем особенно похвастаться, приятно знать, что хоть друзья твои настоящие.

— О прибавлении семейства у них не знаю, — говорит Зайчик, — да им довольно Вождя краснокожих. Дай Бог с нею управиться!..

Вождь краснокожих — это четырехлетняя дочурка Станислава Леночка. Свое прозвище она заслужила честно. Она полностью соответствует образу маленького головореза из рассказа О'Генри и даже, мне кажется, превосходит его. Хотя она еще и маленькая, принимать ее можно маленькими порциями. И в кого она уродилась — непонятно. Стась — спокойный, уравновешенный, даже производит впечатление человека не от мира сего; Наташка, его полутораметровая кругленькая жена, еще более тихая.

— Заяц, пожалуйста, вывози из моей квартиры все, что представляет какую-нибудь ценность. (Ей не слишком много

придется трудиться: у меня всего лишь несколько десятков книг, кое-какая одежда, постельное белье.)

— Как Гусь? — интересуюсь (это ее сын).

— Живут... — Заяц грустно вздыхает. — Ссорятся, кричат друг на друга. Делать ничего не хотят: ни работать, ни даже убирать в квартире...

Гусь — данное мною дружеское прозвище пасынку. Когда он пришел из армии, женился. Жену (ей не было восемнадцати) привез из Томска. Существо с детской мордашкой, предельно самовлюбленное и наивное. Если сложить самомнение обоих, получится небольшой домашний Александр Македонский. Ах, да что говорить! Кто в восемнадцать лет не считал себя выдающейся личностью!..

А Зайчишка! Сколько забот, сколько хлопот... Свадьба на носу — кольца надо, а золото подорожало. Сложив два мужских гардероба, скомбинировали одного мало-мальски приличного жениха. Это не беда. Бедность — не порок. Я на свадьбе был тамадой, тоже дело хлопотное: стол организуй, гостей весели, хоть зубами хвост свой лови, танцуй, пой, анекдоты рассказывай, вино пей, шампанское наливай... Обошлось. Все хорошо. Возникли свежие супруги: 18+21 — на двоих 39. Ничего. И как выросли в те дни Зайчиные уши!.. Эти ушки прислушивались теперь к каждому слову, произнесенному молодыми, прислушивались к интонации — все ли у них хорошо.

А они оба — избалованные мамами, ничего не смыслящие ни в жизни, ни в любви, ни друг в друге. Невесте, кроме всего, виделись сны наяву — о больших заработках, о карьере... Бедный Заяц!

Однако теперь Зайчик здесь, со мной, и нам хорошо, тепло и радостно. Варю ей кофе. Жалуюсь на свои трудности, читаю отрывки из рукописи. Она не ахти какая советчица, но всегда готова слушать хоть до утра, даже если пришла с работы усталая.

Строим планы, ищем пути, какими мне выбраться из создавшегося положения, но пока ничего реального не придумаем.

— Пока не выяснится, что с Келлером, говорит Зайчишка, — тебе в Москву нельзя. Не дай бог умрет...

О, не дай бог!.. Но хватит думать о плохом.

— Одевайся, Заяц. Сегодня подморозило, в лесу найдется сухая тропинка. Пойдем учиться кататься на велосипеде.

Мы идем в лес.

Зайчишка садится в седло, и начинается уже много раз проверенная история:

— Жми, Заяц, дави на педали! Я тебя держу, не отпущу! Жми! Дави!

Она давит, жмет, и я... отпускаю. Уже три метра проехала сама. Она не знает о том, думает, что я ее держу. А надо, чтобы она в свои способности поверила. Забегаю вперед и кричу:

— Заяц! Ты едешь сама. Так держать! Жми, дави, иди ко мне...

И она тотчас падает, едва успеваю подхватить. Испугалась своей самостоятельности! Когда была уверена, что ее поддерживают, справлялась, а увидела, что едет сама, упала. Так, наверное, со всеми в нашей жизни бывает: обязательно надо знать, что есть кто-то рядом, и тогда будто сильнее становишься и сможешь преодолеть трудное. В этом, наверное, и заключается смысл общения людей...

Мы катаемся. Я поддерживаю Зайца, она блаженствует. А мне надо собраться с мыслями: кому и что передать в Москве. Времени у нас мало, ведь она приехала только на один день. Она должна вернуться, чтобы успеть на работу. Боюсь, как бы не вышли у нее из-за меня неприятности. Жизнь со мной — не конфетка: я во все сую нос и получаю за это щелчки. Недоброжелателей хватает, да и характер, вероятно, оставляет желать лучшего. И все же... терпит.

Возвращаясь домой, говорю о намерении перебраться в Ригу — надоел крысиный бульон.

Я тоже хочу в Ригу! — говорит Зайчишка, которая разве что только в Ригу еще не приезжала ко мне. Где она только не побывала... Впрочем, видеть Ригу — ее давняя мечта. Но я еще не знаю, как там устроюсь.

Ты помнишь Харолда? Того, в очках... Он ко мне в Москве приезжал. Я еще «стащил» у него из портфеля три бутылки бренди, привезенных им, вероятно, для более нежной московской встречи... Он обещал для меня в Риге что-нибудь подыскать.

Опять какую-нибудь женщину...

Не надо думать, что Зайчик ревнует. Она просто высказывает

предположение, и, кто знает, возможно, так оно и будет.

— Но ты же знаешь, как мне важно найти главную героиню...

Зайчишка вздыхает:

— Я не верю в безгрешных мужчин... Это наша женская доля и привилегия — быть верной и ждать... Всю жизнь ждать!

Так мы с ней беседовали в тот день в лесу. А на следующий день на перроне таллиннского вокзала расстались. Она поехала в Москву, где ее ждал Гусь, а я — в Ригу.

Глава 15

В Риге, у выхода с перрона, меня ждал Харли (Харолд), хотя такой вежливости от него никто не требовал. Я ему писал, что, когда приеду, — позволю, и мы договоримся, где встретимся.

Конечно, он был с этим своим дурацким огромным портфелем, без которого я его уже не представляю себе. Внешне он напоминает бизнесмена: лет тридцати пяти, кругленький брюнет, в очках, модном пальто, с неизменной лыжной шапочкой на голове. Всегда спокойный, осторожный, во всем предусмотрительный. Думаю, никаких легкомысленных поступков в его жизни не было и не будет.

Прежде всего отправляемся в кафе. Это стало у нас традицией. И это лучше, чем если бы мы пошли к нему домой. У него однокомнатная квартира. Обстановка в ней тщательно продумана: все на своем месте. Придя домой (даже только на обед), он непременно переодевается в пижаму, с полчаса моет руки и, прежде чем сесть за стол, глотает витамины из разных пузырьков, потом пьет морковный сок, еще какие-то соки и только после этого начинает есть суп. Такой режим, наверное, и помогает ему сохранить обаятельную внешность. Когда же мы идем в кафе, он задает свой тоже традиционный вопрос:

— Что будешь?

Он имеет в виду, конечно, еду, хотя знает мой столь же традиционный ответ:

— Я не едок, Харли, я — алкоголик.

Было время, когда это признание звучало как шутка, теперь же... было близко к истине.

Он улыбается одними, я бы сказал, очками и уточняет:

— Тогда бальзам? Или хочешь коньяк?

Я, разумеется, хочу коньяк. Себе он ничего не берет: у него, видите ли, лекция на носу. Я пью, он смотрит на меня, мы говорим. Я прикидываю, как бы выудить у него сколько-нибудь монет, — у меня они вечно отсутствуют, в силу чего вышеописанная традиция, собственно, и сложилась. Чтоб он охотно раскошелывался — не скажешь, хотя и знает, что иногда я долги возвращаю...

Итак, не вдаваясь в долгие объяснения, Харолд дал мне адрес, номер телефона и назвал имя. (Он тем и хорош, что никогда ни о чем не расспрашивает.) Зайчишка была права: это была женщина, и звали ее Ангелина. Мне, естественно, хотелось предварительно знать, что она собою представляет: сколько лет, общественное положение, каковы бытовые условия, какими обладает слабостями, на основании чего имею право ей представиться — все, что можно. Но у Харли в десять ноль-ноль лекция, и бесполезно пытаться на него давить, он невозмутим.

— Разберешься на месте. Завтра в девять позвони.

И вот я уже сижу в трамвае, который везет меня навстречу чему-то новому. В душе надежда: возможно, здесь-то она и скрывается; она, Ненайденная, главная героиня, без которой не существует ни одного достойного романа.

Вот и моя остановка. Слезаю. А вот и дом, четырехэтажный. Нахожу телефон-автомат, набираю номер и слышу женский голос.

— Ангелина?

— Да. Где вы?

— Близко. Иду... Лечу!

Слава аллаху, она живет на первом этаже. Звонить не надо — дверь приоткрыта. Скользнув внутрь, вижу черноволосую даму с глазами, полными неги и страсти. В ее возрасте сомневаться не приходится. Дальше порога не пускает.

— О-о!.. Это надо обязательно снимать.

Начиная с низких тонов, ее голос к концу фразы доходит до дисканта. Не успеваю опомниться, она уже очутилась у моих ног и сдирает с меня обувь. Как будто сами пришли, объявились шлепанцы. Пошевеливаю в них пальцами — просторные. Чья? Ах, господи! Какая разница...

Первым делом, едва я разделся, она сообщила:

— У меня совершенно нет чувства юмора, должна вас об этом предупредить.

Большое спасибо! Из-за этого славного чувства я часто попадаю впросак. Есть люди, у которых оно развито, с ними легко; у других лишь наполовину, и с ними уже труднее; у третьих же отсутствует начисто, и с теми приходится тяжело, потому что у меня дурацкая, но неисправимая привычка — самые серьезные вещи говорить в манере несерьезной, то есть пополам с шуткой. Это у меня наследственное, от деда, у которого никогда нельзя было понять, когда он говорил серьезно, а когда шутил. Но какое дело до моего деда тем, у кого нет чувства юмора?

В квартире три просторные комнаты плюс кухня. Везде бесконечно много богов и богинь — бронзовых, из гипса, с которыми я, к сожалению, весьма слабо знаком; были здесь и черти с длинными хвостами, и ангелочки. Огромный письменный стол из черного дерева в одной из комнат также уставлен богами и божками. Богов много — коллекция? Возможно. Они красивы, но и черти тоже выглядели симпатичными. Я обалдело вертелся среди них, не зная, кому отдать предпочтение...

От приглашения последовать на кухню на предмет принятия пищи я, разумеется, не отказался и уютно устроился на понравившемся мне стульчике между холодильником и столом. Таким образом было нетрудно заметить в холодильнике, когда хозяйка доставала из него масло, бутылочки с прозрачной жидкостью, которая оказалась чистым медицинским спиртом. В этом не было ничего удивительного: Ангелина была фармацевтом и этот напиток, вероятно, употребляла в небольшом количестве и сама. Это нередко делают одинокие люди: прирешь «лекарство», и оживают черти и боги... Но прежде всего меня заставили драть лапы.

В дальнейшем обсуждался деловой вопрос: позволительно ли мне работать за этим шикарным письменным столом из черного дерева, проживая в квартире тихо-мирно, так, что и мышь не услышит. Оказалось, что для Ангелины это огромная радость: она об этом всю жизнь мечтала... О, как легко и просто иногда сбываются мечты! (Благодаря чьей-то голове и пустой винной бутылке.) Оставалось узнать место, где я буду поживать. Это место представляло собой широченную кровать с горой подушек

в одной из комнат, где, слава богу, преобладали не дьяволы, а фарфоровые нимфы. Красота! Какая разительная перемена обстановки! А то... крысы!

Нет, конечно, героиней здесь и не пахло — ее еще предстояло искать. Но я подумал, что в случае, если мою Ненайденную обнаружу в менее роскошной обстановке, то эту, в которой оказался по милости Харли, могу при необходимости предложить Ненайденной в качестве приданого.

Правда, и из Ангелины, если ее несколько уменьшить в росте, обновить кожу на лице и кое-где выпрямить ее фигуру, можно было попытаться сделать героиню, но ведь в ней, как она сама заявила, отсутствовало дорогое моему сердцу чувство юмора!..

Спирта она не пожалела и сама охотно выпила, отчего ее и без того румяные щеки зарделись еще больше. Закуска же заставляла желать лучшего — сосиски, яичница...

После ее третьей рюмки я стал жертвой немного тягостного душеизлияния. Она принялась жаловаться на свою одинокую безрадостную жизнь, и, чем больше пила, тем грустнее звучало ее печальное самобичевание.

— Я самокритична — считаю себя некрасивой, — говорила она, и я с нею вполне согласился, однако не сказав этого. — У меня плохая фигура, — говорила она, вздыхая. — Как плохо быть некрасивой! Обидно быть никому не нужной... Красота ценилась всегда, она описана всеми классиками. После чтения их произведений, где они с восторгом описывают бахрому ресниц и матовую бледность кожи, трудно подойти к зеркалу... Все привыкли считать женский пол воплощением нежности, грациозности. Недаром женщин считают прекрасным полом. Как обидно, что я позорю это звание...

О боже!.. Ведь это крик души... Решаюсь попробовать утешить ее, и язык мой залепетал о моем нестандартном понимании красоты. Как засияли глаза на этом крупном, действительно некрасивом лице! Говорю, что много на свете красивых пустышек, способных на подлость, предательство, измену: а верное сердце — разве это не основное достоинство женщины-друга?

— Любить женщину только за красивую внешность, — излагаю давно затасканную мысль, — все равно что ценить красивый бокал, а не его содержимое...

— Мне уже говорили об этом, — вздыхает Ангелина с

досадой. — Но мне жутко всегда только работать и сидеть дома, все время читать, быть одной, реветь и притворяться, что мне ничего другого не надо. На работе меня уважают, поздравляют с праздниками, дарят цветы. А потом я приезжаю в пустую квартиру и никто меня не ждет, не поможет снять пальто, не порадует со мной, не переживает за меня... Ах, я не жалуюсь. Это наболевшее...

Я почувствовал ее одиночество. Это мне и самому знакомо до тончайших нюансов...

Утром проснулся с каким-то странным ощущением, причину которого не сразу мог понять. Пожалуй, оно возникло от звуков... Я слышал топот. Было похоже, что кто-то бежал по квартире: «топ-топ-топ» в одну сторону, по направлению к входной двери, затем хлопанье двери, и откуда-то издали доносится звук, возникающий обычно, когда что-нибудь вытряхивают; потом опять хлопанье двери и... «топ-топ-топ» в обратном направлении. Что бы это могло означать?

Тут открылась дверь в мою комнату. Вошла Ангелина, и я поспешил притвориться спящим. Она подошла к старинному стулу с высокой спинкой, на котором висел мой костюм, и начала выгружать из моих карманов содержимое. Все извлеченное она тут же протирала влажной марлевой тряпкой, запахло хлором. Покончив с этим, схватила костюм и направилась к двери, прихватив и мои трусики. Нет уж, извините, всему есть предел!..

— Ангелина! Куда вы уносите мои вещи?

— Вытряхивать. На улицу проветрить.

И... «топ-топ-топ» — пропала. Было слышно, как яростно изгоняла она во дворе злых духов или микробов из моего несчастного костюма. Интересно, подумал я, так будет каждое утро?

Вскоре она вернулась, но... без вещей.

— Вставайте, милый. Сейчас пойдем в ванну, я вас помою, а потом будем кушать.

Ну, это уж слишком!

— Ангелина! Помилуйте, в чем же я пойду? Ведь я же совершенно раздетый!.. А потом, я всегда моюсь сам.

— Ничего, ничего, — сказала она ровным, спокойным тоном. — А сами вы так хорошо не помоеесь. Вставайте, вставайте, милый... Ну, что стесняться? Вы же не маленький!..

Она говорила тоном, не терпящим возражения, спокойно, но властно. Так медсестра убеждает больного, что ему нужно сделать клизму. Как я ни возражал, как ни спорил, пришлось вылезать из кровати, прикрываясь ладонями. Шлепанцы сами полезли на пятки, в прихожей на мои плечи набрасывается чей-то старый плащ.

— Он стерильно чистый, можете не бояться, — говорит Ангелина.

Я уже ничего не боюсь, но... зачем плащ в ванне? Она открывает дверь, мы идем по коридору. Вот будет номер, если кого-нибудь встретим! Выходим во двор. А ведь холодно! Хотел бы я сам на себя посмотреть в одно из многочисленных окон вокруг!.. Пересекаем весь огромный двор, затем ныряем в какую-то черную дверь и спускаемся по каменным ступенькам в подвал. Вижу дрова... Топор!.. Все?.. Нет, еще нет. Еще одна низенькая дверь. Мне уже все равно.

Наконец вот же она стоит — ванна! В помещении с земляным полом, около нее... пень — вся обстановка. На пне мыло и щеточка. Значит, все-таки мыться привели? В окно дует.

— Ну, давай, — говорит Ангелина нежно, — снимаем плащик и залезаем в ванночку, вода теплая.

Подчиняюсь. Она меня поддерживает, чтоб не поскользнулся. Вода действительно почти теплая. Деваться некуда — начинаю мыться. Но ее угроза помыть меня была не пустой: берет щетку и драит меня. Помогаю как могу. Наконец, слава богу, я готов. Хватаю полотенце — не дает. Сама меня вытирает. Может быть, мне всего лишь два годика?

Проклинаю Харли и вижу мысленным взором постель в купейном вагоне любого скорого поезда дальнего следования. Обратную дорогу из «ванной» я теперь знаю. Пролетел ласточкой всю дистанцию. Шлепанцы потерял — черт с ними!

На завтрак... манная каша!

— О боже! Ангелиночка, хоть немного спиртика! Умоляю!

После сложных тактических ходов удается вернуть всю личную собственность. Одеваюсь, беру портфель. Куда? Спешу на лекцию Харли. Не взять ли мне ключ? Нет, не стоит — приду поздно, когда она уже будет дома.

Наконец удастся выбраться из дома. И...

Прощай, письменный стол из черного дерева!

Прощайте, боги и черти!

Глава 16

...Кент доехал до Тирасполя, где рассчитывал найти старых друзей. Здесь, в городском автобусе, с ним приключилась беда. Автобус был переполнен, на каждой остановке его брали приступом, люди охали и стонали от тесноты. Кент, стоя у передней двери, услышал у своих ног плач ребенка и увидел двух-трехгодовалого мальчика, которого придавили к кассе. Никто не обращал внимания на плач ребенка, и тогда он закричал отчаянно.

— Чей ребенок? — рявкнул Кент, чтобы быть услышанным.

Никто не ответил. Одна шумная баба ругалась на весь автобус с кем-то, не уступившим ей место. Ребенок упал, и Кент его поднял.

— Чей ребенок?! — кричал он, но никто не откликнулся: видимо, в автобусе не было родителей ребенка.

— Возьми его, — совал он ребенка стоявшим рядом пассажирам, — мне выходить!

Но те отмахивались: раз, мол, ему выходить, пусть и сдаст ребенка милиционеру.

— Да не могу я! — кричал Кент в бешенстве, и ребенок поддерживал его своим криком. Автобус остановился. И те, кому Кент заявил, что ему выходить, помогли ему выйти — вытолкнули из автобуса вместе с орущей находкой.

Автобус укатил. Кент стоял растерянный, не зная, что делать с ребенком, который успокоился и доверчиво обнял его ручонками за шею. «Подкинули, что ли?» — мелькнула мысль. Кент сел на скамью у остановки, где опять собрался народ, и соображал: «Может, где-нибудь тихо оставить ребеночка и дать ходу?» И тут же увидел мужчину, бегущего, слегка пошатываясь, к остановке.

— Ты зачем взял моего ребенка? Зачем моего Ваську брал? Милиция!

Он был пьян. Бормотал, что, сойдя с автобуса, увидел, что ребенка нет, и кинулся догонять автобус, что было не очень трудно, благо стоянки расположены часто.

Стоявшие на остановке окружили их плотным кольцом. Кент сунул запыхавшемуся папаше его чадо и хотел уйти, но тот не дал.

— В милицию его! Он детей ворует!..

Бедный Кент.

И вот пришел милиционер. Кента отвели в отделение вместе с пьяным и ребенком. На этот раз не поверили его липовой справке...

Фатальное невезение!

Оказавшись в камере, он подошел к окну. Во дворе светило солнце, ходили женщины в легких плащиках. На крыше милицейского гаража работал кровельщик. Он стучал, гремел и радовался солнцу, а птички на тополе развлекали его своими песнями. Кровельщик стучал, отдыхал, курил трубку и смотрел на жизнь с высоты. Кент испытывал к нему жгучую зависть: «Эх, хорошо быть кровельщиком!»

...Случилось это с Кентом, когда Автор добирался из Риги в Кишинев. Итак, Кенту опять не повезло. Не повезло и Автору. Нам стало тесно вдвоем на страницах романа. Те лица, с которыми я его сводил или собирался свести в дальнейшем, стали нужны мне самому, и прежде всего Королева Марго, у которой я надеялся обнаружить потерявшийся конец нити моего повествования, а если окажется удобным, то и немного передохнуть без крыс, чертей, богов и письменного стола из черного дерева, довольствуясь холодильником «Розенлев» и обществом женщины, в которую в свое время был даже влюблен.

Вот что значит неправильно начатый и до конца не продуманный сюжет, сочиненный к тому же без достаточного фактографического материала, — заходишь в тупик. Я не мог продолжать задуманной истории — нужно было начинать заново. Но как?

Пусть Кент не обижается. В конце концов, кто важнее — Автор или плод его воображения? Мне необходимо было прежде всего забыть обо всем беспокоящем меня, отключиться от тревожной действительности, не думать о Келлере, о смерти, о переживаниях Зайца. Ничего не было — никакой бутылки, никакого Келлера, никакого следователя. Автор полон сил и энергии. Ему надо только пораскинуть мозгами, осмыслить концепцию романа, найти правильный поворот и... вперед! Надо выработать у себя талант жизни...

Лет пять прошло с тех пор, когда я последний раз виделся с Королевой. И хотя расстались мы друзьями, я не без волнения

подошел к ее двери. Все позади — наши отношения, причины расставания — все. Но, возвращаясь к прошлому, хотя и ненадолго, все-таки волнуешься.

По дороге сюда я купил бутылочку кубинского рома и скромный букетик цветов. Позвонил. Дверь открыли внезапно, рывком. Передо мной стояла разъяренная особа, сверкая злобными глазами. Оттолкнув меня могучей грудью от двери, она рявкнула:

— Что надо?! — Вопрос уместный, но задать его можно было и более спокойным тоном.

Я начал бормотать извинения, сказал, что мне нужна Маргарита.

— Войдите! — прорычала свирепая особа и отступила, давая возможность пройти мимо, что я и проделал более чем осторожно. — Во-он в эту дверь!

Дверь я и без нее хорошо знал. Но из-за двери королевских покоев доносились тоже истеричные крики. Постучав, я робко вошел и увидел Королеву с распущенными волосами, бегающую по комнате, словно разъяренная пантера. Она остановилась передо мной, и на мгновение мне показалось, что вот-вот вонзит в меня ярко-красные когти. Затем, отвернувшись, закричала:

— Идиот! Как ты мог пригласить сюда такого подонка?!

Только теперь я заметил молодого человека, сидевшего в постели и старавшегося изо всех сил влезть в нейлоновую рубашку. В комнату влетела встретившая меня особа и встала, руки в боки, у двери, словно часовой, охраняющий выход. Признаться, такого приема не ожидал.

— Как ты мог, чертов идиот, пригласить такую сволочь в мой дом?! — шипела Королева в адрес молодого человека, который показался мне знакомым, хотя я не мог вспомнить, где видел его.

Мне было чертовски не по себе, я не знал, что сказать, как себя вести, вертел в руках несчастную бутылку рома, не зная, куда ее сунуть: в карман она не влезала. Опустив на пол чемодан, я стоял, не в состоянии что-либо придумать.

— Но я же объяснил тебе, что был сильно пьян... — лепетал молодой человек с ниточкой усов под смешным носом.

— В кратчайший срок заплатишь триста рублей! — кричала Марго. — Тунеядец негодный! И чтобы духу твоего здесь больше не было!

Последнее тот выслушивал уже в брюках и пиджаке, завязывая на четвертой скорости шнурки ботинок.

— Соня, пропусти его! — крикнула Марго особе в дверях, и молодой человек вылетел из комнаты — я едва успел посторопиться, — засовывая носки в один карман, пачку сигарет в другой.

В этот момент я узнал в нем Валентина, водителя с одесской дороги, которого в свое время сам же познакомил с Королевой. Вот не ожидал, что у них может получиться роман! Интересно узнать, отчего же он так шумно и драматически кончился... А Соня!.. Кто бы мог ее узнать? Она располнела, и кто ее надоумил покраситься в черный цвет? А Маргарита!.. Да и над ней время тоже поработало. Минувшие пять лет не прошли для нее даром, мой Кент был прав, я ему действительно подсунул поблекшую даму... Извини меня, Кент, — я этого не знал...

Наконец-то меня узнали. Настороженное выражение лица Марго сменилось удивлением и — ах, ах! — сколько лет, сколько зим!.. Соня, посмотри, кто к нам пришел!.. А Соня и без того не спускала с меня взгляда, и еще кто-то следил за мной настороженно — Изабелла! Нашлась-таки, тварь. Беременная, она горделиво возлежала на ложе из пуховой подушки.

Затем и меня поставили в известность, что я здорово изменился. Выгляжу солидно, но...

— Поправился, — находила Марго.

— Похудел, — возразила Соня.

Затем было устроено традиционное кофепитие с кубинским ромом, коньяком, и я узнал уйму важных новостей. У Сони, оказывается, дома живет настоящий удав, королевский питон, а зовут его фон Гейдрих. Питается он не только белыми мышами, но и от котлеты не отворачивается, совсем неприхотливый такой миленький гад. (Вообще-то Соня подумала было завести дога, но... это же пошло — их так много развелось!) А как было потрясающе, когда Королева, не зная еще о Сонином приобретении, наткнулась на него в ванной и пробежала от Сони, не переводя дыхание, три квартала! А еще они с Сонькой съездили в Москву на Тутанхамона и чуть с ума не посходили от впечатлений...

— Вы были на Тутанхамоне? — поспешила выяснить Соня, чтобы не оставалось сомнения, что она имеет дело все-таки с человеком своего круга. И как она была разочарована, когда я

был вынужден признаться, что отнюдь не интересовался золотым облачением молодого египетского фараона, который жил — представляете! — всего лишь три тысячи лет назад... И с ума из-за этого я, к счастью, не сошел, как и оттого, что, увы, не был никогда в Париже...

Да, и причину только что разыгравшейся на моих глазах сцены я тоже узнал. Валентин... В сущности, ничего серьезного между ними не было и быть не могло — слишком велика разница в возрасте, не говоря об интеллектуальной... Ну, парень молодой, славный, но в последнее время стал пить. Порою так напивался, что было неудобно перед соседями, и пришлось отобрать у него ключи — по-другому она просто-напросто не могла поступить, потому что шубу, какая бы она там ни была, жалко, и поди знай, что может случиться завтра. Нет, это уже слишком! Напиться и притащить к ней в ее отсутствие какого-то Мандарина или Лимона, когда совершенно очевидно, что такого фрукта нельзя и близко допустить к ее будуару, из которого эта шуба-то и исчезла, как исчез и сам Лимон в то время, когда «этот пьяница» отсыпался в ее постели...

Итак, прикинул я, Лимон свои пятнадцать рублей, заплаченные им Валентину на одесской дороге, вернул с лихвой!..

А Валентин... Как и чем он существует? Где живет?

— Иногда жил у меня, а где еще... Королева пожалала плечами.

Последние два или три года — она точно не помнит — у него возникли крупные разногласия с автоинспекцией. Судя по всему, совсем безработным он не был, но время от времени ему приходилось сопровождать во двор Изабеллу...

— Ну, на моем-то иждивении жить не так-то просто, — объясняла Марго, как будто оправдываясь. — Он о себе и сам заботиться может...

Я изрядно устал в тот день: от дороги, от разговоров, от выпитого. Даже кофе, который должен бодрить, утомлял. Когда вставал с кресла, чтобы избежать встречи с Изабеллой, намеревавшейся потереться о мои брюки, почувствовал острую боль в пояснице и вспомнил, что эта боль стала меня преследовать в последнее время периодически. Я знал, что она не результат простуды и даже не радикулит: мои почки кричат «караул» — они устали перекачивать водку. Разговорам же

конца не было видно. Обе дамы забросали меня вопросами о моих семейных и творческих делах.

Что касается семейных, тут все, слава богу, и не обязательно им знать подробности. Да и о каких, собственно, подробностях могла бы идти речь?! Я — хороший муж, так, по крайней мере, мне часто казалось... Я и на самом деле редкостный супруг, если учесть, что моя жена уже давно понятия не имеет, что такое уборка квартиры, а также закупка продуктов. Я готовлю и стираю... Вот именно — стираю, а на такое не каждый муж способен, — всякий подтвердит.

Но я не нахожу возможным поставить об этом в известность моих дам, — я хорошо знаю, что они и готовить-то толком не в состоянии. К тому же мужчине не к лицу хвастаться тем, что для него является в порядке вещей: ведь она у меня маленькая, слабенькая, целый день на работе, я же физической работой не обременен...

Ну, бывает, что и я не конфетка... Бывает, не сладко ей: то у меня мужская компания, то я отлучусь на часок к приятелю и возвращаюсь... через две-три недели. То сражаюсь с Кентами, которые не дают человеку ни минуты быть наедине с самим собой, и тогда общаться с кем бы то ни было у него нет ни малейшего желания...

Но и об этом тоже никому не расскажешь. Можно рассказать лишь о том, что вот никак не удастся мне подыскать Ненайденной главной героини!..

И, рассказывая об этом затруднении, я вдруг поймал себя на мысли, что у меня нет не только героини, но нет теперь и героя: я ведь погнал его обратно туда, куда Макар телят не гоняет. Я намеревался освежить свою память — уточнить связь Марго с Ландьшем и Феликсом, но, собственно, к чему? Пока я об этом размышлял, они принялись рассказывать о какой-то своей подруге из Москвы, гостившей как раз в данное время в Кишиневе, и предложили примерить ее на роль моей Ненайденной.

— Жанна ее звать, — объяснила Соня, — денежная личность. Молоденькая, красивенькая, и у нее прибыльное дело...

Соня запнулась, словно раскрыла чужую тайну. Марго зевнула — похоже, и она устала в этот день, но тоже принялась перечислять достоинства их кандидатуры.

— Эта девушка кое-что повидала, — сказала она, — отца у нее нет, а мать избаловала ее с детства. Когда Жанне исполнилось восемнадцать, подарила ей кооперативную квартиру. Учиться Жанне не захотелось, вышла замуж по любви. Через год любовь испарилась, с мужем разошлась, но обстановку осталась при ней...

Далее следовало, что эта «обстановка» привлекала импозантных молодых людей, — началась «светская» жизнь. Молодые люди почти не отличались друг от друга. Они пили водку, старались перещеголять друг друга в остроумии, танцевали, искали в любви новые тенденции...

— Но деньги у нее откуда?

— У нее бизнес, — объяснила Соня, видя, что Королева расположена мне доверять, тем более что мне же необходимо все знать, — иначе как «примерить» их Жанну к Ненайденной героине? — Она, видишь ли, служит на кладбище... Сторожем. Она там распоряжается старыми могилами, а они стоят недешево — до двух тысяч. Представляешь?

Я представлял... Черт возьми! Я имел реальный шанс уложить мое брэнное тело в яму стоимостью в две тысячи, которых здорово не хватало, чтобы жить!..

— Во всяком случае, — дополнила Соня, — она во всех отношениях интересна. Ходит в норке, а когда открывает свою сумочку, пачки кушор вылезают из нее прямо ногами вперед...

Все это хорошо, только в данном случае все это больше необходимо Валентину, чем мне. Такая дамочка, как Жанна, безусловно, устраивала бы моего Кента, но, спрашивается, кто станет печатать роман с двумя такими персонажами в главных ролях? Эта красавица, в сущности, обьяелась жизнью, не сегодня-завтра ее кладбищенский бизнес лопнет, как лопаются всякие коммерции подобного сорта, и тогда она окажется там же, где Кент.

Так на кой черт мне такая героиня?! Разве также существуют для жизни? И разве меня уже давно не укоряли тем, что пишу о жульнической тематике?.. Именно так и было сказано: «жульническая тематика»... Тема и на самом деле не из веселых... Но разве не она является острием, на котором стькуются и расходятся человеческие достоинства и недостатки? Разве эти ущербные души не являются браком в человеческом производстве и разве люди не должны добиваться его

искоренения? Но достичь этого без слов, способных привести к размышлению, а от него к разумным действиям, наверно, все же нельзя. Может, настанет время, когда не будет необходимости в такой теме. Но сегодня еще говорить и думать о ней надо. Это вполне оправдывает мою приверженность к этой «жюльнической» теме, но что я устал от нее — это точно. Устал от ее бесконечной сложности, запутанности, от хождения по самому ее острию, на котором нетрудно потерять равновесие, — ведь я не канатоходец!

Пришла мысль: что, если плюнуть на Кента и затеять новую игру с новым героем, скажем, Валентином? К нему, пожалуй, проще подобрать героиню. Я покажу, как Валентин из шалопаи превращается в неудачника Кента, то есть на примере Валентина объясню Кента... Создам треугольник: Жанна — Валентин — и какая-нибудь Галя, Маня, Таня — обыкновенная бесхитростная девушка, которая появляется в жизни Валентина в качестве скромного полевого цветка именно тогда, когда тот промышляет с Жанной где-нибудь на кладбище... Борьба, торжество живой человеческой души над холодной, расчетливой красотой, и дело в шляпе — готова любовь!

Автор воспрянул духом, но телом устал. Устала и Соня, попрощалась, ушла, уверенная, что Автору в доме Королевы ночлег обеспечен. Не забыла его пригласить к себе — ей непременно хотелось показать мне своего милого гада фон Гейдриха. Устала и Изабелла — она храпела на своей подушке. И Королева тоже устала, все чаще зевала, я ей вторил. Боль в пояснице заставляла стонать, несмотря на анестезирующее свойство коньяка.

Но Королеве было необходимо еще пожаловаться на личную жизнь — очередные неприятности на службе, постоянные неудачи, непорядочные мужчины, пьющий Валентин, склочные соседи...

— Чувствую себя порою загнанной лошадей, — сказала мрачно. — Ты видел фильм про лошадей?

— «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли»? Видел... Но кто тебя загнал? — спросил я Марго. — За что ты ненавидишь соседей?

— Я их просто не люблю, — вздохнула устало, — они глупы, суют нос не в свое дело... Только одной здесь завидую: некрасивая, живет однообразно, ничего от жизни не требует, не

огорчается, что у нее нет любви, никогда не было и не будет, довольствуется тем, что у нее есть. С удовольствием поменялась бы с ней ролями, чтобы иметь ее спокойную душу...

Наконец, мы, кажется, наговорились. Больше говорить было не о чем. Придя к обоюдному соглашению, что мы — загнанные лошади, я отправился искать счастье в гостиницу «Кишинэу».

Глава 17

Недолго я оставался в «Кишинэу» — одну ночь. На следующий день Валентин повстречался мне в «Бочке» — в прекрасном питейном заведении, где он беззаботно кутил, словно не было на свете Королевы и все забыто: она сама, ее украденная шуба, ее кошка.

Нетрудно было мне с ним сойтись, и ему нетрудно было вспомнить наши былые встречи, ведь именно с ним я свел моего Кента, когда тот из Одессы добирался в Кишинев. Узнав, что я остановился в гостинице, он тут же предложил уют собственного очага, которым сам, по его словам, мало пользовался, поскольку предпочитал греться у чужих.

Я очутился в доме, окруженном большим садом с вишнями, сливами, яблонями, персиками и другими южными фруктами, которые, разумеется, не принадлежали моему гостеприимному другу. Кроме небольшой комнаты со скудной мебелировкой, ему в этом доме не принадлежало ничего. Вероятно, потому-то он и предпочитал собственному очагу чужие.

Впрочем, нет: ему порою представлялось, что он конкистадор, унаследовавший от прошлых романтических времен умение завоевывать сердца дам вместе с их обиталищами. Потерпев поражение у одной, он, не унывая, устремлялся к другой. Доставив меня в свое жилище, он объяснил, что отыскивал красавицу, которую сегодня же намеревается победить.

— Вени, види, вици! — процитировал он Цезаря. — Ушел и не вернулся. Значит, победил!..

А я разложил свои бумаги и начал заново роман с другим сюжетом и другими героями. Колонией в нем пока не пахло, хотя я с радостью отметил, что Валентин запросто может вырасти в Кента, если я его вовремя не остановлю. Правда,

реально это сделать можно было пока только на бумаге. Да и как его остановишь, если он постоянно отсутствует?

Однако же его отсутствие не помеха человеку с воображением, а поэтому — за работу! И работа пошла споро. Уже имелись прообразы новых будущих героев — и что из того, что они пока не собраны в пучок, что не на ладони моей разместились, что из того! Главное, у меня был Валентин, и я мог создать ему любую внешность, любой возраст, все, что угодно моей фантазии. Я приобрел в нем образ отрицательного героя со всеми нужными чертами: он Дон-Жуан, он авантюрист, он молод, ненавидит труд и трудности, предпочитает легкие победы. И он — идеальная пара очаровательной Жанне; они импонируют друг другу, сходясь с главным для них: в добывании звонкой монеты, нужной для бездумного прожигания жизни.

Автору надобно было только проследить, чтобы Жанна не до конца испортила такого славного парня, ему в таком случае пришлось бы расплачиваться за свое облегченное отношение к жизни даже горше, чем Кенту...

Помню, на одном собрании, на котором я присутствовал, известный столичный журналист жаловался.

— Можно подумать, — говорил он, — что в нашем обществе произошел какой-то сдвиг: все пишут и говорят о правонарушениях, как будто вопрос перевоспитания стал у нас доминирующей проблемой!..

Он говорил о проблеме молодежи, назвав ее «ахиллесовой пятой» нашего общества. Неужели, думал я, молодежь такое уж уязвимое место в нашей жизни? Не превращаем ли мы ее в козла отпущения за свои собственные грехи, становясь в позу прокурора?

Слушая оратора, я думал о правонарушениях в произведениях Шекспира, Джека Лондона, Диккенса, Достоевского и других писателей-классиков. О чем бы они писали, если бы в человеческой душе не гнездились такие противоположности, как милосердие и жестокость? Не было бы тогда «Гамлета» и «Преступления и наказания», и вообще никаких проблем не было бы — сплошная благодать! И это было бы ложью. Задача литературы — быть оружием в борьбе против несправедливости и насилия. Получается, что она этим как будто рубит сук, на котором сидит: поборов зло, становится беспроблемной, созерцательной...

Мне приходилось не раз радоваться газетным статьям и рассказам, в которых трудный мальчик — от него все отказались — попал в чьи-то умные руки и неузнаваемо преобразился. Умные руки... Где их столько взять, чтобы хватало на всех трудных ребят? Вот если б у каждого родителя были такие «умные руки»... Не было бы, наверно, разговоров об «ахиллесовой пяте»...

Впрочем, это не тема моего романа, она может меня беспокоить лишь как гражданина. Это — тема Станислава, он дока в этих вопросах, ему и карты в руки. И не только Станислав — у нас много спецов в этой области, и они серьезно ломают головы над вопросом «умных рук», выводит теории, даже дают советы. Вот было бы здорово, если бы они могли посоветовать и мне, как поступить с Валентином!

Может, мне на правах приятеля, к тому же старшего возрастом, сказать ему просто: друг и брат Валя, так дальше жить нельзя, с тобой такое случится — тебе и не снится: ты останешься крепким до старости, но окажешься на положении старья, которое и в комиссионный магазин не примут, — жизнь-то идет вперед!

Наверняка он ответит, что уже слышал подобные речи. Меня, возможно, далеко не пошлет, но и ухом вряд ли поведет... Да, скажу прямо, положение Автора здесь было не из легких. Ты знаешь своего героя, его прошлое, настоящее, его характер, предполагаемое будущее, а толку мало — он стоит перед тобой как пень!.. К нему нужен был подход...

Я к нему и приступил, так сказать, с «черного хода». А вообще-то я все чаще и чаще ловил себя на мысли, что поступаю опрометчиво, не послушав друзей, которые советовали («Пожалуйста, продолжай на ту же тему, если на другую не можешь») пойти просто-напросто в народный суд послушать какое-нибудь дело, хотя бы о грабеже, а затем — дуй роман! И все пойдет как по маслу: грабитель есть, потерпевший тоже, их образы налицо, плюс твоя фантазия, торжество правосудия, а элементы морали, добродетели, зла, принципы воспитания, общественного воздействия — все это расставишь по своему усмотрению. Закрутишь захватывающий сюжетик, можно с погонями, можно без, и, будь любезен, кушай свой хлеб с маслом... К тому же на такой сюжетик и кинодеятель охотно клюнет. И вот уже твое имя на киноэкранах, твоя подпись в гонорарных ведомос-

тях. Так нет же, не послушался!.. Ломай теперь голову о социальные проблемы, взятые непосредственно из жизни!..

Как бы там ни было, а к Валентину надо было пробираться. Когда он, бывало, приходил после своих кутежей уставший, будто на нем мешки с цементом возили, когда он по нескольку дней отсыпался, силу набирал, в эти дни я изводил его, ковыряясь в его душе, как зубной врач в душе зуба, выдирая еще не замороженные нервы, так что моя жертва поминутно содрогалась. Мне надо было подталкивать его в таком направлении, чтобы он, как задумано мною, ложился на страницы моей рукописи, что позволило бы ввести в его жизнь логически оправданно эту самую обыкновенную девушку — Галю, Таню, Маню.

Мое проникновение в душу героя с «черного хода», абзац за абзацем, страница за страницей, проходило хотя и успешно, но при соблюдении крайней осторожности — чтобы не вспугнуть жертву. Каким образом обкладывал я моего зверя, попробую хотя бы приблизительно объяснить.

...Начал я с пустяков, с намеков.

Сперва, как будто случайно, подсунил ему совсем незначительное наблюдение: вокруг гуляет удивительно много его ровесников с детскими колясочками (сосущих при этом сигареты и мировую литературу), озабоченных ответственностью за будущее поколения собственного производства.

Мысли о потомстве нужны мне были для затравки: мне известны случаи, когда иной самый отъявленный бездельник вырастает в своих глазах от сознания, что у него где-то — хотя сам он не ахти какой отец! — растет потомок, который — кто знает! — окажется способным открыть дверь в чудесное будущее и спасти мир от страстей, могущих породить самую разрушительную войну.

Ну, а от подобных мыслишек тянется ниточка к особе, способной стать родительницей этого вундеркинда.

Вот здесь-то я и вывожу на сцену эдакую обыкновенную, но надежную Галю, которую он, конечно, не любит (так же, как не любит и Жанну) и не хочет принять в свою душу, не хочет и не умеет. Он хочет радоваться жизни, сохраняя свободу, а Галя для него одна из многих, явление временное. Он, конечно, не альтруист и считает, что такие, как эта самая Галя, в моральном отношении не лучше его и, если совершают добро,

то для того лишь, чтобы ласкать свое ничтожное самомнение — им нравится быть положительными. Но и пусть себе, ему они не опасны, а кое-кому нужны до зарезу. Он лично давно решил не давать себя дурачить разными альтруистическими плутчками.

Но это не значит, что он не способен на проявление великодушия, на самопожертвование даже — он для друга, если понадобится, последнюю рубашку снимет. Ну, а если спросить у него, способен ли он делать добро, он несомненно ответит вопросом — кому?

Сентиментальные субъекты напомнили бы о родителях, давших ему жизнь, словно она такое благо, что за это надо перед ними вечно стоять навывтяжку. Нет, о родителях он не думает, потому что отец его был пьяница, а мать... рано его покинула, если не сказать хуже. Остается думать о детях — не делать же хорошее чужим людям, чтобы не оказаться в альтруистах... Но детей надо сначала иметь, и не от какой-нибудь случайной дамы... Такие ведь не столько дают, сколько норовят получить. Да и хотят ли они детей? Хочет ли Жанна детей? Изабелла — другое дело... И вот он приходит к выводу, что сама судьба подсунула ему эту Галю, хотя она не бог знает что. Он стоит у порога большого свершения. Только никак не решается переступить этот порог. Наконец, что вполне соответствует его образу жизни и характеру, он решает, что не так уж много теряет, что сам он и его привычки от этого не пострадают, потому что вопрос не в том, что у женщин главнее — душа или что-то еще, ведь никто же не может помешать ему, на ней женившись, получать, если быть откровенным, на стороне недостающее. Ведь у многих его приятелей так именно и есть. Причем делается это так, что и комар носа не подточит. А ежели комару не подступиться, никакое облачко счастье твоей жены не омрачит. Живи, как и жил, а если не повезет где-нибудь, всегда есть куда прийти погреться...

Мысли об этом мелькают, не приобретая никакой формы, он их посылает к черту. Ведь у него было много побед, но чего не было никогда — так это серьезного, настоящего. Это и невозможно, когда часто меняешь местожительство. Вместе с местом меняешь и женщин...

А если он объявит ей о намерении жениться, то это вовсе не означает, что он думает о конкретном сроке — мол, в субботу или через месяц пойдем регистрироваться. Он скажет, что не

любит конкретности, поскольку неопределенность устраивает его больше; неопределенность дает ощущение бесконечности, незакрепощенности...

Не исключено, что его предложение будет не принято... И такое его весьма шокирует: как так! Это ему непонятно, даже обидно. Но она молча посмотрит ему в глаза, и у нее будет взгляд, как у человека, готового решиться на опасное дело, которое может привести к боли, к трагедии. Нет, она не испугается, люди всегда готовы рисковать во имя счастья. Но она понимает, что ей предпочтительнее добровольное, принужденное отношение, что лучше быть другом и женою в его душе, чем на казенной бумаге, которая может от нее даже оттолкнуть.

Вот здесь-то он переступает порог, потому что ребенок ему кажется уже делом принципа (мужчину ни во что не ставят!), ребенок необходим: Каждому нужен близкий человек, некто свой. В следующую субботу они идут в загс!

Если бы Валентин знал, каким образом на моих страницах развивается его судьба, он бы, вероятно, назвал меня иезуитом... Но ведь он ничем не рискует. Он знает: когда связываешься с женщиной, твоей независимости так или иначе угрожает ограничение, все равно что когда заведешь золотых рыбок — их ведь надо кормить, уделять какое-то внимание...

Постепенно уважение и жалость проникают даже в его не слишком сентиментальное сердце. Он видит ее заботливые неловкие пальцы, приводящие в порядок его одежду, привыкает к их прикосновениям, когда они его ласкают и за ним ухаживают, когда он болен, когда одинок...

Сперва он ей самозабвенно врет. Потом постепенно почувствует потребность говорить хоть немного правды, а со временем врать становится все менее и менее приятно, затем и вовсе надоест, и он не заметит, как перейдет на одну чистую правду. Когда тебя не обманывают, когда тебе верят и сам ты не подлец, ты не сможешь больше лгать, вот в чем фокус. А в правде есть своя, порою незаметная, но очень волнующая прелесть!..

Да, возможно, у этой женщины нет ярких внешних данных. Может, она кому-нибудь покажется даже некрасивой — в жизни всякий человек воспринимает красоту по-своему, общего мнения здесь нет. Если посмотреть вокруг — до чего же необычны сочетания супругов: муж — красавец, жена —

некрасивая, но что-то их связывает, не изменяют, детей растят, дружно живут. Бывает наоборот. Бывает, что оба красивы, а жизни никакой. Существует красота, которая, как цветок солнцу, открывается лишь любимому. Она-то и нужна больше всего для жизни. Наверно, потому и говорится в пословице: «Не красива красавица, а красива любимая». Эту красоту видишь только ты один, и нужна она только тебе. И вдруг ты обнаружишь, что та тоска, которая всюду тебя провожала, которую ты объяснить не мог, даже в обществе красоток, была о ней...

Наверное, всем мужчинам свойственно мечтать о необыкновенной, и только у смертного ложа своей спутницы жизни иной поймет, что потерял единственную и именно самую необыкновенную. («Мы простого счастья не заметили...»)

И если кто-нибудь случайно — не дай бог! — выразит сомнение в том, что твоя обыкновенная Галина — красавица, ты, усмехнувшись, скажешь: «Возьми мои глаза, посмотри на нее, и ты увидишь, какая она красивая...»

Примерно так развивался новый сюжет моего романа, хотя, конечно, дело шло не совсем гладко. Мой герой не просто сдавал позиции и защищал свои вкусы. Он не понимал, что его возражения уже мало значили для Автора. Автор с ними попросту не считался и двигал его судьбу по своему усмотрению.

Я представлял, как легкомысленный красавец Валентин будет преобразовываться под влиянием простой и цельной натуры своей девушки, и мысленно видел его с детской коляской, в конечном счете свой роман — высоконравственным романом. Он не может быть другим, если в нем возникнет любовь побеждающая, жертвенная.

И Автор будущего романа обрадовался...

Разумеется, вышеописанная история о создании нового сюжета изложена здесь схематически, она поместилась на нескольких страницах, в то время когда в рукописи заняла страниц триста с гаком, потому что в рукописи все это производится со всеми необходимыми подробностями. Но работа была еще не окончена, и как должны были образоваться события в дальнейшем. Автор пока сам в точности не знал, и ему надо было собираться в дорогу, чтоб узнать о том, как будет развиваться его собственная судьба...

Время шло. Миновало еще месяца два. Валентин уже считал,

что я у него поселился навсегда. Рукопись росла, но вместе с ней росла и смутная тревога, которая все время немало мне мешала, и случалось, чтоб забытья, я отправлялся с Валентином в «Бочку». В общем, стало ясно: надо вернуться домой.

Глава 18

Все позади. Мы летим. Десять дней мне предстоит пробыть в Германской Демократической Республике.

Рядом сидит худощавый интеллигентный немец. Он все время занят бесчисленными пакетиками — сувенирами для близких и друзей. Такими же пакетиками буду, вероятно, нагружен и я на обратном пути.

Я успел уже познакомиться с этим немцем из Гера — турист, как и почти все пассажиры, за исключением нашей делегации. Зовут его Готфрид. Заговорив с ним, мне было любопытно проверить, в состоянии ли он меня понимать, осталось ли в памяти что-нибудь от немецкого языка, который в детстве я изучал, живя в Германии. Что ж, он понял, что лечу в ГДР впервые, что я в составе делегации, но какой — не понял. Этого я и сам толком не понимал. В сущности, делегация, помимо меня, состояла из двух человек: журналиста и представителя промышленности, кажется, легкой. Быть причисленным к делегации — дело выгодное и почетное.

Вернувшись из Кишинева в Москву, я пришел к себе домой поздно ночью, чтобы не видели соседи, дворники, лифтерша. Хорошее дело! К себе домой крадепья, как вор... Разумеется, запаса парой бутылок, чтобы избавиться от угнетающего чувства тревоги, ибо сами стены моей квартиры, кажется, таили в себе опасность, угрозу. Ей-богу, есть ощущения более приятные! Я прятался в собственной квартире. Раздражали частые звонки в дверь и телефонные, а необходимость соблюдать предельную тишину и светомаксировку угнетала. Заяц меня снабжала продуктами, сам я не выходил ни разу. Она и нашла в почтовом ящике кучу приглашений в милицию и одну — в Отдел виз и регистрации иностранцев (ОВИР), куда я пошел, опасаясь ловушки. Но откуда было знать моему следователю о приглашении немецкого издательства и моем соответ-

ствующем заявлении в ОВИР! К тому же Келлер, хотя и находился еще в больнице, был жив и я, следовательно, числился пока лишь мелким хулиганом, учинившим драку в общественном месте.

Оформление обернулось довольно быстро благодаря тому, что, несмотря на подписку, у меня не были изъяты документы, отчего можно было разъезжать и по нашей стране. И вот все позади. Весна. Берлин впереди, а стюардесса предлагает коньяк к обеду...

Она, кстати, объявила, что внизу — территория Польши. Возможно. Но я вижу одни облака. Они великолепны. Я бы не возражал против небольшого домика на каком-нибудь из них среди этих фантастических белых гор и холмов.

Мои спутники заняты беседой. А я тренируюсь в немецком языке с общительным учителем из Гера. Он показал мне фотографии жены и детей, а я было попробовал всучить ему бутылку водки. Он замахал руками и сказал: «Майне фрау»... с такой гримасой, что стало понятно, какую реакцию у нее вызовет эта бутылка, если он отважится с ней появиться.

Шенефельд — аэродром. Он не поражает грандиозностью, но «красивое поле» — достаточно поэтическое название, хотя поле там как поле, как на всех аэродромах мира. Увы, нас не встречают с оркестром. Странно! Отправляемся с гурьбой пассажиров к приземистому зданию аэровокзала. Входим в зал, и я с неприязнью думаю о предстоящих формальностях. Но тут, к счастью, к нам подходят какие-то люди и нас, как важных персон, проводят через таможеню. И вот мы стоим перед аэровокзалом, к нам подкатывают три автомобиля — каждому из нас по машине. Мое самочувствие понемногу расцветает — появляется нечто похожее на осознание собственного достоинства. К каждому садится в машину один из переводчиков.

Едем долго. Мимо проносятся зеленые пейзажи. С нетерпением жду, когда будем в Берлине. Хотя и туманно, но помню Берлин сорок четвертого — в руинах, разрушенный, закопченный...

Приехали. Но... не в Берлин. Мы оказались от него за шестьдесят километров, в красивой местности на берегу одного из рукавов реки Шпрее, в уютной вилле — резиденции делегации. Здесь каждому были предоставлены комфортабельные помещения с холодильниками. Но в последних — только

лимонад и минеральная вода. Спиртные напитки при желании можно было поставить самому. Два часа на отдых, затем обед. Сидим вокруг огромного стола. Возле каждого — переводчики. А вокруг стола ходит типичный дворецкий из английских романов. Он наливает в наши бокалы коньяк... по капелькам, понемногу — на доньшко. С удовольствием вспоминаю о холодильнике в моих личных апартаментах с дополненным мною содержимым.

Я себе представлял все иначе: буду жить где-нибудь в центре Берлина в гостинице, буду выходить на улицы, говорить с немцами, смотреть на их жизнь так же, как это делают все иностранцы в Москве. А здесь — вилла, Шпрее, лебеди плавают... Красиво, конечно, но с лебедями — о чем с ними поговоришь?..

На следующее утро нас ознакомили с программой на все дни нашего пребывания в ГДР. И мое настроение испортилось совсем: стало ясно, что мне так и придется беседовать с лебедями или кататься в автомобиле: «Посмотрите направо, посмотрите налево...»

Делегация начала работу. Меня отвезли в мою редакцию, где сперва одна милая девушка отсчитала тысячу марок, а затем познакомила с сотрудниками редакции и переводчиком моих книг. Сделали это вокруг уютенького столика, и на нем присутствовала бутылка коньяка. Право же, знакомство при этом стало более сердечным.

Товарищи-журналисты посочувствовали моему пленению на вилле с лебедями и разработали план моего освобождения — фантастический, путем моего похищения. Я должен был, как стэндалевский герой, спуститься по веревочной лестнице, а за воротами, в тени каптанов, меня будет ждать серый «грабант» фрейлейн Мадлен — красавицы с глазами, требующими, чтобы ее возлюбленный состоял по меньшей мере в дипломатическом корпусе.

Бегство состоялось два дня спустя (после автопробега по маршруту Берлин — Бранденбург — Веймар — Берлин) и произошло весьма прозаично.

В прогулке по названным городам меня почему-то сопровождала дама, не знающая ни слова по-русски. Ее можно было бы назвать симпатичной, если бы не смущавший меня ее пристальный взгляд.

В Бранденбурге я был поражен, когда наша машина подъехала к... огромной тюрьме. «Не может быть!» — мелькнуло в голове. Екнуло сердце. Я был ошеломлен происходящим. Выяснилось, что в тюрьме имеется производственное оборудование, интересующее нашего представителя от промышленности. Заодно совершили по ней экскурсию, и я имел возможность вспомнить то непродолжительное время — три месяца, — когда «гостил» здесь в качестве репатрианта из Западной Германии (еще мальчишкой) в 1947 году. Вот уж никогда не думал, что мои дороги снова приведут меня сюда в качестве гостя, а начальник тюрьмы устроит в своем кабинете прием с традиционным кофе...

Тюрьма построена гитлеровцами, как оказалось, для самих себя, поскольку теперь ее основной контингент составляют именно они. Мы осмотрели все корпуса, и не только производственные: Я даже отыскал свою камеру, даже заходил в нее и испытал приятное ощущение от возможности выйти из нее. И все же я теперь оказался здесь, в одной из крупнейших тюрем в мире, в другом качестве, не арестантом! Ощущение это невозможно передать словами!.. Отсюда началась моя дорога в социалистический мир, в тот самый, который в лагерях для перемещенных лиц на Западе иными выдумщиками представлялся «страшной Сибирью».

И вот по прошествии тридцати лет я в совершенно ином качестве здесь, в Бранденбургской тюрьме, — живой и даже член делегации!..

В Веймар приехали засветло, из гостиницы нас повели в ресторан «Элефант» на дружеский ужин, устроенный городскими властями. Опять речи, опять тосты, а у меня в кармане чешется тысяча марок...

Поздно вечером я гулял по пустынным улицам, разглядывал скульптурные изображения и барельефы на домах, на их крышах и жалел, что нет никого рядом, кто мог бы о них рассказать, их объяснить. Я поражался мысли, что снова здесь. Просто не мог привыкнуть к этой мысли. Меня тянуло к далеким странствиям, открывавшим возможность увидеть, познать, понять мир.

На следующий день посетили дома Шиллера и Гете, а после эмоций культурных соприкоснулись с эмоциями варварскими — в концентрационном лагере Бухенвальд. Здесь ознакомились

с передовой (по тем временам) техникой уничтожения человека и возложили венок на место гибели Эрнста Тельмана. Увидев своими глазами печи, в которых сжигали людей, дубинки, которыми добивали не до конца убитых, вагонетки, в которых возили трупы, я думал о том, что индейцы племени Аризона, у которых знак свастики с древнейших времен служил национальным орнаментом, оправданно изгнали этот знак из своего обихода, перестали даже пользоваться одеялами и пледами с вытканными на них знаками свастики.

Относительно Бухенвальда человечество настроено категорически — не допустить повторения прошлого! Я лично не уверен, что уже пережитое прошлое страшнее, чем может стать еще неизвестное будущее. Одни ученые ломают головы над проблемами, облегчающими жизнь людей на земле, но есть и другие, изобретающие такие штуки, что и ахнуть не успеешь, как превратишься в ничто... А ведь везде на планете существуют любовь, преданность, дружба, благородство и другие человеческие качества — все, кроме разумного единства...

Очевидно, эти мысли были навеяны Бухенвальдом: мрачное место — мрачные мысли.

После этой поездки мое бегство из резиденции и состоялось: меня отвезли в редакцию, оттуда красавица Мадлен в своем «трабанте» — к Паулю, журналисту. У него я и остался. Позвонили в резиденцию, и я получил разрешение остаться в городе до самого отлета.

Мне было суждено еще раз побывать в Бухенвальде.

Мы устроили с Паулем в его холостяцкой квартире грандиозную попойку, хотя слово «устроили» здесь, пожалуй, неуместно, поскольку организатором этого мероприятия был я: ведь тысяча марок в моем кармане все чаще чесалась, а я от размышлений о собственных проблемах наряду с мировыми, вызванными впечатлениями, особенно последними, от Бухенвальда, здорово устал. Нужна была разрядка. И я в тот вечер основательно «зарядился»...

Начало я помню, то есть помню, как мы с Паулем говорили о литературе. Я обратил внимание, как медленно и как-то робко Пауль принимал коньяк: пока он с трудом справлялся с одной рюмкой, я успевал разделаться с тремя... позже даже с пятью. Что было дальше, я никак не мог вспомнить. Почему-то я оказался опять в Бухенвальде. Глубокой ночью я шел мимо

мрачных зданий, в подвалах которых было множество печей. При свете яркого пламени здесь работали полураздетые, красные от изнуряющей жары, скелетообразные люди. Было похоже на ад. В доверху нагруженных тачках люди эти подвозили уголь и большими лопатами забрасывали его в печи. Внезапно они все разом, словно по тревоге, бросили работу и выбежали из лагеря. Они бежали, сбрасывая на ходу лохмотья, к большому озеру с черной водой и ныряли в него. Я последовал их примеру...

Вода была холодной. Озеро казалось бездонным. На фоне слабого света в небе были видны силуэты небоскребов. Кругом тихо, ни звука, лишь слышен всплеск воды, производимый молча плавающими в озере людьми. Вдруг вижу высоко в небе что-то похожее на столб, стремительно падающий вниз. Нет, это не столб, это огромное чудовище, похожее на гигантскую ящерицу с когтистыми лапами и хищно оскаленной пастью. Глаза чудовища горят безумной яростью. Оно падает на барахтающихся в черной воде людей, и волной, похожей на цунами, меня выбрасывает на берег. Чудовище неумолимо приближается к домам — вот оно жрет дома, камни мостовой, люди в сумасшедшем страхе бегут от него. Слышен вопль отчаяния сотен тысяч голосов. Чудовище движется вперед. Оно пожирает Веймар с его дворцами и парками, жрет цивилизацию, человечество...

— Это все пустышки, — слышу голос и вижу рядом с собою мужчину с намечающейся лысиной, неопрятно одетого, в рваных башмаках. — Это тебе снится. Это не настоящий ад, так... небольшая репетиция... — говорит он и смотрит на меня ослабившись. Голос его звучит странно знакомо. Он решительно мне кого-то напоминает!..

— Кто ты? — спрашиваю я.

— А как же... черт я, — он опять улыбается. — Ты, наверное, не таким ожидал увидеть меня? Люди давным-давно потеряли истинное представление о черте. Да что я говорю — они его никогда и не имели. Столько испокон веку написано разными сочинителями чертовщины о чертях — прямо топшит! И хоть бы один из них понимал, какую чепуху мелет. Наш род древен и разнообразен, он славится истинной мудростью. А нас то малюют с рогами, хвостом и копытами, то изображают в роли болтливового идиота, то наделяют могущественной силой. Вся эта

чертология не стоит ломаного гроша. Мы прежде всего обыкновенные трудяги. Среди нас, как и у людей, есть гении, талантливые, но большинство из нас простые исполнители, рядовые черти. И мы боремся за создание идеального ада, о котором человечество не имеет никакого представления.

Люди очень смешны, они — невозможно сосчитать сколько уже тысячелетий — твердят о загробной жизни и рассказывают небылицы про ад: тут тебе и котлы, и сковородки, на которых мы якобы поджариваем грешников. Черти выглядят эдакими кочегарами, а наш добрый Дьявол — шеф-поваром. Да скажи ты мне, ничтожество, кто были кочегарами здесь, в лагере Бухенвальда? Кого использовали здесь в этом качестве? Не чертей же! То-то!.. А черта выставляют таким примитивным... Обидно, честно говоря!..

Кстати, о боге... Сколько уже времени мы морочим им человечество! Ведь ему невдомек, что единого бога подсунули человечеству мы. С помощью выдуманного нами миражного идеала мы получили возможность указать человечеству ложный путь развития, приносящий ему не счастье сколько мук, залитый кровью. Оно поскакало по нему сломя голову — хо-хо-хо! — в направлении рая, не понимая — о, идиоты! — что скачут совсем в обратную сторону...

— Дело в том, — сказал он затем, — что мне приятно говорить о нашем сословии, хотя мы полностью и не владем еще миром из-за тупости и упрямства человеческой природы. Но и жить покойно ему не даем вот уже несколько десятков тысяч лет. Я предназначен для дел маленьких по сравнению с теми, какие творят мои братья во всем мире. Но без нас, винтиков, тоже не обойтись: сознательный черт понимает, что никакие мировые события не будут нами проведены успешно, если рядовые черти не станут стараться в поте лица своего до тех пор, пока не настанет праздник веселого безумия людей на ставшей прекрасной, обезумевшей, по-родному милой, знойной планете с Владыкой Дьяволом и нами, его детьми!..

Вот я говорил о чепухе, сочиненной людьми про ад... Нашлись в недалеком прошлом даже такие, которые обнадеживали грешников спасением от ада: будучи в аду, достаточно сознательно мучиться, признает грешник свои прегрешения, раскается и может быть избавлен от ада...

Ну уж дудки! Из настоящего ада, какой мы готовим

человечеству, никому не выбраться. Ах, что говорить! Именно при жизни человека создается ад. Ведь ты, ничтожество, уже почти в аду. Ты — алкоголик, и у тебя так называемые муки творчества... И они от нас, учти. Все муки от нас. Для человека адская жизнь начинается уже тогда, когда мы просто лишаем его покоя, внушая ему ничтожные сомнения по поводу чего угодно, тревоги, страхи.

Для создания вполне приличного ада для человека в нашем распоряжении достаточно атрибутов, о них известно и ребенку, хотя даже взрослому не понять, как мы ими пользуемся. В их число входит все, без чего человек не может прожить, — хлеб, табак, наркотики, половое влечение, или, как по-модному называют теперь, «секс», и самый результативный препарат — вино. Из всего этого и состоит повседневная действительность людей, от которой они ищут избавления, потому что с помощью самых рядовых трудяг нашего сословия давно доведены до такого состояния, когда любого вида действительность их угнетает, — они ее рабы, мы всех одинаково заставляем страдать от действительности, а это людям не под силу.

Они считают, видимо, что войны, которые мы им подсовываем иногда, самое страшное зло, и всегда радуются мирному времени. А, в сущности, что такое для них мирное время? Маленькая передышка, которая используется нами для полного их порабощения. Как мы это делаем? Пожалуйста — секрета здесь нет, поскольку человечество в силу своей ничтожности неспособно нам противостоять.

Так вот: мы используем его кровные интересы, без которых оно гибнет: прежде всего труд и материальные блага. Для человечества они равносильны воздуху, которым оно дышит. Но самое высокое достижение мы получаем, нарушая придуманные им принципы равноправия. В этой области человек невероятно слаб, до умопомрачения слеп, обидчив, самолюбив, малодушен. А черт, имея в руках такие козыри, — хозяин положения и может творить что его душе угодно. Ты, ничтожество, разве не обратил внимания, какими люди стали нервными, усталыми, раздражительными, злобными, полными нетерпимости по отношению друг к другу. А кто, спрошу я тебя, их такими сделал? Как они самонадеянны в своей глупости! Надеются найти связь с разумными существами в космосе! Огого! — Черт, смеясь, даже подпрыгнул от удовольствия. — Зачем

им искать разумные существа в космосе, когда они не в состоянии увидеть их на Земле? Добраться ли людям до далеких планет, когда они и на Земле так далеки друг от друга?

Лично моя задача в нашей иерархии несложная — растление человеческих душ. Ну, так я тебе признаюсь, не будь у человека вышперечисленных данных, справиться с этой задачей было бы не так-то просто!.. Теперь же, если начать перебирать в памяти дела, которые я и мои коллеги провернули за последнюю сотню лет... Право же, я лично полагаю, мне давно следует получить повышение по должности...

Мы делаем мирную жизнь человека непереносимой, создавая вокруг него атмосферу скуки и однообразия в быту. В этом мы отталкиваемся от того, что для существования человека, как я уже говорил, является первостепенным, — от его труда и всего с ним связанного. Здесь любая мелочь играет для него огромную роль. Чтобы преодолеть хотя бы мельчайшие противоречия в человеческом обществе, человек должен трудиться в поте лица, что будто бы предопределено ему выдуманном нами для него богом. А с трудом тесно переплетаются его нравы и жизненные условия, которые образуют его сущность. Он понимает, что в труде его спасение. А пока он трудится, мы его всячески угнетаем.

Мы умеем делать так, что ни один его день не отличается от другого; отношение жены к нему и его — к жене вчера, сегодня, завтра всегда одинаковые, как и его отношение к детям, к начальству и обратно. Его развлечения и средство для достижения радости — вино, всегда и во всем без изменений, — до отупения!..

Шепни ему теперь словечко, способное посеять сомнение, — и он лишен покоя, готов развестись с женой, возненавидит детей, готов подозревать в бесчестности начальство. А если ему угодно избавиться от томительного однообразия — пожалуйста! Мы ему подсуем жену-красавицу, но первостатейную стерву. Или ей — мужа доброго, но пьяницу. И все у них полетит туда, куда вам и нужно, — к черту!

Впрочем, об этом долго рассказывать... Да и чего ради рассказывать о том, что понятно и ребенку: человек он и есть человек с присущей ему жадностью, умноженной завистью, его «глаза завидующие да руки загребущие» очень облегчают нам работу. Мы на всей планете создали такую атмосферу: кто не

имеет, стремится иметь; кто имеет — иметь еще больше и не отдавать что имеет. Отсюда все распри между людьми. На одном полушарии земли миллионер окружает себя наемными убийцами для защиты себя и своего имущества, на другом — мещанин спит, привязав свой автомобиль тросом к ноге. И там и тут — оба несчастны из-за собственного счастья... Красота!

Человек, пожалуй, смог бы противостоять нам, не плодись он так безудержно. Был среди людей некий Мальтус, которого они обругали и подняли на смех. Он явно разгадал наши намерения и предупредил, чем может кончиться безудержное размножение человека. Мы сумели его скомпрометировать в глазах людей, и теперь они размножаются, не подозревая, какую мы им приготовили ловушку — голодную смерть на голой планете. Наша стратегия заставляет их с еще большей безжалостностью искать пути уничтожения друг друга, а это уже значительное продвижение к нашей победе. Угрозу, которая с нашей помощью нависла над их головами, они могли бы отвести, объединившись... Только грош цена тогда всем нам, если мы это допустим!

От меня здесь, конечно, мало зависит, для этого есть у нас личности поголовастее. Они в отличие от меня ходят во фраках, курят сигары, но... всякому черту свой приход, роптать не приходится!..

Так что я на своих старших братьев в смокингах могу полагаться безбоязненно — сколько их блистательных дел в сферах вашей человеческой политики я наблюдал!.. Они умело оперируют примитивнейшим средством разрушения человеческих взаимоотношений — палкой. Дав одним в руки палку, мы другим тут же подсунули дубинку. И вот первые изобрели топор, а другие, в свою очередь, меч. Сами черти поразились, с какой скоростью дело развивалось...

Моргнуть не успели, как появились такие «дубинки», которые никакая нечистая сила придумать не в состоянии. А конкуренция в изобретении этих вещей и края не видно! Черти серьезно обеспокоены — взорвут ведь, подлецы, любимую нашу планету или доведут до того, что ни единой человеческой души на ней не останется, а тогда конец нашей мечте об аде: ведь идеальный ад возможен лишь с помощью человека и только при наличии человека.

Нам нужна не пустая планета, где мы будем в тоске

развлекаться, набивая от скуки друг дружке шишки. Нам нужна планета с развращенными людскими душами, чтобы радоваться их разнузданному шабашу, греться в лучах их диких инстинктов. Кому нужны тогда какие-то котлы и сковородки, хвостатые, рогатые кочегары?! Мы просто будем руководить теми или иными страданиями, купаться в потоках крови, будем упиваться атмосферой, удушливой для людей и освежительной для нас, будем верхом кататься на гигантах человеческой мысли и таланта, подстегивая их ремнями, вырезанными из их любви, сострадания и милосердия. Их муки, теперь уже точно вечные, продлят нашу чертопляску, вольют в нас неисчерпаемые силы. Но как еще далек сей благодатный итог!

Однако — о, ничтожество! — ты, верно, не можешь взять в толк, зачем посвящаю я тебя во все это? Разве трудно догадаться? Ты же мнишь себя творцом!.. Верно, полагаешь, что я хочу внушить тебе веру в нашу безграничную силу? В том-то и беда, что мы — обыкновенные трудяги и нет у нас всемогущей силы. Мы, к сожалению, зависим от вас, каждый черт от каждого из людей. Ведь мы — зло в вас. И вот мы в тупике: мы умеем создавать зло, но не умеем его остановить. Мы дали вам дубинку, а отобрать не можем. И то, что ты видел в Бухенвальде, и драконы, что тебе снились, это пустяки перед тем, что будет, если из-за вашего упрямства мы лишимся нашего ада... Поэтому я тебя прошу, как каждый большой или малый черт своего подопечного, не допусти, чтобы выжгли дотла планету. Убивайте, пейте, грабьте, но, пожалуйста, не теряйте голову! Прощай! Мне пора. Но мы еще встретимся...

Тут я обнаружил себя на улице совершенно незнакомого города и не сразу сообразил, что это Берлин. Посмотрел на часы, они показывали четыре утра. Вокруг ни души... Увидев телефон-автомат, позвонил Паулю. Он долго не брал трубку, спал, вероятно. Наконец услышал его встревоженный голос:

— Ты где?

Я сказал, что не знаю. Он по слогам продиктовал свой адрес и посоветовал найти такси. Когда я, наконец, вошел в его квартиру, он рассказал, что не мог меня удержать, что я, совершенно пьяный, ушел от него. Он пошел вместе со мной, но где-то потерял меня. Он меня искал и не находил, в полицию боялся сообщить.

— Ты все время сам с собой разговаривал! — сказал Пауль.

— Я с чертом разговаривал, — ответил я ему, и он сказал, что охотно мне верит.

В оставшиеся дни мы шатались с ним по городу, смотрели на него с высоты телевизионной башни, сидя за столиком вертящегося вокруг своей оси ресторана, и я радовался живописной панораме Берлина, в котором смешались современная и древняя архитектура.

Потом мы побывали у красавицы Мадлен, посещали превосходные пивные, и лишь дважды я попал впросак: когда не заплатил в общественном туалете, и во второй раз, когда переходил улицу на красный свет. Оказывается, берлинцы считаются со светофорами...

Ко дню отъезда, после последних бокалов пива, меня отвезли к делегации. И снова Шенефельд, снова стюардесса подает к обеду вино, снова под нами Польша, а до аэродрома в Шереметьево рукою подать. В мозгу беспокойная мысль: встречает ли меня «почетный караул» или нет. Конечно, оркестра и цветов не будет, но... будем скромными.

«Почетного караула», слава богу, не было.

Весна. Лето на носу. Если и Келлер еще жив — что может быть лучше!

Глава 19

Удивительно мало надо иногда человеку, чтобы мир, еще вчера казавшийся ему безнадежно мрачным, преобразился! Еще вчера я работал, мобилизовав всю свою волю, подгоняемый скорее самолюбием, нежеланием признать собственное бессилие, чем вдохновением. Сегодня и на самом деле бессилие отступило — я ощутил свежие силы и весьма продвинул работу. Она даже не казалась мне работой, а веселой увлекательной игрой — так все легко, играючи получалось! И все благодаря одному только сознанию — я не убил.

Да, наконец стало известно, что черепная коробка Келлера оказалась достаточно прочной и полученное ею сотрясение, хотя и сильное, как будто даже не отразилось заметно на его умственных способностях...

Я снова вспомнил Бухенвальд и подумал: те, кто убивал (и

как!) в Бухенвальде и в других местах, кто убивает тут и там на Земле сегодня и намеревается убивать в будущем, едва ли переживают из-за того, что они — убийцы. А я безумно обрадовался, что, оказывается, никого не убил... Чему я обрадовался? Действительно ли тому, что не стал убийцей, или тому, что благодаря этому избежал наказания за убийство? Может быть, в каких-нибудь исключительных условиях, оправдывающих убийство (например, на войне), участь Келлера и моя к ней причастность оставили бы меня совершенно равнодушным? Тогда, пожалуй, не так уж нереален лысый черт, который утверждал, что он — то, что есть плохого во мне. Тогда, стало быть, во мне действительно сидит черт и ад люди действительно могут легко создать сами на земле, а не искать в каком-то потустороннем мире...

Что, собственно, произошло?

Я хотел сделать удобоваримый романчик: приключения, любовь, немного смешного, немного грустного. Что в этом плохого? Я легко начал этот эластичный литературный флирт, подкрепленный теми или иными взятыми из жизни обстоятельствами.

И вдруг, долбанув кого-то по голове бутылкою, сам получил по голове от жестокой действительности, сам себя наказал: чтобы избежать тюрьмы — себя в тюрьму загнал... Разве я, прячась от людей в собственной квартире, не в тюрьме?

Мне хотелось, чтобы читатель смеялся и плакал вместе со мной. Пока же я плакал один в моем одиночестве и старался делать это как можно тише, чтоб никто не услышал... Я изолировал себя сам, но кто освободит?

Ну, как бы там ни было, но я не убил! Правда, в глазах следователя я все равно, хотя и другой квалификации, остался преступником. Что же теперь? Явиться к следователю с повинной?..

С этим согласиться я не мог. Келлер виновен не меньше, чем я: он нанес мне обиду, оскорбление, я ответил ударом бутылкой. Еще в прошлом веке за оскорбление вызывали на дуэль... В наши дни, видимо, надо бежать за милиционером, срочно организовывать свидетелей и подавать в суд: дескать, Келлер — хам, он незаслуженно оскорбил меня. Но разве это реально? Разве хватит судов и судей, чтобы осудить хамство, с которым ежедневно сталкиваемся в городском транспорте, в магазинах,

учреждениях, даже в похоронном бюро и родильном доме? Никаких судей на это не хватит! Но, разумеется, не следует думать, что можно схватить бутылку или палку и начать творить самосуд: дубасить всех хамов, всех-всех подряд! Нет, этого делать нельзя (хотя порою и хочется). Хамство от этого не уменьшится, наоборот, восторжествует тот хам, у кого покрепче кулак. Как же бороться с хамством? Одним только терпением? Нет, этого мало. Самому не быть хамом — вот что важно!..

Но как измерять человеческое достоинство в той или иной ситуации, учитывая его темперамент, его реакцию на различные явления жизни? У всех людей все неодинаково. Один может стерпеть обиду, другой ответит мгновенно. И мне, ей-богу, непонятно, почему первый более прав, чем второй. Мое самолюбие не могло допустить и мысли, что чья-то разбитая голова (ведь она же не принадлежала ни Эйнштейну, ни даже ишаку Ходжи Насреддина) стоит больше, чем моя свобода — свобода автора романа, который, надеюсь, научит кого-нибудь добрым чувствам...

Лето в том году было жаркое, а этот день с самого утра выдался особенно душным. Я ушел из дому до петухов, как обычно, чтоб никого не встретить. Зайчишка приобрела билеты на Мону Лизу, на эту парижанку итальянского происхождения, которая скрывалась во мраке выставочного зала Музея изобразительных искусств. Договорились встретиться в шесть вечера у музея.

День был долог, и я не мог придумать, чем себя занять. Чертовски неприятно!.. Посмотришь на людей, спящих вокруг, у всех дел полон рот. Москва — не Рига, не Таллинн и не Киев, города, которые люблю каждый за что-то свое, неповторимое. По сравнению с ними Москва кажется более деловой, где люди порою не имеют времени поинтересоваться жизнью друг друга: не от черствости — от занятости.

Отправился в лекторий. Здесь весьма старенькая женщина говорила о Миллесе (известном шведском скульпторе), но так тихо, что от Миллеса мне досталось только невнятное бормотание. Пошлялся по городу. У Театра сатиры очередь за билетами на Райкина, а билетов нет. Райкиных мало, на всех не хватает. Пошел в общепит, поскольку настало время, которое люди считают обязательным для принятия пищи. Вот где повезло! Сотрапезник мировой попался. Личность с мутными глазами, с

распухшим лицом, небритый, оборванный, да еще палец перевязанный. Сидит, суп хлебает. От него идет такой дух, что опохмелиться захотелось.

— Да-а, — говорит он. — Бюллетень — хорошая вещь, когда палец не болит, а когда болит...

Он грустно смотрит на палец.

Я помалкиваю и думаю со страхом, не мое ли это будущее сидит напротив?..

— А где порезал, — рассуждает он, — ей-богу, не помню. на базар пошел — помню, а вот палец... не помню...

Он не помнит, как и где покалечил палец... Полная неизвестность! Так и хотелось спросить у него: а черта лысого тебе не приходилось встречать?..

— Когда палец болит... — конец фразы меня не догнал.

На улице жара, солнце палит. Куда деваться до вечера? Сейчас бы в Коктебель... Эта мысль принесла спасительную идею: ехать купаться и загорать. Разумеется, не на Москву-реку, где нефть, которой не хватает в капиталистических странах, и не в Серебряный бор, куда доберешься разве к вечеру, — поехал в Тимирязевский парк, там пруд. В него и нырнул.

Сначала все было хорошо. Но из-за горизонта неслась тучка против ветра и всем своим видом предупреждала: «Я разойдусь и такое натворю! Скрывайтесь, пока не поздно». Люди не слушали ее — купались, флиртовали, ели, пили вино, один даже попробовал утонуть.

Дождь пошел такой, что помылись и те улицы, которые не убирали со времен Ивана Грозного. И вот — началось! Паника. бегство. Куда? На трамвай — штурм рейхстага. Трамвай взят. Но он, бедный, с места не может сдвинуться. Слезайте же, люди! Освободите двери! Кого-то придавили, уже дерутся, ребенок плачет, а ливень градом кроет... Чего ради друг друга лупите? В чем виноват водитель трамвая, что его нещадно ругаете? А если война, а если вдруг тревога? Ведь трамвай же не вражеский окоп!.. Я в трамвай не попал и промок до нитки. Но ливень скоро прошел, выглянуло солнце.

У музея — толпа народа. Подошел солидный бородач:

— Лишнего билетика нет?

Он смотрел на счастливых глазами голодной собаки.

— Видите ли, я художник. Очень желательно взглянуть...

Я бы охотно отдал ему свой, но... Зайчишка раздобыла эти билеты для нас, ведь мы теперь так редко бываем вместе.

А вот и она — улыбается издали... Не знаю, что у нее на душе, но мне она всегда улыбается.

У Моны Лизы оказалась уйма телохранителей. Протолкнули нас мимо нее с такой скоростью — она и моргнуть не успела. Как будто мы на работу опаздывали. По правде говоря, я не испытал священного трепета. О других сказать не могу. Все страшно упиралось и, казалось, были готовы умереть у ног Моны. Однако успевали узнавать еще и знакомых: «Гляди, Ванька с Машкой! Гляди, Таня с Гришей»... «И найди здесь, этот — из вланового»... Шепот сей, впрочем, почти не нарушал должествующего благоговейного молчания, уместного в таких местах. При выходе из зала я услышал, как горячо обсуждали футбольный матч между московским «Спартаком» и киевским «Динамо». Похоже, люди приходили отдать дань моде. А художник тот, бородач, кланчил лишний билет...

Шли пешком до Белорусского вокзала. Заяц держалась, как персонаж шпионского романа, — поминутно оглядывалась, высматривая, нет ли за мной «хвоста». Напрасно ее успокаивал, она все равно на встречающих и идущих вслед за нами смотрела со страхом, даже говорить стала шепотом.

Некоторое время мы молчали. Было достаточно того, что можем идти вдвоем в этом огромном людском муравейнике. Потом она заговорила о своих заботах. О сыне, о невестке, о том, что не получается у них жизнь и, видимо, они разойдутся, что парень стал прилежно работать и оставил друзей, ей неприятных.

Зайчик радуется этим мелочам. Я радуюсь ее радостью. Сын у нее единственный, и он ей трудно достался. Вырастила одна в труднейших условиях послевоенного времени. Наверное, многие матери тех лет помнят, как таскали своих малышек, завернутых в одеяла, с одного конца города в другой — в ясли, в садик — на руках, порою усталых и слабых, как приходилось работать по десять часов в день и уметь хоть изредка немного посмеяться или сдерживать слезы. Наверное, помнят это матери тех лет...

— Гусь красит кухню, — говорит она. — Оклеивает пенопластом свою комнату и ведет себя хорошо.

Представляю, что там делается, в этой кухне... ладно, красит

так красит! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало... Хочется Зайцу видеть своего выстрадавшего ребенка если не вундеркиндом, то хотя бы порядочным — много ли надо маленьким людям для большой радости, для обыкновенного счастья!..

— Собачку притащили, — говорит Зайчик. — Щенка. На птичьем рынке им всучили как кавказскую овчарку. Подозреваю, что вырастет обыкновенная дворняжка... А тридцать раз «плакали»...

Зайчишка озабочена сыном, она слишком много себя ему отдавала, она привыкла надеяться. Матери всегда надеются и часто видят в своем ребенке не то, что есть на самом деле, а то, что им хочется в нем видеть. Она тоже видит что-то свое, и так будет до конца ее жизни. Она суетится, старается укрепить едва начавшуюся жизнь молодой семьи, варит супы пополам со слезами, и они их с удовольствием едят. Они играют во взрослых. Молодой играет еще в «Спортлото» и оклеивает стены пенопластом, молодая изучает психологию: «...По выдвинутой Уитли и Бардом гипотезе, миндалевидное ядро, соединяющееся с вентромедиальным ядром, служит «воронкой», по которой тормозные влияния идут к заднему гипоталамусу...»

— К какому «гипоталамусу»? — и удивленно пялит на свет божий свои глупые глаза. Эта штучка в бигудях вбила себе в бапку стать психологом — хоть ты лопни! И зачем только люди ищут в себе какие-то необыкновенные качества?! Сколько обид, какое разочарование, когда окажется, что их нет...

Больше всего страдает честное сердце Зайчишки — она постоянно в тревоге за молодых, а тут еще я... Ее вызывали в милицию, допрашивали — искали меня. Она лгала как умела. Домой к ней приходил участковый, и она опять лгала, мучительно вспоминая, что говорила в прошлый раз. Каково это человеку, кто совершенно не умеет лгать! И Заяц мечется: от молодых — ко мне, от меня — к ним: вчера, сегодня, завтра. Она похудела, пожелтела; ее силы, похоже, на исходе. А ей надо еще работать и успевать готовить на два дома...

У Белорусского расстались. она — домой, а мне надо было дождаться ночи, чтоб пробраться к себе.

— Будь умненьким, — говорит она перед уходом, — не поддавайся настроению...

Вспомнилось, как она приходила, бывало, ко мне после моего

долгого отсутствия, как любовно трогала вещи в моей комнате — книги, кресло, стол, словно они передавали ей ту нежность, которую высказать до конца я, наверное, не умел. Трудно быть нежным, не одному мне: это необходимое качество люди все больше теряют...

И, может быть, эти вещи в моей комнате, служившие нам немало лет, помогали ей не бояться меня в те несчастные дни, когда она входила ко мне, словно в логово тигра, боясь увидеть черт знает что. В те дни мне было неприятно ее присутствие, потому что было стыдно и не было мужества в этом признаться. Ну, а без нее было еще хуже. Ни к чему, наверное, не привыкает человек так легко, как к заботе, превращающей его в маленького ребенка...

И каждый раз принималось твердое решение: «завязать», тем более что психология алкоголика не нуждалась в дополнительном изучении. Но... двери были распахнуты для всех желающих. И они приходили. Говорилось много лестных слов в адрес хозяина, и он сам начинал верить, что является исключительной личностью. Он пил с друзьями, и организм с каждым днем все больше терял способность сопротивляться. Ведь и у автомобиля изнашиваются тормозные колодки, которые, однако, можно менять...

Раньше и психика была иной: я мог пить, мог и не пить. Я умел подчинять своему желанию любую потребность. Теперь желание стало подчиняться любой потребности, изыскивать ее в любой подходящей причине. И вот дошло до черта лысого. А дальше что?

Было бы неплохо, если бы ученые придумали качественное изменение алкоголя — скажем, сделали бы так, чтобы он действовал умиротворяюще, вроде транквилизатора. Выпил рюмку — ты не обманут и спасен от стресса, угнетающего мир, а вместе с тем организм твой получил дозу успокаивающего. Выпил пол-литра — и лег спать...

Алкоголь — худший в мире наркотик хотя бы потому, что другие доставать трудно, алкоголь же доступен всегда и всем. Именно об этом я думал, изменив направление маршрута и шагая энергично к «Лире». Еще думал о том, что вот иду, хотя идти туда не надо; что, если мне в данную минуту скверно на душе, потом будет в сто раз хуже; что Заяц, если узнает, где я, не сомкнет глаз до утра... Подумав обо всем этом, пришел к

выводу, что алкоголь страшен еще потому, что люди ищут в нем спасения от своих бед, которые становятся только еще больше... Придя к такому выводу, я смело вошел в кафе, как кролик в пасть удаву...

Проснулся от настойчивого стука в дверь. Не сразу сообразил, что стук особенный, условный — Заяц. С трудом заставил себя подняться с дивана, на котором лежал одетый. Состояние было такое, что не хотелось открывать дверь даже родной матери.

Заяц принесла огуречного рассола и квасу...

— Откуда тебе известно, что это именно то, что мне сейчас нужно?

— А времени уже сколько? — ответила она вопросом на вопрос. — Ты же должен был звонить мне рано утром... Ну, ты поешь и поспи. А я побегу, столько дел!..

И ни слова упрека. И вот уже бежит торопливо вниз по лестнице. Боже! Как она безропотна — ни тени обиды!..

Пусто, невероятно пусто стало вдруг кругом. Как много значит иногда присутствие другой жизни, какая незаметная сила скрывается в ином маленьком существе... Вот была — и все жило вокруг, ушла — пусто!..

Как покорно подчиняется она судьбе... Судьба? Судьба для нее — я, явно неблагоприятная Судьба. Я даже не в состоянии защитить ее...

Я разделся и встал под душ. Пустил холодную воду и стоял до тех пор, пока тело не онемело. Но душа не онемела: ей все так же тревожно и больно. Тут вспомнил — таблетки! Вот они: припрятанный неизвестно зачем люминал. Одну, две? Нет, все двенадцать. А теперь — полежать. Все гаснет, все уходит в пустоту. И опять ночь, опять темно...

Но жизнь не ушла. Она ворвалась в сознание телефонным звонком. Затем кто-то постучал в дверь. Я лежал тихо, не шелохнувшись. Во мне была тишина, безразличие ко всему — продолжалось действие таблеток. Но мысли ожили, они были о том, что незаметно назревало в последнее время, — надо уехать, надо освободиться от окружающей меня действительности и освободить от себя других. Я оказался в положении, которое хуже, чем если бы я сидел в тюремной камере, где все заранее определено. Время сжалось для меня до размеров тюремной камеры...

И я понимал, что на уровень настоящего (не тюремного) времени я смогу подняться только, если справлюсь с задачей, которую сам перед собой поставил: сделаю свою работу. И дело не в том, что я в долгу перед издательством — творческие неудачи, вероятно, простятся, и в нашей стране нет долговой тюрьмы. Я не был должен и читателю, потому что ничего ему не обещал. Я был должен тем, кто мне верил, кто был рядом и помогал мне. Но больше всего я был должен самому себе: я должен был приобрести уверенность и право сказать, что не ради красивых и пустых слов коптил все это время небо, и доказать это сделанной работой. Я не люблю эту затасканную формулу, используемую часто самыми задымленными тунеядцами, но только она, то есть именно «работа» без кавычек, единственно могла меня спасти.

И работа эта была. Я в нее верил и не сомневался, что закончу ее должным образом, сколько бы труда ни затратил на нее. Но я оказался в своего рода ловушке: изображая судьбу своего героя, приведшую его к пропасти, от которой его уведет, спасет самоотверженная любовь, не имея под рукой прообраза, я, естественно, рассказывал не о нем, а о себе. И у меня возникла смутная тревога: герой-то, может быть, и станет человеком с помощью людей, любви и Автора, который делает для него все что может, но как выбраться из сходного положения самому Автору? Чтобы закончить работу успешно, ему необходимо подняться над своими героями и их проблемами. Он же теперь был как будто на одном уровне с ними, а порою и ниже. А если ему, Автору, не хватит сил подняться? Что будет тогда с Зайцем? Имею ли я право мучить ее? Она совсем обессилела. Что, если я и романа не напишу, и с алкоголем не справлюсь?

Жизнь оправдана тогда, когда хоть одного человека можно сделать счастливым. Но если ты видишь, что причиняешь только страдания, не лучше ли уйти, пока совсем не погубил человека, поверившего в тебя? Если тонешь — тони в одиночку, не тяни с собой на дно другого. Так пришло решение: расстаться с Зайцем. Если она не в состоянии бросить друга, это не дает последнему права стать камнем на ее шее.

Как просто было вначале: мой герой сравнительно легко выбрался из дебрей сибирской тайги, и везло ему до тех пор, пока Автор не забрел в писательские дебри. В них легко

заблудиться: это как бы перекресток сотен тысяч дорог. А которая из них правильная, твоя? Как узнать?

У писателей, чтобы не заблудиться, имеется компас. Не тот, которым пользуются в морях. У них он другой, их компас — сердце. Но все же полагаться только на этот компас трудно, потому что у каждого он свой, личный. Тем не менее без него никакая работа не возможна. И вот этот «компас» теперь показывал мне путь в пустыню: для осмысливания жизни и себя в ней.

С тоскою смотрел я через щелочку в оконных занавесках на улицу: дождь лился, неуютно. По достоинству оценил свою «одиночную пещеру» — в ней тепло, сухо, чисто. А ведь со всем этим придется расстаться, и это плохо, когда скоро осень, зима...

Надо поехать поближе к югу, где теплее. Надо будет уединиться так, чтобы хоть внешне быть свободным и начать... Работать, работать, работать! Если выиграю — вернусь. Если проиграю...

День расставания оказался воскресным. Мы отправились с Зайцем в лесопарк Тимирязевской академии — наше постоянное место прогулок. Говорить ни о чем не хотелось, одолевали воспоминания о прожитых вместе годах, когда она жила рядом со мной своими, казалось бы, незначительными буднями, которые теперь вдруг приобрели совсем другую, более значительную окраску. Вспомнилось, как однажды подарил ей кольцо — дешевую подделку под янтарь. Тем не менее Заяц это кольцо берегла, потому что ценность его была в том, что оно подарено другом.

Невесело было вспоминать подобного рода подробности. Как она, бывало, подойдет, смотрит жалобно в глаза и говорит: «Вот у меня здесь болит...» Где-то у нее болит. Пустяк, конечно, но и пустяк нередко беспокоит.

— Да ну, Зайчишка, это обычное явление. У меня тоже так бывало...

И она уже успокоилась, потому что у меня тоже так бывало...

Кому она теперь будет доверять свои маленькие и большие заботы? Единственное утешение: она избавится от тех изнуряющих беспокойств, которые вызывало мое беспокойное существование. Такие люди, как я, вероятно, не должны иметь ни жены, ни детей.

Мы сделали круг по обширному лесистому парку Академии и вернулись к исходной позиции. Отсюда добрались до вокзала, где в камере хранения ждала меня модная импортная спортивная сумка. Конечно, Зайцу не привыкать к моим отъездам и отсутствию, но я-то знал, что на этот раз отъезд может стать последним. В конце концов, у нее — сын, и в любом случае она будет любить его до самой смерти...

Пришли на вокзал. Мой поезд отправлялся. Глаза Зайца невесело смотрели на суету вокруг. Последовали обычные, такие привычные для моего слуха, наставления: беречь себя, не пить, ни с кем не связываться, не простужаться, не забывать нормально питаться, не забывать писать о себе. Украдкой сунула мне в карман небольшой пакетик; не глядя знал — в нем пирожки с мясом. Обменялись крепким рукопожатием: на время же уезжаю... Поезд тронулся. Ее маленькая фигурка старалась как можно дольше быть рядом с моим окном. Отстала, затерялась в сгустившихся сумерках. В вагоне зажегся свет. Проводница начала отбирать билеты.

Глава 20

В Киеве встретили друзья. Они приютили меня в Садах. Это несколько десятков километров вниз по Днепру. Там — владения садоводов, если эти небольшие кусочки земли можно называть садами. Впрочем, всю территорию, занятую сотнями участков, можно действительно назвать садом, даже большим садом. Но это не тот сад, где внимание уделяется прежде всего декоративным растениям, цветочным клумбам, ровно подстриженной травке, скамейкам для отдыха. Здесь — все для пользы, здесь каждый клочок земли должен что-нибудь давать: картошку, помидоры, ягоды, морковь, фасоль, лук — словом, все, что растет на огородах. Здесь не осталось необработанной ни пяди земли. Пожалуй, так бы и следовало все это назвать — «Нижние огороды», а не «Нижние сады».

Мои друзья — веселая семья. Жили они в городе шумно, дружно, не унывая. Главой семьи была Роксана Осиповна, женщина чрезвычайно энергичная и разносторонняя в том

смысле, что на неделе ее характер менялся столь же часто, как ветер на Балтийском море.

Но это никогда не отражалось на ее гостеприимстве. Главным образом страдал от этого ее муж Евгений Михайлович, постоянная жертва смены ее настроения. Сынью Роксаны, юноши, хорошо знали мать. Они относились к ней с добродушной иронией, не мешавшей любви и уважению. Хорошо сказала о маме двенадцатилетняя дочурка: «Мам, ты на всех кричишь, а сама на сэбэ николю не кричишь...»

Глядя на жизнь моих веселых друзей, я поражался тому, как мало людям в сущности надо для спокойной и радостной жизни: возможность сажать, поливать, бегать по колхозному пастбищу за коровами с ведром в ожидании момента, когда какая-нибудь из них соизволит произвести немного удобрения. Словом, жить уединенной жизнью в своем маленьком хозяйстве-государстве, где ты и король и чернорабочий. Наверное, для по-настоящему коллективного существования людям необходима все же определенная возможность уединения. Если хочешь, чтобы человек тебя любил, не сиди с ним впритык — расстояние сближает. Только на расстоянии можно по-настоящему рассмотреть тех, с кем живешь бок о бок...

В день моего приезда семья была занята закатыванием помидоров. Тем не менее в тот же день меня проводили в Сады. Для этого Роксана надела широчайшие джинсы, фетровую куртку, на ноги — шлепанцы, на голову — туристскую шапочку с козырьком, уложила в рюкзак консервы, хлеб, какие-то пакетики (я этот рюкзак едва поднимал) и взвалила его себе на спину. Мои попытки протестовать не помогли. Мне всей семьей объяснили, что Роксана без рюкзака двигаться не привькла. Вдобавок ко всему она в одну руку взяла обычную дамскую сумочку, в другую — клетку с вороной (тоже член семьи), чтобы та могла поклевать травку на воле. Я просил, чтобы мне хоть клетку доверили — не дала.

Эта сухошавая женщина, маленького роста, с черными волосами и резкими чертами лица, была похожа на цыганку, хотя являлась стопроцентной украинкой. Нагруженная, как мул, она мчалась с такой скоростью, что я едва за нею поспевал. Глядя на этот персонаж из фильмов Чарли Чаплина, с трудом можно было поверить, что она инженер-мелиоратор, как и ее супруг. Рядом с ней я выглядел нелепо со своей шляпой и модной заграничной сумкой.

Сойдя с теплохода, мы прошагали километра два по песчаным улицам дачного городка и пришли к строению, похожему на сотни других вокруг. Роксана его назвала домиком, хотя оно было больше похоже на голубятню или хижину Миклухо-Маклая, — на высоких столбах эдакое сооружение на курьих ножках. Общая площадь домика — от силы метров шесть, разделенных перегородкой на две равные части, в которых и повернуться негде. Скорее всего это не столько жилье, сколько кладовка, полная всякой всячины.

Распихав по углам какие-то раскладушки, жбаны, ведра, планги, мешки и корзины, освободили, наконец, угол в одной половине дома для небольшой, сколоченной из грубых досок табуретки — отныне моего письменного стола, на котором, если повезет, то ли Жанна, то ли «обыкновенная» Галя родит Валентину своего первенца. На скорую руку соорудили нечто похожее на постель, и уже Роксана (она не велела звать ее по отчеству) роет в едду картошку, и уже эта картошка в мундире варится в чугушке, около которого Роксана — истая цыганка! — сидит прямо на земле, разъясняя мне, как можно сохранить колбасу, если нет холодильника, заворачивая ее в крапиву и бумагу. Еще мгновение — и картошка очищена: угощайтесь! И вот Роксана набила рюкзак помидорами, нарвала букет цветов, росших в этом саду как попало, безо всякого порядка. Следуют последние наставления, и она, как смерч, умчалась с каркающей вороной в клетке.

Я остался не в одиночестве: на лугах и в огородах прыгали жирные зеленые лягушки, скользили ужи, в мягком песке оставляли узорчатые следы колорадские жуки, а пауки старались изо всех сил опутать меня тонкими, воздушными, блестящими по утрам от росы сетями: они не знали, что я из тех мух, кто всю жизнь только и делает, что выбирается из одних сетей, чтобы попасть в другие...

Первые дни и недели я просыпался и засыпал под перестук молотков: в соседних «голубятнях» что-то приколачивали. Поселок строился. Интересно смотрелись садоводы, важно похаживающие вокруг своих дач. Здесь каждый стремился перещеголять другого в изобретательности. Они жадно интересовались делами друг друга — приятно сознавать собственное благополучие и радоваться ему.

Пусть радуются. Мне не жалко, если кому-то хорошо

живется. На самом деле неплохо, когда навстречу тебе идут «Жигули», а в машине видишь обветренные лица и «баранку» крутят грубые мозолистые руки. Правда, встречались и самодовольные физиономии, на которых ярко выражалось сознание собственного превосходства.

Было и мне неплохо. Я быстро привык к обстановке. Ходил на Днепр купаться. Хозяева появлялись только по субботам и воскресеньям, поливали сад, собирали овощи, фрукты и уезжали. Мое настроение, в общем, улучшалось, забывалось все тяжелое. Я вставал рано, выходил на шоссе и шел навстречу солнцу. Чем выше поднималось оно, тем лучше становилось настроение.

Я мучился со своими непослушными героями — не хватало фантазии заставить их вести себя по задуманному мною. Пяпу, рву, не слышу. Пытаюсь Валентину навязать Галло — не получается. Он доказывает мне, что женщине все-таки нужна прежде всего красота. Против душевных качеств он ничего не имеет, но красота ему нужна — хорошо, когда глаз может отдохнуть на красивом. Женщина, конечно, не вещь, но все-таки сердце больше радуется, если радуются глаза.

Используя авторскую власть, я могу Валентину привить эту любовь, но что за любовь тогда получится — непонятно самому. Любовь должна развиваться в страданиях. Чтобы Валентин или, скажем, Жанна начали у меня страдать, сначала за них должен страдать я, а я их даже не очень-то люблю...

Сколько опять извел бумаги, сколько бессонных ночей — толку мало! Познаю, наверное, всем известную истину: легче родить, чем воспитать. Вот Королева... Что с нею делать? Она еще не старая, красивая женщина, она имеет право на правильное решение ее судьбы, а такого решения у меня нет, потому что, какое бы решение я ни придумал, она сама его не примет: скажу ей, что она никогда не будет счастливой, потому что ставит себя выше доступного счастья, она не согласится, считая виновным во всем то обстоятельство, что нет у нее под рукой героев Грина, Лермонтова, Хемингуэя. Так что же делать с этой красавицей и ее беременной копкой? Всякое дерево по ее росту для нее мало, а с большим ей не справиться. Оставить на произвол судьбы?

Дни бегут, недели идут. Прошел месяц, вслед другой. Постепенно и здесь стало холодать. Садоводы с каждым днем

все реже приходили, в Садах стало тихо, пустынно, спокойно — никого, кроме брошенных ими здесь, теперь бездомных, кошек и собак, рыскающих вокруг в надежде на кусок чего-нибудь съедобного. На Днепре катера и теплоходы сокращали график. Ощущал я себя как в ссылке, — полная изолированность.

И все же приятно было бродить по бескрайним лугам, похожим на степь, слушать посвист ветра в ветвях деревьев, футболить тут и там собачьи черепушки, останки тех же оставленных здесь четвероногих. По ночам меня развлекали мыши: они такую подымали кутерьму, что казалось, домик развалист. Когда тихо-тихо сидишь в темноте на постели, свесив ноги на пол, вдруг почувствуешь нежное-нежное прикосновение к голой пятке — мышь! Тепло становится от их присутствия. Эти тонкохвостые ребята, в сущности, довольно скромные, и едят они не очень много, а разве они виноваты, что их столько развелось... Ведь и человечеству предстоит решать проблему перенаселения планеты, хотя пока оно в основном стремится решать проблему перенаселения своих владений мышами. Евгений Михайлович привез крысоловку, чтобы я их, мышей, ловил. Но она у меня бездействовала — от присутствия хоть чего-нибудь живого уменьшается чувство одиночества.

Вот я и подумал, что по-настоящему бездомным бывает не тот, кому негде спать или держать свой скарб, а тот, у кого нет ни одного живого существа, от общения с которым было бы ему тепло.

За это время я мало употреблял спиртного, разве что от сильной усталости изредка пару бутылок вина. Свежий воздух и тишина понемногу восстанавливали изношенную нервную систему. И так я был горд своей умеренностью, что почувствовал потребность похвастаться ею — прежде всего, конечно же, Зайцу: ведь она обрадовалась бы больше всех!

Но однажды я опять совершенно выдохся — устал писать. Я все же продолжал выжимать из себя «умные» мысли и что-то, в общем, делал, но вдруг стал сомневаться в смысле всего сделанного. Меня душили сомнения: нужно ли это вообще, будет ли от этого кому-нибудь польза или вся моя работа окажется в урне для бумаг? Как узнать, что все, что я делаю, — правильно? Как нужно делать, чтобы было правильно? У кого спросить, с кем посоветоваться, кому показать, почитать?

Хотелось почитать хоть кому-нибудь, чтобы увидеть реакцию слушателя и определить по ней правильность своей работы.

Решил почитать Роксане и Евгению Михайловичу. Сунул рукопись в папку — и был таков.

Они были дома, ворона — тоже. Но все были страшно заняты. Дочка делала уроки, Роксана опять что-то солила. Евгений Михайлович оказался углубленным в какие-то свои расчеты. Ворона долбила кукурузный початок. Стало ясно, что моя писанина здесь, по крайней мере сейчас, никому не нужна. Даже не заикнулся о своем намерении. Сослался на то, что просто шел мимо и зашел повидать их. Придумав благовидный предлог, раскланялся и ушел, огорченный невероятно. Эх, Зайчишка! Вот кто меня всегда терпеливо выслушивал, даже тогда, когда я порол явную чушь...

Дело шло к вечеру. Проходя мимо магазина, вошел, купил бутылочку вина, в скверике выпил. Сразу пропали сомнения, огорчение как рукой сняло. Отправился дальше и оказался в объятиях молодого сержанта милиции.

— Куда идешь? — спросил он, словно старого знакомого.

Я, откровенно говоря, растерялся, потому что шел бесцельно, во власти хорошего настроения.

— Прямо! — ответил я, и он решил взять меня с собой в опорный пункт, где я оказался первым посетителем в тот вечер. Сидели скучающие сотрудники и медсестра. Я объяснил, кто я такой, показал документы и принялся читать стихи Киплингa. Читал с чувством. Стихи им понравились. Вручив мне мою папку и документы, отпустили.

— Куда все-таки идешь? — поинтересовались на прощание.

— А какая следующая улица?

— Жадановского.

— Во... Туда и иду.

Простились дружески. на душе стало еще теплее, и я купил еще одну бутылку вина, потому что если настроение у человека хорошее, почему оно не должно стать еще лучше? Выпил в подъезде. Вскоре попалось кафе, вошел и увидел у одного столика симпатичных молодых парней. Решил почитать им рукопись, не сомневаясь, что они-то уж понимают толк в превратностях любви...

Пробуждение было ужасным.

Пришел в себя от скверной боли в сердце. Глаза повемногу свыклились с тусклым светом, и я догадался, что лежу на носилках, на полу, в огромном, холодном, слабо освещенном подвале. В нос ударил удушливый запах. Рядом кто-то застонал. Повернув чуть голову, увидел страшную, в кровоподтеках, небритую рожу. Она смотрела на меня не мигая, в упор, одним глазом. Вместо второго — кровавая дыра. От человека шла резкая, отвратительная вонь. Где-то раздавался свирепый хрип.

Справа от меня лежал интеллигентного вида пожилой человек в застегнутом на все пуговицы пальто и босиком. Немного дальше виднелся кто-то с забинтованной головой, в изорванной одежде. Весь подвал был заставлен носилками с похожими на моих соседей людьми. Я начал мало-помалу понимать ситуацию.

Попробовал пошевелить рукой — шевелится. Обрадовался. Стал ощупывать себя — вроде бы целый, только сердце ныло тупой болью. Видно, я потерял сознание — ведь именно так главным образом умирают алкоголики: упадут и больше не встанут.

Осторожно поднялся с носилок. Нужно было выбраться из этого жуткого места как можно скорее. Но как?! В дальнем конце подвала заметил транспортер, он шел от пола до люка в стене. Видно, через этот люк и по этому транспортеру нас сюда, в подвал, и доставили. Я добрался по транспортеру до люка, он оказался запертым. Направился к двери в другом конце подвала. Здесь рядом слопатами, шлангами и корзиной, полной кровавых бинтов, постанывая, лежал юноша. Осторожно толкнул дверь — открылась. Я оказался в узеньком коридоре. Из-за ближайшей двери донесся женский голос:

— Воды нет же. Мыть-то их чем?.. Узнай-ка, когда дадут.

Я прошел мимо, поняв, что услышанное относится к обитателям подвала, в котором просыпаться страшнее, чем в лунную ночь в морге. Каким-то чудом обнаружил выход во двор больницы и здесь пустился в такой бег, на какой был способен мой истощенный организм. Скорей! Прочь! В Сады!..

И только там сообразил, что прибежал без пашки. Искал ее везде. Опорный пункт нашел, но оттуда я ушел с пашкой. Кафе не нашел. В больнице о пашке никто ничего не знал, да и обо мне тоже. Вконец измотавшись, я пришел к заключению, что потерял единственное, чем был богат, — рукопись, что теперь я просто обыкновенный бродяга.

Какой контраст! От общения с уважаемыми гуманитарными деятелями — до собранных в этом подвале отверженных... Вчера — ресторан на телебашне в Берлине, сегодня — подвал и общество алкоголиков, собранных со всего города!..

Людам смешно, когда говорят о пьяницах: «бухарь», «родимую обожает», «воробей и тот пьет», «кто не пьет — все пьют»... Пьют, чтобы «спрыснуть», «обмыть», «отметить», «отпраздновать»... Сколько снисходительных терминов! И всегда всем смешно: человек шатается — смешно, бормочет что-то нечленораздельное — смешно, валяется в луже — смешно, спит в метро — смешно. Но вот он треснул другого бутылкой по голове — теперь не смешно. Теперь алкоголик — не «бухарь», не «воробей». Теперь он преступник.

А пока смешно. Мамы пьют, и папы пьют, детям еще нельзя — они пока только созерцают. Папам можно, мамам можно — ведь они города строили, каналы рыли, войну выиграли, а ум не пропивали...

Автор работал над романом. Он не получался, потому что персонажи пьянствовали, и вместе с ними Автор, который не сумел их сделать трезвенниками. Они собирались «на троих», пили в подъездах, у магазинов, в больницах, конторах, кладбищах и в парках; собирались в компании, праздновали праздники и орали пьяными голосами песни.

Интересно, если бы все хоть мало-мальски «употребляющие» перестали пить в один день сразу, что бы произошло? Всем известно, какой вред приносит алкоголь, сколько находится из-за него людей в колониях, сколько катастроф и несчастий в семьях, — об этом говорят ученые, социологи, криминалисты, врачи. Стало бы, если бы все перестали пить — всеобщее ликование! Водку и вино миллионами цистерн вылили бы в реки и ловили бы пьяную рыбу...

Но ведь тогда пропадут громадные суммы, которые стоят миллионы цистерн алкоголя, получаемые обществом за счет здоровья алкоголиков и применяемые, надо полагать, в каких-то других полезных целях. Неужели общество считает, что, ежели человек хочет утробить свое здоровье, его не остановишь? Не дашь ему водки — гвозди начнет глотать, а себестоимость гвоздей, пожалуй, дороже, чем водки. Ведь и Автор, все понимающий, идет в город и не видит уже ни красивых женщин, ни диетической столовой, а уже издали

видит — магазин «Вино». Словно проклятие господствует в мире, словно на самом деле существует сатана, который, торжествуя, потирает мохнатые лапы и, оскалив пасть в улыбку, празднует свое торжество над людским разумом.

Эх, мне жаль несчастных наивных сорок трех мужиков из Северной Америки, которые в 1808 году образовали первое общество трезвенников!..

Глава 21

Все холоднее и холоднее. Чтобы не замерзнуть, привез с собою полную сетку водки — бутылок пятнадцать. Быть трезвым в моем положении просто невозможно, да и незачем. Стоило только протрезветь, как острыми иглами вонзались в мозг мысли, а на кой черт они мне теперь? Когда в них нуждался, их не было... К тому же — о чем они? О былом времени, когда меня окружал хоровод друзей. Было здоровье, были и друзья. Где они теперь? Может, они теперь рады моему исчезновению?

Хозяева уже не приезжали. Мне можно было бы уехать куда-нибудь, но куда и зачем? Не везде ли все для меня одинаково? До сдачи романа по договору оставалось два месяца. Кто может написать роман за такой срок? Всю работу опять надо было начинать сначала. Решил оставаться в Садах, пока не ударят сильные морозы, пока есть деньги. Не все ли равно, где их пропивать? Рано или поздно настанет какой-то конец, какой — неизвестно, и стоит ли об этом думать? Для меня существовало настоящее — в Садах или где-нибудь еще. И заключалось оно в возможности не осознавать действительность, забыться. Достигнуть этого было можно только с помощью моего заклятого врага — водки.

Откуда-то налетели полчища ворон, огромных, наглых. Их карканье слышалось с утра до вечера. В остальном было по-прежнему спокойно в этом садовом государстве. Приходили мысли о смысле жизни, вспоминались слова древней мудрости, что она есть суета сует и всяческая суета... Человек всегда искал и, вероятно, не перестанет искать смысла жизни. А зачем? Зачем противоречить природе, давшей нам жизнь, нас не

спрашивая? Суетятся насекомые, птицы, звери, все живое — зачем? Чтобы жить. А люди ломают головы над тем, зачем хлеб жуют. Чтобы жить! Кто может упрекнуть меня в том, что живу неправильно? Я содействую развитию всеобщего прогресса уже тем, что существую (даже если не делаю ничего более, как сплю), являясь какой-нибудь противоположностью. Ведь жизнь развивается благодаря закону о единстве противоположностей... А в таком случае зачем вставать рано, как я это делал прежде?

Теперь я больше не ходил по утрам на шоссе — солнце не в силах было вселять в меня радость. Мне впору было повеситься, но и на это не хватало духа... Так зачем же вставать рано, хотя и не греют четыре сделанных из тряпок одеяла? Зачем бриться? Ради кого? Во имя чего? Было бы еще лучше, если бы не было вечеров и ночей. При солнце я все-таки жил вместе со всем, что летает, ползает, чирикает. Оставаясь же в ночи, я с тоскою взирал на луну, находясь во власти всех моих недугов: и душевных, и физических...

Слушая возню мышей, пью в темноте из бутылки, загодя поставленной мною рядом с кроватью, на полу, и размышляю о том, что было написано мною — что оно дало бы людям? Поверил ли бы в него кто-нибудь, принял бы душой? Думаю вообще о смысле писательства, и оно начинает казаться мне все более бессмысленным. Можно ли в литературе сказать что-нибудь новое? Все уже было. Все, что будет, — уже есть. Бери любых трех классиков литературы, и ты узнаешь все, что было, есть и будет... Могут ли сами писатели читать по-читательски? Думаю, читают они либо с критических позиций, либо чтобы самим не повторяться, хотя иная тема, иной вопрос используется сотнями лет...

Безусловно, хороших книг, которые читать одно удовольствие, много: в распоряжении человечества — отличная литература. Но в том-то и дело, что это... литература. Читателю же нередко кажется, что в жизни все не так, как в книгах или в кино. Он читает, но не верит, а если не верит — зачем читает? Чтобы время убить, чтобы помечтать?..

Говорят, книги учат. Это — правда. Но жизнь — знаю по себе — учит и лучше, и строже. Не думайте, что я против книг. Я с наслаждением читаю Ремарка, его «Триумфальную арку», и понимаю, что это — первоклассный роман. Он и рассказывает

и показывает. Я потому и люблю этого писателя, что он романтичен в своих описаниях реальной жизни. В чем же дело? А в том, наверное, что хотя я и верю всему, что рассказывает автор, и в то же время вижу его приемы, его игру, без которых, видимо, нельзя создать роман, и они менястораживают. И в подсознании вместе с восхищением зудит все та же мысль: это ведь всего лишь роман... Тем более что персонажи в нем так много пьют: тут и кальвадос, и русская водка, и всякая прочая бурда, да в каких количествах! С этим даже я бы не справился...

Наконец, я ужасно слаб от водки — руки дрожали, зрение ухудшилось, я стал плохо видеть в сумерках. По нескольку дней не вылезал из постели, если кипу разноцветного тряпья, в котором спал, можно назвать постелью. Состояние опьянения стало нормой. И было страшно из него выходить — не только морально, но и физически: начались жуткие боли во всем теле. По ночам я то покрывался холодным потом, то меня бросало в жар. Сердце не позволяло делать никаких резких движений. Из такого состояния выводила только новая доза водки, после чего наступало успокоение. Холода стали терзать еще вешаднее...

Надо было что-то предпринимать, а к этому меня могло принудить только какое-нибудь особое обстоятельство. Холод и стал таковым. Он продиктовал необходимость передвинуться ближе к югу, где теплее: мне предстояло не идти навстречу солнцу, а догонять его.

В сущности, я стал тем же Кентом, с той лишь разницей, что его в романе я оставил в неведении всего того, что узнал о жизни сам...

Оставив в домыке ставшую ненужной сумку, я сунул в карман электробритву и отправился в неизвестность.

Доехал катером до города. У станции метро «Днепро» выпил стакан вина, чтобы согреться, сел в поезд метрополитена и оказался на вокзале. Шла посадка на поезд в направлении Херсона. Я хмуро поглядывал на строгих проводников, проверявших билеты, и прикидывал, каким образом прошмыгнуть мимо них в вагон. Экономя деньги, я не стал брать билет. Костюм мой был страшен. Сам я выглядел не лучше: худой, небритый, с отеками лицом и воспаленными глазами. Одним словом, законная добыча железнодорожной милиции, чей глаз меня пока еще не обнаружил, а то я не ломал бы головы о своем устройстве: они взвалили бы на свои плечи заботу обо мне...

Тут увидел женщину в светло-сером демисезонном пальто. На голове — такого же цвета шляпка, из-под которой на плечи ниспадали темные вьющиеся локоны. Стройенькая женщина с миловидной мордашкой. Она стояла и поглядывала на поезд. О нет! Мне уже не было нужды, подобно толстовскому отцу Сергию, рубить палец, чтобы воздержаться от соблазна! Я и не думал о соблазне. Да и чего стояла моя облезлая фигура... Чемодан! Ее чемодан — вот что привлекло мое внимание. У ее ног стоял здоровенный чемодан, который она поставила, видимо, чтобы передохнуть. К ней уже нацелился носильщик, но я подскочил раньше и попросил позволения внести чемодан в купе. Она взглянула на меня мельком и насмешливо заметила:

— Пожалуй, для вас он тяжел...

Я молча проглотил обиду — необходимо было пробраться в вагон.

— Ну, пожалуйста!.. — каким противным может быть иной раз голос мужчины.

— Несите, — разрешила красавица.

Я храбро взял одной рукой чемодан, а другой... схватился за поясницу, которую пронзила острая боль так, что я ахнул. Но чемодан не выпустил, бодро тащился рядом с ней, стараясь изо всех сил показать, что мне несколько не трудно. И тут вдруг меня словно кипятком обдало, я был потрясен: я увидел в ее руках мою собственную книгу в переводе на украинский. Чертовски хотелось обнять эту женщину, закружить ее, закричать на весь перрон, что книгу эту написал я, я, я! Д вряд ли она поверила бы: такой оборванец...

Я внес чемодан в купе, и, право же, он стал теперь почти невесомым.

— Не мало? — услышал ее голос с мягкой картавинкой и, не успев понять суть вопроса, обнаружил на ладони юбилейный рубль. Что с ним делать? Вернуть? Взял, как честно заработанный, чтобы не вызывать лишних подозрений. Поблагодарил и ушел. Этим поездом ехать расхотелось...

Я не знал еще, что предпринять. Но приближался милиционер, и я поспешил скрыться в толпе провожающих. Мысли обгоняли одна другую, руки дрожали сильнее обычного: я впервые видел в чужих руках свою работу. Целовать хотелось эти руки и даже этот рубль. Черт возьми! Всякая работа только тогда приобретает ценность, когда ее замечают, когда в ней

нуждаются, когда ею пользуются. Выпить хотелось жутко, да и рубль на то был дан. Но этот рубль решил сохранить как талисман. Его нельзя пропивать!

Вернуться? Задав себе этот вопрос, я уже знал, зачем туда вернуться: в моем распоряжении два месяца, шестьдесят дней до сдачи романа. За такой срок можно много сделать — ведь у меня весь материал в голове, нужно только начать и делать, делать, делать, невзирая на холод, голод, делать во имя этих рук, что держали мою работу. Значит, она все-таки нужна? Я не ощущал больше слабости, куда девалось привычное головокружение?

Купив две буханки хлеба и перловой крупы, я вернулся в Сады к моим мышам.

О чем я говорил, то есть размышлял недавно? О бессмысленности жизни? Да, она действительно бессмысленна, если бездейственна. Но если познавать законы жизни, чтобы ими разумно пользоваться ради самой жизни, можно научиться радоваться лобой мелочи в ней, и тогда все в ней приобретает смысл. Особенно труд писателя! Если я могу рассказать тем, кто знает меньше моего, о том, что известно мне, — я помогу им шире узнать жизнь и радоваться ей; если кто-нибудь, богаче меня, расскажет о том, чего не знаю я, — он поможет мне шире узнать жизнь. А познать ее надо всем, чтобы жить, как должен жить человек.

А смысл моих книг — в чем он? Мне кажется, что мои книги — своего рода мышь. Скажем, лежит где-то в закутке, где у меня хранится сметана, нахальный кот. Он там лежит не просто так... Моя задача — выманить его оттуда, напомнить ему, кто он есть и что должен есть. Я это делаю с помощью мыши, привязанной к бечевке. Бросаю мышь к его носу и подергиваю за конец бечевки, выманивая таким образом этого нахала, который не мою сметану должен есть, а свою законную пищу, которую ему и предлагаю. Случается, коты колеблются: им и мышь хочется, и сметану тоже...

Так примерно я представляю свои книги, которыми пытаюсь пробудить человеческое там, где могу, и в той мере, на какую способен...

Садово-огородная жизнь продолжалась. Я опять совершал утренние прогулки и шел навстречу солнцу, которое хотя уже и не грело, но по-прежнему улучшало настроение. Нужно было

чертовски себя понукать по утрам, чтобы заставить выбраться из постели. Я вскакивал и выбегал копать картошку на завтрак и обед — десятки раз перекапывал уже пустые грядки, и что же?.. Находил! Дело в том, что, если копать лопатою, не все обнаружишь, а если руками, наверняка нащупаешь облепленные мерзлой землей картофелины. Выгоняешь из них устроившихся на зиму колорадских жуков, и — дело в шляпе. Обнаружил в соседнем огороде сильно подмерзшую фасоль и сварил из нее прекрасный суп; сделал компот из оставшихся в садах высохших яблок; ел недозревшие помидоры, казавшиеся мне теперь роскошью. Даже приглядывался к осенним цветам — «чернобривкам», соображая, нельзя ли из них состряпать что-нибудь съедобное. Однажды меня разбудило особенно громкое карканье ворон и непонятный шелест под окном. Что они там клюют? Оказывается, затоптанную кукурузу, на которую я не обратил еще внимания. Я вышел и нашел початки. Спасибо, вороны! Извините, конечно, но так уж заведено: сильный отнимает у слабого...

Город еще давал электроэнергию, и я мог пользоваться электроплиткой. Она обогревала меня по утрам, когда было особенно холодно, на ней же варились и мои супы. Домик, разумеется, не был предназначен для проживания в нем в такое время, через щели в полу проникал свежий воздух, через щели в двери и окнах — также, а он, этот свежий воздух, был мне ни к чему. Нашел тряпки, разорвал и постарался заткнуть всю эту вентиляцию. Предвидя, что рано или поздно эвакуироваться все же придется, стал ломать голову над вопросом — куда? Приятелей и знакомых немало по всему Союзу, и это делало выбор затруднительным. Написал некоторым, указав обратный адрес — почта до востребования. Удобная штука для людей моего сорта...

С огромным рвением налег на работу. Трудился одержимо и с удивлением обнаружил уже к концу первой недели сорок готовых страниц.

Хотя все еще продолжал придерживаться убеждения, что отсутствие денег, увы, не является источником вдохновения, тем не менее неволью пришел к выводу, что в полуголодном состоянии даже лучше работается... Может быть, нужда заставляет?

А какое огромное напряжение нервов испытывал я, когда,

возвращаясь из города, куда ходил только в баню или за крупной, проходил мимо винных магазинов, где толпились мужчины или собирались кучками, по трое!..

К концу второй недели с удивлением и радостью взвесил на ладони пачку исписанной бумаги — восемьдесят страниц, что составляло третью часть потерянной рукописи. Неожиданно просто и легко решались судьбы героев. Я позволил Валентину еще многие вольности — пусть погуляет, ведь он молод. Дал ему возможность хлебнуть и горя: ведь все меняется! Этим самым я дал Валентину возможность повзрослеть.

А что я сделал с Королевой! Это может показаться бесчеловечным, но я привил ей роковую болезнь. Осознавая ничтожность оставшегося ей времени, она влюбляется в первого попавшегося, явно не в того героя, о котором мечтала, и умирает счастливой...

О, я много сделал! Когда перечитывал, нравилось: все звучало убедительно и естественно. Я не сомневался, что сижу прочно в седле, что каждая строчка — в точку. Но время плю, а руки дрожать не переставали...

Скоро и очень кстати моя колония разрослась. Потому кстати, что тонкохвостые обнаглели — по ночам плясали чечетку на моей постели, а все свои припасы я вынужден был тщательно прятать от них.

Первой пришла невероятно тощая и голодная кошка — мышей как ветром сдуло. Затем появилась маленькая лопухая собачонка с черным носом. Этот симпатичный хлопец меня сильно выручал. Дело в том, что с водой здесь было туго. Я ее таскал издалека и, естественно, экономил. Поэтому кастрюлю, в которой варил свои супы, почти не мыл. Теперь я просто выставлял кастрюлю на улицу, а Черный Нос вылизывал ее до блеска. Мне оставалось только слегка ополоснуть кастрюлю кипятком. Зато теперь я был вынужден добывать корм на всю банду, которая ходила за мной по пятам, стоило мне только куда-нибудь пойти. По ночам Черный Нос добросовестно облаивал любой подозрительный шорох.

На своих машинах изредка приезжали особо состоятельные дачники, чьи постройки резко отличались от большинства «домиков» как и они сами от большинства садоводов. Они приезжали проверять сохранность своей собственности, хотя здесь были постоянные сторожа. Сперва я было обрадовался им

и пытался завести знакомство. Мы, что называется, раскланивались, но дальше дело, увы, не двигалось. Им было известно, что домик Миклухо-Маклая принадлежит Роксане, что я — неопределенная личность, которой — кто знает! — может, следует даже опасаться, и у нас не возникло общности интересов.

«Собственность — причина неискренности человеческих отношений, — говорил, помнится, Станислав. — Собственность — причина материального объединения и духовного разъединения. Для свободной жизни нужно иметь и... не иметь...»

Что ж, вышеназванные «садоводы» подозрительно ко мне присматривались. И это понятно. Я ни разу не видел, чтобы они общались хотя бы друг с другом. У каждого был круг своих интересов. Они, похоже, никогда не собираются, чтобы просто поговорить о жизни или хотя бы спеть песню.

В тот вечер я возвращался с прогулки черным, как трубочист, из-за тупоумия пастухов соседнего колхоза. Им вздумалось разложить костер на давно не видевших дождя сухих лугах, где я обычно бродил. Уже издали увидел в сумерках дым и пламя. На фоне огромного, все расплзающегося костра нелепо, размахивая фуфайками, прыгали, как черти, два силуэта, словно исполнявшие какой-то ритуальный танец. Оказывается, они пытались сбить огонь, но сбивали его с наветренной стороны, и ветер все дальше гнал огонь по лугу в сторону коров. Огонь словно бежал от них — его не гнать надо было, а остановить. Я подбежал к ним, увидел около их временного шалаша лопаты (они ими для дачников собирали навоз), одну кинул одному из них, сам схватил другую, и мы стали забрасывать огонь землю. Скоро сражение было выиграно.

Встретивший меня на дороге Черный Нос был в недоумении. Он не узнавал своего товарища. А возле домика меня поджидали Роксана и Евгений Михайлович. У калитки стояла грузовая машина. На крыльце я сразу заметил большую коробку с яйцами, а рядом с коробкой они-то и стояли, голубчики, — три мушкетера — и заговорщицки, подлецы, подмигивали — три бутылки «Наднипровского».

- Це вин ще тут працює? — удивилась Роксана.

- Не холодно? — поинтересовался Евгений Михайлович.

- Холодно, — признался я, — кровь не греет. На одном энтузиазме держусь.

— Так приезжайте в город, — сказал он, — места хватит.

Это ему так казалось. Я ведь знал, что места у них мало. Всего две комнаты, а их самих пять человек плюс ворона. И я намекнул, что, находясь в столь длительной командировке, слегка издержался, так что...

— Да неужели за плату! — обиделся Евгений Михайлович.

Вам будет у нас хорошо! Холодильник есть, телевизор...

— И у меня здесь есть холодильник. — сказал я, — но в нем часто, кроме холода, ничего не найдешь!

Хозяева расхохотались люди с юмором. Они собрались уезжать, и я взмолился:

— Увезите, пожалуйста, это, — и я показал на бутылки с вином, — а то пропаду. У меня нет сил с ними бороться. Их три, я — один.

— Вин зараз не пье, вин працное, — подтвердила Роксана.

Евгений Михайлович еще сильнее захохотал и залез в кабину грузовика, увлекая за собой Роксану. Они уехали, а я остался в обществе трех бутылок превосходного вина. Сатана весело потирал свои мохнатые лапы...

Вскоре получил ответ из Тарту, куда и решил поехать. Договорился с одним из садоводов, приезжавшим в сады на собственной моторной лодке, и он меня увез в Киев.

Мои четвероногие удивленно наблюдали за странными, непривычными для них приготовлениями их двуногого друга. Он вскипятил на электроплитке ведро воды, постирал рубашку, и, когда она высохла, четвероногие удивились волшебной силе воды, способной черные предметы превращать в белые. Еще им пришлось увидеть колдовство с брюками как их стирали, сушили и гладили армейским способом под матрацем. А в день отъезда их друг немисливо долго мылся совершенно голый, хотя и было холодно.

Им невозможно было, к сожалению, объяснить, что все это было нужно в целях маскировки. Иной чудак ломает голову над вопросом, почему на него смотрят, как на подозрительного человека, и не знает, куда бы спрятаться, чтоб его не нашли. А сделать это, то есть спрятаться, очень просто: надо умыться, побриться и привести в порядок одежду. Вот ты уже и спрятался: снаружи ты такой же, как все. Душа при этом может оставаться хоть серо-буро-малиновой.

Для кошки, не спросив на то разрешения, вырезал внизу двери маленький люк, чтобы она могла самостоятельно добывать мышей. Последних жалко, но они — законная пища кошек... Черный Нос, моя маленькая собачонка, проводил меня на пристань. Когда я сел в лодку, он в отчаянии забегал по берегу. Еще долго-долго неся над водой нам вслед его жалобный плач.

Глава 22

Уважаемый турист! Если вы когда-нибудь заедете в Таллинн, вы, безусловно, увидите много интересного. Вас ждет множество музеев и старый романтический город. И еще вас ждут доброжелательные гиды, которые забросают вас наставлениями насчет того, куда именно вы должны идти, чтоб развлечься и обогатиться впечатлениями. Вас спросят, были ли вы в варьете «Виру»... Не были? Обязательно сходите! А в «Астории» вы были? А в кафе «Кялну Кукк»? И в кафе-варьете «Таллинн» не были?! Ну так поспешите, ведь на этом перечень кафе и варьете в Таллинне не кончается...

Да и куда вам еще идти? На осмотр города и всех его музейных достопримечательностей вам достаточно полдня. Ну, еще побегаете по магазинам — это уже обязательно! А потом куда? Только туда, дорогой мой, — в поход по варьете!

А на то, что у вас слегка отощает кошелек, не обижайтесь: зато вы увидите и услышите моднейшие пляжеры на каком угодно языке, если повезет, то и на эстонском. Ах, вы не понимаете по-иностранному?... Не беда! Вы думаете, сами исполнители понимают, о чем поют? Не понимают, но поют, и всем нравится...

Итак, вперед — в варьете! Начинать рекомендую с Пирита, где на вечном приколе в устье реки стоит пхуна — варьете «Кихну Йьнн».

Мне-то все эти злачные места были известны с давних времен, и я, прибыв в Таллинн, отправился на Пирита в «Кихну Йьнн». Смертельно хотелось забыть Сады, этот подвал в больнице и всяческие проблемы, которыми оброс с головы до ног...

Что не было мест в гостинице — не беда: какие-нибудь два часа после закрытия шхуны до первого автобуса в Тарту можно переждать и в зале ожидания автовокзала. Что денег было не слишком много — тоже не беда, постараюсь сэкономить на чем-нибудь в дальнейшем.

Было уютно за маленьким столиком в полумраке. Молодой «бычок» — кровь с молоком, с прической Тарзана, драл для удовольствия публики горло, не задумываясь ни о каких мировых проблемах. И пел он на каком-то индо-бразильском языке. Нерон тоже мнил себя великим певцом, и ему аплодировали, потому что он был император, но за что аплодировали «бычку», мне, по совести говоря, было непонятно...

Снаружи доносился скрип снастей, и волна чуть слышво билась о борт шхуны. Качались под потолком тусклые фювари, едва освещающие трюм, где вокруг бочек гавайского рома сидели волосатые люди с татуировками на громадных ручищах. Женщины сверлили взглядами полуобнаженных турчанок, танцующих в носовой части трюма на небольшой, ярко освещенной площадке.

Я пил коньяк, курил «Кент», который стрельнул у одного пассажира в поезде, и для меня в моем теперешнем настроении красивой показалась бы даже Баба Яга. «Турчанки» движутся в ритме ничегоненьки не выражающих звуков, их руки извиваются, как змеи, их бедра восхитительно подергиваются. Ах вы, милые! Это, конечно, тоже жизнь!

Опять вспоминается веселый император Нерон, устраивавший, не заботясь особенно о доходах, по ночам гладиаторские игры в своем саду при освещении факелов из сожженных на крестах христиан, которые, в свою очередь, впоследствии услаждали человеческие души запахом жареных мыслителей и ученых; при Калигуле убивали на аренах тысячи зверей, для забавы сражались слепые, и даже женщины рубились насмерть самозабвенно... Сегодня довольно полустриптиза — шесть пар более или менее приличных ножек в позолоченных туфельках.

«Турчанки» кончили извиваться. Вышла небольшого росточка волшебница, запела сильным красивым голосом, зазвучала мечтательная мелодия кочевого народа, и все вдруг изменилось. Исчезли гримасы неодобрения на лицах надменных дам, исчезло возбуждение в глазах мужчин. Остались лохматые прически, и золотым блеском засверкали запонки. С пристави

доносился визг автомобильных тормозов. Я покинул шхуну. Рано утром первым автобусом выехал в Тарту.

Здесь остро ощутил раздражающую меня правильность во всем. Черт бы их побрал! Это уж слишком! Ни слева, ни справа ни одной автомашины не видно, улица шириною в два метра, и милиционера поблизости нет, а они стоят, ждут, когда загорится зеленый свет... Ханжество! Светофоры уважать надо, но когда два метра... Я бы наперекор им перешел эту паршивую улочку, да нельзя: нехорошо выделяться.

Здесь даже в городском транспорте противно ехать без билета, потому что никто не крикнет: «Граждане, не забывайте своевременно заплатить за проезд», словно тут все сплошные честяги, не способные обмануть государство на три-четыре копейки. Способны! Но правила уличного движения соблюдают...

На человека, который не маскирует свою нечестность культурной внешностью, здесь смотрят искоса. Таким можно было считать моего приятеля Волли, кладовщика в книгохранилище то ли ветеринарной клиники, то ли Сельскохозяйственной академии, то ли университета — видит бог, не помню. Во всяком случае, именно в книжном складе зарабатывал свой кусок хлеба мой друг Волли, бывший актер, который семнадцать лет играл Алладина, и лучше него эту роль никто не исполнял. На восемнадцатом году артистической карьеры он был вынужден уйти из театра по причине непробудного пьянства. В том же году от него ушла жена вместе с собакой.

Сколько его помню — все в том же выдавшем виды коричневом пальто. Брился он раз в неделю. Подошвы его ботинок всегда изношены до дыр, что вынуждало его ходить, вывернув пятки, чтобы касаться тротуара только краешками подошвы.

Сдав сумку в камеру хранения, отправился разыскивать Волли в «суповом» районе на улице Гороха, где он жил на чердаке двухэтажного дома в так называемой мансарде.

Тарту — своеобразный город в том смысле, что в нем кроме «супового» района, где все улицы названы в честь сельскохозяйственных культур, есть еще ботанический, в котором улицы носят названия цветов и деревьев; есть и зоологический, где улицы названы в честь зайцев, лисид и прочего зверья. И, конечно же, в центре имеются номенклатурные улицы, кото-

рые, видимо, обязательны для каждого населенного пункта, большого и малого.

Тарту, как известно, город университетский. Но, кроме того, в нем имеется еще общество трезвенников и клуб холостяков — чем не достопримечательности?

Волли был дома, лежал на диване, как и можно было ожидать, в сильнейшем похмелье. Я не виделся с ним давно и теперь с удовольствием отметил, что он остался таким же простаком и скромнягой, каким и был. Об этом свидетельствовало хотя бы то, что на нем был все тот же самый издавна известный мне костюм. Он стал теперь только больше лосниться из-за того, что Волли пользовался им как пижамой. Однако все пуговички были на месте и стрелки на брюках каким-то образом сохранились.

В жилище Волли изменений также не произошло, да и не могло произойти, поскольку ему не были свойственны предрассудки, обязывающие хоть изредка производить уборку.

Волли не сразу осознал мое появление в его мансарде и не сразу меня узнал. Хоть он и писал, что будет рад моему приезду, он вряд ли ждал меня так скоро. Я забыл сказать о том, что было известно всем его друзьям: к Волли можно было войти в любое время дня и ночи без стука — дверь он не запирает по той простой причине, что в его дом можно было что-нибудь принести, но унести было нечего.

— Ого! — воскликнул он удивленно. — Кто это? Ах, это ты!

Убедившись, что я вполне материален, не результат белой горячки, он застонал и рассказал, что ему только что, как наяву, крыса грызла большой палец левой ноги, а у него не было сил сказать ей: «Къш!..»

— У тебя нету ничего?..

Каким жалобным тоном был задан сей вопрос, сколько надежды во взгляде! Голова и у меня немного болела, но признаться в этом Волли сейчас означало бы, что в тот склад, в котором он хотел меня поселить, я бы не попал и через три дня.

— Ой, как же ты так? — простонал он с укоризной. Затем оживился; приподнявшись, потянулся к потертому портфелю, который валялся тут же, рядом с диваном. Открыв его, он достал две коробки с какими-то ампулами.

— Давай? — предложил мне.

— Давай... — согласился я.

Я не знал, что в ампулах, но было интересно, к тому же надеялся, что авось перестанет болеть голова.

Начали с коробки побольше.

— Что это?

— Магnezия.

Откусывая кончики ампул, выпивали содержимое. Выпили все — мне штук десять досталось. Жду кейфа, а его нету. Вкус во рту противный. Открыли коробку поменьше, в ней ампулы с непонятным названием. Выпили и их, а кейфа все нет.

— Когда же «приход»? — спрашиваю.

— Не знаю, — отвечает Волли. — Я этого раньше не пробовал. Это мне на лечение от алкоголизма выписали, уколы делать...

Черт побери! Я полагал, он знал, что мы пьем. Так и отравиться недолго...

Отправились в склад. Здесь, где-то в дальнем отсеке огромного подвала, за полками в углу, я нашел место для себя и своей работы. Скомбинировали столик, кроватью стали большущие пачки упаковочной бумаги, которые пружинили не хуже любой софы. Для большого комфорта Волли положил на эти пачки старенький ватный матрац и небольшую подушку. Наволочку, увы, все же пришлось постирать — это было возможно благодаря тому, что в подвале имелся не только туалет, но и водопроводный кран. В одеяле нужды не было — в подвале было жарко, даже чересчур.

Устроился чудесно! А какое великолепное окружение — сплошь ученые и мыслители! О, здесь было невероятное количество умов на высоких, до потолка, стеллажах. И они скучали. Волли сказал мне, что большинством из них за последние пять лет никто не интересовался, хотя изданы они большими тиражами и, вероятно, немало учебных заведений в стране сильно нуждались в них.

— Морока с ними! — признался Волли. — Следи, чтобы крысы не съели... А когда ревизия — таскай, считай, пересчитывай. К черту! Хоть бы покупал кто-нибудь... За бутылку пива предлагал — не берут.

Волли попросил меня выгонять (в моих же интересах) кошек, которые пробираются в склад через люк для приема и выдачи книг, а люк этот нужно держать открытым, чтобы

поступал воздух. Конечно, кошки помогли бороться с крысами — единственными почитателями залежалой философии, но если какая-нибудь кошка где-нибудь оставит о себе память, чем тогда дышать?

Выловить же их в этом огромном подвале с множеством отсеков оказалось сложно. Я использовал любопытство кошек: везде гасил свет (окон в подвале нет) и оставлял лишь там, где был люк. Они выходили к люку, тут я их хватал и выкидывал.

Примерно две недели длилась в этом подвале спокойная жизнь, нарушаемая только редкими посещениями Волли, когда тому нужно было выдавать книги. Я трудился прилежно. Вернее, пытался трудиться — что-то непонятно-угнетающее незримо присутствовало, витало в мрачной тишине подвала. Но — почему незримо? Вполне зримо — вот они, мудрецы на полках. Я работал, стараясь не замечать насмешливо-иронического присутствия молчаливой философской братии на полках. Но в один прекрасный день не выдержал — бросил в отчаянии карандаш и забегал, как крыса, по складу. Стало ясно: дальше работа не пойдет. И это было ужасно.

Я смотрел на полки, полные философов, а здесь, в подвале, они были, кажется, собраны все, какие только существовали в мире и существуют в настоящее время, и задал себе вопрос: что значат твои ничтожные странички в сравнении со всей этой многовековой мудростью? Ровно ничего. Кому нужно твое повествование о том, что какой-то муж научился любить свою жену, бросил пить и стал положительным человеком, когда даже эти образованнейшие и умнейшие люди, светочи разума, написавшие столько научных трудов, лежат здесь, в подвале забытые? А человечество стонет, но упорно лезет в пасть дьявола. В эфире, в печати — всюду только и разговоров, что об агрессиях, убийствах, нападениях, похищениях. Греки не ужились с турками; во Вьетнаме она война кончилась, началась другая; израильтяне нападают на арабов, ирландцы режут ирландцев, англичане дубасят англичан, китайцы точат ножи на весь мир... Если собрать воедино грохот от всех взрывов и выстрелов, стонов и плача на нашем шарике, какой получится адский шум! В этом шуме стараются быть услышанными ораторы, призывающие к благоразумию, тишине, покою, миру; и чем больше шум, тем они больше стараются, а чем больше они стараются, тем громче становится

этот адский грохот, пыгающийся заглушить голос разума...

А я в это самое время пишу о том, что, дескать, братцы, бросьте пить, любите женщин и детей... Миссионер отыскался!..

С раздражением стал листать рукопись, чтоб окинуть взглядом всю работу с птичьего полета. И что же открывалось? Сплющенное вранье! Да нет, с точки зрения морали все было в порядке — самые строгие моралисты могли остаться мною довольны. Но ведь легче всего быть моралистом...

Все мое строение было воздвигнуто по шаткой схеме: пример отрицательный — пример положительный, плохой Петя — хороший Витя, аморальная Жанна — добропорядочная Анна... И так все ужасно правильно получилось, как в учебнике. И почему, собственно говоря, на роль безнравственного героя я выбрал шофера? Подумаешь, невидаль — пьянчуга-шофер, маляр или слесарь. Разве нельзя было показать пальцем на интеллигента высшей квалификации, например, инженера, врача или даже на писателя?.. Или же автор побоялся, чего доброго, обидеть их? Так что, если обижать кого-нибудь все же необходимо, то кого-нибудь маленького, вылить на него ушат грязи, дескать, что с ним станется, шофер — он шоферюга и есть, с него взятки гладки...

Ну, а если взять писателя...

Ну нет! Кого угодно, только не писателя! Ведь прежде, чем мой труд дойдет до читателя, его изучат братья-писатели, напишут рецензии, обсудят на редколлегии. А это уже — вершина всех мук, это порою распятие автора, которое — бывает! — оборачивается его воскрешением из мертвых — закаленным, обозленным, обновленным. Но может случиться, что он так и останется низверженным. Так что поди знай, как отнесутся его судьи из редакционной империи к тому, как автор показывает жизнь рядового писателя... Прежде чем на такое решиться, надо, говоря словами индийского мудреца, «сунув в рот палец удивления, сесть на ковер размышления»...

Но расслаживаться на коврах и размышлять в наши дни и в обычных-то условиях не хватает времени. Вот учит же нас один великий писатель: пишешь, откладываешь, путешествуешь, затем достаешь написанное и кое-что добавишь, опять откладываешь, отдыхаешь, о сделанном забудешь, затем вспомнишь, достанешь и что-нибудь добавишь, опять гуляешь, влюбляешь...

ся, разлюбяешься, достанешь рукопись и еще что-то добавишь. опять отложишь... И таким манером до тех пор, пока «тесто» не доспеет... Примерно так.

Может быть, так можно было работать, когда у тебя не висели над головой все эти проклятые бомбы. Но сегодня в целях избавления от них или же в целях их создания мы живем в таком темпе, что не знаешь, где взять время да и средства, чтобы откладывать, дописывать, осмысливать...

Я с неприязнью еще раз посмотрел на полки ← мировой мудростью — к черту вас! Неудержимо захотелось нарушить их молчаливую гегемонию в этой подвальной тиши. И что за невезение везде! В Москве милиция, на хуторе Соловья крысы, в Риге тебя моют м головы до ног, в Кишиневе приходится выбирать между беременной кошкой и питоном с фамилией известного фашистского палача, в Киеве — холода, в Тарту... ученые! К черту всех! Гони, ямщик, лошадей и вези меня в ресторан «Каунас» единственное более или менее приличное место в этом городе наук с его обществом трезвенников! Отнесу я туда свои копейки, куплю там бутылочку, лолучу избавление от всех сомнений.

Волли принес утюг, и мой костюм снова приобрел приличный вид. Сходил в баню, в парикмахерскую, и вечером «ямщик» погнал... У входа в «Каунас» стояла большая очередь молодых существ обоего пола, жаждущих проникнуть в этот рай, где можно чувствовать себя львами и львицами. Но, право же, стоять в очереди человеку, которому хорошо известны нравы ресторанных швейцаров, как-то не к лицу. Я еще в Москве досконально изучил их нравы и здесь тоже убедился, что швейцар — везде швейцар: три рубля открыли мне врата в рай...

В зале было шумно, дымно. Нелегко было найти место. Но и здесь людей, что называется, узнают по полету. А у меня он всегда такой, что, даже когда в кармане не больше рубля, меня принимают за миллионера. Нашелся внимательный официант и посадил меня за столик, который считал, вероятно, не обещающим дохода (везде забота о доходе!). За столиком сидела почтенная супружеская пара из тех праведников, которые точно подсчитывают стоимость каждого заказанного блюда.

Я заказал то, за чем пришел, и начал себя уговаривать не

думать о заказанном, ради которого не обязательно было идти в «Каунас». Разве я не пришел сюда ради света, веселья, людей, слушать музыку?

Задав себе такой вопрос, я обратил внимание на сидевшую за моей спиной девушку. За ее столиком были еще какие-то люди, но они как-то не попали в область моего зрения. Мне показалось, что девушка явно не в своей тарелке.

Ее, пожалуй, нельзя было назвать красивой, может быть, именно этим она от тех, других, за столиком и отличалась. Темноволосая, с крупным лицом, она тем не менее почему-то меня заинтересовала. Обернувшись к ней, я улыбнулся как можно приветливее. Убедившись, что супругам, сидевшим за одним столиком со мной, совершенно безразлично, если в рамках приличия я буду ухаживать за этой «красоткой», я затеял с ней разговор — вежливый, как обслуживающий меня официант. Мягкий акцент, когда она отвечала мне, выдавал в ней латышку. Вести с ней разговор было крайне неудобно: я чуть шею не вывихнул, поворачиваясь к ней.

Поэтому пригласил ее за свой столик и вскоре узнал, что она — художник ателье мод в Риге. А в Тарту... Ну, об этом ей не хотелось говорить... Пожалуйста, не буду интересоваться — не мое дело.

Супруги, слава аллаху, не считали нас достойными внимания, и я отважился предложить моей собеседнице немного из моего графина. Она не отказалась, чем тут же заслужила неодобрительный взгляд дамы, сидевшей напротив. Черт с ней, с дамой! Затем я приложил максимум усилий, чтобы обрушить на Астру — так звали девушку водопад остроумия. Наконец я был удостоен доверия. И узнал, что приехала она в Тарту, нарушив трудовую дисциплину, то есть совершая прогул, по приглашению одного человека, который ее почему-то на вокзале не встретил... Она устроилась на одну ночь в гостинице «Тарту», где нашлось свободное место.

Потом ей стало интересно узнать что-нибудь и обо мне. Что ж, пожалуйста! Я честно признался, что лет двадцать назад, когда ее еще не было на свете... Ах, она уже была? Ей было уже восемь годиков? Прекрасно, значит, ей двадцать восемь... Ну так вот, когда ей было еще только восемь годиков, я был изрядным шалопаем. Признался, что теперь существую за счет воспоминаний о том времени, что вынужден жить в складе, в

подвале, среди скучающих представителей разных наук, которые, по мнению одного местного философа, не стоят и бутылки пива.

Далее счел нужным защитить достоинство «одного человека», который ее не встретил на вокзале: высказал предположение, что ему могло помешать непредвиденное обстоятельство, так что дело, возможно, вовсе не в забывчивости. Только, как бы там ни было, дальше оставаться в «Каунасе» неблагоприятно, потому что вечер достиг часа, когда дюжим официантам вот-вот придется применять силовые приемы, чтобы успокоить не в меру развлекающихся посетителей, и что нам следует исчезнуть заблаговременно.

Похоже, она поверила. Но никто из нас не высказал определенного желания тотчас же и расстаться. Прекрасно! Я предложил здесь же, в ресторане, купить в качестве сувенира бутылочку водки и пойти... поскольку у нее в гостинице не отдельный номер, в мой подвал, где скучающие мудрецы, надеюсь, на нас не обидятся. Это тем более интересно, что там я смогу познакомить ее с моей работой...

Вероятно, ей не из чего было выбирать. Город она не знала, спать было еще рано. В силу этого мой план был осуществлен во всех деталях. И я догадался, что, видимо, ради этой неожиданной встречи сюда и пришел... Пришел назло всем моралистам, назло мудрецам на полках, отдыхающим в монастырской тишине подвала, назло добродетельным идеям в моем собственном романе.

Я не обманул Астру. В тот же вечер начал читать ей главы из романа и читал три дня подряд. Выходил только для того, чтобы пополнить запасы еды и питья. Деньги таяли, как снег весной: сначала мои, затем ее. Кошек я, разумеется, не имел времени ловить; Волли их тоже не ловил, потому что обычно уходил от нас настроенный ко всему на свете миролюбиво. Результат стал вскоре ощутим...

Следовало что-то предпринять. Астра, сообразив, что дольше увлекаться литературой, нарушая производственную дисциплину, неумно, подсчитав оставшиеся деньги, предложила поехать к ней в Ригу, где обещала предоставить мне более приличное пристанище.

Эвакуацию произвели своевременно...

Глава 23

Едва вышли на привокзальную площадь и встали в очередь на такси, с меня спала трудно объяснимая напряженность, словно я приобрел какую-то неопределенную свободу. Рига на меня всегда действовала ободряюще, почему — объяснить трудно.

Этот город мне кажется более интернациональным, чем любой другой в Советском Союзе. Здесь можно встретить уроженцев всего Союза, но здесь нет той кичливости, какую иной раз можно наблюдать в республиках Кавказа, и нет той чопорности, какая встречается в иных прибалтийских. Мне нравятся бесчисленные маленькие кафе, где можно выпить, не напиваясь, с восьми утра, получая к тому же необходимую закуску. Я не был в Париже и вряд ли когда-нибудь там буду, но Рига представляется мне Парижем, хотя и нет здесь этой дешевой подделки ночной жизни, которой пыгаются щеголять в иных городах.

Так или иначе, прибыв в Ригу, я вздохнул облегченно. Первую ночь мы провели у ее подруги, затем поселились на улице Дякло, что за Двиной, на окраине города, в одноэтажном зеленом деревянном доме. Сняли в нем отдельную квартиру: две комнаты, кухня, газ. Вода на улице, уборная в коридоре, отопление печное. Если учесть, что за все (плюс мебель и кухонная утварь) мы платили всего лишь три красненьких в месяц, можно сказать, нам крупно повезло. Я не стал выяснять, каким образом Астре удалось найти эту квартиру.

Здесь я оказался во власти той формы алкоголизма, которую называют запойной. Длится она несколько недель. Астра сыграла в этом известную роль. Конечно, если быть справедливым, она виновата меньше всего: в недавнем прошлом ее мать вынудила ее выйти замуж за своего любимца, молодого красавца, который за полгода их совместной жизни довел ее до покушения на самоубийство, — к счастью, ее успели спасти. Потом ее долго лечили в неврологическом институте. Словом, она была напугана жизнью и призналась мне, что прячется в «пнапсе» от страха.

— Я слабая, сама не справляюсь, — сказала она.

Но ей нужна была сравнительно небольшая доза, для меня

же малая доза служила началом большой, и я, как костер, запольхал и горел.

Конечно, Астра была немного Спичкой. Мне же следовало превращаться не в костер, а в огнетушитель. Чтобы стать им, нужно было просто, по-человечески освободить ее от всех оснований для страха, а они, в сущности, заключались в ее полном одиночестве. Сделать же это можно было, только женившись на ней. Тогда она приобрела бы смысл жизни, что и защитило бы ее от всех страхов. Но я не защитил ее...

Хотя я уже имел рукопись с образом «обыкновенной девушки», этот образ не был совершенен. И в Астре я интуитивно надеялся открыть нужные мне черты характера. В ней было много именно того, чего недоставало моей героине: ум, начитанность, женственность, чрезвычайно развитое чувство товарищества. На нее можно было положиться в любой ситуации — не бросит в беде. И была необходимая для мужчин в женщине незащищенность. Но вместе с этой незащищенностью в ней было недоверие к людям, к жизни в целом и самой себе. Она упорно держалась мысли, что никогда не будет счастливой, потому что ее невозможно всерьез полюбить, и приводила много всевозможных доказательств этого, и прежде всего такое — она некрасива. Мы много говорили об этом, спорили, но я не имел, не находил сил для убеждения ее в обратном и, как теперь понимаю, не мог их иметь. Ее недоверие ко всему оказалось заразительным — ведь и у меня нередко были периоды сомнения и недоверия к себе. В конечном счете не я ее, а она меня убедила, сама того не понимая, в моем собственном бессилии. И, разумеется, смешно было и подумать, что в таком состоянии можно было работать над романом, который я совершенно забросил. Единственное, что написал, не вдаваясь в объяснения, — заявление в редакцию с просьбой о продлении срока договора.

Мы с Астрой дружно прятались от наших страхов и сомнений в зеленых волнах призрачной радости, пытались отыскать себе оправдание в стихах Омара Хаяма:

*Когда бываю трезв — нет радости ни в чем,
Когда бываю пьян — ум затемнен вином.
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем...*

Только мы не умели удержать это «мгновенье».

Нет нужды рассказывать о состоянии, в котором я находился почти постоянно, — ощущение ускоренного падения в бездну. Надо было остановиться, выйти из этого состояния, но это стало невозможным. Входить в «состояние» легко, а выходить... невозможно.

Я понимал, что если можно один день не пить, значит, можно и неделю выдержать; если можно не пить неделю, можно и месяц воздержаться; если можно не пить месяц — можно вообще не пить. Но как не пить один день? Как без этого остановить дрожь в руках? Как избавиться от всех болей и страхов?

Так же обстояло дело и с Астрой. Мы вместе обливались по ночам холодным потом, нас обоих мучили ночные кошмары, мы одинаково выворачивали наизнанку желудки. Мы оказались в своей слабости «родственными душами». Мне не нужно было перед ней испытывать угрызений совести: мы оба знали, что сильные побеждают свои слабости, слабые от них прячутся в туман недействительности.

Астра прогуляла уже два месяца. Это ее сильно угнетало — она любила свою работу, которая была единственным, что давало ей подлинное удовлетворение. Ей грозило увольнение. Она изо всех сил искала возможность оправдать прогул, но какое тут может быть оправдание?.. К тому же она растратила свои сбережения на норковую шубку, которую давно мечтала приобрести, — разве что на воротник осталось... Даже досрочно забрала страховой полис, а теперь выколачивала деньги из тех, кто был ей должен.

Но выход тем не менее нашелся. И случилось это в тот вечер, когда мы с ней были в одном из наиболее респектабельных кафе в Риге — «Ростоке». Астру пригласил на танцплощадку весьма, на мой взгляд, неприятной внешности средних лет мужчина. Когда же она была доставлена ко мне обратно, я узнал от нее, что он — единственный человек, имевший реальную возможность помочь ей оправдать прогул. Он доктор из того неврологического института, в котором она лечилась. Он там ухаживал за ней и даже сделал предложение. Но хотя она и отказала ему, он готов ей помочь...

Когда этот доктор позже подошел к нашему столику для уточнения деталей возникших у Астры обстоятельств, я утвердился в мнении, что внешностью его бог и впрямь не обрадовал:

сугул, тощ, нос бесформенный, уши огромные, рот кривой.

Переговоры велись на латышском языке, и я лишь догадывался, что Астра постоянно с чем-то соглашалась.

— Он говорил мне, — сказала она, когда мы ехали к себе, на улицу Диклю, — что даст справку, будто я находилась на клиническом исследовании повторно...

На другой день, в половине одиннадцатого, она ушла, сказав, как обычно, традиционное латышское «ата». Ждал час — ее нет. Ее не было и через полтора часа. Когда прошли два часа, а потом три и ее все не было, захотелось хоть чем-нибудь занять себя. Решил пойти посмотреть на угрюмый дом, в котором недавно поймали двадцать две собаки.

На этот странный дом я обратил внимание с первых дней житья здесь. Он находился на краю небольшого пустыря, и около него собирались скопища собак. Похоже, дом был нежилой, во всяком случае, ни во дворе его, ни около я не видел людей, и труба никогда не дымила, хотя зима была в разгаре. Но однажды подъехали машины, милиция, и со двора этого полуразвалившегося дома забрали двадцать две собаки разной породы. С тех пор собаки здесь больше не появлялись.

Войдя во двор угрюмого дома, я был ошеломлен: то, что я увидел, было похоже на какой-то собачий концлагерь. Словно пустые бараки, стояли бесчисленные собачьи конуры, их было намного больше, чем двадцать две, и из каждой торчал конец ржавой цепи. А дом неподвижно молчал, как и эти, теперь пустые, конуры. Я попробовал отыскать дверь и вскоре нашел. Вернее, нашел какое-то квадратное отверстие в стене, которое могло быть и дверью, но заглянув в него, убедился, что дальше загаженного собаками логова, куда я попал, хода нет. Пахло сыростью, землею, опилками, гнилью. Тогда я пошел в обход дома.

Уже стемнело. Вдруг я услышал собачье ворчание, тихое, но угрожающее. Прислушался и увидел окно, закрытое на ставни, прижатое еще старой дверью, подпертой длинной толстой палкою. Из этого окна и слышалось ворчание.

Не долго думая, откинул палку, сбросил старую дверь и распахнул ставни. Зажег спичку и увидел метнувшуюся куда-то в сторону черную тень — несомненно, собаки. Спичка погасла, я зажег вторую, осветил помещение, похожее на заброшенный сарай, и еще раз остолбенел от удивления: я

увидел старика, сидевшего, скорчившись, на чем-то. Слабым голосом он спросил:

— Кто здесь роется?

Я не нашелся что ответить. Голос у него был злой, раздраженный — видно, не понравилось мое вторжение. В окне не было стекол, даже рамы. Я еще раз зажег спичку. Помещение было когда-то небольшой комваткой, теперь же в нем не было ни пола, ни печки, под ногами земля. Старик сидел на чем-то, что лет пятьдесят тому назад могло быть кроватью. Он сидел прямо на ржавых пружинах, матраца не было, черный от грязи комок служил ему, очевидно, подушкой; вместо одеяла — старый ватный бушлат. Когда я открыл вход в его пещеру, он сидел, укрывшись с головой под этим бушлатом.

— Давно вы здесь, дедушка? — спросил я. — Вам разве не холодно?

— Что надо?! — закричал он в ответ.

— Я живу в соседнем доме, — объяснил я неизвестно зачем и, вспомнив о начатой бутылке водки, решил за ней сбегать, а заодно прихватить что-нибудь из еды. Ведь в этом жутком логове не было ни шкафа, ни даже ящика, в котором могло храниться что-нибудь съестное.

— Дед, я сейчас вернусь, не спите, пожалуйста, — сказал я ему. Прибежал к себе. Астры все еще не было...

Когда я вернулся к старику, он был не один, с ним была старуха, которой можно было дать лет семьдесят. Она заговорила со мной... на французском языке, которого я, естественно, не знал. Тогда она заговорила по-английски, причем ее произношение не оставляло сомнения, что языки знала она в совершенстве. В этом убедился, когда она заговорила по-немецки.

Она держала в руке зажженную свечу, а старик что-то хлебал из грязной кастрюли. Я налил во взятый с собой стакан водки и подал старику. При свете свечи рассмотрел его получше: седая взлохмаченная борода, седые густые брови, лысый, на носу большущие пучки, словно кустарник, волос, глаза бесцветные.

— Почему вы живете в этом доме? — спросил я старуху. Старик водку выпил, но на мои вопросы не отвечал.

— Да вот он никуда не хочет, — ответила она. — Я-то здесь не живу, — объяснила она. — Я в другом месте живу. Поесть принесу и ухажу. С ним собаки... были.

Точно в подтверждение ее слов, вернулась черная тень, весьма стервозная на вид черная собака, очевидно, старая, с ней другая, поменьше. Они устроились у старика в ногах.

— А конуры во дворе? спросил я.

— Мы ценят выводили для продажи... Теперь всех собак забрали...

Старуха была явно подавлена этим фактом.

— А соседи? — задал я вопрос, имея в виду жильцов белого дома по соседству. — Они разве не знают, в каких условиях прозябает старик? А милиция? Забрали собак — что же, они не видели, в какой обстановке живет старик в ожидании смерти — в темноте, холоде, одиночестве?

— Хотели устроить в Дом престарелых. Ни за что не идет. Он здесь прожил пятьдесят лет. А соседи... там его сестра живет. Они хотят наш дом сломать, а участок под огород приспособить. Деда — в Дом престарелых, но он против... Хочет здесь быть. Раньше и белый дом ему принадлежал... Старый, упрямый дед!..

Мне начинало казаться, что я понял суть дела: старик, видно, из тех упрямецев, которые намертво вросли корнями в седую собственность. Это была только догадка, но кем бы он ни был, теперь-то он действительно старый, беспомощный и заслуживает снисхождения и помощи.

Я сказал старушке, что, раз рядом родственники деда, пойду, пожалуй, поговорю с ними обо всем. Старушка почему-то озлобилась, стала меня ругать и упрасивать к соседям не ходить. Мелькнула мысль: не преднамеренно ли они тут старика морят, чтоб он скорее отправился на тот свет и освободил участок. Ведь участок это тюльпаны, а тюльпаны — рубли...

Подойдя к красивой калитке, увидел около нее черную обшарпанную «Волгу». Открыв калитку, подвергся нападению со стороны небольшой лохматой дворняжки. Видя, что я ее несколько не боюсь, она решила меня не трогать. Постучал в дверь, открыла неопределенного возраста женщина. Кого надо? Хозяев. Пропустила, и я оказался в просторном помещении, в котором вокруг большого круглого стола сидела подвыпившая компания, — пили водку, играли в карты. Несколько мужчин и женщин — целая карточная колода! Все были сравнительно молоды, не старше тридцати, за исключением старой женщины, похожей на сову, она-то и была сестрой старика.

Игра прекратилась. Я видел настороженные, враждебные лица. И сразу понял, кто в этой колоде «туз», упитанный брюнет. На него и были обращены вопросительные взгляды, а меня вопрошал его взгляд. Рядом с «тузом» сидела девушка. Ее глаза предостерегали, призывали, умоляли, кажется, и меня и всех присутствующих одновременно. Чего она так боялась? «Шестерки», за счет которых «туз» мог ощутить собственную значительность, даже если не был козырным, смотрели на него выжидаючи. Я спросил, кто здесь хозяева, и сказал, что пришел поговорить насчет старика, погибающего от холода по соседству. Вдруг одна кругленькая особа сказала:

— А я его знаю. Он книжки сочиняет. Он однажды в Риге выступал в клубах, агитировал за лучшую жизнь...

Очевидно, у всех здесь к слову «агитация», а также к литературной деятельности имелось свое устойчивое отношение.

— Значит, пишешь? спросил «туз» безразличным тоном. — За правду стараешься? Стало быть, у тебя жизнь чудесная? А наша — чем плохая?

Я пытался было объяснить, что понятия не имею о том, какая у них жизнь, но не успел. Наверное, «шестеркой» был принят сигнал телепатически. Один из них налил вина в стакан и, пока я обдумывал, как найти общий язык с этими типами, выплеснул вино мне в лицо.

Вот так, папаша... сказал он с издевкой.

После того как я ударил Келлера по голове, я поклялся никогда не поднимать бутылки, чтобы ударить ею еще по чьей-нибудь голове. Конечно, силы здесь были неравные. К тому же в случае шумной драки могла прийти милиция, а это было мне более чем ни к чему.

Подонки!

Что я мог сказать еще?

На меня тут же набросились...

Сколько это продолжалось? Наверное, несколько минут. Я помню лишь, как оторвали янтарные запонки, подаренные Астрой. Потом меня куда-то поволокли, в лицо ударил свежий воздух, и я оказался лежащим ничком в снегу, а дворняга под издевательский смех грызла подошвы моих ботинок. Сквозь красный туман виделось лицо той девушки, которая пыталась предостеречь меня взглядом. Собаку, наконец, отозвали, за-

хлопнулась дверь, все ушли. Я с трудом поднялся...

А потом я видел стену, очень близко, в пяти сантиметрах от моего лица. Стена была в желтых квадратиках. То были обои в доме на Дикло. Вдруг один из маленьких квадратиков шевельнулся, отодвинулся, и прямо в глаза мне посмотрел чей-то горевший ненавистью глаз. Отпрянув резко назад, я свалился с постели на пол, пришел в сознание и, обнаружив себя в своей комнате, обрадовался. Была глубокая ночь. Но Астры не было.

Глава 24

На утро следующего дня первое, что осознал, — Астры нет. Посмотрев в зеркало, не слишком обрадовался: глаз неплохо подбит... Косточки болели. Ждал Астру. О своем самочувствии лучше помолчу... Стало понятно, с чем соглашалась Астра, говоря с доктором... Вместо Астры пришел Харли. Этот благовоспитанный человек время от времени меня посещал. Он долго молча рассматривал мой синяк (хорошо, что не видел скрытого одежды).

— Как же так?! — недоумевал возмущенно. — Как ты мог такое допустить?! Меня еще ни разу не били.

Глядя на его добродушную физиономию и могучие плечи, я подумал, что и Поддубного, наверное, не били.

— Меня лупили, — открыл я ему невеселую истину, — с детства. Было время, давал сдачи. Но теперь... развалина. Всякая сволочь может безнаказанно расправляться со мной, мстя обессилевшему за собственную ничтожность. Видно, дело к закату идет...

Он ушел, Астра не приходила и в последующие три дня. Что было делать?

Молчать. Какое у меня право осуждать Астру?! Кто я для нее? К тому же... Кабак мне ее дал — кабак и взял. Кабачное знакомство редко вырастает в прочную дружбу. Знакомство, начатое за стаканом водки, нередко кончается раньше, чем протрезвеешь.

Я привел себя в порядок, собрал вещи, взял из имеющихся в наличии денег на билет, надел темные очки и покинул зеленый дом на улице Дикло. Будь я проклят, если мне этот шаг дался

просто... С билетом повезло. И вот я уже в поезде Рига — Москва. Слава аллаху, в купе две старушки, которые не обращают внимания на мои темные очки.

Прибыв в Москву, прямо с вокзала решил позвонить Стасю. Мне нужен был его совет. Разыскивая свободный телефон-автомат, вдруг встретился с Королевой. Я увидел ее в тот момент, когда она, обняв низкорослого юношу, крепко к нему прижалась. И я видел ее лицо — оно меня поразило: такого выражения отчаяния, искреннего, неподдельного отчаяния на этом холемом, красивом лице я не видел никогда. Молодой человек резко от нее отстранился и ушел, не оглядываясь. Марго осталась на месте, хотя сперва было ринулась за ним. Затем остановилась и ничего не видящими глазами смотрела ему вслед. Я подошел и поздоровался, выразил удивление, что встретил ее на Рижском вокзале в Москве.

— Ты видел? — спросила она тихо, и я понял: она знала, что я видел. — Ты ошибаешься, — сказала Марго. — Неправильно понимаешь... Это был мой сын.

— Такой взрослый? — не поверил я.

— У тебя спуталось понятие о времени, — ответила Марго. — Это потому, что ты спутал своих героев с настоящими людьми. Я ведь знаю, ты и моего сына описал. Ты не мог не написать о Феликсе... Так вот это он и был...

Я редко его вижу, — продолжала Королева, обращаясь как будто даже не ко мне, а куда-то в пространство. — Он скрывается от меня. Ведь я его бросила ребенком, отдала тетке на воспитание... ради Ландыша, чтобы сделать из Ландыша человека для себя... Теперь нет ни того, ни другого... О господи! Даже у Изабеллы есть дети... У меня никого.

«Бедный мой Кент! — подумал я, растерявшись. — Бедный-бедный Кент, тебе не везло, оказывается, с самого рождения... А я оставил тебя в неведении об этом, потому что сам не знал...»

— Представляю, — проговорила Королева, — что там приписало моему сыну твоё воображение... Тебе бы научиться управлять им.

Я молчал — что я мог сказать?

— Ладно. Прости. И до свидания, у меня много дел...

— Марго... Извини. Но ведь и у Ландыша был, кажется, сын?..

— Я не знаю, где он, — ответила Королева равнодушно. — Я его отдала в интернет... давно уже.

Она подала вялую, безвольную руку и скрылась в толпе.

Наконец дозвонился Стасю, но к телефону подошла Наташа, я положил трубку — с ней говорить не хотелось. Позвонил в интернет. Он оказался там. Через сорок минут я уже был в раздевалке его группы, которая в это время смотрела кино в общем зале. Здесь было много всего: вещи, которые он, как жаловалась когда-то Наташка, перетаскал сюда из дома, и другие — казенные: с десятков пар ботинок, одежда, книги, магнитофонные ленты, фотоаппараты, пишущая машинка, склянки, бутылки, инструменты. на стене плакат: «Мы протестуем!» (сделанный, видимо, руками ребят). На плакате рисунки и фото, изображающие зверства американских войск во Вьетнаме.

Скоро кино кончилось, и ребята Станислава шумно ворвались в раздевалку. Их было двенадцать, невероятно симпатичных мордашек: умных, хитрых, коварных и все-таки очень милых. Пришел с ними и Станислав. Он тут же устроил на скорую руку совещание по текущим неотложным делам, затем, пожав всем по-взрослому руки, мы отправились к нему домой обедать (или ужинать).

— Они не идиоты вовсе! — Я имел в виду детей его группы. — И, кажется, они тебя любят.

— В основном — дети воров, алкоголиков. Родители или в колониях, или лишены родительских прав. А любят... Скорее уважают, хотя воспитатель должен быть прежде всего любимым, а уже потом умным. По-настоящему умный учитель этого и должен добиваться — чтобы его любили!

Мы пустились рысцой к трамвайной остановке.

— Что же случилось? — спросил Станислав, когда мы приехали к нему: он явно имел в виду мое решение навсегда уехать из Москвы.

Я рассказывал о жизни в Садах, обо всем, умолчав только об Астре.

— Зайду врать надобности нет, — сказал Станислав. — Но у нее была цель — помогать другу. Теперь ты эту цель хочешь отобрать, а взамен ее дашь беспокойство другого рода: жив ли ты, здоров? Решение совсем уйти, — продолжал он, — оправданно, если водка действительно сильнее тебя. В таком

случае ты для Зайца пожизненный источник страха и причина тяжелейших переживаний, из-за которых ее раньше времени зароят в землю. Тогда, конечно, лучше расстаться, хотя... и другим ты не будешь в радость. Решай сам. В таком деле трудно давать советы... По-моему, ты совершаешь ничем не оправданную ошибку, считая, что, работая над романом об алкоголизме, должен сам на себе его испытать. Вот и получилось, что работать над книгой ты не можешь и для тебя лично стало проблемой избавление от алкоголизма... Нелепо же! Чтобы писать, скажем, о нравах и жизни крокодилов, не обязательно самому быть крокодилом.

— Не обязательно, но желательно, — не сдавался я. — Держась в стороне, непросто вникнуть в проблемы, скажем, педагогики. Мне, например, никогда не написать «Педагогической поэмы». А ты, ты можешь, потому что тебе твоя педагогика даже ближе, чем мне проклятие алкоголизма!

— Ты неправильно меня понимаешь: мне близки все проблемы, касающиеся человеческой жизни, в том числе и твой алкоголизм. Мне жалко его жертв, тебя прежде всего. И, если хочешь знать, мне лучше известны причины его возникновения, чем даже тебе: ведь мне каждый день приходится иметь дело с невиннейшими его жертвами — детьми алкоголиков. Вот если бы ты сумел написать об этом страшном зле так, чтоб за душу брало, я бы первый сказал тебе «спасибо»!

Мы сидели на кухне, Станислав подогрел какой-то суп, который мы дружно хлебали. Наташи, к счастью, не было, зато Ленка, эта чертовка, Вождь краснокожих, всячески напоминала о своем существовании: то она ципала меня под столом, то лезла мне на спину, то в меня летели картофельные очистки.

— Правильно воспитанные с детства люди, — продолжал Стась, — не так легко окажутся в лапах этого Зеленого дракона. И, конечно же, в нашем деле, я говорю о педагогике, не оберешься проблем. Вот одна из них. Ежегодно, начиная с июля и до первого сентября, сотни тысяч учащихся, закончив школы, стремятся раскрыть для себя стены вузов. Удастся это из поступающих немногим, остальные считают себя неудачниками, начинают искать выгодное место в жизни: в материальных сферах — производства или обслуживания; какой-то процент вообще плюет в потолок.

Педагогическая общественность бьет тревогу: плохо учили.

Знания — любой ценой! Родители стремятся ублажать педагогов, платят бешеные деньги, начинается натаскивание подростков, и все это перерастает в гипертрофию, которая сводится к культу знаний и обучения. Культ знаний!.. Ведь и у фашистов были знающие, высокообразованные и по-своему даже культурные люди, во мы-то знаем — какие. Я же стремлюсь к самому, казалось бы, нужному: сделать, чтобы человек был человеком. Не обязательно быть ему гением, просто хорошим человеком.

— Школа, конечно, не совершенна, — признался Стась, — но ведь и ты не сразу научился ходить, а хотя и давно уже научился, все еще сильно спотыкаешься. Школа преобразуется, может, не быстро, но что поделаешь — новое всегда вымалывает у старого право на жизнь, порой с боем его приобретает, а старое лишь постольку признает его и уступает, поскольку оно в состоянии преодолевать противоречия в старом и разрешать их. Мастерство педагога в сущности не столько в том, чтобы давать образование, сколько в том, чтобы показать его необходимость.

Но известно и то, что миллионы родителей относятся к школе потребительски: дескать, вы — школа, обязаны помочь, чтобы моему ребенку было в жизни хорошо. И ребенок, воспринявший вместе с материнским молоком такое отношение к себе (чтобы ему было хорошо), тоже требует: помогите, чтобы мне было хорошо. А почему бы ему не думать так: помогите мне быть хорошим.

Дети оказываются очень часто жертвами своих родителей. Мещанство! Его за шестьдесят лет не вытравишь, нужно больше времени. Культ вещей. Культ знаний. Знаний за любые деньги во имя диплома! Когда же они их получают (любым путем) и не справятся с задачами, с какими их справляться обязывают драгоценные дипломы, наступает катастрофа: диплом есть — призвания нет, а тогда и знания бессильны, они, если и были какие, улетучиваются. Паника, теряется работа — в лучшем случае, ибо в худшем мы будем терпеть дипломированного дурака, способного вредить больше врага. Последнего хоть обезвредить можно, этот же вроде бы патриот, исправно платит профвзносы, сидит на собраниях, голосует хоть обеими руками. Затем теряется вера в людей, наконец, и в себя, и готов человек — он уже кандидат в алкоголики. Кто виноват: учитель или родитель?

А человек уже в такой стадии развития, когда не может, не

сумеет искать причины неудачи. Родители же теперь кланяются в ножки не репетиторам, не экзаменаторам — врачам: помогите, ради бога, спасти того, кто по нашей вине оказался уродом. Но это потом...

Пока же он растет, не зная даже, почему картошка, которую лопает. И ведь хлеб у нас сегодня — не проблема. Его в мусорных ящиках, к сожалению, можно найти немало, в деревнях им свиней кормят. Потому что забыто время, когда мы голодали, а многие просто не умеют и не хотят считаться с этим временем. Материальные ценности, к сожалению, ценить часто не очень-то у нас умеют, как будто запасы природных богатств бесконечны.

У разумных родителей нет проблемы молодежи, в их семьях весь уклад жизни ежедневно строится так, что человек учится относиться объективно к окружающему и к себе в нем. И дети этих семей идут в школу не требовать и не просить подаяния в виде троек, они идут получать необходимое.

Все это волнует меня не меньше, чем тебя алкоголизм, здесь одно связано с другим. Вот где истоки проблемы алкоголизма. А ты мечешься по стране... ищешь их или, наоборот, прячешься от них?

Стась нахмурился, долго молчал, ковыряясь ложкой в пустой тарелке. В меня опять полетели картофельные очистки, но я их уже не замечал.

— Я мог бы дать тебе один адрес в Дмитрове, — сказал Стась немного спустя. — Хороший и умный парень. Но... он тоже выпивает. Вы там вдвоем сопьетесь. Есть еще один — тоже, грешный, пьет. Да ведь это же везде, куда бы ты ни поехал! — Стась в недоумении развел руками, глядя на меня. — Бежать от бутылок невозможно, они везде. Был недавно в этом же Дмитрове с ребятами постарше на экскурсии. Проголодались. Вижу павильон: «Горячее молоко». Решил накормить ребят. Заходим — нет никакого молока, на полках коньяк всех сортов... Бежать тебе от бутылок — бежать от себя, а от себя не убежишь...

Мы еще говорили о многом, и Стась высказал соображение, что, может, мне следует попробовать спасти прежде всего себя: пойти лечиться от алкоголизма, довериться людям, которые призваны спасать тех, кто понимает необходимость избавления от этой роковой болезни.

— Впрочем, — проговорил он, — это тебе поможет не раньше, чем ты сам признаешь для себя эту необходимость.

Вождь краснокожих в это время напустила полную ванну воды, чтоб я мог помыться. Идея эта мне понравилась — я давно не блаженствовал в ванне. Стась с Ленкой принялись мыть посуду, а я разделся, нырнул в ванну и тут же вылетел из нее пулей: я не рак, чтобы дать сварить себя живьем...

— Поезжай в Сибирь, предложил позднее Стась. — Там у меня брат двоюродный, Семен Махоркин, на лесопилке бригадирствует. Конечно, и он пьет, но тебя он быстро раскусит и спуска тебе не даст. Живет он с женой, детей у них нет, дом большой... У тебя сейчас состояние депрессии. На воздухе, у хороших людей оклемаешься. К тому же ты оказался в психологическом лабиринте, но лабиринты существуют, чтобы находить из них выход. Ищи. Найдешь — пиши, и я постараюсь быть для тебя посредником между прошлым и тем, к чему придешь.

Что ж, в Сибирь так в Сибирь. Как в песне: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Взяв теплую куртку Станислава и некоторое количество денежных знаков, я отправился добывать билет на поезд.

Вечером, купив билет на ночной поезд, пошел на свидание с Зайчишкой. Хотелось постоять на том месте, где по вечерам я обычно ждал ее у трамвайной остановки. Стоять в точности на «нашем» месте было рискованно, и я остановился немного в стороне. Предосторожность не оказалась лишней: она сошла с трамвая и побежала к тому месту. В темноте она видит плохо и меня не заметила. Я выдержал характер — своего присутствия не открыл.

До Иркутска доехал без приключений. Денег Стась дал не так уж много, но достаточно, чтоб отправиться в дальнюю дорогу, не слишком заботясь о каждой копейке. Семена Махоркина Стась обещал уведомить телеграммой о моем прибытии.

В Иркутске поезд стоял десять минут. Прогуливаясь по платформе, я стал невольным свидетелем самоубийства: молодой человек с наголо остриженной головой в двух шагах от меня бросился под электричку. Я даже успел дать свидетельские показания.

Позже отправился в вагон-ресторан, чтобы успокоиться после столь мало приятного зрелища. За эти дни мои синяки

сошли, так что я мог уже свободно показаться людям без очков.

Напротив меня за столиком сидел интеллигентный старичок с белой небольшой бородкой. Он ел сосиски и пил «Нарзан». Я заказал пол-литра водки с теми же сосисками. Старичок посмотрел на меня с любопытством. Я же размышлял о том, что вот, до моего прибытия в Иркутск, на одну человеческую жизнь было больше, а теперь я еду дальше и пытаюсь повясть смысл ее гибели, словно поняв, пойму смысл собственного существования. Может, этот парень поступил так от отчаяния и был более прав, чем я, продолжающий пить водку, оправдывая своё существование тем, что создаю роман, который пока никому не приносит пользу. Но такой конец... Вспомнив подробности, я содрогнулся...

— А вам не приходят в голову мысли... ну, скажем, такого порядка... — Старичок все еще с любопытством следил за мной. Он пояснил: — Я имею в виду этот страшный случай... Вам не приходят иногда мысли... — он не уточнил какие. — Вы не сердитесь на меня, это, конечно, праздный вопрос. Но я — психиатр, знаете ли... и... Мержиевский моя фамилия, — представился он.

«Чудак», решил я про себя, но, разумеется, не рассердился на него, тем более что в какой-то мере он угадал, о чем я думаю. Только об этом не следовало говорить даже медику.

— Однако вы не правы, — сказал старичок, словно читая мои мысли. — Я не стану вам читать мораль, но ведь я вижу, как вы пьете водку. Правда, после того, чему вы были очевидцем, выпить не грех, но все-таки... Вы пьете так, как пьют люди, готовые отдать черту душу за мгновение радости, чтобы потом думать о смерти как об избавлении. Посмотрите вокруг. Здесь пьют многие, но они это делают иначе. Они льют спиртное в желудки, вы же... в душу. Остальных здесь еще нет надобности лечить... Вам же лечение не впрок...

— Почему не впрок? — спросил я, невольно оглядываясь на людей за другими столиками.

Старичок отрезал маленькие кусочки от сосиски и тщательно жевал. Типичный медик.

— Оттого что в лечение вы не верите. А нужно верить, нужно хотеть! Если с вами дело обстоит не так, то предлагаю лечиться в мою клинику. Кстати, чем вы занимаетесь?

Я было назвал писателем, но сообразил, что написано

мною безбожно мало, и буркнул, что пробую писать понемногу.

— Теперь все пробуют писать. А я читаю только медицинские журналы, — заметил он ворчливо. — Ежели ляжете в мою клинику, может, со временем и сумеете что-нибудь создать, конечно, если душа ваша не нуждается в лечении прежде всего. Я смогу, вероятно, вернуть вам частично ваше растраченное здоровье. Физически вы станете совсем другим. Ваши клетки пройдут вторичную эволюцию, обновятся с помощью моих витаминов, над созданием которых я работал всю жизнь. Это будет открытие в науке, а вы — ее очередная победа. Для вас исполнится мечта миллионов людей: сохранив опыт лет, стать вновь почти молодым... Я говорю вполне серьезно, — сказал он минуту спустя. — Однако должен предупредить: риск имеется. Допускаю неудачу — в десяти процентах от ста. И это значит для вас... гм... неизлечимую болезнь. При таком положении дел мне, конечно, довольно трудно подыскать человека, готового... жертвовать собой ради науки. Люди, как вы видели, предпочитают кидаться под электричку.

Я слушал этого чудака и подумал со злостью, что вот еще один толкует про лечение (до него это делал Стась), но не принимал его слов всерьез. Профессор заказал еще бутылочку «Нарзана», я — еще водки. Чего он от меня хочет? Чтоб я дал себя обкормить какими-то подозрительными пилюлями? «Если душа не нуждается...»

— Вы, наверное, считаете, что не нуждаетесь в помощи. Я имею в виду помощь медицинскую, — сказал старичок. — Возможно, вы даже обиделись на меня за мое предложение... А ведь, ей-богу, неразумно не обращаться за помощью тогда, когда в этом есть необходимость! Удивительное психическое явление: человек при малейшем подозрении, что у него рак, бежит к врачу, а тот, кто болен вашей болезнью, — бежит, наоборот, от врача... Один легко поверит в то, чего у него нет и в помине, другого не заставишь поверить в то, чем он серьезно болен... Конечно, чтобы верить, нужно иметь желание верить, но если долго колебаться, можно потерять способность хотеть.

Я знал, как часто иногда самые фантастические вещи могут встретиться в самой обыденной форме и там, где их меньше всего предполагаешь встретить. Почему же не может быть, что за моим столом в вагоне-ресторане сидит большой ученый в области таинственных витаминов?

Я вроде бы и готов был ринуться в эту неизвестность, но наличествовали все-таки какие-то десять процентов, обрекавшие на неизлечимую болезнь... Трудность моего положения заключалась в том, что, не имея ничего определенного в настоящем, я все ждал, надеялся, что в будущем получу (откуда, почему?) хоть что-нибудь, дающее возможность сказать: и я недаром живу. Что, если профессор и предлагает мне такую возможность?

Все, что я приобрел в жизни, заключается внутри меня в моих духовных навыках, и существует только для меня. Ну, а для других? Нужен ли я очень жизни, если мне не на что рассчитывать в будущем? Ведь люди живут все-таки ради будущего, а не ради прошлого, ради которого мне уж точно жить не стоит!..

Все будто бы говорило в пользу предложения старика, но... эти десять процентов! Нелегко ничтожеству жертвовать собою сознательно даже ради великого, ради науки и человечества. И, очевидно, это закономерно: великие открытия требуют самопожертвования от достойных. А мы, ничтожества, требуем исключительных условий и жалуемся на трудности жизни. Кто-то бросился под электричку — жить было трудно? Жить всем трудно, с кем ни поговоришь — трудно. Трудно учиться, трудно трудиться, трудно любить, трудно даже красть и самое трудное — быть человеком. Трудно всем. Все хотят того, чего не имеют, все хотят быть теми, кем не являются, а это всегда и всем особенно трудно...

Трудно и Станиславу. Он сознает себя чернорабочим в своем трудном деле, но он же — солдат, возможно, рядовой, но солдат. Не всем генералам ставят памятники, но есть памятник Неизвестному солдату, который сражался не ради памятника, а ради жизни. Очевидно, Станислав это и сам сознает. Он знает, что только одна зависть оправдана — зависть к тому, кто находит радость в созидании прекрасного. Правда, он учит дураков, и они, действительно, могут не вспомнить о нем позже, но это означает только одно — что он на трудном участке фронта, где не у всякого хватит духа находиться и куда не всякий пойдет добровольно...

Профессор исподтишка наблюдал за мной, и я чувствовал себя весьма глупо. Конечно, приняв предложение профессора, в случае неудачи и смерть могла быть полезной: она освободила

бы людей от бесполезного члена общества... Но неужели у меня нет ничего впереди? Есть же у меня душа, и эта мучительная дорога, по которой шел до сегодняшнего дня... «Если душа не нуждается в лечении...» Но здесь мне не помогут пилюли. Или, может, я трус?... Возможно, что и трус...

Подумав так, я сказал старику, что, если даже его предложение не шутка, я не приму его. Он чуть заметно улыбнулся.

— Что же, не настаиваю...

Он рассчитался с официантом и, пожелав мне покойной ночи, ушел... кажется, хихикая себе в бороду. Ну и к черту его!

Глава 25

Я пробыл в Дятлах до самой весны.

В тот январский день, когда сошел с поезда, погода была ласковой ко мне. Было солнечно и красиво, снег жизнерадостно скрипел под ногами и сверкал, словно огромное поле алмазов. До Дятел добрался на лесовозе. Угрюмого вида шофер рассматривал меня без стеснения. Услышав имя Махоркина, он стал менее подозрительным и объяснил, как найти дом Махоркина: на самом краю поселка.

Собственно, непонятно, где у этого поселка край: дома были разбросаны как попало. От водителя лесовоза узнал, что поселок целиком зависит от лесной промышленности, что есть и колхозы, но подальше, а Дятлы — это лесозавод, лес и лесорубы. Я попытался узнать у него что-нибудь про Махоркина. Он ответил предельно кратко:

— Мужик простой.

Чтобы найти дом этого «простого мужика», следовало идти до самого леса и свернуть направо. А лес был везде — огромные пихты росли по сторонам улиц, обступали живописные, разукрашенные резьбой дома, от которых, попадишь они иностранным туристам, остались бы одни фундаменты.

Я шел до тех пор, пока не кончились дома, и действительно обнаружил тропинку вправо. Когда и она кончилась, я увидел домик с узенькими окнами, на желтых наличниках которых, взявшись за лапки, плясали зеленые веселые лягушки.

Домик окружал заборчик, похожий на белый кружевной

воротник средневековой леди, совсем не похожий на заборы сибирских домов, то есть на такие, какими их я себе представлял: высокими, прочными. Такой изящный забор как-то не вязался с личностью «простого мужика» Семена Махоркина.

Дом был заперт — значит хозяин на работе, да и где ему еще быть? За домом я нашел гору сухих пней, предназначенных, вероятно, на топливо. В сарае обнаружил колун. Чтобы не скучать и не мерзнуть, принялся раскалывать пни. Размахнувшись изо всех сил, врубился в пень, но вытащить из него колун сил не хватило. Так и эдак пробовал, тянул, кричал, забивал клинья и матерился — толку никакого. Стало жарко, и то ладно. Выпрямившись, увидел перед собой высокую полную женщину в телогрейке, в валенках, голову ее окутывал черный шерстяной платок. С иронической улыбкой следила она за моими мучениями.

Полагая, что передо мной жена Махоркина, я назвал себя. Женщина засмеялась.

— А Семен-то пониже живет, — сказала она, — это когда пройдет мимо озера, там и будет, тоже направо. Эх! Чуть было дровишки мне не покололи! — закончила она с сожалением.

Сухо поблагодарив ее, я отправился восвояси и вскоре дошел до большого поля, покрытого толстым снежным покровом. Ничем, кроме озера, это поле быть не могло. Затем нашел и тропинку. Она, как и первая, тоже шла вправо и привела к дому, который, увы, не украшали веселые лягушки и который забора не имел совсем. Около крыльца и здесь лежали пни, но я решил их не трогать. На доме, на пристройках, на всем лежал заметный отпечаток запущенности.

Тропинка привела прямо к крыльцу, и, конечно же, хозяев дома не оказалось. Дверь не была заперта. Позднее я узнал, что во всем поселке замками не пользуются. Дома свои запирают одинокие женщины, и то только из боязни пьяных мужиков.

Лес подходил к дому вплотную. Он шумел, раскачиваемый ветром. Я бы с удовольствием любовался подольше красотою зимнего пейзажа, но запротестовали ноги: им было невыносимо холодно. Я вошел в дом.

Первое, что бросилось в глаза, — провода. Они тянулись изо всех углов, сходились где-то в центре большой комнаты и разбегались во все стороны, чтобы уйти в дыры в стенах, в розетки, в радио, стиральную машину, электроплиту и в какие-

то другие аппараты, назначения которых я не понял. На некоторых проводах висели портянки, кальсоны, полотенца и прочее.

Это большое помещение походило на столярно-слесарную мастерскую, да еще на библиотеку, потому что кроме верстака и токарного станка, кроме запчастей моторов и прочего металлолома здесь, прямо на полу, были навалены книги. Они лежали штабелями. Порывшись в них, я установил, что библиотека довольно содержательна: здесь были учебники эсперанто, журналы мод, словари финско-японского и немецко-английского языков, художественная литература, книги по электрификации, сельскохозяйственной технике, по подводному плаванию, мотоспорту и коневодству.

Кроме большой комнаты в доме была кухня и еще две комнаты поменьше. И был такой хаос, какой бывает только в холостяцких жилищах. Впрочем, можно ли это жилище отнести к таковым? Я обратил внимание на женскую одежду на вешалке. На стене висело ружье. Среди разных двигателей и моторов бросился в глаза моторчик от электропилы «Дружба».

Наступили сумерки, а хозяев все не было. В доме стало зябко, тоскливо...

Махоркин появился, когда было уже совсем темно.

— Та-ак! — громовым голосом протяжно сказал он. — Из Москвы? — Он уже знал обо мне из телеграммы Станислава. — Ну, как оно там, в Москве? Давненько не видал я братца моего, как он там? Да... года три-четыре будет...

Я коротко сказал, что в Москве все в порядке, что Станислав жив и здоров.

— Здесь можешь жить сколько захочешь, — разрешил хозяин и заключил: — Я тут и «бомбу» случайно прихватил, а знакомство — отличная причина...

В этом он от Стася, сразу было ясно, отличался.

В облике этого человека что-то почудилось знакомое, вроде я его где-то уже встречал. Лет под сорок, рост почти два метра, лицо в веснушках, рот до ушей. А зубы!.. По сравнению с ними у меня они мышинные. Он извлек откуда-то небольшую кадучку с солеными грибами собственного производства, нарезал вареного мяса дикой козули, принес квасу. И вот мы сидим за холостяцким столом — жены у него, оказывается, нет, умерла два года назад. Пили водку, закусывая грибами. Он, пытливно

меня разглядывая, рассказывал, как у него в прошлом году свинья убежала в тайгу и вышла замуж за кабана. Когда вернулась, родила четырех полосатых детей, а их папа в тот день пришел в деревню, но охотники его прикончили, потому что порою люди бывают глупее свиней.

— Баня есть? — спросил я, верный своему пристрастию.

Он даже обиделся.

— Как можно без бани?

Мы дружно зажили с этим огромным мужиком. Одна из маленьких комнат стала моей резиденцией. После некоторых размышлений о жизни, о порядках и беспорядках в ней я решил все оставить как было до меня: на окнах ручной вязи когда-то белые занавески; во всех углах паутина; оборванные тут и там обои; в углу красная кирпичная печь, в другом — моя железная кровать; в шкафу вместо вешалок — гвозди. Потолок почернел от времени, под ним нашло себе место большое зеркало, почти трюмо. В ясную погоду в нем можно было увидеть собственное отражение. Около кровати на стене ковер: Волк и Красная Шапочка встретились в лесу, между ними происходит молчаливая, многозначительная дискуссия... Волк — доходяга, зато Красная Шапочка — дородная дама с пышной грудью. Пожалуй, встретить я такую Красную Шапочку в лесу, взял бы у нее одну только шапочку...

Махоркин эту комнату называл палатою. Окна ее выходят в лес, и, лежа в постели, я мог наблюдать, как меняются в лесу краски по мере передвижения солнца на небосводе. В сумерки лес молчит, загадочен; днем разноязычно говорит; ночью легкомысленно флиртует с луною... А когда он стонет и плачет, будто жалуется на что-то, становится тоскливо на душе, одиноко...

Вставали мы оба рано. Я, чтобы собирать моих героев, которые, уподобившись мухам, разлетались в тот миг, когда, размахнувшись, я хотел прихлопнуть сразу всех... Проводив Махоркина на крыльцо, я кричал ему вслед, в темноту зимнего утра, иногда и в метель:

— Семен! Охламон!

Он откликался:

— Эге-е-е!

— Не заблудись в лесу! — или что-нибудь в таком роде.

Ему это нравилось.

Вместе стирали, готовили, мыли посуду. Даже занимались спортом: была у него в сарае самодельная штанга, которую он самозабвенно поднимал. Я было тоже попробовал... В дальнейшем удовлетворялся ролью публики. Воскресные дни мы называли «удивительными». В эти дни пили водку и рассказывали друг другу о жизни, о земле, о космосе. В «удивительный» день, утром рано, Махоркин снимал ружье и, глядя на него, говорил задумчиво:

— Не сходить ли нам на болото, поглядеть сквозь дуло на кого-то?..

Когда ему посчастливится увидеть сквозь дуло кого-то, у нас «ультраудивительное» воскресенье. Мы жарим мясо, топим баню, одним словом, готовимся к вечеру. Закончив основные приготовления, Семен отправляется в «Великую Ночную Монополию» — бич Дятел, что находится в доме глубоко в лесу. Население Монополии составляли три старухи, вертеп ведьм, которые торговали водкой круглый год и круглые сутки. Можно посочувствовать участковому милиционеру, чей район чуть ли не в двести километров.

Махоркин приносит «бомбы», затем идем в баню, паримся, трем друг другу спины, а уже потом, в более или менее прибранной комнате, за идеально устроенным столом предаемся высшим материям. Я читаю Семену фрагменты из рукописи, а он меня просвещает.

— Удивительная комбинация этот мир, говорит он задумчиво, лаская огромными ладонями стакан. — Вот луна... Золотое колечко, грустно катится по краю неба — печальная дочка ночи... Вот экспресс. Он может доехать до Луны за шесть месяцев... Ну, за пять... Если обойти Землю десять раз, получается расстояние до Луны. А восхода Солнца там не дождешься, полдень наступает только раз за тысячу сто семьдесят пять часов — не загорись...

Или про Солнце:

— ...Если бы оно внутри пустое было, в нем уместилась бы Земля вместе с Луною, и та вокруг Земли в нем вертелась бы... А сколько оно еще будет светить, никто не знает. Думаю, миллионов эдак двадцать лет, а то и меньше...

Не дай бог завести Махоркину разговор про моторы пропадешь! Это все равно что стать жертвой графомана, хотя

Семен в моторах явно не графоман. Я же в моторах ничего не смыслю, но это его не остановит.

Наговорившись, Семен скажет:

— Посмотрю, пожалуй, как там положение на шарике. Надо послушать, что делается в эфире.

Он начинает настраивать приемник. Вскоре ему политика надоедает, находим какую-нибудь музыку и пускаемся в пляс. Уменье наше в этом одинаково, но веселья много. Думаю, со стороны мы, наверное, представляли в те часы дикую и забавную картину: два подвыпивших мужика крутятся и прыгают, словно дикари, вокруг стола с полупустыми бутылками — пыль столбом...

— Все в порядке, — крикнул однажды Махоркин, придя с работы.

Он бросил на пол пару валенок и тюк, в котором оказались ватные брюки и телогрейка.

— Будешь у меня в бригаде!

Я похолодел.

— Потихоньку, — успокаивал Семен, — ничего, втянешься!..

Началась каторга. Меня поставили на пилораму — отбрасывать пиленые доски, сырые, тяжелые. Моим напарником был парень ростом с Семена, Юра Лом. Это была его фамилия, но он и в самом деле походил на лом — весь какой-то нестигающийся, железный и тупой. Но этот «Лом» терпеливо относился к моим неловким движениям, ко всей моей неспособности выполнять эту простейшую работу. Домой я приходил едва живой, падал на кровать, не раздеваясь, и проваливался в бред. Утром Махоркин стаскивал меня с постели и почти силой тащил на лесопилку. В последующие дни и недели я превратился в какой-то механизм, не способный даже думать: в голове что утром, что вечером — пусто. Единственное сознательное ощущение — усталость, да еще боли в желудке, сопровождаемые тошнотой. По сравнению с моей бодрой бригадой я выглядел унылой, жалкой фигурой.

Миллионы людей в нашей стране вкалывают ради зарплаты — без зарплаты никак нельзя: «Кто не работает, тот не ест». Если бы не так, можно бы и не работать. Полюбить труд не всякий может — ведь труд бывает и утомительно однообразен, отупляюще скучен. Вернее, не всякий труд полюбишь. Например, долбить киркою или ломом месяцами, а то и годами

каменистую почву или делать что-то другое в таком же роде — кто может любить такую работу? Ее может терпеть только тот, кто ничего другого делать не умеет. Потому-то люди и стараются изо всех сил научиться уметь что-нибудь, получить знания.

Все в бригаде, кроме меня, не страдали ни от однообразия, ни от тяжести работы, людям как будто было приятно проявлять, ощущать свою физическую силу, но я был настолько слаб, настолько уставал, что чуть не умирал от этой работы. Я всех забавлял сонным, измученным видом. Махоркин каждое утро силком выволакивал меня, словно щенка, из постели. Ел я, освобожденный из концлагеря арестант, и вообще ощущал себя каторжником. Пришла мысль: в Москве меня разыскивают, чтобы послать, вероятно, куда-нибудь на лесоповал. Но... я уже здесь! Может, сообщить об этом, чтоб люди зря не волновались?

Так длилось больше месяца, и тогда пришла другая мысль: бежать.

Однажды, прикинувшись больным, умирающим, я остался дома, а когда Семен ушел, я осознал себя шагающим на дороге по направлению к железнодорожной станции. В рабочей одежде, в валенках. К тому дню я получил весьма приличную зарплату. Лесовозы не останавливал, боясь водителей, которые могли сообщить Семену. Наоборот, завидя их, скатывался в кювет. Я шагал бодро, до станции добрался за два часа и вздохнул облегченно: свободен! К черту эту трудотерашню!

Когда проходил мимо продмага около станции, вдруг из кабины лесовоза, стоящего у его дверей, вышел Семен и схватил меня дружески за шкирку своей могучей лапой. Опешив, я вырывался изо всех сил, выкрикивая проклятья, как школьник, лупил его ногами. Но... через час опять сидел на досках у пилы, где работяги собирались на перекур, а Махоркин как ни в чем не бывало говорил им:

— ...какой огромный ущерб приносят себе люди, уничтожающие лес безмозгло. Вот Персия... Была богатая, плодородная. Теперь что? Наполовину пустыня. А Сузы, Вавилон — где они? А Сицилия? Были леса, была хлебным амбаром всей Италии. теперь голодный край, одни камни...

Вечером он истопил баню, хотя была не суббота и день был не «удивительный» (их, кстати, в последнее время у нас вовсе не было). Я с удовольствием разложил свой скелет на горячей лавке, а Семен произносил речь:

— Остался бы ты, брат, с нами. Писанье книг — это ничего, но какая это жизнь? Все ковыряешься в чужих делах... Кому это понравится? А когда по носу дают, зубы скалишь, злишься... До чего дошел! Даже водочки пить уже не можешь по-человечески. Мы тоже не святые — употребляем, как видишь, и — ничего. Дело в том, что мы закаленные. Мы физически из себя кое-что представляем, вот она нас и не берет. А ты в барина превратился, распустился, тебя-то она и берет. Писатель!.. До чего додумался, чтобы какая-нибудь нормальная баба в алкаша втрескалась!.. Сроду такого не слышывал, и не бывает такого. После женитьбы, если мужик сопьется, куда ни шло, сразу его не бросят, а чтобы за конченного алкаша кто вышел... Нет, не бывает! А водочка... Да ведь все пьют. Правду говорю. Кто от горя, кто как, многие свои имеют причины. Тоже, может, что-то душу щиплет, а водка как пластырь, — прилепил, и вроде легче...

Пока я грелся, мылся, парился, он все говорил на эту тему.

— Зря обижаешься и на людей, что все тебя поят, здоровье губят... Люди, куда бы ты ни шел, считают святым долгом угостить всем лучшим, что имеют, чтобы тебе у них было хорошо, чтобы ты не сказал, будто они плохо принимают. Как говорится, «чем богаты, тем и рады»... А водочка, она — угощение обязательное. Особенно там, где люди беднее, там она дополняет нехватки на столе. И тут уже твое дело, сколько принимать — одну, две рюмки или все, что дают. Отказа не будет гостю: какой же русский откажется угощать! Он последние штаны заложит, но тебя угостит... Так что люди ни при чем. Они от гостеприимства. Ты же, брат, от свинства. А здесь все-таки вместе будем. Вместе живем, вместе и работать надо. А то и поговорить не с кем. Хорошо все-таки, когда можно потолковать с умным человеком...

Против последнего аргумента возразить было трудно. Я остался. Опять потекли дни и недели, полные муки и усталости. Но однажды я обнаружил, что в груди не давит, словно от удущья, как было раньше, что соображаю даже, сколько даем леса и сколько мне платят. Это было достижение. Дело пошло на поправку. Я справлялся. Стал опять по утрам мыться, чистить зубы. Вставал сам, и это чисто физическое обновление чертовски радовало. Это было выздоровление от паралича — начал ходить, пролежавший годы!..

Какое наслаждение — почувствовать себя физически здоровым, легким, бодрым! Почувствовать свои ноги, руки, плечи и радоваться исчезновению мешков под глазами и тому, что белки глаз приобрели нормальный цвет. Только продолжалось это до того «удивительного» дня, когда мы с Семеном решили проверить, как подействует на мой, теперь закаленный организм водка: возьмет или не возьмет?

Решали не увлекаться — только для пробы, несколько рюмок. И она брала... Здесь кстати привести философию алкоголика, который сказал: «Отказаться от первой рюмки немудрено. Но я не знаю такого, кто бы мог отказаться от шестой...» Он же сказал: «Все помнят, как выпили первую. Никто не помнит, когда стал алкоголиком...»

Я лежал и задыхался. Было хуже, чем раньше. Все пошло к черту. Опять приходил к пиле и опять мучился. По ночам потел, начались рвоты. Спасти от мучений помогала она, то есть водочка.

Семен настаивал, чтобы я не сдавался. Но я уже понял, что одного укрепления мускулатуры мало, чтобы выпутаться: от себя не убежишь, от себя нигде не спрячешься. Теперь сдался и Семен.

— Может, так оно и есть, — согласился он. — Как можно убеждать кого-нибудь, что любовь способна спасти от этой болезни, когда ты сам из-за нее оставил единственного человека, который тебе все прощал... Я об этом все время думал. Стало быть, болезнь твоя сильнее любви, если любовь ради водки забывают... Да, брат, черт силен. Но неужели сильнее человека? Должен же быть выход. Может, тот старикан, из вагона-ресторана прав. А если попробовать? Не умрешь же...

Мы сидели допоздна, выпивали, говорили. Я, между прочим, поинтересовался, почему он держит в доме вещи жены. Он не ответил, махнул рукой, выпил.

В этот вечер он меня не просвещал, молчал, так что рассказывал я. А поскольку о моей жизни он уже знал почти все, я еще раз стал рассказывать о том, как мне тяжело писать роман, как я измучился с ним, как туго продвигается дело. Рассказал обо всем: и о крысах в колодце на хуторе Соловья, и о дачном домике под Киевом, и о книжном складе в Тарту, и про Астру. Словом, всю свою литературную эпопею. Махоркин пил водку (он никогда не пьянел) и слушал с таким

вниманием, с каким дети слушают сказку. Вдруг рывкнул, ударил кулаком по столу:

— Дошло до меня! Ты потому и погибаешь, что не получается работа. Болван! О том, что ты рассказал, и надо писать! История попытки написать роман! Это и будет настоящий достоверный роман. А ты черт знает что насочинял!.. — он даже разволновался и, словно устыдившись этой эмоциональной вспышки, переключился на уже знакомую волну. — Надо послушать, что там в эфире делается... — Но не удержался и добавил: — Вот пойдет у тебя работа по-настоящему, и ты бросишь пить. Вот увидишь. Надо, чтобы все было достоверно. А то все вы хотите, чтобы люди ахнули, — психологи! Надо, чтобы люди не ахали, а думали. Что там этот твой Валентин — ерунда! Кому он нужен?.. Его бы сюда, к нам, — сделали бы парня мужиком и без всяких добродетельных баб. Пиши о том, что сам пережил!..

Когда, наконец, мы пожелали друг другу покойной ночи, было уже утро. Я вошел в свою «палату», достал рукопись, стал листать страницу за страницей и понял, как был прав Махоркин.

Писать книги — значит призывать к разумной жизни. Но может ли это делать раб? Когда духовно сильные люди попадают в рабство, бывают вынуждены подчиняться силе, они порою убивают себя, и в самой их смерти есть нечто возвышенное. Когда же человек раб, когда он оказывается в плену своих привычек, своей слабости, то, если даже он обладает геркуле-совой силой, в его жизни нет ничего возвышенного. Стало быть, «в здоровом теле — здоровый дух» — вздор? Если же такой человек станет убеждать других жить разумно, он сможет делать это только за счет чужих мыслей, общих нравственных положений, разглагольствуя о добре и зле механически, надуманно, без души, и убедить никого не сможет.

Писать роман — дело трудное, но и достойное, если умело и продуманно следуешь достойной цели: Мой роман, пожалуй, мог бы быть в чем-то убедительным, но зачем нужна подобная искусственная убедительность, когда можно и нужно рассказывать не от вымышленного лица о вымышленном, а о реальных вещах, волнующих миллионы людей, как они волновали и самого Автора.

Мои руки действовали быстрее мысли: они разорвали руко-

пись. Через мгновение я пожалел об этом, но было поздно. Я взял лист бумаги и начал делать наброски нового романа...

В день отъезда сказал Махоркину:

— Пока, Махоркин. Мыли мы здесь друг другу спины, ели из одного котла, плясали и водку пили. Но все-таки я поеду.

Погрустневший Махоркин молчал.

— Возможно, вернусь, потому что писательство мое, похоже, подходит к закату. Сам подумай, за что мне такие муки?! Вертеться-крутиться как проклятому и делать ненужную каторжную работу. За что? В чем я так сильно провинился, что должен тянуть эту лямку?

Махоркин молчал.

— Но ты открыл мне глаза на необходимость правды, достоверности. Ты оживил мою мысль, и теперь я не пропаду. Спасибо тебе. Будь здоров, махоркин.

Он молча пожал мою руку. Я взял свою сумку и пошел. Он остался в одиночестве — читать газеты и «смотреть», что делается в эфире.

Уже далеко успел отойти, когда услышал его мощный голос.

— Э-ге-е-е-й! Не заблудись! — неслоь по тайге, повторяемое эхом.

Это можно было понять как угодно, хотя, наверное, относилось к жизни вообще, — в лесу-то я не заблужусь.

Глава 26

Юрмала красива, очень красива. Это город зелени и всевозможных башенок. Здесь почти каждый дом с башенкой. И здесь сосны, черемуха, сирень. Но прежде всего Юрмала — море. Устроился я недалеко от моря в «частном пансионате» у старой латышской крестьянки Кристины Яновны. В Юрмале много подобного рода «частных пансионатов» и столько же Кристин, сдающих отдыхающим комнаты по сходной цене, которая, однако, людей победнее заставляет чесать затылки да подсчитывать отложенные на отдых финансы: ведь эти комнаты или даже просто верандочки стоят каждая по четыреста рублей (а то и больше) за сезон... У моей Кристины сдавались пять комнат плюс веранда, сарай и тот чулан в два квадратных метра, в

котором поселился я (за него с меня содрали только двести карбованцев). Но этот чулан с одной узкой кроватью и малюсеньким столиком все-таки «отдельная» комната, к тому же почти рядом с туалетом. И я, что там ни говори, на курорте, впервые в жизни!

Впервые в жизни, что называется, отдыхаю. Хотя, по правде говоря, понятие «отдыхаю» было здесь ко мне применительно только в связи с тем, что я оказался в курортной местности и арендовал чулан на тех же условиях, что и те, кто действительно приехал сюда отдыхать. На самом же деле я работал: составлял конспект, или, если угодно, план будущего повествования о том, как я... начал писать роман и что из этого вышло. Единственно, от чего я отдыхал здесь — от водки, что было возможно благодаря тому, что жил обособленно, уединившись, сторонясь буквально всех.

Начинающему трезвеннику, чтоб не подвергаться искушениям и страданиям из-за соблазнов или воздержания, лучше все же уединиться на некоторое время. Хотя бы до тех пор, пока он не сможет сказать себе: у меня есть желание не пить ни с кем — ни за дружбу, ни за удачу, ни от скуки, ни от радости, ни даже просто так!..

Но какая несправедливость в том, что те, кому посчастливилось жить в такой красоте, как здесь, — красоте, принадлежавшей всем, продают ее за столь наглые суммы! Хотелось бы знать, как могла бы отдохнуть здесь хотя бы Зайчишка со своим сторублевым окладом? Моя Кристина выручает за сезон две тысячи, не шевеля и пальцем. У нее в Риге шестикомнатная квартира, этот же старый деревянный дом она купила за пятнадцать тысяч для того, чтобы сдавать в аренду трудящимся на время их отдыха.

Так или иначе, но теперь я здесь работал и одновременно отдыхал. Программу лечения пришлось выработать без докторов, но нечто похожее на режим у меня получилось: утром — работа, после обеда загорал у моря, по вечерам ходил в кино перед сном гулял по твердо утрамбованному морскому берегу, где в этот час встречались только влюбленные парочки и спасающиеся бегом от инфаркта.

Я старался не замечать кафе, закусовых, павильонов, ресторанов и даже пивных, хотя часто мимо них проходил. Проклятые помойки!.. И всячески избегал каких бы то ни было

знакомств — ведь всякое случайное (особенно случайное) знакомство может завести в любое из этих гостеприимных заведений, а любое туда приглашение — травма для моей еще не окрепшей психики.

Ах, какая это была мука! Соблазны, соблазны, еще раз соблазны. Куда ни повернись — вино, коньяк, водка, бальзам: «Пожалуйста, хотите в розлив? Или, может, вам коктейль?» А люди-то... Пьют и коктейли, и бальзам, и коньяк, в розлив и оптом. Люди пьют, а ты только рот обтираешь, слюнки глотаешь. Потом отходишь и чертыхаешься, бога проклинаешь и черта лысого вспоминаешь. Не пожелаю я таких пыток даже врагу.

Словно я впервые их видел — встречающихся «бухарей»... Грязные, небритые, помятые, вонючие, куда-то они идут, куда-то добираются, шатаясь, отыскивая дорогу чуть ли не ощупь... Куда? Домой? Неужели у них тоже имеются дома и их ждут нежные жены, матери, дочери, чтобы уложить их в чистые постели, в чистые простыни, грязных, вонючих?..

Соблазны, соблазны, соблазны... Они тебя караулят везде. Как было и в поезде, в котором ехал из Дятел. Едва вошел в купе, оказался жертвой жизнерадостного весельчака, круглого, как шарик. Едва расположился, он меня ошарашил вопросом:

— Будешь?

Перед ним на столе — бутылка, стакан, закуска. Выгаращив на меня плутоватые маслянистые глазки, пододвигает стакан с водкой. Караул! Везде он, змий проклятый, дожидается, никуда от него не денешься. Решил стойку держать — человек я или червяк?!

Говорю ему, что не пью, потому что у меня язва, что я сердечник, что у меня стенокардия, — смеется: ха-ха-ха! Как ему весело! Глазки блестят от удовольствия, сует стакан. Говорю, что у меня расшатана нервная система, что бывают хронические провалы памяти, что, если буду пить, отдам богу душу, что из-за водки потерял всех друзей или, скорее всего, ни одного путного не приобрел, что потерял работоспособность, что продолжительными пьянками извел жену, что убил человека и просидел пятнадцать лет в тюрьме, — смеется. Я говорил ему долго и страстно, моя речь была убедительной и потрясающей, другой бы бутылку в окно выкинул.

— Ха-ха-ха! — радуется. Ему весело стало, а то он скучал.

— Так что млд... члвик? Ни? А т-ты знаешь, сколько находится в пути этот... луч? Ну, как его там? Космический. Не знаешь?

Да, ему был нужен собеседник. Пожимаю плечами, дескать, не знаю, сколько он там путешествует, этот луч... Интересуюсь, по какому профилю он работает.

— От виноделия, млд... члвик. Распространяю.

Он пододвигает ко мне жирную колбасу, а я не ем жирной колбасы.

— А вы? — интересуется он.

Представился лесорубом. Ему и это смешно. Что ж, когда кейф, всегда смешно поначалу...

— Зря не пьешь, млд... члвик, — говорит шарик. — Алкоголь — штука, конечно, вредная, — ему смешно до чертиков, — но я же его распространяю по служебному долгу, планомерно, по государственной стоимости. А наш завод, млд... члвик, не из отстающих, хе-хе-хе... Так что давайте, а?

— А вы знаете, как выглядит мозг алкоголика? — спрашиваю.

— А как же? Этиловый спиртик — опасная вещь, с этим надо осторожненько! — Он с удовольствием выливает себе в глотку стакан и продолжает: — А на будущее поколение как влияет!.. У вас как насчет будущего поколения? — Пожимаю плечами. — Нету? — Он даже удивлен. — Так вот с этим, млд... члвик, надо бороться, как с социальным злом, — яростно, непримиримо!

Он допивает всю водку, и у меня гора с плеч: чего нет — того нет.

— С каким трудом развивается человечество! — рассуждает круглячок, закатив глаза, вздыхая. — Вчера мы были кто? Шимпанзе... Теперь строим электростанции, гуляем по Луне... Человек разумен, млд... члвик, а алкоголизм — это не изготовление, а употребление...

И когда я в том поезде наблюдал утром похмелье веселого коммерсанта (который, кстати сказать, наутро совершенно не помнил ни о космическом луче, ни о том, на какой станции я вошел к нему в купе), я возгордился от сознания — нет, я не червяк!..

Здесь же, в Юрмале, я думал, и даже довольно часто, о том, что говорили мне тот чудакватый старичок Мержиевский, а

также Стась, Семен и Зайчишка и еще кто-то о возможности попытаться выйти из моего злополучного положения с помощью медицины. Стась, помнится, предупредил, что это даст результат только в том случае, если этот шаг — обратиться к медикам — сделаю сознательно, понимая, что мне это нужно. Но я не пришел, к сожалению, к такому пониманию...

Я понимал, что и медицина что-то может. Главное же, думал я, не в том, что мне посредством гипноза внушат отвращение к водке, главное — я сам, мое человеческое «я»: червяк я или человек?! Конечно, если выберусь с помощью людей, — я тоже человек. Но мне казалось, что, если выберусь сам, я все же немного больше человек. И мне хотелось быть немного больше человеком.

Ах, как мне хотелось, чтобы не было этого проклятого года, который японцы почему-то называли годом «Зеленого Дракона». Ах, как хотелось его вычеркнуть из жизни...

Что говорить — нелегко возвращаться туда, где тебя помнят как нехорошего человека. Но вернуться надо, чтобы не было больше нужды ходить с опущенной головой, боясь смотреть в глаза людям, чтобы не было больше тайн, которые надо скрывать от других и даже от самого себя, чтобы поведать их другим, способным разделить со мной эти мои мучительные тайны. А это уже означает освобождение от внутреннего одиночества, освобождение от той тюрьмы, куда я сам себя заключил. Помнится, этот вопрос я себе задал: «Я сам себя заключил в свою тюрьму, а кто освободит?» Оказывается, ответ очень прост: ты в тюрьме собственной совести, и освободиться из этой тюрьмы ты должен сам.

А роман?.. Наверное, он получится сумбурным, потому что для Автора время его создания, когда он оказался в одиночестве, было тоже сумбурным. Да, я последовал совету Семена Махоркина и начал писать (достоверно) о том, как я писал роман. Перечитывая черновики, пришел к заключению, что в них, пожалуй, много лишнего. Но я решил оставить все как есть.

Я попробовал размышлять о жизни. Боюсь, эти размышления могут у многих вызвать снисходительную улыбку — дескать, тоже мне философ нацелся! Я согласен: мои размышления могут быть слабенькими, неверными и всякий может их, если захочет, отвергнуть. Я, конечно, никакой не философ, я просто пытаюсь научиться думать. Единственное, что хочу

сказать в свою защиту: правильные у меня суждения о жизни, литературе и обо всем другом или неправильные, но... они мои. Ведь дело в том, что, сколько читателей, столько и мнений. Одни согласятся со мной, другие — нет, а третьи начнут раздумывать: так или нет. И то ладно. Во всяком случае, не могу взять в толк, почему бы мне стесняться высказывать свои мысли, какие бы они ни были? Ведь я их никому не навязываю!..

Я сам, пока на собственном опыте не убедился, относился к писательскому труду скептически. Беру я в руки книгу, прочту ее за день или за два и думаю себе: «Хорошо устроились эти писатели: накрутили, насочиняли и денежки лопатой загребают!» Чем я хуже?! Возьму и тоже насочиняю и буду денежки лопатой загребать.

Теперь я знаю, что если, читая чью-то книгу, мне смешно, значит, автор, когда писал это смешное, сам хохотал до упаду. А если я читаю о печальном, что вызывает слезы, я знаю — автор плакал, когда писал, и если бы кто-то наблюдал его в то время со стороны, наверняка бы решил, что у этого человека умерла любимая жена.

Бывает, иной человек немного понервничает и уже таблетки успокоительные горстями глотает. У писателя же каждый день умирают или страдают, мучаются любимые герои — его герои, и он за них переживает и страдает не меньше, чем если бы действительно умерла его жена. И уж, конечно, никакие таблетки ему не помогут!..

Теперь сам знаю: написав главу, мне и есть не хочется, и никакие красотки мне не нужны, мне вообще ничего не нужно. Я устал, и устал настолько, что и отдохнуть по-человечески не в состоянии; я наэлектризован так, что от меня искры летят, и тогда, пожалуйста, не прикасайтесь ко мне — током бьет. Следовало бы повесить себе на шею плакат: «Осторожно — опасно для жизни!»

Так для чего же и во имя чего мне нужно все это? Ответ прост: все живущие в нашей стране люди, которые трудятся, приносят пользу нашему обществу. Я хочу того же, я тоже хочу надеяться, что мой скромный труд кому-то что-то даст. И, если это так, я буду счастлив, как молодой слон. И не надо мне загребать деньги лопатой. Я буду рад, если кто-нибудь просто подаст мне руку и пожмет по-дружески мою. Мне

достаточно этого, и за это я скажу от всей души «спасибо».

К тому времени, когда к неудовольствию содержателей пансионатов испортилась погода, и надолго, я успел уже прилично загореть и даже поплавать, хотя вода была еще холодная. Подули ветры, поплил дожди. Однажды бродил по побережью. Было поздно, почти ночь, у моря не было ни души. Море казалось началом бесконечного «ничто», за которым не представлялось ни других стран, ни жизни, а лишь пустота, темень и холод.

Я думал о своем романе (о чем же еще думать?!), о том, что он должен как будто получиться, хотя пока имелись только черновые наброски. Я думал о вреде сомнений: если сомневаешься, не стоит и браться. А сомнения вызвали мысли о том, что по сути я не создавал каких-либо надолго запоминающихся героев, что писал о средних и маленьких людях, которых и нет нужды создавать — они всюду вокруг нас и они все понемногу создавали самого меня. Они меня каждый по-своему чему-нибудь да научили. Я не сумел сделать больше, как выгащить их, что называется, на «сцену». Они научили меня пониманию необходимости стараться рассказывать предельно правдиво, потому что пустой вымысел нужен только лицемерам, которые в душе сами презирают его и насмеваются над ним. Это похоже на то, что никто не опасается так воров, как сами же воры. Люди научили меня пониманию того, что они — не шахматные фигурки, которыми можно играть: как ими ни играй, как ни комбинируй, они все равно живут так, как этого требует их природа. Создавать героев или личности непросто, лучше и вернее отыскать их в жизни, настоящих, и понять их...

Ветер дул, волны шумливо накатывались на песчаные доны. В отдалении замерцал малюсенький красный огонек: то гас, то вспыхивал ярче. Огонек все приближался, пока я не сообразил, что он от сигареты, что кто-то идет навстречу.

Человек приближался, он тоже шел у самой воды, и его тоже обдавали брызги от прибоя. Когда человек подошел почти вплотную, я увидел женщину в темном пальто. Она уже прошла, но я узнал ее по походке, по длинным темным волосам и еще по чему-то, пожалуй, подсказанному сердцем.

— Астра?!

Это была она. Я растерялся, испытывая неловкость, словно причинил ей боль или в чем-то провинился перед ней. И она,

должно быть, почувствовала нечто подобное, иначе чем объяснить ее долгое молчание? Затем она задала мне вопрос, которого и следовало было ожидать:

— Почему ты уехал?

— Ты же знаешь...

После небольшой паузы она сказала:

— Я не была там... Справку не достала.

Спросить, где же она тогда была, я не решился — было бы похоже на допрос. Но — каким образом она вышла из создавшегося положения?

— Не вышла, — сказала Астра. — Уволили. Что проще...

Я заметил, что она дрожит — от ветра, должно быть. Докурив сигарету, бросила окурки в море и закурила другую. Мы молчали. Потом пошли вместе, рядом, как в те дни, когда совершали прогулки в окрестностях Риги, когда я рассказывал ей, стараясь быть предельно откровенным, о своей жизни.

— С улицы Диклю съехала, — проговорила Астра. — Здесь, в Юрмале, устроилась. Отдохнуть хочу от всего...

— А деньги?..

— От мамы. Я ее дочь все-таки...

Она дрожала и, как бы ища защиты от ветра, прижалась ко мне.

— С твоим отъездом нехорошо мне стало, — сказала она глухо. — Но я понимала, что вариант Уны и Чаплина для нас нереален... Я это всегда знала. Знала, что не будет у нас общего будущего, но не хотелось расставаться с настоящим: вечная участь слабых — жить иллюзиями...

Этот ее тон мне был знаком.

Она всегда считала себя некрасивой. У нее, очевидно, как и у многих женщин, существовало свое, стандартное представление о красоте, которому она верила, жалея себя. Вследствие этого она не считала, что и ее можно полюбить, что и она может понравиться, думала, что любить может только сама, и безответно, что счастливой может быть лишь в иллюзиях. Она и меня принимала не всерьез — обманывала себя мною. Этот обман был ей нужен. А может, и не обманывала? Разве я отдавал себя ей, как она себя мне? Разве я не всегда думал о Зайце и даже мучил Астру разговорами о ней?..

Я объяснил Астре, что тоже многое потерял, лишившись в ее лице преданного друга.

Метров треста мы прошли молча, вслушиваясь в говор моря. Потом Астра тихонько проговорила:

— Плохо, когда люди встречаются, затем затеряются и все, что было, исчезает безвозвратно...

— Астра, а возраст? Ты же сама сказала...

— В Тарту ты об этом не думал... Это вам, мужчинам, нужны стройные ножки. Нам же... мне прежде всего — человеческое сердце.

— Трудно быть мудрым, ошибаться всегда легко...

Помолчав, она спросила о моей работе над романом, и тут я с облегчением и радостью пустился в пространные описания, хотя и видел, как недоверчиво она им внимала.

— Да-а, — сказала она вдруг, не дослушав. — Ты действительно слаб. У тебя не хватит сил делать кому-либо больно — ни мне, ни Зайцу. А больно нам обоим.

И через минуту, на прощанье:

— Ата!..

Она ушла, размахивая, как обычно, руками, исчезла в темноте...

Однажды в дождливую погоду я ехал в такси и увидел ее еще раз: она стояла под навесом продовольственного магазина, стояла совершенно неподвижно и смотрела ничего не видящим взглядом в одну точку — символ грусти, одиночества, неверия...

Каждый вечер я совершал поздние прогулки по морскому берегу, предаваясь воспоминаниям, мыслям о жизни и о себе в ней, о том, что сделано, что не сделано. Да, я не создал, как задумал, романа с главным героем-алкоголиком, которого спасет Прекрасная женщина, но это не значит, что ее не было... Искать ее, Ненайденную, было явной глупостью — она всегда находилась рядом со мной, и она любила... алкоголика. Возможно, и теперь еще не забыла. И что за глупость думать, будто она могла утонуть вместе со мной! Не такая я огромная глыба, чтоб был в состоянии вызвать своим падением цунами... Падай я с гораздо большей высоты, брызги от этого падения не замочили бы даже ее ног. И я гадал: получился бы у меня любовно-приключенческий роман, как было задумано раньше? Скорее всего, нет. И почему, собственно, нужно отмечать произведение каким-то определяющим его направленность знаком: здесь — любовь, здесь — приключения, здесь — про

войну, здесь — про колхозы, а здесь — фантазия, и так далее. Можно же просто рассказать о жизни и о своих размышлениях о ней...

Однажды проснулся среди ночи и вслушался в шум ветра за окном. Там с треском ломались ветки деревьев. Я не мог уснуть. Треск и вой ветра, казалось, манили, звали куда-то. Оделся, вышел и направился к морю. Ветер разбушевался с необычайной силой, кружил песок, а по небу мчались черные облака. Я зашагал вдоль берега. Море взбесилось. Начав с протяжных вздохов и стонов, оно вскоре взревело и бросилось на меня черными объятиями грохочущих волн. Едва устоял на ногах, бешеные порывы ветра валили, стало холодно. Вместо того чтобы вернуться в свой чулан, я потихоньку прибавил шагу, а потом перешел в бег, словно бес в меня вселился.

Бежать было жутко. Казалось, за мной гонятся все порочные, мрачные, злобные силы, какие есть в мире; рев моря представлялся рыком расвиревевшего дракона. Казалось, за мной гонятся, хрипя и стеля, толпы оборванных, с испитыми лицами, воспаленными глазами мужчин, стремясь схватить, умоляя остановиться, не бросать их, а за всеми ними, подпрыгивая, бежал вроде бы знакомый — в рваных ботинках, с развевающимися по ветру редкими волосами! Ужас! Ужас! Тот последний был я сам...

Я бежал все быстрее — прочь! Бежать надо быстрее! От мира, сошедшего с ума, и от кошмара, и от себя — скорее! Да разве убежишь...

Я устал, выдохся. Ноги словно вросли в песок, у меня не было сил сделать и шага. Уселся в песок и со страхом всматривался в буйство разъяренной стихии.

Мне ничто не мешало вернуться в мой чулан, но необузданность стихии словно очаровывала, приковывала. Натянув на голову куртку, я сидел неподвижно. Под утро ветер постепенно затих и вдруг как-то неожиданно совсем пропал. Потом снова задул, слабо и с противоположной стороны. Стало рассветать, и мой ужас, страх, все это мое безумие исчезли. Да, исчезли, словно ветер их раздул. На душе стало спокойно.

Что это было? Ничего особенного, просто где-то в океане бушевал ураган. А ведь штормы и ненастья — это обычные явления... Разве в жизни бывает не так же? Где-то солнце, где-то дожди, где-то ураганы, сеющие гибель и разрушение. Но

пройдет какое-то время, и все меняется: где бушевал ураган, теперь ласково светит солнце...

Когда взошло солнце, у ног моих лежала тихая водная гладь. В ней, как в зеркале, отражались позолоченные ранними солнечными лучами редкие облака. Казалось, море устало. Пошумело, ну и довольно, хватит! Ночь ушла и унесла все нехорошее, тяжкое...

Я смотрел на тихое, теперь доброе море и думал: мир не сошел с ума, люди любят, страдают, создают материальные и духовные ценности, стремятся к созданию разумного общества. Иначе нельзя себе представить будущего...

Черт силен... Кто это сказал? Семен? Да, черт силен, но не всемогущ. Любовь сильнее, бескорыстная, святая любовь человека к человеку. Во имя такой любви люди и совершают порою незаметные и как будто незначительные подвиги: не оставляют друзей в беде, помогают слабым, делятся последним куском хлеба. И именно такая любовь дала миру Жанну д'Арк, Зою Космодемьянскую, Ивана Сусанина, Минина и Пожарского и того, который всем чертям «святой» инквизиции заявил: «А все-таки она вертится!», и того, который сказал: «Мир — хижинам, война — дворцам»...

Я смотрел на тихое и доброе теперь море и знал, что за этим морем есть другие страны, есть жизнь и, кроме этого, в мире есть Рембрандт, есть Сибелиус, Григ, Вагнер, есть Роден и Микеланджело, есть Шекспир и Пушкин, есть сказки Андерсена и «Маленький принц» Экзюпери и много столь прекрасного и великого, что никакому Лысому черту с этим вовек не совладать!

Мир не сошел с ума — с ума можно сойти самому, если бездумно бежать от жизни, от людей и самого себя, от своей тени. От нее нельзя уйти, ее надо изменить. Возникла уверенность, что я сам найду дорогу к разумной жизни. Что это так — докажет мой новый роман. Я не сомневался теперь, что сделаю его, каким бы он у меня ни получился.

С такой уверенностью я и выбрался из песка, которым меня занесло чуть не по пояс. Уже выходили на берег отдыхающие — любители ранних прогулок. А я пошел в свой чулан — усталый, но довольный. Я пошел спать, хотя начинался день.

Драгоценные слова

(Вместо послесловия)

Уникальность книг Ахто Леви не так давно казалась обеспеченной таинственностью фигуры автора: кто он, столь глубоко чувствующий иную, криминальную жизнь, пишущий об этой жизни со жгущей достоверностью. Обыденное житейское сознание предполагало об авторе: сидел... Не понаслышке знает про зону, ее законы, традиции и порядки. Более квалифицированный взгляд на прозу Ахто Леви обнаруживал серьезного, оригинального писателя, место которого не может никем быть занято в литературе, несмотря на увеличившееся число имен в детективном жанре.

Тут, пожалуй, и некоторая разгадка секрета Ахто Леви: он делает нечто большее, чем детектив. Он никогда не развлекает читателя, слишком уважая его, чтобы предложить «интригу», закрутить сюжет... Жизнь эти самые сюжеты строит куда круче самых затейливых кабинетных фантазий. Как на фундаменте книги Ахто Леви стоят на внешне простой, но воистину мудрой мысли, высказанной как-то Александром Кругловым: и счастье и несчастье злых делают злее, добрых добрее.

Какими делают людей книги Ахто Леви? В его архиве — тысячи писем от читателей. За невозможностью издать хотя бы основную их часть, мы отобрали для публикации в этой книге лишь несколько (по понятным причинам мы не указываем полных сведений об авторах писем, только их инициалы и фамилии). Вообще же формально можно поделить все письма на две большие папки: из мест заключения и с воли. Или так: от сидевших и от не сидевших. Или — от преступивших закон и от не преступивших. Формальность такого деления слишком очевидна... В прямой связи с прозой Леви можно ведь сказать

и так, что еще неизвестно, кто кого должен по этой жизни судить, кому было бы полезно побывать в шкуре зека, а кто — воистину чист и неподсуден закону, коли и сам закон лукав и еще лукавее его верные слуги.

Можно сказать, что любой писатель, даже если он говорит обратное, всегда крайне дорожит читательскими письмами. Потому как читатель никогда не ошибется и никогда не обманет, читатель писателя не изучает, как это делает критик, а исповедуется ему, открывает душу, возвращает энергию, запасенную на прочитанных страницах. (Жаль, что невозможно печатать при каждой книге читательские письма — книги в таком разе можно было бы смело читать с конца: есть в конце волнение, боль, гнев, любовь — берись за книгу, а нет — на нет и суда нет).

...Вслед за этими строками вам предстоит читать письма. Есть такое правило: читатель соавтор писателя, книга равно принадлежит им двоим. Выходит, что эти письма писались и для вас. Вам. Вы их получили, распечатали...

Читайте, памятуя, что книга писателя — также, в сущности, письмо.

Виктор Перегудов

Письма

1 декабря 1969 года

Здравствуйте, Ахто!

С большим волнением прочитала я в журнале «Москва» вашу автобиографическую повесть «Записки Серого Волка». Когда я читала, мне казалось, что я это все видела собственными глазами, что я Вас хорошо знаю. Вот пишу, а меня лихорадит от нахлынувших воспоминаний о прошлом преступном мире, которому я посвятила всю свою жизнь. Мне было 16 лет, когда я была уже «женой» «законного вора» и была посвящена воровским законам. Много я видела в этой жизни несправедливости. Видела

много безвинных смертей. Лично на моих глазах «возмачили», «морали». Видела, как проигрывали в карты свои души, как двигали «фуфло». Видела, как сильный жил за счет слабого, как вор у вора копался в душе, как нечестно обвиняли и отымали друг у друга жизнь. Мне тяжело сейчас об этом вспоминать, надеюсь, Вы меня поймете. С 1938 года по 1949 год я находилась в заключении на мужских командировках: Д.В.К., Вятлаг, Колыма, СевероУралЛаз. Была я на централках, по 6 км по шалам, в ватных брюках, шапка домаком, а рядом со мной в лаптях шли: «король», «князь», «граф», «интеллигент», «дипломат» и т.д. Видела, как приводили безлецов, оборванных собаками и страшно избитых. В 1945 году в Вятлаге в женском бараке зарезали троих, Васюку «Голубя», за то, что он отошел к мужикам, да там в те годы не было дня, чтобы кого-нибудь не убили...

Ахто, за себя подробно писать я воздерживаюсь. Первое уголовное дело на меня было заведено в 1934 году — я уже имела 51 привод за карманные кражи. Через год я освобождаюсь в 50-летнем возрасте, но я не инвалид и душа моя еще совсем молодая, я как старенький ребенок.

Двадцать один год заключения, как страшный сон. В данное время я уже ничего для себя не желаю, искреннее мое желание, чтобы никто не шел по моей дороге.

Голодович Е.К.

* * *

В редакцию журнала «Москва»

Дорогая редакция!

Я обращаюсь к Вам с просьбой. Сообщите мне адрес человека, который в 1968 году в N 7-8 опубликовал повесть, т.е. записки о своей жизни, «Записки Серого Волка». Автор этих записок Ахто Леви. Этого человека я хорошо знаю. Я с ним находился длительное время в заключении, ему еще я был товарищем по несчастью, потом мы разъехались. Ахто меня хорошо знает по кличке (Дурак). Когда вышла его первая повесть о его жизни, я ее внимательно прочи-

тал, а потом читал его некоторые выступления в «Литературной газете». Мне его выступления и его знаменитая повесть «Записки Серого Волка» очень понравились и я очень рад был за него и его дальнейшую жизнь. А я все еще продолжаю сидеть в заключении. Но это полбеды. Скоро и я освобождаюсь в 1975 г. II-го П. За это время я внимательно следил за Ахто, не сорвется ли он, удержится ли он на свободе, а теперь можно сказать твердо, что да, Ахто теперь тот кремень, по которому все осужденные должны равняться...

По последнему приговору я серьезно задумался, зачем я живу и для чего стал тоже вести дневник своей жизни и у меня появился увесистый том черновиков под названием «Жизнь, которой в сущности не было». Вот по этому поводу я и хотел с ним, т.е. с Ахто, поговорить...

Я никогда не забуду тот день, когда мы, заключенные, обсуждали его «Записки Серого Волка», читая журнал «Москва», дело доходило до хрипоты и кулаков. Одни говорили одно, другие другое. Он взворошил это гнилое болото, от которого шел трупный запах мертвечины, а после его повести повеял свежий воздух, и это не слова, а так оно и есть.

Авдейко В.И.

* * *

16 ноября 1973 г.
Ньроб

Привет из мест не столь отдаленных!
Здравствуй, Серый!

Это послание пишет тебе Кеша, он же Лимон и черт знает кем назовет меня еще шпана, среди которой я нахожусь. В те далекие годы, когда мы с тобой хлебали хозяйские щи, пилили, грузили уральский, сибирский, архангельский лес для нужд страны, когда строили новые объекты и прокладывали трассы, тогда, пусть и находились мы на разных меридианах, но поровну делили предназначенные нам законом все радости и горести жизни —

одного из нас шпана называла Серым, другого Кешей. Таков был и поныне существующий воровской обычай, от которого находясь в среде преступного мира, с которым связан не один десяток лет — никуда не денешься. Да, Серый, я тот самый Кеша, он же Лимон, с которым ты встречался уже дважды: первый раз на одном из спецов Красноярских лагерей, второй в мае 1970 г. в ИТК строгого режима г. Владимира. Если в первый раз ты ничем не отличался от прочей братвы, то второй ты был уже известен в литературных кругах, а также имел редкую славу и популярность в преступном мире...

Когда еще вышли в свет твои записки, то тогда я слышал много разных откликов и суждений по поводу твоих мемуаров, а также в твой адрес, т. е. о тебе лично. Ты знаешь, Серый, большинство из тех, кто числился раньше в законе, да и сейчас делают вид, что воровской закон для них остался святыней, а они чисты, как те хрустальные слезы, хотя у каждого 99 подлостей, а от прошлых воровских традиций остались лишь приятные воспоминания — эти ангелы характеризуют тебя, как одного из тех фраеров, которые в свое время каналы за воров и пользовались воровскими привилегиями. Но когда пришло то время и в жизни преступного мира произошла своего рода революция, тогда такие, ранее непонятые ворами фраера, как крысы покинули тонущий корабль и пошли на службу к ментам...

Но среди прочей публики есть немало тех, кто иначе мыслит и делает тебя чуть ли не легендарной личностью и отстаивает твои взгляды на жизнь. В лице таких людей ты, Серый, выглядишь, если не ангелом, то вполне нормальным субъектом. Эти взгляды разделяют люди, которые в нашей среде называются мужиками, не меньше видевшие и испытавшие удары жизненных бурь, чем так называемые воры. Да, такие люди говорят, что ты на правильном пути, что никаких сделок у тебя с ментами не было и что то, что достигнуто тобой — это достигнуто собственным упорством...

Если все то, что описано тобой — чистая монета, то плюй на всех тех, кто подло о тебе думает и канай в жизнь той единственно правильной дорогой, которую ты выбрал,

не приравнивая никаких подлостей другим. В этом я могу пожелать тебе, бывший коллега, только наилучшего: личного счастья, успехов в твоих трудах, а главное железного здоровья. Пиши, Серый, больше, правдивее и азартно, чтобы знала сегодняшняя молодежь всю галлюциногенность воровской романтики, которая может привести только в топкое болото, из которого не так просто выбраться. Пусть знают, что нас никто не любит, не ждет и что людскими, именуящие себя ворами и притом честными, на самом деле подонки, гниль и прочая шваль. Конечно, и из этой массы можно кое-что выделить, если кто захочет выбраться из этого болота, а такие уже были, то лично я буду только приветствовать. Честь и хвала упорным и настойчивым!

Будь здоров. Кеша-Лимон

Р.С. Если есть свободное время, то черкни, встречался ли ты со своими родными? Если можешь, то вышли твои «Записки» и роман «Улыбка Фортуны».

* * *

Члену Московского отделения Союза писателей РСФСР
Ахто Леви

Тов. Писатель, здравствуй!

Пишет Вам Коптяев Виктор из мест заключения. Извините меня, что беспокою Вас своими письмами. Но я пишу Вам вот уже несколько раз, а ответа все нет. Нет, нет, я Вас не упрекаю, ибо знаю, что Вы очень занятой человек. Но вот я вновь прочел Вашу повесть в журнале «Москва». Очень она мне понравилась. Мы, осужденные, читали ее вслух и насмелились вдоволь. Ничего не скажешь, правда и интересно. Мы как бы себя видели со стороны, а ведь и я вот уже нахожусь в местах не столь отдаленных из 43 прожитых лет 31 год. Без выхода и перерыва. Не считая побегов, которых у меня набралась добрая сотня. Ну и конечно же давно не тот я, кем был еще 10-15 лет тому назад. Покоялся с этим миром бесповоротно. Сам

пишу стихи и рассказы. Много читаю, а это помогает мне сохранять душевное равновесие, веру, надежду и любовь. А с этими качествами человек непобедим...

17 раз я умудрился осудиться. И все за победы. Но я никого не убивал и не грабил. И в Вашей книге отлично отображено все то, что нам мешает и там и тут жить! Сейчас ведь вновь организуются группировки? А значит, человек-работяга не может спокойно жить и работать. да, как жалко, что я столько лет потерял в этих клоаках. Знаю, что жизнь имеет свои условности. Ну, а дураков ни одно общество не уважает.

С искренним к Вам уважением и массой самых наилучших пожеланий

В.М. Коптяев

* * *

Здравствуйте, уважаемый Человек и писатель!

Преклонюсь перед Вашим мужеством! Пройти через такие трудности и сохранить любовь к жизни и веру в людей — это удивительно и достойно восхищения...

Да не поканет Вас мужество! И пусть мое письмо приумножит слова благодарности от простых читателей, для которых и писались Ваши романы. Последние страницы «Улыбки Фортуны» я не могла читать без слез. Так глубоко и остро Ваше одиночество среди людей, что оно со страниц журнала проникло в мое сердце и болью отозвалось в нем...

Страшно за Вас и в то же время благодарю Вас за это откровение, за возможность сопереживать с Вами. Большое Вам спасибо за Ваши книги, за то, что Вы живете на свете и собственной жизнью даете пример мужества и стойкости перед ударами судьбы.

С глубоким уважением

Г. Кравчук

* * *

*Серый Волк! Привет! Нет!..
Человек, здравствуй!!!*

Хочется надеяться, что ты не примешь за оскорбление мое обращение к тебе на ты. Но если для тебя такое обращение будет оскорбительно, то, читая мое письмо, мысленно на то место, где будет стоять «ты», ставь «Вы», я не имею ничего против. Договорились? Прежде всего хочу сообщить, что читая твою книгу, я невольно еще раз мысленно прошел свою жизнь (я делал это и раньше, но сейчас я это сделал более подробно)..

До 1954 года я безнаказанно опустошал чужие сумочки и карманы. А в 1954 году пришлось рассчитываться за все то зло, что я принес честным гражданам. Я предстал перед судом и был осужден к 6 годам трудовой колонии (я же был малолетка). И вот с тех пор я нахватал кучу судимостей и отсидел в общей сложности с небольшими перерывами порядка 16 лет да впереди еще 2 долгих мучительных как никогда года. В этой жизни я тоже, как ты выражаешься в своей книге, прошел огонь и воду и медные трубы. Был я и в закрытой, был и на спецях, и в борах, и в зурах и пр. ...

По опыту ты знаешь, что в местах лишения свободы много мастей существовало, это сейчас вроде стали все равные, а раньше каждая масть заявляла о своих правах. В своей книге ты упоминаешь о ворах и нелестно о них отзываешься. Но мне кажется, ты не совсем справедливо пишешь. Давай будем откровенны, я думаю ты со мной согласишься, если я скажу, что из всех мастей, что существовали раньше, самая благородная масть это воры. Но только не те, о которых ты пишешь, ты пишешь о ворах польских, я думаю ты помнишь, кого называли поляками. Вот эти польские воры позволяли себе то, за что их били и презирали труженики лагеря, а воры без примеси не отнимали ни посылки, ни заработанных денег, они умели подойти к мужику так, что он сам охотно помогал и давал, что в его силах, лишнего от него не требовали. Я не был вором в полном смысле этого слова, а значит и не пользовался привилегиями, какие позволяли по жизни себе воры, но я всегда разделял их взгляды, а таких как я много, очень много, потому что видели

справедливую политику воров. В своей книге ты пишешь, что воры, как правило, не работали, но я не могу с тобой согласиться полностью, воры работали и порой работали больше других, я работал вместе с ними и знаю, как они умеют работать. А работал я постоянно. В местах лишения свободы существует три основных системы существования, это труд, картежная игра и всевозможные аферы. В карты я в жизни не играл (с детских лет имею пренебрежение к ним), аферистом (лагерным) быть не мог, а значит, чтобы иметь свою папиросу, нужно было работать, что я всегда и делал и не жалел об этом...

И вот, испытывая все тяготы преступной жизни, я пришел к выводу, что прозревает человек, находит свое место в жизни с годами (возрастом). В преступный мир ведет множество дорог, а вот выводит из него одна честная, трудовая, но к сожалению не все сразу начинают понимать это. И ни одна тюрьма, ни один воспитатель не в состоянии переделать преступника в нормального человека так, как делает время, время и портит и исправляет...

Одним словом, благодарю тебя за книгу, рад за тебя, что ты, пройдя такой путь, нашел в себе силы определиться в жизни. Желаю тебе настоящего человеческого счастья, желаю успехов в жизни.

С приветом

Пчелинцев Г.

Содержание

ЗАПИСКИ СЕРОГО ВОЛКА	5
МОР. Роман о воровской жизни, резне и воровском законе	191
БЕЖАТЬ ОТ ТЕНИ СВОЕЙ	415
Драгоценные слова. Вместо послесловия	597

Леви А.

**Л 34 Воровской закон: Записки Серого Волка. Мор.
Бежать от течи своей. — М.: Вече, Персей, АСТ,
1995 г. — 608 с. («Зона риска»)**

ISBN 5-7141-0119-7 («Вече»)

ISBN 5-88421-049-3 («Персей»)

Имя писателя Ахто Леви не требует какой-либо рекламы. Оно стало легендарным и широко известным давно, когда впервые появились на свет знаменитые «Записки Серого Волка». В настоящей книге объединены три романа, повествующие о драматической судьбе героя «Записок Серого Волка». Все они посвящены теме человеческих испытаний в самых экстремальных условиях, теме воровской жизни и воровского закона.

АХТО ЛЕВИ ВОРОВСКОЙ ЗАКОН

Ответственный за выпуск *С. Дмитриев*
Редактор *Н. Сергеева*
Оформление серии *В. Крючкова*
Верстка *Т. Коротковой*

ЛР № 040410 от 11.12.92 («Вече»)

ЛР № 063392 от 24.05.94 («Персей»)

АО «Вече», 129348, Москва, ул. Красной сосны, 7

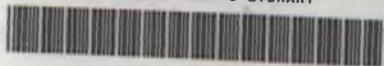
Издательство «Персей», 121069, Борисоглебский пер., 7

Подписано в печать 14.11.95. Формат 84x108 1/32. Гарнитура
«Бодони». Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 347

Оригинал-макет подготовлен в компьютерном центре издательства
«Вече» и «Персей»

Отпечатано с оригинал-макета в Тульской типографии,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY



A0009127606045

И вот они шагают тяжелой поступью,

поскрипывая валенками

в подмороженном снегу,

двадцать восемь сук .

Сзади, как всегда,

люди с автоматами и собаками.

Их лица – галерея жестоких,

хитрых, коварных портретов,

от колонны веяло

безжалостным духом уничтожения:

где угодно на земле пойдут,

готовые убивать,

брать, душить и крушить,

об этом красноречиво

говорил даже их шаг,

от которого по сторонам

разлетались каскады снега.

DATE DUE

12 01 97

DATE DUE

05 15 97

DATE DUE

11 04 96

ЭМЭЛ